ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения № 3 | 2012

Утро | 2003

Вечерняя прелюдия | 2007

Художница из Дивногорска ***Наталья Горбачёва*** родилась в Новосибирске в 1966 году. В 1985 году окончила Красноярское художественное училище им. В. И. Сурикова. В 1996 году получила высшее образование в Санкт-Петербургской академии художеств им. И. Е. Репина на отделении искусствоведения. Выставляется с 1998 года. С 2006 года — член Союза художников России. Участница краевых, региональных и зарубежных выставок. Работы Натальи Горбачёвой находятся в собраниях Министерства культуры России, а также в частных коллекциях России и за рубежом. В настоящее время художница преподаёт в Детской художественной школе им. Е. А. Шепелевича.

Её картины излучают тонкий, задушевный лиризм; природа и человек, сознание которого словно растворено в его жилище, незатейливых предметах быта, крышах домов, окнах, балконах и двориках, являются здесь в неразрывном единстве. Реализм и тончайшая метафизика мира дополняют и поддерживают друг друга, вовлекая зрителя в интимный диалог с чуткой, исполненной добра и тепла душой художницы.

ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения №3 | 2012

В номере

ДиН встречи

3 «Форма духа» или «диктат языка»?

ДиН антология

Вильгельм Кюхельбекер
16 Участь русских поэтов

Игорь Северянин
23 Неземные цветы на земле

Константин Батюшков
51 О, память сердца!

Лев Ошанин
95 Спасибо тебе

Роберт Рождественский
112 Радиус действия

Максимилиан Волошин
198 Бессмертна жажда муки

ДиН диалог

Юрий Беликов, Максим Калашников
17 Пришелец с фронтира

ДиН юбилей

Елена Крюкова
22 Космос и камень

Владимир Капелько
24 Я улыбаюсь жизни…

ДиН мемуары

Владимир Алейников
26 Вокруг самиздата

Страницы Международного сообщества писательских союзов

Дарьяна Антипова
45 Дорога к храму

Ираклий Шаматава
52 Каин и Евангелие

ДиН память

Илья Тюрин
55 Шекспир

Марина Кудимова
61 Кто ж сочинил?

Лидия Рождественская
77 Тайный сад Людмилы Пироговской

Людмила Пироговская
80 Всегда с тобой

ДиН проза

Александр Астраханцев
86 Деревня Таловка

Александр Матвеичев
96 Caridad Peñalver Lescay

ДиН фантастика

Василий Головачёв
113 Сюрприз для пастуха

ДиН перевод

Жан-Пьер Лёсьёр
151 Птица с дерева спокойствия

Жан-Бернар Папи
153 Запах неба

ДиН публицистика

Анатолий Вершинский
155 Всеволод Юрьевич из рода Мономаха

Евсей Цейтлин
194 Черновик

ДиН стихи

Александр Щербаков
82 Вечерней дорогой

Роман Рубанов
84 Дневник ангела

Вячеслав Тюрин
199 Вавилонская молва

Александр Петрушкин
202 Сорок дней

Евгения Красноярова
205 Во мне не раб, но воин

ДиН артефакт

Илья Иослович
206 Бедная Россия

ДиН эссе

Наталия Слюсарева
207 Епископ Пергамский

Библиотека современного рассказа

Марат Валеев
231 Сталинский палец

Ян Бруштейн
234 Первое вино

ДиН критика

Кирилл Анкудинов
238 Жук под соусом

ДиН полемика

Игорь Дуардович
243 Виновата среда надежды

247 ДиН авторы

«Форма духа» или «диктат языка»?

Круглый стол о «русскоязычной» литературе

В декабрьском, последнем в 2011 году, номере литературного журнала «Дружба народов» опубликованы материалы «круглого стола» о значении российского опыта межкультурного взаимодействия для нынешней Европы. Видных писателей, политологов и деятелей культуры попросили прокомментировать мнение польского социолога *Зигмунта Баумана*, который считает, что в решении проблемы национального строительства «прошлое России — это будущее Европы»[1]. Бауман, в частности, подчёркивает: «Россия исторически решила проблему, которую основной части Европы ещё только предстоит решить: наладить мирное сосуществование разных народов, религий, культур, традиций и языков». Отвечая на вопросы анкеты, предложенной редакцией «Дружбы народов», многие участники диалога так или иначе говорили о роли русского языка в культурном самоопределении т. н. «национальных окраин» России, как преемницы Советского Союза.

Дмитрий Быков, например, замечает: «Вернейшими эмиссарами советской власти в республиках — особенно на Кавказе — были местные поэты, учёные, просветители: не только потому, что советская власть давала им почёт, депутатство и ордена, а потому, что она отстаивала их исконные идеалы». Примерно в том же духе развивает тему *Афанасий Мамедов*: «Более продвинутая русская культура, безусловно, оказывала позитивное влияние на народы Средней Азии и Кавказа. Продвижение русского языка, новых политических институтов, передовых для того времени технологий, создание системы образования производило ассимиляционный эффект на часть местных элит. Но в то же время власть всегда давала возможность следовать местным традициям и всё меньше посягала на идентичность нерусских народов… при всей свободе, как бы европейскости, необходимо заботиться об охране русского языка. Все пути развития «российского мультикультурного общества» идут через русский язык и русскую культуру. Мы спасёмся через русский язык XIX века. Он должен стать нашим культом. Нашим метафизическим союзом»[2].

Мысль о значении русского языка как проводника духовных ценностей других народов звучала и прежде. Так, в 2008 году в Киеве, на презентации своей книги «Асфальт», *Евгений Гришковец* заявил, что «у современного литературного, подчёркиваю, именно у современного и литературного, украинского языка весьма мало перспектив развития. Поскольку естественным желанием любого автора должно быть желание, чтобы его прочли как можно больше читателей. Писатель, как правило, человек просвещённый и образованный. В Украине такие люди, как правило, двуязычны. Так вот, современный писатель, живущий в Украине и желающий, чтобы его прочли как можно больше людей, будет писать по-русски». Реплика Гришковца вызвала бурную реакцию у журналистов и литераторов. Полемика длилась несколько недель, и отзвуки её до сих пор слышны в блогосфере[3].

В том же 2008-м поэт *Николай Иванов* сокрушался по поводу разрушительных, с его точки зрения, процессов стихийного заполнения лакун русского словесного художества произведениями литературы русскоязычной. Эти процессы, считает он, в равной степени убийственны как для русской литературы, создающейся вне «метрополии», так и для литератур национальных, бытующих на родных языках. «…Не перестаю удивляться степени деградации русскоязычной казахстанской литературы за 16 лет государственной независимости Казахстана. Многие настоящие русские поэты и писатели уехали в Россию, а их место заняли люди, которым безразлична русская культура и русский человек, живущий в духовной чужбине. <…> …Журналы «Нива» и «Простор» отражают литературный процесс исчезновения русскоязычной литературы в Казахстане и адресованы в основном любителям казахской словесности. <…> Могут ли казахские русскоязычные писатели и поэты быть выразителями умонастроений, душевных переживаний и духовности русского этноса, проживающего в Казахстане? Могут ли журналы «Нива» и «Простор» посредством пропаганды творчества казахских русскоязычных

1. «Итоги», № 20/779, 16.05.2011.
2. http://magazines.russ.ru/druzhba/2011/12/kr.html
3. http://focus.ua/culture/19280/

писателей и поэтов формировать литературный общественный вкус русского этноса? <…> Русскоязычные казахские писатели и поэты приобрели «двуличие», но приобрели ли они «русскость», пропитались ли они русским духом? Нет, конечно. Русский дух неприемлем для них, воспитанных в традициях своего народа, но в силу воздействия негативных внешних обстоятельств потерявших со своим народом духовную связь вследствие частичной утраты ими родного языка и традиций»[4].

Татарин *Камиль Тангалычев*, напротив, считает себя русским писателем, воплощающим дух татарской культуры, и гордится этим. В статье «Русская литература татар»[5] он пишет: «Исходя из ныне существующей реальности, можно утверждать: у татар есть своя литература на русском языке, если даже это литература одного писателя, представленная одним сборником пронзительной лирики. Татары — народ со своим уникальным историческим надрывом, со своим богоданным местом, которое нельзя покинуть, потому что другого места для татар на свете нет. И тем, что татары являются самими собой, со своим уже художественно воплощённым историческим надрывом, они ценны мировой культуре, они эволюционно важны для человечества. Литература и востребована народом для обозначения его равноправия и самоценности в человечестве. И этой литературе необязательно быть нарочито «национальной», искусственно «колоритной». Поэтический масштаб произведений, написанных писателем из татар, и будет характеризовать сам масштаб этой литературы — возможно, и её мировой масштаб. Русская литература татар определяется фактом конкретного писателя, родившегося и выросшего в татарском народе, уважающего веру и традиции своих священных предков».

В феврале 2012 года газета «Настоящее время» опубликовала интервью Багдата Тумалаева с молодым поэтом из Дагестана *Вадимом Керамовым*. На вопрос о состоянии литературного процесса в республике Дагестан и том, каких классиков дагестанской литературы он особенно ценит, Вадим ответил: «Дагестан переживает расцвет русскоязычной литературы. Другое дело, что в самой республике никакого литературного процесса нет. Молодые таланты перебрались в Москву. «Классики дагестанской литературы» — а разве есть такие слова в таком порядке? Я могу говорить только о русскоязычной поэзии, других надо читать в оригинале»[6].

Так «спасение» или «проклятие»? Сегодня уже ясно, что спор вокруг феномена «русскоязычной» литературы вышел за узко-филологические рамки. Реальность «транслингвизма» толкает мысль к общефилософским поискам, всё более глубоким и активным год от года. Видимо, именно в этом ключе эстетическое сознание отвечает на некоторые вызовы постинформационного общества.

Принимая во внимание остроту проблемы, редакция журнала «День и ночь» предложила известным литераторам — писателям и филологам — ответить на несколько связанных с нею вопросов.

1. Как Вы оцениваете роль русского языка в качестве средства межнационального общения (в том числе и художественного) в современном мире?
2. Обладает ли для Вас понятие «русскоязычной» (транслингвальной) литературы каким-либо реальным содержанием, и если да, то каким? Возможно ли (и если возможно, то на основе каких критериев) разграничить русскоязычную и русскую литературы?
3. Сохраняет ли свою актуальность требование народности литературы, как её понимали русские писатели XIX века?
4. В какой степени Ваш личный опыт подтверждает теоретическую правомерность понятия «диктата языка», о котором — как о неизбежном элементе поэтического творчества — говорил И. Бродский?
5. Каковы исторические перспективы развития национальных литератур в эпоху глобализации и транскультурации?

Миясат Муслимова

поэт, филолог, журналист,
заместитель министра образования
и науки Республики Дагестан:

1. С учётом того, что глобальное будущее мира в любом случае будет в немалой степени зависеть от России, в том числе и от положения внутри нашей страны, высоко оцениваю роль русского языка как средства межнационального общения. Высоко оцениваю, несмотря на то, что в связи с крушением социалистической системы его позиции заметно ослабли в мире. Высоко оцениваю ещё и потому, что русский язык — это язык, на котором создана великая русская литература, роль которой в мире будет только возрастать со временем. Если, конечно, эволюция будет вести по пути прогресса. Высоко

4. http://www.ia-centr.ru/publications/429/
5. http://evrazia.org/article/1319
6. http://gazeta-nv.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=6984&Itemid=194

оцениваю и потому, что русский язык — это язык, который связывает воедино народы моей родной республики — Дагестана, «горы языков», «страны гор», где более тридцати коренных национальностей общаются на русском языке. Ещё не так давно, каких-нибудь 30 лет назад, многие его называли «вторым родным» языком, но сегодня не меньшая часть назвала бы его, как и я, преимущественно родным, так как, увы, национальные языки сегодня, несмотря на все усилия, имеют тенденцию к угасанию. Разговоры об их сохранении усилились, мер на государственном уровне принимается достаточно, но семья как хранитель и транслятор языка стремительно теряет свои позиции.

2. Для меня это слово не столько строго научное, сколько слово из лексикона тех, кто полагает, что литература на русском языке, созданная этнически не русскими людьми, должна каким-то образом быть обособленной. Опять же, среди этой категории людей есть те, кто стоит на «охранительных позициях», в разной степени корректности решая вопрос: «пущать» её или «не пущать», включать ли её в понятие «русская литература», — и есть те, кто ищет объективные закономерности этого явления, позволяющие его обосновывать.

   Существует огромный пласт научной литературы, в которой осмыслен и систематизирован опыт билингвизма в контексте мирового художественного процесса. В нашей республике эта тема исследуется в трудах профессора Ш. А. Мазанаева («Двуязычное художественное творчество в системе национальных литератур», Махачкала, 1997, и др.). Русскоязычная литература Дагестана понимается им как литература, созданная представителями Дагестана на русском языке, а творчество русских авторов, живущих в Дагестане, понимается не как русскоязычная литература Дагестана, а как русская литература Дагестана. Исследователи говорят о двуязычном художественном творчестве и выделяют его различные типы. Для научного изучения потоков, из которых складывается феномен русской литературы в её развитии, это имеет смысл. Для самой русской литературы как таковой — вряд ли. Я отношусь с большим скепсисом к этническому как критерию ценности литературы.

   Не как исследователь, а как человек, занимающийся собственным литературным творчеством на русском языке, скажу, что для меня нет такого понятия, как «русскоязычная» литература. Я, увы, не владею родным лакским языком, для меня родным, по сути, является русский язык, взрастила меня русская культура, точнее, русская литература, так сложилось. И я не мыслю себя вне её. В этом году мои стихи выйдут на моём родном лакском языке, спасибо переводчикам. Это тоже ненормально, в идеале хотелось бы так же свободно владеть им, как русским языком. Но таковы парадоксы реальности, будем исходить из них.

   Разграничивать, отличать русскоязычную литературу от русской можно, только говоря о биографических фактах из жизни автора или в развитие тезиса о притягательности русской культуры, о естественности процесса проникновения русского языка в культурное, духовное поле народов нашей страны. Собственно, русская культура, я думаю, сегодня больше скрепляет народы нашей страны, чем реалии политики, потому что духовное родство через язык — это уже есть включённость всех в общую систему кровообращения, это уже единый организм.

   Как критерии научного разграничения русскоязычной и русской литературы обычно рассматривают не только этническую принадлежность автора, но и его участие в переводах собственных произведений, создание им произведений на одном или нескольких языках. На мой взгляд, критерий один: человек или состоялся как художник, или нет; всё остальное — от лукавого.

3. По сути — да. И это трагедия. Потому что даже в общественном сознании, во внутриписательском дискурсе этой проблемы нет. Степень оторванности литераторов от народа так сильна, что сама проблема даже не ставится. Степень атомизации общества так плачевна, что духовное единство нации идёт к исчезновению. Может, правильнее сказать, что духовные пастыри так оторвались от народа и страны, так «боятся» мыслить в этих немодных категориях, что атомизация общества усиливается ещё стремительнее? Народ оставлен на самого себя. По этому поводу позвольте процитировать мои размышления из поэмы «Диалоги с Данте»:

   И к «да», и к «нет», когда к ним путь незрим,
   Укажут путь расчёт и осторожность.
   Где ваши мудрецы, чей дух томим
   Безвластием добра? Какая непреложность
   Их обрекла на дым и треск речей?
   Презренней жалкой роли палачей
   Духовных пастырей и сытость, и вельможность.

   И к «да», и к «нет», когда к ним путь незрим,
   Кто поведёт? От спешности поступков сохранит
   Свет разума — но кем он сам храним?
   Убогий борзописец очернит
   Достойные слова. Чтоб овцы пали,
   Чесоточные козы ловко встали
   Перед стадами. Кто же их корит?

И к «да», и к «нет», когда к ним путь незрим,
Откроют вход пророчества поэтов.
Чтит избранных и ныне вечный Рим,
Даруя хлеб вопросов и ответов.
Коль твой народ лишён проводников,
Есть книги тех, кто дух спас от оков,
Откройте их—священна жизнь заветов.

4. Это явление я обнаружила, когда начала сама писать стихи, и оно поразило меня. Слова Бродского только тогда и наполнились смыслом, перестали восприниматься лишь как яркий образ. Вначале я искала объяснение в собственном несовершенстве (оно, естественно, в любом случае присутствует), но когда вспомнила слова поэта в его Нобелевской лекции—обрадовалась несказанно: слово найдено! Дело в том, что впервые за перо я взялась очень поздно—после событий в Беслане. На тот момент для меня это был единственный способ преодолеть собственную боль. Во многом моё обращение к стихам было связано и с, как принято говорить, «богоборческими мотивами». Чтобы постичь ужас содеянного и возможного для человека, не было смысла говорить с людьми, обращаться можно было только к Богу. Только потом, после написания стихотворений (они написаны от лица погибших детей и документальны для тех, кто знает личную историю каждого), я замечала, что они часто заканчивались молитвой, обращением к Богу, и в нём вместо протеста звучала боль сострадания и склонения перед Его страданием. Я не могла постичь, что происходит. Потом поняла, что это можно объяснить встречной жизнью языка, его духом, его мудростью, тем, что можно назвать и как «диктат языка».

5. С точки зрения оценки явления на поверхности, очевидно ослабление национальных литератур, их «съёживание». Пересыхают ручейки, которыми питаются реки национальных литератур. С другой стороны, не может не вступить в действие в критический момент диктат культуры, который через «взрыв» в национальной литературе начнёт питать себя, спасать себя. Возможно явление самобытного автора с мощной опорой на народно-поэтические, национальные истоки. Возможно, его пример на выхолащиваемом глобализацией пространстве культуры породит стремление обратиться к корням, пойдёт процесс ренессанса национальных литератур. Таким образом, глобализация может привести и к исчезновению национальных литератур, но она же приведёт и к их возрождению (пусть в новых формах), потому что инстинкт самосохранения в живых организмах сильнее, чем нам кажется. И он сработает в самый критический момент. (И. Бродский говорил, как помните, что человечество, вероятно, спасти не удастся, но отдельного человека можно. Это и делает литература. Несомненно, так запускается и обратный механизм: от одного человека—ко всему человечеству. Я надеюсь на такой вариант перспективы развития национальных литератур.)

Анатолий Аврутин

главный редактор журнала «Новая Немига литературная», член-корреспондент Академии поэзии и Петровской академии наук и искусств (Минск, Беларусь):

1. Роль русского языка, особенно на постсоветском пространстве, трудно переоценить хотя бы потому, что это единственный язык, который не разъединяет людей, а, наоборот, сближает. Ведь парад суверенитетов и разного рода «возрождений» былого мифического благоденствия в «дорусский период» привёл и продолжает приводить к весьма болезненному для русскоязычного населения процессу расширения сферы применения языков так называемых титульных наций, что, несмотря на все заверения в отсутствии даже намёка на дискриминацию носителей русской речи, непременно приводит к сужению сферы применения именно русского слова. Иначе за счёт чего бы расширялась сфера применения «титульных» языков? И только русский язык, желают того националисты или нет, несмотря на то, что Советский Союз рухнул уже более двадцати лет назад, позволяет людям разных национальностей продолжать общаться друг с другом. От этого факта невозможно отмахнуться…

2. Вообще-то выражение «русскоязычный» относительно писателя лично я воспринимаю как оскорбление. Кстати, очень многие реагируют аналогичным образом. Ибо если человек работает в традициях великой русской литературы и считает себя русским писателем, то неважно, в какой стране он живёт и какой там язык сейчас государственный. Другое дело, что появилось немало последователей разного рода постмодернистских течений, которые, вроде бы используя русские слова, русский язык при этом намеренно калечат. Вот их-то я русскими писателями назвать никак не могу. А вообще существует давняя формула: как себя литератор самоидентифицирует, такой он и есть. Если кому-то нравится именоваться «русскоязычным»—Бога ради…

3. Не будем забывать, что разговоры о народности литературы в девятнадцатом веке велись на фоне практически поголовной неграмотности населения. Художественному слову, даже

в качестве читателя, могла посвятить себя лишь элита общества, всего несколько процентов. Разумеется, писатели не могли не стремиться к тому, чтобы их произведения было способно воспринимать и прочувствовать как можно больше людей. Сегодня картина резко изменилась. Про неграмотность мы все давно забыли, но из ещё совсем недавно считавшейся самой читающей страной в мире (при этом как-то игнорировалось, что она ещё была и самой неработающей, ибо практически все художественные новинки интеллигенция прочитывала, как правило, на работе) мы давно превратились в страну, интерес к художественному слову стремительно теряющую. Кто-то винит в этом телевидение, Интернет, доступность различных источников информации… Может, в этом и есть какая-то правда. Но я думаю о тех, кто с книгой не расстался, но интерес свой переключил с настоящего художественного слова на многотиражные глянцевые поделки, которыми активно снабжают жаждущих такого чтива издатели. Авторов называть не буду, они и без того у всех на слуху, а порой и попросту отсутствуют: их книги — продукт коллективного «творчества» нанятых по дешёвке литрабов… Уж более доступной для примитивного ума, «псевдонародной» литературы и придумать трудно. Только даёт ли что-либо, кроме окончательного разрушения представлений о морали и духовности, подобное чтиво? И тут волей-неволей начинает хотеться прочесть нечто менее «народное»…

4. Язык, как бы велик он ни был, — всего лишь инструмент для творца. На любом языке можно создать талантливое произведение, а можно — бездарное. Другое дело, что возможности языков, уровни их развития всё же далеко не одинаковы. Не хочу никого обидеть, но давний тезис о том, что великие литературы создаются на великих языках, опровергнуть трудно…

5. По большому счёту, все разговоры о «национальных литературах» затеваются людьми малоодарёнными. Глубоко убеждён: существует одна большая мировая Литература, которую питает всё талантливое вне зависимости от того, в какой стране и на каком языке это написано. Разве Чингиз Айтматов только киргизский писатель? Разве Маркес или Борхес только латиноамериканцы? Разве творчество белоруса Василя Быкова принадлежит только Беларуси? Нет, это всё сливается в единый могучий поток мирового сотворчества. Те же, кому не дано, в силу нехватки дарования, в этот поток влиться, моментально начинают разглагольствовать об особенностях национальных литератур…

Сергей Бирюков

поэт, литературовед, критик, доктор культурологии, основатель и президент международной Академии Зауми, преподаёт русскую литературу в университете им. Мартина Лютера (Германия) и в ряде европейских университетов:

1. Как необходимую, но недостаточную. На мой взгляд, эта роль будет нарастать при возможном усилении интеграции на постсоветском пространстве. Относительно художественного: необходимо, чтобы появлялись такие произведения, которые непременно хотелось бы прочесть по-русски! Ну и, разумеется, нужны мощные усилия в поддержку преподавания и пропаганды языка в зарубежных странах.

2. Я не думаю, что такое разграничение перспективно для развития литературы на русском языке. Существуют англоязычная, франкоязычная, немецкоязычная литературы, все они поддерживаются метрополиями. Некоторых «н-язычных» литераторов в этих метрополиях буквально выращивают! Независимо от того, на какие темы они пишут.

3. Литература сейчас не играет той роли, которую она играла в XIX веке и даже в XX-м. Совсем иные вызовы. Другое дело, что современная литература могла бы хотя бы попытаться ответить на эти вызовы.

4. То, что язык, сам его строй, предлагает какие-то решения — это общее место. Между тем поэт осмеливается вступить в некоторое соревнование с языком. Понятно, что Бродский, как автор стихотворных нарративов, подчинялся диктату. Однако мы знаем опыты другого порядка. Например, опыт Велимира Хлебникова, Александра Введенского, Даниила Хармса, некоторых других авторов из длительной уже авангардной традиции. Я думаю, что русский авангард значительно расширил возможности русского языка, и этот язык сейчас диктует несколько иначе, чем вчера, надо только внимательно вслушиваться!

5. За все языки не могу говорить, хотя знаю, что, например, в Германии заботятся о сохранении диалектов, поддерживают литературы на диалектах. Я занимаюсь в основном поэзией, это не совсем литература, но поэзия ведёт постоянную работу с языком, это такой опытный полигон, в том числе и по раскрутке языка в мире. Чем активнее будет такая работа, тем больше шансов у языка сохраниться.

Февраль 2012, Клермон-Ферран,
Университет имени Паскаля, Франция

Сергей Курганов

педагог, писатель, переводчик (Харьков):

1. Русский язык выступает как незаменимое средство общения между теми людьми, которые продолжают называть себя советским народом — новой исторической общностью. Эти люди давно и добровольно выбрали русский язык как язык своего общения. Речь идёт о русских, украинцах, белорусах, казахах и многих других народах, которые комфортно чувствовали себя в межнациональном СССР. Но и люди, которые не относились к СССР и социализму с энтузиазмом, тоже с удовольствием и радостью говорят по-русски: например, огромное количество жителей Израиля, приехавших из СССР, не отказываются от русского языка и учат ему детей. В Германии существуют специальные программы, позволяющие русскоязычным взрослым и детям говорить по-русски, читать русские книги и т. д. Этим занимается, в частности, замечательный детский поэт и педагог Вадим Левин. Русский язык очень важен для всех русскоязычных граждан Украины, Латвии, Белоруссии, многих других стран и — независимо от политических убеждений (желание восстановить СССР на новых основаниях или отсутствие такого желания, уважение к ленинизму или отрицательное отношение к нему и пр.) — как форма общения русских людей на Земле, как форма бытия великой русской культуры, прежде всего — литературы, театра, кино. С большим интересом изучают русский язык люди, которые в детстве никогда не говорили по-русски, для того чтобы лучше понять великую русскую литературу, русский драматический и оперный театр. Вспомним, например, как Плачидо Доминго бесподобно поёт Германна на русском языке в опере «Пиковая дама» в постановке Гергиева.

2. Русскоязычная литература — это русская литература, то есть литература, которая написана на русском языке. Термин крайне неудачный. Лучше просто говорить «русская литература». Просто и со вкусом. Пушкин, Гоголь, Чичибабин — русские писатели, а не «русскоязычные», хотя Гоголь вырос в Украине, а Чичибабин жил и умер в Харькове. Набоков и Бунин, много лет жившие вне России, конечно, русские писатели, а не «русскоязычные».

3. Разные писатели XIX века понимали народность по-разному. Кроме того, множество литературоведческих понятий, в том числе и народность, претерпело глубочайшие изменения в XX веке. Поэтому едва ли в настоящее время остаются актуальными те требования народности (для разных писателей — разные), которые вырабатывались в XIX веке — для XIX века, а не на века. Каждая эпоха вырабатывает свои требования народности. Думаю, что и разные писатели XX века, и современные писатели по-разному понимают это требование. И, скорее всего, не так, как в XIX веке.

4. Полностью подтверждает. Писатель — это «часть речи». В принципе, Бродский в этой мысли развивает знаменитую гипотезу Сепира-Уорфа. Это верно не только для речи поэтической, но и для речи политологической. Не случайно политологи (а не поэты) начали говорить, что в основе экономического и социально-политического кризиса лежит полная исчерпанность антисоветского и антисоциалистического дискурса.

5. Литература может быть только национальной. Философ Владимир Библер писал, что русская национальная идея — это великая русская речь. Чтобы вести диалог культур, чтобы говорить вещи, важные людям всех национальностей, нужно развивать внутреннюю речь своей культуры — философскую, поэтическую, прозаическую. Для русских писателей — это речь Пушкина и Мандельштама, Достоевского и Маяковского, Ленина и Бахтина.

Михаил Горевич

поэт, прозаик, эссеист (Москва):

1. О «русской» и «русскоязычной» литературах. Вопрос, скорее, политических пристрастий. Взглядов на противоборство, которое обострено и протекает в формах «холодной гражданской войны». Брать самые дикие формы не станем, а если брать «просвещённые», то история тянется со времён «западников» и «славянофилов». Сегодня же русский язык пытаются сделать своей собственностью «патриотические силы», и тогда «демократические силы» вооружаются «русскоязычностью», протестуя против ксенофобии, «примитивного национализма»… Что далеко ходить? Есть Союз писателей России, и есть Союз российских писателей. Многие путаются, и тогда говоришь: «Вот одно, и вот иное». Один автор очень меня благодарил за внесённую ясность…

2. Между тем часто говорится в сетевых спорах о том, что нелепо понятие «российский язык». И вот это самое важное. Мы потеряли множество слов — «голубой», «розовый», «коричневый», мы теряем в стихах «любовь» и «душу»… Я где-то видел сообщение о том, что словарь русского языка утратил огромное, невероятное количество слов, тогда как словарь английский прибавляет и прибавляет… В тот момент, когда опасность нависает над самим

языком, настоящие писатели должны думать прежде всего об этом. Ибо язык укрепляется великими произведениями на нём — и только, и никак иначе. Гнать писателя, который строит русский язык в Казахстане или Грузии, Америке или Израиле, — означает уничтожать самое основное: с языком гибнет народ, не бывает немых народов. С языком гибнет территория — вернее, территорией становится земля.

3. Термин «русскоязычная литература» имеет пока своё временное значение. Он, может быть, нужен и далее — филологам, лингвистам... Но Интернет всякого пишущего на русском языке ведёт к общей и неделимой литературе. В этих новых условиях, по существу, невозможно (в большой литературе) возникновение «литературных диалектов», что с неизбежностью произошло бы в ином случае.

4. Или иной вопрос — о «народности литературы». Я не чересчур понимаю, о чём идёт речь... Имеется хрестоматийное определение Пушкина, и я его выписал из Википедии: «Народность в писателе есть достоинство, которое вполне может быть оценено одними соотечественниками — для других оно или не существует, или даже может показаться пороком... Климат, образ правления, вера дают каждому народу особенную физиономию, которая более или менее отражается в зеркале поэзии. Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу». Определение Пушкина во многом точное. И в основном содержательно и сейчас. Здесь проводится некая граница в культурном пространстве, мерцающая над реальными пограничными столбами... Очень верно — о народности писателя как достоинстве, в полной мере понятном соотечественникам... Но Толстого читал и учился на его вещах американец Хемингуэй в Париже... он мог не понимать нюансов, но, может, и получше многих русских читателей понимал величие замысла, устройство книги... я уже не говорю о писателях Запада значительнее старика Хэма... Что же важнее — «глубина или ширина»? Хорошо, когда совпадает, как в детской игре: «вот такой ширины, вот такой глубины»... В литературе же истинная удача — найти великого писателя, который пишет на твоём языке, и вы понимаете один другого. Так вот вышло у меня с Владимиром Алейниковым...

5. С другой стороны, народность противопоставляется элитарности. Это вовсе особый вопрос. Я его давно разрешил новой метафорой, а если я не первый, то буду рад услышать имя человека, чью мысль повторяю. Речь вот о чём. Можно провести параллель между элитарным и общепонятным (сейчас такая дихотомия) как между фундаментальной наукой и прикладной. Беллетристика и многие более серьёзные произведения относятся к «прикладной литературе», здесь не строится «новый культурный мир», но активно используются достижения авторов-Эйнштейнов, если кому-то не нравится — авторов-Ломоносовых... Может ли без фундаментальной физики развиваться прикладная? Нет. Но многие ли понимали «стихотворение Максвелла» из четырёх коротких строк? А вот, не понимая, как они устроены, бодро пользуются телевизором, компьютером и сотовым телефоном... читают Донцову... Нельзя создать ничего путного без странных, элитарных, никогда не дочитываемых до финала книг... нет фундаментальной книги — не будет и народной... Очень редко всё складывается: широкий успех книги, открывающей новые пути. Это и есть счастье.

Салахитдин Муминов

писатель, филолог, преподаватель русского языка и литературы (Тараз, Республика Казахстан):

1. Русский язык объединяет миллионы русскоязычных людей, рассеянных по всему миру, а русское художественное слово объединяет живущих в странах ближнего и дальнего зарубежья писателей, для которых русский язык стал языком их творчества. Как это парадоксально ни звучит, именно после распада СССР русский язык получил более широкое распространение, чем это было раньше. Сотни тысяч людей, по разным причинам покинувшие Россию и бывшие советские республики, являются агентами русского языка в самых разных странах мира. Носители русского языка ныне весьма активно участвуют в формировании культурного и мировоззренческого пространства человечества.

2. Русский язык стал голосом нового культурного явления, которое начало формироваться в XX веке, — русскоязычной литературы, создаваемой нерусскими авторами на русском языке. Реальное содержание понятия «русскоязычная литература» заключается в том, что посредством этого словосочетания манифестируется возникновение и развитие литературы, создаваемой нерусскими авторами на русском языке.

   Разграничивать русскоязычную и русскую литературы можно по ряду критериев.

   Первый критерий — национальность писателя и его национальная идентичность. Русскую литературу творят русские писатели, а русскоязычную создают нерусские авторы, для

которых русский, в силу определённых причин, стал основным языком их творческой деятельности. В этой связи следует заметить, что нерусский писатель, для которого русский язык стал родным, независимо от национальных корней всё же ощущающий свою духовную принадлежность к русскому народу, есть прежде всего русский писатель.

Хронологический критерий. «Русскоязычная литература»—понятие условное, обозначающее новое культурное явление, ещё не оформившееся, а «русская литература»—понятие безусловное, отражающее многовековое существование великой литературы русского народа.

Трансляция духовной жизни русского народа средствами художественной литературы—удел преимущественно русских писателей, поскольку они прочно укоренены в пространстве духовной и исторической жизни народа. Национальная картина мира нерусских народов в основном отображается в произведениях русскоязычной литературы.

Несмотря на отмеченные выше различия, русскоязычная литература является неотъемлемой частью русской литературы. Совместными усилиями русскоязычных и русских писателей создаётся глобальный литературный текст, отражающий различные типы мировидения. Благодаря возникновению русскоязычной литературы расширяется тематический состав и художественно-смысловое поле русской литературы.

3. Идея народности литературы вновь станет актуальной и востребованной в связи с возникшим в девяностые годы резким социальным расслоением общества. Конечно, далеко не все писатели станут показывать в своих произведениях социальные конфликты и противоречия, но авторы—горячие поборники общественной справедливости—всегда будут черпать свои сюжеты и образы из новой, весьма противоречивой действительности, которая сложилась в России в начале XXI века в результате глобальных общественно-политических потрясений. Идея социальной справедливости с особенной силой станет привлекать писателей, критически настроенных к сложившимся новым реалиям. Другой вопрос—будет ли такого рода литература стремиться к новаторству в сфере художественной формы, или же она будет эпигонской, копируя с незначительными изменениями эстетический опыт русского литературного XIX века.

4. На мой взгляд, писателю в процессе творчества необходимо преодолевать диктат не только языка, но и влияние могучей русской литературной классики, которая властно диктует авторам чужие образы, мотивы и метафоры. Новаторство в области художественного языка предполагает преодоление упомянутого диктата. Преодолевать этот диктат надо, например, чтобы придумать новую метафору или сравнение. Как полагал Хайдеггер, язык—дом бытия, что действительно так, но писателю иногда просто необходимо выходить из этого дома, чтобы со стороны посмотреть на него. Формы подобного ухода разные, без этого невозможны стилистические поиски.

5. Развитие национальных литератур неизбежно даже в эпоху глобализации. Любая национальная литература в поисках новых художественных ориентиров стремится преодолеть влияние предыдущих эстетических систем. На современном этапе развития русской литературы жизненно важно переосмысление опыта реализма (с его различными вариациями) и постмодернизма, а также освобождение от устаревающих поэтик.

Можно также предположить, что новый этап в развитии русской литературы будет определяться сатирой. Как в своё время постмодернизм подвергал осмеянию официальные идеологические контексты и господствующие мировоззренческие представления советской эпохи, так и он сам неизбежно станет добычей нового поколения сатириков.

Российской истории конца XX—начала XXI веков присущ драматизм. Печальные эпизоды новейшей российской истории ждут своего масштабного художественного осмысления и объективной оценки в творчестве писателей.

На мой взгляд, вот по такому пути и пойдёт русская литература, для которой сатира, социальный, а также психологический анализ станут главными методами постижения сложившейся исторической действительности.

Айдар Хусаинов

поэт, переводчик, драматург, руководитель лито «УФЛИ», член правления Союза писателей Республики Башкортостан:

1. Мне кажется, что многолетняя пропаганда русского языка в качестве средства межнационального общения сыграла дурную шутку как с самим языком, так и с теми, кто им пользуется в этом качестве. Позиционирование языка всего лишь как способа информационной коммуникации приводит к тому, что любой, кто выучил сто слов и более-менее может купить бутылку водки в магазине, уже полагает себя человеком грамотным, овладевшим русским языком в достаточном объёме. Разумеется, это также приводит к обеднению языка—если из него востребована всего лишь малая, даже не базовая часть. В таком случае его уже не назовёшь

высоким, на нём не будешь обсуждать тонкие материи. А поскольку родной язык всё чаще забывается и, к сожалению, очень многие даже в обиходе, даже дома, в семье, переходят на язык межнационального общения, то и получается: родной забыли, а русский не выучили. Из-за всего этого происходит страшное обеднение народной культуры, культуры быта.

2. Ярким примером русскоязычной литературы является переводная литература. В оригинале она написана на другом языке, но с помощью переводчика осуществлён переклад, переложение на русский язык.

Чем же характеризуется эта литература в первую очередь? На первый взгляд, это имена героев, реалии, в которых они действуют, но самое главное — это способы взаимодействия между собой, структура созданного в произведении художественного мира и способа его существования.

Вот как в сказках говорится: русским духом пахнет. Так вот в этой литературе явно пахнет нерусским духом.

Соответственно, произведение может быть феноменом русскоязычной литературы, если оно написано на русском языке, если это явление чужеродное, как если бы был осуществлён перевод с несуществующего текста в голове автора.

Однако нужно иметь в виду, что процесс этот динамический, он не стоит на месте. И если когда-то Ветхий и Новый Заветы были явлением вполне чужеродным, то за многие годы они органично вошли в русскую литературу. Так что лучшим критерием здесь может послужить только время. Если текст выдержал испытание — это прекрасно. Если нет — то зачем о нём и вспоминать? Так что делить сегодня литературу на русскую и русскоязычную, на мой взгляд, непродуктивно, тем более что когда текст создаётся или переводится на русский язык, он уже одной ногой в доме.

3. Вода занимает всё пространство, доступное для неё. Так что, наряду с народной, будет и антинародная, и любая другая литература. Единственное, что существуют те или иные тренды, которые актуализируются в зависимости от ситуации.

4. Думаю, что существуют как особенности самого языка, так и особенности восприятия его литераторами. К примеру, И. Бродский, не желавший подчиняться тирании коммунистов, предпочёл тиранию языка. Скорее, каждый литератор, вырабатывая свой миф, своё мировоззрение, свои способы постановки и решения художественных задач, постепенно становится заложником своей системы, публика уже по инерции ждёт от неё «нового старого». И не всегда литератор может обновиться кардинально. Не всегда это и нужно.

5. Эти два процесса прокатываются по культурам как каток, не оставляя ничего живого. Но они же повышают ценность индивидуальности, своего лица для каждого региона, города. Так что в будущее я смотрю с оптимизмом: привлечь внимание в эпоху однообразия можно только своей культурой, а её основа — национальная литература.

Роман Рубанов

поэт, теолог (Курск):

1. Не только на территории современной Российской Федерации, но и на территории стран СНГ живёт много людей, имеющих, если можно так сказать, разную корневую систему, но объединённых одним языковым поясом Русского языка.

Русский язык используется разными народами нашего многонационального государства и, конечно же, является языком межнационального общения, способствующим возникновению взаимопонимания в обществе. Развитие и укрепление русского языка как языка, связывающего людей, — большая задача и, конечно же, нужная, на мой взгляд. Русская литература, основой которой является русский язык, — то самое соединяющее звено. Это я знаю на своём примере. У меня есть знакомый православный священник из Франции, он живёт и служит в городе Лионе, — отец Квинтин де Кастелабажак. Он чистокровный француз, но выучил русский язык из любви к русской литературе и русской культуре, русской духовной традиции. В его семье стараются поддерживать эту традицию, и дети его тоже говорят на русском — он стал для них вторым родным языком. Так вот, когда он уезжал на родину из Курска (он был у нас в гостях), я подарил ему томик стихов Булата Шалвовича Окуджавы, подарил, потому что сам люблю стихи Окуджавы, ну и решил, так сказать, привить эту любовь гражданину Франции. Радость переполняла отца Квинтина, когда он увидел подарок и воскликнул: «О! Окуджава! Я очень люблю его песни, а вот стихов не читал. Большое спасибо!» Для меня это было самым приятным моментом. Так вот — о чём это я? Ах да, о языке как средстве межнационального общения: да, несомненно, русский язык является таковым, ибо он стоит во главе угла Великой Русской литературы.

2. Конечно, на территории Российской Федерации ныне, а в прошлом СССР, существуют русскоязычные национальные произведения, принадлежащие перу людей, относящихся, как я уже

сказал выше, к разным корневым системам, но выражающим свои мысли, чувства, отчаяния и радости именно на русском языке. Почему так? Наверное, что-то привлекает в нашем языке, что-то в нём есть такое, как говорил Гавриил Романович Державин: «Славяно-российский язык, по свидетельствам самих иностранцев-эстетов, не уступает латинскому ни в мужестве, греческому ни в плавности, превосходит все европейские языки: итальянский, испанский и французский, не говоря уже о немецком». Русскоязычная литература — историческое явление, она обладает своим голосом, структурой. Русскоязычная литература в своей основе имеет и другие культурные пласты, относящиеся не только к России, но и к другим национальным, народным языкам, берущим свои истоки из других стран, других культур… Можно ли разграничить русскоязычную и русскую литературу? На мой взгляд, они всё равно рано или поздно сливаются в единую реку, ибо нельзя писать и думать на одном языке, но оставаться при этом чуждым его литературным и культурным традициям.

3. Что значит народность в литературе? Писатель, если он действительно настоящий писатель, не может быть вне народа, так как он сам является выходцем из этого народа, если, конечно, этого писателя не занесли на землю инопланетяне. Если я не ошибаюсь, Белинский говорил о том, что народность для него — «синоним правдивого и верного изображения действительности, наиболее глубокого выражения реализма». Он считал литературу выражением «народного самосознания», однако разграничивал народность с простонародностью. Белинский говорил, что национальность — «необходимая принадлежность творчества» писателя, «ибо человек вне национальности есть не действительное существо, а отвлечённое понятие», однако «чтоб быть национальным поэтом, нужно сперва быть великим человеком, представителем духа своей нации». Стало быть, требование народности литературы, в свете вышесказанного, сохраняет свою актуальность и поныне и, я считаю, не утратит её.

4. Для начала надо освежить в памяти Нобелевскую лекцию Бродского, вернее, ту её часть (заключительную), которая и говорит о диктате языка: «Пишущий стихотворение пишет его потому, что язык ему подсказывает или просто диктует следующую строчку. Начиная стихотворение, поэт, как правило, не знает, чем оно кончится, и порой оказывается очень удивлён тем, что получилось, ибо часто получается лучше, чем он предполагал, часто мысль его заходит дальше, чем он рассчитывал. Это и есть тот момент, когда будущее языка вмешивается в его настоящее». Пожалуй, так оно и есть на деле, независимо от того, Бродский ты или Иванов-Петров-Сидоров, язык всё-таки вмешивается и подталкивает руку пишущего; наверное, по-другому и невозможно. Стоит только отделять зёрна от плевел. Бродский — это Бродский, и ему действительно диктует язык, а пишущий на заборе — это только лишь пишущий на заборе, и ему диктует не язык, а, скорее всего, его отсутствие, пустота, которая порождает пустоту. Вот и всё. Как определить, где гений, а где пустота? Это задача вкуса, чувства такта, меры и интеллигентности, и, конечно же, «гениальность», «бессмертие» — раздаёт Господь Бог, и Он прежде всего определяет, кому быть и кому диктовать, а кому… извините, нет.

Ирлан Хугаев

поэт, прозаик, филолог (Владикавказ):

1. Русский язык — самый знаменитый, сильный и распространённый из всех славянских языков. Следует, вероятно, помнить и о том, что русский язык некоторым образом представляет собой, при всей своей самостийности, связующее звено между языками германскими и иранскими, финно-угорскими и кавказскими, в широком смысле — языками Запада и Востока, Юга и Севера: тоже форма залога, ответственности и великой исторической миссии. Сознание этого особого положения русского языка всеми его носителями (и собственно русскими, и русскоязычными) может и должно гарантировать русскому языку будущее столь же блестящее и богатое, каким было его прошлое, — как в смысле геополитическом, так и литературно-художественном. Империи конечны, но «филологическое» сознание, слава Богу, инертно: русский язык продолжает жить на огромных территориях Евразии. Это и есть критерий объективной оценки роли русского языка в современном мире; но верно и то, что никогда прежде русский язык не подвергался таким «тонким» опасностям и рискам, как сегодня. Даже профессиональные журналисты и дикторы центрального телевидения допускают непростительные орфоэпические и синтаксические ошибки; а тихая экспансия английского языка, наряду с англо-саксонским мировосприятием, нарастает.

2. Обладает. Я предвижу, что русские по преимуществу против «русскоязычия», и это, кстати сказать, одна из форм неосознанной лингвокультурной и идеологической экспансии, языкового монополизма. Выходит, некоторым русским мало того, что представители, например,

горских народов Кавказа говорят и пишут по-русски: им хотелось бы, чтобы они и назывались русскими, и, наконец, стали русскими. Но согласятся ли сами русские признать иноязычные тексты Тургенева, Толстого, Пушкина, Набокова английской и французской литературой? И как бы мне было обозначить понятным образом эти тексты, если бы не было понятия транслингвальности и иноязычия? Что же такое «Лолита»? Английский роман русского писателя? Нонсенс. Если тот, кто говорит по-русски, не становится автоматически, в момент говорения, русским человеком, то и тот, кто пишет по-русски, не становится русским писателем и не пишет русской национальной литературы. Да и истории национальных транслингвальных литератур не синхронны русскому литературному процессу. Наконец: разве русские критики станут заниматься Кануковым, Гатуевым и Цаликовым? Полагаю, они даже не слышали этих имён; но даже и взявшись за их изучение, они будут не в состоянии дать точной комплексной оценки их творчества: это могут только осетинские критики, владеющие русским языком. Литература произрастает не из языка, а из этнокультурного, этноментального корня. Относительно разграничения скажу, что это тема специального исследования, но в принципе дело обстоит так: русскоязычная (транслингвальная) литература какого-либо народа отличается от собственно русской литературы тем же, чем вообще отличается одна национальная литература от другой с точки зрения содержания, идеологии, культурного «субстрата», устойчивых спонтанных структур национально-художественного мышления.

3. Безусловно, сохраняет (описания сарафана — или черкески — по-прежнему мало). Если, конечно, кто-нибудь не сподобится доказать, что само понятие народности, национальности, национального характера сегодня не имеет никакого смысла. Если литература не народна, не национальна, она тем самым уже и не литература (в лучшем случае — беллетристика, в самом что ни на есть бульварном значении этого слова); точно так же как национальная арифметика — уже не арифметика. Литература — это форма и метод выражения национальной идеи, культуры и духа, а не языковые экзерсисы. Вот почему не может быть поэзии на эсперанто.

4. Нобелевская речь И. Бродского очень содержательна, богата как теоретическими суждениями, так и эмпирическими наблюдениями. Но именно этот пункт, как мне кажется, в той или иной мере может быть оспорен; во всяком случае, он нуждается в уточнениях. Язык — помимо всего остального — ещё и система, схема, и как таковая он всегда в известной степени деспотичен; и такой языковой диктат чувствуют не только поэты и писатели, но и все носители языка. Мой личный опыт позволяет мне возразить И. Бродскому следующим образом: поэзия возникает к жизни именно для творческого преодоления этого диктата, окаменелых языковых схем; поэзия как раз и превращает язык в орган свободы. Стали бы поэты писать, если бы это сулило только ощущение гнёта? Стал бы и сам Бродский писать под диктовку, хотя бы и языка?.. Всем более или менее понятно, что́ он хотел сказать и сказал; но если бы это было так буквально, то все русские (и русскоязычные!) поэты писали бы буквально одинаковые стихи.

5. Формально таковы же, каковы перспективы индивидуального сознания в условиях тоталитаризма, ибо основной дискурс современного проекта глобализации — это тоталитарный режим в мировом масштабе. Личность может быть подавлена и нивелирована; но может быть и «пробуждена» для более сознательного, напряжённого, глубокого бдения. Всё зависит от воли всенародной личности, от личности народа; можно предположить, что некоторые литературы (как формы народного сознания) поступятся частью своих национальных духовных «территорий», а в отдалённом будущем и всеми своими «землями» (а тем самым, как было сказано, перестанут существовать не только как национальные литературы, но и как вообще литературы); но есть и такие, которые и сегодня доказывают, и в будущем подтвердят ещё более ярко правило сопромата: давление глобализационных процессов соразмерно актуализирует и реанимирует символы и концепты национальности. Явления физики, семиотики и культурного инстинкта здесь изоморфны; только сохранение национальности как личности гарантирует сохранение человечества как личности.

Лео Бутнару

поэт, прозаик, эссеист, переводчик (Румыния):

1. Для меня эта роль идёт дальше «чисто» межнационального общения, означая и межлитературное общение, связи, познание — в общем, взаимное обогащение. Естественно, в этом случае я рассуждаю как писатель-переводчик, который делал и делает возможным общение русских писателей с румынскими читателями. В то же время я, нескромно говоря, делаю, по возможности, более интенсивной капиллярность между нашими литературами, особенно между румынским и русским авангардом. Ведь я перевёл на родной язык Тристана Тцара,

Эудженa Ионеско, Эмиля Чорана, Мирче Элиаде, Пауля Целана, Герасима Луки (хотя после отъезда из Румынии они писали на других европейских языках), тысячи страниц поэзии Хлебникова, Маяковского, Кручёных, Гумилёва, Цветаевой, Хармса, Бахтерева и многих других. Так что русский язык является частью моей литературной судьбы. И в его ареале я могу экспериментировать, так как я фанатически ищу смысловые нюансы, потому что словотворчество авангарда располагает к тому, чтобы искать оттенки. И когда я их не нахожу, посылаю e-mail или Игорю Лощилову в Новосибирск, или Сергею Бирюкову в Германию; они помогают мне в этом. Иногда не находят и они, потому что авангардисты не всегда дают открытые смыслы. Так что мой русский коллега и друг говорит/пишет: «Давай будем искать совместно, что это могло бы означать». Поэтому для меня это феноменология библио-географическая, скажем так, потому что через русский язык я беру реванш за нашу молодость, которая прошла «под идеологическим каблуком», когда нам в мозг втыкали идеолого-политический кляп, когда авангард был под цензурой. Я, конечно, кричал с коллегами-студентами метафоры из Маяковского: «…женщины, истрёпанные, как пословица» или «А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб?». Но, конечно, я не знал, что после пятидесяти лет буду переводить русских авангардистов. И я очень благодарен своей литературной судьбе за этот дар!

2. Ещё пару десятков лет тому назад Румыния считалась одной из самых «французскоговорящих» стран, то есть филофранцузских. А Молдова — и французско-, и русскоговорящей. Но вот за этот короткий всё-таки период и Румыния, и Молдова стали более англоговорящими. Франция делает определённые дипломатические и финансовые усилия, чтобы удержать/поддержать своё культурно-лингвистическое влияние и в Бухаресте, и в Кишинёве, где действуют свои институты культуры, библиотеки, и то, что называется *Alliance Française — réseau qui assure l'enseignement du français et la diffusion de la culture française dans de nombreux pays* (Французский Альянс — сеть поддержки изучения французского языка и распространения французской культуры в многочисленных странах). Думаю, что и Россия могла бы изучить кое-какие «иностранные» принципы работы с теми, кто заинтересован в русском языке и русской культуре. Вы не поверите, но с тех пор, как я перевожу и массивно издаю русских авторов в Румынии и Молдове, никто из дипломатов русских посольств в Бухаресте или Кишинёве не поинтересовались, хотя бы косвенно, этим. (Мне кажется, что всё-таки культурные миссии русских посольств за рубежом слишком политизированы в ущерб именно нормальному, плодотворному культурному общению.) Но не так обстоят дела, когда речь идёт о французской, германской, польской или чешской дипломатии. Говорю, исходя опять из личного опыта. Что касается второй части вопроса, я думаю, что русская литература не может быть «русскоязычной», а только — русской литературой.

3. О нет (без восклицательного знака…), не сохраняет. Это известно ещё с начала прошлого века, со времён бурных авангардных событий. Так что и сегодня, когда я перевожу Хлебникова или Кручёных, заумников, конструктивистов (Хармса, например), я никак не могу думать о широкой массе румынских читателей, которые интересовались бы ничевоками, лучистами, футуристами, имажинистами и т. д. В мире всемирного распространения китча высокое искусство становится, вопреки воле его авторов, элитарным. Хотя китч считается массовой культурой, это, естественно, не имеет ничего общего — как говорится в вопросе — с требованием народности… К сожалению, актуальность касается уже только… псевдокультуры, дешёвой писанины…

   В то же время, в том же контексте нужно учитывать, что в мире возник новый тип писательско-читательского взаимодействия и читательского соучастия в литературе (интернет-коммуникация и сетевой резонанс). Нужно использовать адекватно и максимально эффективно для настоящей литературы и эту… виртуальную реальность.

4. Было бы правильно считать, что по своей натуре литература была и будет «антидиктатурной», антидиктатом. То есть — против любой формы диктатуры, и поэтому не надо абсолютизировать силу и назначение языка, признавая даже его… диктат. Ведь есть же «литература» не только в тексте, но и в подтексте; не только в словах, но и между слов. Даже вне слов. А если анализировать проблему в чисто семантическом смысле, то появится уйма теоретических соображений, и то, что сказал Бродский в своей Нобелевской речи, окажется просто невинным соображением по сравнению с мнением Ролана Барта, который писал, что «язык, как перформация всякой языковой деятельности, не реакционен и не прогрессивен; это обыкновенный фашист, ибо сущность фашизма не в том, чтобы запрещать, а в том, чтобы понуждать говорить нечто». Так что писателю лучше не напоминать о диктате, а если и делать это — только для того, чтобы отвергнуть диктатуру.

5. Только интеграционные перспективы. Корни будут и в дальнейшем национальны, а плоды (метафорично говоря) будут иметь более… интернациональный «вкус». Ведь Европа — это уже почти одно целое, транснациональное и даже сверхнациональное. У нас общность культуры, духовности. В любой стране мы не можем существовать нормально, «в полную силу», без осознания существования другого, других, наших близких или дальних соседей, с которыми мы являемся родственниками аж от… Адама! Родственниками по культуре, по религии, по европейскому духу. И в эпоху транскультурации мы должны дать отпор тем политикам, тем кондотьерам, как называл их Умберто Эко, которые твердят, что мы очень разные, непохожие друг на друга; кондотьерам, которые не хотят, чтобы мы проявили свои общие черты и в культуре, и в литературе. А в эпоху транскультурации эти перспективы не могут быть другими, чем объединяющими прежде всего интеллектуалов, людей искусства, творящих в разных странах, на разных языках. Растёт роль переводчиков, и они давно «ведут переговоры» об этих перспективах и верят в них; имплицитные, подразумеваемые «переговоры», которыми является, в сущности, их труд — именно переводы.

Игорь Панин

поэт, критик (Москва)

1. К сожалению, роль русского языка всё скромнее. Его меньше изучают за рубежом, меньше пользуются им. И это вполне объяснимо. Нашим государством правят временщики и дилетанты, им нет дела до русской культуры, истории, цивилизации. Они не понимают (и не хотят понимать), что свою культуру, свой язык надо пропагандировать, вкладывать в это немалые средства, как происходит в нормальных развитых странах. А у нас вбухиваются колоссальные деньги в какое-то мифическое Сколково, в Сочинскую Олимпиаду, в курорты Северного Кавказа. Это, конечно, печально. Вот знаете, я недавно беседовал с Инной Григорьевной Птушкиной — крупнейшим в нашей стране специалистом по Герцену. И она меня достаточно удивила, сообщив, что для западных литературоведов Герцен по-прежнему представляет интерес: его изучают, пишут монографии по его жизни и творчеству, проводят семинары. А у нас он давно и прочно забыт. Да и не он один. Нормальная ли это ситуация? Что, в нашем нефтегазовом Мордоре нет денег на культуру? Есть, конечно. Но тратятся они чёрт знает на что. Чего ж удивляться, что в мире падает статус «великого и могучего»? Дальше будет только хуже.

2. Я бы не стал делить литературу на собственно русскую и русскоязычную. Для меня русская литература — это то, что хорошо написано. А что плохо — это уже русскоязычное. Но вообще в последнее время всё более заметна одна очень нехорошая тенденция в нашей словесности. А именно: продвижение литераторов с национальных окраин за счёт ущемления интересов писателей титульной нации. Поймите, я не хочу ни в коем случае делить авторов по национальному признаку, но этим занимается наше государство, вот те самые фонды и министерства, которые курируют культурные программы. Сегодня, чтобы пробиться в литературе, гораздо выгоднее быть нерусским. Потому что с русского спросят двадцать раз, прежде чем примут по нему решение, а нерусский пройдёт по квоте для нацменьшинств. Это всё было ещё в прежнее время, когда переводчики «с нуля» создавали литературы малых народов, а полуграмотных акынов по распоряжению «сверху» назначали всесоюзными знаменитостями, но мы-то сейчас живём в другой стране! И вот я вижу: с каким-нибудь парнем из горного села носятся как с писаной торбой, номинируют на премии, награждают, возят по разным странам, где он представляет Россию, а вот тут же, рядом, — русский автор из какой-нибудь Костромы, не менее, а зачастую и более талантливый, но на него не обращают внимания, не продвигают, замалчивают. Я очень рад за парня из горного села, но мне обидно за костромчанина! Это ненормальная ситуация. Если горец пишет лучше костромчанина, то на здоровье — пусть получает премии и ездит по заграницам. Но лучше ли он пишет? Вот вопрос. Впрочем, этот перекос сейчас заметен не только в литературе, но и в повседневной российской жизни, отчего совсем уж не по себе становится.

3. Наверное, нет. Всё-таки писатели XIX века были, по сути, основными проводниками идей в народ. Они по праву считались властителями дум. Сейчас статус писателя сузился, а так называемые народные массы получают основную информацию не столько из книг, сколько из телевизора. Любой телеюморист в наши дни гораздо ближе и понятнее народу, чем писатель. Литературное пространство сжимается, как шагреневая кожа. С другой стороны — ничего страшного в этом нет. Тревоги прошлого века, что кино задавит театр, оказались напрасными. Театр и сейчас прекрасно существует и стал более элитарным, наверное. Вот к тому и идём: элитарные писатели, элитарные читатели.

4. Не подтверждает нисколько. Мне кажется, Бродский говорил, прежде всего, о себе, о своём. Ну и потом — он вообще много чего говорил…

5. Если мы говорим о национальных литературах, то как же они могут развиваться при транскультурации? Одно исключает другое. Это уже не национальные литературы тогда. И не развитие, а, наверное, мимикрия. Мне, например, интересен африканский автор, когда он пишет о родной природе, о предках, об обычаях своего народа. Но меня совершенно не волнуют его рефлексии относительно архитектуры московских спальных районов.

Итак, дорогие читатели, уважаемые коллеги и друзья, как видите, диапазон мнений о существовании «русскоязычной» литературы и правомерности употребления самого этого термина оказался весьма и весьма широк. Степень вовлечённости наших респондентов в предмет дискуссии и градус экспрессии большинства высказываний говорят о том, что поднятая здесь проблема литераторам, по крайней мере, небезразлична. Можно ли как-то сблизить позиции? Договориться о более или менее сбалансированном отношении литературного сообщества к феномену воплощения национальных духовных ценностей на неродном языке? Время покажет. Мы же будем рады всем откликам и репликам по поводу этой публикации и с удовольствием предоставим им место на страницах «ДиН».

215 лет со дня рождения ∴ Д*и*Н антология

Вильгельм Кюхельбекер

Участь русских поэтов

● ● ●

О сонм глупцов бездушных и счастливых!
Вам нестерпим кровавый блеск венца,
    Который на чело певца
Кладёт рука камен, столь поздно справедливых!
    Так радуйся ж, презренная толпа,
    Читай былых и наших дней скрижали:
    Пророков гонит чёрная судьба;
    Их стерегут свирепые печали;
    Они влачат по мукам дни свои,
    И в их сердца впиваются змии.
Ах, сколько вижу я неконченных созданий,
    Манивших душу прелестью надежд,
Залогов горестных за пламень дарований,
Миров, разрушенных злодействами невежд!
    Того в пути безумие схватило
(Счастливец! от тебя оно сокрыло
    Картину их постыдных дел;
Так! я готов сказать: завиден твой удел!),
    Томит другого дикое изгнанье;
    Мрут с голоду Камоенс и Костров;
    Шихматова бесчестит осмеянье,
    Клеймит безумный лепет остряков,—
    Но будет жить в веках певец Петров!
Потомство вспомнит их бессмертную обиду
    И призовёт на прах их Немезиду!

● ● ●

Горька судьба поэтов всех племён;
Тяжеле всех судьба казнит Россию;
Для славы и Рылеев был рождён;
Но юноша в свободу был влюблён…
Стянула петля дерзостную вью.

Не он один; другие вслед ему,
Прекрасной обольщённые мечтою,
Пожалися годиной роковою…
Бог дал огонь их сердцу, свет уму,
Да! чувства в них восторженны и пылки,—
Что ж? их бросают в чёрную тюрьму,
Морят морозом безнадёжной ссылки…

Или болезнь наводит ночь и мглу
На очи прозорливцев вдохновенных;
Или рука любезников презренных
Шлёт пулю их священному челу;

Или же бунт поднимет чернь глухую,
И чернь того на части разорвёт,
Чей блещущий перунами полёт
Сияньем облил бы страну родную.

Юрий Беликов, Максим Калашников

Пришелец с фронтира

Нет, мой собеседник не родственник отцу-создателю знаменитого «калаша» — Михаилу Калашникову. И даже не его однофамилец. И хотя не прочь сфотографироваться с автоматом Калашникова в руках как символом русских побед и планетарной борьбы бедных против богатых, но Калашников — это псевдоним Владимира Кучеренко. Впрочем, так сросшийся с ним, что его правообладатель в равной степени откликается и на Владимира, и на Максима.

Разумеется, читающий мир знает Максима Калашникова, автора футуристических книг, взламывающих код нашей действительности (одна из них так и называется — «Код Путина») и прорисовывающих пути выхода из хаоса и упадка. Вот они, эти произведения: «Сломанный меч Империи», «Битва за небеса», «Вперёд, в СССР-2», «Крещение огнём. Вторжение из будущего», «Цунами 2010-х», «Глобальный Смутокризис», «Россия на дне». Это далеко не все звенья в цепи написанного. Кое-кто даже усомнился: человеку за сорок, а он уже «нагородил» баррикады томов. Не прячутся ли за Калашниковым литературные рабы? «Прогнали мои тексты через компьютер, — усмехается наш герой. — Тот подтвердил: все книги Максима Калашникова написаны одной рукой».

«Человек модерна», он считает, что XX век — это скорее будущее, чем прошлое. И, по его представлению, будущее можно навести увеличительным стёклышком пассионарности. Интернет-сообщество помнит два открытых письма Максима Калашникова, адресованных: одно — президенту России, а другое — премьер-министру. Самое удивительное, власть отреагировала на эти письма не молчаливым игнорированием, не указующим перстом, а приглашением писателя Максима Калашникова для конструктивного общения — к заместителю главы президентской администрации Владиславу Суркову. Говорили ни больше ни меньше, а о модернизации.

Родом Максим — с фронтира. Это любимое его словечко, коим он обозначает русское порубежье в Туркмении, где, собственно, и явился на свет. С этой подробности и начался наш разговор.

— Максим, почему, на ваш взгляд, люди, вышедшие с национальной окраины Советского Союза, чаще выступают за русских и русскую идею, нежели русские представители самой что ни на есть глубинной России?

— А кто ехал на окраины, или — на фронтир, на порубежье? Какие русские? Непоседливые, энергичные, непьющие. Мои предки по маминой линии прибыли в Туркмению из-под Воронежа. Приехали строить АшГРЭС — крупную станцию, которая снабжала электроэнергией Ашхабад, да и сейчас снабжает. А батя мой был вообще шебутной. Сначала — матрос на морском спасательном судне. Потом — монтажник в Северном Казахстане. Затем оказался в Туркмении, где поступил учиться и маму мою нашёл. Туркмения — загадочная, необычная земля. Самый настоящий фронтир! Помню, там, в Туркмении, я бродил по развалинам древнего Парфянского царства — столицы Нисы. Я же читал легенду о том, как парфяне разгромили в пух и прах римского полководца Марка Красса. И вот ступаю по этим же самым камням. Это непередаваемое чувство! Когда ты идёшь по костям сарматских племён и знаешь, что где-то здесь ступала нога воинов Александра Македонского и жили римские пленники. Это край древних цивилизаций, северное порубежье империи Дария. А теперь здесь русские. Русые, светлоглазые. Мой класс в начальной ашхабадской школе был преимущественно славянским. И все славяне, как правило, были очень энергичными. Нет, никакой национальной вражды тогда не существовало. Мы вместе с родителями ходили на армянскую свадьбу. У меня был друг — туркменчонок Серга. Но при всём при том мы, русские, находились, в общем-то, в неславянском, в нерусском антураже. И само это состояние — когда ты пребываешь среди порубежного и чужого, — видимо, и расправляет ту внутреннюю пружину, которая начинает развивать в тебе русскость. И всё русское, великодержавное, оно в нашей семье воспевалось и сберегалось. И я чувствовал гордость за свою нацию. А поскольку читать в Советском Союзе начинали рано (я, например, — с пяти лет), то, погрузившись однажды в роман о Древнем Риме, я представлял себя римлянином на южных рубежах империи. То есть мог понимать местных — они мне не были чужими, и в то же время ощущал:

я—русский. А что такое русский для местных? Русский самолёт, вертолёт, телефон… Мы для них были цивилизаторами. Здесь фантастика перетекала в реальность. Вот сидишь ты над книгой Кира Булычёва и читаешь об охоте на драконов на другой планете. А по радио и телевидению—репортажи о спуске космического корабля «Союз» после стыковочного полёта «Союз»—«Аполлон». И ты подпрыгиваешь от радости: мы идём в космос! Мы—великая держава. В Ашхабаде, смотрю, в магазинах—новые магнитофоны, на улицах старые «Москвичи» сменяют «Жигули». Страна обновляется на глазах! Настаёт вечер—и в воздухе появляются летучие мыши. Их полёт очень характерен. И ты—в каком-то волшебном мире. Вот там—Каракумы. Из окна моего дома видны голубые горы Копетдага. И хочется крикнуть: «Смотрите, мы от Волго-русского междуречья дошли сюда!» И, наверное, та мечтательность, которая сегодня проступает в книгах Максима Калашникова, родилась именно тогда. Мне казалось, что прочитанные мной фантастические романы пересекаются с той жизнью, которою живу я, над чьим домом летают реактивные истребители, оставляющие белые инверсионные следы. Вот она, Империя! Недалеко—аэроклуб. И я любил наблюдать, как в небе из корпусов Ан-2 вываливаются точки и расцветают куполами парашютов. Я не чувствовал, что живу в неразвитой стране. Наоборот, меня переполняла сила!..

—Но согласитесь: на протяжении многовековой отечественной истории русская мысль в основном проигрывала. Взять эпоху Петра Первого, которого нельзя назвать проводником абсолютной русской идеи. Когда после Октябрьского переворота её носителей по распоряжению Ленина отправили на «философском пароходе» за рубеж, русская мысль тоже потерпела насильственное фиаско. Если взять новейшую историю с обществом «Память» и «Русским национальным единством» Баркашова, то и здесь мы становимся свидетелями краха русской мысли и русского движения. Отчего, по вашему мнению, это происходит?

—Постараемся разобраться. У меня, во-первых, есть странное чувство, что моё поколение должно было взять реванш. Если бы нас не подрезали в тысяча девятьсот девяносто первом году. Именно потому Горбачёв для меня—личный враг. Мы должны были повести звездолёты, создать философию космической экспансии русского превосходства. Но нашу жизнь погрузили в дерьмо, заставили нас выживать. И мы потеряли время и силы. Я не страдаю манией величия, но те же книги Максима Калашникова—это попытка победоносной философии русских. Русские проигрывают из-за того, что они слишком часто зацикливаются на прошлом. Начинают обороняться, когда надо наступать. Почитайте тех, кого выслали на «философском пароходе». И здесь я согласен с русским мыслителем Иваном Солоневичем: большинство из высланных—балласт. Один Бердяев чего стоит. Это же сплошные умственные метания…

—Стало быть, Ленин был прав?..

—Это было зло, сотворённое во благо. Но о Солоневиче я сожалею. При всей неоднозначности его фигуры, в нём присутствует агрессивная наступательность. Можно, конечно, говорить, что он жил в гитлеровской Германии. Но перед Западом никогда не преклонялся. Мы сами—ценность. Мы—лучшие! И я его работы перечитывал много раз. Я—не антисоветчик, как он. Но мне нравится его русский задор. И думаю, что мы могли бы быть такими. И надеюсь, ещё будем. Чем обычно страдала русская интеллигенция? Смотрела на Запад как на нечто ушедшее далеко вперёд. А теперь Запад тоже в тупике. И сейчас у нас появляется шанс. Не могу сказать, используем ли мы его. Но надо постараться. Потому что мы, русские, пережившие страшную катастрофу—развал Советского Союза, оказывается, выжили. А кто выжил, тот, как известно, приобретает интересные качества. Во-первых, мы знаем, что ждёт Запад. Хотя нас пытаются вовлечь в новую катастрофу—вторую перестройку.

—Что вы подразумеваете?

—Некоторые люди уже говорят, что РФ—это недоразваленная империя, что её бы надо доразвалить. То есть сейчас намечается второй ельцинизм. Помните, Ельцин в своё время заигрывал с русским национализмом? И русские националисты на эти заигрывания повелись—тут уж из песни слова не выкинешь. И теперь задача выживших после крушения СССР и приобретших на этом «радиоактивном пепелище» интересные качества—не допустить очередной катастрофы. Что касается меня, то я поступаю по такому принципу: бросай зёрна своих идей, и они каким-то образом да прорастут.

—А я вот уже себя не обнадёживаю, что некие идеи способны в нынешней России укорениться и дать всходы…

—Но я же на одну половину—упрямый хохол. Для меня идеал—книжка, которую в детстве принёс батя, Александр Кучеренко. Она—про моряков сторожевого корабля «Туман», на который выскочили три гитлеровских эсминца. «Тумановцы» сражались до последнего, пока вода над пушками не сомкнулась. Есть знаменитая картина: двое у пушки, а третий военно-морской флаг держит, сбитый с мачты. И я тоже буду стрелять из пушки, пока она под водой не скроется.

— Вы основали сетевое «Русское братство». В то же время называете себя «человеком из другой реальности, гражданином Империи». При этом в Интернете вас можно увидеть в красной майке с логотипом «СССР». И крушение Советского Союза вы восприняли как личную трагедию. Как сочетается в Максиме Калашникове фанатизм русской идеи и ностальгия по СССР?

— Они синтезируются. Что я беру от СССР? Конечно, мне не нужен дурной интернационализм. Использовать русский народ в качестве топлива для каких-то сомнительных проектов — это кощунство. В СССР была одна ценная вещь, которую надо взять на вооружение. Это идея того, что жизнь можно спроектировать, если за тобой всё рухнуло. По моему глубокому убеждению, старая Россия покончила жизнь самоубийством. Ей помогли в этом. Но тысячи пломбированных вагонов и миллионы вложений англо-французских и американских банкиров не произвели бы никакого эффекта, если бы в России не существовало сильнейших внутренних противоречий. Они — детонатор. И мы геройски кинулись резать друг друга…

— В августе тысяча девятьсот девяносто первого я волею обстоятельств оказался у «Белого дома» в Москве. И был среди его защитников. Но уже месяца через два после событий я задал себе вопрос: «Что на поверку ты защищал?» И ответил, что защищал власть вскоре нагрянувших лавочников и бакалейщиков, ставших ныне олигархами, министрами и губернаторами, исправно обслуживающими первых. На наших плечах они въехали в нынешнюю Россию. Когда начался суд над ГКЧП, помнится, кто-то пробросил идею, что, дескать, вы ещё гэкачепистов вспомните добрым словом. А кто-то их уподобил даже декабристам. Могла ли быть историческая заслуга у этих людей? И мог бы ГКЧП реально повлиять на ход российской истории?

— Мог. Но я бы их тоже судил. За то, что они всё сделали через известное место. Они обладали такими возможностями, которые нам сегодня могут только сниться. Тогда мне было двадцать четыре с копейками. Сейчас — сорок пять. За эти двадцать лет я многое узнал, что было у Советского Союза даже в тысяча девятьсот девяносто первом году. Мне вспоминается очень интересный эпизод. Я тогда работал в одной из московских газет. ГКЧП поступил безграмотно: составил сразу же список запрещённых газет. В том числе — нашей. Этого не надо было делать. В газете уже были готовы полосы: «Ура! Наконец-то ГКЧП услышал зов народа!» Гамсахурдия прислал из Грузии телеграмму: «Я приветствую ГКЧП!» С Украины — Кравчук, будущий лидер её самостийности: «Мы давно ждали, когда начнётся наведение порядка!» Дело в том, что на тот момент у страны имелись большие промышленные возможности, огромные стратегические запасы. Карабахский конфликт и все эти возникшие народные фронты были следствием трусливости и бездействия центра. Как только бы их адепты увидели настоящую силу, они бы тут же прижали хвосты и подняли бы лапки кверху. Тем более что было на кого опереться — на объединённый фронт трудовых коллективов, на армию…

— Я помню, мой учитель, тогдашний чусовской журналист Вилорий Глухов, некогда бывший участником венгерских событий в составе наших войск, когда я вернулся после «Белого дома» и начал обо всём этом с жаром рассказывать, бросил такою фразу: «Путчи не делаются в белых перчатках!»

— Будь во главе путча Максим Калашников, тем более в нынешнем сорокапятилетнем возрасте, пощады бы не было! Есть один современный исследователь. Он сказал очень здорово о том, чем ценна здесь роль Сталина. Органическое развитие старой России вело к тому, что она повторяла судьбу Австро-Венгрии и могла распасться на разные государства. Те же немцы имели возможность навертеть нас на гусеницы. И Сталин понял, что надо проектировать. И вот это проектное начало необходимо брать за основу сейчас, потому что то же органическое развитие Российской Федерации идёт к концу. Это можно доказать, держа в руках демографические выкладки, показатели износа основных фондов, отставания в науке, техники и промышленности. Американцы нас уже списали. Вице-президент США Джозеф Байден заявил: дескать, нам пятнадцать лет осталось. А Джордж Фридман, глава мозгового треста «Стартфор», выпустил книгу «Сто ближайших лет», где чётко пишет, что к две тысячи тридцатому году РФ не будет. Значит, у нас есть только один способ — снова спроектировать собственное будущее. И когда я ношу на своей майке логотип «СССР», у меня под майкой теплится идея о спроектированном будущем России.

— Насколько всё то, о чём вы сейчас говорите, понимают в администрации президента? Вы же общались с Сурковым и Собяниным, когда он был в ранге вице-премьера.

— С Собяниным я общался чисто ритуально в течение пятнадцати минут. А Сурков — существо другого порядка. Сурков по-своему очень умён. Но это — дитя постмодернизма.

— Редкий случай, когда рядовой гражданин Калашников, пусть писатель-футуролог, приглашается к царю. Ну, если хотите — к близкому царедворцу. В своё время, когда кто-то сочинял письма царям или генсекам, их нередко упекали в психушки. Как в песне Высоцкого: «Но гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил, чтоб не писал и чтобы меньше

думал!» И то, что Максим Калашников после открытого письма президенту был принят на уровне заместителя главы президентской администрации,—это о чём-то да говорит? Или—о некоем варианте «царской забавы»? Или…

—Я думаю, это объясняется кризисом жанра. Они, начиная с тысяча девятьсот девяносто первого года, осуществляли политику так называемых радикально-рыночно-монетарных реформ. Дважды эти реформы накрылись медным тазом. Сначала—в ельцинском варианте, кончившемся катастрофой тысяча девятьсот девяносто восьмого года. Второй раз—в две тысячи девятом, когда политика приватизированного государства и лжегосударственных корпораций серьёзно пошатнулась. Но дело в том, что они—существа совершенно другого порядка. Их мысли движутся в ином направлении. Они по-другому понимают те же наши слова…

—Например?

—Не будем далеко ходить. Вот Пермь. Казалось бы, хорошая идея и лихой замах. Кто ж против, чтобы город стал культурной столицей Европы? Но посмотрите, к чему сводятся все инновации. К тому, что разрисовали заборы абстрактными человечками с надписью «Гонконг», «Париж», «Лондон». Установили возле краевой библиотеки имени Горького «яблочный огрызок». Возвели в виде поленницы букву «П». Они принесли в Пермь атмосферу постмодернистского карнавала. Раскрашивание помойки и руин. Так они понимают инновации. Если, допустим, перевести это на российский уровень, то не так давно за ту же инновацию дали премию группе «Война», изобразившей на мосту гигантский фаллос. То есть единственно, что могут эти существа,—это раскрасить помойку, учинить пляски вокруг недостроенного реактора и нарисовать хрен на разводном мосту. Их отличительная черта—они пытаются не быть, а казаться. На самом деле это—перепевы американского художника Энди Уорхола шестидесятых годов прошлого века, давно умершие на самом Западе. И у этих существ ничего не получится. Культура сильна своим сцеплением с верными порывами страны. Давайте напомним, что могучий русско-советский прорыв в космос был сопровождён мощнейшим всплеском отечественной научной фантастики. «Туманность Андромеды», «Сердце змеи», «На краю Ойкумены», «Час быка»… Вспомните все эти романы Ивана Ефремова. Они погружали людей в эту реальность.

—Мне кажется, именно тогда русские были космичны как нация!

—А вы знаете, что у нас был свой певец будущего развития и будущей индустриализации? Александр Беляев! Самое известное его произведение—это, конечно, «Человек-амфибия». Но ведь есть и другие его романы: «Звезда Кэц» (орбитальная станция), «Ариэль» (летающий человек), «Волшебный гуаш» (подводная техника плюс телевидение), «Пахари моря» (это безумные красные русские, которые на Дальнем Востоке основывают подводный колхоз! Изобретают там источник энергии, сверхъёмкий аккумулятор, утирая тем самым нос японским империалистам). А Григорий Адамов? В его «Тайне двух океанов»—предтеча атомных подводных лодок с ультразвуковым оружием—оружием будущего. А его «Повелители недр»? Это—путешествие на подземоходе в глубь Земли. И «Конец владыки» того же автора—преобразование Северного морского пути. То есть отечественная фантастика готовила будущий русский прорыв. Готовила уже в двадцатые-тридцатые годы прошлого века. Чертила орбитальные станции и великие стройки. Тот же Александр Казанцев что писал! Вот это и была авангардная культура, а не то, что сейчас выдаётся за современное актуальное искусство. Как Ефремов, Беляев, Адамов и Казанцев готовили этот прорыв, я, собственно говоря, вижу. Но как галерист Гельман может подготовить прорыв в будущее?.. Если инновациями считать применение этого «мусорного», постмодернистского искусства, гнилого товара позавчерашнего дня, то я не представляю, каким образом можно с помощью вышеперечисленного уподобиться идее прорыва.

—Известный политтехнолог Станислав Белковский назвал вас «человеком модерна» и «мечтателем-футурологом». Вы с этим определением согласны?

—Да, но я всегда с гордостью говорю: «Я—человек двадцатого века. И горжусь этим…»

—Стоп. Двадцатого? А не двадцать первого?

—Пока человек двадцать первого века показывает себя как гламурный идиот, утративший ориентиры образования, в общей массе не умеющий читать, наделённый мышлением на две-три фразы, с разорванной, хаотичной картиной мира. Он не знает, что происходит в лабораториях учёных. Треть наших современников уже уверена, что Солнце вращается вокруг Земли. Большинство людей двадцать первого века понятия не имеют о географии. Они не верят в способности человеческого разума и силу человека. Пока что человек двадцать первого века—декадент, достаточно унылый или предающийся сладкому забытью и наркотическому драйву. А я—человек двадцатого века и считаю, что двадцатый век—скорее будущее, чем прошлое. Я замешан на вере в науку, в разум, в способности русских сделать всё возможное и невозможное. Русские были главными

заводилами двадцатого века. Мы шли впереди всех и задавали логику истории.

— Стало быть, «Вперёд, в СССР-2», как называется одна из ваших книг?

— Да, но это не копия первого СССР. Я считаю, что нам нужно сохранить триединство: малороссов, белорусов и великороссов. Вот становой хребет. Закавказье нам не нужно. Средняя Азия — в лучшем случае как колония. Пусть её республики остаются формально независимыми. Но есть способы их колонизации. Они тоже в ловушке — их можно поймать. Среднюю Азию ждёт страшный водный голод. Там начнутся войны из-за воды. И никто — ни Турция, ни Китай, ни Америка — ни за какие деньги не дадут им воду. Воды нет! Я читал записки графа Витте и слышал рассказы отца, который приезжал из Института пустыни в Ашхабаде. Там же древние лёссовые пески. Они очень плодородны. Но нет воды. А воду могут дать только русские. А в обмен за воду можно требовать всё: преданность, нейтралитет, часть урожая и минеральное сырьё.

— Насколько повлияло на вас творчество Александра Солженицына, и в частности — его работа «Россия в обвале», название которой приходит на память, когда думаешь о вашей книге «Россия на дне»?

— Вы можете меня ругать, но я Солженицына активно не приемлю! Этот человек был уличён во лжи в «Архипелаге ГУЛАГ». Я не люблю искусственный язык Солженицына. Многие его слова вычурны — на таком языке не говорят. Я не навязываю своих вкусов, но, соответственно, Александр Исаевич никак на меня не влиял. В Солженицыне было слишком большое отравление прошлым. Прошлого уже не исправишь. И в миллионный раз плакать, что там натворили монголо-татары, Иван Грозный, Пётр Первый или большевики, бессмысленно и нелепо. Надо думать о будущем. А русские, к сожалению, кидаются: «Нельзя забывать свою историю!» Но когда история начинает тебя захватывать всего и ты, вместо того чтобы размышлять о будущем, опять пережёвываешь минувшее, переигрываешь Гражданскую и Великую Отечественную, плачешь о том, как плохо, что большевики в тысяча девятьсот семнадцатом пришли к власти, — я думаю, это потеря времени.

— Однако если вспомнить теорию пассионарности Льва Гумилёва, эти приливы и отливы национального самосознания и движения биологических масс, то приходишь к ощущению, что русские как нация сейчас — на спаде, на том самом «Смутокризисе», о котором вы, собственно, и пишете?

— Не забывайте, что пассионарность может наводиться. Пусть нас будет не большинство, но достаточно таких вот неуёмных, буйных мечтателей, которые могут заразить других…

— Ермак и его дружина?

— И в этом — надежда. Может не получиться — знаю. Но надо пробовать. В моих руках не было ни телевидения, ни своей газеты. У меня нет миллиардов долларов на спутник для вещания. Книги были и остаются единственным моим доступным оружием. Через них я попытался передать мечту о будущем. И книги мои — это хор. Это — не ария. Я всегда стараюсь, чтобы в них звучало как можно больше голосов других людей — мечтателей и создателей будущего. Поэтому я буду пытаться ловить солнечные лучи увеличительным стёклышком пассионарности. И наводить это стёклышко в нужную сторону.

Елена Крюкова

Космос и камень

К 75-летию со дня рождения Владимира Капелько

Этот человек сказал когда-то:

> Ведь любовь — это дом в пути,
> Чтобы было куда прийти
> И откуда уйти.

Эти строчки выбиты в моём сердце, как выбивали древние художники рисунок на камне — острым рубилом; «откуда *уйти*» — значит, уйти не из дома, не в снег и метель, не в одиночество и трагедию: уйти — в небо и свет, вверх, в смерть, которая — внезапно — становится жизнью.

Владимир Феофанович Капелько, художник и поэт, — как любил он вкусную и яркую жизнь, её боль и радость, её кровь и душу, её рыб, птиц, зверей и женщин! Архаические художники воистину стали его братьями: он протягивал им живую руку, касался кровного дела их рук, старательно и осторожно перетирая — на тонкую ткань — выщербины и выбоины на первобытных грубых камнях Тепсея, на скалах Каа-Хема и Бий-Хема, на жарких гранитных плитах Оглахты.

И так встречались: рука и рука.

Капелько, для друзей — Капеля! Чистая душа. Художник чист, как ребёнок. Даже если пьёт-гуляет; даже если за женщинами дерзко волочится; даже если ночами марает бумагу — ибо какой русский живописец без стихов, и какой поэт не веселится, краски на холст бросая, слоями накладывая?

Капеля запечатлевал жизнь щедро и страстно. Но над изобильной и густой, как масло, ароматной и нежной по-женски землёй расстилалось — пари́ло — поднималось всё выше и выше — чистое прозрачное вечное небо. И масло уступало место акварели. А акварель внезапно превращалась в жёсткую графику. А графика — карандашный штрих, резкая стрела туши — обращалась в эти космической мощи линии, круги и стрелы, выбитые на древних скалах, вбитые в камни.

Так твоя душа становится крепче камня, художник.

Крепче камня и твёрже небесной тверди.

Капеля женился на любимой своей — Эре Антоновне — и вместе с нею ездил в археологические экспедиции: Земля поворачивалась к супругам, разгадывавшим тайны древности, своим самым тёплым, самым материнским боком.

То, что сделал Капелько для истории, для археологии и для истории искусств, не только бесценно. Его действие, деяние внутри культуры уникально. Своими перетирками он спасал — и спас — от гибели — для земной памяти — множество наскальных изображений: из них можно составить целую книгу, целую первобытную Библию, патерик первобытный, культурный свод не просто рисунков — тайнописи мироздания, петроглифической космологии.

Эра Антоновна говорит, показывая на Капелины перетирки, ходя вокруг них, любовно обводя рукой этот рукотворный Космос, который есть зеркало Космоса внешнего, объективного, пугающе великого: «Вот это и есть Бог!»

Да. Подпишусь под словами Эры Антоновны всей жизнью и кровью.

Художник запечатлевает бытие Бога. Древние спокойные личины Мира Верхнего, страшные сущности Мира Нижнего: эти философемы, как древних охотников стрелы, пронизали пространство и время, докатились — колёса хакасских, хуннских, кушанских колесниц — до наших дней. Значит, художник фиксирует и путь Бога, и Его портрет, и всю природу — дворец, где Он живёт, не умирает.

А мы умираем. Мы все уходим. И мы все — уйдём.

И Капеля ушёл; и что же? Таков бессрочный, важный и медленный ход звёзд и планет, древний ход светил — над нашими сиротьими, голыми головами.

Человек — не камень. Человек — живой и тёплый.

Человек любит, страдает, ошибается, падает и опять встаёт.

А художник — вдвойне человек, человек в квадрате: он падает больнее, ошибается беспощаднее, расправляет плечи шире, любит — безоглядней.

Картины Капели! Живите. Дети и внуки Капели! Живите, вырастайте, рожайте ему правнуков. Продолжается род, и песня рода слышна издали — наша песня — тем, кто придёт после нас.

И выбитое на камне не сотрётся, не исчезнет, хотя и камень разрушают дожди и ветра, и скалу точит вода, и злые непомнящие люди перегораживают вольный ход реки плотиной, чтобы под толщей рукотворного злого моря погибли выбитые на камне космические знаки, символы любви, скрижали Бога.

Древний художник, шаман, заклинатель, певец! Ты—не злодей, никакой ты не дьявол. Ты брат наш и друг наш. Мы тебя чувствуем. Мы тебя помним.

Мы тебя—видим.

Капеля тоже видит тебя.

Капеля говорит с тобой.

Потому что теперь наш Капеля знает твой язык, великий архантроп, выбивший на скале знак Солнца и знак Луны, знак Дома и знак Земли, знак Неба и знак Сердца.

Космос—не камень. Космос—живой.

Капеля никогда не станет памятником.

Хотя о нём все мы—всегда—пока живы—будем помнить.

125 лет со дня рождения ∴ ДиН антология

Игорь Северянин

Неземные цветы на земле

● ● ●

И будет вскоре весенний день,
И мы поедем домой, в Россию…
Ты шляпу шёлковую надень:
Ты в ней особенно красива…

И будет праздник… большой, большой,
Каких и не было, пожалуй,
С тех пор, как создан весь шар земной,
Такой смешной и обветшалый…

И ты прошепчешь: «Мы не во сне?..»
Тебя со смехом ущипну я
И зарыдаю, молясь весне
И землю русскую целуя!

● ● ●

Качнуло небо гневом грома,
Метнулась молния—и град
В воде запрыгал у парома,
Как серебристый виноград.

Вспорхнула искорка мгновенья,
Когда июль дохну́л зимой—
Для новых дум, для вдохновенья,
Для невозможности самой…

И поднял я бокал высоко,—
Блеснули мысли для наград…
Я пил вино, и в грёзах сока
В моём бокале таял град.

● ● ●

Десять лет—грустных лет!—как заброшен в приморскую глушь я.
Труп за трупом духовно родных. Да и сам полутруп.
Десять лет—страшных лет!—удушающего равнодушья
Белой, красной—и розовой!—русских общественных групп.

Десять лет—тяжких лет!—обескрыливающих лишений,
Унижений щемящей и мозг шеломящей нужды.
Десять лет—грозных лет!—сатирических строф по мишени
Человеческой бесчеловечной и вечной вражды.

Десять лет—странных лет!—отреченья от многих привычек,
На теперешний взгляд—мудро-трезвый,—ненужно дурных…
Но зато столько ж лет рыб, озёр, перелесков и птичек,
И встречанья у моря ни с чем не сравнимой весны!

Но зато столько ж лет, лет невинных, как яблоней белых
Неземные цветы, вырастающие на земле,
И стихов из души, как природа, свободных и смелых,
И прощенья в глазах, что в слезах,—и любви на челе!

Владимир Капелько

Я улыбаюсь жизни…

● ● ●

Плаща брезентовые крылья за плечами
По ветру машут. Я, как саранча,
Монгольскими скачу солончаками,
Копытами кобылы стрекоча.
На солнце блещут белые подковы.
В два пальца свищет сыромятный бич.
Бараний череп надвое расколот.
Монголия-страна. Степная дичь.
Аркан, плетённый из хвостов кобыльих,
Седло скрипучее из красных конских кож—
Всё посерело от солёной пыли,
Заржавел от солёной пыли нож.
Рубаха на спине хрустит от пота,
На шее бьётся чёрный амулет.
Мчусь напрямки, мне нету поворота.
Верблюжий под копытами скелет
Звенит костями белыми, как сахар,
По небу солнце белым колесом
Без скрипа покатилося на запад,
Сурок под землю прячется на сон,
Гадюка намоталась на подкову,
Поднялась запылённая луна…

Бараний череп надвое расколот.
Монголия—восточная страна.

Песня нганасанина

Я, бронзоволикий,
Плыву в плоскодонке.
Глаза—голубикой
В прорезях тонких.
Отец у меня—нганасанин.
И мать моя—нганасанка.
Вода перед лодкой—усами.
Я плыву в Волочанку.
Сегодня там будет праздник,
Очень хороший праздник,
Очень весёлый праздник.
Я еду с отцом на праздник.
Нас солнце речное дразнит,
Широкоскулое солнце.
Лицо моё тоже как солнце,
Я еду с отцом на праздник.
Я улыбаюсь солнцу.
Я улыбаюсь жизни…

● ● ●

Нас сжигает любовь дотла,
Как сжигает огонь дома.
Мы горим, как трава в суховей,
А в груди груды жарких углей.
А в груди груды чувств и страстей,
А любовь—будто дом из жердей,
А мы ищем прочнее дома,
Чтоб из брёвен стена.

Постучусь, ты меня впусти.
Ведь любовь—это дом в пути,
Чтобы было куда прийти
И откуда уйти.

● ● ●

Здесь ни дерева, ни кустика.
Здесь трава короче пальца.
Раскатись по степи, грусть-тоска,
Отлиняй с меня, как с зайца.
Здесь такие дуют ветры!
Гладят голые вершины.
Километры, километры
Со скотиной… За скотиной.
Я по степи, я по степи—
Днём и ночью, днём и ночью,
А на сердце дружбы цепи,
Между прочим, между прочим.
Я по степи на кобыле
Пегой масти, пегой масти.
Про меня уже забыли,
Я за счастьем, я за счастьем.
Я за волей, я за волей,
Я за сказкой, я за сказкой,
Я за сказкой-синеглазкой.
Волки воют, волки воют.
Вдоль дороги воют волки.
Я по камням, я по камням,
На монголке, на монголке.
Где мой Каин? Кто мой Каин?
В небе месяц, в небе месяц
С заострёнными рогами,
К Чёрной речке морду свесил
Вниз рогами, вверх ногами.

● ● ●

Сияла во главе всего стола
Самодовольная свинячья голова
На сковороде румяная шкворчала
Источала сало
Нафаршированная квашеной капустой
вкусной
Вокруг как ожерелье огурцы
Посыпанная клюквою мороженой
Стояла водка во главе свинячьей головы
Гранёные сияли стаканы
Пустые…

Свадебное

Как валенки хрустят по снегу звонко,
Хрустят огурчики у сватов на зубах.
Брусника, грузди, водка, самогонка…
Родни, соседей — полная изба.
В сенях хрустят промёрзло сапогами,
И под окном хрустят —
у нас сегодня свадьба!..
Пьют…
Пропивают брата моего —
Брат женится.
Брат взял соседку Катю.
Она сидит в нарядном белом платье.
Вся новая. Какая-то другая.
А брат в стаканы водку наливает.
Пьют и поют,
Роняют хлеб в рассол.
Пьют и горланят:
— Горько!
— Горько!
— Горько!
А мать в углу сморкается в подол…
Я за братана тоже выпил рюмку —
Горько.

● ● ●

Художнику Борису Молчанову

Оленя мне жалко немножко.
Олень мой устал немножко.
Загнал я оленя немножко.

Уткнулся он в землю рогом.

Достану я тонкий ножик.
Острый, как хиус, ножик.
Белый, как молния, ножик.

Сделаю жертву Богу:

Чтоб удачной была охота.
Чтобы лёгкой была охота.
Песца мне добыть охота.

Добуду — жене отдам.

Бабье лето

Алле Покровской

Листопад.
Слова невпопад…
Невозможный, осенний,
потерянный взгляд.
. . . .
Перезрелые ягоды с веток летят.

В листья падают девочки
И покорно лежат.
Поднимаются женщины…
Листопад!

Начинаются женщины…
Превращаются в баб.
Сентябрём обесцвеченные
В листопад.

Наговорное

Я до капли выжму
желчь земли,
Да смешаю с ядом
от змеи,
Да добавлю соку
из берёз
К песне от несмазанных
колёс.
А для сердца — капельку
тепла
С угольком дымучим
из костра.
Всё перемешаю
в чумане.
На ночь схороню
в трухлявом пне.
Пусть над ним качает
ночь сосной,
Пусть сова бормочет
сатаной,
Пусть над ним толпятся
комары,
Те, что днём томятся
от жары.
А когда заря проткнёт
восток,
Зелья этого глотну
один глоток,
Чтобы по-земному
подобреть,
Чтобы хоть немного
помудреть,
Чтобы, как берёза,
побелеть,
Побелеть да малость
поумнеть…

Владимир Алейников

Вокруг самиздата

Говоришь: самиздат—и опять оживает в ночном неприметном окне столь знакомый и всё же особенный, истовый свет, и упрямо горит, и негромко зовёт, и привычно ведёт—сокровенной, пустынной тропою, сквозь недобрую мглу отшумевшей, ушедшей эпохи.

Самиздат. Вот уж слово так слово!
Сказанное—как выдохнутое.
Найденное—на редкость удачно и очень точно.
Хочется думать и верить—единожды и навсегда.
Ранее безымянному—давшее светлое имя.

Так, искони, по наитию, по чутью, ведущему к свету, за которым встаёт сияние новых форм и гармоний новых,

вдохновенно—и на века, за внешними очертаниями, за каким-то общим, клубящимся вдалеке, томящим, зовущим к небесам, астральным, начальным, речевым, ключевым, тревожным, приворотным, невыразимым, неизбежным, необходимым,

или, в тон ему, зазеркальным, запредельным, за гранью, зримой или слышимой, музыкальным, с ворожбою неповторимой, с тем пространством, в котором время ветерком просквозит по скулам, чтобы всех примирить со всеми, всеобъемлющим, светлым гулом,

за совокупностью множества компонентов, штрихов, деталей, черт, акцентов и характерных, только тайне присущих примет,

за всей роящейся, реющей, набухающей, разрастающейся, сплетающейся в единство туманное хаотичностью некоей прочной, защитной, странной, весьма условной, но реальной, меж тем, действительно существующей оболочки, сознательно, самозабвенно, ревниво, настороже находясь постоянно, бессонно, пребывая в том состоянии, за которым начнётся что-то небывалое, не такое, как привыкли думать, нежданное, ни на что не похожее, свежее, даже, может, неповторимое (проверяющее на прочность очевидцев и знатоков, если впрямь таковые найдутся, чтоб судить потом да рядить, что же было такое создано, дабы разом обескуражить, оптом, всех, без изъятий, умников и умельцев больших, подводить под любое создание, Божие ли, человеческое ли, не всё ли им равно, троглодитам, нужную для чего-то бредовую базу, позабыв об этом спросить у Вергилия или у Данта), неустанно, без объяснений, что к чему, зная правду свою, развёрнутою метафорой обволакивающей, хранящей ядро матерьяльное сути,

сразу же, всем существом своим, и слыша, и прозревая одновременно, как водится в эмпиреях наших (а с ними вместе в яви земной, достаточно вам знакомой, надеюсь, читатели вероятные и толкователи всё привычное вам раздвигающего занавесками на окне сочинения моего,—перед вами оно), и звучащий и светящийся—из сердцевины по-младенчески ждущего имени собственного явления—внутренний, безукоризненно верный, живучий образ,

нарекали, наверное, вслед за бесстрашными предками нашими, все решительно прирождённые (только так и никак иначе, только так, потому что в искусстве, как и в области путешествий по земному шару и в космосе, и в любом измеренье и времени, состоянье любом и пространстве, по-другому и не бывает) открыватели ранее бывшего лишь фантазиями, неведомого—

в нашем-то, вот уж действительно загадочном и представляющем собою (как ни крути, как ни ворчи на него, в особенности когда устанешь, или в хандре пребываешь, или в тоску впадаешь, или в отчаянье, или находишься где-то вдали от всех и всего, как я, например, годами, поглядывая в одиночестве и отшельничестве своём на Святую гору, встающую за окном, за холмом, впереди, высокую, выше всех окрестных гор, монолитную, поросшую лесом, подолгу, до ноября, зелёным, а потом багровеющим, алым, золотым, воздушным, сквозным, над которым столько простора в небе, ясном ли, мглистом ли, всяком, из каприза ли, из-за погоды ли, ну а может, и под настроение, как сейчас у меня, когда в доме тихо, пустынно, и свет в окна входит, на юг выходящие, словно Бах, Иоганн Себастьян, мой учитель и собеседник многолетний, в осточертевшем, как-то вкривь, нелепо сидящем на его голове, переполненной дивной музыкой сфер, парике, и срывает этот парик, и швыряет его подальше, с удовольствием сопровождая для надёжности крепким словцом, и садится за фортепьяно, и, помедлив, играть

начинает, и тогда из-под пальцев его, узловатых, крепких, натруженных, как-то просто и в то же время, несомненно, чудом, как в сказке иль во сне, возникают мелодии, и звучат, и встают, как дети многочисленные его, счёт которым давно ведётся на десятки, так уж выходит, ничего не попишешь, наверное, что же делать, планида такая, и встают помаленьку на ноги, и растут, и потом разбредаются, кто куда, кто за кем, по комнатам, по двору, за калитку, на улицу, к морю, в горы, куда-то совсем далеко, не видать отсюда, и мелодии разрастаются, становясь постепенно явными световыми кругами, сгустками, фосфорическими шарами, неизведанными планетами, недоступными непосвящённым, фантастическими, возможно, и, скорее всего, мистическими, для кого-нибудь и лирическими, но в основе своей трагическими, в полной мере полифоническими, честь и слава творцу, мирами, за которыми вижу я, как в бинокль, откуда-то взявшийся, не иначе как по волшебству, ну а может быть, и сложившийся из мелодий светящихся баховских, прозревающих всё, что может прозревать и предвидеть музыка, проникающих в суть явлений, в глубь событий земных, вдалеке, посреди бездомиц былых, на московских улицах мрачных, к человечеству равнодушных, самого себя, молодого, с головой разбитой, в крови, пробирающегося куда-то, по колено в снегу, зимой, в лютый холод, сквозь боль, вперёд, и мечтающего хоть где-нибудь отдышаться, прийти в себя, только где—да кто его знает, при заведомом изобилии разномастных знакомых столичных днём с огнём не найдёшь такого, чтобы выручил, чтобы рядом побыл, пусть и недолго, но всё-таки побыл рядом, хоть одного, и приходится, как и всегда, из упрямства вставать, подниматься, проявлять в который уж раз волю, снова терпеть, идти неизвестно куда, зачем-то ждать чего-то, чего—кто знает, уж наверное, лучших времён, бормоча какие-то строки тех, давнишних, своих стихов, замечая, как возникают из разрозненных строк мелодии, поднимаясь и разрастаясь, непрерывно звуча, светясь и уже становясь врачующей и сознанье, вдруг прояснившееся, и разбитую кем-то неведомым, впрочем, ясно, кем именно, голову, и мою смятенную душу, настоящей, живучей, искренней, личной, кровной, спасительной музыкой, той, с которой надо мне выстоять и на этот раз, той, с которой суждено мне и в будущем быть, между тем как Бах, превращаясь окончательно в свет, кивал мне головою седой своей, не прощаясь и обещая навещать меня, и звучала жизнь сама, и судьба сама с ней звучала, и веял с гор ветер южный, и реял хор поднебесный, незримый, дар полнозвучный, сгущая в шар день безоблачный, без химер, строй высокий, музыка сфер) совершенное произведение животворного, благодатного искусства, конечно же, высших, вселенских, великих сил, хотя и несколько всё же со временем поутратившем ныне свою первозданную целостность и несказанную, ведическую красоту, исключительно по вине самих людей, столь досадно и по-варварски грубо нарушивших дарованную неслучайно им гармонию, но, тем не менее, прекрасном ещё и способном к возрождению, верю я, мире,—

с чистым, всегда возвышающим душу, крылатую всё же, совершенно детским восторгом, испытывая ни с чем не сравнимое, ученическое изначально блаженство познания и немалым трудом для ума отзывающуюся в дальнейшем радость, радость-весть, радость-власть, радость-честь, радость-страсть осмысления того, что, всем бедам прежним вопреки, всем сомненьям грешным, страданьям всем неизбежным, наконец-то произошло, что, слава Богу, свершилось, называли они в своём безудержном и безоглядном порыве, в упрямом, решительном и отважном своём прорыве к истине острова и целые материки, горы и с техникой связанные изобретения, реки и великие книги.

Слово, ставшее делом. Делом.

То есть—прежде всего, подчёркиваю сознательно это,—работой, ответственной и нелёгкой, аналогов не имеющей нигде, каждодневной и сложной.

Без накопленных впрок отгулов и законных своих выходных.

Без желанных, таких долгожданных, долгих, летних, лучше всего, чтобы к морю вырваться вновь из больших городов, отпусков.

Без откровенного или же умело и ловко скрываемого, виртуозного даже, и так бывало, сплошь артистичного, возводимого кое-кем в ранг нешуточной доблести, что ли, повального, карнавального, эпохального, словом, лодырничанья.

Без оплаченных, по трудам, по чинам, по заслугам, советскими, деревянными пусть, да всё-таки с покупательною способностью несомненной, реальной, рублями, очень кстати всегда приходившихся обычно, всем людям положенных по закону больничных листов.

Без всяких, даже малейших, из снисхождения, скидок—на возраст, на обстоятельства, на неопытность, на усталость, на рассеянность, на скитания, на любовь,—да на что угодно.

Ни поблажек, ни поощрений, ни продыха—ничегошеньки.

Везде, куда ни взгляни, куда ни шагни, кого ни вспомни только из прежних героев, одно сплошное, вопросов не вызывавшее, в объяснениях не нуждавшееся, принимавшееся как есть, на веру, надежду вселявшее в наши души на что-то лучшее в грядущем, впрямь безграничное, грозовое, отнюдь не тепличное, категоричное «без».

(Неразрывность дали и боли.)
Одержимость повальная, что ли?
Да, представьте себе, одержимость.
(В одержимости—постижимость.
Воли. Доли её. Пусть—сотой.)
И не чем-нибудь, а работой.

Работой—очень серьёзной, порою слишком серьёзной.

В известном смысле—признаться следует—ригористичной.

Как правило, сплошь рискованной.

Зачастую—ещё и опасной.

На пределе всех наших достаточно, как мечталось, немалых, и всё-таки, если честно, довольно скромных человеческих, данных природой от рождения каждому, больше или меньше, но, тем не менее, обусловленных чем-то заранее, ограниченных всё же возможностей.

На грани—острейшей, ранящей, манящей к себе,—вероятного.

На износ—ничего не попишешь, так уж вышло,—на выживание.

По старой, магическим образом вкладывающей в твою руку, совсем непривычную к боям, отменно тяжёлый меч обоюдоострый—которым надо не просто махать, хоть и с грозным видом, да слишком уж бестолково, но ещё и рубить,—жестокой, к сожалению, пусть и оправданной, математически чёткой формуле затянувшегося противостояния грозного, с вопросом немаловажным, вернее, жизненно важным для каждого: кто кого?

По собственным—кто их, скажите, и когда создавал?—а ведь были, соблюдались упрямо и свято, помогали выжить,—законам.

По заданным, видно, самим временем—тем, отшумевшим, таким, о каком и слыхом не слыхивали, и даже приблизительного представления не имели в других, свободных, как хотелось бы верить, странах, где-то там, в непонятном, смутном и трудновообразимом, призывающем еле видным сквозь бесчасье маячным светом нас, отчаянных фантазёров и романтиков, далеке, во все стороны, врассыпную, разбегающихся от наших злополучных, денно и нощно охраняемых, неприступных, словно крепости чередою понастроили там, границ, от встающего на пути всевозможных дурных влияний на советского, без изъянов, образцового человека, в самом деле непроницаемого, железного, прочного занавеса, прочнее некуда просто, быть не может его надёжнее, непреложнее, глуше,—нормам.

Работа—без всякой риторики говорю—не за страх, а за совесть. Так мы её понимали, так—её выполняли, так разрасталась она. (Благо, теперь-то ясна.)

Со своим, особым, углом зрения на действительность. Этот угол зрения, кстати, постепенно, пусть и не сразу, но упрямо, неумолимо, высветляя самое главное, укрупняя наиважнейшее, неуклонно, из года в год, обостряясь, определял на поверку почти всё. Или даже—чего там скромничать, если правды не скроешь!—всё. Что же касается нашей, отечественной, действительности, то она, хитрющая бестия, в коварстве давно изощрённая, умеющая любить лишь тех, кто ей был угоден, кто ей верно, рабски служил, но куда охотней и чаще умеющая губить всех, кто был ей опасен или же нежелателен, просто не вписывался, по причине своей непохожести на шаблонные схемы, в неё, буквально ежесекундно, контролируя всех и всё, всё учитывая, давала о себе, всевидящей, знать,—приходилось тогда поневоле быть годами настороже, начеку, напрягаться и вглядываться, вырабатывать, из нежелания пропадать с концами, в себе какое-то личное, в каждом случае неповторимое противоядие, что ли, всякую, пусть и наивную, но возможную всё же, нет, действенную и спасительную защиту—иначе ведь пропадёшь, сожрут без остатка, с костями, запросто, и не подавятся, и не поморщатся даже, к людоедству им не привыкать, потому-то и допускать этого, согласитесь, никак было нам нельзя.

Со своими, понятно, приёмами и бесчисленными привычками. О таковых, полагаю, написать можно целый трактат—и то, небось, потрудившись, уже написав его вроде бы, именно вроде бы, потому что всего не охватишь ни взглядом, ни словом, и высказавшись откровенно и в полной мере, неминуемо что-нибудь стоящее глядишь да и вспомнишь ещё,—а помимо всего эти самые приёмы и эти привычки были в прежние годы у каждого свои собственные, несмотря на некоторую всего лишь—поскольку была среда у нас, единая, целостная, отзывчивая,—их общность.

Со своею собственной, рыцарственной, выработанной, замечу, далеко не случайно, сознательно, вместе с довольно скоро накопленным жизненным опытом, именно цеховой, по-хорошему, постаринному, честь по чести, рабочей—этикой.

Что ни день, что ни год, что ни взгляд, что ни шаг—сплошные из ряда вон выходящие, экстремальные, фронтовые, очень похоже, сложноватые, в общем, условия.

К ним быстро все приноравливались, относились к ним словно к данности: ну и что с того, что они, каковы уж есть,—неизменны, что они, такие родимые, то есть явь, да и всё,—неизбежны?

Потому что мы не в бирюльки играли, не дурака валяли, не самолюбие своё драгоценное тешили.

Потому что знали свою правоту—очень твёрдо знали, назубок, всем своим существом, каждой клеточкой, самой малой, каждым вздохом и словом каждым, каждый миг,—и умом, и хребтом.

Потому что заняты были, мой читатель возможный,—работой.

Не по прихоти, даме капризной, всегда кратковременной, даже мимолётной, довольно быстро, как-то разом надоедающей и всю себя, без остатка, исчерпывающей напрочь, ничего никогда никому почему-то не оставляющей для развития светлой идеи, впрок, на будущее, на потом, а, конечно же, по призванию—самому что ни на есть подлинному, высокому,—а это уже не шуточки.

Не по странному принуждению: или—или,—а по приязни. Вот это в самую точку. Как раз приязнь, утверждаю, всё обычно встарь и решала. Первоначальный импульс многое некогда значил. От него потом, чуть позднее, протягивалась незримая духовная нить—в будущее. Он давал главный, точный, длительный—сквозь бесчасье определяющий музыкальный, ежели так можно выразиться теперь, многотемный и многосмысленный, несомненно, строй нашей жизни многосложной,—чистейший звук. Из него потом, по традиции устоявшейся, и разрасталась небывалая полифония наших славных дружб и трудов.

Не по блату, а по тому судьбоносному, как приходится констатировать нынче, выбору, который делал когда-то неминуемо, сам решая, как ему поступить, который обязан был просто сделать однажды каждый из нас, и по тому отбору, чрезвычайно, кстати, придирчивому и максимально строгому, который производил из нашей весьма пёстрой братии—Некто, Видящий Всё Наперёд.

Что же было в нас, молодых и не очень, значительно старше и по возрасту, и по немалому, с этим возрастом накрепко связанному, с кровью давшемуся и с пóтом, потому и трагичному, опыту, что же было во всех нас, гражданах грандиозной и бестолковой, горячо любимой и всё же страшноватой, режимной страны, в нас, какой-нибудь горстке всего-то правдолюбцев, единомышленников, по сравнению с остальными, с теми, коих не счесть, с другими, тоже гражданами, советскими, правды жаждавшими желанной, справедливости, жизни достойной и свободы, такое особенное, чем разительно десятилетиями отличались мы, почему-то, по своей ведь воле, избравшие самиздат средой обитания, светлой областью духа, от прочих, всех вокруг, современников наших?

Что, скажите, соединило в нас личный выбор и строгий отбор?

Что сгустило в единое целое—горение и сгорание?

Ох, самиздат, самиздат!

Свеча, когда-то зажжённая не с одной стороны, как положено,—сразу с двух различных сторон.

Я, повидавший столько на веку своём, что, пожалуй, с лихвой хватило бы этого на десятерых, никак не меньше, а то и больше, людей, хотя бы отчасти похожих и на меня, и на моих соратников (но где их найдёшь, похожих?—их нет и в помине, их нет нигде, да и быть не может, поскольку все мы, тогдашние, вся наша когорта, среда отзывчивая, вся братия богемная, вся плеяда, звёздная сплошь, наверное, навеки неповторимы),—думаю, в затянувшемся отшельничестве своём находясь вдали от столицы и всех с междувременьем связанных новаций и метаморфоз, происходящих в ней и с нею, но, тем не менее, всё, что было со всеми нами встарь, когда-то, давным-давно, помня лучше других, отчётливо, каждый час, не напрасно прожитый, свой, в каком-то подобье мóрока, с крайне редкими, драгоценными для души и для сердца просветами, в ту эпоху, с которой не было панибратства, дружбы, приятельства, но в которой пришлось нам жить, да и выжить, хотя бы мне, например, поскольку спасало только творчество, и спасает, и в грядущем, верю, спасёт, потому что лишь с ним я жив, с ним силён и лишь им просветлён,—думаю, здесь, в Киммерии, всё чаще, всё дольше сквозь время свободно перемещаясь, теперь, в изменившемся мире, трезво, устало, всерьёз, больше того, я, последний человек из легенды, ну, пусть один из последних, по пальцам нас можно пересчитать, убеждён, что нас, тех, давнишних, вдохновенных, неугомонных, тогда, в стародавние годы, представляющиеся, как правило, молодым совсем поколениям, да хотя бы моим дочерям, нереальными, невозможными, да и только, невообразимыми, отчасти, во всяком случае, зазеркальными, нас, тогда тоже ищущих путь свой верный, молодых, неустанно жаждущих деятельности, полезной и достойной, просто в какой-то счастливый день, видно—свыше, одарили этой работой—добровольной, тяжёлой, большой.

Так сказать, в рабочем порядке.

Дар—был щедрым.

Дар был—рабочим.

Глядя в корень, как и положено, и по-русски, но не на теперешнем новоязе дурном выражаясь, заняты были мы все поголовно, по горло, сыты мы были по горло—и не чем-нибудь там, не дурью, не блажью, не бестолковщиной,—а трудом, господа, трудом.

Слово, ставшее—правым делом.

Тем, к чему так тянешься, сам тянешься, весь тянешься, к чему неустанно, исподволь, а потом всё внимательней, пристальней присматриваешься, охотней, чем прежде,—насторожённо ли, из любознательности ли, начиная ли наконец-то что-то вроде бы понимать.

Тем, к чему неумолимо движешься, а потом и рвёшься неудержимо, только так, потому что

это прежде всего, но также вопреки всему интересно.

Тем, во что, поначалу только слегка увлекаясь, постепенно и незаметно втягиваешься, причём сам втягиваешься, без всяких уговоров чьих-нибудь пылких, втягиваешься весь — и уже невозможно тебя удержать, и что тебе чьи-то там попытки предостережений, и вскоре, да, уже вскоре, ох, как быстро, надо же, братцы, и уже надолго, быть может, и на всю свою жизнь, ты без этого просто, вот чудеса в решете, ну никак не можешь, просто не мыслишь себя без этого — но к тому ведь всё, признайся, и шло.

Слово, ставшее — так-то! — деятельностью.

Да ещё какой! Уникальной. Максималистской. Глобальной.

Так вот и подмывает усилить и округлить: в планетарном масштабе.

Почему же не обозначить её очевидную значимость и протяжённость в пространстве?

Она и в земном нашем времени вполне на своём месте, на своём, не на чьём-нибудь.

Она была и уместна, так скажем, и повсеместна.

Она была исторически предопределена.

По своей поражающей сразу же людское воображение широте, по какому-то звёздному, исполинскому прямо размаху, по нигде никогда не скудеющему, даже в тюрьмах, разнообразию всего, абсолютно всего, чем была она столь щедра, что этаким сказочным, праздничным, чародейским, таинственным жестом, который ещё никому, как ни бейся, не удавалось ни предугадать заранее, ни вовремя уловить, вдруг распахивала она, фея добрая, пред тобою так торжественно и светло, так естественно и свободно, — нет ей равных, не с чем её сопоставить и не с чем сравнивать.

Самиздатовский деятель — прежде всего — по традиции нашей, отечественной, по старинке, по сути своей, по закваске своей добротной, где привычно соединились в нечто целое, в общий сплав, навсегда, компоненты разные, и в особенности прижившиеся искони в известной среде, то есть чаяния, мечтания и, конечно же, как же без них нам, разумное, доброе, вечное, ну и прочие, вдосталь их, даже, может, с избытком, — сеятель.

Прежде всего — разумеется, но ещё и помимо всего, говорить о чём, уж поверьте мне нынче на слово, — музыка долгая, потому и скажу об этом по возможности кратко, — прочего.

Тот самый — может быть, вспомните нашу классику в дни попсы и халтуры повальной? — пушкинский.

«Свободы сеятель пустынный, я вышел рано, до звезды».

И не только — замечу — пушкинский.

Он сеятель по предназначению, он был — безусловно, призван.

Семена оказались отборными. Да и брошены были они, как теперь представляется, вовремя и в подходящую почву.

Всходы были всем хороши и стремительно шли в рост.

Вот только весь урожай собирали уже не мы, а возникшие ниоткуда, непонятные нам другие.

Да и таким ли всё-таки на поверку он оказался, этот редкостный урожай, как того мы когда-то желали?

Так ли, как полагалось, по совести ли, по-людски ли с ним обошлись?

Но кого и зачем теперь, погрустив о былом, винить, на кровавой меже междувременья, посреди разрухи и смуты?

Слово, ставшее — кругом ведения.

Ах, какие дивные «веды», какие поистине редкостные, мозговитые, самовитые, высоколобые доки, подлинные знатоки своего нелёгкого дела, были когда-то встарь, во времена былинные, лирические, эпические, героические, в самиздате!

Профессорá. Да что там, не тушуйся, бери повыше, поднимай-ка голову, друг, посмелее, брат, — академики.

Им бы оксфордскую, солидную, чтоб до пят с расправленных плеч благородно струилась, мантию заместо больничных, дурдомовских, замызганных вдрызг халатов или лагерной, жухлой, заштопанной на глазок, на живую нитку, арестантской, общероссийской, безразмерной, безоговорочной, словно серая мгла, одежонки, что приметой бесчасья слыла и страшила иных, — да куда там!

Ничего, промолчали, стерпели, обошлись без наград и званий.

Им, героям, не до делёжки аппетитного пирога.

Они ещё и брезгливы.

У них есть давняя, собственная, человеческая, самиздатовская, самовитая, светлая гордость.

Вспомнишь некоторых порой — дух захватывает мгновенно: эх, какого полёта птицы!

Суперпрофессионалы. (Это всё же с душком иностранщины). А по-русски — так: мастера.

Киты, на которых если не вся старушка-земля, то уж точно держава держалась.

Асы (русским духом запахло, духом доблестных лет), да и только.

Хорошо, когда дело становится, как в народе считать привыкли, примирившись давно уж с этой общепринятой данностью, — надобностью.

Лучше, когда (такое поважнее) — необходимостью.

А так — сплошь и рядом, куда ни взгляни, кого ни вспомни сегодня, куда ни шагни в круженье времён, где звук не заглох былого и голос эпохи

огнём опалён, да всё же не сорван, и смысл просветлён всего, что в душе мне сберечь удалось,— нередко у нас и бывало.

Делом—значит (а как же!), важным.

Делом—значит (ещё бы!), нужным.

Почему человек, участвующий в самиздатовском бурном движении,—не единожды так случалось—весь нежданно преображался, весь буквально светлел, подтягивался, распрямлялся и расцветал?

Да потому что чувствовал он себя в ту пору—на месте, если хотите—в строю.

Потому что предельно остро ощущал высокую значимость того, чем он занимался.

Слово, ставшее—сферой знаний. Заметьте: именно сферой.

Так и представляешь себе небесный купол, вовсе не пугающий, не однообразно тёмный, но полный бесчисленных красок, выпуклый, какой-то лобастый, необозримо громадный, никого не подавляющий, а наоборот, возвышающий, купол, средоточие скрытого там, в вышине, вселенского смысла, хранилище информации, соединение сконцентрированного и разрозненного движения, неких ещё не выявленных возможностей и уже брезжущих надежд, мощный купол, пронизанный галактическими излучениями, исполненный грандиозного величия и вместе с тем удивляющей, даже озадачивающей простоты, веющий дыханием общемировой, космической жизни, а с нею и вечности, из глубины своей прямо-таки брызжущий, пышущий светом, совершенно точно—живой, многозвёздный и многомерный, такой высокий и такой просторный для всех, и каждый луч его, каждый отсвет, каждая звезда—очередное знание для неофита, знание, которое воспринимаешь как откровение, впитываешь всем своим существом.

А ещё—той сферой, которая с верой. Той верой, что с нашею эрой. Той эрой, что никогда не бывала для нас химерой. Реальность её—наша правда. Она—и в любви, и в крови.

Слово—даже, представьте себе, предприятием неким ставшее.

(«То есть как это?—скажут потомки, озадачившись.—Поясните! Задуманным чем-то, что ли? Предпринятым кем-то делом? Два значения есть у этого нам не очень понятного слова. Какое из этих значений имеет автор в виду? Хотелось бы знать поточнее».)

Дорогие потомки! Спокойнее. Здесь уместны оба значения слова этого или понятия, даже больше,—значения слиты в нечто целое, неразрывное. Как хотите, так и считайте. Что хотите, то выбирайте. Предприятие—как объятие. Коло. Круг. И—рукопожатие. Для рискованной нашей братии. Чтобы впредь озадачивать вас. Что предпримете? В светлый час, может, скажем вам: «В добрый путь!»—мы из прошлого как-нибудь.

(Призвук—за звуком. Знак.
Веха ли? Эхо вздоха?
Странной была эпоха.
Как ни крути, но—так.)

Подумать ведь только—целым всамделишним предприятием! Наитием? Или, может быть, что привычнее,—вероятием? Нет. Реальностью. С ирреальностью, впрочем, дружной. Одна с другой так срослись, что спаслись в их мареве отщепенец, чудак, изгой, ненавистник режима, праведник, диссидент, прозаик, поэт,—все, из разных компаний, выжили—и однажды вышли на свет, непонятный ещё, сомнительный, чуть забрезживший впереди, чтоб увидеть не то, что некогда представляли с болью в груди, со слезами,—да что там!—всякого навидались,—и вот итог: превращенье всего двоякого в наважденье. Бездонный рог изобилья всего ничтожного? Разносолы с душком дурным? Поощренье чужого, ложного? Что же будет потом—родным? Нет ответа. Молчанье полное. Только низких частот «бум-бум»—да журчанье сверчка подпольное, не вошедшее в общий шум.

(Знак?—Но и признак. Взгляд.
Лёгок слух на помине.
Что за эпоха—ныне?
Кто это?—Свят, свят, свят!..)

А подумать ведь только—целым производством ставшее слово прежде в поте лица трудилось, чтобы стало всем хорошо, чтобы светлый-пресветлый праздник здесь, у нас, точно в детстве, скажем, день рожденья или же ёлка, наступил, наконец, и в нашей горемычной отчизне. То-то были чаяньями хранимы наши дни в темноте бесчасья, наши думы в глуши ночной.

(Ничего теперь не верну...)

Производством, значит? Ну-ну.

Смотря, конечно же, как его понимать—замечу, да и кому—подчеркну сознательно—понимать.

Напрашивается: зачем понимать,—и ещё: когда.

Проще: ставшее тем, что задумано было когда-то.

В гуще имён и времён—осуществившийся замысел.

Разумеется, да, всё верно,—событием, а не чем-нибудь менее значимым, более скромным, из уважения к прочим словам, к понятиям, связанным с ними косвенно или достаточно прочно,—событием ставшее слово.

Событием. Тем, что было. Тем, что взяло да сбылось.

Чем-то, идущим рядом, сопутствующим бытию.

Сопутствующим. Присутствующим бок о бок с тобой. Напутствующим. Приветствующим—сквозь мрак. Соседствующим. Пусть—так.

Тем, с чем по пути. И мне, и тебе, и другим. Всем.

Сосуществующим — здесь. В общении близком — со мною.

Чем-то — но чем? — сопричастным всей отшумевшей эпохе. Сопредельным — в родных пределах, запредельным, значит, — понятием.

Содержанием вероятным ещё не написанной книги.

Событием — где же, в чём?

Да что тут сейчас мудрить!

В жизни моей нескладной — вот она вся как есть, гордость моя и честь, словно благая весть, в коей невзгод не счесть, чтобы потом обресть право на речь земное, светится предо мною.

В биографии, это уж точно. В географии. Духа? В истории, постигаемой не заочно. В непростой весовой категории.

В судьбе. Высокое слово! Растерзанные года… Скитанья. Поиски крова. И — в небесах — звезда.

И никуда от этого не деться.

Событием. Моим со-бытием.

Слово, ставшее, ну конечно же, обстоятельством — но каким? — одним из многих, пожалуй, одним из целого сонма всяческих обстоятельств, самых разных, порой фантастических, зачастую фантасмагорических, иногда, представьте, мистических, неизменно самокритических, то есть с юмором или с иронией, а на самом-то деле — трагических, в прожитые с отдачей полной, на всю катушку, бурные десятилетия.

Одним из многих, но всё-таки, позволю себе заметить, поскольку я, как никто, нахлебался горечи всяческой из-за этих вот обстоятельств, на других не похожим, особенным.

Стоящим особняком.

Слово, ставшее фактом нашего неземного, инопланетного, ирреального, нелегального, запретного, недозволенного, крамольного, полуподпольного, богемного существования.

Причём не спорным, не липовым, не высосанным из пальца, задним числом, для солидности, для пущей важности, фактом, а непреложным, таким, против которого — как, пусть и в лоб, грубовато, жёстко, но зато уж предельно конкретно, да ещё и на удивление метко, точно, прямо в десятку, прямо с первого раза в яблочко, говорится у нас, — не попрёшь.

Выражаясь, во имя цели сочинения моего, по возможности обобщённей — слово, ставшее положением (и к нему — сплошным притяжением всех писаний наших) вещей.

А что вставало за всем этим? Умение совершать поступки.

А ещё? Случалось, что и дело, то самое, нежданно-негаданно вдруг показывающее ранее скрываемую свою изнанку. Оборачивающееся судебным процессом.

А это уже «не как-либо что, а что-либо как», — помните, как это говорится, как проходит это парадоксальным — как хочешь, так и понимай, — двойственным, внешне вроде туманно-многозначительным, но если вдуматься — с глубоким, как это свойственно здоровому украинскому юмору, смыслом и с нескрываемым намёком на то, что происходит в нашей стране, — сразу же запоминающимся и всеми повторяемым рефреном в одной известной комедии шестидесятых годов, кинокомедии — с трагической, по сути, подоплёкой.

Да, не чем-нибудь, а самым настоящим судом. Неподкупным и грозным. Самым справедливым и честным. Тем самым, советским.

С неминуемым наказанием виновных в подрыве каких-то там, вряд ли прочных, скорее — шатких, но, тем не менее, основ.

Для чего они служат, эти самые основы, что они там поддерживают, сущностью чего они являются — толком никто не знал, да никому и не хотелось узнавать.

Основы — и всё тут. И кто-то, представьте, каким-то непонятным образом всё подрывал их и подрывал.

«Что за страсть такая?» — «Кто он вообще, этот злостный подрывник?» — «Из каких слоёв населения вышел?» — «Это же додуматься до такого надо: взять да и подорвать основы!» — «Как, ни с того ни с сего?» — «Или был повод?» — «Чем же конкретно? — хочется полюбопытствовать». — «Почему, наконец?»

Вопросы возникали, но на них никто не дождался вразумительного ответа.

«Виновен, и всё тут». — «Кажется, ясно?»

Типично советская конструкция: основы — для пустоты. Для бессмысленной, алчной и лживой пустоты государственного строя.

Типично советская, казённая логика, то есть полное отсутствие таковой. Абсурд и закоренелый бред.

«Подрывники, понимаешь, государственных основ?» — «Как сидите? Не так сидим. Пересядьте». — «А лучше — встать! Суд идёт». — «Вот мы вас подальше куда-нибудь и отправим. Там отсидитесь».

Это уже политика, на которую всё старались свернуть.

Это политика, которой, как сачком, так и норовили поймать, прихлопнуть с размаху, придавить изо всех сил, чтобы неповадно было, ещё совсем недавно, буквально только что, всего минуту назад, радостно порхавшего над отечественными лугами наивного легкокрылого мотылька свободолюбия, беззащитного белого мотылька, так и не успевшего толком вкусить всей ненадолго отпущенной ему, такой упоительной воли.

Политика была ещё и этаким особенным увеличительным стеклом в руках у власти, небьющимся стеклом с гиперболическим, фантасмагорическим, нарочитым и многократным увеличением.

Сквозь такое стекло любая непохожесть на общепринятое, любая мелочь, даже невинная, казалась огромной и просто ужасной.

И что уж говорить о том, что покрупнее,—оно выглядело диким, чудовищно раздутым, чем-то вроде ящеров, или динозавров, или ещё чем-то вроде доисторических, жутких, решительно не вмещающихся в установленные конституцией рамки, нелепых и странных созданий природы,—и незамедлительно подлежало изоляции, а то и, что куда спокойнее, просто—уничтожению.

А может, это был оптический гибрид—смесь увеличительного стекла с кривым зеркалом? Кто его знает!

Дело—это ещё и кипа документов, собираемых конкретно о том-то и о таком-то. С виду пухлая, рыхлая, но имеющая крутую начинку груда писанины. Целая гора из папок, содержимое которых—мрак. На каждого месье—отдельное досье. В алфавитном порядке. Так принято. Так удобнее. Так полагается. Так приказано. Что и сделано. Все вы—здесь вот: от «А» до «Я». Шкафы и полки, полки и шкафы. Столы с выдвижными ящиками и тумбами, с настольными лампами. Кабинеты с зашторенными окнами. Стены, глухие с виду, но, как водится,—с ушами.

Коридоры и коридоры. По ранжиру—и до упора. Перепады и ритурнели. Что? Проёмы. Ниши. Туннели. Где? Куда? В никуда? Отсюда—и туда? И потом—оттуда? И сюда? На тот свет—и обратно? Ничего совсем не понятно. Как-то зябко. И неприятно. Только блики. Отсветы, пятна. Только нервы—с пол-оборота. Штопор. Шок. Такая работа. Повороты и переходы. В день любой. В любую погоду. В час любой. Да и в миг любой. За бессмыслицей. За судьбой. За обманкой. И за приманкой. Валидол. Пузырёк с валерьянкой. Сердце. Горло. Стакан воды. Отголоски глухой беды. Оправдание. Чьё? Зачем? Просто так или между тем? Лабиринты. Куда теперь? Дверь налево. Направо дверь. Топот ног. Дикарская прыть. Выть ли? Петь ли? Быть иль не быть? Вопли. Петли. Стволы. Узлы. Охи. Вздохи. Одни козлы. Что-то есть в этом всё же туземное. Переходы. Включая подземные.

Ровными пластами, от подвалов до чердаков, длиннющими прямоугольниками, как сюрреалистически вытянутые костяшки домино, идущие, нарастающие один над другим, ровными слоями, как в гигантском отравленном пироге, расположенные этажи.

Ковровые дорожки. Не для встречи желанных гостей расстелены. Не для помпы. Не для парада. Для уюта, представьте. Внутреннего. Для удобства. Внутри заведения. Для бесшумного, не мешающего никому здесь по ним хождения. Ковровые. Звук поглощающие. Мягко стелют? Страх предвещающие. Обещающие такое, что лишает вконец покоя. Ковровые. Знать, суровые за ними встают порядки. За порядками—распоряжения. По ковровым дорожкам движение. Сразу многих голов кружение. Дорожки. Скатертью, что ли? Вовсе не самобранкой. Кожанкой чекистской. Охранкой. Штыка ледяной огранкой. Пулей в затылок. Тюрьмой. Вот чем они отзываются. Дорожки. Смотря для кого. И смотря куда. Но—ковровые. Так уж заведено.

Плотно запертые двери. Ни зазоров, ни щелей. Не смотри туда, тетеря. О минувшем не жалей. Что за дверью? Тоже двери. Плотно запертые. Что ж! Неизбежные потери. Кто же в двери эти—вхож?

Повестки и пропуска. Система!—ЦеКа. ЧеКа. Четыре шага—до зека́. Щелчок спускового крючка. Приветы—издалека. Восточные облака. Холодный прицел зрачка. На всякий случай. Пока.

Охрана при входе. Будет ли выход?—вот в чём вопрос. Оцепенелая, сковывающая любые движения тишина. Отработанная машина, всегда на ходу. Вероятно, думали, что это вечный двигатель. Ошибались. Если бы Кафке, уж не говоря о Николае Васильевиче Гоголе, пришлось хоть однажды столкнуться со всем этим, он ужаснулся бы—и ужас этот вряд ли удалось бы преодолеть. Механизмы имелись—хоть куда. Работали безотказно. Своё чёрное дело выполняли исправно. Сухой, слежавшийся бумажный шелест на всесоюзном вечном сквозняке. Доносы—в избыточном количестве. Доклады в нужные инстанции—о наблюдениях, добровольных или вынужденных.

Разрозненные, мозаичные, калейдоскопичные пятна бесчисленных фотографий, чёрно-белых, а то и цветных, негативов, контрольных снимков, то любительских, то, и чаще, очень даже профессиональных, и со вспышкой, и просто так, лишь бы только всё, что положено, в объектив поскорее попало, лишь бы щёлкнуть, а там, на плёнке, всё, что надо, ужо разберут, и проявят, и увеличат, и размножат, если понадобится,—пятна тайных, компрометирующих, теневых, роковых фотографий—свидетельств и доказательств преступного и недозволенного.

Канцелярщина и бодяга, без которой никак нельзя было обходиться известным учреждениям. Там, очень даже вероятно, ночами напролёт бодрствовали, выявляя и разоблачая нечто такое, что торчало как кость в горле, что мешало режиму жить спокойно. Ежесекундно был наготове бредовый арсенал, в котором чего только не держали для устрашения умов. Дело—это страх и расчёт, мерзость провокаций и предательств. Их дело.

Наше дело было—сражением.

Кто участвовал—тот всё помнит.
Ну, самиздат, это лишь с виду ты прост.
А на деле…

Слово.
Ладное, складное.
(Попробуй скажи обратное!
Не выйдет, как ни старайся.
Поэтому—соглашайся).

Простое, располагающее—с первого взгляда, с первого, сулящего многое, чтения, крамольного часто,—к себе.

По существу—дружеское, симпатичное, в общем-то, прозвище, домашнее, уменьшительное, тёплое, милое имя.

Но за этой приятной свойскостью, доверительностью, симпатией—неизбежность скорого вызова и непреложность выбора.

Никакого тебе панибратства, похлопывания приятельского, с прибаутками всякими, с шуточками неуместными, по плечу. Молниеносная, тут же, вмиг, ни секундой позже, реакция на любые выпады—может, враждебные? провоцирующие?—извне. Всегдашняя, днём и ночью, готовность к отпору, к бою.

Как говаривал встарь Куприн: «На ежа садиться, учтите, без штанов никому не советую».

Под симпатичной внешностью прятались, между прочим, жалящие решительно, в нужную точку, иглы и отточенные, не без яда, крепче крупповской стали, шипы, сплетения мышц тугих и комки напряжённых нервов.

Кажущееся спокойствие, сдержанность интеллигентская—вынужденная, сознательная, до лучших времён, маскировка: не от хорошей вовсе—от невесёлой жизни.

Грубо вдруг потревоженное, выведенное нежданно кем-нибудь из себя, при случае, осерчав, милое это создание запросто, надо заметить, и пребольно могло «самиздатнуть» оборзевшего наглеца многовольтным своим хвостом, как электрический скат.

Слово,
мгновенно, сразу же, надолго—нет, навсегда—запоминающееся, в сознание западающее, как в детстве, произносимое легко, на одном дыхании.

Следовательно, особенное, может быть даже—волшебное, таинственное, обладающее магнетической светлой энергией. Значит, и это важно, фонетически неуязвимое.

Накрепко соединившее в себе—пластичность отменную, афористичность явную и подлинную артистичность.

Предполагающее—потом, в грядущем, избранничество, сознательное отшельничество, привычным ставшее странничество.

Предвосхищающее—мученичество и творчество.

Слово—
впрямь на глазах сгустившееся в пульсирующую, подвижную, создающую без промедления, с пониманием ясным значительности всей работы ответственной, новое бытие, субстанцию некую—на пределе возможного синтеза, с неизбежностью обобщения.

Солнце?

Или—скромнее—планета?

Во всяком, так проще, случае, страна, искони заповедная, зазеркальная, запредельная—где-то там, в сердцевине, внутри страны реальной, знакомой, матёрой, битой и тёртой, советской, географической, политической, полемической донельзя: матрёшка в матрёшке, притча в сказке, косточка в ягоде.

Чтобы в нужный час изнутри, из нутра—появиться, выйти в мир и в нём-то произрасти, процвести, прозвучать, уцелеть, оказаться потом сиянием очевидным, даже—спасением.

Слово—приметой имеющее собственный внутренний ритм,

легко, без усилий, входящее в стихотворный строгий размер.

Солоноватым на вкус коктебельским прозрачным камешком во рту буквально у каждого новоявленного Демосфена из трудноопределимого числа отчаянно дерзких, отважных, вольнолюбивых, без всяческих предрассудков, соотечественников, молодых и пожилых, но душою остающихся молодыми, столичных и провинциальных, в течение десятилетий, ну да—почти полувека, с удивительным постоянством, в любую, даже ненастную, суровую пору года, но всего охотнее с мая по октябрь, когда потеплее, собиравшихся на киммерийском берегу, в своей независимой, самопровозглашённой, самосвободной республике, где в полной мере царили, всем на радость, покой и воля, свет и дух, для всех, для того, чтобы чувствовал каждый себя здесь, вдали от официальщины и бессмысленности бесчасья, от невзгод, от бед, от забот повседневных, от безобразий повсеместных, злостных, постылых, частых, прежде всего человеком, надо верить, способным на многое, на такое, о чём недавно сам, признаться, не помышлял, перекатывалось оно, помогая исподволь как-то, не спеша, совершенствовать дикцию, ну а с нею и красноречие.

О, эти давние встречи незабвенные в Доме Поэта, днём обычно, при солнечном свете, бьющем в полуприкрытые окна мастерской, у Марии Степановны Волошиной, эти вечерние, жаркие, страстные споры и традиционное чтение стихов на веранде,

увитой глицинией, у Марии Николаевны Изергиной, эти всегда задушевные ночные, подолгу, беседы где-нибудь в кара-дагских бухтах, среди скал в мерцающих жилах сердоликов или агатов, под августовскими, пылающими огнём космическим звёздами, в двух шагах от волшебно тёплого, светящегося таинственно и так первозданно, так пленительно, так призывно, что впрямь невозможно было не броситься вдруг в него, чтоб выйти преображённым из волн, как в сказке старинной, на диво похорошевшим и нечто вроде прозревшим, набравшимся свежих сил для жизни, доброго моря, или на гребне холма, под ветром, перебирающим сухие кусты полыни, треплющим волосы, рвущимся к вершине горы Святой, или в тенистом, тесном, густо заросшем диким виноградом знакомом дворике, в закутке, давно облюбованном, под навесом или в беседке, под неустанное пение орфически одержимых порывом неудержимым, пребывающих в трансе сверчков, словно шьющих всю ночь из прозрачных, тончайших, легчайших нитей своих мелодий незримый, защитный, надёжный покров над всею округой дремотной, над молодостью, полнокровной, полновластной, бесценной нашей и свободой,—всё было, было.

Слово!

В начале было—следует помнить—слово.

Будоражащее сознание, заводное, порой игровое, увлекало оно за собою куда-то в непредсказуемое, многомерное, многозначное, неизведанное пространство.

Содержащее искони восхитительную идею непрерывного, вглубь, и ввысь, и на все четыре известных всем и каждому стороны света, и в любое, даже неведомое, измерение, и в любом направлении, лишь бы путь ощущать да звезда вставала бы на пути, вела бы, хранила бы, кругового, спиралеобразного и такого, названья которому не придумали до сих пор, ирреального, видно, движения, вопреки статичности всяческой, ограниченности, невозможности шагнуть, никого не спрашивая об этом, не по закону, вздохнуть, никому не докладывая об этом, не по указу,—разом, без лишних жестов, недомолвок и умолчаний о чём-то необъяснимом, открывало оно все шлюзы, чтобы хлынула буйно к тебе, чтобы мигом, без церемоний, так, чтоб весь встряхнулся и ожил, окатила тебя всего, очистила основательно тебя, пробуждённого в жизни, от мирской надоевшей скверны—стихия, сама стихия—стихия нашей родной, благословенной речи.

Среда. Подобие крова.

Стихия, хранящая слово.

Полюбопытствуй, любезный читатель,—ты ещё вполне можешь стать и прилежным, и дотошным, а так и будет, попомнишь мои слова,—сколько мне, например, было лет «в те баснословные года»? Годах этак в шестьдесят втором, шестьдесят третьем, шестьдесят четвёртом, шестьдесят пятом, шестьдесят шестом, шестьдесят седьмом, шестьдесят восьмом, шестьдесят девятом. Как густо и плотно идут они друг за другом, эти мои шестидесятые, столь же густо и плотно, закономерно, переходя в семидесятые, и так далее! И всё вслед за ними идёт своим чередом—всё, что случалось со мною. Всё, что было—моим.

Что вообще, скажи-ка, только честно, без отговорок и фантазий нелепых, ты знаешь, вот сейчас, в дни свободы твоей и всеобщей, возможно, вернее, только нашей, особой, отечественной, на других, как всегда, непохожей, со своим, скоморошьим, наверное, или скрытым под греческой маской, то комической, то трагической, в яви грустной, отнюдь не лирической, обескровленным, бледным лицом,—что ты знаешь, ответь мне прямо, ты, сегодняшний, современный гражданин, с заграничным паспортом для вояжей куда пожелаешь, ты, компьютерный, интернетовский человек, сто собак, не меньше, съевший запросто и не поморщившись, на привольно расплёснутой по миру, всеобъемлющей, всепроникающей, бесконтрольной, общедоступной всем и каждому информации обо всём абсолютно вроде бы,—что ты знаешь, дитя прогресса повсеместного, пусть и технического, но живую душу калечащего между делом, тишком,—обо мне?

Ничего ты толком не знаешь. Не возражай, не смущайся, не тушуйся, но это—факт. Вещь, как известно, упрямая. С ним, даже при назревшем желании, не поспоришь. Да и пороху боевого, аргументов солидных для спора у тебя, из другого теста вылепленного, из нынешнего междувременья, изредка, этак под настроение, нехотя (потому что иные заботы у тебя, интересы другие, всё другое, чего ни коснись наугад, начиная с одежды, и растущий стремительно перечень изменений сплошных и не думая хоть когда-нибудь прерывать),—пытающегося вглядеться в минувшее, не твоё, а наше,—в общем-то нет. И лучше, как очень любили выражаться в былую эпоху, посмотреть, не щурясь от света нежданного, правде в глаза.

Нужную информацию, не компьютерную—настоящую, человеческую, серьёзную,—обо мне—получить тебе—неоткуда. Ну понятно, я вполне допускаю это, при надобности ты можешь, если, разумеется, захочешь, проявить, что-нибудь взять да и проявить—инициативу ли, усердие ли, или даже похвальное рвение—поинтересоваться кое у кого из окружающих, пока поистрёпанные ветераны богемы ещё живы, покуда есть ещё у тебя с каждым прожитым годом и с каждой новой утратой в нашей среде неумолимо уменьшающаяся, тающая, как мартовская ледышка, возможность спросить, услышать желаемое из уст соратников,

современников, получить необходимые сведения не окольными путями, а из первых рук,—это ты сделать сумеешь, наверное, при том условии, если не праздное любопытство будет тобою двигать, а потребность души. Если вспомнишь вдруг, что есть на свете такая штука—внимание. А оно, это вот простое человеческое внимание, ох как важно. Оно дорого, внимание,—и вовсе не тем, что это признак возникшего интереса к кому-нибудь, или проявление участия, или чувство уважения к чьим-то свершениям в искусстве,—нет, оно дорого само по себе, как ключ к развитию диалога, к последующей работе сознания, оно было само собою разумеемым в годы нашей молодости—и стало диковиной в нынешние ожесточённые дни, с их всеобщим разобщением и разрушением связей. Это ещё не понимание. Куда там! О настоящем понимании и речи нет сейчас, и доживу ли до него—кто знает?—даст Бог, и хватит воли, да и сил,—оно впереди, где-то там, где воссияет эра Водолея,—хотя, что скромничать, отдельные проявления его имели место на моём веку, и не раз, и возникала приязнь, а за нею, как это бывает всегда, приходило доверие, и высекался огонь откровенности, речь открывалась навстречу тому, кто понял, откуда звук и зачем в ней свет, и это незабываемо. Но внимание—это ну как дыхание. Дышишь—живёшь. Внимание—часть познания. Часть, но существенная. Оно открывает глаза—помнишь ли, как ты открывал их в детстве?—и распахивает перед тобою страницы неведомых рукописей—знал ли ты о том, что они существуют в мире? Внимание—шаг к пониманию. Первый шаг навстречу ему.

Ну конечно, все слышали звон—и ты, небось, тоже слышал. Но где он, этот звон? Ты не знаешь. Кто звонил в колокола в ту пору, когда ты ещё не родился? И что это за колокола такие, разбудившие думы людские по всей великой стране? Понятно, что не с герценовской колокольни. И почему теперь голос их может стать вечевым?

Где я живу? Как живу? Чем жив? Чем я занят? Что я пишу? Что уже написал, давно написал? Знаешь ли? Нет, не знаешь. То-то и оно-то, как со значением говорят в народе.

Имя моё—может, и слышал ты. Что-нибудь из написанного мною, может быть, даже и читал, допускаю. Но что за этим именем, какое творчество, какая жизнь за ним стоит—об этом имеешь ты—уж лучше сознайся, я всё пойму,—весьма смутное представление, если вообще его имеешь.

Ничего. Не смущайся. Не надо. Не тушуйся. Не возражай. Ты вовсе не виноват. Вернее, не ты виноват. Не успел ты ещё во всём как следует разобраться.

Хотя разбираться, поверь мне, рано случится это, слишком рано, раньше, чем надо, раньше, чем остальные спохватятся, или поздно, слишком уж поздно, с таким запозданием жутким, что навёрстывать и восстанавливать всё почти предстоит,—придётся. Такова жестокая нынешняя жизнь, житуха нелепая, «жизня поломатая», с грубым изломом, с её намеренным хаосом и явно, дабы внедрился в эту жизнь как можно скорее, поощряемым кем-то бредом, с её нарочитой, поспешной исковерканностью, с её вывернутостью привычной наизнанку, с её перевёрнутостью с ног на голову, с её подменой подлинных ценностей мнимыми, наспех состряпанными, безликими напрочь, массовыми, снятием всех разумных табу, с оголённостью плоти и убыванием духа, жизнь вопреки этике, жизнь с полным, всеобщим отсутствием эстетики, жизнь-гидра, жизнь на обломках империи, с разгулом лихим бесовщины на фоне кем-то зачем-то восстанавливаемых усердно и воздвигнутых заново, свеженьких и новёхоньких новоделов, со смешением стилей всех архитектурных, с иголочки, напоказ как будто поставленных где угодно, лишь бы стояли там, где место для них подыскали, как грибы растущих повсюду, где возможно и где невозможно, храмов разных конфессий, всяких, вперемешку, сойдёт, мол, жизнь посреди распада и смуты, таково бытие наше грустное, житие без иллюзий на краешке завершающегося столетия, на самой кромке эпохи, на разломе, на грани—чего?—подождём, помолчим?—что нарушены ориентиры и вехи в пространстве и времени, взорваны мосты, насильственно прерваны былые прочные связи,—но душа-то—жива! Каково ей?

Тебе трудно, я вижу это. Спохватись, тебя сознательно дезориентируют. На это у рогатых режиссёров и хвостатых исполнителей имеются свои причины. Да ни хрена у них не выйдет. Божественный свет им не по зубам.

Ничего. Держись. Своя голова на плечах есть—авось доищешься сам. Всё у тебя впереди.

Мне и самому одиноко. Думаешь, мне легко? Мне даже труднее жить, чем другим. Ведь я—вижу и слышу. У меня есть—моя речь. Я—понимаю и говорю.

Что же сказать тебе, вероятный мой друг?

Скажу по возможности сжато и просто.

Я человек самиздата. Уж так всё сложилось. Я связан с самиздатом слишком прочными, судя по всему—неразрывными, давними узами. Да и узы ли это? Не хочется воображать какие-то там верёвки, путы, всякие сложные узлы, которые не так-то легко развязать, и всё прочее—бечёвки, шнуры, нитки,—но это ещё так, пустяки, нечто рвущееся всё-таки, не такое уж и прочное, хотя и имеющее, конечно, прямое отношение к процедуре завязывания, привязывания чего-то к чему-то, скрепления чего-нибудь с чем-нибудь,—а далеко не пустяками представляются узы в их старом

значении — оковы, кандалы. Ну какие у самиздата оковы? Узы — это, конечно, звучит, и звучит весьма и весьма высоко, с подчёркиваемым значением, с известной дозой торжественности. Ведь имеется в виду то, что связывает, то, что соединяет. Отсюда и соответствующие выражения: узы дружбы, узы любви, братские узы и так далее. Всё это так, всё это в ходу, и всё это стало общим местом, дежурным шаблоном в наше ироничное, язвительное, невоспитанное, не очень-то считающееся с этикетом слова, неблагодарное по отношению к прошлому и жестокое время, стёршее, принизившее, испоганившее грубым хохмачеством и хамским своим словарём действительно высокое, благородное значение этого понятия — узы. Смущает меня двойное толкование этого слова. Хотя, впрочем, если вспомнить, что оно давно уже стало скорее символом, а не словом с его конкретикой, стало привычным знаком, существующим в знаковой системе речи, наряду с прочими знаками, и к тому же, несмотря на некоторую двойственность, всегда несёт нужную смысловую нагрузку (такой знак — вроде выключателя на стене: нажал его — увидел свет-смысл), то употреблять его, конечно же, можно. Меня заботит прежде всего точность выражения — потому так и вглядываюсь я в слово, вслушиваюсь в него. Но что же это? Как это обозначить, где взять нужное определение? В воздухе смутно вырисовываются лишь зыбкие контуры искомых слов. Ну что же, значит, и не надо искать. Выразимся проще: я слишком прочно связан с самиздатом, чтобы вот так взять да и расстаться с ним в одночасье. Почему? Потому что так получилось. Так вот случилось, именно так всё совпало. И отказываться мне не от чего. Как откажешься от самого себя? Это невозможно. Так же точно — и от самиздата. Отчего же, собственно говоря, должен я разом прерывать давно начатый и десятилетиями продолжающийся, имеющий своё закономерное — для меня, во всяком случае, — развитие, интересный для меня процесс? Ну с какой это стати должен я нарушать какие-то важные, давно выработанные, может, даже отчасти биологические, вне сомнения, связанные с психикой, с переменой настроений, с общим моим физическим, рабочим состоянием, с состоянием души, с сердечными привязанностями, с моими привычками, собственными традициями и так далее — этот ряд можно и продолжить — ритмы? Самиздат — это, быть может, мой личный космос. Мне в нём уютно, спокойно, я в нём дома. Независимость — великое дело. В самиздате я — независим. Самиздат, если хотите, в чём-то родственен музыке — для меня, я подчёркиваю это. Чтó он для других — не знаю, пусть отвечают эти другие. В моём личном самиздате — такая же, как в музыке, вариативность, та же полифония, некоторые приёмы, ходы, общие принципы, строй. И я не фантазирую. Так всё и есть. Самиздат — это моя собственная продукция, причём творческая, оригинальная, аналогов ей нет. Самиздат — моя собственная, внутренняя, сокровенная страна, где я сам себе хозяин. И, наконец, мой самиздат — это отсутствие застоя, это постоянное и многолетнее движение вперёд. Жизнь не переиначишь, заново не проживёшь. Годы — не горы, в мешок не положишь. Но самиздат — материальное свидетельство этих лет: не зря прожиты! — вон сколько сделано — и ещё, даст Бог, будет сделано. Самиздат — материализованные мысли и состояния мои. Это сказка, которую я сочинил. Песня, которую спел. Моя легенда.

Поразительна мифология самиздата — а с нею и моего поколения, и не только моего — всей нашей бывшей неофициальной и, похоже, так до сих пор официальной и не ставшей братии.

Поразительна молва вокруг самиздата: ни восточным краснобаям, ни западным нагнетателям ужасов развернуться уже негде — место забито, всё заполонили отечественные россказни.

Поразительны метаморфозы самиздата: смотрите, как он живуч, как он меняется, приноравливается к действительности, этот Протей, или кто он там — ну-ка откликнись, покажи лицо! — как напитывается он новыми идеями и веяниями, сколько в нём здоровой крови, хорошего упрямства, крепкого духа, верности избранному когда-то пути!

Нет, не зря я с ним дружен.

А судьба — ну что тут сказать?

Судьба есть судьба. На неё я не сетую. Грех ворчать на неё. Наоборот, я рад, нет, если на то пошло, то я счастлив, да, счастлив, что она — вот такая, а не иная, моя судьба, а не чья-нибудь. Я благодарен ей.

Это даже не категория, это знак свыше, предназначение человека. Это невидимый проводник на пути.

Бог видит всё и всё сохраняет. Ангел-хранитель оберегает меня и поддерживает, дабы не оступился.

Бывали промашки, и расплачиваться за них приходилось. Бывали светлые дни, и так дорожу я этой умиротворённостью взглядов, чистотой помыслов, равновесием, душевным и общим, во всём теле, в думах, льющихся неспешно и прозрачно, в мелодиях, возникающих в голове просто так, из ничего, из ниоткуда, беспричинных, сменяющихся, но исходящих от некоего таинственного центра, излучающего этот радостный свет, а потому органичных, и любое мгновение в эти блаженные дни отзывается звонкой, трепещущей собственной нотой, личным звуком и личным участием в этой гармонии, ради которой стоит работать и жить.

Бывало и тошно, хоть криком кричи, но уместно ли теперь, пережив эти чёрные полосы, когда всё

зарубцевалось, роптать на то, что прошло, схлынуло и закалило душу?

Нет причин для злопамятства, некого корить, кроме как себя самого.

Судьба—это не только и даже не столько земное существование человеческое, это и дальнейшее продолжение его, то долговечное эхо деяний твоих, которое, глядишь, и отзовётся в потомстве.

Объяснения этому нет. И тебе придётся заменять его догадками, так всегда бывает. Помни, что и догадка иногда оказывается верной. Это утешит тебя, а утешив, заставит задуматься вновь.

Когда-нибудь, даже не представляю—когда, в те времена, когда уцелевшие самиздатовские тексты соберут, по возможности систематизируют и начнут изучать, среди них обнаружится немало и моих. Потому что шестидесятые, семидесятые, восьмидесятые и даже девяностые годы двадцатого столетия—непрерывная страдная пора моего самиздата. И я знаю, относясь к этому так, как, положим, рабочий относится к своему делу, к тому, к чему прилагает он силы свои и умение, чем он ценен как специалист, профессионал, обладающий не только известными навыками, но и творческим подходом к труду своему, что мой самиздат не закончится для меня никогда.

Найди дорогу ко мне. Найди её сам.

Книги мои, где в сопровождающих стихи текстах, написанных самыми разными людьми, достаточно ли глубоко, более ли поверхностно знающими жизнь мою и поэзию, но искренними в своих суждениях, иногда говорится о возрасте, в котором созданы те или иные вещи, о некоторых обстоятельствах, так или иначе связанных с ними, вряд ли ты быстро, даже испытывая острое желание отыскать их во что бы то ни стало, найдёшь,—давно разошлись эти книги по людям, которым они дороги, а частично и среди просто любопытствующих—и так ведь бывает, рассредоточились по бесчисленным городам и весям бывшей советской державы, нынче представляющей собою этакий винегрет, маловразумительный набор самостоятельных государств, по зарубежным странам, считающимся цивилизованными, где имеются все удобства для быта и все предпосылки для скуки, где обитают некоторые наши бывшие соотечественники, со своими повседневными заботами и загадочными для западных обывателей проблемами, со своей неизбывной тоской по русскому слову,—давно разошлись эти книги, на все четыре стороны света, и неисповедимы их пути,—да и были они, с помощью некоторых очень хороших людей, изданы тиражами небольшими, даже вынужденно и досадно малыми, иногда и крохотными,—к этому, как тебе, наверное, известно, свелось издание поэзии в наше междувременье. И то слава Богу. И всё, пожалуй, к лучшему. Вышли, и ладно. Вышли—и разошлись. Ищи ветра в поле. Попали, в основном, к тем, к кому они неминуемо должны были попасть. Я рад. А то всё ещё помню, отчётливо помню, как непривычно было мне, их автору, держать их в руках, разглядывать, читать своё имя на их корешках, постепенно привыкать к их внешнему виду, к их содержанию, к тому, как выглядят, как воспринимаются мною же самим собственные мои тексты, десятилетиями, иногда более четверти века, существовавшие только в рукописях и в самиздатовских перепечатках—и вот изданные, и этим уже почему-то отъединённые от меня. До сих пор привыкаю к ним.

До сих пор я стою одной ногой в своём самиздатовском прошлом, а другой ногой—в самиздатовском своём настоящем. Потому что книги-то вышли, но издано—далеко не всё, что я написал—за сколько же лет?—за тридцать восемь лет напряжённой работы. Подумать только! Я даже опешил сейчас, наскоро прикинув, каков на сегодня возраст моих писаний. Этакий громадный пласт моего душевного, сердечного, физического времени, и весь он—там, в рукописных и машинописных строчках, в том, ради чего я существую на земле, в моей речи.

Так что мой самиздат—при мне.

Вот он, далеко ходить не надо, вон сколько этого добра вокруг: на полу—папки с бумагами, россыпи бумажные—на столе, вороха—на диване, и под столом лежат папки с текстами, стоят битком набитые, задвинутые подальше, чтобы ходить не мешали, вместительные коробки, в которых чего только нет, и везде в комнате, где я работаю и которую никак не привыкну называть рабочим кабинетом—это любил подчёркивать, честь ему и хвала, Волошин, сознательно выделяя это помещение из других помещений дома, тем самым отдаляя его от всего, что мешало работать, и правильно делал, и ему действительно старались в такие часы не мешать,—а я-то, по старой памяти, слишком хорошо помня былые бездомицы, всё готов, под настроение, писать где угодно, пристраиваясь на краешке стола, и мешают мне при этом частенько, видимо, потому, что не утвердился в их сознании образ главы семейства—писателя по всем статьям, этакого творца, жреца поэзии и прочих искусств, как его изображали раньше художники-реалисты,—понятное дело, серьёзного, с большим открытым лицом, с высоким, заметно изборождённым морщинами лбом мыслителя, с проницательными, всё чаще с грустинкой и лишь изредка с озорной искоркой, усталыми и добрыми глазами, внимательно, в упор, глядящего на тебя с портрета, и сразу видно, что не простого человека, а особенного, имеющего за душой нечто,

и это нечто он и намеревается поведать людям, и люди, глядишь, и станут лучше,—хорошего русского писателя, с заметной сединой в волосах и, конечно же, с бородой,—ну, борода у меня есть, и седина тоже, и всё это шутка, и домашние мои периодически спохватываются, дабы создать мне условия для творчества, то есть хотя бы просто не шуметь и не вторгаться ко мне именно тогда, когда я пишу, да и вообще они мне особо и не мешают, потому что живу я здесь, в коктебельском своём чудом появившемся и судьбою дарованном доме, большую часть каждого года—из девяти уже так изменивших мою жизнь лет—в одиночестве и сознательном затворничестве, и со мной только верный и закадычный мой друг, эрдельтерьер Ишка, неотлучно рядом, и посему в эти долгие месяцы никто не мешает мне ни думать, ни что-то там этакое записывать на бумаге или перепечатывать на машинке, и всё это скапливается здесь же год за годом, и поэтому везде в этой вот рабочей моей комнате, с окном на юг, прямо на Святую гору, везде, ну куда ни повернись, куда ни посмотри,—плотным кольцом окружает меня мой самиздат.

И это—здесь, в Коктебеле, где находится лишь некоторая, хотя и немалая, часть моих бумаг.

А ещё ведь сколько их в Кривом Роге, у меня на родине, в родительском доме, где я работал до девяносто первого года, пока не поселился в Крыму, десятилетиями, работал неистово, самозабвенно, и в этом, только в этом находил спасение от минувших невзгод и бед.

А что творится у меня в Москве, в московской квартире, где я, бывает, живу в холодную пору года!—ты и представить себе, читатель, не можешь,—там, в моей рабочей комнате, с окном уже не на юг, а на север, с видом на окрестные парки и кварталы домов, открывающимся с нашего двенадцатого этажа,—там, в комнате, где на стенах висят любимые мною работы Игоря Ворошилова, великого художника, где есть много хороших книг, там, на площади вдвое большей, чем площадь коктебельской комнаты, вообще повернуться некуда—всё скапливается, пылится, засовывается куда-то, потом разыскивается, и так всё время,—и всё нужно, и к этому обилию бумаг я привык, сжился с ними, они—мои.

А сколько бумаг моих находится в разных собраниях, раскидано по всяким городам и странам!

А сколько их утрачено в годы мытарств и бездомиц—и вспоминать неохота об этом, не сыщешь концов теперь, хотя о некоторых местах их концентрации представление я имею и понимаю, что когда-нибудь, в будущем, в силу меркантильных повадок заполучивших обманным путём или похитивших их граждан, они выйдут на свет.

Но погибло—слишком уж много.

На протяжении девяностых годов от сотрудников некоторых музеев стали поступать ко мне предложения—передать им на хранение любые, на моё усмотрение, из моих бумаг. Помню, одна такая сотрудница особенно настаивала на том, что лучше всего, мол, будет, если я отдам им свои черновики—вот это всегда важно, и процесс работы виден, и тому подобное. Передать на хранение—это, называя вещи своими именами, попросту подарить, потому что никаких средств у музеев давным-давно уже нет, и покупать они ничего не могут. Понять их можно. Им надо пополнять свои фонды. И откликнуться на их призыв, наверное, когда-нибудь можно будет. Но не сейчас. Не время ещё—чувствую, знаю. Рано. И не до этого: мои бумаги—все в работе.

И никто не имеет даже приблизительного представления, никакого понятия не имеет о том, что это за бумаги, старые и новые тексты, окружающие меня в местах моего обитания, что там, в этих папках, в этих кипах и россыпях,—даже те, кто вроде бы считаются знатоками моих писаний,—даже до них не добрались ещё эти тексты, а уж как, по старой памяти, хотели бы они их заполучить, ан нет, не успели,—и всё это, подчёркиваю, у меня в работе, и всё это мне нужно, приходится возить с собой взад-вперёд эту поклажу, набивать рюкзаки, тащить, складывать, раскладывать—и ничего, привык, так вот и существую, наедине со своим самиздатом.

Эти рукописи и машинописи—часть меня самого. А может быть, я сам, вот такой как есть,—это они. Кто знает? Потом разберутся. Для меня это всё—живое.

Разбрелись мои книги, рассеялись по миру. Ведь у изданных типографским способом текстов своя собственная жизнь, иногда—кабинетная, домашняя, библиотечная, иногда—со странностями, с приключениями, с имеющими изрядный мистический оттенок историями. Вот они и живут сами по себе, путешествуют. Бывают там, где я сроду не бывал. Поди гадай, где они окажутся завтра. И хорошо, что читают их те, кому мои тексты действительно нужны.

В самом начале девяностых, в Москве, профессор Миливое Йованович, знаток русской литературы, и особенно—литературы современной, совсем недавно ещё имевшей незавидный статус неофициальной, запретной, подпольной, гонимой, лишь урывками публикуемой на Западе—и вдруг, вопреки всей предыдущей политике, благодаря парадоксальному стечению всяческих, печальных и радостных, плохих и хороших, запутанных и

предельно простых, но для всех нас новых обстоятельств, хотелось бы сказать попраздничнее — как по волшебству, но скажем куда прозаичнее — в связи с изменениями, происшедшими в жизни общества, как оно и было на самом деле, несмотря на всю казённость этого газетного выражения и на поразительное умение наших властей изъясняться так обтекаемо и неопределённо, так одновременно обо всём вроде бы и ни о чём, что остаётся только в очередной раз руками развести, а говоря короче — по причине появившихся нежданно, чуть ли не как снег на голову свалившихся возможностей свободных, бесцензурных изданий, начавшей всё больше и больше, по нарастающей, издаваться и на родине, поначалу в Москве и в Питере, а вскоре и в других местах, литературы, для отечественных читателей новой, впервые по-настоящему открываемой им, желанной и важной, литературы — нашей, кровной, выстоявшей и наконец утверждающейся в виде изданных книг, утверждающейся в сознании читателей, имеющих доступ к этим книгам, что следует особенно подчеркнуть, —

Миливое Йованович, глава целой школы славистов, житель ныне изуродованного натовскими бомбардировками Белграда, седой, высокий, весь как-то хорошо подтянутый, подобранный, с юношеским, постоянно вспыхивающим огнём в умных и грустных глазах, с детским, непрестанным, никогда не покидающим его изумлением перед миром и звучащим в нём словом, удивительно живой, с превосходной интуицией, с присущей ему мгновенной реакцией на всё, что происходит вокруг, с настоящими, глубокими знаниями, совершенно естественный в любой обстановке, то вдруг задумывающийся, то порывистый, как в полёте, светлый человек, напоминающий сербского древнего воина — таким штрихом я всегда дорисовываю его портрет в своём воображении, это созвучно с его именем — милый воин, да он и есть подлинный воин слова, — сказал мне с обескураживающей откровенностью:

— Когда я читаю ваши книги, то ощущаю такой импульс к творчеству и получаю такой заряд светлой энергии, что мне самому сразу же хочется писать стихи.

Он смотрел в корень.

Он чутьём угадал, в чём тут дело, в чём суть моих стихов.

Действительно, есть в них этот импульс, побуждающий и других людей к творчеству, есть этот заряд энергии, знаю твёрдо — созидательной, требующий верного восприятия, должной настроенности, сконцентрированного внимания, взаимного доверия между текстом и читателем, переклички и взаимовыручки сознания и подсознания, участия души, сердечного отзыва, усвоения, а потом и дальнейшей работы, какого-то неминуемого продолжения, развития, включения в эту общую для всех пишущих людей цепь, в эту систему связи, в это силовое поле, в это звучание жизни, бытия, воспринимаемое мною как космическая музыка, зафиксированное мною в слове, осмысленное как живое биение вселенской гармонии, где всё важно и всё на своём месте, всё в единстве и в сложной своей полифонии, где нет бесполезных пустот, где всё в работе, всё в действии, всё представляет собою единый организм, единый мир, где каждый звук и слог, соединяясь с другими, варьируясь, развиваясь, храня огонь жизни, призывает и других к творческой — тоже требующей полной отдачи и участия в этом вечном единстве, которое я, насколько мне удаётся, стараюсь выразить, — деятельности.

Просто — нужен выход на те частоты и волны, на которых я работаю; говоря упрощённо, нужно настроиться на них, уловить их, принять передаваемые мною в окружающее пространство позывные, мои сигналы и токи, звучание моей речи, воспринять их чутко, внимательно, насколько это возможно, осмыслить их, откликнуться на них — и контакт наладится, связь будет осуществлена.

Дальше начнётся индивидуальная, у каждого такого контактёра сугубо личная, большая работа по вхождению в мир этой речи. Потом, при подлинном осознании его органичности и закономерности, в нём можно будет даже присутствовать, возможно — и жить, во всяком случае — в той или иной мере сродниться с ним.

Что это вообще — мои стихи? Может быть, угаданный, по-своему выраженный и передаваемый средствами речи подразумеваемой отзывчивой душе искомого друга по времени — земному и совсем иному, существующему по другим законам, душе спутника по путешествию в пространстве — во всех известных и не всем ещё известных его измерениях, — общекосмический, универсальный код бытия?

Догадывайтесь лучше сами. Попробуйте. Авось и прозреете.

Далеко не всегда находится такой вот возможный друг, собеседник — Тот, Кто Поймёт. Годами живу я в матёром своём одиночестве. Знаю, что настоящий читатель столь же редок, как и настоящий писатель. Смиряю всяческие страсти, надеюсь, жду. И верю. Сызмальства открыт я всему и всем на земле. Возраст мой ныне таков, что могу говорить в полную силу — и далеко не всё я ещё сказал. Так и живу — отшельничая в повседневной своей жизни и порываясь навстречу людям в том, что пишу все эти долгие годы.

Бывали, и нередко бывали — что там хандрить! — радостные для меня и поэтому бережно хранимые в памяти случаи подлинного понимания того, что я делаю в поэзии.

К сожалению, многих из этих людей уже нет на свете.

Но для меня они так и остались живыми.

И мысленно я продолжаю беседовать с ними.

Игорь Ворошилов, Игорёша, духовидец и скиталец, подвижник и мученик, великий художник, поэт, мыслитель, человек, обладавший силой Святогора.

Вадим Борисов, Дима, Димка, один из лучших людей России, умница, чистая душа, щедрое сердце, рыцарь чести, хранитель духа.

Леонид Губанов, Лёня, Лёнечка, Лёка, Губаныч, гениально одарённый московский мальчишка, мятежник, буян, безумец, страдалец, скорбный очевидец и пророчествующий летописец эпохи в зрелые свои годы.

Александр Величанский, Саша, человек принципиальный и честный, поэт резкий, трезвый и пристрастный, оставивший потомкам уникальные поэтические свидетельства своего времени.

Леонард Данильцев, просто Леонард, наш — для всей богемной братии, умный и благородный человек, подлинный поэт и яркий прозаик, художник, знаток искусств.

Николай Шатров, Коля, великий поэт, отшельник, мистик, человек глубоко верующий и наделённый разными необычайными способностями, пророк и мыслитель, чьё огромное поэтическое наследие до сих пор толком не издано.

Владимир Михайличенко, Володя, мой земляк, замечательный украинский поэт, чьи стихи тоже, слишком уж долго, никак не осмыслят и не издадут на родине, человек трагический и светлый.

Анатолий Зверев, Толя, Анатоль, Тимофеич, блестящий художник, фантастический человек, чья чудовищная и небывалая по меркам не только минувших, советских, но и вообще любых земных лет, ярчайшая жизнь достойна изучения и описания, как и его творчество.

Владимир Яковлев, Володя, гениальный полуслепой художник, прозревавший суть вещей и явлений, сущий ребёнок в быту, несчастный человек, большую часть жизни проведший, а потом и сознательно проживший в дурдомах.

Владимир Пятницкий, Володя, художник поразительный, проникавший далеко за пределы видимого, человек добрейший, светлейший.

Пётр Беленок, Петя, Петро, художник, предвидевший Чернобыль, человек тонкий и сложный, спасавшийся от безвыходности жизни украинским своим юмором, тосковавший по гармонии мира и всё вокруг хорошо понимавший.

Василий Яковлевич Ситников, Вася, Вася-фонарщик, художник особого, цепкого дара, учитель многих современных живописцев, прирождённый педагог, ёрник, надевавший маску юродивого, потому что это старинное средство самозащиты на Руси, выдающийся гипнотизёр, автор уникальных текстов — писем, поучений, воспоминаний.

Михаил Шварцман, Миша, художник серьёзный, мощный, создавший мир со своими знаками и символами, человек, для немногих друзей — открытый, сберегающий свет духовности — вопреки нездоровому времени.

Венедикт Ерофеев, Веня, Веничка, талантливый русский человек, сделавший алкоголь ключевой темой своей жизни, выразивший себя в этом как писатель, но не сумевший сказать всего, что мог бы.

Сергей Довлатов, Серёжа, чудный парень, любимый, как выяснилось с годами, буквально всеми, грустный и талантливый человек.

Георгий Фенерли, Жорж, киевский загадочный человек, поэт, философ, художник, сделать успевший многое.

Владимир Мотрич, Володя, харьковский поэт, местная звезда шестидесятых, красивый человек с небывало бурной жизнью и драматической судьбой, — где теперь его тексты?

Игорь Сергеевич Холин, Игорь, — вот совсем недавно, в июне девяносто девятого, ушедший, человек достойный, прямой, твёрдых правил, совершенно особый, со своим миром и языком, поэт и прозаик.

Генрих Сапгир — ах, Генрих! — человек, с которым многое меня в жизни связывало, особенно в молодости, когда мы дружили и постоянно общались, человек талантливый, любивший жизнь, живший широко, щедро, с размахом, поэт, прозаик, драматург, один из лучших авторов в детской литературе, — тридцать пять лет я знал его, и казалось — так будет всегда, но и он ушёл в октябре девяносто девятого — и теперь, среди прочих ушедших, говорю я уже и о нём.

И так далее. И так далее.

Слишком велик этот перечень.

…И за то, что суждено мне было изведать всю редкостную красоту некоторых земных, но определённых, полагаю, небесами дружб — и суждено было услышать от некоторых чрезвычайно дорогих для меня людей важнейшие для меня слова о том, как воспринимают они написанное мною, — я несказанно благодарен судьбе, время от времени укреплявшей мой дух такими дарами.

Я — русский поэт, потому что мыслю по-русски.

Скажу ещё определённее: я — ведический поэт. У меня ведическое мироощущение. Это — в крови, в речи моей. Это основа и почва моя. Здесь ключ к пониманию всего того, что пишу я уже столько лет.

Речь — живая материя, животворная, светоносная, в силу одних обстоятельств — изменяющаяся, и даже очень заметно, в силу других обстоятельств — сохраняющая первоначальное звучание или самовосстанавливающаяся, но неизменно

сберегающая свой эзотерический смысл, равно как и наш алфавит, как буквы, созданные для воспроизведения речи на письме.

Поэтическое слово органично и долговечно только тогда, когда оно существует в стихии родной речи. Русское слово живо в стихии русской речи.

Вне стихии речи слово, пусть даже броское, эффектное внешне, этакое лихо закрученное, со всякими формальными изысками, с той якобы новаторской, вроде бы авангардной псевдосмелостью, которая почему-то всячески поощряется и корпоративно приветствуется всеми, кто просто не способен постичь суть речи и выразить её, с теми бандитскими ухватками и базарными приёмами, наглыми выходками и расчётливыми провокациями, которые в сумме своей в открытую демонстрируют изрядный набор—да просто целый арсенал—разрушительных средств для изничтожения речи и утверждения её суррогатов, с той делающей умное лицо на публике, раздутой из ничего, выстраиваемой на пустом месте многозначительностью, которую почему-то принято считать признаком интеллекта, занятным свидетельством того, что у подобного автора с мозгами всё в порядке и сам он куда больше поговорочных семи пядей во лбу, и которая на поверку оказывается ложной, мнимой,—мертво.

За примерами далеко ходить не надо. Их множество. Если слово не существует в стихии речи, то такие стихи в лучшем случае—просто подстрочник.

Слово должно жить в родной своей среде—точно так же, как и мы, люди, живём в родной для нас окружающей среде. Слово точно так же, как и мы, дышит, питается, движется в пространстве и времени, видоизменяется, трансформируется, бедствует и процветает, страдает и радуется, никогда ничего не разрушает, а только неустанно созидает, но ещё оно, в самом начале своём, имеет прямую связь с космосом, с Богом. О таком грешно забывать.

Речь—это сила, энергия. Связующая, объединяющая людей энергия. Истоки её—там, в небе. Оттуда тянутся все нити к нам.

Речь—это ещё и искусство. Трансовое искусство. Постижение его—первейшая задача поэта. Интуитивное постижение. Учителей, наставников—почти нет. Всему учишься сам, по крупицам, по крохам собирая целое, вглядываясь и вслушиваясь в мир, в те знания, в ту информацию о его структуре, которые, несмотря на чудовищные потери, сохранены в нём.

В трансовых искусствах исключительно хорошо разбирались наши ведические предки, они были—осведомлены, они—ведали, у них были—Традиция, школа, практика, возможности.

Ничто не умирает, не исчезает бесследно. Живы и эти искусства. И даже в генах наших знания о них порою дремлют, ждут своего часа, чтобы наконец проявиться и присутствовать в мире, чтобы сызнова их возродить.

Речь—врачует, речь—спасает, речь—продлевает жизнь.

Русская речь—это речь ведическая. Это душа древнейшей нашей Ведической Традиции.

Ну что же вы, современные так называемые ревнители слова, радетели неведомо о чём?! Куда смотрите? Что слышите? О чём помните? Что же вы, умники, книжники, пленники собственных заблуждений? Каковы на самом-то деле ваши смутные, клочковатые, вороватые знания, а вернее—подобия знаний, эти то украдкой, а то и в открытую поднятые из обломков, из строительного мусора, из остатков когда-то внушительной, крепкой, но разбившейся вдребезги, рухнувшей наземь Вавилонской разрушенной башни отдельные, разрозненные куски, эти мелкие камешки, даже песчинки? Невозможно вам соединить их в нечто целое.

А между тем это целое—существует. Это речь наша.

Ещё каких-нибудь три тысячи с хвостиком лет назад весь мир говорил по-русски и писал на древнерусском языке. На просторах от Атлантики до Индии и Тихого океана, от Египта и Междуречья до Балтики—звучала русская речь.

Подтверждений этому—великое множество.

Но я приведу здесь лишь одно свидетельство—свидетельство русской поэзии.

Это—написанное ещё в 1848 или 1849 году стихотворение Фёдора Ивановича Тютчева, великого ведического поэта, напрямую указывающее на то, что ему весьма многое было ведомо.

«Русская география.

Москва, и град Петров, и Константинов град—вот царства русского заветные столицы… Но где предел ему? и где его границы—на север, на восток, на юг и на закат? Грядущим временам судьбы их обличат… Семь внутренних морей и семь великих рек… От Нила до Невы, от Эльбы до Китая, от Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная… Вот царство русское… и не прейдёт вовек, как то провидел Дух и Даниил предрек».

Всё совершенно верно. Именно так и говорит об очертаниях древнего Русского Мира наша Ведическая Традиция. По счастью—и к личной моей, не удержусь, чтобы не заметить, радости,—появившиеся в девяностые годы публикации в периодике и отдельные издания книг в достаточной—пока что—мере дают возможность интересующимся собственным прошлым согражданам составить для себя представление о ней. Но многое ещё предстоит открывать нам и переосмысливать заново—всем миром.

В Египте на построенном русами ведическом символе—сфинксе—до сих пор сохранилась древнейшая надпись на русском языке: «Зрю на суету сует».

И я с этим ясным и разумным утверждением позиции мыслящего человека в изменчивом нашем мире—на всём протяжении творческих, трудовых, созидательных лет—абсолютно согласен.

Может, я и сам, в нынешнем своём положении, когда вроде меня и знают, а толком почти никто не читал, потому что все слишком заняты собою, когда одиночество и затворничество давно стали для меня привычными, когда я годами сознательно живу в стороне от суеты и хаоса,—такой же сфинкс?

Чего же вам надо ещё? Вот надпись. Текст. Читайте! Чай, грамоте обучены.

Что-то с памятью у людей происходит нехорошее. Их лишают памяти. Лишали вначале исторической памяти—по счастью, она, затаившись надолго, уцелела. Теперь лишают памяти на слово, на культуру. Тоже вряд ли выйдет. Но больно всё это видеть и понимать.

Есть такой, совсем старый, середины шестидесятых годов, очень характерный анекдот.

На торжественном собрании, с трибуны, ветеран войны рассказывает о том, как они брали бруствер. «Взяли мы бруствер. Поднялся я на него. Посмотрел налево—…твою мать! Посмотрел направо—…твою мать! Посмотрел назад—…твою мать! Посмотрел вперёд—…твою мать!» Голос из зала: «Ну, б…, и память у тебя!..»

Анекдот, по-моему, с глубоким и трагическим смыслом. Отсюда, наверное, и пошло тогда выражение: память у тебя—как у ветерана.

Был в эти же годы ещё один замечательный анекдот. Очень мы его любили.

Едут люди мимо болота. Смотрят—а в болоте мужик стоит, по шею в тине. Одна голова наружу торчит. Люди ему кричат: «Мужик, ты что там делаешь? Вылезай скорее! А то утонешь!»—«Ах, отстаньте!»—отвечает мужик. «Мужик, ты что, сдурел? Давай выбирайся сюда. Мы поможем».—«Да отстаньте вы от меня!»—отвечает мужик. «Слушай, мужик! Ты что, спятил, что ли? Ведь погибнешь там зазря. Выползай из болота. Ну что ты там делаешь?»—«Ну живу я здесь, живу!..»

Вот это «ну живу я здесь, живу!»—очень многое объясняло.

Ничего, восстановится, сохранится народная память. Ведь память и речь неразрывны. Они всегда—заодно. А вот в какой стране—и в какой среде—будем жить мы, это нам с вами всё-таки надо решать—всем, разумеется, миром.

Разошлись мои книги по белу свету. Снова их в путь потянуло.

Странничество и затворничество—две их основных, с разной периодичностью чередующихся ипостаси, то есть—две сущности, два лика.

Издавна только так и бывает с моими текстами.

Для меня написанная книга—прежде всего произведение, за которое я спокоен, потому что работа завершена, и я отвечаю за неё, за её уровень, за каждую букву, за каждую мысль. Эта книга может быть изданной, рано ли, поздно ли, а может годами, даже десятилетиями находиться среди моих бумаг, и у меня никогда не возникает желания брать рукопись в охапку, мчаться с нею по знакомым, всем её читать, всех незамедлительно ставить в известность: вот, мол, глядите, что я новенького написал. Я доволен своим трудом—сам доволен,—и это вполне меня устраивает.

Мыслю я именно книгами. Такой у меня способ мышления—мой, личный. Каждая моя книга—единое, целостное произведение, где всё абсолютно, что составляет этот организм, живой и сложный, это очередное свидетельство существования моего собственного мира, всё, что собрано воедино там, внутри, под обложкой,—взаимосвязано.

Затворничество—привычное для меня условие труда. В затворничестве, вместе со мной, иногда недолго, иногда и подолгу, пребывают и мои книги. Время от времени они начинают путешествовать, независимо от меня. И сам я порой, как встарь, ощущаю зов пространства. Был помоложе—ездил по стране, бродяжил незнамо где, в постоянном движении находя нужные для творчества импульсы. Вообще лёгок был на подъём. Старше стал—поумерил свои порывы, теперь не только затворничаю, но и отшельничаю.

Внешний мир—сузился, внутренний же мир—всё расширяется.

Значит, так надо. Значит, так и стоит мне на протяжении долгих уже лет жить.

К тому же чувствую себя человеком, не замаранным в грязи междувременья. Сталкиваться со многими мерзкими его проявлениями—брезгую. Пребывание в стаде—это не для меня. Вполне устраивает меня нынешняя, пускай и одинокая, независимость от разгулявшегося бреда.

Мои книги—мои собственные Веды, мои знания о том, что это такое—мир, мой вселенский дом.

Ну и, вполне естественно, книги, да вообще любые произведения искусства, всегда похожи на их автора, на того человека, кто их создал. Мои книги—похожи на меня.

Книги мои нынче—странствуют. И что же оказалось? Оказалось, что самые преданные, внимательные и отзывчивые их читатели—это читатели моего самиздата.

Вот какой непредсказуемый виток совершила загадочная, упрямая самиздатовская спираль! Опять пошла не прямо, а вкось.

Так что же тогда вполне может ожидать всех нас впереди? Да мало ли что!

Снова поворот спирали—и, глядишь, оживёт самиздат—в новом уже качестве, с применением куда более совершенной техники, нежели наши пишущие машинки,—оживёт, задышит, призовёт к действию. И всё начнётся по новой.

И так может быть. В нашей стране вообще всё может быть—всё, что угодно.

А что, если строчки из песни: «но наш бронепоезд стоит на запасном пути»—это отчасти и о самиздате, и пресловутый бронепоезд—всего лишь иносказание, метафора до нужной поры дремлющей где-то на отшибе, терпеливо ждущей своего звёздного часа, довольно грозной и не случайно дарованной нам чуть ли не от природы силы—или даже стихии?—и если она высвободится, вырвется наружу из своего затвора—то что начнётся тогда? Это, разумеется, шутка, но с немалой долей истины.

Я окончательно уяснил себе: круг моих читателей—самиздатовский круг—вот он, я его вижу, осознаю, он очень живуч, он существует, и пусть ряды людей самиздата уже основательно поредели, ничего не поделаешь,—но они и пополнились—представителями новых, молодых поколений.

Самиздат—самовосстанавливающаяся структура. Как и речь.

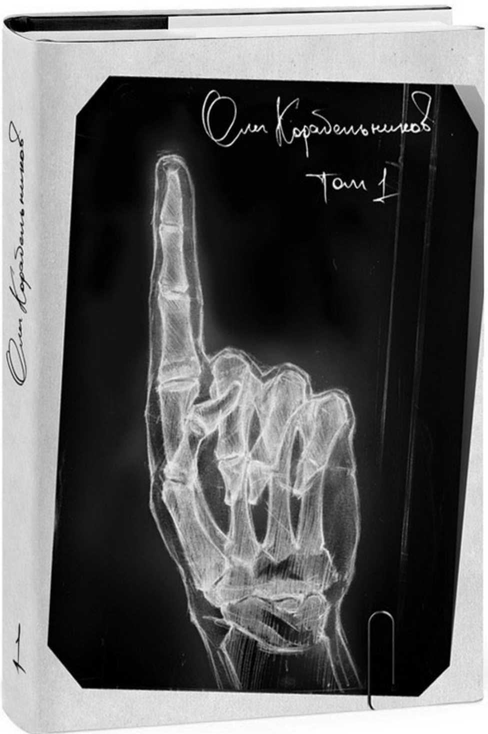
Самиздатовский народ хорошо знает, что это такое—круговая порука, что это такое—дружба, что это такое—братство. Он по-прежнему сохраняет верность традициям: не только прочитай сам, но и дай возможность прочитать другому. Наш круг—это, в некотором роде, рыцарский орден. В нём собственные законы, правила, своя—не устану это повторять—этика. Это закалённое в былых невзгодах содружество избранных. И не думайте, что сказанное мною—всего лишь броская фраза. Избранность самиздатовцев из огромного числа прочих граждан, пусть среди них и хоть отбавляй распрекрасных,—очевидна. Самиздатовская честь—как благая весть, самиздатовское достоинство—как знамя для воинства.

Раньше как бывало? Человек самиздата получал от меня машинописный сборник, читал его, потом садился за машинку и перепечатывал—и отдавал сделанные под копирку экземпляры—прочим, надёжным во всех отношениях, людям. А те, в свою очередь, поступали точно так же—и тексты всё продолжали своё хождение среди ценителей поэзии.

Нечто подобное происходит и теперь. Но только происходит это—с моими книгами.

Прямо как в музыке: тема старая, но с новыми вариациями, да и аранжировка иная, более современная, что ли, по звучанию, по техническому оснащению,—словно шагнувшая поближе к тому времени, в котором она звучит и воспринимается людьми. А мелодию—чем заменишь? Гарантия её долговечности—её подлинность.

Продолжение следует



Олег Корабельников

Избранные произведения в двух томах

Имя красноярского писателя-фантаста Олега Корабельникова, обладателя премии «Аэлита», хорошо известно современному читателю. Его произведения неоднократно издавались в нашей стране и за рубежом.

Уникальное собрание его сочинений издаётся в России впервые и включает самые значительные произведения писателя в оригинальной авторской редакции. Двухтомник иллюстрирован рисунками талантливого художника Георгия Тандашвили, созданными специально для этого издания.

Издание подготовлено к печати издательством «Арта». По вопросам реализации обращайтесь по телефону (391) 278-15-86 или по электронной почте: tev@inbox.ru, info@artadesign.ru

Дарьяна Антипова

Дорога к храму

Козулька

Большой бык стоял рядом с песочницей и смотрел на меня кровавыми глазами.

А я боялась смотреть на быка, который даже перестал жевать и обмахиваться хвостом.

Ну что, что он забыл в нашей песочнице?

А что в песочнице забыла я? Мне уже десять лет. И играть в песочнице как-то неприлично.

— Уйди, — тихо сказала я.

Но бык только заревел. Грязная шерсть затряслась вместе с ним.

Песочница огорожена старыми военными ракетами. Папа говорит, что их давным-давно разминировали и решили украсить детскую площадку.

За песочницей с накренившимися ракетами стоит наш серый трёхэтажный дом. За ним начинается поле, за полем — взлётная полоса и самолёты, на которых летает папа. Дальше — лес и «проволока». «Проволока» — это граница нашего маленького военного города. Вчера вечером к нам приехали родственники. Мама не успела сделать пропуска, поэтому родственники с банками варенья пролезали под проволокой. Там должно быть электричество и вышки с пулемётами. Но на самом деле уже давно никого нет. Поэтому мы иногда ходим по ягоды, пролезая между двумя или тремя проволоками.

Бык оглянулся на стадо, бесцельно блуждающее у дома. А я встала от него подальше и стала чертить носком босоножки на песке карту местности.

Учитель на уроке говорил, что ближайшее бомбоубежище находится в Козульке.

— Повторите, дети: Ко-зу-лька!

— Ко-зууууу-лька! — сказал класс.

— Если американцы начнут бомбить нашу страну, то во вторую очередь, после Москвы, они будут бомбить нас, так как недалеко есть ядерный завод и ГЭС. И если они взорвут ГЭС, то нас всех затопит. Поэтому куда нужно идти?

— В Ко-зу-лькуууу! — повторили мы.

За день я узнала очень много о разных видах бомб. Особенно не понравилась мне одна, от которой прятаться нужно было в воде.

Я начала чертить новую карту. Вот школа, вот лес, вот лесное озеро. За сколько минут после предупреждения я смогу объяснить родителям, что нужно бежать в лес и прятаться в воде? Сколько нужно времени, чтобы ночью успеть схватить сестрёнку и перетащить коляску через проволоку? И можно ли спрятаться от такой бомбы в бомбоубежище в Козульке?

«Лес или Козулька?» — думала я и поглядывала на быка.

И смогут ли поместиться все жители нашего города в одном лесном озере? И сколько можно не дышать под водой, пока бомба уничтожает вокруг всё живое?

Я подошла к высокой траве, которой заросла вся площадка, и сорвала прошлогоднюю пучку. Она была пустой изнутри, и через неё можно было бы дышать под водой.

Мимо прохромала соседка с большой клетчатой сумкой и поздоровалась со мной.

Бык замычал на неё, и соседка отпрыгнула в сторону. Она тоже боялась быков.

Ночью я не могла заснуть. Папа вернулся из командировки и сразу пошёл спать. Родственники уехали. Сестрёнка была в комнате родителей. А я лежала и смотрела на бездонный потолок. Там кружились огромные пятна, похожие на планеты. Они то приближались, то отдалялись от меня, изгибались и пульсировали. И я всё никак не могла понять, какого они размера. Некоторые из них подлетали совсем близко к моей кровати, и мне казалось, что если я прикоснусь к ним, то они засосут меня в свою космическую пучину.

За окном зашелестели тополя, и я поняла, что идёт дождь. В руке под подушкой я сжимала свою сухую пучку, сквозь которую планировала дышать в озере.

И в этот момент кто-то прошёл по коридору.

Это был точно не папа.

Мы въехали в эту квартиру почти месяц назад. Вещей у нас почти не было — мы привыкли к постоянным переездам. И коридоры оставались такими же длинными и голыми. Холодными и тёмными.

За окном подмигнул фонарь, и я снова увидела тень.

Она приближалась ко мне.

Тогда я беззвучно запищала и, схватив одеяло, побежала в комнату родителей через боковую дверь.

Я очень боялась разбудить уставшего отца и расстроить его своим поведением. Но всё равно забралась на кровать и улеглась между родителями. Сначала я прижалась к мягкой маминой руке и уткнулась носом в подушку. Я пела про себя детские песенки из «Бременских музыкантов» и куталась в одеяло. Вскоре почувствовала, как что-то тяжёлое и тёплое опустилось на мои ноги. Я с ужасом открыла глаза и вылезла из-под маминой руки.

На кровати и моих ногах сидело большое существо. С рожками и волосатой мордой. У него были точно такие же глаза, как у быка. Оно поднесло руку с длинными ногтями к своим губам и сказало:
— Тссс.

А на следующий день к нам в школу привели попа в чёрной рясе, похожего на шар. И заявили, что он проведёт несколько уроков по религии. Поп повесил на всю доску большую картину с изображением тощего мужчины и сказал:
— Это Иисус.

Я не знаю, чего он от нас ждал. Но мы уже знали, что бывают бомбы химические, бактериологические, графитовые и электромагнитные. Мы запомнили, где находится ближайшее бомбоубежище. Мы все видели, что поп похож на бомбу. Но мы не знали, кто такой Иисус.

Потом поп скучно рассказывал о том, что мы должны во что-то верить, кому-то молиться. Тогда я спросила:
— А когда сбросят бомбу, нужно молиться или прятаться в озере?
— Какую бомбу?—спросил поп и не ответил на мой вопрос.

Затем поп повесил на доске другую большую картину. Там было уже много голых и худых мужчин.
— Куда они идут?—спросил нас поп.
— В Козульку?—прозвучал в тишине мой голос.

Меня выгнали с урока. Я медленно шла мимо серых домов и высокой дикой травы. Иногда стёкла в окнах дрожали от взлетающих самолётов, а головки сухих цветов качались в разные стороны. Я увидела впереди стадо и решила обойти его через другой двор. Когда выскочила из травы, вся увешанная колючками, то снова увидела Его. Бык стоял у другой песочницы. И вновь пристально на меня смотрел.

Тогда я замахнулась на него портфелем и закричала:
— Не приходи ко мне больше, слышишь? Никогда больше ночью не приходи!

Шарики

Не люблю родственников. Они уверены, что знают меня как облупленную. Естественно, глупо и думать, что если видел ребёнка в коляске, ревущего от неожиданно мокрых пелёнок, то это даёт тебе право свысока к нему относиться и указывать ему на то, что он, по вашему мнению, хочет. Моя мама считает, что я хочу стать интеллигентной гордостью нашего города и для этого хочу поступить в танцевальный ансамбль и без условных троек закончить музыкальную школу по классу гитары.

А я хочу шарики. Знаете, когда идёшь по парку Горького летом, там над серыми головами реют в воздухе разноцветные шары. Так вот, я их не люблю. Зато я жить не могу без «стареньких» шариков ещё маминого детства. Они не взлетают ввысь. Не качаются над головами взрослых, и их нельзя складывать в однотипные фигурки страусов. Нет. Они тащатся вслед за мной, подпрыгивая о подошвы спешащих куда-то людей, и мягко пружинят, если их прижмёшь к груди и потрёшься щекой. Потом смотришь на своё мутное отражение со вздыбленными волосами и разговариваешь с ним. В детстве я целовала его и пыталась весь засосать вовнутрь, так, чтобы лопнул. Я знаю, это очень глупо, но завтра у меня день рождения, и я хочу шарики. Много-много. Разных и во всю квартиру.

Я часто так иду по улице и мечтаю. Сегодня новая тема—десятилетие. Давно я не справляла свои новые числа и «поседевшие» волосы, как говорит мама. Мама не хотела отмечать мой день рождения пять лет, которые я помню. Говорила, что особенных дат ещё не было. На самом деле она боится этого праздника, боится открыток, которые скидывает нам в ящик тётя Вера. Каждая из них начинается с милой фразы: «Дочурка, а тебе сегодня…»—и нужная цифра. Правда, два года подряд приходили открытки с числом «8». Конечно, у папы на работе много разных цифр, и он мог забыть эту одну-единственную. Так я стала на год младше. И завтра на свежем, пахнущем какой-то другой жизнью бланке будет аккуратным почерком выведено: «Дочурка, а тебе сегодня девять». Нет, девять мне сегодня. И я иду в школу в синих кроссовках, хотя на улице кое-где лежит снег.

А вот и моя школа, в ней я обычно мучаюсь полдня. Недавно пыталась подсчитать и ужаснулась тому, что вышло. Половину своей жизни я провожу там, в этих злых и вечно чего-то требующих коридорах. А сегодня около дверей собрался почти весь народ школы. Я подпрыгнула на ходу, но взрослые старшеклассники упрямо стояли стеной. Где-то справа мелькнуло лицо моей единственной подруги, я рванула за нею. Кто-то больно схватил моё плечо, дунул в пространство моих ушных раковин что-то наподобие приказа не мешать и насчёт моей совести. Я вырвалась, подтянула портфель и стала продираться дальше. Вдруг воздух колыхнули тягучие звуки духового оркестра. Рядом зарыдали. Девчонка из седьмого класса, мой давнейший безжалостный враг, регулярно встречающая

меня по дороге домой со своей компанией, сейчас дёргалась в объятиях такого же заплаканного одноклассника. Мне даже стало её жаль.

Моя подружка стояла неподалёку. Я подскочила к ней.

— Здоро́во. Ты придёшь завтра ко мне на день рождения?

Подруга молчала, глядя мимо меня. Я обиделась. Развернула её к себе лицом. Она прошептала:

— Настя из… седьмого «Д» от диабета умерла…

Никакой Насти из седьмого «Д» я не помнила. Хотя… нет, была такая. Раза два просила не хватающий рубль на дорогу. Или не она? Но точно была. Была… Странно как-то.

— А вон её мама,— так же тихо показала мне подруга на женщину в чёрном платке около.

Меня передёрнуло. Лицо Насти как-то криво осунулось, глаза не были закрыты до конца, и создавалось жуткое впечатление, что она сейчас улыбнётся вдруг этими белыми губами, окинет всю эту толпу весёлым взглядом и спросит: «У вас нет рубля? Я на булочку истратила, теперь не хватает». А её мама… не люблю я смотреть на плачущих матерей, они мне всегда напоминают мою. А что моя? Может, и сейчас в подушку плачет, а потом будет, счастливая вся, с днём рождения поздравлять.

— Так ты пойдёшь завтра ко мне?— с надеждой спросила я подругу.

— Да как ты можешь?— она оттолкнула меня, рванула в толпу.

Я не выдержала вдруг, закричала вслед:

— Что я теперь, до конца жизни должна траур носить?!!

И побежала от сотни, нет— тысячи презрительных, удивлённых, возмущённых, испепеляющих, ненавидящих, кричащих глаз…

Остановилась только через три дома. Стукнулась о серую стену пятиэтажки.

Ну в чём, в чём я виновата? Впервые в жизни у меня должен был быть день рождения! Там никого не будет, кроме мамы и… Я эту Настю даже не знаю! Она там лежит, окружённая толпой и куклами Барби на белых простынях, и тоже ничего-ничего не знает обо мне!

А у меня завтра день рождения… Успокойся. И не такое бывало. Пусть рядом будет одна лишь мама и открытка отца. И, может быть, она подарит мне шарик. Синий или фиолетовый… И я сяду с ним ночью на кровати, прижму к груди и поговорю с отражением. Только оно никогда и никуда не убежит. Только лопнет, если я захочу прижать его сильнее.

Дорога к храму

Яся, теряя по дороге вываливающиеся бумажки из папки, вышла из университета и, спустившись по рыхлому и грязному снегу к набережной, потопала по берегу к остановке автобуса. На работу в школе она катастрофически опаздывала. С таким трудом устроилась работать преподавателем с зарплатой в четыре тысячи в Красноярске, будучи ещё студенткой в университете, без опыта работы,— и опаздывала…

В наушниках играло что-то этническое, доброе и русское.

Яся всё шла, пиная ногой февральский снег. Нащупала в кармане кусочек бумажки: вчера она девочке-подготовишке дала задание— написать сочинение на свободную тему по картинкам на карточках, пока занималась с седьмым классом проблемами написания одной и двух «н» в прилагательных. И Леночка написала: «Жили-были казаки. Они жили на далёком-далёком севере». Потом Леночка устала и побежала играть с симпатичным мальчиком Васей. А Яся сохранила этот листок на память.

Сзади послышалось кряхтение. Яся обернулась и увидела, что на улицу, ведущую наверх, к храму, по асфальтированной дорожке с набережной пытается забраться женщина… Хотя это тело, вернее, кусок тела женщиной назвать было очень сложно. Ног у неё не было. Тело стояло на тонкой дощечке, не толще двух сантиметров, на четырёх колёсиках от детской коляски. Обрубок тела был привязан к этой дощечке какими-то верёвками. Женщина передвигалась, опираясь о землю двумя стёртыми палочками— ножками от стула. На голове— тёмный платок, на теле— старое пальтишко. Женщина, кряхтя, по нескольку сантиметров передвигалась по земле за каждый толчок палочками. Яся беспомощно огляделась. Мимо женщины, обогнав её и девушку, прошла влюблённая парочка, потом мужчина приличного вида поспешил быстро проскочить по делам, брезгливо, стараясь не смотреть в сторону ползущей старушки. Яся не выдержала. С тоской посмотрела на часы, представила часовую езду по пробкам до работы в школу, взгляд директрисы… «Уделает меня, как Бог черепаху». И, вдумавшись впервые в эту обыденную в её лексиконе фразу, подошла к женщине.

— Позвольте, я вам помогу.

— Да, да!

Женщина быстро, будто боясь, что девушка передумает, начала доставать из-под тела верёвку. Это оказался поясок от халатика, в подобных которому ходили когда-то по квартирам все советские женщины.

— Возьмите, тяните! Может, вам тяжело? Мне надо наверх…

Её испуганные и радостные глаза метались по Ясиной фигуре. Она ещё сильнее начала перебирать руками по земле.

— Да нет…

Яся взглянула на крутую гору перед собой. От берега Енисея к улице Дубровинского наверху

вела очень долгая лестница… Ярослава подтянула сумку на плече, запихала руку в пакет по самый локоть и обвязала другое запястье верёвочкой.
— Держитесь! Представьте, что вы в детстве на санках!

И потянула. Несколько раз поскользнулась на нечищеных ступеньках, постоянно направляя верёвочку на относительно ровный асфальт слева от лестницы… Мокрая, выдохшаяся, она очень медленно залезала на вершину и смотрела на Дворец бракосочетаний… Шаг. Другой. Утопающие ноги в рыхлом снегу. Старушка кряхтела и из последних сил подтягивала своё тело на руках.

Небольшая деревянная церквушка одиноко стояла среди старинных разрушающихся домиков. Яся, задыхаясь, почти донесла женщину до разбухших от сырости дверей.
— Спасибо, девушка, дальше я сама… Тяжело тебе…

Ясе даже смешно стало от этих слов женщины.
— Да нет уж, я вас и за порог теперь дотащу!
— Спасибо, милая, да хранит тебя Господь! Остались ещё христианские люди на земле!

Яся наклонилась поближе к женщине.
— Извините, что расстраиваю вас, но не христианский я человек, бабушка! — Яся аккуратно затащила женщину на порог храма. — Я вообще неверующая и некрещёная. Язычница я. Ещё раз извините за эти слова.

Яся поцеловала женщину в лоб, распахнула перед нею дверь церкви и побежала на остановку.

Белоснежка

Я обожала умирать. С чем я и справлялась успешно на сцене нашего двора с восьми до двенадцати лет. Помимо героев, которые в наших пьесах умирали, — дедушка, Гитлер, индеец, Робин Гуд, — я сыграла и все необходимые для пьес вещи: берёзку, немое кенгуру и даже одежду в шкафу. Сцена была очень старой и затерянной среди деревьев нашего леса. Когда-то к ней вели асфальтовые дорожки, и наши бывшие соседи ходили туда праздновать самый популярный здесь праздник — День строителя. Но всё это было ещё до нашего с братом рождения. Сначала у родителей родился он. И только через семь лет появилась я.

И вот мне исполнилось двенадцать. Оля, самая старшая девочка из нашего дома, вдруг начала часто заходить ко мне в гости. Дарить подарки на праздники. И мне пришлось согласиться с тем, что она моя лучшая подруга.

Через несколько дней после моего дня рождения она вдруг решила стать режиссёром новой пьесы нашего театра. Вечер для показа пьесы был назначен на конец мая. Именно на тот день, когда мой брат должен был вернуться из армии.

А ещё она мне запретила стричь мои волосы, которые внезапно стали виться. Это была трагедия. Мне нравилась моя короткая стрижка. И рваные джинсы. И лопнувший баскетбольный мяч, который перед отъездом подарил мне брат.

В новой пьесе я должна была сыграть не медведя, не качающиеся на ветру деревья, а… Белоснежку.

На первой репетиции ко мне подошёл длинный Витька и, ухмыльнувшись, заявил:
— Я буду с тобой целоваться! Я — принц!

Я долго и громко пыталась отказаться играть с прыщавым Витькой, но Оля предложила мне то, от чего я не могла отказаться. Красиво умереть с яблоком в руке в конце пьесы.

А может, я согласилась играть Белоснежку из-за приезда брата, так как мне купили красивое платье. Или из-за яблок. На каждую репетицию Светка из семьдесят третьего дома приносила жёлтые мягкие яблоки. Пролежав положенное время в гробу, я отпихивала Витьку и съедала своё яблоко в конце наших театральных встреч.

И мой брат наконец-то приехал. В квартире всё было прибрано, на кухне пахло блинами и мясными приправами. Брат незнакомым мне взглядом смотрел в окно. Иногда улыбался чему-то и накручивал на палец мои кудри…

Наши родители и соседи долго подтягивались к сцене по тропинкам. Рассаживались вокруг сцены на собственные стулья. Посматривали на моего брата в военной форме.

Я гордилась. Оля нервничала. Объявляя начало пьесы, она заикалась. А в конце речи добавила, что она поздравляет с приездом моего брата. И, не отрывая взгляд от бумажки, быстро ушла за кулисы. Я глубоко вздохнула, подкинула в руках яблоко и — вышла на сцену.

Всё шло по сценарию почти до самого конца. Оля осторожно выглядывала из-за кулис, смотрела на реакцию зрителей и явно ждала любовную сцену, которую мы так долго репетировали.

Я откусила своё яблоко и повалилась в гроб. Но яблоко внезапно выпало у меня из руки и покатилось куда-то в сторону публики. Я от неожиданности и огорчения приоткрыла глаз и заметила, что за сценой что-то происходит.

Оля держала за кончик плаща принца и старалась не выпустить его на сцену. Видимо, кто-то забыл принести из дома стул, украшенный белой лошадиной головой. Но принц оттолкнул её, выпрыгнул на сцену и поскользнулся на моём яблоке. Яблоко Белоснежки покатилось в другой конец сцены. Я с ужасом посмотрела на брата. Он смеялся. Оля тоже смотрела на моего брата. И плакала.

И наконец-то я разглядела принца. На длинную трёхметровую палку кто-то надел крохотную голову свиньи с блестящими глазками и новогодний дождик вместо лошадиной гривы. Оторопев, я даже позволила принцу меня поцеловать и ожила раньше времени. Принц кинул реплику в умирающую от хохота толпу зрителей и одной рукой

подсадил меня боком, как полагается в средневековье, впереди себя на «коня». Сзади нас на палке примостились ещё восемь гномов, которые пытались разобраться, в каком же направлении со сцены мы должны двигаться. Принц подпихнул меня ногой, и вот так, боком, мы стали двигаться к кулисам. Брат свистел и махал мне рукой. За сценой Светка доедала моё яблоко. А Оля сидела, закрыв лицо руками.

Письмо домой

— Тамо далеко, далеко од мора, тамо je село моје, тамо je Србија,— напевала я услышанную по «Радио России» песню.

Где находится Сербия, я не знала, узкий мир нашего сибирского города был настолько далёк от всей цивилизации и Европы, что интересоваться местонахождениями крохотных европейских держав казалось мне бессмысленным делом. Слишком уж их было много на карте, и слишком уж они были далеки.

Я шла в школу привычным путём, не по дороге. Наверное, странно смотрелось со стороны, как взрослая девушка перелезала через забор соседнего лицея №1 и топала по летним лужам школьной поляны. Раздвинув ветки сирени, я вылезла из кустов прямо под окна нашего класса.

Я всегда училась в классе под буквой «А». Считалось, что мы были самыми умными из всей параллели. Классов было шесть, а к девятому стало восемь. Школ в районе построили три, и почему-то две другие считали своим долгом отчислять своих неуспевающих и отправлять их к нам. Сердобольный наш директор Юрий Владимирович — единственный человек, которого я любила во всей нашей школе,— принимал даже таких. За что неуспевающие регулярно били ему окна.

И сейчас стёкол в нашем начальном классе не было, а во всю школьную стену был нарисован толстый член. Пустая комната, казавшаяся теперь крохотной, была уже несколько дней обдуваема всеми ветлужанковскими ветрами. Сердце как-то странно задрожало, и я почувствовала привычный детский ужас. Но разворачиваться было поздно.

Не помню как, но, пройдя через тихий июльский коридор, я постучалась в кабинет директора. Юрий Владимирович хмуро кивнул мне и крикнул в пустую учительскую:

— Ирина Алексеевна! Ирина Алексеевна!

Я села в большое кресло и посмотрела на директора.

— Что тебе нужно?— спросил он меня, изучая какие-то документы.

Пройдя университетскую жизнь больше чем наполовину, я привыкла к обращению на «вы» и смутилась.

— Ну?— Юрий Владимирович снова взглянул на меня.

— Вы знаете, я потеряла аттестат, и мне нужен новый…

Юрий Владимирович потёр пальцем свою переносицу и вдруг вскрикнул уставшим голосом:

— Ещё и недели не прошло с выпускного, а ты уже потеряла аттестат? Почему я должен бросать всё и делать тебе новый?

— Вы знаете…— ещё больше смутилась я, ощущая себя в каком-то сумрачном лесу.— Я не в этом году закончила… А пять лет назад… Я выпускаюсь из университета, а мой аттестат оказался утерянным… И мне не дают диплом.

Юрий Владимирович удивлённо оглядел меня с головы до ног и вдруг улыбнулся:

— Катюша, ты, что ли? Уже четыре года прошло, вот это да…

Он подошёл к шкафу, стал что-то там искать, потом рухнул передо мной вместе с серой папкой больших жёлтых листов, исписанных мелким почерком.

— Сейчас всё сделаем! Надо же, уже дипломница… Молодец! Отличница, надеюсь?

Я скромно кивнула.

— В каком году ты закончила?

Я не помнила. Я вообще ни разу после окончания школы не вспоминала о ней.

— Какой сейчас год?— решил подсказать мне Юрий Владимирович и улыбнулся.

Моё лицо превратилось в маску. Вся моя ненависть к школе, живущая во мне все десять лет обучения здесь, взрослевшая со мной, снова проснулась и затмила мою память.

— Та-ак,— сам посчитал директор.— Значит, двухтысячный год. А класс? Буква?

— «А»!— гордо сказала я, выходя из сумрака.— Я всегда училась в «А» классе.

— Правда?— удивился директор и стал искать с линейкой мою фамилию на жёлтых листах.

Оглядев несколько раз листы с обеих сторон, Юрий Владимирович снова посмотрел на меня:

— Тебя здесь нет. А кто у тебя был классным руководителем?

К такому обороту событий я была не готова и, как-то отстранившись от себя, поняла, что говорю совсем не то, что нужно:

— Григораша.

Наверное, в тот миг мой дух, смутившись, вылетел из меня и «обернулся», озирая весь мой школьный путь.

Начальные классы пролетели слишком быстро. Я настолько боялась нашей учительницы, что однажды, опоздав к первому уроку, побоялась постучаться, просидела весь день в школьном саду на зимней скамейке и заболела.

Помню, как Серёжа Попечец во втором классе показывал мне турецкую ручку с голой женщиной и, видя, что я смущена, пихал мне её прямо под нос, а потом сказал на весь класс:

— И ты такая же будешь!

Это был первый в моей жизни вызов смеющемуся классу.

— Да, буду! — сказала я и села читать книжку про Мэри Поппинс.

Попечец удивился и остаток дня провёл, сравнивая меня с женщиной на ручке.

Почему-то я помню первый урок по религии, где я осмелилась поднять руку.

— А почему у Иисуса и Иосифа не русские имена?

— Потому что эта вера зародилась не в России, а в другой великой и древней стране.

— А что, в России нет своей веры? — снова спросила я.

— Или она не великая? — крикнул кто-то сзади — видимо, Попечец.

— Есть вера! Христианская!

— Но ведь это не русская вера! — не понимала я. — Вот русские сказки: Алёнушка, богатырь Святогор, Илья Муромец. Это русские имена. А Иосиф — не русское имя…

Мне поставили в дневник двойку за поведение и выгнали в коридор подумать о том, что такое хамство.

Пока я сидела на подоконнике в туалете, я впервые поняла, что не люблю попов и школу.

— Её звали Елена Анатольевна… — зачем-то сказала я директору.

— Кого звали? — Юрий Владимирович сел напротив меня.

— Нашу классную руководительницу в пятом классе!

Елена Анатольевна вела у нас математику, мы перешли на второй этаж и стали ходить по кабинетам. Елена Анатольевна была похожа на Снегурочку.

Я смотрела на доску с цифрами и мечтала, чтобы меня не вызвали отвечать. Я ничего не понимала. Ни квадраты, ни уравнения — ничего. Я остановилась на уровне третьего класса и таблицы умножения на восемь. На первой контрольной я дрожала и ждала чуда. Я тогда впервые ждала чуда в страшной для меня ситуации. И дождалась. Мой сосед по парте Дима сказал, что напишет мне контрольную, если я ему сделаю сочинение и помогу с диктантом по английскому языку.

Однажды, через год, мы сидели в раздевалке на физкультуре и собирались уходить домой. У меня на старых колготках была большая дырка, которую уже было невозможно зашить, и я очень этого стеснялась. Я забилась в угол и читала «Джейн Эйр», ожидая, пока кабинет, пахнущий носками и пóтом, опустеет. Девчонки не обращали на меня внимания и говорили о какой-то косметике. Как вдруг ко мне подошла Юлька и спросила нарочито громко:

— Катя, а тебе нравится Губин?

Я как раз читала про то, как Джейн услышала голос мистера Рочестера, раздающийся эхом в горах. Пришлось выныривать из Англии в ужасную действительность.

— Ты меня не слышишь? Тебе нравится Губин?

— Кто это? — выдавила из себя я.

В переодевалку в это время зашли ещё девчонки из шестого «В» и шестого «Е», и я поняла, что с сегодняшнего дня стану посмешищем для всей школы.

— Вот деревня! Ты вообще что-нибудь слышала про музыку? Про «Бэкстрит Бойз»? Девчонки, она Губина не знает! Хха-ха!

Я прижала книжку к груди, как будто она могла спасти моё сердце от стрел, и сказала:

— Я зато знаю, кто такой Рейнгольд Глиэр!

Но меня никто уже не слышал. Все обсуждали, какая я тупая, обсуждали мои старые колготки и смеялись. Дома я включила телевизор и просмотрела его целый день в ожидании Губина. Наконец на сцену под бешеные женские визги выскочил какой-то мальчик и начал прыгать. «Зима, города, одинокие дома, моря, холода, всё как будто изо льда». Больше я не интересовалась его творчеством и не общалась с классом.

А потом я поступила в Литературный лицей и практически стала жить в нём, появляясь в школе два раза в месяц. Я не помню, как закончила девятый класс и перешла в десятый.

— Ещё была Григораша.

— Какая Григораша? — с ужасом глядя на меня, спросил Юрий Владимирович.

Если бы я ещё помнила, как её зовут на самом деле… Григораша преподавала у нас физику и заваливала меня тройками. Я появилась снова только в одиннадцатом классе, нашла девочку, с которой мы ходили когда-то на танцы, и села к ней. К этому времени я уже публиковалась в газетах, засветилась в новостях в обнимку с мэром. И мне нужен был аттестат, чтобы поскорее уйти из школы.

Я сидела перед директором, и мне перед ним было очень стыдно.

Напряжение в кабинете накалилось настолько, что вошедшая завуч тут же выскочила обратно.

— Александра Григорьевна, я так понимаю? — сухо расшифровал меня Юрий Владимирович. Открыл листок с надписью «Класс „Б“», выписал номер моего аттестата на листик, протянул ручку: — Пишите заявление о пропаже аттестата, заявите об этом в газету, принесёте вырезку, и через два месяца приходите за документом.

Юрий Владимирович закрыл осторожно серую папку и, стоя ко мне спиной, сказал:

— Нельзя забывать своих преподавателей.

— Спасибо,— сказала я и вышла в коридор.

Я медленно шла вдоль стены и думала о том, что нет мне оправдания. Вот кабинет информатики, где мы впервые узнали, что такое Интернет, и скачали клип «Тату», а вот кабинет истории, где я разыгрывала сценку из «Трёх мушкетёров» и, как Атосу, мне пришлось целовать Машу целых пять раз в течение пяти выступлений.

Я остановилась около кабинета трудов. В конце восьмого класса, когда все девчонки сидели на трудах и шили юбки, наша учительница вдруг взяла мою ткань и подняла её кверху:

— Девочки, запомните! *Вот так* шить нельзя! Это не юбка, это половая тряпка! Катя, сегодня ты опять будешь дежурной после уроков за то, что не стараешься.

Я спряталась от класса за машинку. Старалась не плакать и тёрла юбкой глаза. Я никогда больше не шила на уроках труда. Да и сейчас не могу пришить пуговицу ровно.

Вдруг Юлька сказала громко:

— Катя, там к тебе мальчик пришёл!

Все девчонки загудели и бросились к дверям. Потом принесли записку, которую по дороге сами вслух и прочитали: «Встречаемся после уроков у школы! Отпросись до вечера гулять в лес!»

— Ну ни фига себе!— сказала Ирка.

— У Кати есть мальчик?!— сказала Оля.

А потом Юля сказала таинственную для меня фразу, после которой ко мне вдруг все стали относиться уважительно:

— Симпотный чувак! Даже не из нашей школы!

И помню, как я шла после урока вниз по лестнице к выходу и как впервые в жизни чувствовала себя красивой даже в заштопанных на пятке колготках и шерстяной маминой юбке.

— Тамо далеко, далеко од мора, тамо је село моје, тамо је Србија,— напевала я услышанную по радио песню.

Где находится Сербия, я не знала, но почему-то в тот момент, прижимая заявление и забытую в сжатой руке директорскую ручку, пообещала себе, что обязательно туда съезжу.

225 лет со дня рождения ∴ ДиН антология

Константин Батюшков

О, память сердца!

● ● ●

Пафоса бог, Эрот прекрасный
На розе бабочку поймал
И, улыбаясь, у несчастной
Златые крылья оборвал.
«К чему ты мучишь так, жестокий?»—
Спросил я мальчика сквозь слез.
«Даю красавицам уроки»,—
Сказал — и в облаках исчез.

● ● ●

От стужи весь дрожу,
Хоть у камина я сижу.
Под шубою лежу
И на огонь гляжу,
Но всё как лист дрожу,
Подобен весь ежу,
Теплом я дорожу,
А в холоде брожу
И чуть стихами ржу.

Мой гений

О, память сердца! Ты сильней
Рассудка памяти печальной
И часто сладостью твоей
Меня в стране пленяешь дальной.
Я помню голос милых слов,
Я помню очи голубые,
Я помню локоны златые
Небрежно вьющихся власов.
Моей пастушки несравненной
Я помню весь наряд простой,
И образ милый, незабвенный,
Повсюду странствует со мной.
Хранитель гений мой — любовью
В утеху дан разлуке он;
Засну ль?— приникнет к изголовью
И усладит печальный сон.

Ираклий Шаматава

Каин и Евангелие

«Верою Авель принёс Богу жертву лучшую, нежели Каин; ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его; ею он и по смерти говорит ещё».

К Евреям, гл. 11:4

«Всё соделал Он прекрасным в своё время, и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает, от начала до конца».

И Адам будто бы познал Еву, жену свою, и зачала Ева, и родила Каина—земледельца, и сказала она: приобрела я человека от Господа.

Прошло время, и «склонный ко злу разум человеческий» принёс от плодов земли дар Господу. На урожай от земли, пропитанной томлением и суетой, не призрел Творец, за что огорчился Каин. Он скорбел, что был намного меньше и слабее Сотворившего его; в глубине райского сада находил он запретный плод и в поте лица своего ел его до пресыщения. Вытрясал прах с одежды своей, сам также рождённый из праха.

Он был первоначальной смесью обольщения и любви, поэтому он захотел быть первым во всём.

Боль настигла мать как раз при чтении Библии. В полночь разбудил меня крик моего «сводного брата». Последние три часа в утробе и процесс появления на свет растянулись сверх меры. Преходящее время и страдание, извивающиеся между пальцами доктора, старательно исполняли этюд для клавесина…

«Чинное одеяние сшили из синей, пурпурной и выкрашенной в кошепиль шерстяной ткани», перекинутой через руки моего отца, который бегом нёс страдающую от боли женщину в больницу.

— Так «испытал их Бог, и чтобы они видели, что они сами по себе животные»,—кричала роженица, в чьей изнурённой утробе трясли друг друга её дети.

Врач с удовлетворением всматривался в иссушенные глаза женщины и для ускорения процесса предлагал пациенту родовспомогательные лекарства.

Так искусственно—в тринадцать минут девятого—родился мой брат, которого назвали церковным именем [Лазарь].

«Весь красный он и как будто в шерстяные одежды одет. Мясистые части тела его сплочены между собою твёрдо, не дрогнут. Сердце его твёрдо, как камень, и жёстко, как нижний жёрнов. Железо он считает за солому, медь—за гнилое дерево».

Во время короткого сожительства во чреве я успел открыть у него эти качества. Единственное, что мне нравилось в нём, это были его скулы цвета овечьей шерсти и слишком нежный взгляд. Я чуть было не влюбился в него, ей-богу!..

Снаружи до меня доносились отчаянные, минорные восклицания. Его «венчали почётом и могуществом», а мне, испуганному, ещё более затруднили рождение. Хриплый голос гинеколога таинственно подкрался и зашептал мне в ухо:

— И второй идёт.

Поражённый проклятым предсказанием, я почувствовал, как страдание пробежало между ног матери, и от прикосновения острого инструмента моё лицо залилось кровью. (С тех пор на нём остался шрам.)

«Страх овладел мной, и каждая кость моя возмутилась». Так я родился [пашущий зло и сеющий ложь]. «Я тоже, родившись, втянул [в себя] общий [всем] воздух и упал на такую же землю, и первый звук мой был плачем, как и у всех [прочих]. Вскормлен я был в пелёнках и в заботах», так как в одеяние, сшитое из выкрашенной в кошепиль шерстяной ткани, поместили моего старшего брата.

Наперёд приготовленное имя также досталось ему. На второй день после рождения, по благоразумию соседки, мне тоже нашли имя. (Оказалось, что меня ещё не величали.)

Именно с того дня началась борьба за первенство! Соревнование при сосании груди, играх в мяч, выполнении заданий.

«Как орёл вызывает гнездо своё, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берёт их и носит на перьях своих, так Господь один водил его», а я…

По ночам мы доставали книги из шкафа. По просьбе Лазаря отец читал Евангелие. Со слезами на глазах, не зная грамоты, просил я читать мне Библию. (Так конфликт интересов вконец отдалил нас от первоисточника.) Остолбеневший под грозным взглядом отца, я переставал упрямиться и поверхностно, не углубляясь, рассматривал страницы Библии. (Как я мог знать, что «глупца убивает гневливость, и несмысленного губит раздражительность»?)

Соблюдая очерёдность, я почти уверился, что он был первым ребёнком, а я—одним из близнецов… К сожалению, то, что недополучил я, судьба готовила для него.

Во время обеда я незаметно пересчитывал количество тарелок и видел, что всегда было одной тарелкой меньше. (О моём существовании забывали.)

Перед сном я босиком тихо выходил из спальни на кухню, где клал себе еду на ещё не мытую посуду и так украдкой ел, пока не насыщался.

На рассвете отец выходил пасти овец и брал с собой Лазаря.

— В полдень принеси нам кувшин воды и землю возделай старательно!—наказывали мне и у ворот клали плуг, чтобы я не забывал о деле.

— «Можно узнать даже отрока по занятиям его, чисто ли и правильно ли будет поведение его»,—говорил он своим лживым языком.

В одиночестве наблюдал я за их работой и думал: «Двоим лучше, нежели одному; потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их…»

«Ел я масло коровье, и овечье молоко, и тучную пшеницу, и пил вино, кровь виноградных лоз». Забывал я, что «вино—глумливо, сикера—буйна; и всякий, увлекающийся ими, неразумен». И слышалось мне: «„Утучнел, отолстел и разжирел ты, и оставил Бога, создавшего тебя, и презрел твердыню спасения своего…“ Хорошо ли помнишь, что Я сказал тебе: „Если будешь поступать по уставам Моим, и заповеди Мои будешь хранить и исполнять их, то Я дам тебе дождь в своё время, и земля даст произрастения свои“. Если забудешь: „Кто копает яму, тот упадёт в неё; и кто разрушает ограду, того ужалит змей“».

И с того дня мы не видели дождя. На иссушенной земле засохла трава, и услышал я упрёк Лазаря:

— Из-за тебя овцы умирают с голоду!.. Неужели провидение «даст тебе веру, что он семена твои возвратит и сложит на гумно твоё»?

Они рыли вспаханную моим плугом землю и хоронили в ней умерший скот. И умножились болезни, и молвил я:

— «Что пользы работающему от того, над чем он трудится?» Или «отвратятся от упорства своего и от злых дел своих люди?» И «ублажил я мёртвых, которые давно умерли, более живых, которые живут доселе», потому что «всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть».

И я всегда завидовал моей двойне.

— «Посему препояшьтесь вретищем, плачьте и рыдайте, ибо ярость гнева Господня не отвратится от нас».

После этих слов смех срывался с губ моих и гневил тоскующего отца моего и брата. И Лазарь говорил мне:

— Жалок человек, у которого «булава считается… за соломину, и свисту дротика он смеётся»…

Слишком наивный взгляд был у него, ей-богу. О, как я помню это безмолвие в утробе, когда, притеснённый мной, сидел он расстроенный и самому не признавался в своём одиночестве.

— «Полномочия царя превышаешь и поступаешь хуже тирана»,—откровением срывалось с его губ вконец.

Первые девять месяцев мы спали вместе. Казалось мне, что «из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла». Затем он захотел отнять у брата своего изголовье, стать сопричастным к праву любви и сочувствия.

В последнее время меня стала преследовать мысль убить Лазаря. Точно так, как библейский Каин—Авеля. Я старался заманить Лазаря к лесу и утопить его.

«У дверей грех лежит; он влечёт тебя к себе, но ты господствуй над ним».

Мы сели на сухую землю. Лазарь водил рукой по земле… наступая на цыпочки, будто страшась своей тяжестью сломать чресло Земли; потом он неожиданно обнял меня и сказал голосом, в котором прокрадывалась тоска:

— Мы уже умерли!

— За что?—спросил я с удивлением.

— За зависть, леность и хулу на Господа! За то, что мы сами не ведаем, чего хотим друг от друга. Мы научились вероломству вместо искренности и рассорились между собой. Умираем подобно овцам и скотине. Поставили идолов на вершине каждой горы, в том числе и в душах своих. «И я ворочаюсь досыта до самого рассвета», так как ежечасно помню, что, созданные из праха, мы в прах возвратились. Не из костей ли и жил сотворили нас и пролили нас молоком? Так почему же сгустились мы? Устремлённость к цели развела нас, связанных с одним дыхательным аппаратом. Радость нашли мы не в пастырстве овец и возделывании земли, но в злословии и спорах… И я вопрошаю тебя: смог бы ты одновременно пахать и вести овец на пастбище? Сеять и чесать шерсть? Ковырять трясогузку и высматривать волка? Неужели дикому ослу, который орёт в поле, не нужен хозяин, или волу, ревущему перед сеном?

Истинно «одинокий человек более жалок, чем разделяющий дело с другим». Во всем не сможешь быть первым, иногда до́лжно тебе быть вторым, третьим, десятым… Числа ничего не меняют до тех пор, пока не начинают их считать. «Не приноси в жертву Господу, Богу твоему, вола, или овцы, на которой будет порок, или что-нибудь худое: ибо это мерзость для Господа, Бога твоего». Подобным пороком обладаю и я… В то время, когда я веду овец по склону горы, меня начинает преследовать ужасная мысль о тоске преходящей жизни. И о том, что пройдёт время—и перестанем мы быть друг другу утешением. Что, подобно Понтию Пилату, умоем руки на несчастия других, возвысим на кресте чувства друг друга, и нам доставит удовольствие фарисейство перед Сыном Человеческим…

Я сидел молча и на камне точил острие ножа. Слюной чуть-чуть мочил оружие… Всё-таки лучше утопить его, и алиби будет более подходящим, чтобы оправдаться.

Ведь знал я, что при возвращении домой отец обязательно спросит у меня: «Где брат твой?»—и накажет за то, что я не уберёг его жизни…

Уже стало вечереть. Свет вырядился в ночную пижаму, и [день] сонно протирал глаза. Послышался крик совы и шорох взметнувшейся летучей мыши. Потом мы прошли по мосту, который качался, словно карусель, и Лазарь тоже вертелся, следуя завыванию ветра.

Вдруг нога его затряслась, колени ослабели, и, потеряв равновесие, он стал падать в пучину воды.

Я не умел плавать, ей-богу, иначе как бы я не кинулся спасать его, ведь я знал понаслышке: «Упавшему нужна подмога, чтобы встать, стоящий на ногах и сам найдёт дорогу».

Поток воды унёс Лазаря. Он махал руками и овладевал наукой плавать. Ещё минута—и он скрылся из виду…

Перед моим взором встала картина его смерти. Вот лежит он мёртвый, и звонят колокола, оплакивая его… Из нас двоих могила также достанется первому ему, родители от него узнают впервые «заботу по покойному», воздвигнут камень, устроят поминки; и мне стало жаль для него даже этой «упокойной чести».

Радостно шёл я по протоптанной опушке леса и думал: «Да сотворил ли Бог человека по образу своему?!»

И со спины донеслось до меня мужское эхо: «Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, всё—суета и томление духа! И возненавидел я жизнь».

Я осторожно приоткрыл двери. (Потому что я один возвратился домой.)

На скамье, сплетённой из бамбука, сидела мать и вязала чоху. На чёрной ткани багряными нитками она выводила мои инициалы. Да, мои, а не Лазаря!.. Почему-то я почувствовал, что снова прикреплён дыхательными органами к её телу. Точно так, как у неё в утробе… (Это была радость, вызванная переживанием первенства.)

Я опустился перед ней на колени—и горько зарыдал, и умолял её связать такую же чоху для Лазаря!!!

Изучил я жизнь эту и познал: «Я тоже человек смертный, подобный всем, отпрыск земнородного, перволепного. Я тоже в материнской утробе был облечён в плоть в десятимесячный срок, сгустившись в крови от семени мужа и наслаждения, сопровождающего сон».

«Ненавидящий обличение идёт по следам грешника, а боящийся Господа обратится сердцем»,—возмущалась совесть, которой трудно было произнести слова сочувствия перед матерью.

Я целовал подол её одежды и вёл рукой по её волосам, в которых прокрадывалась седина.

С тоской повернулась она ко мне и сказала:
— «Так ты поступаешь только когда виновен!»

Я проглотил слюну, закашлялся, задрожал от переживаний.

Мать обо всём догадалась. Чтобы мне не почувствовать безутешность, формальности ради, она обняла меня. Евангелие лежало открытым, и я громко прочёл:
— «Господи! Если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой».

В доме послышался голос священника:
— Воскреснет брат твой.

(Эти слова смутили меня, я отчаялся и возжелал: «О, если бы благоволил Бог сокрушить меня»,—ведь с таким трудом обретённое первенство оказалось столь коротким, временным.)

Я сидел в стороне со скорбящим видом, вооружённый лестью, лукаво, с хитрой мимикой,—и ждал чуда от провидения…

Послышался стук в дверь.

С кресла, качаясь, поднялась несчастная женщина и встретила у порога дрожащего от холода сына.
— Мама, я научился плавать!—сказал Лазарь и посмотрел на меня с жалостью.

Это был взор из-под моста, похожий на взор жертвы, приносимой течению. Стоя с поникшей головой, стыдясь, я произнёс как откровение:
— Между нас двоих и против течения он поплыл первым!..

«Неужели он опять превозмог меня?!»

Я опустился у ног брата своего, опять схватился за его стопу, и вспомнилось мне наше рождение.

«Разум восстал для познания тайного, но так, что не смог понять ни начала, ни конца содеянного Господом».

И познал я: ненависть к брату своему из-за первенства—коварство…

Илья Тюрин

Шекспир

Сцены

Об авторе «Шекспира»

Актёр:
С рожденья лишь стихами говоря,
Я никогда не знал поэта имя.

Илья Тюрин. «Шекспир» (сцены)

Драматическое произведение «Шекспир», которое Илья Тюрин назвал сценами, не случайный эпизод в его жизни. К нему он «подбирался» не один год: через собственное стихотворчество и, конечно, отличное знание английского языка. Сначала было увлечение группой «Битлз» («The Beatles»). Оно даже вдохновит Илью на мистификацию—альбом «The Beatles again», состоящий из четырнадцати песен на английском языке, написанных в стилистике ливерпульской четвёрки. Затем стало необходимейшей потребностью изучить английскую классику. Произведения Уильяма Шекспира (как и Джорджа Байрона, Джона Донна, Уильяма Блейка) Илья старается читать в подлиннике, «ворчит» в связи с этим на переводы Бориса Пастернака—мол, далеки от оригинала, Михаила Лозинского—слишком академичны. Естественно, делает попытки переводить сам: специально для этих опытов покупает «неадаптированного» «Короля Лира»—изданного в Лондоне в 1914 году. А для обратного перевода (с русского на английский) в его распоряжении все восемь томов сочинений Шекспира в домашней библиотеке…

Непосредственным же толчком к написанию сцен стала прочитанная весной 1997 года книга-исследование учёного секретаря Академической Шекспировской комиссии Ильи Гилилова «Игра об Уильяме Шекспире, или Тайна великого Феникса». Многочисленные пометки и иронические замечания на полях книги доказывают, сколь велик был его интерес к эпохе Шекспира, к личности драматурга. А если шире, то и к проблеме авторства, остро стоящей во все эпохи.

С рожденья лишь стихами говоря,
Я никогда не знал поэта имя,—

сетует Актёр, один из персонажей сцен Ильи Тюрина «Шекспир» (1997). С другой стороны: «Что в имени тебе моём?»—вопрошал ещё Александр Пушкин… Между известностью и забвением, именитостью и бесславием всегда есть зазор, в который может протиснуться ловкач, конъюнктурщик, бессовестный манипулятор людским мнением… Современность перенасыщена «литературными технологами», блестяще овладевшими методами создания имени там, где его нет и не должно быть… Но так ли уж трагична участь тех, кто талант и имя получил от Бога, но оно оказалось сокрыто временем? «Сотворённое человеческим гением будет жить в умах людей. Остальное же пусть умрёт»—в этой надписи на латыни на гравюре Генри Пичема «Писатель, скрывающийся за занавесом» (1612) есть великий смысл… Поразмышлять о котором вовсе не грех и нам, нынешним.

Но вернёмся к сценам. «Шекспир» написан вместо экзамена по литературе, который лицеисты сдавали 1 июня 1997 года (это было сочинение) и от которого Илью освободили по причине большой близорукости. Итак, находясь, что называется, мысленно вместе, Илья сел к столу и стал набрасывать в блокноте нечто, что к концу дня выливалось во что-то, объединённое одним замыслом. Следующий день был посвящён тому же занятию, а в конце его Илья уже входил ко мне в комнату с напечатанным на машинке текстом… Помню изумление в голосе Ильи: «Я написал пьесу!»

Выходит, сцены—это экспромт? Да, экспромт, и блестящий… Если только не иметь в виду предыдущих длительных и основательных размышлений о природе творчества и возможностях поэта, естественно сопутствующих стихосложению. У Ильи этот процесс к моменту написания «Шекспира» достигает своего пика. Нужно было только немного свободного времени и некое отвлечение от материала… Что и случилось! Вот почему написанные в два дня, без каких-либо помарок в блокноте, будто просто выписанные слово за словом, чрезвычайно в то же время зрелые не только мыслью, но и чувством, эти сцены сейчас—непреложное свидетельство большого дарования их автора.

Ирина Медведева

Действующие лица

АКТЁР в роли Гамлета.
ИЗДАТЕЛЬ ворованных пьес.
ЭДВИ, сочинитель.
РОБИН, писец.
ЦЕНИТЕЛЬ, молодой человек.
СТЕФАН, друг его.
РАЗНОСЧИК.

Действие происходит около 1600 года, Лондон.

Сонет

Представь, что из окна видны весь день
Господь, пересечённый проводами,
И твой же дом, чья грустная сажень
Ни на вершок не поднялась годами.
Представь, что ниже пробудился шум
Деревьев, возвещающий о ливне,
И кладбище давно умерших дум
Гремит костьми, заламывая бивни.
Представь: они лежат на дне твоём,
И путь настолько же опасен, сколь и
Забыт необновлённой головой.
И если рифмы пустятся вдвоём
К погосту их—то мы прибавим к скорби
Об умерших и новый подвиг твой.
Но каждый звук, при этом спуске павший,
Даст сил руке, их смерть не испытавшей.

Акт I

АКТЁР *(держит бумажку с ролью)*
Здесь много сказано. Но как прозреть
В себе мне сказанное про другого?
Не требует ли должность от меня
Ограбить молчаливого пришельца
И по миру отправить вместе с ним
Предание о грубости жестокой?
Вот буквы. Вот слагаются в стихи.
Вот жизнь родят. Как я приму сей дар?
Ни мук, ни человечьего стыда
Перед листом бумаги за бессилье
Не испытав—как буду я стоять
С мечом иль мёртвым черепом в руке,
На досках представляя человека—
Лицо и тело, голос и удар?
Как меж речами в публику взгляну?—
Ведь монолог мой слеп, хотя и дышит.
Вот сказано: «Садится», «Умирает»,
Иль «Входит Гамлет», иль «Выходят все».
Допустим, сесть или закрыть глаза
В конвульсиях, войти и выйти вон—
Роль, позволительная для актёра,
Коль он молчать при том исправно будет.
Но если он сопроводит речами
Всё это—не умрёт ли за него,
Не сядет ли, не выйдет, не войдёт ли
Другой, ему неведомый? И он,
Для жизни чуждой дав в аренду тело,
В её конце не будет ли повинен,
Как дом, где преступленье совершилось,
Прохожими в злодействе обвинён?

ИЗДАТЕЛЬ *(в отдалении)*
Как точен образ. Не забыть его—
И в список драмы вставить между делом.
Там, кажется, монарха веселит
Актёров труппа: это будет к месту.

АКТЁР
Мы, лицедеи, легконогий табор,
Для развлечения стоячих мест,
Для ублажения сидячих мест,
За пол-улыбки с королевских мест—
В себя пускаем на постой любого,
Окошко отведя зрачку любому,
А скважину замка—любому уху.
Так поступающий, любой из нас
Любому скажет: «Славное, брат, дело.
Любой простак раскусит, что к чему».
Я видел много раз на всех подмостках:
Когда оканчивал свой монолог актёр
И реплики чужой хватало лишь
Вздохнуть да следующий стих припомнить—
Румяна и муку́ со щёк и лба
Как будто пальцы ужаса стирали;
Был человек ничтожный и нагой,
Хозяин постоялого двора,
Пожаром среди ночи пробуждённый
И пристально за гибелью всего
Следящий в колпаке почтенном белом—
Но время проходило, лицедей
Осанку Бога, как мешок, на плечи
С усильем взваливал и говорил:
«Мы, Ричард Третий, милостью Господней…»
Так было не однажды, и казалось,
Что тень того, обманутого нами,
В чей слабый голос мы мешали свой
Простуженный и верный ремеслу,
Нас укоряет и виденьем горя
Благодарит наш сброд за свой позор
И обесцененную смерть, что нашим
В его героев перевоплощеньем
Была растащена на сотни лент
И, с жизнью сладив, сделалась искусством.
С рожденья лишь стихами говоря,
Я никогда не знал поэта имя.

ИЗДАТЕЛЬ *(в отдалении)*
И я, и я. Мне это острый нож:
Кто купит фолио Инициалов?

АКТЁР
Наёмному убийце так заказчик
Не сообщает жертвенное имя,
А лишь приметы с адресом, чтоб тот
Всё сделал верно, лишнего не зная.

издатель *(в отдалении)*
Совсем не лишним было бы на титул
Поставить: «„Хамлет, храбрый датский принц“,
Такого-то преславная пиеса»,—
И фолио бы мигом разошлось.
Придётся мелкой азбукой набрать:
«А сочинён сей опыт неизвестным»,—
Как будто между прочим говоря,
Что памятливый вор на представленье
Комедию запомнил кое-как
И, отродясь не ведая ни буквы,
За три гроша продиктовал писцу—
А мы наутро и набрали с Богом.
Дороже переписыванье мне:
За пенс две книжки сбуду в переулках,
А в Сити даром не возьмёт никто.

актёр
Мне сорок лет. Я выхлопотал роль
Наследника и молодого принца,
Лишь по пятам за Томасом ходя
И льстя ему, поскольку знаю: нынче
Вошли в лета Наследники мои,
Мои Дофины, Сыновья и Эльфы—
Я буду признанный Купец и Граф,
Иль Дядя Нынешнего Короля.
Все «драмы», «презабавные пиесы»,
Все «сцены», «восхитительные фарсы»,
Все, наконец, «комедии глупцов»
И «хроники в трёх актах и с прологом»—
Рассчитаны на дряхлость лицедеев
В такой же мере, как на юность их.
В любом спектакле несколько несмелых,
Лишь только начинающих убийц
Обхаживают старца-душегуба,
Что шевелится в тысяче ролей—
Чужих судеб, им взятых на себя
И им самим подавленных беспечно—
Как в скорлупе погубленных яиц.
Теперь—я сам... Последний выход мой—
С плюмажем юноши на мягкой шляпе
И с розой из тряпицы у меча—
Почти позор, и выпрошен в ломбарде,
Как самый распоследний день отсрочки.
А значит, бедняку сему подобно,
Я должен бегать вдоль и поперёк
По городу чужому, словно деньги
Сбирая—выкупить мой нищий хлам.
Как ссуда, выданная в долг жидом,—
Во мне живёт и множится убийство.
В последний раз—мне нужно знать, кого
Пущу в себя и чей здесь хрупкий образ
Мной будет обесчещен в этот раз.
Иду сюда я, чтобы до начала
Комедии узнать хотя бы имя
Заранее погибшего во мне:
Убийство превратится в поединок,
А в поединке есть и мне где пасть.

Уходит.

издатель *(появляется на середине)*
Удача небывалая, чумная.
За обезумевшим артистом вслед
Пойду я неприметными шагами,
Ему ссужая ухо и склоняясь
Над ним его же собственным грехом,—
И сочинитель станет мне знако́м.

Также уходит.
Входит эдви, *сочинитель.*

эдви
Один я тут? Спасибо и на том.
Как честный человек, дам волю гневу.
Сын шиллинга и пенсовой монеты!
Милорд де Вонь! Саксонская свинья!
Наёмный вор, оплаченный построчно!
Не я ли в «Хрониках» Бенбоу сам,
Отыскивая новые сюжеты,
Прочёл, как некий скандинавский принц,
С отцовской тенью переговорив,
Двух ближних порешил и отдал душу?
Подумал я: на славу будет пьеса,—
И уж наутро с Богом выдал в свет.
Хоть плохо шло, а всё ж была надежда,—
Теперь же мимоходом узнаю
От дурня, приходского письмовода,
Который нам копирует за грош
Комедии да хроники ночами:
«Мол, взялся я, милорд, переписать
Надысь большущую комедь в пять актов;
Гляжу, а вся—ни дать ни взять как ваша:
Те ж маски—принц, король да призрак тот,
И говорят похоже, только в этой
Ещё Адамов череп приплетён.
Уж и не знаю, как сказать-то, сударь».
Собачье семя! Плут не говорит,
Кто автор, иль хоть с чьих он слов наскрёб
У Эдвига украденную драму!
Иду узнать: сегодня в цирке «Глоба»
Дают творенье выродка того.
Пусть вместо пени мне укажут имя,
Иль лучше—как одет разбойник сам:
Уж я шальную морду разукрашу,
Автограф настоящего творца
Проставив между глаз у эпигона.
Нет лучшего, чем пятерня, закона.

Уходит.
Появляется робин, *писец.*

робин
За что немилость? Выругал меня
И угостил горячим под лопатку.
Не я ли, кажется, со всей душой
Сказал ему, что пьесы он лишился?
Да вправду, верно, горестно ему.
На рынке я видал афишку «Глобы»:

Какой-то Вильям Шейх Копьеметатель
Его комедь, что я переписал,
Уж выдал за свою и представляет
На досках ныне публике честно́й.
Покажут клоунов, а на дворе
Попотчуют винцом и солониной.
Сходил бы я на краденую блажь,
Да знаю: как начнётся представленье—
Такой анафемский подымут вой
Актёры на арене, что удастся
Навряд ли, прислонясь к столбу, заснуть.
Пойду в кабак: хотя не буду сыт,
Да уж никто при мне не завопит.

Уходит в другую сторону.

...

ЦЕНИТЕЛЬ
Всю ночь сегодня глаз я не сомкнул.
Свеча потухла, и в стекло я видел,
Как будто Лондон тоже у окна
Стоял, щекою к раме прислонившись,
И проникал рассеянно в меня—
В мои воротца, мостовые, шпили,
И он себе казался самому
Исчезнувшим, и небо просветлилось,
Как будто взял пергамента он лист.

(Пауза.)

Моё «как будто» в речи мне дороже
Всех прочих заострённых слов её.
Оно не то чтоб связывает вместе
Два смысла, но угадывает щель
Меж них и добровольно окликает
Один от пары голосом другого—
И эхом возвращается ответ.
Такая перекличка на секунду
Как будто освещает всё вокруг,
И то, что целым кажется в молчанье,
Страдает порознь—и кричит от боли.
Я это запишу.

Входит СТЕФАН.

СТЕФАН
Шёл мимо я,
И, веришь ли, хотя одни обрывки
Достались мне—я ими потрясён.

ЦЕНИТЕЛЬ
Спасибо, друг. Кто скажет мне ещё,
Как ты? кто остановится послушать?
Ты мимо шёл случайно—мне же мысли
Случайно в ум тяжёлый закрались:
Случайности две сразу. Этот случай
Раз в год случается—уж мне поверь.

СТЕФАН
По случаю такому нужно нам
Наружу выбраться с тобою вместе.

ЦЕНИТЕЛЬ
Что ж там?

СТЕФАН
Я слышал, на помосте «Глобы»
Сегодня вечером известный шут
Последний раз на сцене представляет.
Представь и ты: у варваров-датчан
Случился принц, наследный меланхолик;
Звать—Гамильтон иль Камелот. Но слушай:
Отца его убитого призра́к
Указывает в дядюшке царящем
Ему злодея, отомстить прося…

ЦЕНИТЕЛЬ
Как ты узнал?

СТЕФАН
Мне описал приятель.

ЦЕНИТЕЛЬ
Кто ж сочинил?

СТЕФАН
Про то он не сказал.
Но слушай же: смятенный дух его
Нечаянно того, другого, ранит,
Убьёт или к безумию толкнёт—
Но тут король, смекнувший, что почём,
Его решается убрать, и смерть
К нему приходит в лживом поединке
С отравленною шпагою; восторг.

ЦЕНИТЕЛЬ
Но он отмщён?

СТЕФАН
О да. В последний миг
Он тою шпагой дядюшку пронзает.

ЦЕНИТЕЛЬ
И сколько трупов итого?

СТЕФАН
Как знать.
Сидячий зал убитых не считает—
Галёрка ж не умеет. Ты придёшь?

ЦЕНИТЕЛЬ
Да, да. Не жди меня—ступай вперёд:
По-старчески я долго одеваюсь.

СТЕФАН
В саду напротив я тебя дождусь:
Ты заплутаешь в городе.

ЦЕНИТЕЛЬ
Конечно.

СТЕФАН *уходит.*

Несчитанные гибели. Иль Бог
Не знает счёта на своей галёрке?
Иль пальцев не хватает загибать
Индийцев шестирукому кумиру?

Несчитанными мы уйдём во тьму.
Но числа все, известные живым,
Вся алгебра — лишь поимённый свод
Умерших: оттого в чести учёность —
Как ремесло их знать по именам.
Мне ж имя автора не донесли.
Его он сам на цифру не сменил ли?
Тогда он стал бы в хронике своей
Желательным и нужным персонажем,
Аренду цирка оплатив вперёд:
Любой нам выгоден, когда умрёт.
Я это запишу. Иду, иду.

Также уходит.

Акт II

актёр
О Боже мой! Дай отдышусь теперь.
Большой успех. Галёрка оглушила:
Кричат и лезут, свесясь с потолка,
Поближе к облеплённому помосту.
Орут: «Сюда, милай! Уж распотешил
По первому разряду, вот те крест!»
Как суетится, бегает народ!
Румяны щёки будто не от спешки,
А от угля, что Прометей сберёг
Для этих душ, для этого румянца.

(Перед зеркалом.)

Приветствую тебя, почтенный возраст!
Сколь много чувства, дремлющего в них,
Ты пробудил искусством Прометея:
Он был ведь тоже брат наш, лицедей,
Улыбкой, простодушными речами
Огонь божественный от Бога скрывший.
Я не таю — питаю мой огонь.
Где б ни был я, чего б ни слышал в мире,
Неведомого нашим мудрецам, —
Окружный свет меня не напоит,
Пока в себе ношу тепла избыток,
Как полый корпус флейты духовой.
И хоть на мне играют беспрестанно —
Клянусь, я не забыл родной мотив.

ценитель *(проходя мимо)*
Как речи выспренни! Как ноты резки!
Воистину — ты полый лишь сосуд:
Чем полого наполнили, тем он
Других питает — и огнём гордится,
Коль подогреть поставят в печь его.
Вот правду говорят простые люди:
«И хорошо повеселил-де нас,
Да он ведь, сударь, что твоя шарманка
В воскресный день у Тома на ремне.
Покрутит Том вертушку — хоть ты душу
Наружу вынь: так жалостно поёт.
По мне же — акробаты, сударь, лучше:
Слеза нейдёт — а всё передохну́».
Вот трезвый взор! Хотя, признаться, слёзы
Тем слаще, что для публики чужды.
Когда тоской безмерной окружён —
Не в отдыхе, но в трепетной работе
Нуждаешься: тогда приходит плач.
Все хроники, что видим мы на рынке,
Все пьесы надо к ремеслу причислить
Затем, что слёзное рожденье их
Божественным трудом принесено;
Что нет строки ни в христианском свете,
Ни у племён восточных кочевых,
Которая бы враз не окупила
Все муки появленья своего,
Как не бывает с шуткою бесплодной.
В одной печали — вышней силы знак.
В едином смехе — Божие бессилье,
Дающее приятный отдых нам.

Выходит.

актёр *(вглядывается в зеркало)*
Здесь многие неправильны черты.
Как будто дом прекрасный покосился
От непосильного гурта жильцов.
Как нерадивы, злобны постояльцы!
По собственному вкусу перестроят
Гостиную и стены проломят,
Чтоб светом дня перегрузить жилище:
Так и ролями населён мой лик.
Нет памяти наследственной у зренья:
Десятилетним малым я себя,
С бродячими актёрами по рынкам
Скакавшего на облучке, не помню.
Тогда лица лишь первый грим коснулся —
То первый гость белил в нём потолок
И обживался с нищею семьёю.
В окне, больном от пыли путевой,
Мелькали ярмарки да карусели;
В трубе печной ей незнакомый дым
С лихвою вечным шумом заменялся;
Число семей и трещины росли.
И так меня переросли собою
Вы, монологи, мой натужный хрип,
Что мне для вас уж нечего оставить:
Каморка эта будет вам тесна.
Меня здесь нет. Я вами подменён,
И ваши умершие — ваша память,
И ваша радость — новые жильцы.
Моя огромность мнимая для вас
Тем подтверждается, что я не виден
При свете дня, ни ночью, изнутри.
Сегодня был успех; поверьте стенам —
Вас кладка верная не подведёт.
Но даже перестроенному веку
Вам не прибавить дней.

....

Входит издатель.

ИЗДАТЕЛЬ
Кривую шутку бес со мной сыграл.
За клоуном прошёл я полквартала,
А там из виду выпустил его.
Пиши пропало—том не разойдётся.

Входит СТЕФАН.

СТЕФАН
Приятель, что стряслось? Нельзя ль помочь?

ИЗДАТЕЛЬ
Спасибо, друг. Концы уж глубоко:
С одним мы тут намедни разминулись.
Дела стоят—полдня его ищу.

СТЕФАН
Вот так сказка! Со мною то же.
Зазвал в театр знакомого безумца.
Сидели в разных мы местах; я видел:
До занавеса встал он и ушёл.

ИЗДАТЕЛЬ
А вот позволь узнать: что за театр?
Не «Глобус»?

СТЕФАН
Он.

ИЗДАТЕЛЬ
Не Гамлета ли пьеска?

СТЕФАН
Куда как нет. Сам Гамлет в ней актёр.
Такая вещь! Ей-богу, не жалею
Двух шиллингов, потраченных на вход.
Гляди-ка сам: принц Дании…

ИЗДАТЕЛЬ
Постой.
Твой принц актёр, а кто же сочинитель?

СТЕФАН
Почём мне знать? Да слушай: датский принц…

ИЗДАТЕЛЬ *(в сторону)*
По паре в день Господь лепил глупцов:
Дневная мне продукция попалась.

СТЕФАН
…живёт, как сын при царствующем дяде,
Но тень умершего отца ему
Твердит о собственном убийстве, месть
Прося свершить над королём. И он,
Ты что заметь,—кидается на ближних,
Друзей двух бывших гробит; плюс к тому…

ИЗДАТЕЛЬ *(в сторону)*
Ошибки быть не может. Расспрошу
Его подробнее.

(Громко.)
Скажи, любезный,
А кто же автор принца твоего?

Разговаривая, уходят.

…………………………………………………

Входит ЭДВИ. *Он пьян.*

ЭДВИ
Офелия, родная! Кто тебя?
Чем тише, тем пронзительней ты плачешь,
Так, помню, ты внимательно ко мне
Приглядывалась с грубого помоста—
И вдруг в пространство говоришь: «Ему
Дала бы я фиалок, да завяли».
Ей-богу, так: «Завяли»,—говоришь.
Вот я тебя и полюбил—тогда.
Повсюду бесполезные все рожи;
Один, спасибо, вышел до конца,
Как будто горести большую долю
Как встал—да так и вынес за собой.
Ему смотрел я вслед, а обернулся—
Тебя уж нет: «Утоплена»,—кричат.
И, в голосах скользя, через перила
Я вниз ползу—ах, ноги! сколько их!
Как будто в реку влез, где наводили
Мосты веками, а теперь ушли:
Гнилые сваи—в сапогах, босые—
Поддерживают тусклый небосвод.
Гляжу—лицо; ползу к нему по грязи:
«Который час?»—а он, не раскрывая
И глотки, в сто ладов орёт: «Шекспир!»

РАЗНОСЧИК *(пробегая мимо)*
Шекспир, Шекспир! Забавные пиесы!
Жизнь Гамлета и смерть отца его!

ЭДВИ *(не слышит)*
И тут я узнаю, откуда голос:
Из самого нутра подходит к горлу
И сквозь слюну вскипает пузырями
Звук неосознанный, как перекличка,—
Музы́ка горя моего: «Шекспир!»

КОНЕЦ

Москва
1–2 июня 1997

Марина Кудимова

Кто ж сочинил?

Проблема авторства в драматических сценах «Шекспир»

…но взглянем на трагедию взглядом Шекспира.

Пушкин. Письмо А. Дельвигу, 1826

Все пьесы Шекспира написаны самим Уильямом Шекспиром, сыном перчаточника из Стратфорда-на-Эйвоне… человеком, не знавшим ни одного иностранного языка и никуда дальше Лондона не ездившим. Быть может, в это трудно поверить, но именно так всё и было!

Алексей Калугин. Дело об архиве Уильяма Шекспира

Будучи сам близоруким, я подозреваю, что Шекспир был близорук. Он видит мельчайшие детали природного мира и оттенки мимики с чрезвычайной ясностью человека, который привык всматриваться.

Энтони Бёрджесс. Влюблённый Шекспир

Любой нам выгоден, когда умрёт.

Илья Тюрин. Шекспир (драматические сцены)

1.

Образный мир Ильи Тюрина — тема, которую я подробно исследовала в работе «Столько большой воды» (ОГИ, Москва, 2003). Ключевые образы поэзии Ильи — вода, дно, дом, кладбище, бумага, рука — создают архетипическое единство, которое само по себ`е свидетельствует о поэтике московского студента, погибшего в девятнадцать лет, как о целостной системе — следовательно, уже о серьёзном явлении. В «просто стихах», даже у одарённых стихотворцев, образы случайны и хаотичны, а если и повторяются, то лишь от нехватки воображения. Только система образов, пронизанная внутренним единством в бесконечном разнообразии, делает поэзию из частного занятия явлением культуры и литературы.

Единственное произведение, которое я пропустила в своём изыскании, это драматические сцены «Шекспир» и «Сонет», предваряющий их. Сказать, что этот пропуск сделан случайно, означало бы признать собственную некомпетентность, потому что текст «Сонета» во многом является квинтэссенцией образной системы Тюрина, и говорить серьёзно о комментаторе, который «не замечает» таких подарков автора, избавляющих его (комментатора) от повторов и многоречия, не приходится. Один этот «Сонет», небезупречный с точки зрения формы (шестнадцать строк вместо классических четырнадцати), подтверждает мои стиховедческие позиции ровно настолько, насколько весь свод тюринской лирики. Но, увы, я не могу похвастаться и большой прозорливостью: шанс на то, что когда-либо придётся вновь вернуться — в качестве комментирующего читателя — к стихам Ильи, был невелик. И всё же здесь сработала интуиция: я словно чувствовала, что текст догонит меня на неожиданном витке моей таинственной связи с творчеством гениального мальчика. Фраза: «Илья Тюрин был близорук» — и рассуждения о природе и особенностях зрения близоруких в эссе «Столько большой воды» свидетельствуют о моих интуитивных предчувствиях и объясняют присутствие в эпиграфах фрагмента из культового романа Бёрджесса.

К десятилетию создания, возможно, самого загадочного произведения в наследии Ильи Тюрина — драматических сцен «Шекспир» — меня попросили написать «две-три странички» в качестве послесловия. Так именно построен справочный аппарат знаменитого чёрного восьмитомника Шекспира, выпущенного издательством «Искусство» в 1960 году. Первым делом я, естественно, перечитала основной текст пьесы (термин здесь условен: так, по старинке, именуют «пьесами» не только драматургические произведения, но и стихи). Стихи одного поэта часто требуют перерыва, временно́го зазора, который образует дистанцию, необходимую для нового взгляда. Уже к середине чтения я поняла, что в «две-три странички» не уложусь.

Хотя, казалось бы… Вчерашний школьник, мальчик, пишущий стихи, перечитав трагедию «Гамлет» или посмотрев театральную постановку (фильм) по самому полифоничному, полисемантичному и многотрактовочному произведению самого загадочного драматурга мира, почувствовал творческий импульс к передаче адекватными (драматургическими) средствами возникших ощущений. На самом деле время написания сцен

«Шекспир» — девяносто седьмой год — и весь сюжетный и идейный строй произведения подсказывают, из какого источника вдохновения черпал юный автор живую воду. Нет сомнений, что первоимпульсом послужила книга тёзки Тюрина — учёного секретаря Шекспировской комиссии при Академии наук России Ильи Гililова «Игра об Уильяме Шекспире, или Тайна великого Феникса». Эта работа, давно вставшая на безразмерный стеллаж шекспироведения, тогда — десять лет назад — возымела эффект разорвавшейся бомбы: настолько серьёзными казались аргументы в пользу того, что имя Шекспира было ставкой в большой Игре, в многоходовом всемирном розыгрыше с множеством участников. Мотивы этой игры Гилилов доказал куда менее веско, чем факт истинного или мнимого небытия Великого Барда. Как бы то ни было, мир уже не в первый раз поделился на «стратфордианцев», сторонников традиционного шекспироведения, и «нестратфордианцев», революционеров шекспировского фронта. Правда, ещё в 1924 году юный Владимир Набоков написал большое стихотворение «Шекспир» (как мы видим, даже по названию совпадающее с произведением Тюрина), где изложено всё, что мы восприняли как откровение в книге Гилилова:

> Надменно-чужд тревоге театральной,
> ты отстранил легко и беспечально
> в сухой венок свивающийся лавр
> и скрыл навек чудовищный свой гений
> под маскою…

Но учёный не обязан учитывать мнение поэта. Скорее, обязан его опровергать. Во имя чего участники «проекта „Шекспир“» приложили так много усилий, дабы скрыть подлинное имя автора тридцати шести (или семи) пьес, ста пятидесяти четырёх сонетов и двух поэм (которые Пушкин признавал неудачными)? Зачем они подменили настоящего автора провинциалом низкого происхождения, который едва умел расписаться? Почему не выбрали из своих рядов фигуру, хоть сколько-нибудь соответствующую роли такого масштаба? Причины, называемые в книге Гилилова и его не рассуждающими адептами, не убеждают. Но великий шум продолжается. Идентификация автора «Гамлета» не перестала будоражить умы (и безумия) академических и самозваных исследователей, рождать самые фантастические (даже в их непререкаемом правдоподобии) теории, как будто нет на свете более важной задачи, чем доказать, что никакого Шекспира не существовало, что под довольно смешным именем «потрясателя копья» («копьеметателя», как в сценах Ильи) сочиняли многочисленные кровавые драмы и философские комедии десятки людей, среди них женщины и дети. По самым скромным подсчётам, кандидатов на роль Шекспира существует пятьдесят семь. Примерно столько же прототипов подвёрстывают и под образ главного героя трагедии — принца датского.

Детей я упомянула не для красного словца, а затем, что тезаурусные ожидания от текста без двух месяцев семнадцатилетнего выпускника лицея, безусловно, предполагают детскую непосредственность и неумелость. И никакие гипотезы раннего развития и упования на Лермонтова и Рембо изменить здесь ничего не могут. И не смогут до тех пор, пока предвзятость не уступит место объективности. Потому что если отринуть недоверие к юности, драматический комментарий Ильи Тюрина следует прочесть и постичь (поелику возможно) в парадигме конгениальности с комментируемым. То есть не просто с историей создания и постановки трагедии «Гамлет», но и с самой трагедией. И только преодоление собственной косности и смиренное — т. е. непредвзятое — отношение к тексту способны помочь тем немногим, кто хотя бы написанное другими читает не ради самоутверждения.

Сама по себе информативность текста в «Шекспире» такова, что требует многих справочных страниц, глоссария и всего текстологического аппарата, на который уповают ленивые студенты в ночь перед экзаменом. Но главная загадка текста состоит, конечно же, в личности семнадцатилетнего автора, в его, говоря научным языком, тезаурусе. Тезаурус — полный систематизированный набор данных о какой-нибудь области знаний, позволяющий человеку в ней ориентироваться. По-другому — не знаю, проще или сложнее, — это ментальный комплекс, то есть тот же ориентационный набор. И вот именно тезаурус Ильи является наиболее непостижимым моментом исследования. И даже не потому, что человек в принципе непостижим (признать творчество Ильи Тюрина открытой системой можно только поверхностным взглядом). Мы имеем дело в случае Ильи с феноменологией человека, замысел о котором воплотился в столь раннем возрасте, что это сдвигает шкалу ожиданий.

Признание гениальности в другом психологически зиждется, как ни странно, на том же фундаменте, что и признание гением самого себя. То же ощущение собственной значительности и соучастия в событии космического масштаба. Почему же тогда это признание так трудно даётся большинству и требует долгих лет и многих страниц доказательств очевидного? Страх ошибиться? Но от подобной ошибки ровно ничего не изменится в мироздании и ровно никто не пострадает. Нет, по-видимому, тут действует механизм не просто осторожности, а глухой защиты: «Хватит с нас этих гениев! Хлопот с ними не оберёшься!» Это так: гений изменяет тезаурус человечества, а не просто информационное пространство. Когда шекспироведу Альфреду Баркову совали в нос очередную

нестыковку в тексте «Гамлета» (а текстов-то, собственно говоря, четыре, и все разные), он возражал, что «из-под пера гениальных писателей в принципе не может выйти ничего такого, что не имело бы композиционного значения». Таким образом, корнем неспособности признать чужую гениальность является мать всех пороков — лень. Исследование более высокого уровня композиции связано, если перефразировать Илью Тюрина, «не с отдыхом, а с трепетной работой». Её и чураемся. Драматические сцены «Шекспир» в пересчёте на машинопись (а именно в таком виде пьесу юный автор представил первому читателю — матери) занимают девять страниц. Уровней композиции там несоизмеримо больше. Можно, конечно, и не оглашать всего, что прямо не написано в тексте того или иного произведения. Тогда текст будет равен самому себе — и тоже решительно ничего более не произойдёт. Просто мы, по выражению исследователя И. Фролова, «всего лишь констатируем наше бессилие перед бездной времени и нашего незнания, разделяющих нас и истинные цели автора». Можно, конечно, довольствоваться и этим…

Итак, «Сонет»… Постановка столь архаической в творчестве Ильи формы в качестве пролога к сценам особых объяснений не требует. Пушкинская рифмовка «сонета» с «творцом Макбета» могла бы исчерпать сентенции по этому поводу. Шекспир — неоспоримый мастер сонетной «игры» (снова Пушкин) — начинается задолго до основного действия сцен, и «Сонет» исподволь вводит нас в их контекст. Шекспир, повторим, написал сто пятьдесят четыре сонета. Кому они посвящены, остаётся тайной, несмотря на сонмы предположений. Как писал «классический» шекспировед А. Аникст, которого Илья, судя по всему, тоже изрядно проштудировал: «Все догадки не имеют никакого документального подтверждения. Наше любопытство в этом отношении остаётся неудовлетворённым». Эти слова можно поставить эпиграфом к мировому шекспироведению.

Илья начинает свой сонет с обращения: «Представь…» — и до конца оставляет нас в неведении, кому адресовано это обращение. Я давно про себя называю Илью Тюрина «мальчиком у окна». Большинство его стихов написано в комнате, сразу за которой начинается открытый космос (нейтральные воды океана). Даже когда в своё окно он видит только сегмент двора, этот двор образует мироздание. Нет, конечно, поэты в основном создают свои миры в каком-то интерьере — будь то кабинет, библиотека или скамейка в парке, но Тюрину удалось вписать свою комнату и двор в пространство стиха, заставить действовать в его образной системе точно так же, как Шекспиру удалось сделать сам театр участником трагедии («Весь мир — театр»).

Мальчик с книгой («кладбище давно умерших дум») сидит у окна. Как очень часто в стихах Ильи, жителя высокоэтажного огромного города, за окном начинается дождь («ливень»), но предвестье ливня — ветер — шумит ниже окна на шестом этаже, что создаёт иллюзию взгляда поверх природы и стихии. Книга — кладбище дум, а путь к мысли, лежащей на дне души, приравнен к сошествию в бездну — рука об руку — двух рифм (рифма без пары — такой же казус, как «хлопок одной руки» из даосской легенды). Рифмы движутся (спускаются) к своему погосту — осуществлению замысла — и умирают, будучи записанными (произнесёнными). То есть являются эпитафиями самим себе.

Никакой трагической экзальтации здесь нет — Тюрин вообще далёк от пафосности. Это — путь зерна. Как лопата не чувствует сострадания к хоронимому зерну, так рука — орудие производства писателя — не соучаствует в смерти (похоронах) запечатлённых слов. Как подвиг солдата чреват его гибелью или гибелью его врага, так подвиг писателя (писца, скриптора) связан с убийством запечатлённого слова.

Могильщик в «Гамлете» играет не менее важную роль, чем сам принц. Всё дело в масштабе аллюзии. Поэт — могильщик слов. Как сказано в трагедии: «дома, которые он строит, простоят до судного дня» («Гамлет», акт V, сцена 1). И далее:

> ГАМЛЕТ
> Или этот молодец не чувствует, чем
> он занят, что он поёт, роя могилу?
>
> ГОРАЦИО
> Привычка превратила это для
> него в самое простое дело.
>
> ГАМЛЕТ
> Так всегда; рука, которая мало
> трудится, всего чувствительнее.

II.

Следом за прологом начинается действие. Раз и навсегда договоримся: сцены, написанные Ильёй Тюриным, называются не «Гамлет», а «Шекспир». Это первый парадокс. Не трагедия, по числу трактовок и сумме порождаемых эмоций сравнимая с вечным двигателем, до сих пор заново переводимая в тщетной надежде разгадать её литературную или сверхлитературную тайну, где, казалось бы, и разгуляться авторскому тщеславию. Не трагедия, вдоль и поперёк изъезженная режиссёрами и актёрами в тщетном усилии хотя бы этой причастностью закрепиться в истории, но её автор, о котором известно так мало, что просто ничего не остаётся, как выдвинуть пятьдесят восьмую версию этой величайшей мистификации. Именно автор интересует Тюрина, потому что он написал трагедию авторства. Авторства как феномена культуры и подлинной, а не вчитанной трагедии личности Шекспира, если он существовал, или его протагонистов, если не существовал.

Но сначала о действующих лицах сцен «Шекспир». Илья Тюрин принадлежит к поэтам, которые не только не игнорируют историческую и фактологическую сторону творчества, но, напротив, на неё опираются и от неё «танцуют». Потому на культурной подоплёке текста придётся надолго остановиться.

АКТЁР

По многочисленным свидетельствам, но лишь с долей вероятности, как и во всём, что касается Шекспира, первым исполнителем роли Гамлета был Ричард Бёрбедж. Но Шекспир и сам начинал как актёр. Правда, судя по всему, играл не ведущие роли. Как характерно написано в «Шекспировской энциклопедии»: «О его актёрской деятельности мы не знаем почти ничего (вот это новость! — *М. К.*). Известно, что он… исполнял роль Призрака в «Гамлете» и Адама в «Как вам это понравится»… Именно сценический опыт дал Шекспиру знание возможностей сцены, особенностей каждого актёра труппы и вкусов елизаветинской аудитории, которое мы чувствуем в его произведениях».

Замечательно! Ничего не известно, но «сценический опыт дал…». Перед нами истинный образец шекспироведения! В другом источнике читаем нечто более уверенное: «Сначала Шекспир был наёмным актёром на жалованье, затем стал пайщиком и совладельцем театра. Именно доходы от сборов театра были всю жизнь главным источником его средств к существованию». Здесь остаётся только добавить, что возбуждение, в которое впали по поводу появления нового драматурга «университетские умы» — группа лондонских интеллектуалов, властителей дум не только публики, но и богатых спонсоров, — было порождено именно тем неслыханным обстоятельством, что актёришки сами начали сочинять пьесы. Надо сказать, что актёрство как профессия социально состоялось лишь в XVI веке. До этого профессионально работали только клоуны и акробаты. Это обстоятельство не остаётся без внимания Ильи Тюрина:

> По мне же — акробаты, сударь, лучше:
> Слеза нейдёт — а всё передохну́.

Если обратить внимание на ремарку, предваряющую сцены, то следует учесть, что Актёр «легализовался» достаточно недавно: «Действие происходит около 1600 года, Лондон». Это — опять-таки предполагаемое — время написания и первой постановки шекспировского «Гамлета». У Аникста читаем: «В сезоне 1600/01 года Шекспир дал театру только одну пьесу. Прошу прощения за слово «только». Эта пьеса называется „Гамлет“». Воспоминания Актёра (которого Илья никоим образом не идентифицирует как Бёрбеджа) о прежде сыгранных ролях относятся к бродячему периоду его карьеры, тем более что свой возраст он называет абсолютно точно: «Мне сорок лет». Этому есть, хоть и от противного, подтверждение в тексте:

> Десятилетним малым я себя,
> С бродячими актёрами по рынкам
> Скакавшего на облучке, не помню.

Но контекстуально здесь «не помню» равно «не вижу», «не вспоминаю».

Кормились актёры со столов знатных лиц, бравших их под опеку. Как пишет Аникст: «Принятые

под покровительство знатным лицом, актёры носили ливреи его цвета, числились в списке его челяди, а иногда даже как слуги получали мизерное жалованье. Соответственно, такие труппы именовались „слугами её величества“, „слугами графа Лейстера“, „слугами лорда-камергера“, „слугами лорда-адмирала“». Лордом-камергером королевы был адмирал Хоуард. Похоже, что с ним связана единственная неточность—или оговорка—или шутка Ильи Тюрина. Но о ней—ниже.

ИЗДАТЕЛЬ ворованных пьес

В связи с тем, что проблема авторства—и не только применительно к «Гамлету», а гораздо шире—является главной темой тюринских сцен, возникает естественный вопрос: неужели в Англии XVI века настолько процветало контрафактное—«пиратское»—книгоиздание, или нарушение закона касалось только драматических произведений? Недаром крупнейший шекспировед М. Морозов называл Шекспира «народным писателем». Не надо забывать, что театр шекспировских времён был «попсовым»—площадным искусством, низким жанром для забавы черни.

По свидетельству «Шекспировской энциклопедии»: «Трагедия Шекспира была занесена в Регистр Гильдии книгопечатников и издателей 26 июля 1602 г., а впервые опубликована в 1603 г. Это издание представляло собой «плохое» кварто, возможно составленное по воспоминаниям нескольких актёров». «Приходской письмовод» Робин, мимолётный персонаж сцен, которого мы даже не впишем в перечень отдельной строкой, мог переписать пьесу прямо по ходу представления. Но помимо текста, на который мы ориентированы, Издатель мог позаимствовать текст и у суфлёра спектакля.

Как обычно, толковее всех разъяснения по вопросу авторского права шекспировских времён даёт А. Аникст:

«Драматурги не имели в те времена авторского права на свои произведения. Пьеса принадлежала тому, кто за неё заплатил. Поэтому, когда актёры покупали у писателя пьесу, он переставал быть её владельцем. Она становилась собственностью театра.

Театры не хотели, чтобы другие труппы имели возможность играть те же пьесы. Рукопись каждой драмы хранилась в одном экземпляре. Даже актёрам, игравшим в ней, весь текст целиком не был доступен. Каждый имел список только своей роли.

По мере того как возрастала популярность драматического искусства, издатели стали проявлять некоторый интерес к пьесам и изредка печатали их. Они могли это делать, если им удавалось раздобыть рукопись. А это было трудно по причинам, только что объяснённым».

Читаем дальше и диву даёмся, насколько ситуация напоминает положение дел в аналогичном бизнесе в России девяностых годов прошлого столетия: «Положение изменилось во время чумы 1592/1593 года. Прекращая работу в Лондоне и отправляясь гастролировать по провинции, актёрские труппы распродавали своё имущество, и в том числе рукописи пьес... Печатники и книготорговцы убедились в том, что пьесы находят покупателей. Началась охота за рукописями... Книгоиздатели вошли во вкус и стали раздобывать пьесы не всегда законными путями. Они подсылали стенографов (стенография тогда уже существовала, хотя и несовершенная), чтобы те записывали спектакль, а потом печатали расшифрованную запись. Иногда им удавалось подговорить наёмных актёров (то есть не пайщиков труппы, а тех, кто получал у них жалованье) запомнить спектакль и воспроизвести его... Издания пьес, которые были выпущены против воли актёров или авторов, получили у историков название «пиратских»... Бывали также случаи, когда появление в печати искажённого текста побуждало театр—вероятно, по настоянию автора—отдавать в печать подлинный текст пьесы».

Кажется, теперь с Издателем всё понятно. На афише не было имени автора, поскольку он продал рукопись театру. А Издатель не мог легально узнать имени автора, потому что тогда должен был ему заплатить. С другой стороны, С. Шенбаум, американский автор документальной биографии Шекспира, писал: «...за «Гамлета» он (Шекспир.—*М. К.*) получил, по-видимому, десять фунтов стерлингов... Получив единовременную плату, драматург больше не имел от пьесы никакого дохода. Ему не платили за повторные исполнения её, не получал он ничего и за издание пьесы». Выходит, вся загвоздка была в том самом Регистре Гильдии (Компании) книгопечатников, куда данный мелкотравчатый Издатель просто не хотел заплатить взнос в размере 6 (шести!) пенсов?

Решительно ничего «понятного», когда дело касается Шекспира, быть не может. Потому Илья Тюрин столь тщательно избегал исторических имён и соответствий. История публикации «Гамлета», вроде бы до тонкостей известная документально, только окончательно запутывает самих историков. Не поскупимся же на цитаты.

Аникст: «Успех «Гамлета» на сцене побудил одного предприимчивого издателя пуститься на то, чтобы раздобыть рукопись. Имя этого издателя-«пирата» было установлено исследователями. Его звали Валентайн Симмз. Рукопись, которую он перекупил у какого-то актёра, представляла собой сокращённый вариант трагедии, предназначенный для исполнения во время гастрольных поездок по провинции. Мы можем поэтому поверить заявлению на титульном листе, что трагедия игралась в Кембриджском и Оксфордском университетах. Но заверение издателя, что в Лондоне «Гамлета»

играли актёры самой королевы, неверно. Пьесу играла труппа Шекспира — „слуги лорда-камергера“».

Стало быть, имя Издателя известно? Да, известно, но ничего не объясняет: «„Слуги лорда-камергера“ — именно они, а не лично Шекспир, ибо пьеса теперь принадлежала труппе, а не ему, — по-видимому, узнали о готовящемся «пиратском» издании и решили помешать «пирату» Симмзу выпустить книгу… У труппы был издатель, с которым она постоянно имела дела, — Джеймз Робертс. Ему и поручили сделать соответствующее представление в корпорации, объединявшей издателей и книготорговцев. В реестре Палаты торговцев бумагой, как называлась эта корпорация, 26 июля 1602 года была сделана запись: «Джеймз Робертс. Вносит в руки старейшин мастера Пасфилда и мастера Уотерсона список книги, именуемой «Месть Гамлета, принца Датского», как она недавно исполнялась слугами лорда-камергера, 6 пенсов». Шесть пенсов, внесённых в оплату регистрации, однако, не помогли. Симмз, не платя корпорации ни гроша, издал своего урезанного «Гамлета», и торговец Николас Линг бойко сбывал книгу. Тогда Робертс отпечатал полный текст трагедии и, опираясь на право, полученное посредством регистрации рукописи, потребовал, чтобы книгу принял к продаже тот же Николас Линг. Это был самый сильный удар, какой можно было нанести издателю-«пирату». Когда оба текста лежали рядом на прилавке, едва ли кто покупал сокращённое издание».

Так-то оно, возможно, и так, но Симмза, как всякого «пирата», интересовала выручка первых дней продаж. И на это обстоятельство делает упор в своих сценах Илья Тюрин. Игра стоила свеч, иначе бы Издатель не влачился по лондонским улицам следом за всяким, кто может назвать ему имя автора для титульного листа. Глубочайший символизм здесь заключается в том, что имя «Шекспир» так и осталось словно бы считанным с уст лондонского прохожего «для титульного листа». А подоплёка всё яростнее стирается временем, и её выявление требует всё больших усилий. Аникст пишет: «Пройдёт ещё немного времени, и имя Шекспира станет настолько надёжной гарантией успеха, что издатели будут ставить его имя даже на тех пьесах, которые не были им написаны».

эдви, сочинитель

Мы вплотную подходим к главной тайне Шекспира, которая и побудила Илью Тюрина написать свои сцены. Тайна эта может быть обозначена набившей оскомину горьковской фразой: «А был ли мальчик?!» Но даже убедительное доказательство существования Уильяма Шекспира как человека нисколько не приближает нас к разгадке тайны и «Гамлета», и практически всех тридцати шести остальных пьес, вошедших в историю в неразрывной связке с этим полумифическим именем. Попутно с историей «Гамлета» — его сюжета и использования этого сюжета до- и послешекспировскими драматургами — мы вынуждены будем догадываться, почему Илья дал сочинителю такое имя и почему не воспользовался известными историкам и литературоведам именами претендентов на авторство загадочной трагедии. В тексте Тюрина сам Эдви полностью именует себя в третьем лице:

> Кто автор, иль хоть с чьих он слов наскрёб
> У Эдвига украденную драму!

В английской истории остался только один Эдви — король Эдвиг Прекрасный. Правил он (вернее, за него это делал монах Дунстан) в так называемую эпоху «шести королей-мальчиков». Было Эдвигу от роду пятнадцать лет. Он обладал всеми признаками вундеркинда. В раннем детстве в бреду горячки ночью вскарабкался на самый верх строящейся церкви. Поскольку мальчик со шпиля не свалился, свидетелям стало ясно, что вознёс его туда ангел. Умер Эдвиг в юном возрасте, не выдержав известия о мученической кончине своей любимой жены Эльгивы (в сценах Тюрина Эдви оплакивает Офелию).

Правда, у Шекспира был младший брат — Эдвард, которого тоже в актёрской среде вполне могли панибратски величать Эдви. С. Шенбаум пишет, что в приходские книги того времени имена записывались приблизительно: «…причетник… не был склонен делать тонких различий при записи похоже звучащих имён вроде Джоэн и Джоан, Ортон и Хортон, Эдмунд и Эдвард». Эдвард (или Эдмунд — типично шекспировская ситуация, когда двоится имя даже родного брата) тоже был актёром, последовав за старшим братом в Лондон. Правда, в какой труппе он играл, неизвестно, и нет никаких свидетельств, что, продолжая путь подражания старшему братишке, младший тоже кропал пьесы и волновал университетские и простонародные умы. Однако точно известно, что Эдвард Шекспир был погребён в Саут-Уорке. «Это были дорогие похороны, стоившие 20 шиллингов… Очевидно, кто-то, имевший средства, позаботился об Эдмунде (или Эдварде. — *М. К.*). Вероятно, это был его преуспевавший брат Уильям. Церковь Пресвятой Девы Марии (также называвшаяся церковью Спасителя) находилась возле Лондонского моста, откуда было рукой подать до театра „Глобус“» (С. Шенбаум).

В любом значительном произведении, помимо чисто литературной задачи, присутствует и надлитературная. Упоминавшийся А. Барков полагал, что творчество Шекспира представляет для нас загадку именно потому, что мы не в состоянии постичь сверхлитературного смысла его пьес. Рискну

предположить, что в образе Эдви Илья Тюрин спроецировал собственную судьбу и раннюю гибель. Он не мог не знать, даже если прочёл только работы А. Аникста и И. Гилилова (от прямого и от обратного), что пьеса, условно называемая «Пра-Гамлетом», имеет установленного автора, но не имеет самой себя, то есть текста, на который можно было бы опереться, доказывая, что именно она послужила Шекспиру базой.

Читаем у Аникста: «Связь авторов с театром была весьма тесной. Именно автор разъяснял актёрам, как следует ставить пьесу». То есть, несмотря на проблемы, связанные с авторским правом, автор исполнял в театре функции режиссёра. Режиссировал пьесу «Мышеловка» и принц датский: «Мне возмущает душу, когда я слышу, как здоровенный, лохматый детина рвёт страсть в клочки, прямо-таки в лохмотья, и раздирает уши партеру…» Сравните—у Тюрина Робин сетует:

> Такой анафемский подымут вой
> Актёры на арене…

В сценах «Шекспир» есть и такая проговорка (или сознательная провокация). Актёр признаётся:

> …Я выхлопотал роль
> Наследника и молодого принца,
> Лишь по пятам за Томасом ходя…

Кто такой этот Томас, который нигде более не упоминается? Томасов в окружении Шекспира (если он сам не был одним из Томасов) просматривается несколько. Один—гуманист Томас Нэш, который брался доказать пуританам, что театр—не порождение порока, а дело почтенное, особенно в сравнении с другими развлечениями лондонцев. Можно назвать Томаса Лоджа, у которого позаимствован сюжет комедии «Как вам это понравится». Затем, вероятно, следует упомянуть таких современников-поэтов, как Томас Овербери и Томас Кэмпион. Портрет Овербери, между прочим, был в XVIII веке выдан безымянным фальсификатором за портрет Шекспира и фигурировал в изданиях сочинений Великого Барда, пока им не занялись эксперты. Томасами звали и издателей Торпа и Пэвиера, выпустивших в начале 1600-х годов сочинения Шекспира с фальшивыми датами. И, наконец,—Томас Кид. Именно его считают автором раннего «Гамлета», с которого Шекспир «передрал» сюжет.

Аникст: «Откуда же взял Симмз, что эта пьеса игралась «актёрами её величества»? Дело в том, что существовала пьеса о Гамлете, написанная кем-то задолго до Шекспира. Вероятнее всего, что её автором был Томас Кид. Известно, что этот ранний вариант трагедии «Гамлет» шёл на сцене около 1589 года. По-видимому, её-то и играли актёры королевской труппы. Издатель назвал её, чтобы запутать дело и представить, будто он напечатал не рукопись, сворованную у «слуг лорда-камергера», а пьесу, которую играли более десяти лет тому назад».

При чтении других источников выясняется, что пьеса Кида была утрачена, и Шекспир якобы пользовался неким немецким переводом (значит, знал немецкий язык? Чего только не знал этот Шекспир!—*М. К.*). Но Кид умер в 1594 году. За год до этого он был обвинён в распространении неортодоксальных религиозных представлений, арестован и подвергнут пыткам. Бедняге Киду не повезло! Дело в том, что он снимал квартиру с гениальным драматургом, поэтом и шпионом Кристофером Марло, который погиб в драке. Марло до недавнего времени считался основным претендентом на роль «копьеметателя». Выдвигались серьёзные предположения, что он вовсе не погиб, а скрылся и под именем актёра Шекспира написал все пьесы, поэмы и сонеты последнего. Но если отвергнуть подобные предположения, то никто не мог помешать новому драматургу воспользоваться сюжетом Кида. Да и практика такая широко бытовала в театре той поры. Собственно, Кид и был родоначальником «трагедии мести», в которую Шекспир подлил крови для ублажения инстинктов толпы, на вкусы которой ориентировался. Томас Кид первым вывел на сцену призрака и первым применил приём «пьеса в пьесе», которым косвенно пользуется и Тюрин. Достоверно известна лишь пьеса Кида «Испанская трагедия». Из неё Шекспир (Шекспиры) мог (могли) позаимствовать приёмы, но не сюжет.

Но достоверность знакомства Шекспира с «Испанской трагедией» тоже не доказана. К какому же Томасу апеллирует Актёр? Если он играл в кидовской версии «Гамлета» десять лет назад, то вряд ли признался бы в том, что роль принца выхлопотал к сорока годам. Вероятно, имеются в виду либо Томас Хейвуд, либо Томас Деккер, поэты и сочинители пьес, которым Шекспир милостиво позволял пополнять репертуар труппы. Пьесы обоих игрались «слугами лорда-камергера» с переменным успехом. Правда, в это время в Лондоне гостил ещё один Томас—Платтер, швейцарский путешественник. Он был на спектакле по пьесе Шекспира «Юлий Цезарь», но о премьере «Гамлета» не упомянул ни словом и уж точно не распределял роли в спектаклях.

А что, если это—сам Томас Кориэт из Одкомба, великий поэт и путешественник, великий фарс и розыгрыш, которому предавались великие современники—или заместители—Шекспира на поприще великого драматурга? Об этой шутке шуток елизаветинских времён подробнейше написал Гилилов. Во многом выдумка, которой от начала до конца являлся Томас Кориэт, и навела учёного на, по мнению его сторонников, разгадку тайны Шекспира. Упоминание некоего Томаса в сценах

тоже вполне может быть шуткой. Пошутил же Илья, упомянув несуществующие «Хроники» Бенбоу, тогда как Бенбоу, достопочтенный адмирал королевского флота, никаких хроник не писал. Это в «Острове сокровищ» таверна называется «Адмирал Бенбоу», а Шекспир, послужив лорду-камергеру, играл в труппе «Слуги лорда-адмирала». Вот Илья и сконтаминировал имена и титулы.

Итак, пьесы в Англии эпохи Тюдоров (это род, к которому принадлежала королева Елизавета) печатались анонимно, а на титул ставилось название труппы, которая ту или иную пьесу исполняла. В 1848 году нью-йоркский юрист, полковник Джозеф Харт выдвинул предположение, что Шекспир «покупал или добывал тайком» пьесы других авторов, которые впоследствии «приправлял непристойностями, сквернословием и грязью». Через семь лет американка Делия Бэкон (однофамилица философа, которого она в числе многих прочила на роль Шекспира) провела ночь в церкви Святой Троицы, где похоронен Шекспир—или кто-то ещё, размышляя, не вскрыть ли ей могилу великого стратфордца. До гробокопательства дело не дошло, а если бы и дошло—не факт, что это приблизило бы нас к истине. Да и первым Бэкона выдвинул в претенденты ещё в 1785 году преподобный Джеймс Уилмот. Не сняты с философа подозрения и до сих пор, хотя оппоненты его выдвижения предлагают простейший вариант: прочесть литературное сочинение Бэкона «Любовь», сравнить его с текстом любой шекспировской пьесы и немного поразмыслить, мог ли один и тот же человек страдать столь сильным раздвоением личности. Но если бы «группа граждан», выдвигающая того или иного кандидата антишекспировской партии, умела читать, мы, должно быть, имели бы несколько другой арсенал их аргументов.

В дальнейшем свистопляска вокруг проблемы авторства Шекспира продолжалась с завидным постоянством. Приведу список сомневающихся и претендующих, составленный Игорем Фроловым, опираясь на его компактность по сравнению с коллегами: «В авторстве стратфордского Шекспира сомневались Марк Твен, Чарли Чаплин, Уолт Уитмен, Генри Джеймс, Джон Голсуорси, Зигмунд Фрейд, Чарльз Диккенс и другие именитые личности. Поиски «настоящего» автора приобрели особую напряжённость уже в XIX веке. Вот ряд наиболее известных кандидатов: философ Фрэнсис Бэкон; Эдвард де Вер, 17-й граф Оксфорд; Кристофер Марло… Уильям Стэнли, граф Дерби; Джордж Карей, лорд Хансдон; Роджер Мэннерс, граф Рэтленд; Мэри Сидни, графиня Пембрук; Джеймс Стюарт, король Шотландии, затем Англии; Роберт Сэсил, госсекретарь Елизаветы… борьба за первенство до сих пор идёт с переменным успехом, в которой постоянными победителями выходят лишь «стратфордианцы»—приверженцы авторства Гильельма из Стратфорда. И побеждают они потому, что на их стороне имя «Шекспир», которое перевешивает любые находки «антистратфордианцев». Одно только имя». Собственно, к такому же выводу приходит в финале и Эдви в сценах Ильи Тюрина.

ЦЕНИТЕЛЬ, молодой человек

Самая загадочная фигура в сценах. Персонаж, который буквально рвался на премьеру «Гамлета» и который ушёл со спектакля, не досидев до конца. Чудак, записывающий каждую свою мысль. Авторская ремарка аттестует его молодым человеком, но, желая избавиться от восторженного театрала Стефана, зовущего его на премьеру, Ценитель говорит: «По-старчески я долго одеваюсь».

Какую же функцию этот персонаж выполняет в пьесе? Не забудем, что важным стимулом к написанию «Шекспира» Илье Тюрину послужила книга Ильи Гилилова. Напомним также, что, по версии «стратфордианцев», Уильям (Гильельм—чем-то созвучно с Гилиловым, не правда ли?) Шекспир систематического образования не получил—«университетов не кончал». Гилилов обращает особое внимание на то, что к концу девяностых годов XVI столетия «…у некоторых кембриджских студентов и преподавателей Шекспир буквально не сходит с языка». Цитируем дальше, пытаясь найти мотивацию персонажа и автора:

«Это подтверждает и появившаяся в 1598 году книга ещё одного кембриджца… Фрэнсиса Мереза. Пухлая (700 страниц) книга под названием «Сокровищница Умов»…

Мерез называет целых двенадцать пьес, хотя к тому времени были напечатаны шесть из них, в том числе только три—с именем Шекспира на титульном листе. Некоторые из названных Мерезом пьес были изданы лишь через четверть века, а «сладостные сонеты»—через десять лет. Всё это свидетельствует о том, что Мерез был чрезвычайно хорошо осведомлён о творчестве Шекспира, хотя источники его информированности остаются нераскрытыми…

Вскоре после опубликования книги Фрэнсис Мерез навсегда покидает Лондон, став приходским священником в графстве Рэтленд, но его высокие отзывы о Шекспире и особенно его удивительный список шекспировских пьес со временем заняли почётное место во всех шекспировских биографиях».

Добавим, что в глазах защитников реальности Шекспира книга Мереза является неоспоримым доказательством этой реальности. «Нестратфордианец» Гилилов так не считает.

Мы же, увы, не можем признать в Ценителе Мереза по одной простой причине. Если Мерез покинул Лондон «вскоре после опубликования книги», едва ли он присутствовал на премьере «Гамлета» (предположительно в 1600/1601 годах).

Вероятно, очередной прошекспировский «мавр», сделав своё дело, к тому времени уже окормлял паству в графстве Рэтленд. Именно 5-й граф Рэтленд, по Гилилову, является основным кандидатом на роль Шекспира.

С другой стороны, по тексту Тюрина Ценитель либо не лондонец, либо очень плохо знает город:

СТЕФАН
В саду напротив я тебя дождусь:
Ты заплутаешь в городе.

ЦЕНИТЕЛЬ
Конечно.

Попытаемся ниже разобраться в тайне этого персонажа.

***РОБИН**, писец, **СТЕФАН**, друг Ценителя, и **РАЗНОСЧИК**,* наконец открывающий имя автора трагедии «Гамлет»,—персонажи явно функциональные. Но вот кто (что) является подлинным действующим лицом сцен Ильи Тюрина—это, безусловно, Лондон и прячущийся за ним «Глобус», театр, где представляют «драму мести», «кровавую драму» или «комедь»—это зависит от точки зрения или места, с которого зритель следит за происходящим, а исполнитель—за зрителем. Как говорит Актёр:

Мы, лицедеи, легконогий табор,
Для развлечения стоячих мест,
Для ублажения сидячих мест,
За пол-улыбки с королевских мест—
В себя пускаем на постой любого…

III.

Лондон, рубеж XVI–XVII веков

Отцом Ричарда Бёрбеджа, с большой вероятностью (но не более того) первого исполнителя роли Гамлета, был Джеймс, соответственно, Бёрбедж. Столяр по профессии и театральный функционер по призванию, он построил первое стационарное здание, в котором «камергерская» труппа играла на постоянной основе. Недолго думая, этот театр так и назвали—«Театр». А потом срок аренды земли, на которой стоял «Театр», кончился, старший Бёрбедж умер, и его второй сын, Катберт, урвал участок на южном берегу Темзы, в квартале Банксайд. Там прежде проводились медвежья травля и петушиные бои—развлечение для лондонских низов.

Аникст: «В специально огороженных местах на арене стравливались петухи, а публика, наблюдавшая это зрелище, заключала денежные пари о том, какой из петухов победит. Такие же пари имели место и в загонах, где происходила травля медведя. Зверя привязывали к столбу цепью, натравливали на него некормленых собак, и завязывалась кровавая борьба, доставлявшая зрителям не менее острые впечатления, чем публичные казни».

Питер Акройд в знаменитой «Биографии Лондона» пишет: «Медведям давали ласковые клички—например, Ворчун Гарри,—но обращались с ними жестоко. В начале XVII века один посетитель Банксайда наблюдал, как хлестали слепого медведя: „Пятеро или шестеро, вставши вокруг с бичами, охаживают его без всякой жалости, а убежать ему не даёт цепь; он обороняется, прилагая все силы и всю сноровку, сбивая с ног всякого, кто окажется в пределах досягаемости и не успеет отскочить, вырывая из рук бичи и ломая их“».

Здание «Театра» разобрали—иначе его всё равно бы снёс владелец земли—и из старого материала построили новый театр. Ему дали имя «Глобус». Перевод слова неточен, поскольку «глобус»—географическое пособие для школьников. А создатели театра подразумевали «земной шар». Они сложились, чтобы покрыть серьёзные расходы, которые Катберт в одиночку бы не потянул. Так актёр Шекспир стал пайщиком, то есть совладельцем театра.

Аникст: «От нового театра можно было минут за десять дойти до большого моста через Темзу,

а за мостом был Лондон. Публике сюда было ближе добираться, чем до старого «Театра»… Этот грандиозный мост являлся для своего времени чудом строительства. На нём размещались многочисленные лавки и мастерские. Здесь же у входа и выхода с моста на пиках торчали головы казнённых преступников».

Большая часть построек Лондона оставалась деревянной. Дома в четыре-пять этажей с крутыми кровлями образовали сплошную застройку узких улиц. Даже по сторонам Лондонского моста поднимались пятиэтажные здания. Добавим, что горожане всё ещё путали театр с цирком. «Глобус» был лучшим театром Лондона, а его здание—самым большим. Все городские театры были круглыми, а «Глобус»—восьмигранным. Театр вмещал до 2000 человек (заметим, что население Лондона достигло к тому времени 400 000 человек, и по этому показателю британская столица догнала Париж). Именно поэтому у входа поставили статую Геркулеса, поддерживавшего небесный свод, с изречением Петрония: «*Totus mundus agit histrionem*»—«Весь мир лицедействует». Билет на лучшие места стоил три пенса!

Лондон оставался «за мостом», потому что театры строились за пределами Сити (что, собственно, и означает—город)—там, куда не простиралась власть городского муниципалитета. Это, в числе прочих выгод, спасало от нападок пуритан, считавших лицедейство делом греховным—и в этом, безусловно, правых. Загородное месторасположение театра объясняет реплику Издателя:

За пенс две книжки сбуду в переулках,
А в Сити даром не возьмёт никто.

Сцена театра эпохи Шекспира представляла собой прямоугольный помост, который делился колоннами ещё на две сцены—главную и среднюю. Две колонны поддерживали навес, на котором изображались знаки зодиака. (Есть мнение, что в «Глобусе» они были писаны золотом. Вспомним величественную кровлю, выложенную золотым огнём, из монолога Гамлета.) Средняя сцена была ограничена боковыми крыльями с местами для актёров и их друзей. Задняя часть сцены была трёхъярусной; на втором ярусе располагалась галерея—третья, верхняя, сцена. Такое деление сцены символизировало трёхчастную модель мироздания, причём верхний ярус—небесный мир—скрывался от зрителя навесом. Место действия на сцене обозначалось условными декорациями или знаменитыми табличками-указателями. Декорации по мере действия не менялись, а просто располагались в разных частях сцены.

Мы остановились на устройстве «Глобуса», потому что иначе очень сложно понять множество скрытых смыслов сцен «Шекспир». Точно так же текст невозможно адекватно прочесть, не представляя, в каком фантастическом городе происходит действие. «Глобус» сгорел, как и большинство лондонских театров. Потом его отстроили заново—уже из камня, но ни один новодел не сохраняет обаяния и аромата первозданности. В «Биографии Лондона» читаем: «Характерно и то, что в Лондоне, этом городе зрелищ, постоянно горят театры… и лондонская публика, таким образом, вряд ли может пожаловаться на недостаток драматических сцен».

Аникст: «Лондон был по преимуществу городом купцов и ремесленников. Здесь находились лавки, мастерские и конторы торговых компаний, которые вели дела со всеми частями света, куда только достигали английские суда…»

Акройд: «…представители каждой профессии тяготели к образованию отчётливых анклавов и землячеств… разгороженность всегда была свойственна лондонской торгово-ремесленной жизни».

Ценитель смотрит на Лондон из окна—как Илья в «Сонете» и множестве других стихов. Точнее, город отражается в стекле, словно максимально приблизившись к созерцателю:

Свеча потухла, и в стекло я видел,
Как будто Лондон тоже у окна
Стоял, щекою к раме прислонившись,
И проникал рассеянно в меня—
В мои воротца, мостовые, шпили…

«Мостовых» никаких ещё не было. По изрытым ухабами улицам столицы каждый пробирался как умел, и каждый самостоятельно спасался от бесчисленных карманников и мошенников всякого толка. Правда, спектакли давались после полудня, то есть в светлое время суток. Воровать это никому ещё не мешало, но поймать воришку за руку было всё же проще, нежели в темноте. Больше, чем мазуриков, в Лондоне эпохи Тюдоров было разве что кровососущих паразитов—блох, клопов, вшей, как, впрочем, и в других крупных городах. А вот шпили… Шпилей в городе хватало. Купол собора Святого Павла был виден практически отовсюду, учитывая отсутствие высокоэтажного строительства. Помимо богослужений, здесь совершались сделки и назначались дружеские встречи, демонстрировались наряды и искались богатые спонсоры. А кроме того, в окрестностях собора располагались типографии и книжные лавки, где продавались издания как зарегистрированные, так и «пиратские». А если Ценитель поселился в суетливом квартале Шордич, откуда рукой подать до «Глобуса»,—стало быть, из его окна виден собор Святого Леонарда.

Акройд: «Цвет Лондона—красный… Первая Лондонская стена была сложена из красного песчаника. Даже про Лондонский мост говорили, что он имеет красный оттенок: якобы, согласно древнему ритуалу строительства, он был «спрыснут

кровью маленьких детей». Красный — это также и цвет насилия... Этот цвет есть повсюду, даже в городской почве: светло-красные прослойки окиси железа в лондонской глине хранят память о пожарах, бушевавших почти две тысячи лет тому назад».

Аникст: «Газет тогда ещё не было (они появились в Англии через полвека), но все сколько-нибудь примечательные события получали печатный отклик. В больших количествах издавались так называемые уличные баллады. Это были небольшие листовки с гравюрой и текстом... Не было ни одного сколько-нибудь интересного события, на которое плодовитые сочинители баллад не откликались бы буквально в тот же день. Баллады стоили дёшево и покупались нарасхват. Эти баллады были приспособлены к ритму какой-нибудь известной песни, и сочинитель или продавец баллады исполнял её перед толпой, после чего покупатели платили свои гроши за листовку с текстом.

Когда театр занял большое место в жизни Лондона, темами таких баллад стали наиболее популярные спектакли. Сохранились баллады о «Короле Лире и его трёх дочерях», о «Венецианском ростовщике Гернуте» и некоторые другие песни на сюжеты пьес Шекспира и его современников».

В каком «саду» собирается Стефан ждать Ценителя, пока тот одевается? Читаем у Акройда: «К началу XVII века поля Мурфилдс осушили и на их месте разбили «верхний парк» и «нижний парк»... Очень популярен был парк Грейзиннуокс; в Гайд-парк, хотя он по-прежнему был королевским парком, пускали публику на скачки и кулачные бои».

Где-то здесь в эти дни прогуливался и наш соотечественник Фёдор Костомаров, в 1592 году опрометчиво посланный на учение в Лондон Борисом Годуновым, да там и оставшийся.

Если приятели жили в Сити, то к Лондонскому мосту они шли по Саутуорк-Хай-стрит. На Темзе кипела жизнь. Кишели лодки, лодочники зазывали клиентов, рыбаки удили. Во что были одеты Ценитель и Стефан? В береты и кафтаны с меховой опушкой или короткие дублеты? Или их костюм подходил под описание из повести Алексея Калугина «Дело об архиве Уильяма Шекспира», герой которой волею судеб оказался в Лондоне конца XV века: «Я получил одежду, которую мог носить преуспевающий торговец того времени: широкую рубашку из грубого серого полотна без ворота, со шнуровкой, стягивающей разрез на груди, тёмно-синий кафтан, синие обтягивающие панталоны, короткие прямые верхние штаны коричневого цвета, кожаные башмаки с ремешками, как на сандалиях, и чёрный берет со шнурком и узкими отогнутыми вниз полями»?

А может, по крайней мере, Ценитель соответствовал фантазии Набокова:

...круг брыжей, атласным серебром
обтянутая ляжка, клин бородки...

Носили они кинжал, меч или шпагу? Без оружия появляться на городских улицах и днём было небезопасно. Городская стража плохо справлялась со своими обязанностями. Почему бедный Робин рассчитывает в цирке «Глоба» увидеть клоунов и полакомиться винцом и солониной? Потому что не понимает разницы между цирком и театром? Или потому, что во время спектакля зрителей действительно обносили пивом в бутылках и вином?

Эти вопросы оживляют и наполняют текст Тюрина, который сотворён по образу и подобию шекспировских пьес. Илья приглашает нас к сотрудничеству.

Аникст: «Театр помогал зрителю понимать происходящее, вывешивая, например, таблички с надписями — с названием пьесы, с обозначением места действия. Многое в этом театре было условным — одно и то же место изображало то одну часть поля, то другую, то площадь перед зданием, то помещение внутри его. По преимуществу из речей героев зрители судили о перемене места действия. Внешняя бедность театра требовала от публики активного восприятия спектакля — драматурги, в том числе и Шекспир, рассчитывали на воображение зрителей».

На наше воображение, несомненно, рассчитывал и Илья Тюрин.

IV.

Теперь, обрастя антуражем, перейдём непосредственно к содержанию драматических сцен «Шекспир». И ещё раз вернёмся к поводу их создания. Разумеется, никакой творческий замысел не сводится ни к одному источнику, ни к одной первопричине. Их всегда несколько — и тем больше, чем сложнее замысел. Книга И. Гилилова «Игра об Уильяме Шекспире, или Тайна великого Феникса» была лишь поводом — пусть прямым, но только поводом. Побудительная причина в лице Шекспира — или его загадки — здесь неизмеримо важнее, как сам Шекспир больше всего, что о нём написано.

Уже Пушкину было известно, что «многие из трагедий, приписываемых Шекспиру, ему не принадлежат, а только им поправлены» («О «Ромео и Джюльете» Шекспира»). В этом кратком наброске Пушкин успевает дать понять, что проблема авторства в отношении английского драматурга уже стояла достаточно остро: «Трагедия «Ромео и Джюльета», хотя слогом своим и совершенно отделяется от известных его приёмов, но она так явно входит в его драматическую систему и носит на себе так много следов вольной и широкой его кисти, что её дóлжно почесть сочинением Шекспира». Эта неожиданная в устах Пушкина модальность («дóлжно»), в свою очередь, относится

к авторитету, который успел завоевать Шекспир в мире к началу XIX столетия. Учёные называют этот процесс шекспиризацией.

«Труды Гердера и Гёте знаменовали утверждение культа Шекспира как международное явление. Но этот культ следует отличать от шекспиризации, означающей не только преклонение перед гением английского драматурга, но и постепенное расширение влияния его художественной системы на мировую культуру»,—так пишет об этом явлении В. Луков.

Сцены Ильи Тюрина, безусловно, вписываются в такую парадигму шекспиризации.

«Есть высшая смелость: смелость изобретения, создания, где план обширный объемлется творческою мыслию—такова смелость Шекспира…» Это уже слова Пушкина. Андрей Чернов прав, отсылая читателей тюринского «Шекспира» к «Маленьким трагедиям» («Шекспир! Шекспир! Забавные пиесы…», альманах «Илья», №5, 2006). Но сам Пушкин признавал, что работает «в системе Шекспира». В письме к издателю «Московского вестника» великий поэт России и один из любимейших поэтов Ильи дал такую оценку «Борису Годунову»: «…я расположил свою трагедию по системе Отца нашего—Шекспира и принёс ему в жертву пред его алтарь два классические единства, едва сохранив последнее». Понятно, что под «последним» имеется в виду единство действия. Самооценка Пушкина удивительным образом соответствует принципу построения Тюриным драматических сцен «Шекспир».

Здесь тоже соблюдены единство места (Лондон) и единство времени (один день—до и после премьеры «Гамлета»), но фактически отсутствует единство действия.

Точнее, места действия условны, как и положено по законам шекспировского театра. Где Актёр учит роль принца Датского, так что Издатель имеет возможность слышать его рефлексию? Там же, откуда только что ушёл Актёр, появляется незадачливый Эдви, а следом за ним Робин. Совершенно условен дом (или гостиница), куда Стефан приходит к Ценителю. В условном месте развивается и послепремьерное действие второго акта. То ли это театр «Глобус», то ли театральный двор, то ли лондонский квартал близ театра.

Сцены написаны белым стихом с вкраплениями рифм (в «Маленьких трагедиях» Пушкина такой приём отсутствует—рифмованы там только песни из «Пира во время чумы»). Белый стих внедрил в трагедию Кристофер Марло—предшественник Шекспира и один из главных его соперников за авторство. До этого средневековый театр говорил в рифму, которая, безусловно, сковывала драматурга. Невольно вспоминается письмо друга Пушкина—Плетнёва, который просит Александра Сергеевича в предисловии к «Борису Годунову», задуманном как «трактат о Шекспире», осветить следующие вопросы: «Для чего в одном произведении помещать прозу, полустихи (т.е. стихи без рифм) и настоящие стихи (по понятию простонародному)? Потому, что в трагедии есть лица, над которыми все мы смеялись бы, если бы кто вздумал подозревать, что они способны к поэтическому чувству; а из круга людей, достойных поэзии, иные бывают на степени поэзии драматической, иные же, а иногда и те же, на степени поэзии лирической…» К слову, заметим, что Пушкин не воспользовался «подсказками» друга. Да и «трактата» как такового не написал.

А вот Илья Тюрин—сознательно или догадкой гениального воображения—воспользовался. Его сцены—не стилизация шекспировской манеры письма, а её реконструкция. И сделано это не смиренным учеником, а мастером, который «ведает, что творит». По А. Баркову, толковавшему трагедию «Гамлет» как мениппею, то есть пьесу со скрытым смыслом (интернет-автор А. Кузнецов называет это явление криптолитературой), содержание такого произведения прежде всего не следует понимать буквально. Главным героем мениппеи является некий рассказчик (добавим: или группа рассказчиков), по разным причинам заинтересованный в утаивании или собственной интерпретации истины. При этом «наиболее важным является то, что «восстановление истины» с учётом предвзятой позиции рассказчика оказывается не завершающим этапом постижения смысла произведения, а очередным композиционным этапом; путём сопоставления истины с тем, как она изображена рассказчиком, формируется объёмное содержание образа рассказчика как главного героя любой мениппеи». Возможно, многим будет ближе аналогия И. Фролова: «…во времена Шекспира процветало искусство стеганографии—умение скрывать в обычном тексте или рисунке сообщения, не предназначенные для глаз рядового читателя. Говоря современным языком, творцы прятали под файлом-крышей файл-сообщение, ради которого и создавалось произведение».

Илья Тюрин, проштудировавший книгу Гилилова и ничего в силу фактора времени не знавший об изысканиях Баркова, тем не менее, пошёл по его пути. Искусно применяя принцип мениппеи, Илья заставляет разных персонажей пересказывать сюжет «Гамлета»—каждого «со своей колокольни». Сравнивая характеристики трагедии из уст Стефана, Робина, Издателя, Эдви и Актёра, мы получаем некую социокультурную совокупность мнений о театральном искусстве, а заодно и о Шекспире—или маске под этим «брендом». Успех трагедии для одного слоя зрителей связан с количеством трупов в финале, для другого—с ловко построенной фабулой, для третьего—с накалом живых чувств и мыслей, для четвёртого—с собственными

философскими заключениями, для пятого—с собственным же долгожданным профессиональным успехом.

К тому же, мениппейская уловка в виде реконструкции ряда шекспировских приёмов и шифровки цитат, обусловленных феноменом «шекспиризации», позволяет добиться дополнительного—а возможно, и главного в замысле—эффекта. Коль скоро стержневой проблемой сцен Ильи Тюрина мы признаём проблему авторства, этот эффект целиком на неё и работает. Автором драматических сцен «Шекспир» может быть при желании признан… Уильям (Гильельм) Шекспир, сын перчаточника из Стратфорда-на-Эйвоне. Собственно, вопрос, является ли Шекспир автором всех им подписанных пьес, и возник только в связи с «шекспиризацией» как мировым культурным процессом. В сценах Тюрина вопрос этот волнует персонажей по совершенно иным, куда более утилитарным поводам. Издателю важно поставить имя на титул, чтобы продать свежеиспечённое фолио. Эдви важно отмстить обидчику, укравшему у него сюжет. Причину интереса Ценителя: «Кто ж сочинил?»—мы обсудим ниже. Зрителей как биомассу этот вопрос как не волновал в средние века, так не волнует и теперь. Такого среднестатистического зрителя—глотателя непережёванной информации—воплощает в тюринских сценах Стефан.

Приведём несколько реконструктивных приёмов Ильи Тюрина. Вот диалог Ценителя и Стефана:

ЦЕНИТЕЛЬ
Спасибо, друг; кто скажет мне ещё,
Как ты? кто остановится послушать?
Ты мимо шёл случайно—мне же мысли
Случайно в ум тяжёлый закрались:
Случайности две сразу. Этот случай
Раз в год случается—уж мне поверь.

СТЕФАН
По случаю такому нужно нам
Наружу выбраться с тобою вместе.

Всякий, кто читал пьесы Шекспира или видел их на сцене, признает, что каламбур—бесконечное обыгрывание и морфологизация одного и того же слова—обычный шекспировский приём. Вот классический отрывок из «Гамлета» (перевод М. Лозинского)—диалог принца и Гертруды:

КОРОЛЕВА
Сын, твой отец тобой обижен тяжко.

ГАМЛЕТ
Мать, мой отец обижен вами тяжко.

КОРОЛЕВА
Не отвечайте праздным языком.

ГАМЛЕТ
Не вопрошайте грешным языком.

И т. д. Передразнивая мать, Гамлет меняет смыслы, обнажая лицемерие королевы.

Смысловые реминисценции (прямые и скрытые цитаты) из трагедии «Гамлет» в тексте Тюрина тоже очевидны всякому, кто знаком с текстом первоисточника.

АКТЁР
Где б ни был я, чего б ни слышал в мире
Неведомого нашим мудрецам—
Окружный свет меня не напоит,
Пока в себе ношу тепла избыток,
Как полый корпус флейты духовой.

В пяти строках монолога Актёр дважды цитирует своего героя. Здесь слышна и третья по рейтингу цитируемости Шекспира фраза:

Есть многое на свете, друг Горацио,
Что и не снилось нашим мудрецам,—

(старинный перевод М. Вронченко.—*М.К.*), и, естественно, угадывается знаменитая сцена с флейтой, на которой Гамлет предлагает сыграть Розенкранцу: «…управляйте этими отверстиями при помощи пальцев, дышите в неё ртом, и она заговорит красноречивейшей музыкой».

Причём, даже цитируя общеизвестное, Тюрин умудряется так же подменить смыслы, как это делает Гамлет в сцене с матерью: Актёр идентифицирует себя с флейтой, тогда как датский принц использует образ от противного—дабы разоблачить играющего против него однокашника Розенкранца.

Такого рода реминисценции рассыпаны по тюринскому «Шекспиру» и заслуживают отдельного исследования. Нам же важно, что, коль скоро принцип самоцитирования является распространённым приёмом любого автора, и Шекспир здесь не исключение, реконструкция Ильи Тюрина—не ученичество, а сознательная провокация, органично вписанная в сложнейшую структуру его гиперлапидарного, то бишь компактного, текста.

Бесчисленная с точки зрения комбинаций игра смыслов в «Гамлете» Шекспира находит пропорциональное отображение в «Шекспире» Тюрина. В чём же он—скрытый смысл (смыслы)—криптология—стеганография—тюринского текста? В том, что все персонажи ищут автора трагедии «Гамлет», и каждый мотивирован на поиск по-своему. В том, что точно так же, как во многих пьесах Шекспира, зрители (читатели) знают гораздо больше, чем персонажи. В том, что их знание обманчиво и иллюзорно. На самом деле мы знаем и у кого заимствован сюжет, и кто играл роль Гамлета в первой постановке, и кто издал первое фолио с текстом трагедии, и многое другое. Наконец, в том, что внутри одного сюжета развивается ещё несколько параллельных сюжетов, и уже совсем никто не знает, в какой точке они сойдутся. Но то ли наши

комплексы, то ли исторические обстоятельства, то ли инерция великой провокации XVI века заставляют нас вновь и вновь сомневаться в главном: Шекспир ли, от которого осталось четыре автографа, нацарапанные разными почерками, всё это сочинил и учинил?

Рассмотрим же и сравним мотивы персонажей.

Актёр получил роль принца, находясь в возрасте его отца или убийцы его отца. Он понимает и грандиозность «выхлопотанной» роли, и то, что ему, «лицедею», случайному ретранслятору чужих мыслей, достанутся лавры безвестного автора. «Меня здесь нет. Я вами подменён»,—сообщает Актёр своим ролям, которые одухотворяет в монологе, тем самым лишний раз удостоверяясь, что исполнитель может быть выше автора лишь в глазах «тупой бессмысленной толпы» (Сальери), но никогда—в собственных глазах. Произнося чужие слова, невозможно сравняться с их создателем. Это драма каждого актёра, и её постижение делает Актёру честь. А то, что он как ребёнок радуется успеху,—это простительная слабость всякого человека. Аникст подчёркивал, что пьесы Шекспира предназначались для сценического исполнения, а не для чтения. Образ Актёра в сценах Тюрина важен ещё и потому, что в двух больших монологах Актёр словно выворачивает наизнанку (недаром он в мизансцене стоит перед зеркалом) одну из самых многозначных шекспировских метафор: «Весь мир—театр, а люди в нем—актёры». Тюрин применил метод «выворотки», потому что Жак из пьесы «Как вам это понравится», в чьи уста вложена метафора «мира-театра», актёром не является. Актёр видит процесс совершенно иначе: он—единственный актёр и одновременно театр мира, огромное кладбище чужих замыслов и братская могила авторов, за которых он представительствует. Недаром он произносит фразу: «Во мне живёт и множится убийство».

Илья снова реконструирует Шекспира, который, по теории Кэролайн Сперджен, начавшей изучать Шекспира ещё в XIX веке и продолжавшей это занятие до середины века XX, любил настойчиво повторять доминирующие идеи на протяжении действия. Монологи Актёра удивительным образом корреспондируют и с прологом-сонетом, изображающим творческий процесс уже с точки зрения автора, а не исполнителя. Метафора дома со многими «жильцами» (ролями и персонажами) перерастает в метафору погоста—«квартала» домовин, своеобразной библиотеки, где консервируются носители мыслей.

Но самая загадочная, повторим, фигура в сценах—Ценитель. Его имя скрыто, как и имена Актёра и Издателя, хотя они потенциально известны—Бёрбедж и Симмз. Псевдоним «Ценитель» ироничен и многозначителен, в отличие от прямых номинаций. Актёр и Издатель функционально приравнены к Разносчику, поскольку имя в «Шекспире» есть даже у переписчика пьес—Робин. Безусловно, не будь на сцене актёров, ни одно драматическое произведение не имело бы зрительского успеха, но интерпретатор авторской воли и популяризатор его текста и есть не более чем функции, когда речь идёт о таком Авторе, как Шекспир. Они обретают имена, только когда авторство сомнительно и приблизительно—и всё равно только в связи с автором.

Что же ценит этот Ценитель, если уходит, не дожидаясь финала пьесы? Если он так ценит себя, то зачем вообще соглашается идти в театр? Загадаем сами себе загадку. Кому нечего делать в театре, где ещё не привилась традиция по окончании спектакля кричать из партера: «Автора!»? Не автору ли? Стефан даёт нам понять, что они с Ценителем, несмотря на то, что пришли в театр вместе, спектакль смотрели поврозь:

> Сидели в разных мы местах; я видел:
> До занавеса встал он и ушёл.

Это говорит о принадлежности двух театралов к разным социальным слоям. Или о том, что Ценитель почему-то не хотел сидеть рядом с глуповатым и непосредственным Стефаном. Почему? К слову, занавес, как и всё в «Глобусе», был весьма условным. Да и наличие или отсутствие этого атрибута в театре Шекспира не является для нас принципиальным. Зато вопрос, почему Ценитель покидает зал до окончания спектакля,—один из принципиальнейших. Если это не обычный демарш сноба, не желающего слушать ликование толпы и нюхать её ароматы, то что это? Если это не Мерез, то кто? Кого Илья Тюрин зашифровал в персонаже? Ценитель, бесспорно, знает цену творческого труда—«трепетной работы»—и не чужд такого рода труду (недаром постоянно записывает свои мысли). Он образован, широко осведомлён в религии, философии, истории и культуре. А что, если он уходит, потому что знает финал не по бестолковому пересказу Стефана? Что, если он заранее знал сюжет пьесы, и все его вопросы задавались для отвода глаз? Что, если он и есть искомый, то есть *автор* «Гамлета»? Не Шекспир и не Шакспер, до которого его понизили «нестратфордианцы», а тот, кого непонятно зачем ищет весь просвещённый мир! Мир, в котором до сих пор не научились лечить насморк, а женщины умирают родами…

Увы, увы! Если бы Илья Тюрин ответил на этот вопрос в лоб, мы обошлись бы «двумя-тремя страничками». Нет, мы не забыли и того, что в ремарке Ильи Ценитель сопровождён эпитетом «молодой», и того, что Томас Кид был на восемь лет старше Шекспира, а самому Великому Барду ко дню премьеры «Гамлета» стукнуло как минимум тридцать семь, и считаться «молодым человеком» он не мог ни в елизаветинские, ни в наши времена.

Но сцены «Шекспир» — произведение художественное, а не документальное. И допусков там сколько угодно. Тем не менее, единственным по-настоящему молодым человеком является автор... сцен «Шекспир». Возможно, Илья зашифровал в образе не кого иного, как себя самого. Потому он и плохо знает Лондон, и торопится до окончания действия вернуться в собственное время. В любопытнейшей и уже упоминавшейся фантастической повести А. Калугина о судьбе архива Шекспира (от которого в действительности не осталось ни клочка бумаги) путешествия во времени — реальность, и подружка героя на день рождения покупает ему тур в Лондон XVI века, где герой осуществляет свою давнюю мечту — знакомится с самим Шекспиром. Но перемещения силой воображения — такая же реальность для поэта.

Я много раз упоминала книгу Гилилова, которую Илья изучал, как всё, что он делал, дотошно и пристрастно. Но я нигде не сказала, что Илью ослепил ложный свет концепции Гилилова — или кого-нибудь другого. А в повести Калугина есть слова, под которыми, мне кажется, Илья Тюрин мог бы подписаться: «Шекспир всегда служил мне примером того, что подлинный мастер должен выстраивать свою жизнь как театральное представление, тщательно выписывая мизансцены, но при этом умело оставляя в тени то, что не следует выставлять напоказ, что совершенно необязательно знать ни обывателям, коллекционирующим сплетни и анекдоты из жизни знаменитостей, ни исследователям, для которых любопытный факт, позволяющий по-новому интерпретировать то или иное событие, зачастую представляет куда более значительную ценность, нежели то, что действительно за ним стоит...»

Соблазн признать в Ценителе автора «Гамлета», кажется, развеивается одной строчкой:

Мне ж имя автора не донесли.

Но и эта реплика вполне может быть таким же подвохом, как все вопросы, которые Ценитель задаёт простодушному Стефану. Почему не допустить, что Ценитель уходит со спектакля, не желая знать имени автора и всех последствий, которые неизбежно породит такое знание? Он вынес из трагедии о принце датском нечто большее, нежели сведения, «сколько трупов итого». И раз «Гамлет» породил целую литературу, таких ценителей было на свете немало.

Несчитанными мы уйдём во тьму.
Но числа все, известные живым,
Вся алгебра — лишь поимённый свод
Умерших: оттого в чести учёность —
Как ремесло их знать по именам.

Если Илья внимательно изучал все существующие переводы «Гамлета», а иначе он не написал бы вещи такого уровня, значит, он читал и версию монолога «Быть или не быть» Набокова, и, скорее всего, его стихотворение «Шекспир». Набоков, кстати, любил подчеркнуть, что родился с Шекспиром в один день. Поведение и слова Ценителя — и вся философия и культура драматических сцен — очень уж явно перекликаются с основным мотивом набоковского стихотворения:

Ты здесь, ты жив — но имя,
но облик свой, обманывая мир,
ты потопил в тебе любезной Лете.

Читая произведение Набокова, Илья не мог, в свою очередь, не заинтересоваться упоминанием имени Пьера Брантома де Бурдея, французского аристократа, историка и мемуариста («каких имён не сыщешь у Брантома!»). Брантом оставил в том числе и воспоминания об Англии времён королевы Елизаветы, с которой общался лично. К его запискам шекспироведы обычно не апеллируют, а жаль! В образе Ценителя с рефреном «я это запишу» вполне может быть «закриптован» и Брантом.

Предположим, Ценитель всё же является Автором трагедии. Только предположим — криптологически это можно вычитать из каждой его реплики. Фактически установить невозможно. Ведь и Издатель собирается вставить в список «Гамлета» фрагмент, подслушанный в монологе Актёра:

Как точен образ. Не забыть его
И в список драмы вставить между делом.

Почему Илья Тюрин, автор Автора, не даёт прямого ответа? Потому что скрытые смыслы его текста, так же как и текста «Гамлета», не иссякают и проявляются, как древний палимпсест, под каждым новым слоем. Дело вот в чём. Тот, кому суждено стать Автором, кого увенчают этим гордым римским именем (Горацио, главный герой новых трактовок «Гамлета» — вплоть до версии Акунина, помнится, говаривал, что он скорее римлянин, чем датчанин), весь второй акт сцен «Шекспир» незримо, призрачно присутствует в сценах. Призрачно — потому что он в спектакле играет Призрака, пресловутую тень отца Гамлета. И ему — и только ему — назначено стать Уильямом Шекспиром — хотя бы потому, что его зовут Уильям Шекспир («тот Вилль Шекспир, что «Тень» играл в „Гамлете“». — *Набоков*). О том, что Шекспир играл эту самую тень, мы уже упоминали. Акройд в «Биографии Лондона» приводит впечатление путешественника, побывавшего на спектакле «Гамлет» лет через двести после премьеры и заметившего, что «...призраки в шекспировских трагедиях вызывают у зрителей «изумление, испуг и даже ужас... достигающие такой степени, словно всё это происходит в действительности». Часто писали (добавляет Акройд. — *М. К.*), что в силу особенностей своего города лондонцы с трудом

отличают сценический вымысел от реальности». Любопытно, не правда ли?

Тень (призрак) Шекспира стоит на городской стене или маячит за плечом каждого, кто отважится оспорить подлинность этой тени. И только оглашение единственного и неоспоримого имени избавляет нас от присутствия призрака—или материализует его. Драматические сцены Ильи Тюрина, стеганографически воспроизводящие все коллизии, связанные с «шекспировским вопросом», не могли не завершиться таким оглашением. И оглашает имя тот, кто, по идее, должен не просто его утаить, но сделать всё, чтобы это имя никогда не было озвучено. В этом состоит великий парадокс творчества, где интеллектуальная и креативная честность выше любой конъюнктуры и сиюминутной сатисфакции. Где соперничество плодотворно только по факту признания чужой гениальности, и, всегда тяня одеяло на себя, рискуешь проснуться в одинокой и остывшей постели.

В присутствии гения все—пострадавшие, хотя бы и не признающие себя таковыми. И бедный ограбленный Эдви—не исключение. В историю отношений Эдви и Шекспира (который, вероятно, и не подозревает о его существовании и который, повторим, присутствует в действии как призрак) вкраплён ещё один скрытый сюжет. Мы говорили о «Маленьких трагедиях» Пушкина как протоформе тюринских сцен. И здесь пора назвать всё своими именами, раз уж Эдви отведена такая роль. Подспудно в сценах по нарастающей звучит тема «Моцарта и Сальери», но тоже преломлённая в зеркале парадокса («гений—парадоксов друг»). Гений (Шекспир-Моцарт) совершает злодейство (кражу интеллектуальной собственности), а ограбленным (отравленным чужим гением) оказывается Сальери-Эдви. Именно поэтому Эдви идентифицирует имя Шекспира как музыку:

Музы́ка горя моего: «Шекспир!»

Это контаминация пушкинского: «Одной любви музы́ка уступает», отчаянного восклицания Сальери: «О Моцарт, Моцарт!» и шекспировского:

…в час отхода
Пусть музыка и бранные обряды
Гремят о нём…

Так, с воинскими почестями, новый король Фортинбрас приказывает похоронить принца Гамлета. Премьера «Гамлета» хоронит Эдви как сочинителя. А пьеса, которую позаимствовал у него Шекспир, больше Эдви не принадлежит—она принадлежит миру-театру. Отныне «Гамлета» будет играть каждый, кто предпочтёт мысль действию. Подковыристый вопрос Издателя: «Не Гамлета ли пьеска?»—окажется пророческим. В авторстве пьесы «Мышеловка», в которую мы все загнаны гением, никто не сомневается.

Пьяный монолог Эдви—это одновременно и диалог с исчезнувшим Ценителем:

ЦЕНИТЕЛЬ
В одной печали—вышней силы знак.
В едином смехе—Божие бессилье…

ЭДВИ
Один, спасибо, вышел до конца,
Как будто горести большую долю
Как встал—да так и вынес за собой.

За что Эдви благодарит Ценителя? За то, что тот единственный его пожалел и не остался до оглашения Имени, когда на вопрос: «Который час?»—ныне и присно ответят не «Вечность», как безумный Батюшков, а: «Шекспир».

Ценитель-Илья ушёл и унёс с собой Бога. Эдви остался—и потерял Офелию, которую успел полюбить.

Мир-«Глобус» обрёл Шекспира и оспорил его авторство: «Гнилые сваи… Поддерживают тусклый небосвод». Зодиакальная позолота поблёкла, трёхъярусная сцена зыбка, как палуба, но корабль плывёт, и команда продолжает бунтовать и гнать капитана-Шекспира с мостика. И никто не думает, что будет с матросами и такелажем, когда капитан—первым—покинет судно.

Владимир Набоков написал об этом своё лучшее стихотворение:

Нет! В должный час, когда почуял—гонит
тебя Господь из жизни,—вспоминал
ты рукописи тайные и знал,
что твоего величия не тронет
молвы мирской бесстыдное клеймо,
что навсегда в пыли столетий зыбкой
пребудешь ты безликим, как само
бессмертие. И вдаль ушёл с улыбкой.

Все счастливы! Занавес!

Переделкино, 5–12 февраля 2007

Иллюстрации Елены Долговой

Лидия Рождественская

Тайный сад Людмилы Пироговской

Когда Людмила Александровна входила в наш двор, вся ребятня тут же бежала навстречу тёте Люде.

— Здравствуйте! — неслось со всех сторон.

Ребятишки лепились к ней, отталкивая друг друга, чтобы быть поближе.

— Здравствуйте, здравствуйте, — отвечала она, улыбаясь.

Потом брала кого-нибудь за руку, притягивала к себе и говорила:

— Вовка, дразниться-то умеешь? Ну-ка, ну-ка, покажи язык.

А Вовка, польщённый вниманием доктора, выделившим его среди друзей, охотно включался в игру.

— Молодец! — хвалила Людмила Александровна. — Здоров. Следующий.

И, проведя беглый «профосмотр», шла дальше, к подъезду, где ждал её очередной маленький пациент, чьи родители с утра пораньше позаботились вызвать врача на дом.

Людмила Александровна Пироговская служила детским участковым врачом в поликлинике, что в самом центре города.

В нашем дворе её знали все от мала до велика — в редкой квартире не было детей. К тому же работала она в поликлинике больше тридцати лет, и можете представить, сколько набралось за эти годы «пациентов». Каждого из них она помнила, знала по имени, могла рассказать о его детских болячках лучше собственной мамы. Знала, где и как учатся, кто кем стал, когда и на ком женился… Бабушки, как водится, в летнее время сидящие у подъездов, с почтением встречали её и звали по имени-отчеству с тех пор, как она, чуть ли не девчонкой, впервые появилась в нашем дворе. Они, правда, тогда ещё не были бабушками, а только беспокойными мамочками, с тревогой заглядывающими в глаза участковому при каждом её приходе к заболевшему ребёнку. Молодой и, как им казалось, неопытный педиатр после первого же посещения их Васеньки (Катеньки, Настеньки) вызывала доверие и уже никогда его не теряла. Помню, как радовался весь двор, будто была в этом и наша заслуга, когда Людмиле Александровне присвоили звание заслуженного врача РСФСР.

— К кому сегодня, Людмила Александровна? — больше по привычке, чем в самом деле нуждаясь в ответе, спрашивали они.

Все дети во дворе были на виду, и отсутствие кого-нибудь тут же становилось предметом обсуждения всевидящих бабулек. Удостоверившись в своей правоте, они качали головами:

— Что-то часто Сашенька (Машенька, Оленька…) болеет.

— А не зашли бы к нам, Людмила Александровна? У меня внук покашливает, — пользуясь случаем, говорил кто-нибудь и, поднимаясь с насиженного места, брал доктора под локоток.

— Вы бы к нам зашли, чайку попили, — перебивала соседку другая.

На что доктор, благодарно улыбаясь, отвечала:

— Только что пила у Ивановых (Петровых, Сидоровых), как-нибудь в другой раз.

И другой раз обязательно выдавался. Дети — народ, может быть, и не столь болезненный рос в нашем дворе, зато родители у них на любую «соплю» реагировали немедленно и чаще всего звонком в поликлинику. Потом-то я поняла, в чём дело: будь на месте Людмилы Александровны другая, не такая родственная, — думаю, «больных» заметно бы поубавилось. Так что доброта и обаяние нашего доктора прибавляли ей работы…

Без чаепития никто Людмилу Александровну из дома не отпускал, всеми правдами и неправдами уговаривал хоть пять минуток посидеть, чтобы ноги отдохнули. Обычно она уговорам уступала, исключением были дни, когда очень торопилась, когда вызов шёл за вызовом, как в начале зимы или весной.

Она была не только врач, а член одной большой многодетной семьи. В ней удивительно всё совпало — и характер, и внешность: миниатюрная, с лицом милым и улыбчивым, добрейшая, словоохотливая, да ещё и с чувством юмора. Поэтому дети, которые при одном только виде белого халата обычно пускались в рёв и прятались за мамины юбки, при ней становились покорными паиньками, беспрекословно и с удовольствием позволявшими доктору всё, о чём она их попросит. Мой сын Илья тоже побывал в руках Людмилы Александровны. И не раз и не два после её осмотров, рекомендаций, выписывания рецептов моя мама усаживала Людмилу Александровну за стол и дотошно выспрашивала о делах медицинских и семейных, подвигая поближе к гостье необъятное

блюдо с шаньгами, на которые была мастерица, да подливая крепкий индийский чай.

Мы знали, что Людмила Александровна замужем, что у неё двое детей — Наташа и Вася. Знали, что живёт где-то по соседству, так что считалась совсем своей, кому не зазорно и собственную душу открыть. Хороший врач в те годы был для людей как священник, разве что грехов не отпускал.

Откуда-то все знали, что семья у неё дружная. Муж тоже доктор, человек в городе известный — врач сборной Советского Союза по вольной борьбе. Друг, знатоками это подчёркивалось особо, легендарного Ивана Ярыгина — двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе. Ещё Валерий Васильевич Пироговский был известен чуть ли не фанатичным пристрастием к мумиё, его чудодейственной силе. Однажды и я пришла к ним в дом, чтобы купить это снадобье, а Валерий Васильевич мне его просто взял и подарил. «Надо же, как похожи с женой, — подумала я тогда, — такой же добрый».

В ту замечательную пору я делала на телевидении женскую программу, приходилось бывать в самых разных семьях, и я наловчилась сразу же, едва переступала порог, определять атмосферу в доме… Особая какая-то неуютность чувствовалась всегда, когда парадом командовала жена, а скрыть это невозможно. Такого уж точно в доме Пироговских я не заметила. К слову сказать, до сих пор сокрушаюсь, что не сняла передачу о них — силы творческие копила, что ли… Хотя давно заметила, что о близких людях говорить труднее всего — так хочется сделать что-то особенное.

Потом сын подрос, мы переехали в другой район и с Людмилой Александровной стали встречаться совсем редко и случайно, когда я приезжала к маме в наш старый двор. Иногда, по давней привычке, мама зазывала её на чай. Она заходила, непременно интересуясь здоровьем внуков и их школьными успехами. Наша бабуля умилялась от такого внимания, на глаза её наворачивались слёзы. О чём они только не говорили в минуты таких чаепитий; не помню только, чтобы хотя бы раз речь зашла о поэзии. Мы привыкли, что в доме, где когда-то жил поэт, почему-то почти каждый новый гость скромно заявлял, что и сам не лишён поэтического дара. И, что самое скверное, норовил почитать свои стихи. Потом мы к этому привыкли: мало ли у кого какие странности. У доктора таких «странностей» не было.

Никто и не догадывался тогда, что именно наша Людмила Александровна наделена Богом поэтической душой. Я узнала об этом совершенно случайно. Однажды встретились мы с ней на каком-то концерте. Помню, я едва её узнала: передо мной стояла совсем другая женщина, без тех смеющихся глаз, очень похудевшая, совсем маленькая и очень усталая.

Она протянула мне книжку. Это был с тонким вкусом оформленный сборник под названием «Тайный сад». Имени автора на обложке не было.

— А чьи это стихи? — спросила я, совсем не догадываясь, что автор стоит передо мной.

— Мои.

Тут прозвенел звонок, Людмила Александровна заторопилась в зал… Больше мы уже не виделись.

В тот же вечер я прочитала всю книжку с посвящением на первой странице:

«Валерию Пироговскому
Мужу. Другу. Врачу
Человеку на все
Времена
Посвящается
Жена».

Вот почему так изменилась Людмила Александровна: умер её муж. Я узнала об этом из стихов и была ошеломлена такой любовью — ведь она никогда и никому не говорила о своих чувствах к мужу; подозреваю, и ему тоже.

Я продолжаю жить,
Я реже плачу.
Ты для меня по-прежнему живой,
И лишь вдвоём с Тобой я что-то значу.

Как много было подарено мне в жизни стихотворных книг и профессионалами, и любителями. Особенно когда открылась для людей возможность публиковать свои «вирши», минуя издательства, редакторский отбор, заплатив какие-то деньги. Их охотно берут со стихотворцев расплодившиеся, словно сорняки, типографии. Вал поэтического мусора, обрушившийся на нас, заслуживает отдельного разговора. Но не здесь и не сейчас.

…Читая одно за другим стихотворения Людмилы Пироговской (именно так, без отчества — что непозволительно врачу, то не возбраняется поэтам), я испытала радость встречи с настоящим чувством, которое едва уловимой мелодией утерянного женского счастья вошло в моё сердце. Тут же вспомнила гостей нашего дома с «поэтическим даром», который они навязывали каждому встречному. Лишний раз подумалось: всё настоящее не обременяет тебя.

Уже тысяча дней! Сколько их, безнадёжных,
Бесконечно-тоскливых, ещё впереди…
Если слышишь меня, если чудо возможно,
Пожалей, возвращайся, домой приходи.

…Эта мелодия пронзила моё сердце и заставила биться в одном ритме со стихотворными строками. Так неизбывное женское отчаянье, облечённое в слова и звуки, похожие то ли на причитания, то ли на всхлипывания истосковавшейся от одиночества души, превращалось в Плач о любимом. Вспомнила, как одна моя героиня — Семёновна, тоже

вдова, говорила: столько нежности накопилось, столько отчаянности, если б вы знали…

Несколько дней я читала и перечитывала тоненькую эту книжку и видела за незамысловатыми фразами такие признания в любви, от которых кровь стынет и дрожь пробегает по телу. Она вошла в другую жизнь—жизнь без Него, Единственного. Вдовствующее сердце как будто выдохнуло всё, что там накопилось, и оказалось способным на последнюю дань своей Любви…

У каждого в душе есть тайный сад,
В котором в одиночестве мы бродим,
С закрытыми глазами, наугад,
В нём уголки любимые находим.

…В чудесном том саду ты ждёшь меня,
Мой Кареглазый Бог с душой поэта…

А потом я узнала, что Людмилы Александровны не стало.

Мне захотелось больше узнать об этой Любви. И кто, как не их дети, могли мне в этом помочь… Я встретилась с ними. Наталья и Василий тоже врачи, и тоже успешные. Хотя—что такое успешность для врача? Чем она измеряется? Я думаю—всё той же любовью. А им-то уж было у кого учиться. Увы, в институтах, даже медицинских, любви к людям не учат.

На любовь настроенное сердце
Было у тебя, любимый мой.
Отдохнуть душою и согреться
Люди приходили к нам домой,
Приезжали на любых машинах
С верою, что этот врач спасёт.
Прибавлялись у тебя морщины
От чужих болезней и невзгод…

Мне кажется, ещё одно качество крепкой семьи—когда дети идут по стопам родителей.

Я стала допытываться у них: как родители проявляли свою любовь? Как признавались в своих чувствах? И оказалось, что ни разу они ничего такого не слышали. Ни разу. Просто Людмила Александровна всегда думала о муже, заботилась о нём, не проводила время с подружками, говоря при этом: лучший друг—это муж. Всегда внушала детям на будущее: муж должен быть на первом месте. Поразительно—всё как в Библии: муж—глава, жена—помощница. Таков Божий порядок.

Ты мало говорил мне нежных слов,
Лишь в письмах называл своею милой.
Была меж нами странная любовь:
Ты позволял любить, и я любила.

Я до сих пор, тоскуя и любя,
Воображаю, что ты здесь, со мною,
Что просто ты уехал, и тебя
Я встречу. Обязательно. Весною.

— А как насчёт ревности? Была?—спросила я.
— Какая ревность? Они же так уважали друг друга. Одни книги читали, одни стихи любили, одни друзья были у них.
— Может быть, изредка хотя бы ссорились?
— Самая большая ссора была, когда папа разорвал мамино платье: она почти не пользовалась косметикой и очень скромно одевалась. Так папа выразил свой протест.
— Как жила мама в последние годы?
— Когда папа ушёл из жизни, она не выходила из хронического стресса. Пробовала пойти в спортзал, заняться фитнесом. Пыталась подбодрить себя: я же из семьи долгожителей. И тут же добавляла: не представляю свою жизнь без него… Мы не смогли заменить папу,—с грустью сказала Наталья Валерьевна.—Не говоря об этом—они посвятили себя друг другу. Мама успокоилась, только когда вышла книга, и сразу стала тихо угасать…

Теперь лишь в снах возможны наши встречи,
Лишь в снах мне светит долгий нежный взгляд.
А время?!—Никого оно не лечит.
Чтобы утешить, это говорят.

Почему-то вижу сейчас, как идёт по тому, старому, двору наш добрый доктор. Из туго набитой сумки виднеются края белого халата, словно сложенные ангельские крылья. Вот сейчас она наденет их и взлетит—ангел-хранитель наших детей, ангел-хранитель большой Любви…

Над тобой уже время не властно,
А я быстро старею, скорбя,
И на всё в этой жизни согласна,
Лишь бы встретить в той жизни тебя.

На восемь бесконечных лет пережила Людмила Александровна своего мужа, так и не излеченная временем от своего прекрасного и невыносимого недуга—неизбывной, вечной Любви. А в том мире, о котором мы так мало знаем, я верю, воссоединились две любящие души, которым так одиноко было друг без друга…

Добрый читатель, не суди строго, если найдёшь несовершенство иных стихотворных строчек. Лучше осторожно пройди по аллеям «тайного сада», где светла и тревожна исповедь женской души.

О, как мне хочется поверить,
Что существует мир иной,
Что где-то отворятся двери—
И мы увидимся с тобой.
Соединятся наши руки,
Я твоего коснусь лица,
И окончание разлуки
Затопит нежностью сердца.

Людмила Пироговская

Всегда с тобой

● ● ●

Стремительно уходит в зиму осень,
Безжалостно срывает лист с ветвей,
Уходит, сколько мы её ни просим
Подольше нас дивить красой своей.

Спешит природа, потому что нету
Тебя среди осенней красоты,
И некому в последние букеты
Мне собирать последние цветы.

И не с кем наслаждаться тишиною,
Шурша листвой опавшей на тропе,
Ведь об руку идёшь не ты со мною —
Не ты, а только память о тебе.

● ● ●

Ты молча уходил,
Не написав
И на прощанье не сказав ни слова.
Лишь, веки силой воли приподняв,
Смотрел в глаза мне
Скорбно и сурово,
Как будто говорил:
«Прости, жена,
Что жить тебе
Одной на белом свете.
Я ухожу,
И ты теперь должна
Подольше быть опорой нашим детям
И, свет моей души в своей храня,
Пройти по жизни,
Не сгибая спину…
Не забывай, не забывай меня —
Ведь я твоя вторая половина.
Слёз обо мне не лей
И не теряй
Надежд на нашу встречу во Вселенной;
Неважно, будет это ад иль рай, —
Бессмертны души и везде нетленны».
Так завещал мне
Взгляд последний твой.
Я продолжаю жить,
Я реже плачу.
Ты для меня по-прежнему живой,
И лишь вдвоём с Тобой я что-то значу.

● ● ●

Мой ангел-хранитель,
Мой ангел небесный,
Где ты обитаешь теперь?
В каком уголке
Той страны неизвестной
На стук мой откроется дверь?

Там вечно цветут
Только белые розы,
Беспечно поют соловьи.
Там все одиночества горькие слёзы
Осушат мне губы твои.

Там нет
Ни тревог, ни тоски, ни печали,
Случайных и ранящих слов,
Лишь солнце с небес,
Изумрудные дали
Да светлая наша любовь.

● ● ●

Средь многих нас один лишь ты
Мог голос вечности услышать.
Твои дела,
Твои мечты
Природой вдохновлялись свыше.
Ты был с природою един,
Хоть в человеческом обличье, —
Не раб её,
Не господин,
А просто часть её величья.
Соприкасаясь сердцем с ней,
Травинку каждую жалея,
Ты становился всё нежней,
Терпимей, мягче и мудрее.
И не исчез ты,
Не исчез.
Глядят на нас, следят за нами
Вершины гор, поля и лес
Твоими ясными глазами.

• • •

Мы с тобою не предали отчего дома,
Никогда не искали иного жилья—
Всё до боли здесь близко, до боли знакомо,
Здесь навеки душа поселилась твоя.
Всё тобой здесь живёт, всё тобою здесь дышит,
Здесь любой уголок каждый шаг твой хранит.
А ночами, вздыхая от пола до крыши,
Дом тоскует и вместе со мною не спит.

Закрываю глаза—и шаги дорогие
Слышу я и стараюсь сидеть, не дыша…
Оживает надежда в минуты такие,
Замирает в предчувствии встречи душа.
Закрываю глаза—ты сидишь в своём кресле,
И листаешь страницы, и пишешь в тетрадь.
Если б только могло всё былое воскреснуть,
Если б счастье могло в дом вернуться опять.

• • •

Моё спасение—стихи.
В них ты живой, ты с нами, рядом.
Слова молитвенно тихи—
Ведь громко о святом не надо.
Моё спасение—мечты
И память обо всём, что было.
Тех лет, что жил меж нами ты,
Я ни секунды не забыла.
Моё спасение—те сны,
В которых нам дано встречаться.
Я с ожиданием весны
Вновь привыкаю просыпаться.
Моё спасение—в тебе.
Пусть жизнь хрупка и быстротечна—
Спасибо, что в моей судьбе
Ты был. Ты есть. Ты будешь вечно.

• • •

Когда я перестану ждать,
Дни одиночества считать
И в счастье верить,
Из невозвратной темноты
Однажды вдруг вернёшься ты
И стукнешь в двери.
Я в тот же миг рванусь бегом,
В одной рубашке, босиком,
Тебе навстречу.
Ладони тёплые сожму
И наконец-то обниму
Родные плечи.
Поверив в чудо, не боясь,
Я буду целовать, смеясь,
Глаза, и щёки,
И губы нежные твои,
Что были без моей любви
Так одиноки.
Мы выпьем медленно до дна
Бокалы терпкого вина
За нашу встречу.
И будем говорить всю ночь,
И как она умчится прочь—
Я не замечу.
Когда же вновь решишь уйти
Тропою Млечного Пути
Вслед за судьбою,
В отчаянье не закричу,
Паду к ногам и прошепчу:
«Возьми с собою…»

Александр Щербаков

Вечерней дорогой

Седому земляку

Да будут чресла ваши препоясаны…
Лк.12:35

Брось печалиться, старый кержак.
Пусть судьба выдаёт оплеухи
И повис над ушами куржак,
Но ведь искры в глазах не потухли!

Что куржак? Нам же не под венец,
Нам—радеть о державе и людях.
Не остыл ещё пламень сердец
Правдолюбов и родинолюбов.

Да и мыслей огонь не угас.
И пока не сыграли мы в ящик,
Препоясаны чресла у нас,
И светильники наши горящи.

● ● ●

С невыразимым удивленьем
Живу во сне и наяву
Пред тем загадочным явленьем,
Что я пока ещё живу.

Ведь сколько было цепких, умных—
До срока призваны они…
Невольно станешь думать думу:
За что мне Бог продляет дни?

Таких узлов и поворотов
Моя судьба полна была,
Что я, прямой и полоротый,
Сто раз мог выпасть из седла.

Не выпал. Спешился. Не клянчу
Ничьих подпорок, сам иду.
И, словно загнанную клячу,
Веду Пегаса в поводу.

И неизменно совесть гложет
К исходу суетного дня
При мысли, что ещё, быть может,
Ждут Там чего-то от меня…

С печи

Старость—не радость…
Пословица

Пронеслась, прозвенела, протопала
Жизнь моя, словно тройка лихих…
Кирпичи на печи еле тёплые,
Не согреешь костей на таких.

Да и мысли не греют, не радуют,
Как те тучи осенней порой,
От которых ни грома, ни радуги,
Только морок и холод сырой.

Распростимся с порывами страстными,
Вольным чувством распахнутых крыл.
Никому ещё радостной старости
В этом мире Господь не дарил.

Насчёт картошки

Плывут по небу тучки пегие,
И журавли летят на юг.
Пропел бы им вослед элегию,
Да петь мне нынче недосуг.

Со лба роняя пота бусинки,
Картошку рою, точно крот.
Про песнопения и гусельки
Забыть заставил тощий мрот.

И то, что я сегодня делаю,
Не просто дачная игра.
Стучат сурово клубни белые
О жесть дырявого ведра.

Зовут учёные «адреттою»
Мою наследницу элит.
А я зову её «едриттвою»,
Хотя и титул не велит.

Ну разве это не репрессии—
Рытьё картошки—для певца,
Поскольку всё-таки петь песни я
Был послан волею Творца?

На прощанье

Когда-то жаждал с ней свидания,
И сон теряя, и покой…
Теперь—одни воспоминания
О той девице городской.

Она, окутанная тайною,
Взошла над нашенским селом,
Но вскоре облачком растаяла,
Осиротив мой небосклон.

Одно-единственное летечко
Я с нею был, она—со мной…
Ромашки памятной розеточка
Истлела в книжке записной.

А я всё думами досужими:
Мол, позабыла или нет,—
Томлюсь. Да только нужен ли
Теперь какой-нибудь ответ?

Пусть будут снами и поверьями
Прощанья наши на мосту,
Стиравшие между деревнею
И между городом черту.

Апостола наука

Святым лобзанием
приветствуйте друг друга…
Апостол Павел

Апостола наука
Нам, юным и седым:
«Приветствуйте друг друга
Лобзанием святым».

Весной повеет с юга
Под солнцем золотым—
Приветствуйте друг друга
Лобзанием святым.

Взметнутся радуг дуги
Июльским днём цветным—
Приветствуйте друг друга
Лобзанием святым.

В осеннюю грязюку
С наветрием крутым—
Приветствуйте друг друга
Лобзанием святым.

Зимой пусть воет вьюга
И стелет белый дым—
Приветствуйте друг друга
Лобзанием святым…

Так жить бы братским кругом,
Сердечным и простым,
Приветствуя друг друга
Лобзанием святым.

Вечерней дорогой

Не гони меня, ветер, навстречу закату
Вдоль полей и лесов по безлюдному тракту.

Понапрасну мой плащ не трепли, словно парус,
Пощади и пойми неторопкую старость.

Я давно никуда не спешу и не рвуся—
Ни на бой, ни на пир, ни к желанной Марусе.

Отспешил—отлетал, откатал и отплавал,
Поотстал от борьбы, от любви и от славы.

И теперь мне бы только покоя немного.
Не гони меня, ветер, вечерней дорогой,

Той, что мимо полей, мимо рощи зелёной
Устремилась к закату стрелою калёной.

К итогам

Сидя на санях, помыслил я…
Владимир Мономах

Глаголу преданным без лести
И одиноким, словно перст,
Я вековал, свою безвестность
Неся безропотно, как крест.

Не застрелился и не спился,
Не ударялся в куражи.
Я духом жил, над словом бился,
Грыз перья и карандаши.

Так будет и до самой-самой
До переправы в мир иной,
Когда подвалят к дому сани
Харона русского за мной.

А потому—откуда славе
Явиться? Хватит и того,
Чтоб я «чекан души» оставил
И отзвук сердца своего.

Я дорожил на свете волей
И занесу итог в гроссбух:
Мне спину выгнуло глаголем,
Зато прямым остался дух.

Почтенной половине

Если смириться немножко—
В жизни тебе повезло:
В яме грибы и картошка,
В доме тепло и светло.

Слабостям муж потакает…
И вообще—хорошо
Рядом с потухшим вулканом,
Но не остывшим ещё.

Роман Рубанов

Дневник ангела

Звезда Рождества

Кукушку полночь выгнала из часов:
«Кукуй! Давай отсчитывай каждый вздох».
Кукушка кукует на тысячу голосов,
В одном из них неизменно присутствует Бог,

Он глядит на жизнь комнаты изнутри
На расстоянии вытянутой руки.
И в лампочке тусклой Звезда Рождества горит,
Её зажигают обычные рыбаки,

Их двенадцать. С одиннадцатым «ку-ку»
Один рыбак, тот, чей поцелуй острей,
Выходит и молча вешается на суку
Старой вешалки, расположенной у дверей.

Входит хозяин. В комнате гаснет свет.
Полночь на перекрёстке колет дрова.
Роняет небо на землю обломки планет.
Бог со стремянки вкручивает Звезду Рождества.

● ● ●

Вирилори

Пришита к небу коровка божья,
Как пуговица к пиджаку…
А я всё тот же, да, всё тот же я
Иду по старенькому чердаку:

Там тихо всхлипывают доски,
Там гвоздик в кепочке торчит,
Там вечер, как коньяк молдавский,
В гортань трубы из стопки влит,

Там голубь на двери качается,
И щели пилят полумрак…
Иду. Я знаю: всё кончается.
И всё. Кончается чердак.

На лестницу перекочую,
Вдохнув, чуть-чуть передохну,
Коровку божью откручу я,
Пиджак небесный распахнув.

Terra incognita

Закричат моряки: «Земля!»—
и в дыму ликования пенном
кто-то бросится с корабля,
поплывёт и окажется первым,

проведёт по земле рукой
и песок со следами смешает,
нарушая вечный покой,
чистоту тишины нарушая,

растеряв в пути арсенал
и оставшись как есть безоружен,
будет где-нибудь среди скал
соплеменниками обнаружен,

потому что всю доброту,
окрылённую морем и пеной,
не отдаст, поймав на лету
сердцем стрелы аборигенов.

● ● ●

У времени взять взаймы,
Купить билеты на поезд,
Сказать машинисту: «Дай мы
Поведём поезд!»

Он спросит: «Куда поведём?»
А мы ему не ответим,
Просто линию проведём
На карте. Отметим

Этой линией ровный путь.
Во избежание новых вех
Мы поедем куда-нибудь
Вверх.

Но вниз потянут нас нити,
И ангел, летящий навстречу,
Спросит: «Куда вы летите?
Там нет ничего…»

● ● ●

Пролей из глаз своих осеннюю печаль
на подоконник.
Из полутьмы не выходи, свет не включай…
Листая сонник,
найди вчерашний странный сон и не поверь
тому, что снилось.
Пролей из глаз своих сентябрь на голый сквер.
Воспламенилась
листва осенняя — обрывки от любви…
Не утруждайся
тушить её. Ты лучше сонник разорви
и разрыдайся.

● ● ●

Курю чужие, а убьют свои…
В каком-нибудь бою под Аустерлицем
Пластмассовый солдатик задымится,
И для него закончатся бои

В игрушечном мирке, под потолком,
Где ничего давным-давно не страшно,
Закусывая пряником вчерашним
Соседский суррогатный самогон,

С ранением в пластмассовой груди,
Письмо царапая на обгоревшей пачке
И размножая кляксы детским плачем,
Не видя света где-то впереди…

Но, кто-то молча тронет за плечо —
И выплывет магическое «если»,
И голос скажет: «Не реви, воскресни,
Бой не проигран, поживи ещё».

Рубашка Бога

Сшивает дождь с землёю небеса
стежками крупными совсем небрежно —
бывают же такие чудеса…
А утром еле брезжила надежда,

и солнце выползало из-за туч,
термометр за окошком колебался,
и прыгал по шкале бордовый луч:
взлетал до десяти и понижался…

Но ткань небес подогнана к земле,
и храбрые небесные портняжки
сшивают воедино небо, лес,
поля и реки — славная рубашка

выходит. Бог наденет и вздохнёт
(мы, как ворсинки изнутри, свернулись),
лишь воротник рубашки расстегнёт,
чтоб мы от доброты не задохнулись.

Дневник ангела

07:30 — рассвет

Тонким лезвием свет прорезает дверь —
это утро приходит. Складным ножом
ковыряет в замочной скважине. Зверь,
солнцем посланный, заползает ужом
в нашу комнату, лижет твою ладонь,
на ладони желтеет полоской след,
ты сжимаешь кулак, улетает сон,
в кулаке трепещет зажатый свет —
волосок курчавый. Картавит сквозняк,
пахнет осенью стриженый календарь.
Забирается медленно на чердак
птица-солнце, важная, как глухарь,
и рассвет собирается со двора,
прячет в рваный карман перочинный нож —
дело сделано. Стало быть, всё, пора
просыпаться, стряхивать с тела ночь,

07:40 — пробуждение

просыпаться и с чайником в города
начинать игру, пока не вскипит:
— Краков. — Вологда. — Значит, тебе на «А».
— Адлер. — Рыльск. — Калачинск. — Камчатка… спит.

07:45 — сборы

Кто-то спит, и к кому-то приходят сны,
а у нас это вечное: «Всё, вставай!»
Наши тени разбросаны вдоль стены.
Умывайся, тень свою надевай.
Надевай свою тень, не забудь пришить
пару пуговиц, я вчера оборвал,
потому что с тебя эту тень стащить
в темноте непросто. Никто не звал
нас сегодня на завтрак — и то добро!
Заведённой юлой день почти пришёл.
В нашей комнате солнце своё перо
обронило. Я прибирал — нашёл!

08:00 — полёт

Полетели, нам завтра рано вставать.
Люди — словно верблюды о двух горбах.
В теле всё-таки хлопотно ночевать,
а куда деваться — судьба… судьба…

Александр Астраханцев

Деревня Таловка

Из цикла очерков

«Убивец»

Давненько это было. Тогда ближайшими нашими соседями в Таловке была семейная пара с одинаковыми именами: Фёдор и Федора. О них и речь.

Фёдор, или, по деревенскому обычаю, просто Федя, работал на железной дороге и был, что называется, «рабочий аристократ»: специалист по автоматике, причём—самой высокой квалификации, поэтому и получал хорошо—наверное, лучше всех в Таловке, и на работе его ценили, а когда вышел на пенсию—ещё много лет не отпускали с работы.

При этом, несмотря на пенсионный возраст и на абсолютно белоснежную седину своего ёжика на голове, выглядел он очень привлекательно: сухощав, подтянут, аккуратно одет всегда, кожа на лице и руках—ровного, никогда не сходящего оливково-смуглого загара, какой бывает у людей, которые всю жизнь провели на открытом воздухе, под солнцем, дождём и ветром; и на смуглом его лице—небесно-синие, удивительно молодые глаза. Да при этом ещё и приветлив. Не болтлив, а именно приветлив: всегда охотно откликнется и поддержит разговор, но—только если чувствует, что его хотят слушать.

И дома он был исправный хозяин: держал огромный огород, пчёл, корову, лошадь, годовалого бычка на мясо… Кстати, у железнодорожников, живущих—как в Таловке—в окружении дикой тайги, была одна большая привилегия, которой в советское время, кажется, не имел больше никто из сельских: им разрешалось держать в домашнем хозяйстве лошадь, и на количество коров и прочей домашней живности не было ограничений, причём—даже в войну, когда остальное население страны страшно голодало. И лошадь эта была огромным подспорьем: на ней пахали огород, косили сено, возили из леса дрова; верхом на ней ездили в тайгу охотиться, заготавливать черемшу, грибы и ягоды…

Имел Фёдор просторный дом-«пятистенок», просторные сараи с сеновалами, добротный омшаник для пчёл с терморегулируемым электроподогревом, и имел полный набор сельхозорудий под конную тягу: плуг, борону, сани, телегу, причём телегу—на резиновом ходу, да с подшипниками; имел специальный тележный передок для вывозки волоком из леса брёвен и жердей…

А какой мастер был на все руки! Когда там же, в Таловке, умер мой отец—Фёдор пришёл первым и добровольно предложил свои услуги: изготовить гроб и крест,—и когда я сунулся было помочь ему—вежливо отстранил меня: «Тебе заниматься этим не положено»,—а когда я предложил ему для работы наш плотницкий инструмент—он осмотрел его, решительно забраковал и принёс свой, прекрасно правленый и остро наточенный, так что мне осталось только одно—изыскать для него материалы. А когда пришли и предложили свою помощь остальные соседские мужики—он держал их лишь на подхвате: поднести, отпилить, построгать,—а всю главную работу сделал сам—да ещё как: гроб был настоящим произведением искусства—хоть на выставку!—а массивный, с двумя поперечинами, лиственничный крест собран им был без единого гвоздя, да так прочно, что и теперь, тридцать лет спустя, ни одна часть его не пошатнётся—стоит как литой, так что когда я бываю на кладбище, то, поминая отца, заодно каждый раз вспоминаю с великой благодарностью и Федю с его золотыми руками.

Так что, казалось бы, всё ему дала судьба для полного деревенского счастья—или хотя бы благополучия… Но нет, была у Фёдора закавыка, и закавыка серьёзная, перечёркивавшая начисто все остальные приметы благополучия: алкоголизм его жены Федоры. Надо сказать, что Фёдор нёс эту беду с терпеливым достоинством. Правда, срывался изредка, колачивал её; чаще же всего просто присматривал за ней в оба, чтобы не сбежала из дома, когда её «заусило», к таким же, как сама, товаркам и не ушла, как говорится, «в штопор». А если всё-таки уходила—искал её по деревне, уводил—а иногда и уносил на руках—домой, сам готовил тогда еду, кормил и поил животных, доил корову…

Зимой, когда он не был слишком загружен работой, это ему хорошо удавалось. Хуже было летом, когда на железной дороге сплошные авралы и рабочие заняты весь световой день, с раннего утра

до позднего вечера; тогда ему приходилось бывать дома урывками; тут-то Федора и давала себе волю.

Она тоже была уже пенсионеркой и тоже всю жизнь проработала на железной дороге, только в бригаде путейщиков. А надо сказать, что почти все женщины-путейщицы подвержены этому недугу — правда, в разной степени; так что, когда её товарки, бывшие путейщицы, а теперь пенсионерки, оставшиеся по-прежнему могучими женщинами, получивши очередную пенсию, начинали «гулять»: накупали в магазине водки и шли на «посиделки» сначала к одной товарке, потом к другой, а в перерывах между «посиделками» ходили гурьбой по деревне и орали песни, — организму худенькой, костлявой, измождённой алкоголизмом Федоры было, видимо, очень мало нужно, чтобы опьянеть, — она просто-напросто валилась где-нибудь в траву и, забытая подругами, засыпала.

Но прежде чем напиться, она, зная, что Федя всё равно отнимет у неё пенсию да ещё накажет продавщице в магазине не давать ей водки в долг, — успевала купить и спрятать несколько бутылок. Причём, торопясь к подружкам, прятала она их очень просто: бросала их в разных местах в высокую густую траву их палисадника, а потом выискивала по одной и целую неделю похмелялась. Федя устраивал ей трёпку, искал, где она прячет «заначку», а найти не мог.

Одно из наших боковых окон, кухонное, выходило прямо на этот палисадник, так что отец, пока был жив, любил, сидя перед этим окном за завтраком или обедом, наблюдать, как Федора ищет очередную бутылку.

Дело в том, что палисадник у них был длинный, огибая дом с двух сторон, а сама она, побросав туда второпях бутылки, забывала точно их местонахождение и, бывало, подолгу искала каждую: сначала медленно бродила по траве, потом ползала в ней на четвереньках, а когда наконец находила — так радовалась находке, что просто ликовала вся и даже запевала что-нибудь весёленькое. Потом отпивала сколько-то прямо из горлышка, затыкала бутылку и перепрятывала её, а потом опять забывала место.

Отец мой, грешным делом, тоже любил приложиться к бутылке, поэтому процесс Федориных поисков был для него прямо-таки захватывающим театральным действом: он с азартом следил за ней и переживал, когда она никак не могла найти пропажи: «Вот, сейчас, сейчас… Нет, опять мимо!..» — потому что он-то, будучи трезвым, прекрасно помнил, куда она бросала бутылки, и радовался за неё, когда пропажа у неё наконец находилась. Причём, к его чести, он так и не заложил её ни разу, не выдал Феде маленькой Федориной тайны.

Когда же Федя, теряя терпение, колачивал Федору — а надо сказать, что делал он это, скорее, для виду (иначе бы в деревне его просто презирали бы: эк распустил жену!), — Федора истошно визжала, причём, как мне казалось, тоже больше для виду, при этом с завидным постоянством повторяя одно и то же: «Убивец! Убивец! Ну убей, убей меня!..» — а я, слушая её противный визг, думал с раздражением: «Вот глупая баба: все мозги уже пропила — ничего новенького придумать неспособна!..» — а само её любимое словечко «убивец» принимал за преувеличение, своеобразную метафору… И всё же в назойливости повторения Федорой этого слова была какая-то подоплёка, недоступная моему пониманию.

Потом, когда Федю на железной дороге окончательно отпустили на пенсию, — он, уставши от своего большого домашнего хозяйства, распродал всё и уехал вместе со своей Федорой в город, поближе к дочерям, и все смешные и грустные детали быта наших соседей потихоньку забылись…

Прошло, наверное, года три, как они уехали. Однажды летним вечером на лавочке, вкопанной в нашем огороде, моя мама сидела с двумя деревенскими подружками, которые иногда навещали её и посвящали в деревенские новости (сама она была упрямой домоседкой — ходить по гостям не любила), и когда я проходил мимо них — сказала мне:

— Слыхал? Федора умерла.

Я остановился, присел рядом с женщинами и стал расспрашивать: отчего она умерла? Соседки толком не знали. Хотя, в принципе-то, с ней и так всё было понятно. И я произнёс первое, что пришло в голову, когда вспомнил Федору:

— Так ведь попей столько… И Федя не мог её окоротить: чуть приложится — она уже кричит благим матом: «Убивец! Убивец!»

И тут одна из соседок сказала:

— А он и есть убивец.

— Как так? — не понял я.

— Да вот так…

Меня это заявление заинтересовало; я стал настаивать, чтобы заявительница объяснилась, и она начала рассказывать одну связанную с Федей историю, а заодно — и историю самой Таловки, в то время как вторая соседка время от времени дополняла её рассказ деталями. Долго, до глубокой ночи, они, окунувшись с головой в воспоминания, то есть в собственную молодость, рассказывали нам, «приезжим», о прошлой Таловке. Рассказ этот, по причине его громоздкости, я вынужден кратко пересказать своими словами. Вот он…

В 1932 году здесь был создан лесоучасток огромного Сиблага. В 1948 году, когда сосновые боры вокруг Таловки были сведены на нет и тайга стала зарастать осинником, лесоучасток перевели дальше, на восток; но во время войны лесоучасток работал на полную мощность. Лес в тайге валили вручную, топорами и двуручными пилами, а вывозили

лошадьми по узкоколейкам — весь лес был опутан ими, как тенётами. В самой же Таловке стояло несколько пилорам: пилили шпалы, смолили, грузили в вагоны и сразу увозили; и пилили, и грузили день и ночь напролёт, без перерыва: всё — на фронт… Обслуживали лесоучасток примерно триста заключённых, «политических» и «бытовиков», да человек сорок охранников, да несколько начальников и специалистов-«вольняшек», и всё на лесоучастке было своё: кузница, конюшня, медпункт, баня, прачечная, пекарня, сапожник, парикмахер, портной, — причём не только сами себя и охрану обслуживали, а ещё и почти вся деревня возле них как-то жила и кормилась. Деревня тогда была намного больше, имела школу-семилетку, и детей в ней учили очень даже знаменитые профессора-заключённые… Днём они все — и лесорубы, и обслуга — работали бесконвойными, а вечерами их пересчитывали и заводили в бараки.

Раз в год заключённым полагались свидания с жёнами; жёнам разрешалось передать своим мужьям кое-какую одежду и продукты — подкормить страдальцев. Но от центральной России досюда казалось тогда страшно далеко — как до другого материка; да ещё от многих «политических» родственники отказывались; да и время военное было, дороговизна, поезда ходили редко, битком набитые, билеты достать трудно. При этом поезда в Таловке не останавливались — был лишь тупик, куда загоняли вагоны под погрузку; до станции же — что в одну, что в другую сторону — четырнадцать километров, а потому женщины приезжали к своим заключённым в Таловку редко, от силы одна-две за зиму. Причём женщине этой надо ещё у кого-то остановиться на два-три дня и в магазин зайти, так что таловские, отвыкшие за войну от чужих лиц, бывало, рассмотрят и обсудят приезжую до ноготков.

Фёдор, как железнодорожник, имел бронь — освобождение от фронта. Были они с Федорой тогда молодыми; две дочечки у них маленькие. Дом их — в самом центре Таловки, возле магазина, на виду, красивый, ухоженный, что в те времена было редкостью — не до того людям было, — и приезжие женщины чаще всего у них и останавливались. За плату, разумеется.

И вот однажды появилась в Таловке очень заметная — прямо-таки сказочно заметная — женщина. Сейчас-то любая наряженная дурёха ей фору даст, а тогда не то что в Таловке — в городе такой сыскать трудно было: белокурая, завитая; и пахнет-то от неё не какой-нибудь «сиренью» или «фиалкой» по десять рублей флакон в любой деревенской лавке — а умопомрачительными духами, явно заморскими, каких ещё ни один таловский не сподобился в своей жизни нюхать. Белый пуховый платок на ней, беличья красивая шубка, на ногах — белые фетровые сапожки с каблучками: такие тогда в большой моде были и стоили дорого, так что мало кто их носил. Деревенские откровенно на неё пялились и всё-то всё на ней рассмотрели: и колечко на пальце золотое, с красным камешком, и серёжки в ушах — тоже никак золотые и тоже с красными камешками, и сумочку фасонистую в руках; и голову-то она держит прямо, с вызовом, шагая по нашим сибирским сугробам да по конским катышам… Это она к одному из таловских школьных профессоров приезжала. Одни фыркали презрительно: «Ишь, вырядилась, фря такая! В телогрейку бы её да в кирзачи — посмотрели бы, как она вышагивать тут будет!» Другие защищали: «И правильно, что вырядилась, — она для мужа старалась: какой ни есть, а праздник ему устроила…» Правда, первых было раз в сто больше, чем вторых.

Пробыла она, как полагается, три дня, а потом Федя запряг лошадь и отвёз её на станцию. И потихоньку о ней забыли.

Месяца через три — уже весна была, почти весь снег растаял, — приезжает в Таловку районный следователь, заходит к Феде в дом и начинает допрос: такая-то и такая-то женщина зимой была в Таловке и останавливалась у вас — и называет все приметы той зимней таловской гостьи; оказывается, это какая-то артистка известная. И вот эта женщина, продолжает следователь, домой не вернулась. Оттуда прислали запрос сюда, и следователь этот уже выяснил, что последним, кто видел её здесь, был именно он, Фёдор.

А Федя спокойно и рассудительно отвечает: да, жила она у них, помнит её прекрасно, да, отвёз на станцию, ссадил с саней возле вокзала, а поскольку уже стемнело и надо было ворочаться домой — быстро повернул лошадь обратно…

«Но на вокзале в тот вечер её никто не видел, — продолжает допрос следователь, — и никто не помнит, чтобы в тот вечер она покупала билет…» — «Так ведь на станции вечно толкутся люди, — опять рассудительно отвечает Федя, — и билет там сразу никогда не купить — поедем хоть сейчас и проверим…» — «А видел ли вас на станции кто-нибудь из знакомых, чтобы подтвердил, что вы довезли гостью до вокзала?» — спрашивает следователь. «Верно, — отвечает Федя, — кто-то попадался навстречу; только ведь темно было — никого не узнал…»

Короче, Федю увезли в район. А следователь тем временем взял несколько солдат из местной охраны, прошёл с ними пешком и старательно осмотрел все четырнадцать километров таёжной дороги до станции. Ничего не нашёл. А Федю месяца два ещё помурыжили и отпустили за отсутствием улик.

И они с Федорой продолжали жить-поживать да деток растить.

Прошло лет двадцать. Дочки выросли, уехали в город, чему-то там выучились, работать пошли…

И вот одна из таловских встречает однажды в городе их дочку, а на ней—красивая беличья шубка. Тогда—из интереса—отыскали там и вторую дочку, а на ней—и колечко с красным камешком, и жёлтенькие серёжки с красными крапинками. Вот так-то!

— И никто после этого ничего не подсказал следователям?—спросил я.

— Через двадцать-то лет?—усмехнулась главная рассказчица.

Я хотел было пояснить, что пусть поздно, но справедливость должна бы всё-таки восторжествовать, да сдержался. А рассказчица вместо прямого ответа на мой вопрос сочла нужным добавить в своём рассказе некоторые детали таловской жизни, которые нам с матушкой тоже были неизвестны: с той поры, как следователь посетил Таловку, все таловские перестали бывать дома у Фёдора с Федорой. Разговаривать с ними—разговаривали, ровно ничего не произошло и будто бы никто ничего не знает. Но дом их стали обходить стороной. Никто ничего у них не спрашивал, не поминал никогда о той женщине—а барьер невидимый между Федей и остальной деревней появился.

Федя—ничего, крепился. А Федора не выдерживала—бросалась из дома, как в прорубь, в загулы с подружками. Да с каждым годом всё шибче. «И поминала слово «убивец»,—мог бы добавить я,—с каждым годом всё громче».

И ещё мог бы добавить я с неожиданно возникшим удивлением, что ведь и мы с матушкой здоровались с ними обоими, Фёдором и Федорой, по-соседски приветливо, вели какие-то разговоры, а ведь тоже ни разу не побывали у них дома—будто чувствовали какое-то заклятие над ним!..

Когда эта история наконец была рассказана до конца—уже наступила ночь. Настоящая летняя ночь—не тёмная и не белая, а серо-лиловая, когда на севере тлеет и тлеет до утра бледно-жёлтая заря. Медленно, но неотвратимо холодало, но никто из нас—ни мы с мамой, ни обе соседки—не поднимался со скамейки… Внизу, в зарослях за огородами, вскрикивали и даже пытались щебетать спросонья какие-то птахи; далеко за домами, на железнодорожной линии, приглушённо погромыхивал проходящий поезд—а здесь, в огороде, да и во всей Таловке стояла мёртвая тишина. Даже собаки не лаяли. И как-то не верилось, что в такой вот тихой деревне могли когда-то происходить тяжкие, мрачные события: гробили людей на каторжной работе, люди убивали, мучили друг друга и сами мучились. Да ведь, наверное, и сейчас, в эту ночь, кто-то кого-то тайно гробит и мучает, и ведь это всё равно выплывет когда-нибудь, будет всем известно, пусть через пять, десять, двадцать лет,—какая-то тайная неотвратимость наказаний за всё на свете в мире всё же существует. Несмотря ни на что… Эта недоговорённая нами мысль, мне кажется, незримо витала тогда над нами, всеми четверыми, когда мы вспоминали про несчастную Федору той ночью, сидя в рядок на нашей скамеечке и долго не расходясь спать,—эта недоговорённая, невысказанная мысль тесно объединила нас тогда в одно целое.

Сельский пролетарий Клим

За речкой, бегущей вдоль Таловки, стоит крутобокая сопка. С южной стороны эту сопку огибает заросшее осокой, кустами и чахлыми берёзками болото, посередине которого петляет ручей, впадающий в речку.

Болото это питается водой, которая круглый год сочится из подножия сопки, поэтому оно даже самым жарким летом полностью не высыхает. Зимой эта подошва сопки, откуда сочится вода, долго не замерзает, и над ней курится лёгкое облачко. Потом это место накрывает толстый слой снега, а под снегом остаются пустоты, в которые можно провалиться и вымокнуть по колени. Весной это место быстрей всего освобождается от снега, и раньше, чем везде, в этом месте болота начинает зеленеть молодая осока.

Да и сам южный склон сопки, поросший реденьким сосняком, тоже раньше всех прочих мест освобождается от снега и начинает зеленеть, так что вёснами здесь толкутся деревенские коровы: подкармливаются юной зеленью, греются под тёплым вешним солнцем и чешутся о шершавые сосновые стволы, освобождая бока от зимней шерсти. А летом здесь раньше, чем где-либо, появляются грибы: маслята, подосиновики, грузди, сыроежки,—надо только успеть с утра пораньше, иначе тебя опередят другие, а что не соберут ранние грибники—непременно съедят коровы, тоже большие любительницы грибов.

Надо сказать, что таловское стадо уже много лет обходилось без пастуха: коровы сами по себе паслись на приречной луговине за нашими огородами, сами шатались по тайге, заходя иногда за пять-семь, а то и за десяток километров, и сами возвращались вечером домой. Иногда какая-нибудь корова блуждала по тайге два-три дня и всё равно возвращалась. За двадцать лет было, кажется, всего два—или даже один?—случая, когда корова пропала бесследно: то ли волки съели, то ли воры увели. Поэтому таловские больше следили за тем, чтобы коровы шли в лес, а не на железную дорогу—подбирать выброшенные из вагонов объедки и арбузные корки: под колёсами поездов наши коровы гибли чаще…

Вот и в то лето, как только началась жара, я отправился за первыми грибами именно туда, на южный склон сопки. Пришёл и остановился в недоумении: со стороны болота тянуло чудовищной вонью от мертвечины.

Надо было, конечно, немедленно уходить — но меня разобрали одновременно и любопытство, и тревога: что же там такое может гнить? Судя по силе запаха, гнило что-то огромное.

Преодолевая отвращение, я, найдя крепкую палку, пошёл навстречу запаху: спустился по склону до самого низа и, прыгая по кочкам, успевшим зарасти осокой чуть не по пояс, стал медленно продвигаться вперёд. Иногда ноги мои, обутые в сапоги, соскальзывали и чавкали в грязи между кочек. Но почти затвердевшая грязь была теперь неопасной.

Я продвинулся таким образом метров на пять и вдруг прямо перед собой увидел в осоке мёртвую ярко-рыжую корову; ноги её полностью увязли в болоте, поэтому она лежала брюхом на кочках, на кочки же положив вытянутую далеко вперёд безглазую голову с огромными лирообразными рогами. Вид её был ужасен: шерсть сохранилась лишь на морде да — в виде узкой полосы вдоль хребта; по бокам белели оголённые рёбра, за ними, внутри остова, чернели превратившиеся в грязь внутренности, а снаружи, там, где слезла шкура и сохранилась сизая склизкая мышечная масса, — кишели белые черви, мухи и чёрные жуки.

Долго любоваться этим не было мочи — чуть ли не бегом, прыгая по кочкам, выбрался я из болота и взошёл на пригорок, подальше от вони, страшно возмущаясь при этом всею Таловкой: ну что за бездельники — почему не спасли корову? Не впервой же они вязнут тут, и вытащить её — пара пустяков: несколько мужиков продёргивают под коровьей грудью толстую верёвку, увязывают в узел на хребтине и двумя лошадьми выволакивают корову на сухое место, тем более что она сама изо всех сил себе помогает…

Искать грибы расхотелось совершенно — вонью тянуло за целый километр; я повернулся и пошёл домой; надо, думаю, хотя бы поскорей найти хозяев да сообщить, что нашёл утонувшую корову; знаю ведь, что в деревне она — не просто главная кормилица, а ещё и почти член семьи, так что потерять её — горе страшное; хозяева, поди, до сих пор ищут её по тайге?.. Только чья же она? И ведь я её видел раньше, обращал на неё внимание, когда они паслись на луговине за нашим огородом, — очень уж приметная была крупной статью, рыжей мастью, лирообразными рогами…

Прихожу домой и с возмущением рассказываю матушке: представляешь, нашёл в болоте утонувшую корову! Почему не вытащили? Почему никто не спохватился?.. И тут она охолаживает меня:

— Да почему ж не спохватились-то! Она так ревела там двое суток, днём и ночью, так звала на помощь, что слышно было из-за горы чуть не во всей деревне, так что деревня спать не могла ночами!..

Оказывается, случилось это в начале мая, в те бесконечные тогда майские пьяные праздники. Меня в те дни не было здесь — держали в городе дела, вот почему я ничего не слышал об этой несчастной корове; а когда приехал дней через десять — сразу началась огородная страда, и за хлопотами матушка забыла рассказать мне о ней — или, может, не хотела ворошить эту неприятную историю?

Дело в том, что корова эта принадлежала Климу, который всю жизнь тёрся в магазине, исполняя там одновременно роль грузчика, сторожа и истопника, причём три четверти рабочего времени слонялся без дела или, сидя на завалинке, курил и болтал с бабами. Чтобы заставить его что-нибудь делать, продавщица непременно ругалась с ним, а когда её терпение лопалось — с треском выгоняла его с работы. Но на его мизерную зарплату найти было больше некого, так что измученная продавщица снова принимала его на работу, и исполнял он её по-прежнему через пень-колоду. Причём его самого эта работа вполне устраивала — между прочим, тем ещё, что, кроме безделья, он имел возможность быть на ней вечно полупьяным, так что деревенские мужики даже завидовали ему: «Во жись — каждый день подшофе!..» Хотя, если честно, пьяным в стельку я его ни разу не видел: у него, видимо, была своя норма, ниже которой он не опускался.

Жил он в казённом домишке при магазине и был женат. Но жена его, Валюха, махнув, видимо, на него рукой как на серьёзный источник заработка, работала посуточно в городе, на мясокомбинате, через сутки приезжала на два дня домой и снова уезжала. Приезжая, она привозила с мясокомбината что-нибудь съестное: мясные кости, ливер, дешёвую колбасу — их там продавали своим рабочим со скидкой. Клим к её возвращению запасался в магазине спиртным в счёт будущей зарплаты, и в течение двух дней у них шла сытная и весёлая жизнь.

Правда, иногда Валюха оставалась на два свободных дня в городе — то ли у родственников, то ли ещё где-то. Что делал эти пять дней без неё Клим — неизвестно, его не было видно: то ли переживал, скучая, то ли просто спал.

Имели они и сына, но из-за родительской бытовой, так сказать, неустроенности он практически обитал всё время у деда с бабкой, Климовых родителей.

С самим Климом родители его зубатились, потому как навещал он их всего по два-три раза в год, по праздникам, хотя жил через три дома от них, и приходил, как они считали, только затем, чтобы поесть и выпить на халяву, и — ни разу, чтобы помочь старикам косить сено, копать картошку, привезти дров. А с другой-то стороны, они и сами не шибко привечали его — чтобы оградить внука от непутёвого папаши…

У Климовых родителей, Пелагеи и Леонида, я много лет брал молоко: больно уж хорошее

оно у них было — густое, вкусное, чистое; и когда, бывало, придёшь к ним — обязательно перекинешься лишним словечком, тем более что были они оба люди словоохотливые, и дом у них был просторный и опрятный, а двор полон всякой живности; Леонид, ко всему прочему, ещё любил художничать, и на всех оконных ставнях у него весьма искусно намалёваны были разноцветными красками глухари, тетерева, соболи, белки, а на высоких тесовых воротах красовался огромный лось… И когда у меня с Пелагеей как-то зашёл разговор об их сыне — она, явно стыдясь за него, стала рассказывать мне, как в детстве на него навела порчу цыганка: зашла будто бы к ним во двор, выпрашивая что-то, а Пелагея возьми и прогони её — и цыганка пригрозила ей: «Вот попомни мои слова — не будет тебе счастья!..»

Но никогда Пелагея не поминала ещё об одной детали в прошлой Климовой жизни. Это уже потом, от людей, хорошо помнивших о былой Таловке, узнал я, допытываясь: были ли у Клима в жизни какие закавыки, о которые он спотыкался? Что-то мне подсказывало, что были, и — пребольшие!.. Оказалось, что во времена его юности крепко озоровала тут целая команда деревенских юнцов, и нескольких из них, в том числе и Клима, судили однажды за какую-то большую провинность. Отсидел он года полтора, не больше. А потом, сразу по выходе, в армию угодил, и уж после армии пришёл таким, какой есть. Всех его бывших дружков пораскидало, да так, что и вестей не слышно, а он вот прикипел к родной сторонке…

А во времена, о которых речь, Клим вместе со своей Валюхой, живя в служебном домишке при магазине, даже содержали огород, который располагался тут же, на задах магазина, и держали упомянутую выше рыжую корову. Но в огороде том ничего, кроме картошки и осота, не росло, а корова, которую зимой держали в дырявом сарае, пристроенном к домишке, вечно ревела от голода, потому как сена, которое накашивал летом Клим, на зиму не хватало; не хватало и буханок хлеба, которыми он подкармливал её, частью выкупая в магазине в счёт будущей зарплаты, а частью просто-напросто там же приворовывая… Другой их проблемой была дойка коровы. Поскольку Валюха работала сутками, а сам Клим не хотел заниматься дойкой — как занятием бабьим, а если и занимался под давлением Валюхи, то делал это кое-как, а то и вовсе забывал, окутанный винными парами, — корова молока давала мало, и было оно невкусное, с сильным коровьим запахом, поскольку, как говорят в деревне, перестаивало невыдоенным…

И вот в те майские пьяные праздники, когда Климова корова увязла в болоте и принялась трубно реветь, да так, что взбудоражила всю Таловку, к полупьяному Климу явилась делегация из нескольких женщин и стала укорять его:

— Чего лежишь? У тебя корова тонет! Иди собирай мужиков с лошадьми!

— Да на х… она мне сдалась! Всё равно молока мало даёт!

— Так доить надо вовремя!

— Да надоела она мне!..

— Ну так вытащи, зарежь и продай мясо, купи новую корову!

— Я и так проживу!

— Но ведь живое же существо: ты послушай, как она ревёт!

— Не хочу я слушать: тонет — и пускай утонет! Поревёт — и перестанет.

— Вот Валюха приедет — она тебе устроит весёлую жизнь!

— А чо Валюха! Не ей, а мне за коровой ходить! — упорно отбивался Клим.

Неугомонные женщины, не желая сдаваться, стали тогда просить у него разрешения самим пойти договориться с мужиками, чтоб вытащили корову.

— Не сметь! — начал будто бы куражиться над ними Клим. — Моя корова — что хочу, то с ней и делаю, не ваше это собачье дело!

Женщины ушли ни с чем… Часа через три, не в силах слушать отчаянный рёв тонущей коровы, пришла новая женская делегация — над ней Клим куражился ещё противней, и она тоже ушла ни с чем.

Вечером к нему пришла новая делегация; он закрылся от неё в своей избёнке на крючок. Они стучали в двери и в окна так настойчиво, что он не вытерпел: выскочил с железной кочергой в руке и, махая ею, заорал на женщин:

— Надоели вы мне, свиристелки, — спать не даёте! Ещё кто хоть раз стукнет — голову расшибу!

— Климушка! — причитали женщины, на этот раз стараясь взять его лаской. — Тебе и делать-то ничего не надо; ты только разреши — сами мужиков позовём, сами вытащим!

— Я же сказал: не сметь! А кто пойдёт — этой вот кочергой ноги переломаю!..

И опять делегация ушла ни с чем. И ещё одна приходила…

В ту ночь деревня не спала, и пьянка не шла на ум — все выходили на улицу, слушали: ревёт ли? Может, надеялись на чудо: сама сумеет вылезти?.. Соседки, стоя на крыльцах; переговаривались между собой, проклинали Клима… К обеду второго дня крик стал слабеть и к вечеру стих совсем.

Опять к нему пришла женская делегация, опять начала укорять:

— Всё, можешь радоваться: издохла твоя корова! Так ты хоть дохлую-то вытащи да сними шкуру — тоже ведь денег стоит! И пропастину можно в город увезти: там, говорят, её на корм собакам берут…

— Ну навязались на мою голову! — снова орал на них Клим. — Сказал: не буду ничего делать, — и не буду! Не мне — так и никому!..

Вот таким стойким оказался наш таловский мужик Клим.

Много с тех пор воды утекло. Уже и моей матушки, и большинства женщин, что хлопотали о той несчастной корове, нет на свете—а с Климом ничего не делается: и земля не разверзлась под ним, и молнии его не берут,—живёт себе по-прежнему в избёнке, больше похожей на баню по-чёрному—с прокопчёнными внутри стенами и потолком и со слепыми, никогда не мытыми окнами. Всё так же зарастает буйным осотом его огород, с которого он собирает столько картошки, что её едва-едва хватает до весны, а уж на семена он выпрашивает картофельную мелочь по соседям. Всё так же он работает и живёт вполпьяна и ест мясные обрезки, которые привозит ему с мясокомбината его Валюха,—и, кажется, вполне доволен своей жизнью.

В общем, как сказал бы мудрствующий горожанин, протестующий против городской «скверны» и ищущий идеалов в единении человека с природой и с самим собой, наш Клим и в самом деле живёт в полной гармонии со своим естеством и своей судьбой, и ничего ему ни от кого не надо—кроме разве небольшого количества водки и мясных обрезков, которые бы ему время от времени привозила—между прочим, из города, заражённого «скверной»!—верная Климова подруга Валюха.

Немец

С нашими таловскими соседями Марьей Ефимовной и Иваном Прокопьевичем мы жили, можно сказать, душа в душу. Недаром пословица говорит: не дом покупаешь, а соседа. Да и как иначе? Даже две калитки в нашем общем заборе были, чтобы ходить друг к другу не через улицу, а напрямик: одна калитка—со двора во двор, а вторая—в огороде, рядом с их колодцем. И пользовались мы ими регулярно. К примеру, летом, когда они всей большой семьёй, со взрослыми детьми, с внуками, в течение чуть ли не двух недель пропадали на покосе, возвращаясь домой только ночевать, то просили нашу матушку присматривать за их домом и за огородом, и матушка смотрела лучше, чем за собственным: того и гляди, бичи или цыганки заберутся—что она тогда скажет соседям, как в глаза им посмотрит? То же самое—и зимой, когда они уезжали на праздники в город, в гости к детям. А если и оставались дома, то матушка с Марьей Ефимовной ходили одна к другой—и с праздничком поздравить, и стряпнёй обменяться.

А когда матушка перестала корову держать, то стала покупать молоко у них. Правда, летом многочисленные их внуки выпивали всё дочиста, и мы тогда ходили за молоком к разным соседям, но зимой—пожалуйста; причём с началом осени Марья Ефимовна сама приносила молоко, давая понять, что теперь можно брать молоко у них… Словом, обычные соседские отношения.

Но вот внуки у них подросли. Да только очень постарели за это время они сами. Тяжко заболел Иван Прокопьевич и, промучившись зиму, умер. Пришлось Марье Ефимовне всё их обширное домашнее хозяйство сворачивать: продала пчёл, лошадь, корову; на две трети сократила посадки в огороде и года два жила одна. Да только трудненько ей стало и это: летом уже не могла содержать целый выводок ребятни—от силы одного-двух. Взрослые же её дети, обещавшие регулярно ездить по очереди и помогать ей, стали наведываться всё реже—у всех дома, в городе, появились свои неотложные дела.

Хотя дома у Марьи Ефимовны и был телевизор, но зимними вечерами, так и не привыкнув к полному одиночеству, она часто теперь приходила в гости к моей матушке—пожаловаться на болезни, на детей, на домашние проблемы, одолевавшие её, из которых главными были две: во-первых, кончались колотые дрова, а колоть чурки, как раньше, она уже не могла; и во-вторых, в бураны напрочь переметало тропинку к колодцу в огороде, так что пройти туда ей тоже было не под силу. Мне приходилось помогать ей и дрова колоть, и возить от колодца санки с флягой воды.

А тут старшая дочь, её любимица, бухгалтер какой-то большой фирмы, взрослая солидная женщина, мужа похоронила и осталась одна в квартире. Выросшие её дети жили уже сами по себе; и задумала она забрать Марью Ефимовну к себе. Уговаривала она её едва ли не с год. У Марьи Ефимовны была на это одна-единственная отговорка: «Как же я дом-то оставлю? Пропадёт он тут без меня!» На самом же деле, знаю, продавать ей его не хотелось: мало ли как жизнь в городе сложится? Как без своего дома? Свой—он и есть свой!..

И всё же дочь переупрямила—кое-как уломала её продать дом. Развесили и здесь, и в городе объявления.

Но Марья Ефимовна нарочно придумала повод ещё оттянуть время—запросила за дом столько, что соседи ахнули: про такие цены тут до сей поры не слыхивали—сторона таёжная, дороги непролазные; богатых городских дачников было в те годы не заманить сюда, а для небогатых—за железной дорогой, на бывших деревенских покосах,—пожалуйста, сколько угодно дешёвых дачных курятников с ухоженными, вылизанными участками в шесть соток.

«Да ни в жись тебе, Ефимовна, не продать свой дом—так и будешь до самой смерти тут куковать!»—насмешничали над ней соседки. «Значит, буду куковать»,—смиренно отвечала она им.

Так что прошло ещё года два. Покупатели появлялись, простукивали едва ли не каждое бревно и каждую доску во всех постройках, бешено торговались и в конце концов исчезали ни с чем.

И всё же покупатель явился и выложил ровно столько, сколько она просила. Даже не торговался. Съездили в район, подписали какие надо бумаги, и хозяин вступил в свои права, а Марья Ефимовна, придя к моей матушке и наплакавшись вволю, навсегда уехала в город. А у нас с матушкой появились новые соседи.

Соседа звали Рудольф, соседку — Люба. Только фамилия у них немецкая, длинная и заковыристая — чуть ли не Моргенштерны, так что никто не мог её запомнить. Ну да кому в деревне нужны фамилии? Помнится, не меньше десятка лет прошло, пока я не узнал своих ближних соседей пофамильно, а дальних так и до сих пор не знаю: Маша да Коля, Таня да Серёжа… Правда, женщины разузнали, что сама-то наша новая соседка Люба — русская.

Далее молва донесла, что оба — новоявленные пенсионеры с нашего же, красноярского, Севера: он водитель, она — продавщица; так что проблем с деньгами у них, стало быть, нет, и покупали они не дом, а место — очень уж оно им понравилось: в самом центре деревни, рядом — и магазин, и станция; внизу, за огородом, — речка, за речкой — лес. И в усадьбе всё на месте, и огород немереный.

Стали мы с матушкой присматриваться к новым соседям внимательнее, здороваться по утрам. Однако сосед оказался неприветливым: поздороваешься с ним — буркнет что-то в ответ, а не поздороваешься — так будто и не заметит тебя. Ну да не очень-то и надо навязываться.

Правда, с первого же взгляда стало понятно, что — свои, деревенские; как только заявились — тут же переоделись, засучили рукава, и — за работу оба: она с лопатой и граблями — за гряды, он — за топор с пилой. Причём крупные, могучие оба; когда он раздевался до пояса, так руки у него — словно две толстые чурки: натренировался, видно, на шофёрской работе! Интересно, что другой мой сосед, Вася (тот, что все свои стройматериалы ворует на работе), тоже, слава Богу, силой не обижен; но ему до Рудольфовых бицепсов далековато… И, главное, Рудольфова подруга Люба мало в чём уступит ему по комплекции.

И ещё одну Рудольфову особенность я заметил, то бишь услышал: оказался он первостатейным матершинником — любому Васе фору даст. Причём матерится вполне по-русски — трёхэтажно и витиевато. Научился!..

Надо сказать, что давным-давно, ещё когда Иван Ефимович был здоров, а двое его сыновей-погодков, придя из армии, не знали, куда деть избыток сил, — втроём со своим отцом они успели столько всего понастроить в своей усадьбе! Были там огромные сараи с высоченными сеновалами, куда входили целые стога сена без остатка; в огороде стояло несколько капитальных теплиц, а отдельно стоящая в огороде баня — хоть живи в ней! — была не просто баней с парилкой и предбанником, а ещё и душевой, и летней кухней, и прачечной, и водогрейкой с котлами; а весной в больших окнах этой бани буйствовала рассада… правда, с тех пор, как всё это было построено, прошло уже лет двадцать, и постройки успели немного пообветшать, но выглядели ещё вполне внушительно.

И вот новый наш сосед, играя мышцами и жаждая обновить своё хозяйство, первым делом взялся раскатать по брёвнышку сараи. Сам. Один! Это было что-то ужасное: такой треск и грохот стоял несколько дней, такая пыль заволокла усадьбу! Казалось, что брёвна он не просто раскатывает — а крушит и ломает…

И раскатал. Одних только брёвен накатал кубометров сорок, не считая тонкомера, жердей и досок…

В деревне к тому времени ещё остались два-три мужика, помнивших былые времена, когда на трудоёмкую работу звалась коллективная «помочь» с соответствующей платой за труд в виде выпивки и закуски. И вот эти два (или три?) мужика, услышав этот грохот и видя, что новый деревенский хозяин взялся за немыслимую по объёму работу, пришли и скромно предложили свою помощь. Хозяин же от помощи отказался, недвусмысленно послав их на три буквы. И за два месяца сам сложил из наличного материала новый сарай. Был, правда, этот сарай немного меньше размерами, зато — более аккуратным и с некоторой претензией на общий архитектурный замысел.

Сарай этот, ко всему прочему, сосед ещё выкрасил масляной краской, самой простой — коричневым суриком, каким обычно полы красят. Это дерзостное новшество — никто никогда сараи в деревне не красил — было совершенно недоступно пониманию моих односельчан и настолько удивило их, что кто-то из соседей спросил Рудольфа — причём таким тоном, будто уличил в непомерной глупости: «Зачем сарай-то красишь?» — и он будто бы ответил просто и понятно: крашеная древесина служит в два раза дольше, чем некрашеная.

И всё же соседям это объяснение было непонятно: ну хорошо, сарай вместо сорока-пятидесяти лет простоит, скажем, целых сто — ему-то, Рудольфу, какая выгода? Ведь не только сам, не только дети его, уже взрослые, — а и внуки его не доживут до того времени! И вообще, что будет через сто лет? Нужны ли будут кому-то эти сараи?.. Так что над новым хозяином лишь посмеялись да тихонько покрутили пальцем у виска. Но поскольку этого серьёзного мужика никто никогда смеющимся не видел — вслух свои недоумения высказывать поостереглись.

Затем сосед таким же образом переделал теплицы в огороде. За теплицами — баню. Всё выглядело теперь ровнее, прямее, стройнее, и всё непременно было выкрашено краской.

На всё это у нашего трудолюбивого соседа ушло целое лето.

На следующее лето он взялся за дом. Дом он обил вагонкой и выкрасил его целиком, от земли до крыши, да разными красками: стены — нежно-зелёной, ставни — жёлтой, а оконные рамы — белой. Дом стало просто не узнать — таким нарядным он теперь был. Кроме того, хозяин обновил забор, выходящий на улицу, и ворота, и штакетник своего палисадника, и всё это тоже покрасил своими любимыми, видно, красками: нежно-зелёной, белой и жёлтой… А когда вместо старой кровли из почерневшего от старости волнистого шифера, на котором местами нарос слой грязно-зелёного мха, настелил новый, почти белый на солнце шифер — дом его превратился в настоящий расписной терем, бросивший дерзкий вызов всей остальной деревне, сплошь расхристанной, блёклой и грязно-серой.

Только года через два на краю деревни вырос двухэтажный деревянный коттедж, построенный каким-то полковником в отставке, тоже расписанный боевыми красками, так что коттедж этот принял, наконец, вызов, брошенный нашим немцем, и восстановил некоторое цветовое равновесие в деревне.

Теперь уже ждали: чем ещё удивит нас Рудольф, когда закончит расписывать дом?.. И он удивил: проснувшись однажды утром, мы обнаружили, что он, ни у кого не спросясь, взял и перекопал нашу улицу — вырыл поперёк неё траншею глубиной, наверное, метра в два, причём — вручную, только с ломом и лопатой, — прямо-таки не человек, а экскаватор! А чтобы люди не ругали и не кляли его — предусмотрительно пробросил через траншею две толстых доски.

По-моему, вся деревня в тот день прошлась по этим доскам, и не однажды, с недоумением заглядывая в траншею: что он там такое удумал? — но на всякий случай от вопросов воздерживались.

А я сразу понял, в чём дело… Наша длинная улица с двух концов имеет почти незаметные глазу уклоны, и уклоны эти сходятся как раз между нашим и Рудольфовым домами, так что весной, в водополье, тут испокон века стоит большая-пребольшая лужа.

Лужа эта почему-то никогда никого не беспокоила — за много лет к ней привыкли, тем более что между лужей и забором едва высилась над водой грязная тропинка, и по ней можно было кое-как пробраться. А чтобы идти было удобней — поверх неё бросали плашечки, жёрдочки, кирпичи и по ним прыгали, благополучно каждый раз пробираясь мимо лужи…

Все двадцать лет, что я тут жил, лужа эта меня раздражала. Весной я прокапывал через тропинку узкую траншейку, чтобы спустить воду из лужи, но траншейку эту постоянно забивало, и её надо было регулярно чистить. И, конечно же, я ломал голову и над тем, что хорошо бы найти и уложить поперёк дороги трубу, чтобы вода из лужи уходила совсем, — но где взять трубу? Да работа эта и не под силу одному — где взять помощников?..

А между тем к середине лета лужа высыхала, и проблема исчезала сама собой. Чтобы в осенние ненастья в полном объёме вернуться снова…

Надо ещё сказать, что в проулке за нашей улицей есть старая большая яма неизвестного происхождения, и в эту яму все, кому не лень, бросали разный мусор, в том числе и старые железные бочки, днища которых от времени безнадёжно проржавели.

Так вот мой сосед, после того как выкопал траншею, собрал эти бочки, выбил из них остатки днищ и уложил бочки в траншею впритык. Получилась цельная, большая-пребольшая железная труба. От трубы он отвёл канаву, пустив её как раз между нашими усадьбами, а самоё трубу засыпал и утрамбовал. Затем у одного из владельцев взял лошадь с телегой, за несколько дней навозил на засыпанную траншею гравия с железнодорожного тупика и утрамбовал гравий ручной трамбовкой. Получилась красивая дорога, а лужи не стало!

Мне было стыдно смотреть на всё это, оттого что не я это сделал, и оттого ещё, что не помог ему. Но как бы я ему помог? Ведь я ж не знал его планов! И был уверен, что он откажется от моей помощи — непременно всё сделает сам, как бы в назидание мне, бездельнику: жил, мол, тут двадцать лет до меня и ничего не сделал! Единственное, что я мог, — это проглотить обиду и махнуть рукой: ну и делай сам, раз взялся!..

С тех пор прошло достаточно времени. Никто в Таловке уже не обращает внимания на Рудольфовы «заскоки», привыкли — даже к тому, что зимой он каждое утро прокапывает или прочищает примерно полукилометровой длины тропинку от своего дома до магазина, которая — среди наших-то сугробов — к концу зимы становится больше похожей на глубокую траншею. И так — каждое утро, в течение всей нашей пятимесячной зимы, уже много лет подряд. По тому, как он каждое утро в восемь ноль-ноль, ещё в глубокой зимней темноте, выходит чистить свою тропу, можно часы проверять — не ошибёшься.

Деревня в это время ещё спокойно спит или только просыпается. Потом начинает жить своей обыденной жизнью: люди встречаются, приветствуют друг друга, интересуются здоровьем, новостями… Рудольфа при этом будто в упор не видят: не здороваются с ним, не заговаривают с ним, не благодарят за работу. Однако же молча принимают его работу и пользуются его тропинкой. А он так же молча продолжает каждое утро чистить свою тропинку в снегу. И у меня такое впечатление, что он с помощью этой тропинки

терпеливо оплачивает свой вклад в общую жизнь Таловки. Впрочем, вполне может быть, что ничего такого он и не думает вовсе — а копает или чистит тропинку для самого себя и своей Любы из какого-то только ему доступного чувства безупречного порядка, и всё тут…

Помнится, однажды посреди зимы он перестал чистить свою траншею. День не чистит, два, неделю, вторую. За это время бураны занесли траншею почти доверху, и, каюсь, я подумал тогда не без тайного, противного самому злорадства: ага, не выдержала твоя немецкая душа, обрусела, сдалась на милость нашей сибирской зимы!.. И уверен на сто процентов: вся Таловка думала то же самое и с таким же злорадством… А через две недели смотрим: опять траншея вычищена!.. Оказывается, болел Рудольф, в город уезжал — и вот вернулся…

Кстати, о тех двух калитках, что соединяли наши с Марией Ефимовной и Иваном Прокопьевичем усадьбы… Конечно же, с тех пор как Мария Ефимовна уехала, мы с мамой в эти калитки перестали ходить — незачем стало. Забор, что разделял наши дворы, постепенно обветшал; Рудольф перестроил его на свой лад, и в новом заборе калитки уже не оказалось. А та калитка, что рядом с его колодцем, до сих пор существует, но за ненадобностью заросла крапивой.

Если сначала я с Рудольфом здоровался — по старой привычке здороваться с соседями, то постепенно эта привычка как-то сошла на нет, и теперь, когда он появляется за забором, я невольно вижу лишь бледное пятно, и мне нужно некоторое усилие над собой, чтобы отметить в своём сознании: вон вижу соседа.

И странное у меня сложилось к нему отношение: я уважаю, я очень уважаю его за трудолюбие, за упорство, за независимость, за решимость браться за любое дело и непременно доводить его до самой последней точки — но никаких чувств мой сосед во мне не вызывает. Никаких! От этого в душе у меня возникает некое беспокойство — потому что абсолютно всё, что меня окружает: знакомые, малознакомые или совсем незнакомые люди, собаки, коровы, дома, заборы, деревья, трава, — неизменно вызывает во мне сложную смесь эмоциональных реакций, радостных, грустных, неприятных, — я с младенчества привык к эмоциональному восприятию своего окружения! Тем более если среди моего окружения — ближайший сосед. А когда какое-то существо или предмет ничего не вызывает — меня это начинает беспокоить, как если бы я чувствовал, что оттуда, где я ожидал увидеть нечто живое, тянет пустотой… Хотя что это я? Дай Бог моему соседу ещё на много-много лет здоровья на радость всем его родственникам! А что характер у него такой… Так среди русских бывают ещё и не такие затейливые. И мало ли что: может, какой-нибудь случай ещё сведёт нас с Рудольфом и, чего доброго, сдружит? Всякое ведь в жизни бывает.

100 лет со дня рождения ∴ ДиН антология

Лев Ошанин

Спасибо тебе

Корни

Строг и быстр Енисей, и гневен…
Через волны взгляни, застыв,
Как карабкаются деревья
На скалистый, крутой обрыв.
Искривляясь, стелясь ветвями,
Корни тонкие торопя,
Ковыляя между камнями,
К солнцу лезут они, скрипя.
Чем трудней, тем они упорней,
Тем сильней они в тонком стволе…

Так вот люди пускали корни
На сибирской глухой земле.

● ● ●

Спасибо тебе, что тебя я придумал
Под вьюги неласковых зим,
Что несколько лет среди звона и шума
Счастливым я был и слепым.
Воздушные замки построить несложно,
Но след их не сыщешь в золе.
Как жаль, что недолго и неосторожно
Стояли они на земле.
Спасибо тебе, что я строил их звонко
Из песен, цветов и тепла.

Я выдумал девочку в шарфике тонком —
И значит, такая была.

Александр Матвеичев

Caridad Peñalver Lescay

1.

Последние две недели он возился со своим личным архивом — раскладывал по папкам и коробкам пахнущие пылью и тленом далёкого прошлого бумаги. А часть из них, скрепя сердце, рвал или складывал в целлофановые пакеты и выбрасывал в мусоропровод. Три года назад они с женой продали квартиру на первом этаже на окраине, купили более просторную на третьем — в центре города, и архив всё это время покоился на закрытом раздвижными окнами балконе в больших картонных коробках. Он с тревогой думал иногда, что бумаги отсырели, пожелтели, слиплись. На деле оказалось, что с рукописями ничего не случилось — они, Бог даст, переживут хозяина на много-много лет.

А из бездны, из поэтической юности, пока он перебирал говорящие листы, в потревоженной памяти всплывали строки романсов и стихов. Одно четверостишие особенно ударило по сердцу:

> Люби прошедшее! Его очарований
> Не осуждай! Под старость грустных дней
> Придётся жить на дне души своей
> Весенней свежестью воспоминаний.

Мучительная работа по сортировке, чтению полузабытого или совсем забытого *на дне души своей*, переживаниям иной раз из-за пустячной фразы, попавшейся на глаза и повеявшей *весенней свежестью*, подходила к концу, когда из большой тетради выпал надорванный конверт с двумя марками и цветным изображением с поясняющей надписью на испанском: *«ANTIGUO CUARTEL MONCADA — STGO DE CUBA»* («Старинная казарма Монкада в Сантьяго-де-Куба») — и строем кубинских пионеров перед её фасадом. И чёрными чернилами, знакомым почерком, в левом верхнем углу — обратный адрес: *«Caridad Peñalver Calle 3 #226 Rpto U. Galo. Santiago de Cuba»*.

Судя по смазанному почтовому штемпелю на серо-голубой марке со зданием в форме развёрнутой книги, письму стукнуло ровно тридцать лет. Сначала он воспринял эту высотку как гаванские отели *«Foksa»* или *«Havana Libre»*. Усомнился и перевёл глаза на красную строчку над нижними зубчиками марки: *«XXV ANIVERSARIO FUNDACIÓN DEL CAME»*. Напрягся — и вспомнил расшифровку испанской аббревиатуры *«CAME»*: «Совет экономической взаимопомощи». Этой благотворительной конторе тогда исполнилось двадцать пять лет. С ностальгической грустью отметил про себя: СЭВ канул в Лету вместе с СССР, и в этом небоскрёбе давно поселилась московская мэрия. А его собственная жизнь раскололась пополам: при Советах и после них. Нечто подобное приключилось с его предками: при самодержавии и после революции — при большевиках. Или как с кубинцами: при Батисте и при Кастро… Да, прошлое — потерянный мир, менее реальный, чем будущее. Только без него не было бы ни настоящего, ни грядущего.

Прежде чем выбросить конверт в пластиковый пакет с мусором, он на всякий случай сунул пальцы внутрь — и сразу почувствовал волнение, словно услышал не шелест бумаги, а нежный шёпот своей Карины — *Caridad Peñalver Lescay*. А в те *баснословные года* он чаще называл её коротким домашним именем: *Cary*. И как-то не воспринимал этого имени написанным кириллицей — только латинскими буквами. Осторожно, словно ожидая ожога, он извлёк свёрнутые вчетверо листы папиросной бумаги. С ещё большей осторожностью, опасаясь, что за давностью лет они могут рассыпаться в прах, развернул и слегка разгладил на письменном столе. И как наяву услышал привычное, с лёгкой картавинкой, приветствие Карины: *«Buenos, amor. ¿Cómo estás?»* Мозг привычно переключился на восприятие испанского, временами спотыкаясь в поиске русских аналогов слов или выражений. И тогда куда-то исчезала поэзия, затихала музыка, и наступал антракт для обыденной речи. Это он испытывал каждый раз и при обратном переводе — с русского на другой язык, английский или испанский.

«Привет, любовь моя. Как себя чувствуешь? У тебя всё хорошо?

Буду ждать твоего ответа. Последнее время не писала тебе, просто чувствовала себя неспособной что-либо делать. Много дней проболела — перенесла бронхопневмонию. Пришлось лечь в больницу в Моа. А сейчас снова чувствую себя плохо. Но это не столь важно…

Жизнь моя, твоё последнее письмо наполнило сердце глубокой печалью. Ты просишь об очень

малом, незначительном, и это заставляет думать, что ты постепенно и незаметно для себя начинаешь забывать меня. И я с болью покоряюсь этому: по логике, так и должно было произойти. Только мне невыносимо грустно, и я ничего не могу с этим поделать. И, как аккомпанемент моим чувствам, сейчас по радио тихо звучит какая-то песня на русском, и она вызывает ещё бóльшую печаль. В этой песне есть слова *«umiera lieuvof»*. Только мне так не хочется в это верить…»

Не поняв этих двух слов: *«umiera lieuvof»*,—он стал читать дальше и только минутой позже, из контекста, извлёк их подлинное значение: *«умерла любовь»*. Но как Кари могла понять эти слова? Всего около года до написания письма они общались на испанском и английском, а по-русски она знала не больше десятка фраз: *«Я тэбья лублу»*, *«Я хачью курит»*, *«Харачьё-плёхо»*, *«Ты менья нэ льюбич»*… Скорее всего, брала уроки у своей подруги Барбарины, *«профессóры»* русского языка. Ей нравилось иногда ошарашить его короткой фразой на русском и по-детски радоваться его удивлению. А когда он поначалу пытался говорить с ней на ломаном испанском, она смеялась и вынуждала переходить на английский.

«…Но ведь и наша любовь умирает, истекает кровью с каждым днём. Я это вижу по твоим письмам. А последнее письмо, любимый, говорит об этом совершенно ясно. Я ожидала, что такое случится, но хочу, чтобы ты знал, что я тебя ни в чём не обвиняю. И раньше я сознавала, что ты мужчина со своими проблемами: у тебя жена, дочь. В моём сознании ни разу не возникало сомнение, что ты решишься оставить их. Даже и подумать о таком не могла. Поэтому тешу себя надеждой, что изредка вспоминаешь обо мне…

А сейчас я слышу прекрасную песню, и она звучит как память о тебе.

Мой дорогой лгунишка, у меня нет никаких планов на будущее. Даже не знаю, где буду работать. И нисколько не забочусь об этом. А пока, любимый, работаю там же и так же: один день—хорошо, а остальные болею. Так и живу, постоянно помня и тоскуя о тебе.

Вчера вечером была у Вали. Её Володя уехал в Советский Союз в отпуск, завтра должен возвратиться. Скажи мне, ты с ним встречался?..

На Кубе очень жарко, но в основном погода приятная. Когда иду домой к Вале, всегда вспоминаю, как мы виделись у них. Но всё прошло, всё проходит, всё пройдёт. И ничего не остаётся, и ничего не останется. И что же принесла нам наша любовь? Только воспоминания о тех немногих днях, когда я тебя безумно любила…

Обо мне не переживай. Что бы ни происходило со мной, люблю тебя по-прежнему.

Кари (или Пенелопа?)».

Давно навалилась она—*старость грустных дней*, а душа всё не хочет сдаваться и тщетно надеется сохранить *на дне своём* лучшее из прошлого. Уходят имена и лица… Да и Карине, если её не унесли в могилу многочисленные болезни и лишения полуголодного существования на карточном пайке на нищем острове Свободы, сейчас уже не те двадцать, когда она писала это письмо. Второго августа этого года ей—мысленно в этот день он всегда поздравлял её—исполнился пятьдесят один год.

Трудно представить свою Карину похожей на сухое, потерявшее листву и аромат дерево. Или напротив—жирной и расплывшейся, как бесформенное тесто, чёрной коровой. В тропиках женщины, пропитываясь солёным пóтом и вялясь на солнце, быстро теряют свежесть и привлекательность… Да он и сам в морозной Сибири не законсервировался. Редко выходил из дома и старался реже смотреть в зеркало на изрезанную морщинами испитую физиономию и потухшие глаза, чтобы не применять к себе дышащие обречённостью слова Экклезиаста: *«Время рождаться, и время умирать… Время искать, и время терять…»*

Письмо пришло из Сантьяго. Скорее всего, после больницы Кари получила бюллетень в поликлинике Моа—в этом городке она принудительно отрабатывала в школе за получение диплома учительницы английского языка после окончания *colegio*—педагогического колледжа. Не захотела оставаться в женском общежитии и уехала из Моа в Сантьяго, чтобы поправиться в родительском доме. И там, как сейчас представилось ему, она валялась в постели, курила, слушала радио, тосковала и извлекала из своей души быстрые, растянутые в ровные цепочки выстраданные строки.

Он раза три бывал в Сантьяго. Первый раз, помнится, их возили туда на первомайскую демонстрацию, а второй—просто на экскурсию с ночёвкой в гостинице и поездками в памятные места: в старинную крепость, оборонявшую от пиратов вход в бухту, потом в ту самую казарму Монкада со следами от пуль на жёлтых стенах, в кафедральный собор. Побывали и в предгорье хребта Сьерра-Маэстры—там их накормили обедом в придорожном ресторане под нависающей над ним скалой. А одну ночь *советики* просидели на временной трибуне, устроенной на главной улице Сантьяго. До четырёх утра глазели на бушевавшие огнями, музыкой, ряжеными процессии и *carozas*—карнавальные движущиеся ступенчатые платформы—с пляшущими на них почти голыми *негритами* и *мулатиками*—*«эстрельями»*.

Всё это казалось интересным, но идущим вразрез с его тайными намерениями: больше всего хотелось увидеть Карину. Оба раза она в те нерабочие дни жила где-то рядом, у родителей, и он

выискивал возможность оторваться от толпы и разыскать их дом. И даже сейчас, через тридцать лет, он сожалел, что не проявил находчивости и не побывал там незваным гостем. Тогда бы легче было представить, как проходит жизнь Карины без него в *casa 226*, по *calle #3*…

Так в чём же дело?.. Бизнес принёс ему приличные деньги, несколько пачек «зелёных» припрятаны в укромных местах. Теперь он на пенсии: времени навалом, сам себе хозяин, загранпаспорт не просрочен. Здоровья, по крайней мере, для перелёта в одну сторону, хватит—так и вперёд! Пусть не найдёшь Карину, зато, раньше чем превратиться в прах, обведёшь прощальным взглядом места своей молодости, чтобы убедиться лишний раз, что всё—суета и томление духа… А самое главное—сказать себе и ей: «Ты боялась, что я забуду тебя. А я, видишь, прилетел к тебе через столько лет…»

2.

О нём всегда говорили, что он лёгок на подъём: большую часть своей жизни проводил в разъездах, перемене мест жительства и работы. И дети у него родились от разных женщин, и друзей во многих городах и разных странах было не счесть… И вот он уже в Сантьяго-де-Куба—и, расправив крылья, бесшумно парит по узким улицам, жадно выискивая глазами нужный дом. На душе как-то неуютно, как будто он попал не в тот город, а может, даже и не в ту страну. Всё почему-то потеряло краски, словно на землю опустились сумерки, и оттого исчезли тени, а все предметы, прежде всего строения, слились в непрерывную серую ленту из немого кино. И как он ни силился—не мог рассмотреть номера на домах. Да и были ли они?

Всё как у нас в России, думалось ему без раздражения: прежде чем найдёшь нужное место, обойдёшь полгорода. Как хорошо, что он научился летать и что не печёт солнце, даже прохладно, и можно наконец-то как следует изучить город его Карины. А где она живёт, ему может подсказать Рикардо Бекерра. А вот, кстати, и кирпичный особняк Рикардо, очень похожий на коттедж старого приятеля, Саши Андреева, в красноярской Покровке. Залечу к Рикардо, спрошу его. Он говорил, что живёт где-то недалеко от Карины.

Стоило пожелать—и он уже у Рикардо, в его винной лавке. Только немного удивляет, что на прилавке сидит, свесив волосатые ноги, сам Рикардо в белом фартуке и сдвинутом на затылок поварском колпаке. За его спиной до самого потолка—полки, заставленные бутылками рома «*Havana club*» и «*Matusalen*».

«А ты нисколько не изменился»,—говорит он, не слыша себя и с трудом шевеля онемевшими губами. Но сразу удивляясь тому, что Рикардо снимает колпак и его короткие курчавые волосы из чёрных превращаются в голубые. «Видишь, я поседел как лунь, *cabrón*,—сердито говорит его кубинский друг, похоже, недовольный появлением *советика*.—Я совсем забыл русский язык. *¿Que tu quieres?* (Чего ты хочешь?)»

Ничего себе забыл! Обзывает козлом на испанском, а говорит на русском лучше, чем тридцать лет назад. Но почему-то сам переходит на испанский: «*¿Dónde está la casa de Caridad Peñalver Lescay?* (Где дом Каридад Пеньалвер Лескай?)»,—спрашивает он, с ужасом сознавая, что не может вспомнить ни одного русского слова. И видит, что и Рене его не понимает. Вместо ответа Рене протягивает ему стакан, одновременно наполняя его из бутылки «Столичной». Он хочет отказаться от выпивки, потому что у него нет песо—одни советские рубли, но Рене выпивает водку сам и, замахнувшись на него бутылкой, кричит: «Вон отсюда, *гусанос! ¡Viva Fidel!*»

Смертельный ужас выбрасывает его на пустынную улицу, ставшую вдруг похожей на проспект Мира в Красноярске, освещённый, как ему подумалось, северным сиянием—таким, каким он видел его в Норильске. Почему, недоумевает он, Рене, учившийся в Питере, из инженера-химика превратился в мелкого буржуя, в торгаша? Уж не потому ли, что его отец имел винную лавку до кубинской революции, а сейчас Фидель подарил её сыну за какие-то особые заслуги? Может, вернуться и спросить его?

Но тут он видит, что навстречу идёт Каридад—в подвенечном платье и в венке из белых роз. Как у Блока Христос в его поэме «Двенадцать», удивляется он. «*Como siempre estas tartando. Vámonos rápido, el sacerdote ya nos espera con impaciencia* (Как всегда, опаздываешь. Пойдём быстрее, священник нас уже заждался)»,—говорит Карина. Он хочет сказать, что и не подозревал, что ему предстоит идти в церковь, что он одет не должным образом, что в России у него осталась жена—и с ней-то как быть?

До этого момента он не видел её лица—только угадывал каким-то шестым чувством, что это и есть Карина, а тут ясно увидел—и обомлел! Это же и есть его жена!..

Первым намерением было—рвануть куда глаза глядят! Приподнял голову, но сразу услышал недоумённый голос жены:

—Ты что дёргаешься, милый? Во сне что-то увидел?

—Угадала. Представь себе, тебя,—сказал он, не открывая глаз и томительно сожалея, что сон оборвался на самом интересном месте.

—Сходи в туалет, выпей лекарство, успокойся и ляг. На будильнике полчетвёртого, ещё долго спать…

3.

По многолетнему опыту он чувствовал, что уже не заснёт. Встать, уйти в другую комнату и лечь на

диван тоже не решился: жена сразу почувствует, что его нет рядом, придёт, станет успокаивать, и тогда они будут мучиться бессонницей вдвоём, а день пройдёт в тягостной полудрёме.

Тикают, капают на мозги настенные кварцевые часы, сделанные в Китае, напоминая о двух годах службы в армии на Ляодунском полуострове. По потолку спальни, плафонам люстры и зеркалам шкафов скользят бледные блики от фар проносящихся по заснеженной улице автомобилей, рядом спит добрая и любимая жена, а встревоженная забытым письмом и ночным видением память уносит его за тысячи вёрст и морских миль—через половину Азии, всю Европу и Атлантический океан—на остров, похожий на карте на спящего аллигатора. Там сейчас разгар дня, дома и хижины раскалены послеполуденным солнцем, зеленеют пальмовые, манговые, апельсиновые и казуариновые рощи и сады, цветут розы, дышит тёплым простором лазурный океан с парящими в бездонной синеве чайками и альбатросами. И где-то, скорее всего в Гаване или в Сантьяго, может быть, думает о нём его Пенелопа—так себя называла в ожидании неизбежной разлуки *Caridad Peñalver Lescay*, его чернокожая подруга.

Она спала рядом с ним так же неслышно, как и его жена. И вообще, они очень похожи—как негатив на позитив: Карина в чёрном, а жена в белом изображении. Первое время он их невольно сравнивал и несколько раз говорил, что жена напоминает ему своим чистым дыханием бунинскую Олю Мещерскую. И теми же критериями женской красоты—нежно играющим румянцем, покатыми плечами, тонким станом, в меру большой грудью, длиннее обыкновенного руками, изящными раковинами коленей и правильно округлёнными икрами А про себя думал: и у Карины всё было таким же.

А что, если и вправду слетать на Кубу вместе с женой? О его романе с чёрной кубинкой она давно знает и уверяет, что ни к ней, ни к другим женщинам, до того как они стали вместе, не ревнует. Только иногда непроизвольно, с доброй улыбкой и лукавинкой в небесного цвета глазах, напоминает: «Ох и шалунишка ты был, однако!..»

Если подкопить баксов, отказаться от покупки новой машины и летней поездки на курорт, то вполне можно махнуть недельки на две на чудный карибский остров. Он там прожил больше двух лет, а она не была ни разу—почему бы и не побывать вместе?.. Надежды на её согласие практически никакой: она панически боится жары, и после поездки в Испанию к их общим друзьям заявила, чтобы о загранице он больше не заикался. Был октябрь, а в Картахене, Севилье, Гранаде, Барселоне и Мадриде, где они провели по нескольку дней, было за тридцать, и ей, коренной сибирячке, не хватало воздуха.

Однако он знал и об отходчивости и женской непредсказуемости характера жены: сегодня скажет решительное «нет», а завтра, уловив тоску в его глазах, вдруг начнёт сама уговаривать выполнить его желание. В январе на Кубе не так и жарко—в тени редко под тридцать, зато вода в океане не меньше двадцати трёх градусов. В Гаване наверняка живёт в своём доме Луис Ариель с семьёй, адрес его сохранился. Может, и сама Карина, и её сестра Сойла с дочкой остались в том же особняке, примыкающем к музею Наполеона со стороны улицы Сан-Рафаэль. Музей находится в двух шагах от Гаванского университета. У него есть письма с сантьяговскими адресами родителей Карины и Рене Бекерры; может, сон в руку, и ему удастся застать всех живыми. В любом случае, поездка обещает быть нелёгкой, чем-то похожей на посещение необъятного кладбища, где похоронены чувства и впечатления невозвратной молодости. А есть и надежда на воскрешение в душе многого дорогого и полузабытого.

Воспоминания о Карине всегда начинались с момента, когда он впервые увидел её, девятнадцатилетнюю, в начале декабря в *Academia Nocturna de las Lenguas Extranjeras*, в нашем понимании—в трёхлетней вечерней школе иностранных языков для взрослых. Длинный одноэтажный барак начальной школы, сколоченный невесть когда из почерневших пальмовых досок, с шести часов вечера три раза в неделю превращался в «академию». В ней Карина—после окончания двухгодичных курсов в Сантьяго-де-Куба—отрабатывала учительницей английского языка трёхгодичный срок в благодарность Фиделю, партии и правительству за бесплатное получение образования. А ему повезло быть командированным по заданию советских партии и правительства на восемь месяцев из Союза на никелевый комбинат в городке Моа старшим инженером по автоматизации цехов этого комбината. В академию его привёл Луис Ариель, оценивший высокий уровень знания *советиком* английского.

В конце последнего урока на пороге распахнутой в темноту тропической ночи появилась высокая негритянка с застенчивой улыбкой на добром красивом лице, и он понял, что пропал. Влюбить её в себя для него, сорокадвухлетнего и прошедшего огонь и воду по тропам любви, на время командировки «холостого», да ещё и при отсутствии пресловутого языкового барьера, было делом техники. Через месяц сомнений и болезненных взаимных переживаний она подарила ему свою девственность и стала приходить в его спальню почти каждую ночь.

Романы такого рода одинаково преследовались обеими сторонами—и советскими надзирателями за нравственностью, и кубинскими блюстителями социалистической морали. В любой момент они

могли стать жертвами политических репрессий. В одной квартире с ним жили два коммуниста; они постоянно терроризировали его, угрожая «настучать» в партком, профком и руководству советской колонии о его сношении с кубинкой. И тогда его репатриируют в Союз с «волчьей» характеристикой; а там уж—из самых добрых побуждений коренного перевоспитания—на него с людоедской страстью накинутся всем «треугольником», образованным партячейкой, профкомом и дирекцией. После чего его единогласно осудят на общем собрании товарищи по работе.

Об этом, конечно, узнают жена и дочь, лопнут, как мыльный пузырь, семья, карьера—и жизнь, как уже не раз случалось, предстоит начать с нуля.

Карине любовь к иностранцу тоже обернётся несладко: огласка, потеря работы, объяснения с суровым отцом, матерью, крутым братом. А ещё хуже—с возможным супругом: кубинские парни, несмотря на обширный диапазон внебрачных связей, жениться предпочитают на девственницах. В стране, как заверяли *советиков* кубинцы, даже существовала не очень дорогая подпольная медицинская индустрия по восстановлению девственности. Но чаще всего влюблённые ухитрялись сохранять девичью невинность до брака посредством взаимной оральной ласки гениталий, срамных губ и клитора. Вкушением возбуждающего коктейля из минета и лесбиянства. Поначалу и они с Кариной попытались последовать местным обычаям, но после нескольких попыток поняли, что пошли по пути самообмана—суррогата, фальсификации настоящего, оскорбления самого чувства любви между мужчиной и женщиной.

Пусть угрозы сожителей его и беспокоили, но не пугали настолько, чтобы он отказался от Карины. В любовных похождениях он всегда был стоиком и фаталистом: будь что будет, но от *Неё* не отрекусь! В суворовском и пехотном училищах он убегал к любимым в самоволки, за это не раз сиживал на гауптвахтах. Из института его выгнали за развод с первой женой, он был вынужден уехать с любимой женщиной в добровольную сибирскую ссылку и окончить там вечерний институт. А здесь ему лезут в душу и стращают ссылкой из тропиков в Сибирь. Да плевать он хотел на этих двух бешеных от полового воздержания большевиков!.. В конце концов, недавно Брежневым подписаны Хельсинкские соглашения, и он ведёт себя в рамках декларированных прав свободы личности. Правда, этой свободой пока что воспользовались одни евреи, ринувшиеся в страну обетованную, оставив свои пожитки и квартиры родной советской власти. От Солженицына он узнал, что к становлению этого людоедского режима их недавние предки подстрекнули доверчивых россиян и немало поспособствовали их взаимоистреблению в Гражданской войне и в ГУЛАГе.

Отправляясь на Кубу из Москвы, он увидел множество недавних соотечественников разных полов и возрастов, сидящих и спящих на чемоданах и узлах. Он поговорил с некоторыми из этих милых и приветливых людей. Они сутками ожидали отлёта в Тель-Авив и в транзитную Вену, чтобы оттуда махнуть в другие страны—в основном в США...

Всё у него как-то путалось, переплеталось, возникало и уносилось во мрак в эту бессонную ночь. И он делал усилие, чтобы думать только о хорошем—о Карине. Как он ждал свою *чернушку* на балконе до полуночи, сгорая от нетерпения и ожидая её появления из-за угла дома в ртутном свете фонаря на бетонной опоре,—и он шёл открывать дверь на лестничную площадку. И через пару минут она проскальзывала на цыпочках в спальню и прижималась к нему горячим дрожащим телом. А потом отходила в угол комнаты и выглядывала сквозь открытые жабры жалюзи, словно ожидая появления преследователей. Спрашивала шуршащим шёпотом:

—*Are they sleeping?* (Они спят?)

Вопрос относился к двум его сожителям, затаившимся в своих комнатах.

—*Sure!*—бодро заверял он, хотя знал, что за завтраком услышит от соотечественников очередную угрозу о сдаче его в руки советского правосудия за связь с кубинкой.

Но в Карине странно уживались девичья застенчивость и страх по мелочам с бесшабашной беспечностью и готовностью идти навстречу опасности. И такого формального заверения вполне хватало, чтобы спокойно сесть на кушетку за ужин, сооружённый им заранее на двух приставленных один к другому стульях,—бутылка рома или вина с двумя рюмками в центре. А на остальной «поляне»—блюдце с нарезанными колбасой, ветчиной и сыром, открытая банка шпрот, бумажный пакетик с конфетами, на вафельном полотенце—плитка шоколада, бананы, манго, пара апельсинов. Выпивали, ели, говорили полушёпотом то на английском, то на испанском о разных пустяках, как будто стесняясь себе признаться в главном, ради чего встретились. Потом раздевались догола и, обернувшись полотенцами и осторожно приоткрыв дверь в тёмную гостиную, бежали на цыпочках по диагонали в *cuarto de baño*—совмещённый туалет и холодный душ, мылись, крепко прижавшись дрожащими под студёными струями телами, протирали друг друга махровыми рушниками и, скользя босыми мокрыми ступенями по каменному полу, возвращались в спальню. И потом—уже под маскетеро и простынёй—разогревались объятиями, поцелуями—всем арсеналом любовных игр...

Любовь процветала, несмотря на коварные происки завистливых сожителей-коммунистов, пока Карина не забеременела. Но и после этого

они ещё недели три проводили такие же безумные ночи, а с субботы до утра понедельника вообще не расставались, и он порой удивлялся, откуда него брались силы спать по три-четыре часа в сутки и плодотворно трудиться на благо построения социализма под носом у кровавого дяди Сэма.

На аборт Карина уехала к сестре в Гавану, пробыла там пятьдесят три дня и вернулась уже с припухлым твёрдым животом: никто из врачей не взялся за подпольную операцию из опасения за её жизнь. У неё болели почки и печень, но самое главное — серьёзно расстроена нервная система. Из-за нервных припадков её несколько раз увозила в больницу из квартиры сестры *ambulancia* — скорая помощь.

На легальную операцию Карина не решалась: для этого, по кубинским законам, было необходимо согласие родителей и оглашение имени виновника внебрачной беременности. Ни на то, ни на другое Карина пойти не могла: она, как драйзеровская Дженни Герхард, боялась своего сурового папы. Её женатый брат, хулиган и выпивоха, предупредил сестру, что будет беспощадным, если узнает, что она обесчещена. И Карина утверждала как само собой разумеющееся: если известие о потере её невинности поразит слух её отца и брата, чернокожие мужики без колебаний снесут голову соблазнителя легендарным мачете.

Помогла бывалая подруга Карины — толстушка Барбарина, тоже учительница, не раз прибегавшая к помощи своей знакомой врачихи в Ольгине — небольшом городе километрах в ста двадцати от Моа. Барбарина переговорила по телефону с подпольной акушеркой, он дал Карине около ста песо, и на следующий день Карина вернулась в своё *albergue de solteras* — общежитие для холостячек — уже без жертвы любви несчастной в опустевшем животе. Всё бы можно было продолжать в прежнем духе — встречаться по ночам, предохраняться и ещё год быть вместе, — но контракт его пребывания на Кубе был близок к завершению. От его продления он уже отказался из опасения, что с абортом ничего не выйдет и «шило» в виде новорождённого вылезет наружу.

Прощание для обоих было невероятно тяжёлым и походило на уход в мир иной — никакой надежды на встречу в будущем. Предстояла жизнь в разлуке в разных полушариях земли, с разницей во времени в двенадцать часов. Всю последнюю ночь в Моа она обливалась слезами и твердила, что ей лучше умереть. Он обнимал её горячее тело и мысленно тоже прощался с жизнью. А утром она и Барбарина улетели в Сантьяго на какие-то курсы повышения квалификации учителей иностранных языков.

Через пару дней, когда самолёт приземлился в Сантьяго, в зале аэропорта его ждали Карина и Барбарина. Но он даже не мог поцеловать свою возлюбленную: казалось, все пассажиры уставились на них, русского и двух кубинок, и по их виду понимали, что происходит нечто трагическое.

Как назло, в очереди на регистрацию на тот же рейс, что и его, стоял и улыбался ему Мордасов, чиновник из госкомитета по экономическим связям, — именно к нему первому предстояло в Гаване обратиться для оформления выезда в Союз. Поэтому разговор с Кариной состоялся скомканным, бестолковым, тем более что обе девушки спешили на заключительный экзамен на проклятых курсах. И не они его, а он вышел из аэровокзала проводить их к ожидавшему у входа такси. Он смотрел вслед удалявшемуся по раскалённому асфальту жёлтому «доджику» и думал: *finita la commedia!* Никогда, никогда он уже не увидит свою прекрасную чернокожую Пенелопу. Так иногда называла себя *Caridad Peñalver Lescay*. И даже подарила ему текст популярной на Кубе песни «*Penélope*».

А через двадцать месяцев, благодаря связям, мелким взяткам, водке и «обыкновенному чуду», он снова из заснеженной мартовской Сибири, через Москву, оказался в гаванском аэропорту Хосе Марти, в тропической влажной жаре, в кубинской столице, где, как он знал по её письмам, Карина уже второй год жила у своей сестры.

Однако в самолёте он совершил легкомысленное предательство — связался с киевлянкой Светланой — и первые две ночи в гостинице провёл с ней, угодив, таким образом, под гласное наблюдение грудастой ревнивой хохлушки. Она, не знавшая по-испански ни слова, не отпускала его от себя ни на шаг.

Только на третьи сутки он ухитрился обмануть её бдительность и приехать с приятелем к Карине на такси в особняк богача в некогда фешенебельном районе Гаваны, превращённом кастровской революцией в трущобу. Карина жила со своей сестрой и её пятилетней дочкой в мрачном душном полуподвале с одним окошком на уровне земли, выходящим в узкий двор, устланный булыжником с проросшей между камнями хилой травой.

Ему показалось, что Карина встретила его появление без видимой радости. Ела и пила мало, говорила короткими малозначащими фразами. Из неё улетучилась прежняя, пусть и грустная, девичья весёлость. И потом, уже в постели наедине с ним, она вела себя совсем по-иному, словно не хотела близости и отдавалась ему по принуждению. Всё это наводило на мысль, что его приезд для неё ничего не значил.

Утром, прощаясь с Кариной, он подумал, что целует её безучастные прохладные губы в последний раз. Лучше следовать своему давнему правилу — не возвращаться к заросшим могилам своих давних чувств. А через день консьерж отеля вместе с ключом от номера вручил ему конверт с запиской на английском от Карины: «Если не

придёшь ко мне сегодня, я перережу себе вены твоим ножом, забытым тобой у меня». И в конце, уже на испанском: «*Adiós. Tu Carina* (Прощай. Твоя Карина)».

Сначала ультиматум его развеселил, а потом не на шутку встревожил: Карина и прежде не раз говорила, что хочет умереть. А теперь у неё появился подходящий повод.

С тем же приятелем он вечером поехал к ней часам к десяти. Сойла, её сестра, проводила *советиков* по тёмной лестнице в комнату на верхнем этаже того же особняка, и здесь, при тусклом свете красной лампочки в изголовье, они увидели Карину лежащей на кровати с перерезанным запястьем левой руки. Из раны пузырями шла кровь. И казалось, полутёмное пространство заполнял её пугающий запах.

С помощью приятеля он быстро наложил жгут своим брючным ремнём на кровоточащую руку, отослал исходившую плачем сестру за врачом и полицией. А напуганному соотечественнику приказал от греха подальше немедленно убираться в отель. Вся вина лежала на нём, и он, глядя на умирающую подругу, готов был понести заслуженную кару. В тартарары летела вся его прежняя жизнь. Немедленно вышлют в Союз, а там за его перевоспитание возьмётся пресловутый советский «треугольник»—партия-профсоюз-администрация, и тогда—прощай, семья, престижная работа. А может, и свобода… Но мысль об этом едва коснулась его сознания, и сейчас он отрешённо смотрел на неподвижное тело любимой и молил Бога, чтобы она выжила…

Врач, санитары с носилками и полицейский появились на удивление очень быстро. Не обращая внимания на него, медик точными движениями развязал на руке Карины брючный ремень, кинул его на живот девушки и наложил жгут из тонкой резиновой трубки. Потом прощупал на чёрной шейке пульс и произнёс короткую, но обнадёживающую фразу в кубинском духе:

— *La loca todavia está viva.* (Эта дурочка пока жива.)

Санитары ловко, как нечто невесомое, положили Карину вместе с простынёй на носилки, врач спросил у него, сколько времени прошло с наложения жгута (он назвал жгут «*compressor*»—компрессором), и поспешил следом за носилками. Сестра Карины засеменила за ним и тоже скрылась в темноте коридора.

Полицейский, крепко сложённый негр, до этого безучастно стоявший у дверного проёма, осторожно, с оглядкой, чтобы не запачкаться кровью, присел на край освободившейся постели, дружелюбно посмотрел ему в глаза и спросил, в чём дело. Он коротко сделал чистосердечное признание—не без лукавства, конечно. Каридад Пеньалвер—его давнишняя знакомая по прошлой командировке на Кубу: она была преподавателем, а он студентом *de le Academia Nocturna de las Lenguas Extranjeras*—вечерней академии иностранных языков. Когда уехал в Россию, переписывались. Прилетев неделю назад на Кубу, решил навестить Каридад по адресу в последний вечер нахождения в Гаване. Завтра рано утром должен улететь за девятьсот километров, в городишко Моа,—работать там инженером на никелевом комбинате в течение года. И вот влип в такую историю.

— *¡Cojones! ¡Qué putada más grande!*—не очень цензурно оценил ситуацию полицейский, протирая платком сначала тёмный лоб, а потом—внутренность снятой с курчавой седеющей головы фуражки. И уж совсем неожиданно, медленно и с большим акцентом, заговорил на русском:— Я училься ф Совьетьский Союз толко атин год. У меня там точе биль девучки, толко ни один себья не резаль. Вы где чивёте? Отель «*Rejis*»? Я вас доставлю, пойдём.

Когда полицейский джип затормозил у входа в отель, он попросил минутку подождать, сбегал в свой номер и вручил неожиданному спасителю бумажный пакет с бутылкой водки и двумя банками консервов.

— *No pienses que soy un tonto. Entiendo bien lo todo,*—сказал полицейский доверительно, как своему земляку.—Ты не думай, что я дурак, мне всё понятно. Она тебя любит и хочет это доказать. Тебе повезло—мне не стоит в это вмешиваться и портить тебе жизнь. Пусть Бог вас рассудит.— Он протянул на прощание левую руку—правая лежала на руле—и добавил:—У меня в Москве осталась любимая девушка, тоже не могу её забыть. А на самоубийства приходится ездить каждый день. Сам видишь, какая у нас жизнь—ни пожрать досыта, ни одеться путём. У вас в Союзе по сравнению с Кубой рай…

4.

В ту же ночь он с приятелем улетел в Моа в полном неведении, жива ли Карина. И только примерно через месяц его старые друзья ещё по прежней командировке—чилиец Максимо и его кубинская жена Мария,—побывав в Гаване в недельном отпуске, успокоили его: они виделись с Кариной, она уже начала работать, обещает приехать к нему в Моа.

И действительно, за полтора года его нелёгкой работы в Моа на никелевом комбинате она трижды приезжала на два-три дня, и они ночевали у Максимо и Марии в их трёхкомнатной квартире на третьем этаже панельной четырёхэтажки в *Rolo-2*.

После ужина с хозяевами они уединялись в маленькую спальню с окном, обращённым к кокосовой роще, и на них немедленно нападали полчища москитов и хекен. Даже марлевое маскетеро, крохотной палаткой прикрывавшее жёсткую

кушетку, полностью не защищало от гнусных насекомых. Душную атмосферу тропической ночи дополняли непонятные трески, шорохи и крики ночных птиц из гущи пальм за окном, и Карина то вздрагивала, то дрожала, прижимаясь к нему голым горячим телом. Сейчас он уже плохо помнил, о чём они говорили за столом с Максимо и Марией и потом наедине с Кариной в постели,— скорей всего, делились воспоминаниями о разных случаях в его прошлый приезд на Кубу и о жизни без него, когда Мария и Максимо остались в Моа, а Карина уехала в Гавану.

Долгое время в столице для неё не находилось работы преподавательницы английского, пока не подвернулся случай устроиться в какую-то школу в загородном *pueblo*—посёлке. На езду туда и обратно она затрачивала около четырёх часов и уставала смертельно. Задавать вопросы о том, как и чем она питалась, было бы верхом бестактности: она сильно похудела, её тело потеряло прежнюю упругость и жизненную силу. Это неожиданно и не к месту напомнило ему о его матери: ребёнком она брала его с собой в баню «по-чёрному», и он видел её тело, изнурённое непосильным трудом на колхозной ниве и полуголодным существованием.

Казалось, даже интимная близость Карину утомляла и не радовала, и она бы предпочла тихий покой рядом с ним. Он уходил от неё, едва начинал брезжить рассвет, тихо брёл по улице спящего городка, думая, что и это скоро пройдёт, оставив в душе тоскливую пустоту и неверие в возможность вечной любви и счастья. А построенные, как и весь никелевый комбинат, американцами плоскокрышие одноэтажные коттеджи—*casas*— наводили на мысль, что живут в них несчастные, обманутые люди, получившие после кастровской революции вместо свободы полицейское государство и скудное существование по карточкам на продуктовые и промышленные товары.

О её попытке самоубийства они не обмолвились ни словом. Лишь при первой встрече в Моа он провёл пальцем по едва заметному смуглому шраму на её чёрном запястье—у неё слегка дрогнули губы, а в глазах мелькнуло милое лукавство. Тогда же он устроил короткую, но очень сердечную вечеринку в квартире своих красноярских земляков, и все непременно хотели потанцевать и сказать добрые слова о красоте и добром очаровании его чернокожей подруги. И сейчас в одном из его альбомов хранится фото в профиль, сделанное Игорем Седовым: он и Карина танцуют, глядя в глаза друг другу. Её чёрные руки, положенные ему на плечи, на первый взгляд кажутся жилеткой, надетой поверх его белой рубашки.

После полутора лет изматывающей нервы, психику и физические силы жизни в Моа, когда казалось, что время остановилось,—для сибиряков в тропиках даже смена времён года оставалась незаметной—он неделю жил в Гаване в ожидании отправки на родину.

Оказалось, что отель для него, по *раздолбайству* чиновников ГКЭСа, не был заказан. В аэропорту его, как это было заведено, никто не встретил. Ехать сразу к Карине было бессмысленно—она наверняка на работе, поэтому из аэропорта через всю Гавану он с двумя тяжеленными чемоданами, стоя в напичканном до отказа потными телами, раскалённом полуденным солнцем автобусе, часа за полтора добрался до своего приятеля по работе и учёбе в *academia nocturna*—вечерней академии— в Моа Луиса Ариеля.

Луис с женой и двумя малолетними сыновьями жил в отдельном доме своего отца, построенном задолго до революции из сборных железобетонных панелей. В комнатах царили образцовый порядок и чистота. От добротной старинной мебели, портретов и пейзажей на стенах, белых скатертей и салфеточек и роз в вазах веяло чем-то позабытым, как от слов и мелодий полузабытых романсов.

Старику было далеко за восемьдесят, но в нём клокотал вулкан неистраченных эмоций и невысказанных дум и воспоминаний. Он был парализован, своим скелетом, прикрытым жёлтой морщинистой кожей, прикован к креслу-коляске, плохо слышал и кричал во всю мощь прокуренных лёгких, что был коммунистом ещё в двадцатых годах двадцатого века. Тогда он работал биндюжником в порту и встречал первое советское судно, прибывшее Гавану, в компании с *компаньеро* Антонио Мельей, провозглашённым через несколько десятилетий одним из создателей кубинской компартии. Мелью в двадцать девятом году убили враги революции в Мексике.

То, что советский *камарада* мог понимать и разговаривать с ним на испанском, привело старика в телячий восторг, и он поставил его в пример своему сыну: вот так надо общаться с отцом—громко, ясно и понятно!.. Благодаря этой встрече он ещё больше поверил в нерушимую дружбу Кубы с могучим Советским Союзом. И теперь замшелый коммунист будет счастлив встретить свою недалёкую кончину в свободной социалистической Кубе.

Гость достал из чемодана бутылку рома, банку тушёнки, рыбные консервы, пакет конфет, ещё каких-то продуктов, жена Луиса дополнила эту снедь, приготовив *arroz con fríjol*—кубинский плов из риса, фасоли и тушёнки. Получился роскошный обед. Старик пил ром наравне с сыном и гостем, произнося дипломатические тосты, и поник гордою главою в своём кресле с ручным приводом, предварительно проглотив чашку крепчайшего кофе и пососав толстую сигару.

Остальные по приглашению Луиса пошли в *jardín*, то есть в сад. К удивлению гостя, его и садиком нельзя было бы у нас назвать: всего два дерева—лимонное и апельсиновое—выросли,

касаясь жидкими кронами, на крошечном пространстве твёрдой, как камень, почвы, покрытой короткой жёсткой травкой. О благодатной тени под ними не могло быть и речи: солнечные лучи, казалось, проходили сквозь огромную призму бледно-голубого неба и прожигали с макушки до пят. Мать занималась с детьми, а мужчины разговаривали о всякой всячине и периодически сожалели, что вряд ли им ещё придётся увидеться.

Маленький умница Луис, гордившийся своим испанским происхождением и тем, что и в его миниатюрной жене, больше похожей на длинноволосую индианку, играла кровь испанских грантов, поблёскивая чёрными глазками, ласково повествовал советскому *амиго* о своих наполеоновских планах. После отъезда из Моа ему удалось получить работу в научно-исследовательском институте, и года через три он надеется защитить кандидатскую диссертацию. *Academia nocturna* помогла ему блестяще сдать кандидатский экзамен по английскому языку.

— А ты здесь, в Гаване, никого не встречал из нашей академии?—обрадовавшись возможности перевести разговор в нужное ему русло, спросил русский гость.

— Не помню… Ой, нет! Месяца два назад встретил Каридад Пеньалвер. Ты её помнишь? *Profesora* английского, красивая *негрита*. У нас была Биатрис, а Каридад вела другую группу.

— Да, да, конечно,—сказал он, с трудом сохраняя спокойствие.—*¿Y que?* (И что?)

— Это было у «Рампы» или на Эль Прадо. Поговорили, вспомнили знакомых—и всё!

— Карина работает?

— Наверное. Я не спросил.

— Сильно изменилась?

Он не видел её уже месяцев семь, и это почему-то для него было важнее всего.

— Похудела, но выглядит очень элегантно. *Muy bonita como siempre.* (Как всегда, очень красивая.)

— Рад за неё. Она мне очень нравилась.

— *Si, la idolatraban todos estudiantes. Es muchacha bonita y bondadosa* (Да, её обожали все студенты—девушка красивая и добрая),—сказал Луис и почему-то смутился.

Из его знакомых кубинцев Луис Ариель один избегал разговоров о женщинах, амурных похождениях, пьянке, драках—обо всём, что красит жизнь бывалых мужчин любой национальности. С ним можно было говорить о науке, технике, истории, изучении иностранных языков. Может, ещё о бейсболе и боксе—он ими не занимался, но, как патриот Кубы, следил за победной поступью своих соотечественников в спортивном мире. А над преданностью Луиса жене и детям кубинцы, бывало, добродушно подсмеивались.

«Хорошее обобщение, лучше о Карине не скажешь»,—подумал он и поменял тему.

Главное—она в Гаване, и надо как можно скорее её увидеть. Не приведи Господь, если они с сестрой и её дочкой переехали в другое место—не вечно же им гнить в вонючем подвале…

Когда вернулись в дом, выпили вдвоём *por un trago*—по глотку рома с лимоном, Луис, заметив, что у гостя непроизвольно смыкаются веки, предложил ему отдохнуть. Шёл четвёртый час дня, а казалось, что миновала вечность с момента его отъезда из Моа. Усталость и вялое безразличие ко всему навалились непреодолимым грузом. Луис проводил его в просторную гостиную, предложил лечь на широкую кушетку, обтянутую золотистым потёртым шёлком, и вышел.

Он проснулся в шестом часу весь в горячем поту, принял душ, поменял одежду и сказал, что уезжает к другу. Луис пытался отговорить, а поняв, что это бесполезно, сходил куда-то и сообщил, что у дома его ждёт такси. Вещи он решил на время оставить, собрал в портфель самое необходимое, взял у Луиса служебный телефон, попрощался с ним и его женой и попросил водителя доставить его к университету.

— *¿Y que? ¿Eres estudiante?* (Ты что, студент?)

— *No, soy profesor de una estudiante linda* (Нет, учитель одной хорошенькой студентки),—поправил он остряка.

5.

Его появление Карину и её сестру Сойлу не удивило: она уже звонила в Моа на служебный телефон Марии—подруга работала секретаршей у одного из вице-директоров никелевого комбината—и получила исчерпывающую информацию о его вылете в Гавану.

Как всегда при посторонних—даже при своей сестре и шестилетней племяннице,—Карина оставалась при встрече до обидного сдержанной: не кинулась ему на шею, не далась поцеловать. Протянула длинную изящную руку, поздоровалась:

— *Buenas tardes*,—и села всё на то же подобие тахты или кровати, а скорее—нары, застланные какой-то рухлядью.

Он подсел к ней рядом и обнял за плечи. Она слегка повела ими, словно пытаясь освободиться, а потом отчуждённо застыла. Ему казалось, что по его руке в мозг и сердце поступали тревожные импульсы её невысказанных эмоций. Малышка Линда, похожая на гуттаперчевую темнокожую куклу Барби, подошла к нему, положила на колени маленькие чёрные ладони и уставилась ему в глаза с белозубой улыбкой. Ему стало почему-то не по себе. Он встал, расстегнул портфель, выложил на столик, стоящий в дальнем углу и прикрытый вафельным полотенцем, бутылку рома, консервы и высыпал из бумажного пакета на него печенье и конфеты.

— *Come, chiquita*,—позвал он девочку.—Ешь, малышка.

Приглашение было принято с шумным восторгом. А её мать, ещё больше похудевшая и постаревшая — настоящая чёрная головешка, — последовала за ней и принялась за сервировку стола.
— *Where have you been, Sasha?* — на английском потребовала от него отчёта Карина. — Где ты был? Самолёт прилетел из Моа утром, а сейчас вечер.

Он засмеялся:
— *What's the matter with you? Are you jealous of me?* (В чём дело? Ты меня ревнуешь?)
— *Yes.* (Да.) Барбарина приезжала в Моа и видела тебя с одной русской женщиной.
— *Tonterias.* (Глупости.) Не ожидал от Барбарины такого предательства. Я разговаривал с женой моего приятеля. Мы жили в Моа в одном доме — они мои земляки, тоже из Красноярска.

А в действительности это была та самая злополучная киевлянка, на которую он невольно «*запал*» в самолёте и едва не погубил Карину. Суровая необходимость в течение его полуторалетней холостяцкой жизни в Моа вынуждала его прибегать к услугам полногрудой, ненасытной проектировщицы металлоконструкций. Как-то под вечер он столкнулся с Барбариной напротив домов наших спецов в *Rolo-1*. Остановились поболтать, а киевлянка проходила мимо. Он, оборвав разговор на полуслове, трусливо отскочил от Барбарины и на полусогнутых — так он, как бы наблюдая за собой со стороны, потом презрительно осудил себя — подбежал к своей нелюбимой пассии и пробормотал слова самооправдания.

Карина недоверчиво посмотрела ему в глаза и больше не возвращалась к этой теме.

6.

После ужина они ушли в ту самую комнату на верхнем этаже особняка, где полтора года назад Карина чиркнула по запястью его ножиком, и оставались там полторы суток — ночь, весь следующий день и ещё ночь.

Дверь закрывалась изнутри на хиленький шпингалет, и существовал открытый дверной проём в просторную ванную комнату с окном, обращённым в узкий двор, без стёкол и рамы. Из оборудования в ней осталась чугунная ванна — жёлтое корыто с ободранной во многих местах эмалью, заменённой рыхлой ржавчиной. Благо, что она соединялась с канализацией и в неё можно было ходить. Утром и вечером максимум на час подавалась тепловатая жёлтая, как моча, вода, пригодная разве что для смыва экскрементов. А весь день приходилось испытывать революционные трудности, если кончался запас воды в помятом цинковом ведре.

И так, представилось ему, Карина жила не день, не два, а годы и годы без перспектив на улучшение. Зато при социализме, на овеянном славой острове Свободы, в беспросветной нищете и фекальной атмосфере полуподвала и этой трущобы. Благо, что в окнах не было рам и, соответственно, стёкол и даже занавесок. Поэтому в тихую погоду в помещении шевелился лёгкий сквозняк, и запахи чувствовались не так сильно, как в непродуваемом подвале сестры. А в сезон дождей, ветров и ураганов в открытые оконные проёмы со свистом врывался сырой ветер или вода хлестала, как в пробоины в борту тонущего корабля. Тогда Карина находила спасение, словно в бомбоубежище, в полуподвале у сестры и племянницы.

А в речах Кастро и всех партийных чревовещателей, на плакатах, в газетах, на радио и телевидении повторялся, как заклинание, лозунг: «*¿Socialismo o muerte? ¡Venceremos!*» («Социализм или смерть? Мы победим!»)

При ответе на этот вопрос он лично предпочёл бы второе в обмен на ликвидацию первого. А что предполагалось одолеть авторам альтернативы «Социализм или смерть?», ему было непонятно. И предельно ясно, почему с острова Свободы целыми семьями уплывали в сторону американских материков на плотах и лодках, рискуя жизнью и погибая ни за грош, несознательные *gusanos* — «черви»: мужчины, женщины и дети, измученные беспредельным ожиданием наступления счастливого будущего в облапошенной политическими авантюристами стране.

А сейчас было начало сентября, время штиля в океане и на суше. Гавана, покрытая душным маревом раскалённого воздуха, привычно прела, шумела, задыхалась и толкалась в очередях за скудным пайком по карточкам, работала, размножалась, торговала, воровала и грабила. И всё это было где-то там, за пустой глазницей окна Карининой комнаты. А они валялись на узкой железной койке, пытаясь игнорировать боками и спинами ватные комки в матрасе, экономно пили ром с лимоном, любились, отдыхали, болтали, на короткое время погружались то ли в сон, то ли в дремотное забытьё и снова не могли насытиться друг другом.

И всё же что-то в ней безвозвратно исчезло из той девичьей первозданности, уступив место вседозволенности, некой рутине, словно они давно были мужем и женой. Или сам он изменился, очерствел и ожидал невозможного повторения чувств и ощущений четырёхлетней давности.

Несколько раз он безуспешно пытался узнать подробности из её жизни в Гаване — Карина ограничивалась сухими фразами то на испанском, то на английском. Ничего интересного. По приезде в Гавану из Моа долго не могла найти работу. Он допытывался: а не означало ли это, что она не получала *tarjetas o libretas* — продуктовые карточки? И если получала, то хватало ли у сестры денег на выкуп положенных по ним продуктов?

Она засмеялась, уткнувшись лицом в его голое потное плечо.

— *¿No hables tonterias, querido? Lo ves bien que todavia estoy viva,*— засмеялась Карина.— Не мели глупости, любимый. Прекрасно видишь — я жива. А без карточек и денег ты смог бы со мной встретиться только на том свете.
— *Una risa muy mala,*— слегка обиделся он.— Зимой сорок третьего года, когда мне было десять лет и наша страна воевала с Германией, у меня в очереди за хлебом вытащили карточки. Карточки выдавались на месяц, а было только начало января или февраля сорок третьего года. Мы с мамой плакали вместе — не знали, доживём ли до следующего первого числа. Нас выручила сестра: она работала в комитете молодых коммунистов — у нас их называют комсомольцами, и ей помогли получить для нас дубликаты карточек.
— *No te preocupes*,— успокаивала она.— Не беспокойся, всё хорошо. Сейчас у меня есть работа, только далеко — в загородном посёлке. Иногда мне приходиться ночевать там у своей подруги, тоже учительницы. На сегодня я отпросилась — сказала, что надо сходить в больницу…

7.

Ближе к вечеру к ним осторожно постучались. На вопрос Карины: «*¿Quién está?*» — отозвался мужской голос. Карина попросила обождать *un momento*. Оба соскочили с койки и стали поспешно натягивать на себя одежду. Впопыхах он забыл надеть трусы — сразу нырнул ногами в джинсы, накинул на себя рубашку, а трусы, свои и Карины, вместе с бюстгальтером сунул под подушку. И чувствовал, как у него бешено колотилось сердце: ему почему-то представилось, что в гости приехал её отец или брат, а то и оба вместе. Карина предупреждала его в самом начале их романа, что эти чёрные мужики без малейших колебаний отсекут мачете башку её любовнику, кем бы он ни был. В это мало верилось, но объяснений и драки с её родителем или братом хотелось меньше всего. Карина казалась внешне спокойной, одёргивая на себе лёгкое голубое платье, только губы у неё слегка вздрагивали, и глаза блуждали по стенам и полу, словно выискивая что-то.

Непрошеным гостем оказался молодой высокий негр в красной, расстёгнутой до пояса рубашке, с мрачноватым, строгим выражением на по-европейски красивом лице. Он, как показалось, неохотно протянул советскому компаньеро потную ладонь, невнятно пробормотал своё имя и пригласил Карину для разговора в коридор. Она послушно последовала за ним, прикрыв за собой дверь.

Через минуту-другую они вернулись с недовольными лицами. Все трое сели на кровать: Карина справа от него, хмурый негр — слева. Другой мебели в комнате не было, как и третьего стакана. Он подал пришельцу свой и плеснул в него рома, налил во второй и подал Карине. Она протестующе покачала головой, поморщилась и отвернулась. Он буркнул: «*Salud*»,— чокнулся с неприятным гостем, чувствуя в нём скрытую угрозу, и они выпили тёплую пахучую жидкость одним глотком. Негр резко поднялся, слегка наклонился, приблизив к нему лицо, протянул руку:
— *Adiós.*

И, не попрощавшись с Кариной, скрылся за дверью, оставив на память компаньеро ненавидящий взгляд чёрных глаз с розовыми белка́ми.
— *¿Quién es?* (Кто это?) — спросил он, не надеясь на правдивый ответ.
— *Ya has escuchado, es Fernando* (Ты же слышал — Фернандо),— пожала она отливающими чёрным атласом голыми плечиками, явно избегая разговора на неприятную тему.
— *De acuerdo, yo se su nombre. Entonses, ¿qué es?* (Согласен, имя его я знаю. А чем он занимается?) — упёрся он рогом, подогреваемый ревностью и её нежеланием объяснить этот внезапный визит.
— Мы работаем в одной школе, он преподаватель химии. Сказал, что другая учительница английского заболела, и я завтра с утра должна быть в школе.

Что-то мало походил этот угрюмый парень на химика. А если и химичил, то не на ниве просвещения молодого поколения строителей социализма. Однако дальнейшее выяснение его личности было бессмысленно, тем более что Карина ушла в себя, и стоило большого труда её как-то успокоить и расшевелить. Не хотелось портить радость этой встречи перед скорым расставанием навсегда.

И в эту ночь они спали мало, словно пытаясь вобрать в оставшиеся несколько часов все года их будущей жизни вдали друг от друга — в другом пространстве и времени, может, зная, что они живы, но недосягаемы,— и это представлялось трагичней самой смерти. Его взгляд завораживали мерцающие в тёмном прямоугольнике окна звёзды, он слышал лёгкое дыхание спящей Карины, а из глубин памяти сами собой выплывали забытые обрывки чужих мыслей и стихов — в юности он выписывал их в тетрадь и любил перечитывать. Кто-то из древних грустно пошутил: разлучиться с любимой — значит, чуть-чуть умереть. А ещё сильнее пожалел кого-то поэт: «*Разлука их с костями съест, тоска с костями сгложет*». Скольких он уже похоронил в своей душе и умер сам в памяти некогда дорогих ему женщин и друзей. Так будет и у них с Кариной…

Утром, когда они сполоснули лица прохладной водой из ведра и оделись, она, словно в подтверждение его ночных печалей, строго и отчуждённо предупредила:
— *Hoy no me esperes.* (Сегодня меня не жди.) Далеко ехать, а у меня завтра самый первый урок — отсюда я не успею. Ночую у подруги. Послезавтра буду

к восьми вечера. Можешь ждать меня здесь или в гостинице.

И, по-видимому, встревоженная недоумённым выражением его лица, повисла ему на шею и стала шептать ласковые слова на испанском и английском. Только он чувствовал, что она была уже далеко от него—не только в мыслях, но и рвущимся от него напряжённым телом.

— *Corre, Cary, corre, no te tardes a guagua* (Беги, Кари, беги, а то опоздаешь на автобус),—говорил он каким-то не своим голосом, притворяясь даже перед самим собой, что он забыл о вчерашнем негре и что он верит, что она спешит к ученикам.—Я пойду попозже, устроюсь в гостиницу, получу билет на самолёт—дел много. И буду ждать тебя. Беги!

— *No te enojes, querido. I love you.* (Не обижайся, любимый. Я люблю тебя.)

На следующий день он приехал к ней из отеля часам к семи, нагруженный вином, ромом, продуктами—всё это он закупил на остаток кубинских песо в магазине для иностранных специалистов на первом этаже небоскрёба «*Foksa*» в фешенебельном районе Гаваны. Карина не появилась ни в восемь, как обещала, ни в десять, и он уже решил вернуться в свой крохотный обшарпанный и душный номер в отеле «*Lincoln*», когда в подвал влетела она и бессильно упала на кровать.

— *Tenia miedo que tu te vas* (Боялась, что ты уйдёшь),—говорила она, преодолевая одышку и не глядя на него.—Еле успела на последний автобус. Директриса после уроков устроила собрание, и я думала, что снова придётся ночевать у подруги.

Сестра и племянница—Сойла и Линда—накинулись на неё с упрёками: мол, мы еле удержали гостя, чтобы он не вернулся в отель. Но ужин прошёл весело, Сойла и Карина пили саперави, он—армянский бренди, ели югославскую консервированную колбасу с венгерским лечо. Маленькая Линда ласкалась к нему, не слезая с колен, и беспрерывно жевала печенье, *carameles* и *bombones*—карамель и шоколадные конфеты. И остаток ночи тоже пролетел как один миг—в ласке, близости, горячих объятиях, признаниях, а утром—в прощальных поцелуях и обещаниях встретиться послезавтра в восемь вечера.

Однако оставшиеся четыре дня до отлёта превратились для него в истинную пытку пустых ожиданий, неопределённости и жутковатых предположений. Три вечера он затемно являлся в белый особняк в готическом стиле на улице *San Rafael* и никого не заставал в нём. Были закрыты на замок двери в полуподвал Сойлы, вход со двора на лестницу, ведущую в комнату Карины. Обшитая рваной клеёнкой дверь в комнату их подруги, крошечной негритянки Франчески, родившей девочку от английского моряка, тоже была закрыта, хотя он не обнаружил признаков замка—ни внутреннего, ни навесного. Впрочем, это было немудрено: двор напоминал узкий тёмный каньон, а вилла с пустыми провалами окон на белой стене—дом с привидениями из старого романа.

Он так и улетел из Гаваны в полном неведении. В самолёте его соседом оказался весёлый девятнадцатилетний паренёк с кудрявыми чёрными волосами до плеч. Вместе с тремя своими приятелями он летел до Рабата, а оттуда—к себе в Сирию, в Дамаск. По рассказам хорошо говорившего на испанском смуглолицего араба об их жизни в общежитии Гаванского университета до *советика* дошло, что он подвергался немалому риску, расхаживая ночами по трущобам кубинской столицы. Этих сирийцев, посланных на учёбу в порядке культурного обмена, в общежитии регулярно обворовывали. А неделю назад он проснулся в своём гамаке—почему-то студенты спали не в кроватях—с ножом, приставленным к горлу парнем с платком, закрывавшим лицо до глаз. Грабитель красноречиво показал жестами, чтобы сириец не поднимал тревогу, а молча наблюдал, как двое других бандитов бесшумно собирали его и его соотечественников вещи в полумраке. А потом так же бесшумно скрылись. Полицейский участок был рядом с общежитием, но все жалобы иностранных студентов оставались без внимания. После этой ночи сирийцы вместо занятий побежали в своё посольство и потребовали экстренной отправки домой. Учебный год только что начался, и они надеялись продолжить образование в Дамасском университете или академии.

В Союзе он несколько месяцев мучился в догадках, что же могло заставить его Карину, её сестру, племянницу и даже Франческу с отпрыском англосакса скрываться от него. И кто же в действительности был тот негр в красной рубахе—действительно её коллега по школе, её любовник или, скорее всего, агент *seguridad*—кубинской охранки? А может, активист *CDR*—комитета защиты революции—из дома напротив? Вполне вероятно, что это был и просто сутенёр, пославший Карину на отработку своей смены в каком-нибудь подпольном борделе. Голод—не тётка, а жить в Гаване без работы ей пришлось долго, и неизвестно, имела ли она право на получение пайковых карточек. А без них и без денег— или голодная смерть, или панель. При её молодости и внешних данных, Карину мог принудить к древнему бизнесу местный криминал, богатый вековыми традициями. Вспомнилось, что Хемингуэй в романе «Иметь и не иметь» отозвался о кубинских гангстерах как о самых жестоких профессионалах…

В любом случае, сюда он больше не ездок, и как бы потом в письмах ни оправдывалась Карина, он ей не ответит. Даже не из-за обиды на неё—не исключено, что она без вины виноватая,—а ради неё

самой: пусть она завяжет со своим «*пенелопством*» и устроит нормальную жизнь.

После возвращения в Красноярск он всё же не реже, чем раз в месяц, посещал главпочтамт в надежде получить от Карины весть до востребования. И где-то перед Новым годом накрашенная блондинка подала ему сразу три письма, попросив его, «если не жалко», оторвать с конвертов красивые марки для её сынишки-филателиста. Письма были грустными, полными безнадёжности и только о чувствах, хотя его интересовали жизненные подробности её многострадального существования в голодной стране. В первом, судя по дате написания и отправления, письме она слёзно каялась, извинялась, но причину своего странного исчезновения так и не объяснила.

Потом пришло ещё письма два или три — он на них тоже не ответил, убеждённый строкой поэта со времён его первой трагической любви: «И счастлив тот, кто разом всё отрубит, уйдёт, чтоб не вернуться никогда…» Легко сказать и даже написать, но что поделать с памятью о прошлом, когда оно порой сильнее настоящего? Недаром Карина постоянно повторяла одну и ту же просьбу: не забывать о ней,—рассчитывая, наверное, на его великодушие. И вот она продолжает жить в нём уже три десятилетия, как хроническая, неизлечимая болезнь совести и запоздалого сожаления о совершённом зле…

8.

Мысль о поездке на Кубу сначала была для него не больше чем игрой воображения, разбуженного письмом Карины, полётом туда во сне, просмотром альбома фотографий и открыток, присланных когда-то из Моа, и чтением кубинских дневников, написанных чаще всего полунамёками на смеси русского, английского и испанского языков так, чтобы текст был понятен ему одному. Потом, движимый больше любопытством, чем серьёзным намерением на реализацию желаемого, он, проходя мимо касс Аэрофлота, зашёл справиться в международном отделе, как можно улететь на Кубу.

Молодая женщина с мелированными волосами и большим красноватым носом, как у пеликана, терпеливо выслушала его краткую постановку задачи и долго колотила по клавиатуре компьютера худыми ручками. Через полчаса он вышел на покрытый льдом тротуар и взглянул на две распечатки на тонкой бумаге с перфорированными по вертикали краями. И понял, что зря поспешил расстаться с некрасивой операторшей. Мало того, что принтер выдал информацию на английском и испанском, но и представлена она была с непонятными сокращениями.

Но дома не без труда разобрался: если он вылетит из Москвы в час пятьдесят ночи, то в Гаване будет в десять двадцать утра. Перелёт туда и обратно ему обойдётся в тысячу сто пять евро, или в сорок тысяч двести тридцать рублей. Что, прикинул он в уме, значительно превосходило размер его годовой пенсии. К этому следовало приплюсовать пять тысяч восемьсот тридцать пять рублей за перелёт из Гаваны в Сантьяго-де-Куба и обратно. А две недели пребывания в стране нерушимого социализма потребуют ещё не меньше тридцати тысяч. В общем, с учётом всех *сверхмажорных* обстоятельств, поездка обойдётся в сто тысяч рублей. Неслабо!—как принято восклицать сегодня, в условиях российских двадцатилетних перманентных реформ. Так что оставь надежду, всяк в Аэрофлот входящий!—пошутил он про себя. Но выход из этой ситуации нашёлся внезапно, без усилий с его стороны. Такое с ним нередко происходило на протяжении всей жизни: он ставил перед собой цель и с годами даже забывал о ней—и вдруг некогда задуманное становилась обыденной явью.

И на этот раз он шутя поделился с женой ностальгической мечтой побывать на Кубе. Это была его третья жена, моложе его на двадцать один год, высокая сероглазая красавица, любимая и любящая, готовая ради него на всё. Любое его желание или шутливый каприз, высказанные вскользь, без претензии на их реализацию, она заносила в память и ни с того ни с сего преподносила ему сюрприз: «Ты, любимый, кажется, ведь этого хотел?..»

Их тайный служебный роман завязался через семь лет после его возвращения с Кубы. Через полтора года она развелась со своим мужем, ушла на квартиру родителей, а через месяц он явился к ней ни с чем—в том, в чём был одет. Уходил утром на работу и у порога заявил жене, что больше не вернётся. С того октябрьского дня прошло девятнадцать лет. Его новая жена знала о многих его амурных похождениях и уверяла, что к тому, что было до неё, не ревнует. И со смехом сообщала общим друзьям: мол, на Кубе у него была негритянка, а до неё и после неё—столько белых!.. «Но если изменит мне—убью!»

— Знаешь, милый,—сказала она в один из февральских вечеров, явившись домой в лёгком подпитье,—тебе ужасно везёт. Мне шеф годовую премию подкинул: угадай, сколько?

— Ну, тысяч тридцать.

— Мало меня ценишь—семьдесят из чёрной кассы! Из заначки добавлю—и поезжай-ка ты на Кубу к своей негритянке, не томись.

— Ты что, обалдела? Ты же машину хотела поменять.

— У меня и старой «хондочке» всего пять лет. Так едешь? А то передумаю…

И через месяц он действительно дремал в кресле самолёта рядом с угрюмым полупьяным мордатым парнем, похоже—из «новых русских», в еврейском обличии, на пути из Москвы в Гавану.

Вспомнил, как нечто подобное случилось с ним около трёх лет назад: он сказал, что хотел бы побывать в Калининграде у племянницы и повидаться с её отцом, мужем его сестры, умиравшим в интернате для ветеранов Второй мировой. А заодно съездить в посёлок Долгоруково, в девяти километрах от Багратионовска,—там некогда дислоцировался стрелковый полк, из которого он демобилизовался. В то же лето они побывали у друзей в Литве, отдохнули сначала в Вильнюсе, потом в Паланге, и оттуда на автобусе за восемь часов, пройдя литовскую и российскую таможни, приехали в Калининград. А через пару дней с утра поехали на электричке в Багратионовск—до поражения Германии во Второй мировой этот прусский городок назывался Прейсиш-Эйлау,—пообедали в ресторане, побывали в местном музее и поехали на автобусе в Долгоруково, прежнее Дантау. Погода все три недели их нахождения в Прибалтике стояла на редкость сухая, солнечная, безветренная. В электричке и в автобусе, несмотря на открытые окна, их донимала горячая духота.

Видом посёлка и особенно территории, на которой находился его гвардейский стрелковый полк прославленной, многих орденов Московской дивизии, он был поражён, а жена вообще напугана: в буйных зарослях деревьев, кустарника и бурьяна в скорбном молчании на них смотрели пустые или заколоченные глазницы зданий складов, казарм, пустые боксы танкового и артиллерийского парков. И всё это—в двух километрах от границы с Польшей, накануне её вступления в НАТО. Лишь у входа в двухэтажное здание бывшего штаба напротив заросшего осокой котлована, где некогда синела вода и плескалась рыба, двое рабочих, измазанных извёсткой, общаясь короткими фразами с примесью ядрёного мата, суетились у бетономешалки.

Он хотел показать жене «свой дом»—сорок лет назад он жил в нём со старлеем Славкой Родиным, командиром разведвзвода полка, полуцыганом, бабником, охотником на кабанов и дичь, картёжником и пьяницей. Но преданным другом, чтившим в нём знание поэзии и талант входить в интимный контакт с красивыми девушками на танцах в немецкой кирхе, превращённой победителями в поселковый клуб с кинопередвижкой. Две из них стали частыми ночными гостьями в их холостяцкой, прокуренной и проспиртованной, комнате с кухней. Славка добровольно избрал для уединения с подругой, единственной немкой Танькой, не уехавшей в Германию, кухню с постелью на полу, уступив другу и его пассии право почивать в более комфортных условиях—на скрежещущей пружинами солдатской койке.

И он, и жена очень удивились, что дом оказался полностью заселённым. Три молодых приветливых женщины сидели за вкопанным в землю столиком с бутылкой водки в центре, присматривая за детьми, игравшими в песочнице. Он коротко объяснил, что невольно привело его и жену к этим берегам.

—А мы беженки,—пояснила одна из них, с короткими рыжими волосами.—Вот поселили нас временно, а живём здесь уже второй год. Ни работы, ни жилья. И статус беженцев получить никак не можем—то одну бумажку требуют, то другую. Заколебали, блин! Мужики перебиваются на случайных заработках… Присаживайтесь с нами.

—Спасибо, мы на автобус спешим. Рад увидеть свой прежний дом целым…

Нечто подобное он испытал и при виде Гаваны, похожей на потерявшую былую красу, покрытую морщинами, истощённую нуждой мулатку, когда, сдав чемодан в камеру хранения, из аэропорта наугад поехал на такси на улицу Сан-Рафаэля—в особняк бежавшего с Кубы после революции миллионера, в котором потом довелось жить Карине и её сестре Сойле с дочкой.

У ворот он попросил таксиста обождать, но, заглянув во двор, сразу понял, что дом с пустыми глазницами окон был необитаем. Непроходимые заросли колючего чертополоха с ядовито-жёлтыми цветками, источавшими кладбищенский аромат, охраняли подходы к дверям этого мёртвого памятника победоносной революции. Оставалось использовать резервный вариант: через весь изнывающий от душной жары город отправиться к Луису Ариелю. Его отец, думал он, конечно, умер, а Луис с женой и двумя сыновьями наверняка должны жить в том же фамильном доме.

Облупленные фасады зданий, местами лишённые окон, и встречные машины ностальгически напоминали Гавану конца семидесятых годов: те же американские ржавые хвостатые лимузины, наши ободранные «жигули», «москвичи», «уазики», «Волги», и лишь изредка—приличные на вид машины. Да, закат революции служит печальным напоминанием, что лучше было бы её не начинать. Разве о такой свободе и счастье кубинского народа мечтал ты, превращённый в идола Че Гевара? С огромного портрета на торцовой стене здания его глаза из-под берета со звездой вдохновенно всматривались в сияющие в небытии вершины коммунизма. Но мир ушёл далеко вперёд, а здесь—прогресс нищеты и разрухи. И на каждом углу бессмысленный призыв: «*¡Socialismo o muerte! ¡Venceremos!*» («Социализм или смерть! Мы победим!») Кого победим, что победим—смерть или социализм? Или и то, и другое?..

Чтобы как-то отвлечься от невесёлых мыслей о своей пустой затее—поехать в страну, где его никто не ждал,—он спросил у таксиста, пожилого негра в кожаной шляпе и с серебристой серьгой в ухе, сколько лет его жёлтому «доджику». Несмотря на опущенные стёкла, в салоне остро пахло бензином, и в раскалённом солнцем кузове было

жарче, чем в сауне. Рубашка и брюки прилипали к телу, как мокрая бумага.
— *No lo se. Creo que mas viejo que yo…* (Не знаю. Думаю, постарше меня…) А вам сеньор, какие девочки нравятся — сладенькие мулатки, горячие негритоски, краснокожие индианки или жёлтенькие китаянки? Недорого — всего три доллара за ночь.
— *Me gustan todas. Pero estoy seguro que mi arma es muy vieja y suave para ellas.* (Мне все нравятся. Только уверен, что вот моё оружие слишком старое и мягкое для них.) Лучше остановись у магазина, где можно купить рома и что-то поесть…

Ко всем переменам на острове, в том числе и к предложениям провести время в обществе *мучач* и *путас*, он, начитавшись прессы и информации в Интернете, был готов. Даже Фидель в своеобразной манере поддержал революционный дух кубинских проституток, назвав их самыми лучшими в мире. Он подумал, что Куба похожа на находящегося между жизнью и смертью восьмидесятилетнего Фиделя под бодрые заверения его венесуэльского «брата» — бешеного президента Уго Чавеса. Он уверял, что команданте вполне здоров и рвётся на оперативный простор, чтобы ускорить строительство социализма. Пока же Кубой заправлял родной брат Фиделя из клана Кастро — генерал Рауль. А СМИ муссировали очередную сенсацию: зная о неизбежной кончине главы правящего семейства и крахе режима, его родственники уже шесть лет готовятся к побегу в другие страны — в Испанию и Венесуэлу. Бескорыстный вождь на всякий случай обзавёлся там богатой недвижимостью и перевёл сотни миллионов долларов на анонимные счета в иностранных банках… Возведённый при жизни оболваненным, несчастным народом в бога, диктатор-демагог после смерти будет веками проклинаться потомками — и в этом единственный залог его бессмертия. Некогда новый режим через полвека превратился в дряхлый, прикрывающий срам красной набедренной повязкой с нацарапанным на ней словом «свобода», — и намного отвратительнее предыдущего.

Но лучше об этом помалкивать. За полвека кастровского режима мафиозная власть, манипулируя терминами «свобода», «социализм-коммунизм», как нигде в мире научилась оболванивать свой народ и бороться с вольнодумием. А он — лишь русский турист, прилетевший сюда по сугубо личному делу.

Дом Луиса Ариеля тридцать лет назад порадовал его свежей белизной снаружи и внутри. Сегодня же он показался старым и низеньким, а комнаты с местами облезлыми выцветшими обоями выглядели унылыми и униженными бедностью. Мебель потемнела, кожаная обивка на стульях, двух креслах и диване потрескалась и местами порвалась. Но всё сразу же ушло в сторону, как только — после краткого замешательства с обеих сторон — он обнялся с облысевшим и поседевшим маленьким Луисом. Потом к нему прильнула его почти бестелесная — кожа да кости — жена, тоже седая и морщинистая, но с прежними — очень молодыми, сияющими добротой — чёрными глазами.

Изумлению кубинских супругов не было границ, из их душ вырывались одни страстные междометия, выражающие удивление, восхищение, радость и удовлетворение:
— *¡Ajaja! ¡Anda! ¡Olé!*

И уж совсем неожиданное из уст интеллигентного и смущавшегося в прошлом при звуках ненормативной лексики Луиса прорывалось:
— *¡Coño! ¡Cojones!*

А растроганный *ruso* в ответ что-то тоже бормотал на русском и испанском, немного растерявшийся под напором экваториальных эмоций, и чувствовал себя кем-то вроде пришельца с того света.

Для разрядки обстановки он сразу полез в портфель за подарками и выставил на стол бутылку рома и пакеты с закуской. И за этим занятием мучительно вспоминал имя жены Луиса, перебирая в уме известные ему испанские имена. Благо, старушка, одетая в потёртые голубые шортики и белую блузку, упорхнула, прихватив со стола пакеты, на кухню. И его сразу озарило: *Esperanza!* Он же ещё при первом знакомстве там, в Моа, мысленно перевёл её имя на русский, чтобы лучше запомнить: Надежда, Надя.

Они сели за стол и долго молча смотрели друг на друга, мысленно вспоминая Моа — *El Infierno Rojo*, тот Красный Ад, где они работали в одной офисине проектировщиков и думали, что делают очень важное дело — строят развитой социализм. А на самом деле пятились назад и оказались у разбитого корыта — два старпера в разных полушариях земли.
— *¿Dónde están sus hijos — Arturo y Marscel?* (А где ваши сыновья — Артуро и Марсель?) — первым прервал молчание русский, с трудом представляя этих парней взрослыми: Артуро в его первый приезд на Кубу было лет пять, а Марсель только что родился.

Луис уловил ход его мысли:
— Артуро сейчас тридцать восемь, а Марселю тридцать три года. Оба успели закончить университет, стали инженерами. Но по специальности не работают — такой работы для них нет. Живут в Гаване, женаты, имеют детей: у Артуро сын и дочь, у Марселя, как и у нас с Эсперансой, два сына, но видимся нечасто. Внуков у себя не можем в гостях оставить — самим есть нечего. Живём очень бедно, сам видишь. Я стал кандидатом наук по автоматизации, а что толку? Институт закрыли, я оказался без работы. И знаешь, что спасло нас от голодной смерти? Та самая *Academia Nocturna de las Lenguas*

Extranjeras—вечерняя академия иностранных языков. СССР перестал нам помогать, Фидель был вынужден открыть довольно свободный въезд иностранных туристов из Канады, Англии, даже Соединённых Штатов. А кубинских экскурсоводов и переводчиков, знающих английский, было мало, и меня взяли гидом в турагентство. Работа не постоянная, но на сносную жизнь пока хватает. Пенсия у меня всего пять долларов в месяц, такая же у Эсперансы. Кубинские песо вообще ничего не стоят—все цены только в долларах и евро. На следующей неделе пообещали снова пригласить поработать с канадцами. Я вижу по глазам, ты чему-то удивляешься. Или смеёшься?—и Луис почти сердито потребовал:—*¿Qué te pasa? ¡Dime!* (Что с тобой? Говори!)
— *You won't believe me, but almost the same thing was with me,*—перешёл он на английский.—Не поверишь, но почти то же самое произошло со мной. Когда я ушёл на пенсию—а она у нас очень маленькая, в то время была бешеная инфляция и вовремя пенсию не платили,—мне тоже подвернулась работа переводчика на заводе цветных металлов с американцами. А потом мне помог кастельяно—я работал переводчиком с испанцами на строительстве завода керамической плитки. Испанская фирма «Ажемак» поставляла на него оборудование, и её специалисты вели шеф-монтаж и наладку технологических линий.

Он говорил это, а сам думал о другом: за столько лет Луис наверняка встречался с кем-то из Моа и со студентами языковой академии,—но что-то удерживало его задать вопрос напрямую—какая-то затаённая боязнь получить плохую весть. Но Луис улавливал настроение собеседника, как чуткий камертон, и увлечённо, явно стараясь показать своё знание чужого языка, стал говорить на английском:
— Я писал свою диссертацию на материале никелевого комбината в Моа, поэтому часто ездил в командировки туда и в Сантьяго. Всегда заходил к Хилтону, пока он работал в Моа,—к тому могучему негру из академии… Ко мне до сих пор изредка заезжают некоторые знакомые. Рене Бекерра—помнишь его, технолога из смесительного цеха?
— Ещё бы! Шахматиста и волейболиста. Он лучше всех говорил по-русски, мы были друзьями. Он мне писал иногда, а потом перестал отвечать на мои письма. Когда он у тебя был?
— Около года назад. У него в Сантьяго магазин—торгует вином, ромом, как его отец до революции. Дела идут неважно. А когда в Сантьяго приезжают русские туристы, он работает с ними переводчиком. Он мне сказал, что Карлос Бру с семьёй и ещё несколько семей хотели на рыбацкой шаланде бежать в Майами, но их нагнал пограничный катер и потопил. Помнишь его? Такой кудрявый, очень неопрятный. Он был влюблён в вашу Любу и всё время ждал её у туалета—просто поздороваться и посмотреть на неё. Все его родные жили в Майами, и он всегда мечтал с ними воссоединиться. Наверное, они до сих пор ждут его с женой и тремя детьми.
— Печальная история. Он мне ещё давал почитать дореволюционный учебник истории Кубы. А Максимо Монтойя и Мария—где они?
— Уехали в Чили через год после того, как генерал Пиночет перестал быть президентом. Мне об этом сказала Барбарина, преподавательница русского языка из нашей академии. Ты её, конечно, помнишь. Я случайно встретил её в Сантьяго лет пять назад напротив гостиницы, где я останавливался.

Наконец-то!.. Сердце у него учащённо забилось: вдруг Луис сможет сказать ему что-то о Карине? В его памяти Карина и Барбарина существовали всегда рядом. Но тут вошла Эсперанса с подносом и стала расставлять фужеры, рюмки и тарелки с нехитрой закуской. Ему невольно пришлось отвлечься на открывание бутылки с ромом. А потом в присутствии дамы участвовать в воспоминаниях о давней жизни в Моа, о переменах, происшедших в России и на Кубе за последние два десятилетия. Пришлось выслушать ему, косвенно виновному в распаде советской империи, упрёки в том, что уже несуществующий *la Unión Soviética* бросил маленькую Кубу, оставив наедине перед готовым проглотить её грозным и мстительным соседом—*los Estados Unidos*. И только когда Эсперанса унесла на кухню остатки скудного пиршества, кроме рома и тарелки с нарезанными апельсинами, он, снова перейдя на английский, напомнил Луису:
— *And what more did Barbarina tell you about our common friends and acquaintances from the academy?* (Что ещё рассказала тебе Барбарина о наших общих друзьях и знакомых из академии?)

Луис отвёл от него глаза и уставился на фужер с ананасовым соком, словно пытаясь вспомнить нечто важное. А когда снова посмотрел на него, ему показалось, что взгляд у него был виноватым.
— Я догадываюсь, кем ты интересуешься,—многие кубинцы знали, с кем ты встречался. Только мне бы не хотелось тебя огорчать. Барбарина сказала, что Каридад больше нет—она давно умерла, там же, в Сантьяго: отказали обе почки. Барбарина поинтересовалась, переписываюсь ли я с тобой. И попросила оповестить тебя так: *Penélope está muerta*—Пенелопа умерла. Вскоре я послал тебе письмо. И до сегодняшнего дня думал, что ты всё знаешь.

Лучше бы мне этого не слышать, подумал он отрешённо, чувствуя, как в груди что-то нарастает, расширяется, а в голове образуется странная пустота, сопровождаемая прозаическим размышлением: видно, к тому времени он разошёлся с прежней женой, ушёл из дома в том, во что был

одет, и письмо на непонятном языке попало ей в руки. А она не из тех, чтобы по пустякам выходить с ним на связь, если это не касается их дочери. Ему показалось, что он сейчас разразится слезами,—они плотным напором подступали к глазам, выдавливая их из орбит. И внезапно яркий свет озарил пустоту изнутри—и его стремительно и беззвучно понесло в мягкую темноту бесконечного тоннеля навстречу чему-то томительно неизвестному…

Роберт Рождественский

Радиус действия

● ● ●

Я верующим был.
Почти с рожденья
я верил с удивлённым наслажденьем
в счастливый свет
домов многооконных…
Весь город был в портретах,
как в иконах.
И крестные ходы—
по-районно—
несли
свои хоругви и знамёна…

А я писал, от радости шалея,
о том, как мудро смотрят с Мавзолея
на нас вожди «особого закала».
(Я мало знал.
И это помогало.)
Я усомниться в вере:
не пытался.

Стихи прошли.
А стыд за них
остался.

● ● ●

Есть радиусы действия
у гнева и у дерзости.
Есть радиусы действия
у правды и у лжи.
Есть радиусы действия
у подлости и злобы—
глухие
затаённые,
сулящие беду…
Есть радиусы действия
единственного слова.
А я всю жизнь ищу его.
И, может быть,
найду.

● ● ●

В поисках счастья, работы, гражданства
странный обычай
в России возник:
детям
у нас надоело рождаться,—
верят, что мы проживём
и без них.

● ● ●

В. Пескову

Кромсаем лёд,
меняем рек теченье,
твердим о том, что дел невпроворот…
Но мы ещё придём
просить прощенья
у этих рек,
барханов
и болот,
у самого гигантского
восхода,
у самого мельчайшего
малька…

Пока об этом
думать неохота.
Сейчас нам не до этого
пока.
Аэродромы,
пирсы
и перроны,
леса без птиц
и земли без воды…
Всё меньше—
окружающей природы.
Всё больше—
окружающей среды.

Василий Головачёв

Сюрприз для пастуха

Глава 1. Гости непрошеные

1. Попытка к бегству

Он знал, что преследователи где-то рядом, чуял всем телом их приближение и ничего не мог поделать. Их было много, и вооружены они были гораздо серьёзнее, чем он. Его пистолет против их излучателей казался зубочисткой против кинжала, и шансов уйти у него не было.

Тем не менее Крот попытался сманеврировать, чтобы вырваться за периметр облавы, который в данном случае представлял собой условную границу Москвы с Московской областью, то есть кольцевую автодорогу.

Он вышел из такси у поста ДПС, отвлёк внимание инспектора, собиравшегося сесть в бело-синий полицейский «Форд» с мигалками на крыше, заставил его — пристально глядя в глаза — отправиться в туалет, сел в машину и беспрепятственно выехал на Волоколамское шоссе.

Однако доехать до МКАД он не успел.

На светофоре за Сходненским мостом его с воем, по встречной полосе, обогнал джип «Инфинити RX-666» небывало яркого красного цвета и резко подал вправо, подрезая машину ДПС.

Крот знал, что преследователи не остановятся ни перед чем, так как имевшаяся у него информация была сродни атомной бомбе. Поэтому они не могли допустить утечки и блокировали беглеца с одной-единственной целью — ликвидировать! А ответить им он мог только выстрелом из пистолета, в данных обстоятельствах не игравшего никакой роли.

«Форд» вильнул вправо, врезался в серебристую «Мазду», мчавшуюся по соседней полосе. Его отбросило назад, влево, и он вломился прямо в передний бампер алого джипа, так что выскочившие из него чёрные фигуры посыпались в разные стороны, как кегли.

Раздались вопли автомобильных сирен, скрежет тормозов, удары, крики.

В остановившиеся машины въехал мусоровоз. Остальные участники дорожного движения начали тормозить, пытаясь объехать растущий затор.

Крот рванул «Форд» назад, врезаясь в развернувшийся боком мусоровоз, со скрежетом раздвинул «Инфинити» и чёрный «бумер», газанул, уворачиваясь от ещё одного «Инфинити», золотистого цвета, с тонированными стёклами, попытавшегося сбить его на ходу.

Однако остановившийся поток автомашин помешал ему, вынуждая джип сдать назад.

«Форд» ДПС вильнул в одну сторону, в другую, развернулся под светофором, где у тумбы стоял, открыв рот, растерявшийся регулировщик движения, не понимающий, что происходит, и помчался назад, к мосту.

Третью машину преследователей Крот заметил спустя несколько мгновений, когда по дверце слева вдруг словно сыпануло металлическим горохом: это открыли стрельбу из третьего джипа «Инфинити», теперь уже чёрного цвета, вырвавшегося из ряда машин слева, что выезжали из города, за МКАД.

Он резко крутанул руль вправо, в переулок за мостом, совершенно не представляя, куда выведет его эта дорога.

Асфальтовая лента вильнула правее, мелькнули глухие заборы, ворота, ветхое двухэтажное здание, башня слева, и покорёженный «Форд» выехал снова на Волоколамское шоссе, почти к тому месту, где минуту назад произошло столкновение.

Постовой к этому моменту успел разобраться с происшествием и перекрыл движение в обе стороны шоссе, что освободило дорогу между потоками.

Крот бросил машину в эту щель, заметил, что алый «Инфинити» выезжает справа ему наперерез, пересёк шоссе и нырнул в улочку, отходящую от шоссе вправо, не имевшую никаких указателей.

К сожалению, улица закончилась тупиком, вильнув перед железнодорожными путями. Ехать дальше было некуда.

Он понял, что надежд уйти от погони не осталось никаких. И даже если удастся перебежать пути, скрыться от преследователей будет очень сложно, если вообще возможно, так как расположения зданий и улиц этой части столицы он не знал. Бегство уже, по сути, являлось актом отчаяния, после того как выяснилось, что его вычислили.

Файл! — мелькнуло в голове. Немедленно сбросить! Чтобы никто и не догадался, какая информация может всплыть, радикально меняя узор

социума. Какие головы полетят! Какие политики упадут в пропасть!

Но кому передать? Кто воспримет, а главное, воспользуется материалом? У кого достанет смелости вбросить информацию в Сеть после того, как одного руководителя «Викиликс» убили, второго засудили, а остальных функционеров взяли под контроль спецслужбы? Кто из существующих вольнодумцев воспримет полученный файл правильно?

«Форд» окончательно упёрся в забор. Справа открылся узкий проход между забором и грудой шпал.

Крот рванул машину туда, надеясь выиграть несколько драгоценных секунд.

Ноябрь в этом году выдался бесснежным, и колея выдать его не могла.

Машина заглохла.

Крот вытащил из сумки, с которой не расставался, новый айпод, включил, посматривая в зеркальце заднего вида, лихорадочно набрал программу имейла. Программа должна была найти несколько работающих имён электронной почты, так как сам Крот их просто не помнил.

Где-то взвыли двигатели приближающихся джипов.

Экран айпода выдал три номера.

Крот перегнал файл с диска в ноут и отправил сразу по трём адресам, представившись психолингвистом, доктором наук, специалистом в области контактов с инопланетным разумом. Что было не так уж и далеко от истины.

Когда джипы «Инфинити» — алый, золотой и чёрный — выскочили к железнодорожной ветке, работа была закончена.

Крот оглянулся, глядя на бросившиеся к «Форду» гурьбой чёрные фигуры в масках, насмешливо улыбнулся (приятных снов, господа киллеры) и ткнул пальцем в клавишу «Backspace». Прижал к груди ноут.

Подбежавший первым гигант в камуфляже, с глазами-щёлочками, рванул дверцу машины.

Раздался взрыв!

2. Ватшин

Утро выдалось ясным, солнечным и очень морозным, отчего машина завелась с трудом; Ватшин надеялся, что со следующего гонорара обязательно сменит свой старенький кроссовер «Ниссан Сан» на новую машину.

Тем не менее настроение, несмотря на мороз, у него было хорошее, он собирался подписать у издателя договор на дополнительный тираж романа, и в издательство Ватшин ехал с удовольствием.

Встретили его, как и всегда, с видимым почтением. Всё-таки в свои двадцать восемь он уже стал одним из лидеров «новой волны», приносящих неплохой доход издательству, и книги Ватшина, в том числе электронного и аудиоформата, расходились быстро.

Заведующий редакцией фантастики Николай Быстрович принял Ватшина как дорогого гостя, с распростёртыми объятиями.

— Кофе, Константин Венедиктович?

— Неплохо бы, — солидно кивнул Ватшин, начиная привыкать к тому, что его стали величать по отчеству.

— Наташа, свари кофейку гостю, пожалуйста, — попросил Быстрович одну из редактрис. — Со сливками, без, Константин Бенедиктович?

— Со сливками.

— Две порции со сливками.

Симпатичная Наташа принесла чашечку кофе, сахар, печенье и орехи: она хорошо знала вкусы писателя, навещавшего редакцию достаточно часто.

— Первый тираж практически ушёл, — подвинул чашку к себе Быстрович, бывший спортсмен-волейболист, выглядевший в свои пятьдесят едва ли не моложе Ватшина. — Это здорово! Готов пролонгировать договор на тех же условиях.

— Рад, — сказал Ватшин, беря в руки чашку, над которой всплыл ароматный дымок. — Не думал, что читатели ринутся в магазины. Думал, что все подсели на айподы и ридеры.

— Больно уж тема одиозная, — усмехнулся Быстрович. — О пришельцах сегодня не говорит только ленивый, но вам удалось найти очень неожиданный поворот. Откуда взялась идея, Константин Венедиктович? Поделитесь, если не секрет.

Ватшин вспомнил, как почти год назад неожиданно получил по электронной почте странное послание.

Неизвестный корреспондент, представившийся учёным-психолингвистом Кротовым, предложил ему свою теорию, подкреплённую якобы удивительными фактами, и попросил предать этот материал огласке. А поскольку текст послания и в самом деле оказался любопытным, Ватшин и использовал его по своему усмотрению, написав фантастический роман «Никому не верьте» — о присутствии на Земле уже многие тысячи лет пришельцев, маскирующихся под людей. Рука у него была лёгкая, перо, как говорится, разбежалось, и роман, изданный одним из самых крупных издательств России «Недетская литература», разлетелся в течение недели. После чего Ватшина и пригласили в издательство для подписания допсоглашения.

Учёного Кротова он потом, побродив по Интернету, так и не нашёл в списках докторов наук Википедии. Википедия «знала» многих учёных с фамилией Кротов, но ни один из них не занимался проблемой контактов с иными цивилизациями и не изучал следы пришельцев на Земле.

Впрочем, по мнению самого Ватшина, ему скинул материал кто-то из читателей, кому нравились

его произведения, а представиться он постеснялся. Робкий был читатель.

— Идеи летают в воздухе,— пожал Ватшин плечами.— Надо только войти в резонанс с той, которая тебя затронула. Мне это удалось.

— Хорошая идея,— понимающе кивнул редактор.— Давно я не читал фантастику о пришельцах с удовольствием. Будете развивать тему?

— Да, есть такая возможность,— сказал Ватшин.

— А вы сами верите в то, что пишете?— спросил вдруг Быстрович с любопытством.

— Как вам сказать…

— Неужели они и в самом деле живут среди нас?

— Не только живут, но и управляют нами,— заявил Ватшин уверенно, на самом деле этой самой уверенности не испытывая.

— Честное слово, я отношусь к таким идеям скептически. Хотя многим тема нравится, иначе действительно читатели не покупали бы книги. А фильм не хотите поставить? Я слышал, вы пишете сценарий.

— Написал,— признался Ватшин.— Попробую заинтересовать кинематографистов.

— Киномафию сложно заинтересовать,— засмеялся Быстрович, поднимая чашку.— Успеха вам.

— Спасибо.

— Что ж, давайте подписывать договор.

Ватшин допил кофе и придвинул к себе листок бумаги с условиями пролонгации.

3. Нейтрализовать немедленно!

Вызов к Главному в принципе ничего особенного не представлял, и всё же Носихин почувствовал странное неприятие распоряжения, переданного ему не напрямую, а через секретаря. С одной стороны, это могло означать рост доверия к Носихину как к аналитику СМИ и литературного цеха со стороны аппарата Главного, с другой — несло оттенок «вызова на ковёр», как говорили в России. Носихин знал множество русских идиом и поговорок, хотя работал на Земле в качестве модератора-аналитика всего полгода, и настоящее его имя было трудно произнести на любом земном языке.

На всякий случай он позвонил своему непосредственному руководителю Кореневу:

— Михал Михалыч, меня вызвали к патрону.

— Меня тоже,— сухо ответил начальник контрольного департамента Управления Внедрения, занимавший официально должность заместителя директора Московской газовой биржи.— Не опаздывайте.

— Слушаюсь,— вытянулся Носихин, ощутив холодок между спинными буграми.

Судя по тону Коренева, вызов к Главному ничего хорошего не сулил.

Путь из офиса в Малом Козихинском переулке до здания биржы на Берсеневской набережной, в которой располагался аппарат Главного, занял больше часа: в Москву, несмотря на принимаемые антипробочные меры, снова вернулись пробки.

В приёмной Главного, занимавшего официальный пост заместителя мэра Москвы по ВИП-строительству, Носихин оказался вместе с Кореневым.

— Здрасьте,— сказал он совсем по-земному, хотя человеком не был, скрывая истинный свой облик под маской, генерируемой аппаратом динамической голографии.

Впрочем, сущность, маскирующаяся под обликом Коренева, тоже не родилась человеком и вынуждена была пользоваться таким же маскером. Настоящий Михаил Михайлович Коренев, доросший до поста заместителя директора Московской газовой биржи, отказался работать с потомками «ящеров», которые уже много тысяч лет пытались подчинить себе земной социум, и его пришлось заменить «проекцией», не отличающейся от живого человека.

У «ящеров», обосновавшихся в России, имелись и конкуренты — герпы, змеелюди, также прибиравшие к рукам государственные и коммерческие структуры. До войн не доходило, однако противостояние было напряжённым, и сторонники тех или других часто гибли в дорожных авариях и автокатастрофах. Недаром в земном фольклоре существовало столько легенд и мифов о драконах, змеелюдях и «лохнесских чудовищах», которые уходили корнями в седую древность, когда на Земле начали высаживаться первые полугуманоиды — ящеролюди, змеелюди, птицесапиенсы и прочие нелюди, воевавшие, кстати, между собой за право контролировать человечество.

— Добрый день,— угрюмо отозвался Коренев, не протягивая руки (вернее, лапы, потому что конечности ящеролюдей отличались от человеческих); глянул на секретаршу Главного:— Арнольд Метаксович у себя?

— Ждёт,— надела на лицо вежливую полуулыбку секретарша Моника, на самом деле представлявшая собой телохранителя Главного и так же, как и он, вынужденная носить маскер.

В приёмной дожидались вызова начальника несколько посетителей, абсолютно не догадывающихся об истинном положении вещей, поэтому нелюди должны были вести себя естественно, как люди.

Коренев движением бровей остановил своего помощника-телохранителя Дылду, с которым не расставался ни днём, ни ночью, вошёл в кабинет.

Носихин последовал за ним.

Им навстречу шагнул заместитель Главного, лысоватый, бледнолицый, с головой огурцом. Он тоже был «своим», но не подал виду, прошагал мимо, кивнув, как старым знакомым.

Главный восседал за огромным рабочим столом, на котором можно было, наверное, играть

в теннис, и смотрел на прозрачно-светящийся объём монитора. Он был громаден, как борец сумо, и выглядел как борец сумо — особенно зализанными назад и связанными в пучок на затылке длинными волосами. Лицо его, мощное, бугристое, смуглое, с выпуклыми надбровьями и неожиданно круглым «детским» подбородком, выражало брюзгливо-неприветливое ожидание.

— Садитесь, — повернулся он к гостям.

Они сели по обе стороны маленького столика, приткнувшегося к большому.

— Докладывайте.

— Что? — не понял Носихин.

Главный кинул вспыхнувший угрозой взгляд на Коренева.

— Разобрались?

— Произошла утечка информации, — ровным голосом заговорил Коренев. — Крот успел-таки сбросить разведданные, о чём мы узнали… — он покосился на Носихина, — недавно.

— Крот же убит! — заикнулся Носихин.

Коренев посмотрел на него, как лягушка на порхавшую над болотом стрекозу.

— Это был твой подопечный, Иван Кирович. К сожалению, ему удалось сбросить файлы по нескольким адресам, а узнали мы об этом только сегодня.

Коренев достал из дипломата книгу в яркой обложке, кинул на стол перед Носихиным.

— Что это? — Носихин взял книгу, прочитал имя автора: «Ватшин» — и название: «Никому не верьте».

— То, что не должно было появиться на свет ни под каким соусом! — тяжело проговорил Главный.

Носихин взял книгу, открыл, пренебрежительно хмыкнул:

— Но это же фантастический роман.

— Только данное обстоятельство и сохраняет вам жизнь, Иван Кирович, — сказал Коренев. — Судя по всему, Крот сдал имевшиеся у него сведения не партнёрам российского отделения «Викиликс», а писателю Ватшину, который использовал материал для создания романа.

Носихин позеленел:

— Не может быть!

— Прекратите блеять козлом! — ощерился Главный. — Доказательства у вас в руках, а вы даже не удосужились проанализировать материал, не говоря о последствиях вброса.

— Мы не занимаемся фантастикой…

— А должны! — громадная мясистая ладонь Главного с треском влипла в столешницу, так что Носихин подскочил на стуле. — В романе засвечены практически все наши дела, связи, планы и чуть ли не список партнёров по всей России. Представляете, если анализом книги займутся спецы ФСБ?

— Там наши люди…

— Идиот! — Коренев достал излучатель, похожий на четырёхствольный травматический пистолет «Оса».

Главный отрицательно повёл рукой:

— Не надо, Михал Михалыч, рано. Пусть поработает над ошибками, дадим ему шанс.

— Э-э-э… — выдавил Носихин хрипло, покрываясь липкой плёнкой пота.

Коренев спрятал излучатель.

— Читайте, Иван Кирович, делайте выводы. Тираж книги — сто тысяч экземпляров. Автор подписал с издательством допсоглашение ещё на двадцать пять тысяч. Договор нейтрализовать! Тираж изъять из магазинов! Автора… тоже нейтрализовать, чтобы не вздумал продолжать тему; материал Крота уничтожить!

— Я в-всё с-сделаю, — прыгающими губами пообещал Носихин. — З-завтра… с-сегодня же.

— Идите! Данные на Ватшина получите почтой.

Носихин встал и вышел на подгибающихся ногах, вдруг осознав, что был на волосок от гибели. И всё из-за какого-то писателишки, посмевшего выпустить джинна из бутылки. Ну, погоди, фантаст долбаный, ты у меня попляшешь!

В кабинете двое нелюдей посмотрели друг на друга, скинув маски, став на несколько секунд теми, кем и были, — ящеролюдьми.

— Если не справится — уберите, — сказал Главный на галактическом эсперанто.

— Без проблем.

— Как вы думаете, Зишта Драгон, — назвал Главный родовое имя Коренева, точнее, сущности, которая давно играла роль Коренева, — наши злейшие друзья герпы знают о послании Крота? Или это именно они приложили к делу свою лапу?

— Выясним, Шамшур Ашшурбазипал. К сожалению, вылезла ещё одна проблема. Похоже, индивид, игравший в карты в нашей компании… вернее, в компании моего носителя…

— Настоящего Коренева?

— Так точно. В общем, математик Уваров — скорее всего, — Коренев выдержал паузу, — хроник.

Главный изменился в лице, снова превращаясь в потомка ящера.

— Вы уверены?!

— Мы собираемся встречаться в пятницу. Попробую проверить. Но сначала разберусь с писателем.

— Хорошо, — Главный потёр глыбистый череп. — Лишь бы вашего хроника не перехватили герпы или того хуже — новые русские пограничники.

— Они называют себя анксами — антиксенотиками.

— Только без шума.

— Сделаю всё возможное.

Коренев поднялся и «застегнул» лицо на «официальные пуговицы», становясь человеком.

4. Судьба изменчива

Утром, за кофе, которое Ватшин сварил сам, они с женой обсудили планы ближайшие, до Нового года, и перспективные — на лето следующего года.

Новый год решили встретить на даче под Апрелевкой, с друзьями, если они согласятся, или втроём с мамой Константина, если никто к ним больше не присоединится.

— Куплю машину,—заявил Ватшин.—Эта кряхтит, как старая бабка, десять лет уже отъездила.

— Давно пора,—согласилась Люся, из шатенки недавно перекрасившаяся в платиновую блондинку.

Она работала в муниципалитете Юго-Западного района, закончив институт народного хозяйства, и перспективы подняться выше по служебной лестнице были у неё хорошие.

— Подобрал уже?

— Хочу кроссовер «Импрезу».

— Дорогой? Не забывай, мы хотели поменять квартиру.

— Поменяем, но чуть позже. Мой сценарий сейчас читают в кинокомпании «Три Д», и как только возьмут, наши мечты приобретут базу.

— Ты у меня гений!

Люся чмокнула мужа в щёку и убежала в спальню переодеваться. На работу она предпочитала не опаздывать, поэтому выходила из дома рано, в начале восьмого.

Ватшин допил кофе, помыл посуду и сел в своём крошечном кабинетике за рабочий стол. До одиннадцати он священнодействовал—«творил вселенные», как говорила жена друзьям. После одиннадцати снова пил кофе и ехал по делам, если таковые появлялись вне литературного процесса, либо снова садился за компьютер и писал дальше.

Но в этот зимний день конца ноября судьба повернулась к нему другим боком, отчего мечты купить машину и поехать летом на море растаяли как дым.

В десять часов внезапно позвонил редактор.

— Константин Венедиктович, тут такое дело…— в голосе Быстровича вдруг прорезались виноватые нотки.

— Готов обсудить,—бодро отозвался Ватшин, не выказывая удивления: во-первых, Быстрович звонил ему редко, чаще они контактировали по скайпу, во-вторых, никогда раньше не выражал своих чувств.

— Мы решили пока не допечатывать ваш роман.

Кровь бросилась Ватшину в лицо.

— Н-ну, это конечно,—промямлил он, не находя слов.—Я понимаю, раз так… а что случилось?

— Вчера мы долго совещались с генеральным. Книги объективно продаются всё хуже и хуже, ваш успех локален, тенденции снижения углубляются, и рисковать директор не хочет. Год закончится, посмотрим на продажи, на развитие рынка и тогда вернёмся к этому вопросу.

— Но мы же… это… подписали…

— Я готов выплатить компенсацию,—поспешно сказал Быстрович.

— Разумеется, спасибо, конечно, понимаю… Но, может, в электронном формате?

— Решено пока вообще закрыть тему. Мы ещё не продали тираж «СиДи», и как только продадим, заключим новый договор.

— Ладно, я понял,—пробормотал расстроившийся до глубины души Константин, подумал: вот тебе и машина, и квартира, и отдых в Египте.

— Кстати, один мой хороший знакомый,—добавил редактор,—хотел бы с вами поговорить о вашем романе. Он его очень заинтересовал.

— Хорошо, пусть позвонит. Или дайте ему мой имейл.

— Он позвонит и подъедет. Зовут его Иван Петрович, я его знаю давно, очень хороший человек.

Ватшин выключил телефон. В голове плыл туман разочарования, хотелось материться и грозить кулаком небесам. Но он только сжал зубы и с усилием вернулся к работе. Долго переживать по поводу неудач было не в его характере.

Знакомый Быстровича позвонил через десять минут, словно ждал момента, когда Ватшин успокоится.

— Мне сказали, что с вами можно связаться. Я Иван Петрович.

— А-а, да, конечно,—вздохнул Константин.—Вы действительно хотите поговорить со мной о романе?

— Да, очень.

— С какой целью? Вы издатель?

— Нет, я работаю в другой структуре. Может, слышали о ФСБ?

— Эф… эс…— до Ватшина дошло:—Вы работаете в Федеральной… э-э…

— Службе безопасности. Найдёте для меня несколько минут?

Сбитый с толку Ватшин почесал в затылке:

— Не понимаю, чем я могу быть вам полезен.

— Могу подъехать к вам домой, либо встретимся на нейтральной территории.

Ватшин подумал о соседях.

— Лучше на нейтральной.

— Кафе «Гостинец» на Ремизова вас устроит?

Кафе располагалось в десяти минутах ходьбы от дома—сам Ватшин жил на Севастопольском проспекте,—и он оценил корректность собеседника.

— Вполне, я подойду.

— Через час.

— Хорошо. Как я вас узнаю?

— Достаточно того, что я вас узнаю.

Разговор прервался.

Ватшин скушал мятную пастилку, походил кругами по квартире, размышляя о странном желании чекиста поговорить с ним о новом романе, потом начал собираться.

В кафе он заявился за двадцать минут до назначенного срока. Заказал бокал яблочного сидра, закурил, огляделся.

Народу в зале было немного, будний день, по сути, только начался, и официанты по залу

передвигались неторопливо. Заняты были только три столика. Да за четвёртый у окна как раз рассаживалась компания в количестве троих посетителей: двое мужчин и женщина в деловом костюмчике.

Не найдя того, кто, по его мнению, подходил бы к облику сотрудника ФСБ, Ватшин углубился в изучение меню, но его отвлекли.

Мужчина в тёмно-синем свитере, один из двоих в новой компании, моложавый, с твёрдым непроницаемым лицом и ёжиком густых волос, вдруг подошёл к нему, взялся за спинку стула:
— Разрешите?

Ватшин удивлённо поднял голову. По внутренним оценкам, он ждал другого человека.
— Вы…
— Иван Петрович.
— Присаживайтесь.

Мужчина сел, оценивающе разглядывая Константина.
— Я слышал о вас много хорошего.
— Спасибо, хотя много — вряд ли, — слабо улыбнулся Ватшин. — Вы в самом деле работаете в комитете?

Иван Петрович достал малиновую книжечку с золотым тиснением «Федеральная служба безопасности Российской Федерации», раскрыл:
— В самом деле.
— И чем же я заинтересовал вашу службу?

Иван Петрович пальцем подозвал официанта:
— Кофе, пожалуйста, с лимоном, — повернулся к Ватшину: — Николай Леонидович похвалил вашу книгу. Скажите, откуда у вас столько необычных и точных сведений о существовании на Земле ксенотиков? Кстати, почему вы назвали пришельцев, живущих среди нас, ксенотиками?

Ватшин чуть было не ляпнул: так их назвал учёный по фамилии Кротов, приславший ему свои размышления о пришельцах.
— Понравилось название… от латинского xenos — чужой.
— И как давно вы пишете такие вещи?
— Этот роман первый, — признался Ватшин. — Хотя материала очень много, хватит на целый цикл.
— Значит, у вас есть какой-то материал? Чей? Ваш? Или кто-то вам передал данные?

Ватшин понял, что проговорился. Он заглянул в глаза собеседнику, умные и понимающие, а главное — располагающие к откровению.
— Если честно, я получил послание от одного учёного… почти год назад.
— Учёного?
— Он так представился: доктор наук, психолингвист Кротов, специалист по контактам со внеземными… э-э… цивилизациями.

Иван Петрович улыбнулся:
— Всеобъемлющая характеристика.
— Я подумал, что это расстарался кто-то из моих читателей. Я, знаете ли, веду блог, куда приходят пользователи…
— Я в курсе. Хотелось бы взглянуть на послание вашего приятеля.
— Да, конечно, в любое время.
— А прямо сейчас и сходим, если не возражаете, только кофе допью.
— Пожалуйста.

Иван Петрович встал, подошёл к спутникам, с которыми появился в кафе, что-то им сказал и вернулся. Взялся за чашку кофе.
— Ещё два вопроса.
— Слушаю.
— Кроме Николая Леонидовича, вы ни с кем больше не беседовали о послании этого… м-м… читателя?
— С женой, — Ватшин подумал. — И всё, пожалуй.
— А в этом послании не прозвучало слово «хроник»?

Ватшин снова задумался.
— По-моему, что-то было… автор кого-то называл хрониками… да вы сами всё прочитаете.

Они оделись, вышли в морозный ноябрьский день, добрались до дома Константина.

Он включил компьютер… и кровь бросилась ему в лицо.
— Не понимаю…
— Что случилось? — склонился над столом гость.
— Записи нет!
— Проверьте.
— Сами посмотрите: файл лежал у меня в информационном блоке «Документы». Но его там нет!
— Поищите в других разделах диска.

Пальцы Ватшина лихорадочно забегали по клавиатуре.
— Нигде нет! Да я и не записывал его в других форматах.

Иван Петрович с любопытством заглянул в раствор объёмного монитора, перевёл взгляд на потное красное лицо писателя, сказал мягко:
— Да вы успокойтесь, Константин Венедиктович. Вспомните: к вам никто не заходил? Друзья, родственники, знакомые?
— Конечно, заходили, и не раз. Десять месяцев прошло с того дня. Я-то наизусть почти помню, не было надобности открывать файл часто. А вы что, подозреваете кого-нибудь в…
— Никого не подозреваю. Есть факт, требующий осмысления. Неужели вы не сбросили послание на отдельный диск или на флешку?
— Ч-чёрт! — Ватшин хлопнул себя ладонью по лбу. — Конечно, я сделал копию.

Он начал копаться в этажерке дисков, залез в стол, сбегал в спальню, вернулся, бледный и растерянный.
— Не могу найти.

Иван Петрович покачал головой:

— Сядьте, успокойтесь. Давайте вспоминать, кто у вас был в последнее время в кабинете. Можно, я приглашу одного товарища с аппаратурой? Он поищет следы гостей… непрошеных.
— Приглашайте,—махнул рукой расстроенный Ватшин.

Иван Петрович вынул айком.
— Солома, кликни Дэна и подъезжай с ним к писателю Ватшину на Севастопольский, дом сорок три.

Ватшин начал искать диск снова, более тщательно, однако все его усилия оказались тщетными. Единственное, что он обнаружил, было отсутствие должного порядка в кабинете.

Книги стояли ровно, но не так, как прежде, диски и флешки лежали с виду в тех же позициях, но не в той последовательности, в какой он их хранил.
— Здесь кто-то копался…
— Я это уже понял,—сказал Иван Петрович.— Время у вас есть?
— Да я никуда не собирался.
— Тогда давайте поговорим о послании, пока придут мои парни. Вы даже не представляете, какой силы материал получили.
— Почему же? Интересная гипотеза.
— Это не гипотеза, это реальность, уважаемый Константин Венедиктович. Я не знаю, почему носители чужой этики—те самые ксенотики, как мы их называем, допустили просачивание суперважнейшей информации в эфир, пусть и в виде фантастического романа, однако это произошло, и, боюсь, вы теперь представляете для них нешуточную опасность. А они люди серьёзные, точнее, нелюди, и не остановятся ни перед чем, чтобы остановить утечку. То, что директор издательства отказался печатать доптираж вашего романа, только первая ласточка.
— Но я же ничего плохого не сделал,—наивно воскликнул Ватшин.
— Какая разница? Для них это дела не меняет. Мы поможем вам, но и вам теперь придётся рассчитывать каждый свой шаг.

В дверь позвонили.

5. *Его надо охранять*

Заместитель директора ФСБ Феофан Свиридович Кузьмичёв имел интеллигентнейший вид и походил скорее на дирижёра симфонического оркестра, нежели на адепта секретной службы. Волосы он зачёсывал назад, носил очки и слушал собеседника с благожелательным выражением лица, как учитель ученика.

В кабинете, кроме него, находились ещё трое посетителей: двое мужчин в строгих костюмах и полная женщина в малиновой кофте и юбке почти такого же цвета.

Гордеев остановился на пороге.
— Проходите, садитесь,—сказал Кузьмичёв с мягкой непреклонностью.

Гордеев поздоровался со всеми одновременно, сел, положив перед собой на стол чёрную папочку.
— Докладывайте.
— Они опередили нас.
— Подробнее.
— К великому сожалению, наши аналитики пропустили роман Ватшина «Никому не верьте», где раскрываются многие тайны ксенотиков. Сами ксенотики тоже прохлопали ушами, судя по внезапному появлению романа. Но мы отстали и от них. Нелюди начали заметать следы.
— Замели?
— Не успели. У Ватшина исчезли все записи и черновики романа, а также файл, присланный ему небезызвестным нам Кротом, сотрудником российского отдела «Викиликс». Кстати, своё послание он подписал фамилией Кротов.

Мужчина, сидевший напротив Гордеева, осанистый, круглоплечий, с породистым важным лицом, шевельнулся, но, заметив взгляд Ивана Петровича, застыл как монумент, пробормотав:
— Неумно.
— Видимо, он торопился, но успел перед гибелью сбросить файл Ватшину. Возможно, и не ему одному.
— Ищите,—проговорил Кузьмичёв.
— Ищем. Ватшин по памяти воссоздал текст послания, мы его проанализировали и пришли к выводу, что Крот,—Гордеев помолчал,—был хроником.

В кабинете стало совсем тихо.

Четыре пары глаз упёрлись в лицо начальника внутренней службы безопасности.
— Зачем же они его убили?—после паузы спросил Кузьмичёв.
— По всей видимости, он сам себя взорвал, когда понял, что не может уйти от погони. Но самое интересное, что у Крота был знакомый—и тоже хроник, судя по всему.
— Кто?
— Один математик, фамилия—Уваров. Мы его сейчас интенсивно ищем.
— Ищите быстрей, мы должны выйти на него раньше, чем они. Если только это не вброс дезы. И учтите ещё один нюанс: ваш писатель Ватшин в большой опасности, его надо охранять.
— Разумеется, мы это планируем.—Гордеев внезапно достал пистолет, направил ствол на того же мужчину напротив, который снова шевельнулся:—Что это вы заёрзали, Иакинф Еремеевич? Услышали что-то новое? Хотите доложить об этом боссу? Кстати, кто он у вас, под какой личиной прячется? Не депутат Госдумы, случаем? Министр? Или бизнесмен?

Мужчина с холёным гладким лицом побледнел, пальцы руки его, взявшейся за борт пиджака, скрючились.
— Что за шутки, Иван Петрович?
— Солома!—позвал Гордеев.

В кабинет вошли двое парней: улыбающийся круглолицый блондин с выгоревшими до цвета соломы волосами и сероглазый, крепкого телосложения шатен.

— Знакомьтесь, милостивые судари и сударыни,— сказал Гордеев, качнув стволом пистолета.— Агент ксеноразведки одной из популяций гадов на нашей планете, а именно — ящеролюдей. Мы давно следили за ним, взяли его телохрана, допросили, узнали очень много интересного. Сами расскажете, *Шииззинх?* — последнее слово Гордеев произнёс с шипением, будто по полу и в самом деле проползла огромная змея.— Так вас зовут соплеменники? Или пойдём по более сложному пути?

— Йа ф-фвасс…— выговорил Иакинф Еремеевич как бы по-русски — и в то же время не по-человечески; в структуре ФСБ он занимал должность начальника департамента связи с общественностью.

— Понятно: значит, по-плохому. Уведите.

Блондин и его напарник рывком подняли *чужого* из кресла, споро вывели из кабинета.

— Доказательства есть? — вопросительно подняла брови женщина.— Я знаю Иакинфа давно, верила ему.

— Сколько угодно,— раскрыл папку Гордеев.

6. «Застава»

До Нового года больше ничего особенного не произошло.

Новый знакомый Ватшина из ФСБ (Константин даже похвастался друзьям, что у него появился такой необычный приятель) дважды звонил Константину, а однажды даже заехал к нему домой в отсутствие жены, задал много разных вопросов и уехал, попросив писателя докладывать о своих встречах и предупреждать о выездах, особенно — за пределы Москвы.

Жене Иван Петрович посоветовал пока не говорить о том, что произошло.

— Женщины реагируют на подобные реалии иногда парадоксально,— сказал он.— Даже вы не сразу поверили в истинность существования ксенотиков, о которых написали целый роман. А уж доверь эту информацию женщине — и скоро все её подруги будут знать об этом.

Ватшин согласился с доводами чекиста. Люся не была болтушкой, но секреты в её красивой головке не задерживались долго. Это он уже выяснил.

Конечно, она расстроилась, узнав об отказе издательского начальства пролонгировать договор.

— С машиной теперь придётся повременить,— заявила она в тот же вечер, когда Ватшин узнал о существовании целой системы живущих на Земле инопланетян.

— И с машиной, и с квартирой,— со вздохом подтвердил он.

— А на море поедем?

— На море поедем. Я начинаю писать повесть, сдам в марте, и у нас будут необходимые финансы. И вообще — не в деньгах счастье.

— Но очень хотелось бы в этом убедиться лично,— грустно пошутила жена.

О том, что у мужа появились «секретные» знакомые, она так и не узнала.

Встречались Ватшин с Иваном Петровичем либо у него дома, когда Люся уходила на работу, либо в других местах.

Как-то он задал вопрос чекисту, вдруг сообразив, что ФСБ занимается проблемой пришельцев всерьёз:

— Как вы-то узнали о кознях ксенотиков? Вам ведь никто сведений о них не передавал по электронке?

Иван Петрович рассмеялся:

— Факты присутствия на Земле инопланетян известны с седой древности. А заниматься ими всерьёз начали только в середине прошлого века. Сначала американцы, потом мы. Накопилось очень много свидетельств их существования, что не позволяет сбросить всё на фантазии контактёров и очевидцев.

— Я читал, в России есть Общество по контактам.

— Эта структура создана самими ксенотиками для отвода глаз и выпуска пара, чтобы люди перестали верить в идею контакта окончательно. Мы занимаемся ими на другом уровне.

— Говорят, в секретных лабораториях КГБ… ФСБ лежат останки пилотов НЛО.

— Пусть говорят,— усмехнулся Иван Петрович.

— А на самом деле?

— Пилотов не видел, остатки НЛО видел.

— А где их нашли?

— Если вас это действительно интересует, как-нибудь поговорим об этом.

Однако больше они эту тему не поднимали, хотя любопытство Ватшина удовлетворено не было и он жаждал узнать о «земных» инопланетянах больше. Хотелось также выяснить, кто заинтересован в молчании Константина как писателя, не считая главного редактора издательства, которому, очевидно, пригрозили неведомые ксенотики, но Иван Петрович не стал распространяться и на эту тему.

— Узнаете в своё время,— сказал он.— Прошу только вовремя докладывать мне о подозрительных встречах, звонках и даже взглядах.

Встреч за месяц с небольшим так и не случилось, а взгляды Ватшин замечал, хотя докладывать об этом стеснялся.

Тридцатого декабря они с женой набили багажник машины продуктами, всунули на заднее сиденье купленную ёлочку и поехали на дачу, договорившись с друзьями, однокашниками Константина, что те с жёнами подъедут тридцать первого.

К сожалению, погода с точки зрения водителей выдалась в этот день отвратительная: тучи заволокли небо, пошёл снег, и ветер создал из него метель.

Видимость снизилась до десятка метров, что не позволяло участникам движения ехать быстро.

Выбрались за МКАД.

— Может, вернёмся?—робко предложила Люся.

— Нам ехать-то всего тридцать километров,—возразил упрямый Ватшин.—Доберёмся как-нибудь за час.

Однако не добрались.

Через полчаса, за поворотом на Анкудиново, свернули с Киевского шоссе направо и тут же остановились, потому что идущая следом машина—чёрный джип «Магнум»—вдруг обогнала «Ниссан» Ватшиных и круто вильнула вправо, преграждая ему путь.

— Ах ты, лох зелёный!—нажал на педаль тормоза Константин.

Вскрикнула Люся.

Автомобиль занесло на заснеженном асфальте, и он опрокинулся набок в кювет.

К счастью, удар пришёлся на снежный вал, и «Ниссан» почти не пострадал. Только вдавилась дверца со стороны пассажирского сиденья да стекло дверцы покрылось трещинами.

Пока он ворочался в петле ремня безопасности, освобождаясь, чьи-то руки рванули дверцу с его стороны, ухватили за плечи, за шею.

— Вылазь, писатель! Швыдчей!

Ватшин ухитрился вывернуться из захвата, ударил кулаком по тянувшейся к нему пятерне.

Кто-то выругался:

— Сопротивляется, с-с…!

В Константина вцепились ещё две руки, выдернули из джипа.

Закричала Люся.

Он начал сопротивляться злее, не обращая внимания на затрещины со всех сторон. Получил тычок в ухо, схватил кого-то за ногу, рванул на себя. Но его оторвали от земли, ударили чем-то металлическим по голове, и сознание начало гаснуть.

Однако внезапно вокруг началась какая-то *лишняя* суета, грубые руки выпустили Ватшина, и он упал лицом в снег. С трудом перевернулся на спину, приподнялся.

Вокруг бегали люди, пыхтели, дрались, падали, вскрикивали. Раздались не очень громкие звуки—словно били палкой по ватной подушке. Тёмные фигуры метнулись к лесу, к чёрному джипу, сыпануло целой очередью «ударов по подушке», и фигуры скрылись в пелене метели.

К Ватшину подбежали двое парней в камуфляже.

— Жив?!

— Там Люся,—простонал он, держась за голову.

— Балуев! В машину!

— Всё в порядке, командир, она в кабине, сейчас вытащим.

Ватшин уронил руки, борясь с головокружением, заставил себя подняться, шагнул к парням, помогавшим жене вылезти из кабины.

— Люся…

— Костя!—она бросилась к нему на шею.—Живой! Слава Богу!

И заплакала.

Рядом с оказавшимися на шоссе двумя серебристыми джипами остановилась ещё одна машина—белый микроавтобус. Хлопнула дверца, выпуская мужчину в белом полупальто, без шапки.

— Иван Петрович,—пробормотал Ватшин.

— Садитесь.

— Машина…

— Её подремонтируют и доставят к вам домой.

— Мы ехали на дачу.

— Значит, на дачу.

Ватшин помог Люсе сесть в салон микроавтобуса. Следом сел Иван Петрович.

— Поехали, Солома.

Водитель—улыбающийся круглолицый блондин—тронул микроавтобус с места.

— Кто вы?—перестала плакать Люся.

Иван Петрович усмехнулся:

— Не ангелы, но хранители.

— Они анксы,—невнятно сказал Ватшин, чувствуя, как губы превращаются в оладьи.

— Кто?

Ватшин искоса глянул на спасителя.

— Есть такое подразделение в службе безопасности,—сказал Иван Петрович.—Муж вам не рассказывал?

— Нет.

— «Застава» называется.

— Что за служба? ФСБ?

— Вообще-то «Застава»—самостоятельная структура, хотя её филиал есть и в ФСБ. Прошу только об этом никому не докладывать, даже самым близким подругам. Давайте знакомиться, раз уж так получилось. Если бы ваш муж предупредил нас о поездке, всё бы обошлось. Меня зовут Иван Петрович.

Люся перевела взгляд на мужа:

— Ты давно знаешь этих людей?

— Не очень,—мотнул он головой.

— Кто они?

— Тебе же сказали—не ангелы.

— Я не шучу!

— Сейчас приедем и поговорим,—пообещал Иван Петрович.

Ватшин обнял жену, прижал к груди, преодолевая её сопротивление. Подумал, что объяснить ей ситуацию будет трудно. Но главное было в другом: скорее всего, писательская его деятельность закончилась. А представить, как жить дальше, не могла даже его недюжинная фантазия. Прóпасть распахивалась впереди! Кто поможет перепрыгнуть? Да и хватит ли у него сил в корне изменить жизнь?

Плеча коснулась рука Ивана Петровича.

Руководитель «Заставы» ничего не сказал.

Но Ватшин почувствовал себя уверенней.

Глава 2. Помню

1. Было

Представьте себе отрицательное *давление*. Сможете? К положительному мы привыкли с детства, наблюдая, как колёса телеги оставляют в почве характерные борозды. Или гусеницы танка — следы на асфальте улицы. Или, что более позитивно, как пресс плющит раскалённую болванку металла в цеху машиностроительного завода. Но что такое *отрицательное* давление?..

Мысль мелькнула и погасла.

Кругом было одно глобальное *пламя*, имеющее странное свойство разбегаться во все стороны с колоссальной скоростью. И при этом процесс нельзя было назвать взрывом, потому что *пламя* не являлось продуктом деятельности человека и не представляло собой конечную фазу управляемой реакции. Оно появилось и начало расширяться с огромным ускорением, порождая само себя и создавая удивительно гладкий, ровный и однородный фон — пространство.

Впрочем, неоднородности в этом странном континууме, заполненном квантовыми полями, всё-таки появлялись и уже не сглаживались стремительным инфляционным расширением. Сложные физические процессы приводили к тому, что неоднородности, представляющие собой солитоны — сгустки первичных элементарных частиц, вызвали небольшой избыток обычного барионного вещества над антивеществом. Началась аннигиляция рождающихся комков материи, а когда она закончилась, в невероятно раздувшейся Вселенной появились первые островки вещества, которые впоследствии превратились в звёзды, галактики и их скопления, объединившиеся в крупномасштабные сетчато-мозаичные структуры.

Но это стало реальностью позже.

А пока он — невидимый и неощутимый свидетель рождения Вселенной — наблюдал за её расширением *изнутри* процесса и видел-осязал-ощущал *огонь* во всех его проявлениях, понимая, что попал в информационный «нерв», недоступный большинству людей.

Между тем температура *огня* вокруг постепенно падала, он становился менее жгучим и плотным, меняя свою физическую *суть*, и, наконец, падение температуры позволило появиться первым атомам. Точнее, ядрам атома водорода, состоящим из протона и нейтрона. И случилось чудо: Вселенная стала прозрачной, то есть видимой в широком диапазоне электромагнитных волн, и — практически *невидимой*, потому что заполнявший её *огонь* погас! Излучение отделилось от вещества — первых незначительных скоплений атомов. А поскольку до термоядерных реакций было ещё далеко, рождённый мир погрузился в Великую Тьму...

— Красиво говоришь, Сан Саныч! — восхищённо сказал Олег Олегович Хаевич, разливая пиво в стеклянные кружки тонкой работы. — Тебе бы писателем быть, стал бы известен.

Уваров улыбнулся. Хаевич уже не раз говорил ему о писательской известности, однако Александр Александрович, в миру Сан Саныч, никогда не проявлял особого литературного дарования и работал математиком в МИФИ, закончив этот же институт двадцать семь лет назад. В настоящее время близился его пятидесятилетний юбилей, и он казался себе маститым учёным, умудрённым опытом человеком средних лет. Но не старым. В молодости он серьёзно занимался лёгкой атлетикой, стал мастером велосипедного спорта и выглядел вполне прилично: метр восемьдесят, плотный, плечистый, спокойный, уверенный. Волосы начали редеть ото лба ещё в тридцать пять, поэтому в сорок он стал стричься наголо, оставляя короткий ёжик, и в сорок девять лобастая голова Уварова отливала серебром седины, что было даже модно.

Хаевич был моложе на пятнадцать лет. Небольшого роста, с животиком, подвижный, говорливый, любитель ночных клубных забав, он нравился женщинам и о семейной жизни пока не помышлял. Его трудно было представить в роли чиновника, да он им и не был, возглавив после тридцати лет частную фельдъегерскую службу. Любил выпить, поговорить (он был в курсе всех новостей), хорошие автомашины (ездил то на «Мерседесе CLS», то на «Порше Кайенн»), знал все клубы в Москве и часто пропадал за рубежом. Но ровно через две недели возникал на горизонте, и компания собиралась вечером пятницы расписать пульку: Уваров, Хаевич, Коренев Михаил Михайлович и Новихин Игорь.

Кореневу стукнуло шестьдесят два, он работал заместителем директора Московской газовой биржи и был душой общества. На этого человека, любившего анекдоты, всегда можно было положиться. Он готов был помочь друзьям в любое время, не раздумывая. Кроме того, он был охотником, часто уезжал с компанией приятелей в глубинку России, под Нижний Новгород, и привозил интересные истории, а иногда и дичь.

Четвёртый преферансист, Новихин Игорь, был самым молодым и энергичным членом команды. Он работал начальником службы безопасности Московской биржи, под началом Коренева, занимался бадминтоном (становился даже чемпионом области), не считая рукопашного боя — в силу профессиональной надобности, и слыл знатоком вин и алкогольных напитков вообще. Хотя при этом почти не пил.

Все эти люди были очень непохожими друг на друга, и свела их воедино только одна страсть — к преферансу. Но если для Новихина эта игра

подогревала его спортивный интерес, Хаевич ловил удачу, Коренев искал охотничий азарт, то для Уварова преферанс являлся одним из вариантов теории игр, которой он посвящал всё своё свободное время.

— Я космосом не интересовался,— продолжил Хаевич, потягивая пиво и присматриваясь к вяленой рыбке, которую принесла Оксана, повар Новихина; играли обычно в его коттедже на улице Сучкова.— Не могу утверждать, что я совсем уж закостенелый скептик, но не верю, что космос нам необходим. Пусть его покоряют автоматы и роботы, человеку там делать нечего. Кстати, ты говорил об эпохе Великой Тьмы. Тёмная материя, о которой все сейчас говорят, не из этой епархии?

— Это разные категории,— качнул головой Уваров.— Хотя тёмная материя зарождалась примерно в те же времена, миллиарды лет назад.

Хаевич аккуратно разделал рыбку, с любопытством посмотрел на него.

— Ты что же, и в самом деле видишь эти сны — про космос, рождение Вселенной?

— Это не сны. Как бы тебе объяснить… во мне просыпается память происшедших событий, понимаешь? Я вижу то, что было в прошлом, миллионы и миллиарды лет назад.

— Вот этот огонь видишь, о котором говорил?

— И огонь тоже. Первые звёзды, первые галактики, планеты.

— Откуда же ты знаешь, что там происходило?

— Знаю, и всё. Информация сама появляется.

— Давно?

— Если честно, то не очень, год назад всё началось, после ДТП.

— Это когда ты свою «Импрезу» разбил?

— Ага.

— Ну, тогда по глоточку.

Они сдвинули кружки с пивом, занялись вяленой кефалью.

Обычно первым к назначенному времени (восемь часов вечера) прибывал Уваров, не любивший опаздывать. Хаевич подъезжал чуть позже, с водителем Сашей, который знал все секреты своего работодателя. За руль после «принятия на грудь» дозы спиртного Хаевич не садился, что было правильно. Третьим появлялся Коренев с сумкой пивных бутылок. В компании существовал свой распорядок: Уваров покупал торт и конфеты к чаю, Хаевич — сухое красное вино, Коренев — пиво и водку. Новихин принимал гостей, иногда угощая их классным вином из собственного погреба.

— Привет Эйнштейну,— объявил Михал Михалыч, обнимая Уварова, пожал руку Хаевичу.— Жарко сегодня.

Он снял пиджак, подсел к столу.

— Ну что, по пивку?

Налили, выпили.

Коренев блаженно откинулся на спинку стула.

— Хорошо поторговали сегодня, растёт наш газ в цене как на дрожжах. Командир обещал быть через полчаса, если не застрянет в пробке. Стоит Москва, я еле проехал по закоулкам.

Командиром он называл Новихина, хотя по служебному положению стоял выше.

Заговорили о пробках, о неумении служб решить транспортную проблему.

— Вот ты математик,— посмотрел на Уварова Коренев, подцепляя вилкой малосольный огурчик,— взял бы и рассчитал какой-нибудь алгоритм, который избавил бы город от пробок.

— Этой проблемой уже занимались математики,— сказал всезнающий Хаевич.— Но ни в одной столице мира она не решена полностью. Города не резиновые, и когда количество машин превышает пространственно-динамический предел, они встают.

Коренев возразил, что в Варшаве, где он был, пробок нет.

— Нашёл столицу,— отмахнулся Олег.— У них всё ещё впереди.

Коренев снова возразил, что существуют приёмы ограничения въезда в города и другие ухищрения, позволяющие избегать пробок.

Они заспорили.

Уваров слушал, потягивал ледяной сидр и думал о другом. О поездке на родину в Брянскую губернию. О конвенте математиков, где ему должны были вручить престижную премию «Золотой интеграл». О варианте игры нового типа, который он почти рассчитал и к концу года собирался представить на суд математиков института. Работа была интересной, и он надеялся удивить коллег подходом к проблеме, который они назвали бы когнитивно-метафизическим, а он сам — чувственно-магическим. Хотя речь шла, скорее, о переходе между реальностью и миром чувственных идей, в который ему позволено было время от времени погружаться.

— О чём задумался, Сан Саныч? — стукнул его по плечу Хаевич.

Уваров виновато прищурился:

— Да так, ни о чём.

— Расскажи о своих видéниях, вот биржа интересуется.

— Я ему уже рассказывал.

— Да? А он не признался. Ещё раз советую написать об этом книгу. У меня друг — издатель, поможет издать. Вдруг откроешь в себе талант писателя? Роулинг же, создатель Гарри Поттера, тоже в своё время была никому неизвестна.

— Заладил одно и то же,— проворчал Коренев.— Сан Санычу слава не нужна.

— А что ему нужно?

— Слава бывает разная. Вон один математик отказался от Нобелевки и стал известен всему миру.

— Он просто больной, думал только о себе, а не о своих родственниках. Ему невероятно повезло, а он это везение в задницу засунул!
— Не груби. Везение тоже разное бывает.
Хаевич хихикнул:
— Эт точно. Иногда не получить желаемое и есть везение. Ну что, мужчины, ещё по кружечке?
— Привет, алкоголики,— вошёл в гостиную улыбающийся Новихин, бросил к шкафу в прихожей слева спортивную сумку.— Как вам наши футболисты?
— Я просто обалдел!— оживился Коренев.— Четыре— один, уму непостижимо! Неужели научились играть?
— Тренер хороший, вот и научил,— авторитетно сказал Хаевич.
— У них стимул появился,— сказал Новихин, скрываясь на втором этаже.
— Какой стимул?— не понял Олег.
— Раньше играли как игралось,— поддержал тему Коренев.— Всё равно платили. А теперь не даёшь отдачи— садись.
— Значит, тренер таки в этом деле главный? Кто ещё заставит их играть?
— Почему обязательно тренер? Игорь прав, стимул появился— играть хорошо, иначе сядешь на скамейку запасных, а то и совсем вылетишь из команды. К тому же известно, что лучший тренер— отечественный, доморощенный, знающий российский менталитет, а не пришлый, с трудом произносящий два слова по-русски.
К столу спустился Новихин, переодевшийся в домашний спортивный костюм.
Заговорили о футболе, потом о теннисе, знатоком которого считался Хаевич, о бадминтоне. Открыли вино.
Уваров сидел молча, слушал, от вина отказался. До сорока пяти он вообще не употреблял спиртных напитков, да и сейчас позволял себе разве что бокал шампанского на праздники да сидр. От пива не отказывался, но и не приветствовал, доверял организму, который чётко знал свою норму.
В начале десятого пересели за игровой столик.
Сдавать выпало Новихину.
Коренев взял карты, принялся изучать расклад. Делал он это медленно и обстоятельно, в силу характера, поэтому поначалу компаньонов это сердило, но после пятнадцати лет знакомства все привыкли к манере игры «главного биржевика» компании и не обращали на его медлительность внимания.
— Раз,— объявил наконец Михал Михалыч.
— Пас,— отозвался Уваров.
— Бери,— согласился Хаевич.
Игра началась.

Расходились за полночь, в половине первого.
Хаевич и Новихин собрались навестить клуб «Сохо».
Уваров повёз Коренева на своей машине— тот жил в Крылатском,— после чего ему предстояло возвращаться назад, к Серебряному Бору.
— Ты что, и вправду видишь прошлое?— поинтересовался слегка осоловевший Михал Михалыч, когда они попрощались с молодёжью и отъехали.
У него была своя «БМВ» плюс охрана, однако он редко ими пользовался.
Уваров невольно вспомнил один из своих «эзотерических снов»…
Великая Тьма длилась по вселенским меркам недолго, всего около миллиона лет.
Массы сгущений относительно холодного вещества— ядер водорода и гелия, а потом и нейтральных атомов после эпохи рекомбинации,— достигали таких величин, что начались первичные реакции ядерного синтеза, водород «загорелся», и по всему гигантскому объёму сформированного пространства зажглись первые звёзды.
Поначалу они были небольшими, карликовыми, но по мере дальнейшего уплотнения облаков газа и пыли рождались всё более массивные звёзды. Некоторые из них сливались вместе, образуя квазары и первичные чёрные дыры, и по молодой Вселенной, продолжавшей расширяться в ином темпе, не столь быстро, как в первые мгновения, поплыли хороводы фонтанирующих струями огня юных звёзд, окружённых вихреподобными дисками пыли и газа.
А уже через сто миллионов лет, когда звёзды начали объединяться в протогалактики, в их атмосферах— не на планетах и не в космическом пространстве— зародилась первая форма *жизни*. А за ней— разум…
— Может, тебе и в самом деле стоит написать роман?— послышался голос Коренева.
Уваров очнулся, повернул направо, на улицу Крылатские Холмы.
— Мне Олег об этом все уши прожужжал, и ты туда же. Не писатель я. У меня другие интересы.
— Теория игр?— хохотнул Михал Михалыч.— Судя по тому, что проигрываешь ты редко, теория у тебя правильная.
— К преферансу она не имеет отношения.
— Да? А я думал, ты карточными играми занимаешься.
Уваров хотел было оправдаться, объяснить Кореневу на пальцах, чем он занимается на самом деле, но передумал. В состоянии эйфории— Коренев выпил, да ещё и выиграл при этом,— он вряд ли понял бы собеседника.
Между тем именно увлечение Уварова психроникой, как он назвал свою игровую матрицу, и позволило ему приобрести дар воспоминаний прошлого, а вовсе не авария, в какую он попал однажды на Амурской улице: тогда в бок ему влетел лихач на старой «Ладе». Началось всё с расчётов компьютерной ролевой игры, отличающейся от

других тем, что играющий не просто выбирал фантом из заданного набора игровых персонажей, а переносил на него качества своей личности и характер своих взаимоотношений с реальностью. После этого Уварову удалось просчитать психосемантическую матрицу играющего, содержащую информацию о способах взаимодействия структур сознания и, что важнее, *бессознательного* в личности играющего с тканью бытия, выбрать желаемый интервал глубины игры, по сути — горизонт событий (он выбрал древнее прошлое), и достичь необходимой степени его детализации.

На следующий день — точнее, ночь, — ему начали сниться странные сны. Ещё через месяц он научился погружаться в прошлое на любой отрезок времени и буквально *видеть* всё, что там происходило.

— Спасибо, — сунул ему ладонь Коренев, когда машина свернула к его дому. — Заходи как-нибудь в контору, побеседуем о жизни. Расскажешь о своих виде́ниях.

— Лучше вы к нам, — улыбнулся Уваров.

Коренев с трудом выбрался из машины, поплёлся к подъезду.

Уваров посмотрел на подъехавшую за ним машину — чёрный джип «Рендж Ровер», не придал этому значения, проводил приятеля глазами, подумав, что, несмотря на свою сугубо коммерческую должность, Михал Михалыч сумел остаться человеком совести, за что его уважали коллеги и любили близкие.

Джип всю дорогу ехал за ним, но он этого не заметил.

Домой приехал в половине второго. Жена уже спала, внучка тоже.

Уваров, стараясь не шуметь, залез в ванную, встал под душ. Лёг чистый, умиротворённый, довольный жизнью, автоматически перебрал в уме то, что должен был сделать в субботу, и легко уснул.

Сон-виде́ние пришёл сам собой, без особых усилий с его стороны. Организм уже научился владеть особым состоянием, которое в разные времена у разных народов называлось по-разному: инсайтом, сатори, просветлением и озарением. Сам Уваров называл это состояние мысленно-волевым *странствием*.

Сознание вылетело за пределы тела, перед глазами развернулась величественная панорама космоса. Россыпи звёзд окружили его со всех сторон. Он мог свободно «дотронуться» до любой из них, но душа просила *иного*, и Уваров глянул на Мироздание через «телескоп» внечувственного восприятия, ища в нём следы разумной деятельности.

И нашёл!

Среди сияющих звёздных сфер проявились тонкие паутинки геометрически правильного узора, не похожего на обычные скопления и галактики. Одна из паутинок была совсем близко, память автоматически назвала направление: Волосы Вероники.

Отлично! Посмотрим, что там такое…

Мысленное «тело» Уварова превратилось в неощутимый луч и стремительно рванулось в пространство.

2. Извне-1

К чёрному джипу «Рендж Ровер», стоящему с погашенными фарами на Серебряной набережной напротив многоступенчатого нового дома, подкатил второй точно такой же, погасил фары. Из него вылез мужчина в чёрной куртке, открыл дверцу первого джипа, сел на заднее сиденье.

В кабине машины находились трое мужчин в похожих куртках: один сзади, двое спереди, считая и водителя. Пассажир на переднем сиденье смотрел на экранчик навигационного компьютера, второй, сзади, с наушниками на бритой голове, внимательно разглядывал экран какого-то прибора с длинным дулом, направленным на окна дома.

— Ничего? — спросил гость.

— Лёг спать, — буркнул мужчина с наушниками.

— С кем-нибудь разговаривал?

— Как обычно.

— Может быть, он просто псих? — проговорил пассажир на первом сиденье.

— Вряд ли, о нём отзываются в исключительно положительном смысле. Нормальный мужик, жена, дети, внучка.

— Только речи ведёт странные.

— Парни, наше дело маленькое: приказано следить — будем следить. Давайте меняться.

— Ещё полчаса.

— Ладно, в следующий раз вы нас смените на полчаса раньше. — Гость поднёс ко рту мобильник: — Паша, вылезай.

Из второго джипа выбрались ещё двое мужчин, в том числе водитель. Пассажиры первого уступили им места, сели во второй джип и уехали.

Мужчина, сидевший на заднем сиденье «Рендж Ровера», пересел на переднее, снова достал мобильник:

— Первый, семнадцатый на связи. Приступили к дежурству. Всё тихо, клиент под контролем.

— Зря проторчим всю ночь, — проворчал его напарник, занявший заднее сиденье. — За три месяца он ни разу ночью ни с кем не общался. Только с партнёрами по преферансу.

— Заткнись, — коротко ответил мужчина с мобильником.

В мобильнике ожил голос:

— Режим «три уха».

Это означало, что прослушивать надо было все телефоны клиента, в том числе и мобильный.

— Принято, — ответил мужчина в джипе.

Тот, кто говорил ему о режиме «три уха», повернул голову к собеседнику: кабинет, где они

сидели напротив светящегося объёмного экрана компьютера, напоминал лабораторию, заставленную сложным оборудованием.

— Пока что у нас почти ноль информации. Ничего конкретного. Может, возьмём его и заставим говорить?

— Мы должны быть уверены, что это именно он — хроник, — заговорил собеседник, крупнотелый, крупноголовый, седой, с узкими губами и холодными бесцветными глазами. — Поспешим — канал закроется.

Первый, худой, костистый, с залысинами, кивнул:

— Придётся ждать. Хотя на него могут выйти и конкуренты. Леонтьева предложила неплохой план — завербовать кого-нибудь из его друзей, из тех, с кем он играет в преф.

Седой помолчал.

— Идея неплохая, доложу наверх. Разрешат — разработаешь план.

Он поднялся, похлопал худого по плечу, вышел.

Оставшийся в кабинете надел наушники.

3. Полёты

С тех пор как Уваров разработал программу автоматической коррекции действий игрового фантома, по сути — самого себя игрока, мысленные полёты в прошлое давно перестали быть игрой. Его психосемантическая матрица легко преодолевала барьеры физических законов, подстраивалась под изменяющиеся параметры реальности и погружалась в бездну прошлых времён, как ныряльщик в воду. Насытившись астрономическими данными, он безошибочно определял координаты галактик и их скоплений, свободно ориентировался в созвездиях и мог мысленно-волевым усилием «посетить» окрестности любых звёзд Млечного Пути и за его пределами.

Мало того, Уваров научился находить звёзды и галактики, где когда-то цвела разумная жизнь, и опускаться к её истокам, когда эта жизнь только зарождалась.

Увлечение «виртуальными контактами» достигло такой стадии, что он и на работе грезил иногда с открытыми глазами, часами просиживая в одном положении. И хотя это не сказывалось на работе, так как он исправно решал предлагаемые задачи, коллеги потихоньку стали его сторониться. Что заставило Уварова быть сдержаннее. Он не хотел, чтобы его считали шизиком.

В пятницу, тридцатого мая, команда преферансистов снова собралась в коттедже Новихина в восемь вечера. Первым приехал Уваров, вторым Хаевич, третьим Коренев. Опаздывал, как обычно, Новихин, хотя это обстоятельство никого не «доставало». Игорь после работы тренировался в спортзале «Динамо», поэтому и появлялся дома не раньше девяти часов вечера.

— Ну, что ты интересненького за это время увидел? — спросил Хаевич, разливая пиво по кружкам.

— Как строились первые искусственные сооружения, — сказал Уваров спокойно.

— Шутишь? — недоверчиво посмотрел на него Олег.

Коренев засмеялся:

— Я гляжу, математики не отличаются от охотников. А по фантазии и вовсе могут дать им фору.

— Может, это не фантазии, — не поддержал его Хаевич. — Может, у Сан Саныча действительно прямая связь с космосом. Может, он новый русский видящий.

Уваров невольно улыбнулся в ответ:

— Новый русский видящий — это круто.

— Нет, ну ты же в самом деле видишь то, о чём говоришь?

— Допустим.

— Что значит — допустим?

— А если я фантазирую, готовлюсь стать писателем по твоей рекомендации?

Хаевич хмыкнул, разглядывая лицо Уварова поверх кружки, погрозил ему пальцем:

— Не калапуцкай мне мозги, Сан Саныч. Лучше поделись открытием. Какие такие искусственные сооружения ты видел? Где? Я читал одну бредовую учёную статью, где утверждалось, что мы единственные разумные твари во Вселенной.

— Жизнь возникла миллиарды лет назад, разум тоже.

— Зелёные человечки? — Коренев подмигнул Хаевичу.

— Никаких зелёных человечков нет, — возразил Уваров серьёзно. — Гипотез о формах жизни действительно много, но я берусь утверждать, что первые разумные существа, появившиеся ещё до формирования галактик, были негуманоидными.

— Какими?

— Не похожими на человеков, — пояснил Хаевич. — Как же эти негуманоиды могли появиться, если тогда и планет-то не было?

— Были звёзды. Первыми разумными стали плазмоиды в их атмосферах.

— Ну, это ты загнул, Сан Саныч. Разумные должны думать. А чем могли думать твои плазмоиды?

— Первичная основа мышления заключается в структуре жизненной формы, а не в материале, его образующем.

— Повтори то же самое, только помедленнее и попроще.

— Мужчины, давайте по бокальчику, — разлил по кружкам пиво Коренев. — Жарко, не до философии.

— Нет, пусть он расскажет, что видел.

— Систему джетов, — буркнул Уваров, теряя запал.

Хаевич упорно пытался его разговорить, и это почему-то Александру Александровичу не нравилось.

— А это что ещё за фигня?

— Джеты — длинные лучевидные выбросы пыли и газа из звёзд. Нынешние, наблюдаемые астрономами, достигают миллиардов километров, а давние ещё длиннее.
— Каким образом из них можно делать сооружения?
— Первые разумные плазмоиды строили из них целые фотонные системы, которые потом соединялись в компьютерные иерархии.
— Какие иерархии?!
— Да отстань ты от человека, — осуждающе сказал Коренев. — Он фантазирует, а ты веришь. Как там у классика? Особенно долго мы помним то, чего не было.

Уваров хотел возразить, что он вовсе не фантазирует, но встретил взгляд Михал Михалыча (тот подмигнул ему) и кивнул:
— Ну, есть немного.

Хаевич разочарованно цыкнул зубом:
— Я думал, ты серьёзный человек, Сан Саныч. Хотел поговорить о жизни как о категории развития материи.
— Жизнь — всего лишь заразная болезнь планеты, — хохотнул Коренев, снова подмигнув Уварову, — от которой можно легко избавиться с помощью разума.

Уваров улыбнулся. В настоящее время, убедившись в стремительном отдалении вектора технического прогресса от вектора духовного развития человечества, он думал примерно так же.

Хаевич успокоился, хотя и продолжал время от времени задавать каверзные или ехидные вопросы. Уваров больше отшучивался или отмалчивался, размышляя о странном поведении Коренева.

Пришёл Новихин, расслабленный после тренировки, но весёлый и жизнерадостный.

Поужинали, сели играть.

Первым сдал Уваров.
— Мизер! — заявил Хаевич, хмельной от выпитого и потому нерасчётливо смелый.
— Пас... — Пас, — отозвались Новихин и Коренев.

В прикупе оказались две дамы.
— Блин! — с изумлением сказал Хаевич, глядя на карты. — Мне же нужна была девятка пик...
— Что, чистый? — осклабился Новихин. — Не надо записывать?

По лицу Олега пробежала сложная гамма чувств. Было видно, что он понадеялся на фарт, но ошибся.
— Записывайте.

Как оказалось, дамы пришли к другим мастям, которые Хаевич понадеялся сбросить, после чего пробои только увеличились. После сброса и его выхода в семёрку треф стало ясно, что он ещё и неправильно пошёл. Поэтому ловля завершилась тем, что у Олега отобрали нужные масти, и он получил пять взяток.

Впрочем, его это не сильно обескуражило и не остановило. Хаевич отличался бесшабашностью и верил в удачу, переоценивая свои силы. Лишь к концу игры он слегка выправил своё положение — пошла карта, как говорят, — и смог чуть-чуть отыграться.

В начале первого ему позвонили из какого-то клуба, и он с Новихиным засобирался на очередную тусовку, забыв о проигрыше. Будучи клубным завсегдатаем, Олег не упускал возможности расслабиться, «оттянуться» по полной программе, послушать приятную музыку и потанцевать.

Прощаясь, он пожал руку Уварову, шепнул на ухо:
— У меня завтра дело в вашем районе, заеду — поговорим.
— Заезжай, — пожал плечами Александр Александрович. — Я буду после одиннадцати.

Новихин и Хаевич уехали на «Порше» Олега.

Подъехала «БМВ» Коренева.
— Сегодня меня везут за город, — сказал он, довольный результатом игры. — Так что ты приедешь домой вовремя.
— Вовремя, — хмыкнул Уваров, глянув на часы: шёл второй час ночи. — Хорошо, что Олег сегодня был в ударе, спонсировал всю игру.
— Да, рисковал он по-крупному, — засмеялся Коренев. — Даже к тебе не приставал с расспросами, в каком космосе ты летал.

Уваров махнул рукой:
— Космос один. Но его доменная структура сложная.
— Тебе не кажется, что у Олега какой-то воспалённый интерес к твоим снам?
— Это его проблемы.
— Я верю, что ты видишь необычные сны.
— Вижу. Только это не сны, Михал Михалыч.
— Ладно, расскажешь потом. Держи лапу и не гони на своей ракете, щас менты везде с радарами стоят.

Уваров хлопнул по подставленной ладони, тронул машину с места.

Фонарь справа, за перекрёстком, погас и вспыхнул снова, напомнив ему последнее *странствие:* впервые в жизни Уварову удалось наблюдать схлопывание остатка старой красной звезды-гиганта в чёрную дыру. Но гораздо более интересным был процесс строительства колоссальных гигантских звёздных систем наподобие снежинок, чем занимались первые цивилизации Вселенной с помощью чёрных дыр. Как они это делали, было непонятно, потому что Уваров не знал механизма, способного управлять передвижением первичных звёзд. Но результат был виден издалека: по космосу то здесь, то там поплыли удивительные лучистые «конструкции» из звёзд, имеющие чёткую геометрическую форму. Это случилось уже в первый миллиард лет после Большого Взрыва, породившего Мироздание.

Гораздо позже, когда звёзды объединились в галактики, а галактики выстроились в скопления,

образовавшие сетчато-волокнистую структуру, начали появляться уже другие формы жизни, в том числе — биологического вида, на основе углеродной или кремниевой органики…

Уваров повернул на Алабяна, снизил скорость, поднимаясь на мост через железнодорожные пути, увидел внизу, на съезде, чёрный «Фольксваген Туарег» и двух гаишников рядом. Порадовался, что снизил скорость. Однако это не помогло. Один из инспекторов сделал Уварову жест дубинкой: к обочине. Уваров послушно остановился, уверенный, что правил не нарушал.

— Документы, — подошёл инспектор, не козыряя; погоны у него были капитанские.

Второй инспектор, тоже с капитанскими погонами, очень толстый, с широким неприятным лицом, обошёл «Ауди» с другой стороны.

Уварову это не понравилось. Он впервые видел, чтобы в патруле участвовали сразу два капитана полиции.

— Представьтесь, пожалуйста, — кротко попросил он.

Капитаны переглянулись.

— Документы, — снова потребовал первый капитан, пожиже телосложением.

— Представьтесь, — упрямо мотнул головой Уваров, уже понимая, что его остановил вовсе не рядовой патруль ДПС.

Капитан взялся за кобуру.

И в этот момент на мосту появились две машины, ехавшие со стороны улицы Народного Ополчения, — «БМВ» и джип «Инфинити», притёрлись к тротуару, остановились.

Из первой тяжело вылез Коренев, из второй — двое парней в тёмно-серых костюмах. Коренев подошёл к машине Уварова, глядя на замерших капитанов.

— Что тут у вас происходит?

— Михал Михалыч! — приятно удивился Уваров. — Я просто ехал, они остановили…

— А вы кто такой? — осведомился толстый представитель власти.

Парни Коренева подошли ближе, явно готовые вмешаться в происходящее.

— Я заместитель директора Московской биржи, — сказал Коренев. — Этот человек мой друг. Насколько я знаю, он никогда не нарушает правила дорожного движения. — Михал Михалыч посмотрел на Уварова: — Сан Саныч, ты нарушал?

— Да ни боже мой, — честно сказал Уваров.

Капитаны снова переглянулись.

— Мы хотели проверить документы, — начал первый.

— А у вас есть основания? Или мне позвонить куда следует, выяснить, к какому ведомству вы относитесь?

Толстый капитан молча двинулся к «Туарегу», скрылся в кабине.

Его напарник помедлил, оценивающе глядя на охранников Коренева, повернулся и сел в джип.

«Туарег» сорвался с места, повернул на улицу Маршала Рыбалко, скрылся из глаз.

— Похоже, они ждали именно тебя, Сан Саныч, — хмыкнул Коренев, провожая джип глазами.

— Кто?

— И я хотел бы знать кто.

Уваров почувствовал холодок под ложечкой.

— Я же ничего не сделал.

— Поменьше болтай, как ты там путешествуешь по космосу, — посоветовал Михал Михалыч. — Зайди завтра ко мне в контору, поговорим.

— Я уже Олегу обещал.

— Зайди сначала ко мне. — Коренев поманил одного из парней пальцем: — Серёжа, проводи математика. — Он сунул руку Уварову в боковое окошко: — Спокойно ночи, Сан Саныч.

«БМВ» Коренева развернулась в сторону Мнёвников, уехала. «Инфинити» остался.

— Мы поедем за вами, — сказал парень, которого Михал Михалыч назвал Серёжей.

Сбитый с толку, Уваров завёл двигатель и повёл свою синюю «Ауди» домой.

4. Извне-2

Коренев посмотрел в зеркальце заднего вида, потрогал родинку в уголке губ — это был микрофон рации.

— «Фольксваген Туарег», номер У111АА199.

— Поняли, перехватили, — ответили ему.

Он достал мобильник, набрал номер:

— Завтра он будет у меня.

— Вы уверены, что мы на правильном пути? — спросил его мужской голос.

— Не похоже, что он фантазирует. Да и конкуренты не стали бы заявлять о себе, не имея резона.

— Слишком уж грубо они работают.

— Может быть, торопятся, понимая, что и мы ищем хроника. Кстати, любопытно, что сам он назвал свою игровую матрицу психроникой.

— Действительно, интересно. Он не догадывается, что вы его ведёте?

— Возможно, задумается после сегодняшнего приключения, индивид он умный. Но завтра придёт ко мне, уверен.

— Не выпускайте его из виду.

Коренев спрятал мобильник в карман, кивнул. «БМВ» поехала быстрее.

5. Расширение

Планета была больше Земли и располагалась к своему не слишком яркому светилу ближе, отчего с поверхности оно выглядело исполинским розовым пузырём, окутанным лиловыми космами протуберанцев.

Пейзаж был красив, но не природные ландшафты сейчас интересовали Уварова. Он «стоял»

на вершине горы и смотрел на долину в горах с высоты трёх километров, жадно рассматривая причудливую вязь золотых куполов, соединённых сверкающими жилами чешуйчатых труб. Это были сооружения местной цивилизации, созданной разумными птицами (по крайней мере, у них имелись крылья), и геометрически совершенный пейзаж был не менее красив, чем природный.

Звезда не вращалась вокруг ядра Млечного Пути, принадлежа рассеянному скоплению в двух миллиардах световых лет от Солнца. Но её цивилизация была почти сверстником человеческой, опережая её в развитии буквально на пару сотен лет. Уваров специально искал такую, современную и не угасающую, близкую человечеству хотя бы по времени, однако нашёл её слишком далеко от родной Галактики. Преодолеть бездну пространства размером в два миллиарда световых лет человек не мог. Надо было искать «родственников» поближе к Солнцу.

Уваров «выплыл» из *странствия* в собственную кровать, полежал немного, отдыхая, потом вдруг решил пошарить не в прошлом, а в будущем, готовый с лёгкостью отказаться от затеи, если поиск не удастся.

Мысль-воля оторвалась от тела, вылетела за пределы квартиры, дома, города, преодолела атмосферу, поднялась над Землёй и неощутимым сгустком понеслась к звёздам соседнего галактического витка — Рукава Персея. Пронизала его, затем проскочила Наружный Рукав, вышла за пределы Млечного Пути.

Несколько минут Уваров любовался волшебной панорамой Галактики, состоящей из нескольких спиральных рукавов, потом сосредоточился на прыжке в будущее.

Его снова объяла Великая Тьма.

Куда бы он ни повернулся, куда бы ни кинул взор, нигде не было видно былого звёздного великолепия. Его окружали пустота и темнота, мрак и молчаливое пространство, заполненное редкими скоплениями холодной пыли и тёмными шарами остывших планет и звёзд. Лишь где-то очень далеко — не определить, на каком расстоянии, — мелькнул алый огонёк: это догорал один из последних красных карликов, переживший остальные звёзды.

К этому времени видимое глазом излучение рассеялось в пустоте, не в силах оживить небо, согреть планеты или придать погасшим галактикам хотя бы слабое сияние. Звёзды перестали светить, их эпоха закончилась. Началась эпоха распада материи, сохранившейся в редких коричневых карликах, нейтронных звёздах и чёрных дырах.

Возраст Вселенной к этому моменту достиг ста триллионов лет…

Уваров «нырнул» обратно в тело, ощущая головокружение, хватая воздух ртом, как рыба, выброшенная на берег.

Он был ошеломлён. Причём не тем, что увидел приближающийся конец Вселенной, её медленное угасание, а тем, что ему вообще удалось заглянуть в будущее. Раньше о таких перспективах он даже не мечтал.

Уваров выбрался из спальни, стараясь не разбудить жену, напился на кухне холодного клюквенного морса, лёг снова и сосредоточился на *странствии*, имея цель поискать в будущем цивилизации, которые ещё только должны были сформироваться.

Очень захотелось узнать, сколько времени проживёт человечество и кто придёт ему на смену.

6. Посетитель

О своём обещании зайти к Михал Михалычу в его офис Уваров забыл. Но Коренев сам напомнил ему о себе, неожиданно заявившись в институт.

Отдельного кабинета у Александра Александровича не было, поэтому решили посидеть в малом конференц-зале на первом этаже.

— Извини, что отвлекаю, — сказал Коренев, оглядев пустой зал. — Нет времени ждать. Похоже, у тебя есть информация, которая нам нужна.

— Бирже? — удивился Уваров.

— Почему бирже? — не понял Коренев.

Был он нынче какой-то рассеянный, не похожий на себя.

— Ты же зам президента биржи.

Михал Михалыч отмахнулся:

— Нет, речь не обо мне. Садись, поговорим.

7. Извне-3

— Внимание всем группам! Готовность «ноль»!

Три десятка человек, получившие этот сигнал, замерли, готовые действовать в соответствии с задачами, стоящими перед ними.

8. Неожиданное

Они сели на стулья перед подиумом с небольшой трибуной.

— Я представляю одну организацию, которую интересуют твои… — продолжил Коренев и не закончил.

В зал торопливо вошёл… Хаевич! За ним проследовал какой-то крупногабаритный мужчина с большой головой и бесцветными глазами, в тёмно-коричневом костюме и свитере с воротником, закрывающим шею до подбородка.

Заметив Коренева, Олег остановился, впившись глазами в его лицо. Михал Михалыч встал. Некоторое время они смотрели друг на друга оценивающе и ожидающе.

Уваров перевёл взгляд с одного на другого, внезапно прозревая, что его коллег по преферансу в данный момент интересуют совсем другие материи.

— Мы начали первыми, — сказал Хаевич мрачно, совсем не так, как разговаривал всегда.

Коренев пожал плечами:
— А мы шли за вами.
— А если мы ошибаемся, и он не хроник? — прищурился Хаевич.
— Проверим.
— Проверять будем мы.
Коренев поднёс к губам запястье руки с часами:
— Контакт!
В зале, как чёртики из коробки, появились трое парней в чёрных костюмах, с пистолетами в руках.
Одного из них Уваров узнал: этот парень по имени Серёжа приезжал с Кореневым, когда математика остановили полицейские.
Хаевич засмеялся:
— Лихо работаешь, Михал Михалыч! Но ведь, как говорится, и мы не лыком шиты?
Он больше ничего не добавил, но в зале за спинами парней Коренева возникли такие же крутоплечие и мощные молодые люди, вооружённые пистолетами.
Спутники Коренева сунули руки под полы пиджаков.
— Предлагаю разойтись мирно, — сказал Хаевич. — Мы за ним следим уже три месяца.
— Мы тоже.
— И всё-таки приоритет за нами.
— Не уверен.
— В таком случае давайте решим всё как в добрые старые времена: подбросим монету, кому выпадет реверс, тот и забирает его.
— Да кто вы такие, в конце концов?! — обрёл дар речи Уваров. — Я уже догадался, что вы из разных контор, хотя никогда не думал, что играю с сотрудниками спецслужб. ФСБ, разведка, что там ещё у нас есть?
— Долго объяснять, — сказал Коренев.
— Ничего, я подожду.
Коренев посмотрел на Хаевича.
— Патовая ситуация, коллега. Начнёте стрелять — она выйдет из-под контроля. Может быть, вызовем координаторов?
— Моих людей больше, — не согласился Хаевич. — Мы контролируем ситуацию.
— Не уверен.
— Могу доказать.
— Попробуй.
Парни Хаевича наставили на парней Коренева оружие.
И в этот момент с грохотом распахнулись двери запасного выхода. В зал стремительно ворвались люди в пятнистых комбинезонах.
Парней Хаевича сбили с ног ворвавшиеся в зал через главный вход спецназовцы другой группы. В мгновение ока все присутствующие в конференц-зале были окружены и оказались в прицелах пистолетов-пулемётов.

Хаевич и Коренев, шокированные случившимся не менее Уварова, оглядели цепь спецназовцев, посмотрели друг на друга.
— Это твои? — одновременно спросили они.
— Нет. — В зал вошёл мужчина средних лет, одетый в светло-серый гражданский костюм. Уверенный в себе, сероглазый, с твёрдым волевым лицом. — Это мои люди.
С лицом Хаевича что-то произошло: на мгновение оно стало *странным*, почти нечеловеческим.
— «Триэн»! «Застава»!
— Совершенно верно, господа ксенотики. Мы из русской погранслужбы. — Мужчина поманил кого-то пальцем: — Солома, всех задержанных — на базу.
— Слушаюсь, — козырнул спецназовец.
— Уж-ж-рсш! — сказал Хаевич.
Коренев сунул руку в карман. Два ствола пистолетов-пулемётов «Бизон» повернулись к нему.
— Не стоит, Михал Михалыч, или как вас там, — покачал головой мужчина в костюме. — Жизнь дороже. Или в вас заложена программа самоликвидации?
Коренев подумал, вынул руку из кармана.
Мужчина кивнул:
— Правильно, не стоит погибать ради бессмысленной попытки доказать твёрдость духа. Каковой у вас, скорее всего, нет. Кстати, где *настоящий* Коренев?
— Жив, — коротко бросил Михал Михалыч.
— А Олег Хаевич? — мужчина бросил взгляд на Хаевича.
Тот скривил губы:
— Он слишком агрессивно себя вёл.
— Понятно.
— Э-э-э, — выдавил Уваров.
Все посмотрели на него.
— Вы сказали… они — ксенотики… что это значит?
Мужчина усмехнулся, глянул на приятелей Уварова:
— Покажите ему свою *суть*.
Хаевич ухмыльнулся в ответ, явно наслаждаясь растерянностью Александра Александровича, и вдруг лицо его стало изменяться, сузилось, превратилось в странную маску желтоватого цвета, напоминающую змеиную морду.
Лицо Коренева тоже изменилось, обрело цвет слоновой кости, и Уваров содрогнулся: сквозь щели глаз на него посмотрел самый настоящий динозавр!

9. Риск — благородное дело

Беседовали в машине мужчины в гражданском, которого все звали то полковником, то просто Петровичем. Полное имя его было — Иван Петрович Гордеев.
Потрясённый Уваров слушал собеседника и всё время ловил себя на мысли, что участвует в каком-то чудовищном спектакле помимо воли.

При этом всё происходило наяву, он не спал, не грезил с открытыми глазами, и полковник, обыденным тоном вещавший невероятные теории, казался вполне нормальным человеком.

— Землю контролируют две внешние силы,— начал он, когда спецназ «упаковал» Хаевича с Корнеевым, оказавшихся эмиссарами *чужих*, в спецтранспорт и Уварова проводили к джипу Гордеева.— Одних мы условно называем «змеями», других «ящерами». На вас мы вышли случайно, когда в поле зрения наших наблюдателей попал ваш знакомый Игорь Новихин.

— Он что, тоже из этих, из «змей»?— вяло удивился Уваров.

— Нет, он теневой биржевой игрок, хотя официально считается начальником службы безопасности Московской газовой биржи. В последнее время он стал часто выигрывать, применяя какую-то странную стратегию. Мы понаблюдали за ним и поняли, что он работает на структуру «ящеров». Взяли в разработку, вышли на вашу компанию и обнаружили, что за вами ведётся наблюдение сразу с двух сторон.

— На кой я им нужен?

— А вот тут много необъяснимого,— согласился Гордеев; джип помчался по Москве в сторону МКАД.— Они назвали вас хроником, то есть человеком, способным скачивать информацию из прошлого. Это действительно так?

— Да, я вижу происшедшие события,— признался Уваров.

Гордеев пристально посмотрел на него.

— И можете указать координаты исчезнувших цивилизаций?

— В общем, могу. Но я хотел бы сначала уточнить…

— Что?

— Вы из какой-то погранслужбы. Это государственная…

— Организация «Триэн»— негосударственная частная структура. Она получила своё название от аббревиатуры «Никого над нами». «Застава»— одно из её подразделений, имеющее, тем не менее, статус внутренней пограничной службы России. Мы уже два года работаем как чистильщики российского социума, поставив целью избавить страну, да и всё человечество в целом, от внешнего контроля.

Уваров недоверчиво прищурился:

— Вы считаете, это возможно?

Гордеев пожал плечами:

— Хорошо, что вы не задали более логичный вопрос: не сбрендили ли мы? Я уверен в одном: пора освободиться от паразитирующих на нас ксенотиков. Возможно, именно этот фактор мешает людям развиваться этически. Пока же и «змеи», и «ящеры» с успехом используют в своих целях тех, кто жаждет власти любой ценой, и поддерживают в психически неустойчивых личностях эту жажду.

— Неужели Михал Михалыч…

— Нет, Коренев не согласился работать на «ящеров», вместо него они запустили своего агента под личиной Коренева.

— Я не заметил.

— Тонкая работа,— согласился Гордеев.

— Значит, Михал Михалыч жив?

— Мы его вызволим. А вот Хаевич погиб. Сначала он согласился работать на «змей», потом решил поторговаться и…

— Гады!

— Полностью с вами согласен,— кивнул Гордеев.— Вот, глотните,— он подал Уварову плоскую фляжку.— Травяной тоник. Не бойтесь, нам травить вас ни к чему.

Уваров сделал несколько глотков, освеживших рот. Голова прояснилась.

— Спасибо.

— Вы не ответили на вопрос,— Гордеев упрятал фляжку в карман.

— Я думал, вы работаете на ФСБ.

— Работаю, начальником службы внутренней безопасности. Хотя при этом служу России и на другом поприще.

— Я могу вам верить?

Гордеев выдержал взгляд Александра Александровича:

— Можете. Если нам удастся использовать ваши знания, мы победим.

— Я вижу не только прошлое,— вдруг признался Уваров.

В глазах Ивана Петровича отразилось сомнение.

— Как вас понимать?

— Я вижу будущее.

Гордеев на какое-то время замолчал, пребывая в ступоре. Сказал наконец тихо:

— Хроник… видящий будущее…

— Хотите верьте, хотите нет.

— Это же невозможно… Извините. Бог ты мой! Неужели вы откажетесь работать с нами? Да ведь мы по-настоящему выйдем в космос! Вам это не интересно? Вся жизнь впереди!

— Разденься и жди,— бледно улыбнулся Уваров.

— Что?

— Я пошутил. Понимаете, мне уже пятьдесят…

— Это не возраст.

— В пятьдесят мало кого тянет на подвиги.

— Не ставьте себе диагноз.

Уваров мысленным усилием «улетел» в пространство без звёзд, озаряемое лишь всполохами распадавшихся атомов.

Будущее…

А ведь и вправду интересно посмотреть, что ждёт человечество впереди. Справится ли оно с «ящерами» и «змеями»? Да и с самим собой? Ну а если «змеи» устроят за ним охоту?

— Они не оставят вас в покое,— проницательно покачал головой Гордеев.— В одиночку с ними не справиться.

Уваров очнулся.

— Всё равно страшно… я могу умереть.

Гордеев засмеялся:

— Для того чтобы умереть, достаточно родиться.

— С другой стороны, риск — благородное дело. Если вы пообещаете мне…

Гордеев посерьёзнел:

— Мы найдём способ защитить вас и ваших близких. Собственно, мы их уже охраняем. Куда вас доставить? На работу, домой?

— К вам, — сказал Уваров, сомневаясь в своей трезвости. — Я хочу знать всё.

Гордеев посмотрел на водителя:

— Солома, к Дэну.

Водитель оглянулся на Уварова, подмигнул ему:

— Поработаем, Сан Саныч?

Уваров проглотил ком в горле, и перед его мысленным взором снова развернулась необозримая панорама большого Космоса.

Глава 3. Что было

1. Локус контроля

Проснулся он выспавшийся, свежий, энергичный, словно голову продул морозный ветерок с запахом нашатыря. Захотелось чего-то необычного, нестандартного, отличающегося от рутинного утреннего распорядка: кофе — бутерброд — работа.

«Выпей шампанского», — подсказал внутренний собеседник Ватшина. «Шампанское по утрам пьют только аристократы и дегенераты», — напомнил он высказывание героя Папанова из фильма «Бриллиантовая рука». «Тогда спляши», — съязвил оппонент. «Люсю разбужу». — «Полетай в космосе, ты же у нас известный звёздный скиталец, как сказал Миша Велюр, двадцать романов на эту тему настрочил».

Ватшин показал сам себе кулак, поднялся, стараясь не разбудить спящую жену, накинул куртку, вышел на балкон, доставая из пачки сигарету.

С высоты пятого этажа была видна покрытая льдом Москва-река с редкими «кочками» рыбаков, заснеженный лесок по ту сторону реки и высотки Строгино за ним. Наступило хмурое январское утро, рассвело, шёл уже десятый час, но сегодня была суббота, и Люся отсыпалась, не собираясь вставать рано.

Внизу послышался треск шипованных шин подъехавшей автомашины, слышный гораздо сильнее, чем гул мотора.

Ватшин посмотрел на дорогу, подходившую к дому почти вплотную.

Из остановившегося джипа «Инфинити» золотистого цвета вылез мужчина в чёрной куртке, посмотрел на дом, в котором проживали супруги Ватшины. Глаза его встретились с глазами писателя.

Ватшин застыл как заворожённый, держа сигарету двумя пальцами.

Замер и водитель джипа, заметив курильщика на балконе. Потом вдруг засуетился, нырнул обратно в кабину, джип заурчал, тронулся с места и исчез за углом дома.

Блин! — подумал Ватшин, приходя в себя. Какого чёрта он испугался?

Настроение потускнело. Вспомнились наставления Гордеева — сообщать ему обо всём подозрительном, встречавшемся в повседневной жизни. Однако начинать утро с жалобы на странного водителя не хотелось, как не хотелось и верить в то, что он приехал специально для того, чтобы напугать писателя. Это было несерьёзно.

Ватшин смял недокуренную сигарету о дно пепельницы, вернулся в квартиру.

В памяти всплыл текст присланного по электронной почте файла, подписанного неким Кротовым. Иван Петрович сказал, что никакого «учёного-футуролога» по фамилии Кротов на самом деле не существовало. Зато существовал Крот — человек, обладающий уникальной способностью видеть будущее. Таких людей анксы называли хрониками, и ящеролюди, а также их оппоненты — змеелюди очень хотели иметь в своём стане как плюс-хроников, то есть видящих будущее, так и минус-хроников — видящих прошлое. Вот почему они заволновались, прочитав роман Ватшина «Никому не верьте»: инопланетные «пастухи», наводнившие Землю и сражавшиеся меж собой за право управлять человеческим «стадом», решили, что писатель-фантаст Константин Ватшин — хроник! Либо знает кого-то из этих по сути экстрасенсов, свободно читающих будущее и прошлое. И устроили за ним слежку, а потом и вовсе решили тихонько ликвидировать!

Ватшин невольно глянул на спящую жену.

Людмила оказалась вовсе не такой пугливой, легкомысленной и простодушной особой, какой он её знал все четыре года совместной супружеской жизни. Выяснив, в чём дело, она не кинулась уговаривать мужа со слезами на глазах «бросить писать правду», отказалась предъявлять претензии типа «ты мне всю жизнь испортил!» и не стала угрожать, что бросит. Она просто приняла к сведению новые обстоятельства и пообещала следовать за ним куда угодно, если придётся резко изменить образ жизни.

— Даже на край света! — храбро заявила она.

Однако такой самоотверженности пока не требовалось.

Служба безопасности «Заставы» задержала двух функционеров, служащих ящеролюдям, которые угрожали Ватшину, приставила к нему охрану, и всё успокоилось на какое-то время.

Ватшин получил от издательства компенсацию за отказ печатать роман о ксенотиках и начал новый — о путешествии во времени.

Люся продолжила работать в турагентстве, мечтая о путешествии на море.

Жизнь наладилась. А о случившемся в конце декабря напоминал лишь охранник, провожавший Ватшина во время его поездок по городу, и редкие звонки Гордеева.

Константин закрылся на кухне, сварил себе кофе в джезве.

Снова вспомнился присланный Кротовым материал.

Если убитый ящеролюдьми хроник не привирал, на Земле уже сотни лет жили инопланетяне, маскируясь под людей. Они пробрались во все властные институты большинства государств, диктовали свои законы, подчиняли несогласных своим порядкам и завладели самыми важными инструментами управлениями народами, позволяющими им беспрепятственно вести свою политику: институтами образования, науки, культуры, средств массовой информации и телевидения. Средств борьбы с ними Кротов не знал, и Ватшину, привыкшему скрупулёзно, до мелочей, продумывать канву будущего романа, пришлось домысливать эти средства самому. Каково же было его удивление, когда он столкнулся с *настоящими* «бесогонами», как иронично называли себя реальные борцы с «пастухами», создавшие организацию «Застава»». До сих пор Ватшину казалось, что все они придуманы им, а война с «пастухами» ведётся понарошку, виртуально, как новая стратегическая онлайн-игра.

Снова вспомнилось нападение бандитов, а точнее—киллеров ящеролюдей, когда Ватшин с Люсей собрались ехать на дачу под Новый год. На игру это было похоже мало, и он со вздохом признался сам себе, что приходится подчиняться правилам этой игры, финалом которой запросто может быть смерть.

«К чёрту!—решительно оборвал он горестные воспоминания.—Мы ещё посмотрим, кто кого! Что там писал Кротов? В тексте были какие-то рекомендации—как стать таким же хроником. Ну-ка, память, давай напрягись, вытаскивай забытое!»

Ватшин углубился в кладовые памяти, не востребованные до сих пор, остро пожалев, что не догадался сбросить полученный год назад файл кому-нибудь из друзей. Не пришлось бы в этом случае и память мучить.

Итак, Кротов советовал для начала научиться концентрировать внимание на достижении цели—при умении медитировать и не отвлекаться. Этому Константин научился давно, поскольку работа писателя требовала именно такого сосредоточения. Если уж он попадал в созданный собственным воображением мир, то начинал там жить и возвращался обратно в мир реальный, только когда кончалась энергия. Когда он уставал.

Хорошо, пошли дальше.

Кротов советовал научиться «спускаться вниз», к источнику всего сущего. Что он имел в виду? Физическую картину мироздания? Вселенная, по мысли космологов, родилась после Большого Взрыва. Значит, надо нарисовать умозрительно этот взрыв? Момент рождения Метагалактики?

Ватшин закрыл глаза, представил, как это может выглядеть.

В пустом и чёрном пространстве загорается звёздочка…

Стоп! По современным теориям, существует Большая, Бесконечная, вечно кипящая Вселенная, заполненная не пустотой (пусть простят меня учителя́ словесности), а перетекающей из одного состояния в другое энергией. Значит, в сверкании вихрей *той* Супервселенной загорается сверхмалая звёздочка и стремительно начинает расширяться. Этот этап учёные, кажется, назвали инфляцией. Что дальше?

Звёздочка за сверхкороткий отрезок времени расширяется до гигантских размеров и превращается… во что она там превращается? Со стороны не видно, надо попасть внутрь. Итак, мы внутри…

Ватшина обняла невероятная космическая *пустота*, пронизанная не менее невероятной *тишиной! Ничто*, из которого родилась будущая Метагалактика, продолжало расширяться, превращаясь в настоящее трёхмерное (а может быть, и многомерное) пространство, ещё не заполненное материей. Ватшину даже показалось, что он может пить эту *пустоту*, как воду.

А затем весь этот невообразимо колоссальный объём, который невозможно было на самом деле назвать ни вакуумом, ни пустотой, ни пространством, *взорвался* ещё раз, превращаясь в пламя перворождённых элементарных частиц—суперструн, сверхточек, кварков и глюонов. Началась эпоха рекомбинации, превращения первичных кирпичиков Мироздания в элементарные частицы—протоны, нейтроны и электроны, которые через миллион лет образовали первые звёзды, протогалактики и протопланеты…

Ватшин вынырнул из своего мысленного путешествия, как пловец из воды, хватая ртом воздух. Обливаясь, допил остывший в чашке кофе.

«Бог ты мой!—подумал он с испугом.—Я ведь и в самом деле видел *это!* Значит, Кротов не зря именно мне прислал компромат на ксенотиков? Я тоже—из тех, кто *видит?*»

Захотелось снова вернуться в прошлое, посмотреть, чем закончится эпоха рождения первых звёзд.

Однако на кухню вдруг зашла заспанная, в одной ночной рубашке, Люся, и Ватшин с сожалением отложил идею побродить по древней Вселенной, заполненной «дымом» начавшихся термоядерных реакций. Обнял жену, уткнувшись носом в её грудь.

— Разбудил?

Он поцеловал её.

— Я сама встала,— сонным голосом ответила она, прижав его голову к себе.
— Кофе хочешь?
— Хочу,— Люся улыбнулась, когда губы мужа снова нашли сосок груди под рубашкой.— Ты работал?
— Точно,— проговорил он с заминкой, не спеша признаваться в своём мысленном путешествии в прошлое.— Иди умывайся, пока я кофе сделаю.

Люся послушно двинулась к двери, оглянулась:
— Знаешь, вчера меня с работы один молодой человек провожал.
— Вот как?— сдвинул он брови с нарочитой угрозой.— Кто? Я его знаю?
— Я сама его не знаю.

Он засмеялся:
— А говоришь— провожал.
— Он сзади шёл, а когда я оглядывалась— прятался.

Сердце кольнула тревога.
— Этого нам не хватало! Ты его раньше видела?
— Нет.
— Почему же вчера не сказала?
— Забыла.

Люся вышла.

Ватшин повертел в руках пустую чашку и вдруг понял, что надо позвонить Гордееву. Интуиция подсказывала: ксенотики его не забыли.

2. Мера пресечения

Солома— кличку ему придумали ещё в школе из-за очень светлых, почти белых волос— по паспорту был Юрием Малербой. Цвет его волос и в зрелом возрасте почти не изменился, как и характер, весёлый и простой, легко отзывающийся на шутки товарищей. При этом Юра был классным оперативником, мастером рукопашного боя, тонким аналитиком ситуаций и не зря командовал спецгруппой «Заставы», по физическим и психологическим кондициям не уступающей таким подразделениям силовых служб, как «Альфа» и «Кобра».

После захвата представителей двух враждующих лагерей ксенотиков— ящеролюдей и змеелюдей, маскирующихся под добропорядочных граждан России,— Солома получил задание доставить обоих задержанных— Коренева (под маской бывшего полковника КГБ жил и здравствовал Зишта Драгон, человекоящер, сумевший устроиться заместителем директора Московской газовой биржи) и Хаевича (этот деятель был змеечеловеком по имени Зифа-Кифа)— не на Лубянку, где у них наверняка были свои «люди», а на одну из баз «Заставы» в Чехове.

Задание было простым и лаконичным— доставить— и никак не комментировалось начальником службы безопасности «Заставы» Гордеевым. Но для его выполнения потребовалось совершить множество дополнительных манипуляций, в том числе— обставить исчезновение Коренева и Хаевича таким образом, чтобы оно имело под собой реальные основания. На это потребовалось время— двое суток, после чего в прессу просочились слухи о коррумпированности обоих чиновников и бегстве их в «одну из европейских стран». Где их следы и затерялись.

Только завершив эту часть операции, Солома и трое его оперов повезли отнюдь не «зелёных человечков» на базу, где с ними должны были поработать специалисты иного плана— контактёры, ксенопсихологи и эксперты в области изучения НЛО. Всё-таки успешный захват таких крупных «инопланетных дельцов» являлся делом редким, а пользы анксам они могли принести немало.

Солома не зря считался лучшим исполнителем такого рода операций. Он не стал спешить с реализацией задания, разработал план «Б» на случай непредвиденных обстоятельств и только после этого усадил ксенотиков в фургон «Мерседес» с надписью «Мороженое» на борту. Передислокация пленных на базу, которая располагалась недалеко от городка Чехова, на территории охотхозяйства «Люторецкое», должна была состояться ночью.

Выехали из Москвы в два часа ночи.

Интуиция не подвела его и на этот раз. На пятьдесят первом километре Варшавского шоссе их ждала засада.

Кто её устроил, они разобрались позже. А в три часа ночи, когда машины группы, основная— фургон с пленными и сопровождения— джип «Кайенн», проехали Шарапово, Солома почувствовал «дуновение ветра угрозы» и отдал приказ: «Курок!»— предписывающий группе быть готовой к нападению.

Через минуту впереди за поворотом показался съезд вправо, где стояли три автомобиля: грузовой фургон «Вольво», старенькая вазовская «Рено Лада» и полицейский «Форд» с мигалками.

Казалось бы, обычная дорожная ситуация: автоинспекторы останавливают для досмотра проезжающие по шоссе машины в плановом порядке. Однако Соломе не понравилось, что стоящие у машин люди сделали *слаженное* движение, заметив приближающиеся автомобили группы, и манёвр этот был очень похож на тренированное действие под названием *«рассредоточились»*.
— Внимание, готовность «плюс»!— бросил Солома, сидящий рядом с водителем фургона.

Навстречу им выдвинулся инспектор ДПС, махнул полосатым жезлом, показывая на обочину.

Фургон «Мороженое» начал замедлять ход, потом рванул вперёд, объезжая инспектора.

Джип последовал за ним.

И тотчас же по бортам обеих машин сыпануло железным горохом: стреляли из-за фургона «Вольво», из автоматов!

Вскрикнул водитель «Мерседеса»: пуля пробила дверцу и попала ему в локоть.

— Ответ! — рявкнул Солома.

Боковые окна джипа одновременно опустились, сверкнули выстрелы: оперативники сопровождения дружно ударили по фургону, по «Форду» и «Рено Ладе», затем по кустам вдоль дороги, где прятались ещё несколько стрелков.

Стрельба длилась несколько секунд. Затем сзади взорвался «Форд»: пули оперативников нашли его бензобак.

Стрельба прекратилась.

Машины с пленными ксенотиками вырвались за пределы оцепленного участка шоссе.

— Задок? — вызвал Солома джип, озабоченно поглядывая на побледневшего водителя, вцепившегося в баранку руля одной рукой.

— Нормально, один раненый, — доложили ему.

— Сейчас остановимся, посчитаем выбитые зубы. Мне тоже нужен врач.

Кортеж удалился от места стычки с неизвестными киллерами на два километра, прижался к обочине шоссе. Несколько секунд бойцы Соломы всматривались в лес, прислушивались к далёкому шуму, сжимая рукояти пистолетов-пулемётов, затем двое из них подбежали к фургону.

Водителю перебинтовали руку: пуля раздробила локтевой сустав парня, пришлось делать ему обезболивающий укол, на его место сел сам Солома, доложил Гордееву о случившемся, и группа помчалась дальше.

Вскоре они уже въезжали на территорию охотхозяйства, охраняемую не хуже, чем военные базы Министерства обороны России.

Наутро Юрий встретился с Гордеевым и обстоятельно доложил все подробности ночного боя. Добавил задумчиво:

— А ведь они знали, что мы повезём ксенотиков на юг.

— Да понял я, — ответил Иван Петрович хмуро. — По всем признакам, у нас завёлся ещё один «крот» ксенотиков. Будем работать, выявлять. А пока тебе новое задание: позвонил писатель, утверждает, что за его женой ведётся наблюдение. Взять под контроль, пресечь!

— Слушаюсь, — ответил Юрий, стирая с лица задумчивость.

Жил он один, поэтому ему не надо было отчитываться перед женой или родственниками, куда он исчезает и когда вернётся. Да и образ жизни не позволял бывшему десантнику ВДВ расслабляться. Получив приказ, Солома сразу начал его выполнять.

Через час штатный охранник писателя был отозван, за квартирой Ватшиных было установлено наблюдение с использованием новейшей дальнозоркой аппаратуры и компьютерных анализаторов, а во дворе дома писателя появился фургончик с надписью «ЖКХ Ремонт». В фургончике этом под видом работников жилищно-коммунального хозяйства поселились оперативники Соломы, готовые в три секунды сменить разводные ключи, лопаты и веники на пистолеты.

На следующий день — это было воскресенье — наблюдатели доложили о подозрительном «шевелении» вокруг дома писателя.

Во двор заехала машина скорой помощи, да так и осталась там, приткнувшись к сетчатому заборчику детсада.

Потом появилась подозрительная молодая парочка, усевшаяся на лавочке возле детской площадки. Пара принялась потягивать пиво из бутылки и обниматься. Но подозрительной она показалась не своим «отвязным» поведением, а тем, что бутылку пива — одну! — не смогла осилить за два часа сидения на одном месте. Что для современной молодёжи не являлось нормой.

Солома заинтересовался скорой, попросил Дэна «пробить» номер новенькой машины и выяснил, что она числится за шестьдесят седьмой больницей скорой помощи, но числится в ремонте. Стало ясно, что во дворе дома Ватшина машина появилась неспроста.

Оперативники сфотографировали также молодую пару, не стеснявшуюся обниматься на виду у жителей близлежащих домов, фото разослали по всем центрам «Заставы», и к обеду Солома знал, что девушку зовут Моникой и что она работает секретарём заместителя мэра Москвы по строительству. Её напарником оказался телохранитель Коренева по прозвищу Дылда. Как ему удалось скрыться во время задержания самого Коренева, было непонятно, но его появление с Моникой только подтвердило подозрения Соломы в приближении каких-то событий.

Он вызвал группу усиления к дому Ватшиных и доложил Гордееву о своих предчувствиях.

— Жди, — коротко ответил Иван Петрович.

— Можно провести классную операцию, — сказал Юрий. — Если попросить Сан Саныча посмотреть будущее.

Гордеев понял.

Сан Саныч — Александр Александрович Уваров — был хроником и мог «ходить» в будущее как в свой сад, что делало его особо ценным сотрудником «Заставы».

— Жди, — ещё раз повторил начальник службы безопасности, не ответив на предложение.

3. Очаг аффектации

Арнольд Метаксович Бесин, заместитель мэра по строительству, обедал, когда включился скайп личного айкома.

Он владел тремя квартирами в Москве (остальную недвижимость, за границами столицы и вообще за рубежом, можно было перечислять долго), но чаще всего бывал в роскошной шестикомнатной квартире площадью больше трёхсот квадратных

метров, располагавшейся в «сталинской» высотке у метро «Баррикадная».

Квартира была «смонтирована» из трёх, меньшей площади, на пятнадцатом этаже и имела три входа: один — «официальный», два других — запасные, охраняемые специальными нарядами из особо тренированных бойцов ВИП-охраны «Ксенфорс», как называли свой союз на Земле ксеноящеры.

Кроме «Ксенфорса», на глобальную земную *делянку* претендовал и «Герпафродит» — союз ксенозмей, что сильно ограничивало ящеролюдей и огорчало лично Арнольда Метаксовича, или Шамшура Ашшурбазипала, как звали его на родной планете. Но гораздо больше бесила его деятельность русской национальной пограничной службы «Застава», которую он всеми фибрами души жаждал уничтожить.

Десять лет назад, когда «Застава» только создавалась, никто не подозревал, насколько опасной она может стать. Но год от года «антиксенотическая» служба действовала всё уверенней, находила всё больше союзников в государственных структурах России, начала чистить ряды властных кабинетов от агентов «Ксенфорса», и главный «пастух» России вынужден был начать с анксами настоящую войну.

К счастью, они не всегда добивались цели и допускали ошибки, которые приводили к поражению «Заставы» в тех или иных важных областях социума. К примеру, анксы не смогли добиться отмены ЕГЭ и внедрения так называемых «новых стандартов образования», в результате чего Россия откатилась в данной области развития в хвост более развитых в этом отношении государств. Оглупление российского народа пошло быстрее. Но и «Ксенфорс» кое-где начинал проигрывать, и последней каплей в этой затянувшейся *игре противостояния* стало бегство хроника Крота, успевшего сбросить информацию о присутствии на Земле ксенотиков совершенно не опасному с виду человеку, писателю-фантасту Ватшину. Который написал роман на основе ценнейших секретных данных и оповестил весь мир об истинном положении вещей!

Арнольд Метаксович в сердцах сплюнул, попал в тарелку с мелко нашинкованным шпинатом, резко отодвинул её в сторону.

«Застава» и здесь опередила «Ксенфорс», успев перехватить писателя и взять его под защиту. Теперь надо было изворачиваться и нейтрализовать возникшую угрозу в лице писаки, тем более что он, скорее всего, был хроником, таким же, как математик Уваров, которого тоже упустили агенты Зишты Драгона, а сам он попал в плен к анксам.

Бесин сплюнул ещё раз, жестом подозвал домашнего повара, выполняющего, кроме всего прочего, роль официанта и телохранителя.

— Убери! Неси первое!

Повар склонил голову, быстро перетасовал тарелки, принёс луковый суп.

Арнольд Метаксович последние две недели худел, поэтому ел только некалорийную пищу, хотя это не помогало. Весил он уже больше ста сорока килограммов и остановить рост массы не мог. Надо было брать отпуск и лететь на родину, где имелись все возможности для *оптимизации* организма до нормального состояния. На Земле же для ящеролюдей было слишком много соблазнов, приводящих к печальным последствиям. Змеелюдям из «Герпафродита» в этом отношении было намного легче, они от земной пищи не толстели и от земных наркотиков не «торчали».

Телефон завибрировал ещё раз.

Бесин глянул на высветившийся опознавательный индекс абонента, включил скайп.

Из футлярчика айкома вырос световой конус, превратился в миниатюрную женскую головку.

— Мы готовы, Шур, — сказала Моника. — Писатель не выходил, сидит дома.

— Берите, — сказал Арнольд Метаксович. — Не захочет работать с нами — ликвидируйте тихо. Но прежде проверьте, кто его пасёт.

— Охранник один, торчит в машине.

— Учтите.

— Конечно, мы его… учтём.

Арнольд Метаксович выключил телефон. Настроение улучшилось. После ликвидации писателя одной проблемой станет меньше, а это всегда успокаивает.

Он даже песню замурлыкал, чем сильно удивил и озадачил повара, никогда прежде не видевшего босса в таком настроении.

Бесин заметил его взгляд, подмигнул:

— Прищемим им хвост, как ты думаешь?

Повар промолчал, так как не понимал игривости босса напрочь.

4. Угол падения равен…

Всё утро Ватшин читал фантастику отечественных авторов, выискивая интересные гипотезы и предположения.

После знакомства с анксами перед Новым годом ему предложили стать аналитиком литературных произведений, авторы которых могли подать неплохие идеи в области ксенопсихологии и контактологии, а «Застава» могла бы взять эти идеи на вооружение.

За месяц Ватшин прочитал около двадцати романов и столько же рассказов молодых писателей, однако до сих пор ничего существенного не обнаружил. Герои романов в большинстве случаев воевали: либо в космосе, либо в придуманных фэнтезийных «колдовских» мирах, — либо занимались сексом. Ни о романтике, ни о научных достижениях речь в них не шла. Поэтому

Константин начал постепенно разочаровываться в современной фантастической литературе, зато с удовольствием читал классику и даже посоветовал своему непосредственному начальнику Дэну (так его звали все) почитать Стругацких, выдавших ещё в середине двадцатого века немало неординарных идей. Чего только стоила гипотеза контрамоции—ступенчато-отрицательного перемещения во времени, высказанная классиками в повести «Понедельник начинается в субботу».

К обеду Ватшин осилил роман нынешнего лидера отечественной фантастики Ника Дьяволенко. Сам он, конечно, сомневался в лидерстве переселенца из Дагестана, бывшего врача-гинеколога, использующего чужие идеи в силу своей научной некомпетентности, однако у Дьяволенко сложилась огромная диаспора почитателей его «таланта», вечно торчащих в Интернете, с которыми он тусовался везде, где только можно, не брезговал поить их за свой счёт, а они платили ему взаимностью, голосуя за любимого автора на всех конвентах фантастики, вручая ему всевозможные литературные премии. Что именно он написал, не имело для них никакого значения.

Ватшин в своё время переживал, что ему премий достаётся меньше, так как считал, что пишет лучше. Потом пришло понимание ситуации, и переживать он перестал. Зато мог объективно оценить творчество коллег и жаждал одного—не славы, но признания читателей. А с этим у него всё было хорошо.

Роман Дьяволенко его не то чтобы разочаровал (детский лепет на лужайке, милый и необязательный), но и не задел. Научных открытий, равно как и психологической достоверности развёрнутого писателем мира, он не принёс. Как сказала Люся, с трудом осилившая половину романа, гинеколог так и остался гинекологом в каждой строчке произведения. А это уже пахло клиникой. Недаром же он выпустил два десятка книг с другими авторами: своего воображения явно не хватает.

— А у меня хватает?—поинтересовался Ватшин.

— Ещё как!—поцеловала его жена.

Кто-то позвонил в дверь.

— Открой, милый,—попросила Люся, засевшая в ванной.

Ватшин нехотя оторвался от стола.

Зазвонил мобильный.

Он сделал шаг к двери, но вернулся к столу, поднёс к уху новый айфон:

— Слушаю.

— Константин Венедиктович?

— Кто это?

— Солома.

— Приветствую.

— Вы один?

— Нет, Люся дома, в… э-э… занята. А что? Подождите, открою, в дверь кто-то звонит.

— Ни в коем случае не открывайте! Спрячьтесь подальше от двери, не отвечайте!

— Что случилось?—удивился Ватшин.

— Потом объясню.

В трубке заиграла мелодия отбоя.

По спине Ватшина протёк холодный ручеёк страха. Он поёжился. Одно дело—писать о приключениях крутых героев, другое—стать самому таким же крутым и бесстрашным. А к этому он готов не был, подумав мимолётно, что в квартиру вполне могли позвонить киллеры.

— Кто там?—позвала мужа Люся.

Он шмыгнул в ванную, закрыл за собой дверь на щеколду, прижал палец к губам:

— Тихо!

— Что такое?—встревожилась Люся, высовывая голову из-за шторки перед ванной.

— К нам гости!

— Кто?

— Не знаю.

Глаза жены стали круглыми.

— Ты думаешь… они?!

Ватшин кивнул, не совсем понимая, что Людмила имеет в виду.

— Сейчас придёт Солома…

Он не договорил.

В двери со скрежетом провернулся какой-то инструмент, в прихожую ворвались люди. Интуиция подсказывала, что их трое и что намерения у них недобрые.

Ватшин схватил с полки над умывальником баллончик с аэрозоль-дезодорантом, собираясь пустить его в ход как оружие.

Люся зажала рот рукой.

Гости разбрелись по квартире, один подёргал за ручку ванной комнаты, позвал кого-то сиплым шёпотом:

— Здесь они!

Ручка начала крутиться, в дверь ударили ногой.

Ватшин поднял баллончик.

И в этот момент в квартире вдруг началась какая-то возня, шум, удары, крики, раздался негромкий выстрел, завизжала женщина.

Затем шум стих, в дверь деликатно постучали:

— Константин Венедиктович, выходите.

Ватшин сглотнул ставшую вязкой слюну, открыл дверь ванной.

Перед ним стояли двое парней: Солома в камуфляже и белобрысый здоровяк в обычном гражданском полупальто и джинсах.

Солома бросил взгляд на дезодорант в потной руке писателя.

Ватшин покраснел, спрятал баллончик за спину.

— Я хотел…

— Понимаю. Всё в порядке, сейчас их унесут, и мы поговорим.

Константин вытянул шею, стремясь разглядеть, что творится в квартире.

Сзади появилась Люся с разгоревшимся от любопытства лицом. Она была закутана в простыню, вокруг головы красовалась чалма из полотенца.

— Что здесь происходит?

Спутник Соломы деликатно отошёл в сторонку, принялся помогать бойцам группы.

Солома оглянулся, развёл руками:

— Извините, мы тут напроказничали, сейчас всё уберём.

Ватшин заметил два лежащих на полу тела, переглянулся с женой.

— Кто это?— побледнела Люся.

— Вам придётся переехать,— с сожалением сказал оперативник Гордеева.— Здесь оставаться нельзя. Они не отстанут.

— Куда переезжать?— с испугом спросила Люся.

— Я бы посоветовал вообще уехать из Москвы, но решаю не я.

— Никуда мы не поедем!

Солома виновато развёл руками:

— Прошу прощения.

Возня в гостиной и в прихожей Ватшиных прекратилась.

Тела непрошеных гостей унесли, стулья поставили на места, прибрали осколки разбитых ваз и зеркала.

— Остальные вы уж сами,— подошёл к стоящей возле двери ванной супружеской паре Солома.— Через час подъедет комиссар, а вы пока соберите вещи.

— Никуда мы не поедем,— почти беззвучно выговорила Люся.

Солома сочувственно посмотрел на женщину, кивнул Ватшину и вышел вслед за своими бойцами.

Ватшины остались одни.

— Вот гадство!— очнулся он.

На глаза жены навернулись слёзы.

— Нам и в самом деле надо переезжать? Я не хочу! Да и что мы родителям скажем?

Он крепче прижал её к себе.

— Я тоже не хочу. Но Солома прав, ксенотики не оставят нас в покое.

— Мне в голову не могло прийти, что это правда!— Люся всхлипнула.— Пришельцы… ящеролюди… фантастика!

— Они потому и действуют свободно, что все считают их присутствие на Земле фантастикой. Я в том числе. Не унывай, переживём!

Люся улыбнулась сквозь слёзы:

— Зачем мы им? Чего они от нас хотят?

— Не знаю. Похоже, я для них представляю какую-то опасность.

— Какую? Ты же просто писатель.

Ватшин невесело усмехнулся:

— Просто… возможно, я тоже хроник.

— Кто?!

— Если бы я знал,— вздохнул он.

5. Давность

Гордеев не стал настаивать на «глобальном» переезде— в другой город.

— Поживите в Подмосковье,— предложил он, заехав к Ватшиным в гости через час, как и обещал Солома.— У нас есть неплохая резиденция на Рублёвке, в Горках-2. Вещи нужны только личные, плюс одежда и обувь на первое время, остальное всё есть.

— Сколько мы там будем прохлаждаться?— поинтересовался Константин.

— Зачем прохлаждаться?— не понял Иван Петрович.— Работайте как работали. Жену будут возить на работу и привозить обратно наши люди. До конца зимы придётся потерпеть. А завтра я познакомлю вас с очень интересным человеком, который тоже вынужден скрываться от ксенотиков.

— Кто он?

— Математик, работает на кафедре МИФИ.

— Хроник?— догадался Ватшин.

Гордеев озадаченно посмотрел на него:

— Я вам уже рассказывал о нём?

— Интуиция.

— Что ж, вам будет о чём поговорить с этим человеком.

Прошёл день.

Ватшиных отвезли в Горки-2, поселили в небольшом двухэтажном коттедже в окружении соснового бора. Люся обошла свои временные владения и осталась довольна:

— Жить можно. Хотя наша дача нравится мне больше. Ты не спросил, друзей можно сюда приглашать?

— Не спросил,— виновато сознался он.— Потерпи пока, ладно? Мне почему-то кажется, что мы здесь недолго потусуемся.

Коттедж охранялся.

Ватшин, по примеру жены, обошёл всю его территорию, познакомился с охранниками, жившими в отдельном строении у забора, подумал, что как ни крути, а это тюрьма, но делать было нечего, волею судьбы он оказался не в том месте и не в то время, если трактовать полученную от Кротова информацию в таком ключе, и надо было приспосабливаться к перемене жизненного уклада и радоваться, что они с женой остались живы.

На следующий день Солома повёз его в Москву.

— Куда едем?— полюбопытствовал Константин, успевший привести свои мысли в порядок и настроенный оптимистически.

— К Сан Санычу,— ответил никогда не унывающий оперативник; от него так и веяло бодростью и жизненной энергией.

— Где он живёт?

— На Юго-Западе, через сорок минут доедем.

Ехали и в самом деле около сорока минут: Солома был хорошим водителем, знал все дороги,

объездные пути и дворы, а главное — вовремя реагировал на посты ДПС, и машину ни разу не остановили, хотя порой серебристая «Хёндэ» Соломы развивала скорость под сто пятьдесят километров в час.

Математик Сан Саныч Уваров жил на улице Матвеевской, упиравшейся в Аминьевское шоссе. Квартира у него оказалась самой обычной, двухкомнатной, без каких-либо изысков, кроме одного: она больше напоминала библиотеку. Книжные полки располагались не только в гостиной, но и в спальне, в прихожей, на кухне и даже на довольно просторном застеклённом балконе.

— И всё равно не хватает места, — признался Александр Александрович. — В два ряда ставлю. А вы же знаете поговорку: книг второго ряда нет! Они как бы перестают существовать, недоступные ни руке, ни взгляду.

Был математик, в прошлом волейболист, высок — ростом под два метра, носил короткие седые волосы; серо-зелёные глаза его смотрели оценивающе, с иронической грустинкой, а губы всегда готовы были сложиться в улыбку.

Ватшину он сразу понравился.

— Жена придёт вечером, а то бы познакомил, — сказал математик, — а дети у друзей.

— Ну, я пошёл, — оставил их Солома. — Позвоните, когда освободитесь, я отвезу вас домой.

Уваров предложил гостю кофе. Ватшин согласился.

Они уселись на кухне, и Сан Саныч рассказал Константину свою историю: как он стал хроником и как на него вышли анксы.

Разговорился и Ватшин, делясь своими впечатлениями и умозаключениями. Спросил, не сдержав любопытства:

— Вы и в самом деле видите будущее?

— Это трудно назвать видением, — улыбнулся Уваров. — Чтобы что-то видеть, надо понимать, что это такое. Начинал я с погружений в прошлое. Когда первый раз вышел к истокам Вселенной, не сразу разобрался в том, что вижу. Пришлось проштудировать литературу по космологии и астрофизике.

— У меня получилось со второго раза, — признался Ватшин. — Но я специально изучал историю рождения Мироздания: писатель должен разбираться в темах, которые затрагивает в своих произведениях. А тема космологии мне очень близка, я много пишу о космосе.

— Вы сторонник теории Большого Взрыва?

— В принципе — да, теория красивая и, на мой взгляд, отражает реальное событие.

Ватшин уловил тень улыбки, промелькнувшую в глазах собеседника, торопливо добавил:

— Насколько мне позволено судить, конечно. Сначала я просто окунулся в прошлое, чтобы посмотреть, что было до звёзд.

— Первые звёзды образовались спустя сто пятьдесят миллионов лет после Бигбума. Это так называемое «третье население» — большие сверхмассивные звёзды, не дожившие до нашей эпохи. После этого началось образование квазаров и протоскоплений галактик. А до этого во Вселенной царствовала «тёмная эпоха» — время без звёзд и света.

— После рекомбинации водорода, — согласился Ватшин, показывая свою эрудицию. — Источники излучения тогда ещё не появились, и длилась эта эпоха сотни миллионов лет. Когда я попытался оглядеться и ничего не увидел, испугался даже, подумал — ослеп!

— Со мной было примерно то же самое, — хмыкнул Уваров. — Потом я окунулся в сплошное пламя и понял, что вижу аннигиляцию частиц и античастиц.

— Потом началось образование нуклонов, — подхватил Константин, — и пошли первые ядерные реакции с образованием ядер дейтерия и гелия.

— Которые — я имею в виду реакции — длились триста восемьдесят тысяч лет.

— Если верить расчётам учёных.

— Вы не верите?

— До определённого момента. Существуют гипотезы о непостоянстве самих мировых констант, а если они верны, то оценки учёных, наоборот, неправильны.

— Я так глубоко не копаю. По большому счёту, теория Большого Взрыва проста, и оценки учёных близки к истине. К примеру, то, что звёзды второго поколения начали рождаться спустя три миллиарда лет после Бигбума, — это правда.

— А звёзды последнего поколения, к которому относится и наше Солнце, начали образовываться из протозвёздных сгущений — в местах скопления тёмной материи — спустя восемь-девять миллиардов лет.

— Точно.

— А когда появился первый разум? — задал свой главный вопрос Ватшин.

— Это интересная тема, — Уваров налил кофе гостю, подвинул орехи и сухарики. — Поскольку мы хроники…

— Я ещё только учусь, — поспешил оправдаться Ватшин.

— Раз уже сходили в прошлое — значит, хроник. Так вот, поскольку мы помним прошлое из таких бездн времён, то оно отложено в нашей памяти. А раз так, уже в ту эпоху существовали какие-то живые организмы, ставшие нашими предками. Понимаете?

— Ух ты! — простодушно пробормотал Константин. — Под таким углом я эту проблему не рассматривал.

— Помнить можно лишь то, что записалось в родовой памяти, это простая логика. Пейте, а то остынет.

Ватшин отпил полчашки, не замечая ни температуры, ни вкуса кофе, бросил в рот орешек.

— То есть вы хотите сказать, что разумные существа возникли ещё до звёзд?

— Может, не разумные в полном смысле этого слова, но уже живые, если хотите. Что под этим следует подразумевать, я особо не размышлял. Для меня живое — то, что самоорганизуется и саморазмножается. Химией в те времена не пахло, поэтому первые организмы были, скорее всего, комбинациями всевозможных физических полей, может, даже докварковых.

— Ух ты! Безумно красивая идея! Для романа, я имею в виду. Подарите?

Уваров засмеялся:

— Вы писатель, вам и карты в руки. Кстати, играете в преф?

— Немножко.

— В таком случае мы подружимся, люблю эту игру.

— И всё же непонятно, как нам передалась информация о рождении Вселенной.

— Не о рождении — о первых секундах существования Вселенной, когда появились первые признаки жизни.

— Жизнь возникла за несколько секунд? Как-то не верится…

— Это для нас они секунды, а для тех эпох наши секунды являлись веками и миллионолетиями, возникшие структуры успевали дать потомство, состариться и умереть за тысячные доли секунды. Просто темп жизни был другим, мы для тех существ — сверхмедленные существа. А нам на смену, кстати, придут ещё более медленные. Но это тема отдельного разговора.

— Согласен, надо анализировать, — Ватшин спохватился. — И всё же не понимаю, когда возникли первые разумные. Я видел в космосе какие-то очень красивые геометрически правильные сооружения, напоминающие снежинки и ажурные башни.

— Звёзды уже были?

— Да… кажется… да что это я — конечно, были! «Снежинки» группировались вокруг них!

— В таком случае вы вспомнили о второй Э-волне разума.

— Какой волне?

— О волне расселения разумных систем по космосу. Это была настоящая экспансия, закончившаяся переделом пространства и первыми звёздными войнами. Остатки разрушенных звёзд всё ещё догорают.

— Войн я не видел.

— Ещё увидите, коль добрались до эпохи освоения пригодных космических объёмов. Носителями разума тех времён являлись полевые кластерные конструкции, а не существа из плоти и крови. Жизнь кучковалась на поверхности звёзд, а не на планетах.

— Откуда вы знаете? Ах, ну да, извините…

— Я давно путешествую по космосу, многое изучил. Вы это тоже увидите.

— Вы говорите, что это была вторая волна разума. А первая?

— Волн на самом деле было много, каждая космическая эпоха порождала свой тип разума. До второй Э-волны космос покоряла первая, в которой носителями разума служили «разумные ядерные реакции», как я их называю, то есть реакции, приводящие к гармоническому усложнению континуума.

— Боюсь, я тут вам не соратник.

— Оппонент?

— И не оппонент, просто не хватает информации для обсуждения. Хорошо, согласен с утверждением, что жизнь была всегда, менялись только основы жизни. Есть мнение, что вообще вся Вселенная разумна. А что было за второй Э-волной?

— Вы и сами сможете это увидеть.

— Вот бы вместе… — вырвалось у Ватшина.

Губы Уварова сложились в понимающую улыбку.

— Мне тоже не хватает спутника во время путешествий по закоулкам памяти. К сожалению, это дело сугубо индивидуальное.

Константин вспомнил о причине своего переезда в Подмосковье.

— Скажите, зачем за нами гоняются ксенотики? Что им от нас надо?

— Мы помним не только общие процессы формирования материи, но и вполне конкретные координаты прошлых цивилизаций. А они могли оставить после себя не просто следы своей деятельности в открытом космосе и на поверхности планет, но и супертехнологии, и памятники культуры, и оружие. Вот ксенотики и жаждут высосать эти сведения из нас.

— Но я… не помню…

— Вспомните, раз начали ходить в прошлое.

— А вы помните?

— Да, — просто ответил Уваров, и глаза его на мгновение стали грустными. — Я многое помню, хотя считаю себя больше специалистом по будущему.

Ватшин смотрел непонимающе, и Александр Александрович пояснил:

— Мне хорошо удаётся рассмотреть, что будет через сто лет и дальше.

— А поближе — через пятьдесят лет, через десять?

— Нет, здесь у меня в памяти провал. Ближайшее будущее для меня закрыто, не знаю почему. Пробовал прогнозировать, но неудачно. Может, вам удастся?

— Не знаю, не пытался ни разу.

— У вас всё впереди. Одно могу сказать с уверенностью: вас ждёт немало открытий, в том числе горьких и неприятных. Как говорится, многие знания — многие печали.

Ватшин опустил голову, переваривая услышанное, поймал сочувствующий взгляд математика.
— Кто мы, Александр Александрович? Зачем нам этот дар?
— Насчёт «зачем» — не думал. А кто? Хроники, однако. Этим всё сказано. У Блока есть такие строки: «Мы — забытые следы чьей-то глубины». Очень тонко подмечено.

Ватшин промолчал, хотя и ему строки поэта понравились. От них пахло *тайной*.

Через час Солома отвёз его обратно в Горки-2.

Люся бросилась к мужу на шею:
— Как хорошо, что ты приехал! А то я места себе не находила, переживала. С кем встречался?
— Его зовут Сан Саныч, он математик, хороший мужик и тоже хроник, но со стажем.

Жена прищурилась вопросительно:
— Второй раз слышу от тебя это слово — «хроник», но ты не хочешь объяснять.
— Потом как-нибудь, ладно? Сделаешь кофейку? А я пока посую полученную информацию по полочкам.
— Суй, — фыркнула она, убегая на кухню.

Ватшин переоделся, залез на диван и вдруг захотел окунуться в тишину и мрак космического пространства, посмотреть на красивые «снежинки» чужих сооружений. Душе захотелось *полетать*.

Глава 4. Что будет

1. Бесплатный сыр

В среду неожиданно позвонил Быстрович:
— Константин Венедиктович, есть предмет для разговора.
— Да, слушаю, — с удивлением отозвался Ватшин, всего минуту назад вернувшись из «путешествия по космосу прошлых времён»; этот процесс захватывал его всё больше.
— Приезжайте к нам, продолжим переговоры.
— Вы хотите... пролонгировать договор?
— Поговорим.
— Хорошо, буду к двенадцати.

Он походил по комнатам коттеджа, размышляя о предложении редактора, хотел позвонить Люсе, которую каждый день отвозили на работу с охраной, но передумал. Не стал он звонить и Гордееву, посчитав причину недостаточно серьёзной. Уже было известно, что Николай Леонидович не имел отношения к ксенотикам, а его звонок вряд ли имел целью выманить писателя-хроника из «берлоги». К тому же ксенотики не могли точно знать о проявившейся способности Ватшина «ходить в прошлое». Об этом знали только три человека: Сан Саныч Уваров, Иван Петрович Гордеев и Дэн, исполняющий обязанности главного программиста и логиста «Заставы».

Ватшин подозревал, что Дэн — всего лишь кличка, однако не знал ни настоящего имени этого человека, ни фамилии, а спрашивать у Гордеева или Юры Соломы постеснялся.

Охранники коттеджа выпустили «Ниссан» Константина без проволочек. В их обязанности не входило сопровождение владельца охраняемого объекта, как не входили и расспросы, куда он едет и зачем.

До издательства «Недетская литература» на улице Клары Цеткин Ватшин добрался быстро. Поставил машину в ряду других авто, принадлежащих сотрудникам издательства, отметил проехавший медленно мимо джип «Инфинити» золотистого цвета, вспомнив, что точно такой же джип принадлежал бандитам, а точнее, боевикам ксенотиков, напавшим на него под Новый год.

Но джип имел вполне мирный вид, и Ватшин забыл о нём, войдя в холл четырёхэтажного здания издательства.

Быстрович встретил его в кабинете стоя, пожал руку, пригласил сесть за столик переговоров в углу кабинета. На нём была красивая серая куртка без воротника, с синими вставками-клиньями под плечи, и отливающая жемчугом рубашка со стоячим воротником, и выглядел редактор очень стильно.

Ватшин даже позавидовал ему, хотя сам любил одеваться нестандартно и свежо.
— Кофе, Константин Венедиктович?
— Как обычно.

Быстрович коснулся кнопки селектора, и тотчас же редакторша Наташа внесла в кабинет поднос, на котором стояли две чашки кофе, блюдо с ломтиками лимона, конфеты и курага; появления писателя здесь ждали.
— Мы решили всё-таки допечатать ваш роман, — продолжил Николай Леонидович. — В надежде, что вы допишете второй. Посоветовались с оптовиками, изучили рынок, поняли, что есть шанс. До лета ещё далеко, книга продастся.
— Спасибо, не ожидал, честное слово, — признался Ватшин. — После нашего прошлого разговора я даже подумывал сам проанализировать книжный рынок, но не стал этого делать.
— Писатель должен писать, — развеселился Быстрович. — Анализом рыночной ситуации должны заниматься специалисты. В принципе, за это время мало что изменилось в мире. Книжные продажи падают, тиражи электронных книг растут. Однако в России закон как не работал, так и не работает. Как скачивали тексты из Интернета на халяву, так и скачивают.
— Как же вы собираетесь выходить из положения?
— Вместе со всеми. Мы не одиноки в этой проблеме. Пытаемся судиться с халявщиками, меняем форматы изданий, предлагаем удобные тексты для ридеров. В общем, боремся за место под солнцем. Книги издавать будем, но уже иначе, больше для библиофилов, для любителей старинных

библиотек и раритетных изданий, что не требует больших тиражей. Книги же станут дорогими, как на Западе.
— А как же писатели?
— Писатели пострадать не должны. Вы будете получать гонорары уже не за количество изданных и проданных экземпляров, а за продажу прав использования ваших текстов издательствами. Закон уже готовится к обсуждению. К вам скоро обратится наш глава электронных контентов Виктор Попенченко, будет предлагать перевод ваших книг в аудиопродукцию и на экраны мобильных телефонов. Будьте готовы.
— Всегда готов,— пробормотал Ватшин, снимая с подноса чашку с напитком.

Быстрович взял свою.
— Продолжать роман о пришельцах будете?
— Буду,— сказал зачем-то Константин, хотя для себя уже решил закрыть тему в связи с последними событиями и начал разрабатывать сюжет романа о путешествии во времени.
— Ждём,— кивнул Николай Валентинович.— Пока что вы остаётесь самым востребованным писателем в этом жанре, статистика объективна, и даже ваш конкурент Дьяволенко проигрывает, особенно в части генерации новых интересных идей. Желаю удачи. Давай подписывать договор.

К машине Ватшин спускался окрылённый словами редактора. Именно поэтому он и не заметил, как за его кроссовером двинулся золотистый «Инфинити FX-50».

Пробки в Москве в дневной период времени слегка уменьшались, однако до МКАД Ватшин добрался не быстро. А сразу за аркой под мостом кольцевой автодороги, где Рублёвка переходила в Рублёво-Успенское шоссе, его задержал инспектор ДПС.

Пришлось остановиться, хотя Константин правил не нарушал и вины за собой не чувствовал.

Полицейский козырнул, подойдя к машине; лицо у него было равнодушно-сонным.
— Инспектор Байда. Ваши документы.
— У вас проблемы?— рискнул спросить Ватшин, протягивая права.
— У меня,— инспектор отрешённо глянул на пластиковую карточку с фотопортретом Ватшина,— нет. У вас — да. Пройдёмте.
— Куда?— удивился Константин.
— К машине.

Инспектор жезлом указал на стоящий впереди бело-синий «Фольксваген» с мигалками.
— Я же не нарушал.
— Вам всё объяснят.

Мелькнула мысль позвонить Гордееву.

Однако Ватшин покорно заглушил двигатель, вылез из машины и поплёлся вслед за инспектором Байдой к полицейскому «Фольксвагену». Уже садясь справа от второго инспектора, сидящего в машине, он боковым зрением заметил подъехавший золотистый джип «Инфинити». Хотел было вернуться к своему кроссоверу, но его кто-то с силой втолкнул в салон «Фольксвагена», Ватшин рухнул на сиденье, и последнее, что он увидел, был торец дубинки электрошокера, воткнувшийся ему в лоб.

2. Крайняя необходимость

Уваров почувствовал странное дуновение холодного ветра — при полном безветрии, поскольку он в этот момент шёл по коридору второго лабораторного корпуса МИФИ (несмотря на то, что институт давно стал НИЯУ — научно-исследовательским ядерным университетом, его продолжали звать институтом),— и понял, что его экстрасенсорика уловила какое-то негативное известие. Прислушиваясь к собеседнику, юному аспиранту, делившемуся с ним своими идеями в области формологии, и одновременно анализируя свои внутренние побуждения, Александр Александрович дошёл до Э-корпуса, оставил говорливого аспиранта, поговорил с начальником лаборатории об участии в коллоквиуме и вернулся на кафедру, пребывая в состоянии необычного напряжения. Перебрав все возможные причины этого состояния, он решил позвонить Дэну. Паникёром он себя не считал, но отмахиваться от непривычных переживаний не имел права.
— Может, вы почуяли слежку?— спросил Дэн.
— Нет, это другое,— сказал Александр Александрович.
— Расскажите, что вы чувствуете.

Уваров рассказал, тщательно формулируя выводы.
— С кем вы контактировали последний раз?
— Не понял.
— Возможно, ваши ощущения связаны с кем-то из знакомых, которые произвели на вас сильное впечатление.
— В последние три дня я много работал...— Александр Александрович вспомнил о знакомстве с Ватшиным.— Разве что с писателем? Он мне показался интересным собеседником, хотя хроник он ещё неопытный.
— Благодарю за информацию, ждите звонка, я посоветуюсь кое с кем.

Голос Дэна в трубке пропал.

Уваров занялся своими делами, включил компьютер, начал править статью о числонавтике в журнал «Глобал мэсэметикс», однако организм сопротивлялся, «искрил», включаться в работу не хотел, и в конце концов Александр Александрович бросил это занятие, намереваясь позвонить Гордееву. В свои предчувствия, отточенные многолетней игрой в карты, он верил.

Но Иван Петрович вдруг позвонил сам.
— Сан Саныч, у нас проблема: пропал писатель Ватшин.
— Что значит «пропал»?— озадачился Уваров.

— Выехал в издательство, побывал там на приёме у главного редактора, поехал обратно в Горки, насколько мы можем судить, и… не доехал.
— А охрана что говорит?
— В том-то и дело, что он никого не известил о своём выезде и поехал без охраны. Я знаю ваши способности, поэтому хочу попросить «бросить взгляд» на будущее писателя. Мы со своей стороны делаем всё возможное, ищем, но вы можете подсказать больше.
— Не могу,— огорчённо признался Уваров.— Я не вижу ближайшего будущего, мой предел — сто лет.
— Попытайтесь, Сан Саныч, в силу крайней необходимости: вдруг получится? Нам нужен хотя бы намёк на место, где может быть Ватшин. Жаль, если ксенотики вытянут из него какие-нибудь важные сведения о прошлом, ещё больше будет жаль, если его убьют.
— Я постараюсь,— после паузы пообещал Уваров.— Но не обещаю, что смогу помочь. До этого момента все мои попытки прогнозировать… э-э… точнее, увидеть будущее ближе сотни лет не увенчались успехом.
— Буду ждать известий.

Гордеев выключил телефон.

Уваров достал жвачку, задумчиво сложил бумаги на столе, попил водички. Потом рассердился на собственную заторможенность, выключил компьютер, прикинул, где может посидеть в одиночестве какое-то время.

Кафедра отпадала, здесь всегда было полно народу, бегали студенты и аспиранты, а ему хотелось тишины и покоя, чтобы никто не спрашивал, чем он занимается. Тогда Уваров увёл с доски кафедры ключ от подсобки на первом этаже корпуса и заперся в тесной комнатке, занятой инструментарием уборщиков и коробками с материалами для мелкого ремонта окон и стен. Уселся на колченогий стул возле крохотного столика. Сосредоточился на *погружении* в «спящую вселенную» собственной психики, стараясь не обращать внимания на запахи краски, олифы и пластика, заполнявшие подсобку.

Медитацией его сосредоточение в полном смысле слова назвать было нельзя, однако процесс был близок к ней, так как Уваров научился успокаиваться, расслабляться и за короткий промежуток времени — полторы-две минуты — концентрировал внимание на выходе в «бездны памяти» до такой степени, что забывал обо всём на свете.

Первый «нырок» в будущее — он избрал дистанцию в один год — ничего не дал. Психика была тиха и молчалива. Вселенная не разворачивалась перед мысленным взором в реальную картину, которую можно было посмотреть, просчитать и интерпретировать.

Тогда он зашёл «издалека», шагнув на пятьдесят лет вперёд, и попытался найти в своём окружении писателя Ватшина Константина Венедиктовича.

«Со скрипом», но ему удалось это сделать, хотя обстановка, высветившаяся в лучах мысленного «прожектора», не была похожа ни на институтскую, ни на домашнюю. Сложилось впечатление, что *прозрение* выбросило Уварова на какую-то другую планету — может быть, даже на Луну.

Но и там, среди сотен вспыхивающих микросцен, создающих «броуновское движение» будущих временны́х полотен, Ватшина не оказалось.

Уваров «вернулся» обратно в реальность, данную ему в запахах краски, отдохнул и снова попытался нащупать писателя-хроника в будущем, «привязав» его образ к своим намерениям.

Прыжок в будущее вынес математика — по ощущениям — в ближайшие год-два, потому что он увидел (не совсем так: то, что он чувствовал, не являлось прямым визуальным контактом) знакомую базу «Заставы», суматоху биоэнергетических полей, принадлежащих сотрудникам базы, узнал ауры Дэна и Гордеева, но ауры Ватшина среди них не было. Писатель в данном виртуальном варианте будущего не существовал.

Уваров вынырнул из футур-поиска с колотящимся сердцем, прижал руку к груди, удивляясь реакции организма. Раньше при его выходах в будущее сердце так не возбуждалось. По-видимому, процесс «подглядывания» близкого будущего требовал гораздо бо́льших энергозатрат, чем выход в далёкое будущее, основой которого служило огромное количество факторов.

«К чёрту! — подумал Александр Александрович сердито.— Ещё инфаркт заработаю!»

Потом пришло ощущение вины: писатель не стоил пренебрежительного отношения, да и человек он был во всех отношениях положительный, добрый и мягкий. Он не должен был пропасть бесследно.

Уваров сунул голову под кран умывальника, стоящего в подсобке, включил воду. Холодная струя сняла напряжение, снизила пульсацию крови в сосудах головы. Стало легче.

Он уселся на стул, сосредоточился на личности Ватшина, каким он его помнил, чтобы потом перейти к восприятию «тени будущего», связанной именно с этим человеком.

Попасть в нужный «канал» не удавалось долго.

Уваров вспотел, устал, заработал всплеск давления, разозлился, но попытки обнаружить Ватшина в своём окружении в будущем не оставил. И наконец-то добился своего! Неясно, неточно, расплывчато, на грани узнавания.

Ватшина били! Где — Уваров понял не сразу, за что — вообще было неизвестно, но писателя били, а потом воткнули в сердце нож! И Константин умер, успев послать в никуда отчаянную мольбу о помощи!

Уваров подскочил на стуле, постоял в полуобморочном состоянии, согнувшись, опираясь

обеими руками о столик, унимая бешеный галоп сердца. Вытер потный лоб дрожащей рукой. Хотел сразу звонить Гордееву, но сначала заставил себя успокоиться, привести чувства и мысли в порядок, поэтапно воспроизвёл в памяти все свои манипуляции с футур-анализом.

В будущем это станет профессией, пришло на ум, и специалистов будут называть эфаналитиками.

Под ложечкой засосало: Ватшин был мёртв!

«Окстись, болван! — возразил он сам себе. — Я ходил в будущее — значит, он сейчас ещё жив! И находится недалеко… буквально рядом с кольцевой».

Уваров окончательно пришёл в себя, достал мобильный.

— Иван Петрович, есть минутка?

— Слушаю, Сан Саныч, — ответил глава безопасности «Заставы».

— Ватшин жив и находится в Москве, ну, или совсем близко от Москвы. Но его в любой момент могут убить!

— Это предположение или… *прозрение?*

— Ближе ко второму.

— Удалось, значит?

— Не знаю, благодаря чему, но я прорвался. Сижу мокрый как мышь.

— Могу представить. Где он?

— Точных координат не укажу, он за кольцевой, в районе Рублёво-Успенского шоссе. Но это не Горки-2.

— Понял, твоя подсказка существенно сужает район поиска. Спасибо, Сан Саныч, будь на связи.

Уваров ещё раз сунул голову под струю холодной воды, кое-как вытерся и покинул неуютное помещение, использованное им для медитативных экспериментов, для выяснения «момента истины». В душе затеплилась надежда увидеть писателя живым.

3. Смирительная рубашка

Голову насквозь проколол сухой шип саксаула; Ватшин охнул и очнулся.

Голову наполняли гулы, скрипы, каменные шорохи и дымные шлейфы. Глаза ничего не видели. Пошевелиться было невозможно, так как руки и ноги стягивали путы, а сам он лежал на боку на чём-то твёрдом и холодном, напоминающем бетонную плиту.

Вспомнилась падающая с неба дубинка электрошокера.

Ватшин стиснул зубы, внезапно осознавая, что его без каких-либо усилий провели переодетые в форму гаишников ксенотики и взяли в плен.

«Не надо было ехать в издательство, — всплыла в дымном пространстве сознания трезвая мысль. — Надо было доложить Ивану Петровичу». — «Сам знаю!» — огрызнулся Константин.

Попробовал перевернуться навзничь, пережил всплеск боли в голове, но своего добился.

Глаза по-прежнему ничего не видели: в камере (или где он там лежал, интересно даже) не горел свет. Руки затекли. Но высвободить их не представлялось никакой возможности, они были связаны за спиной. Пить хотелось неимоверно! Губы пересохли до такой степени, что могли, наверное, заменить наждачную бумагу! И ещё зверски хотелось в туалет.

Ватшин позвал:

— Эй, кто-нибудь!

Голос заглох в холодном воздухе, как в вате.

— Эй, вертухаи поганые, отзовитесь! Мне по малой нужде надо!

Где-то послышались голоса, раздался стук, глухой скрип, перед Ватшиным открылась расширяющаяся щель, в глаза ударил яркий сноп света. Он зажмурился.

Грубые руки подхватили его под локти, рывком посадили.

Он открыл глаза.

Помещение, в котором его держали, напоминало узкий пенал шириной в метр, длиной в три и высотой не больше двух. В проходе между топчаном, на котором он лежал, и стеной с трудом умещались два амбала в чёрных костюмах, едва не упираясь макушками в потолок.

— Мне в туалет… — прохрипел Константин.

— Потерпишь, — равнодушно сказал один из тюремщиков, с квадратной челюстью.

Послышались ещё голоса, шаги, тюремщики в чёрном отошли в угол чулана, их места заняли двое мужчин постарше. Один имел благообразный вид доброго священника, второй — черноволосый, смуглый, с кривым носом, — походил на злого горца с Кавказа. Он и одет был как горец — в приталенную куртку с вертикальными кармашками (газыри, вспомнил их название Ватшин) и в белую рубашку со стоячим воротником.

— Добрый день, Константин Венедиктович, — заговорил «священник» бархатным голосом, улыбаясь. — Меня зовут Иван Кирович, я модератор известной вам организации.

— Чего модератор? — не понял Ватшин.

— Разве вам не сказали? — удивился «священник». — Я думал, вы знаете. Наша организация называется «Ксенфорс», мы…

— Ксенотики! — презрительно скривил губы Константин.

«Священник» взялся пальцами за оттопыренную губу.

— Так нас называют нехорошие люди. Мы представляем отряд внеземных специалистов, подготавливающих почву для контакта с землянами.

— Ой, не смешите меня! — развеселился Ватшин. — Меня просветили, кто вы и что делаете на Земле. Да и Кротов дал исчерпывающую информацию.

Так что не трудитесь вешать мне лапшу на уши. Чего вы хотите?

Гости переглянулись.

— Нетерпеливый молодой человек,— сказал «священник» неодобрительно.— Вы даже не представляете, как далеки от…

— Заткнись, Нос,— буркнул «кавказец».— Не до душещипательных бесед.

Вопреки распространённому мнению, говорил он по-русски чисто, без акцента.

«Священник» встопорщил редкие светлые бровки, недовольно качнул головой:

— Заблудших овец надо возвращать в стадо.

— Заблудших овец надо отстреливать!

Ватшин сглотнул, но под взглядами гостей расправил плечи, стараясь выглядеть достойно.

— Что вам надо от меня?

— Моё руководство весьма заинтересовано в сотрудничестве… — высокопарно начал «священник».

— Слушай сюда, писака!— перебил его «кавказец», наклонившись вплотную к Ватшину, так что тот вынужден был отодвинуться и чувствительно приложился затылком о стену.— Мы знаем, что ты хроник. Выбора у тебя нет. Или ты добровольно сотрудничаешь с нами, или мы тебя тихо закопаем здесь! Или не тихо. Понял?!

— Ещё бы,— криво улыбнулся побледневший Ватшин.— Вы так убедительны.

— Да или нет?!

— Мне… надо… подумать.

«Кавказец» выпрямился, бросил взгляд на спутника.

— Я предлагаю помучить. Сразу думать перестанет.

«Священник» заколебался.

— Такого приказа не поступало. Сколько вам надо времени на размышления?

— Сутки,— сказал Ватшин наудачу.

— Час!— отрезал «кавказец».— Пошли, обсудим кое-что.

Гости вышли.

— Эй, отпустите в туалет!— опомнился Ватшин.

— Проводите его,— донеслось из коридора.

Ватшина рывком поставили на пол, повели, спотыкающегося, по узкому коридору с голыми бетонными стенами, полом и потолком куда-то в темноту, всунули в чуланчик с грязным унитазом. Он понял, что находится в глубоком подвале какого-то общественного заведения, не принадлежащего частному лицу. Владелец коттеджа не потерпел бы у себя под домом такой убогой обстановки.

— Руки развяжите,— спохватился Ватшин.

Его развязали.

С огромным наслаждением он справил малую нужду. Потом вспомнил о жене, пошарил по карманам, с надеждой сообщить о своём бедственном положении Гордееву, однако мобильного не нашёл. Тюремщики обыскали его раньше и забрали новенький айфон.

Ему снова связали за спиной руки и затолкали в чулан, имеющий вид натуральной тюремной камеры.

— Попить бы… — заикнулся он.

Ответом был грохот закрываемой двери.

— Сволочи!— выругался Ватшин, находя задом топчан.

«Что будем делать?»— проснулся внутренний собеседник. «Снимать штаны и бегать!»— вспомнил Константин шутку деда. «Я серьёзно».— «Связаться с Гордеевым надо».— «Телефон есть?»— «Нет».— «Тогда подумай, что ты ответишь ксенотикам. Тебе ясно дали понять: «да»— ты с ними, «нет»— тебе кирдык! И других вариантов не будет».— «Фантастика!»— «Нет, дружище, паскудная реальность. Не получи ты послание Крота (кстати, зачем ты признался об этом вербовщикам?), не напиши роман— пил бы шампанское на Канарах».— «Ага, всю жизнь мечтал о Канарах… а сижу теперь на нарах!»— «Сам виноват».

Ватшин устроился поудобнее. Вспомнился прочитанный в детстве роман Джека Лондона «Смирительная рубашка, или Странник по звёздам». В настоящий момент он тоже находился в тюрьме, хотя и без смирительной рубашки, но его положение мало чем отличалось от положения героя Лондона. Так почему бы не попутешествовать среди звёзд? Пусть это и будет всего лишь путешествие по кладовым памяти.

На сердце легло успокоение.

Вспомнив советы Уварова, Константин сосредоточился на медитации, мысленно согрел ноги и руки, голову «продул» холодным ветром. Итак, попробуем прошлое?

На голову спустился мрак, растворяя в себе мысли и чувства медитирующего.

«Не мешало бы сориентироваться… Чего я хочу? Посмотреть на первые звёзды… Уваров сказал, они появились через сто пятьдесят миллионов лет после Большого Взрыва. Вперёд! То есть, наоборот, назад! Сквозь толщу в тринадцать с лишним миллиардов лет!»

В невероятной дали засветились тусклые зеленоватые и золотистые пятнышки, похожие на светящуюся плесень.

Это ещё что такое? На звёзды похоже мало. Облака водорода, сгущающиеся в протозвёздные тучи?

Чёрт! Жаль, что он не догадался полистать материалы по космологии, чтобы конкретно знать этапы развития Вселенной. Читал много, а помнил мало. Может быть, сейчас память выдала сведения об отделении излучения от вещества? И светящаяся «плесень» на самом деле— не первые звёзды, а последние вспышки рекомбинации водорода? Уваров говорил, что даже в те времена уже появились

первые разумные существа, но попробуй определи, где они обитают и чего понастроили.

Ладно, проехали. Всплывём повыше к нынешнему моменту. Да будет свет!

Тьма перед глазами с редкими пятнышками «плесени» расцвела гроздьями огней преимущественно белого и голубоватого цветов.

Отлично! «Тёмные века» кончились, началась эпоха консолидации вещества в протогалактические облака. Жизнь во Вселенной наверняка имеется, однако её следы тоже надо вычислять. Что могли строить разумные «второго населения» в ранней Метагалактике? Планет ещё нет или совсем мало, жизнь, по словам Сан Саныча, концентрируется на поверхности звёзд. В таком случае разумные существа—какие-то плазменно-лучевые кластеры. Чего они будут добиваться в первую очередь? Изменить условия существования к лучшему, постигать Вселенную и раздвигать границы собственных владений. А это значит—они будут осваивать космос за пределами звёзд. Логично? Вполне. Значит, стоит искать их корабли и сооружения в пространстве. Если только они строили корабли. Существам из потоков плазмы вряд ли нужны защитные оболочки. Хотя, с другой стороны, экраны нужны, чтобы не терялась энергия. И всё равно они должны были обустраивать звёздные системы. Где тут среди звёзд кружатся искусственные конструкции?

Ватшин сосредоточился на самой ближайшей звёздной грозди, содержащей около трёх десятков светил.

Скопление приблизилось. Стали видны звёздочки поменьше, группирующиеся вокруг трёх самых ярких звёзд. В свою очередь, эти звёздочки были окружены облачками совсем слабых искр, а все вместе они образовывали красивую геометрически правильную структуру, вызывающую восхищение. Константин понял, что видит гигантские по своим масштабам лучевые, световые или плазменные конструкции, представляющие собой инфраструктуру разумных поселений у первых звёзд.

— Какая красота!—невольно прошептал он.

Звёздная гроздь расплылась перед глазами тающими узорами.

Ватшин выпутался из дебрей памяти, чувствуя себя исследователем городской канализации, вылезшим из люка на асфальт.

В камере царствовал иной мрак—холодный и неуютный, вызывающий рвотный рефлекс.

Что ж, можно снова нырнуть в прошлое, посмотреть, что оставили нам в наследство предки.

Другая тьма развернулась перед мысленным взором Константина. Тьма глубокая, величественная, необъятная и живая!

В ней засверкали паутинки света, сначала тоненькие и крохотные, потом поярче и подлинней. Они охватили всё пространство и образовали удивительную грандиозную сеть, волокна которой состояли из галактик и их скоплений. Пустых ячеек тоже было много, они походили на соты, окружённые «воском» стенок, и все вместе создавали величайшую из всех известных сетчато-волокнистых структур—Метагалактику!

Ватшин опомнился, «сдал назад»—приблизился к одной из тёмных ячеек в окружении звёздных волокон. Земные учёные называли такие ячейки войдами и предполагали в них выдутые инфляционным «ветром» области пространства, свободные от каких-либо материальных образований, не считая, может быть, физических полей и невидимых облаков молекулярного водорода.

Неужели никто из древних разумников не полюбопытствовал, что там есть? Не «потрогал руками» пустоту войда? Вдруг в этой пустоте есть жизнь?

Чёрная клякса в обрамлении световых волокон приблизилась, заняла собой всё видимое пространство. Ватшину показалось, что внутри ячейка войда разделена на более мелкие ячейки, напоминающие мыльную пену. Однако как он ни всматривался в темноту, видимых подтверждений своему ощущению не нашёл.

«Ну и хрен с вами,—подумал он разочарованно.—Даже если вы есть и прячетесь, мне от этого ни холодно ни жарко. До ближайшего войда миллионы световых лет. Вряд ли ксенотикам удалось бы добраться туда и отыскать оставшиеся от пустотников сокровища».

Поищем поближе.

Ватшин выбрался из «шахты воспоминаний», перелёг на топчане на другой бок; навзничь «путешествовать по звёздам» было бы удобней, но мешали связанные за спиной руки.

Итак, нырнём неглубоко—скажем, на миллион лет назад. Может, удастся увидеть, кто жил на планетах Солнечной системы, на Марсе и Луне. Или, по крайней мере, того, кто к нам прилетал.

«Впрочем, с этим можно подождать!—пришла трезвая мысль.—Гораздо важнее узнать, что будет с ним в будущем. Уваров признавался, что не видит будущего ближе ста лет. Кстати, неизвестно почему, что ему мешает. Может, он просто не тренировался? Почему бы не попробовать сделать это самому?»

Ватшин облизнул пересохшие губы. Жажда усилилась. Он хотел было позвать тюремщиков, но одумался. Ничего, кроме оскорблений и насмешек, ждать от них не приходилось.

«Ладно, потерпим. Полезли вверх, на гору будущего. Хотя для этого пригодились бы крылья. Эгей, крылышки, где вы?»

Он закрыл глаза, сосредоточился на выращивании «ментальных крыльев», попытался не только вырваться из тела, но и объять мыслью будущие времена.

Перед глазами зашевелились смутные тени, сложились в причудливый размытый, как акварель, пейзаж.

«Думай конкретно!» — приказал он себе.

Знать бы — как…

Тени сформировались в некое объёмное пространство, напоминающее пещеру с размытыми сводами и стенами, освещённую редкими летающими светлячками.

Это будущее?

«Думай конкретно, — ещё раз посоветовал Константину внутренний голос. — Тебе нужно ближайшее будущее — не за сто лет и даже не за год! За пару часов вперёд!» — «Это я и так скоро узнаю». — «Тогда за день, два, месяц. Где ты будешь?» — «Откуда я знаю?» — «Вот и задай себе вопрос!»

Ватшин оглядел «пещеру» внимательней.

Что за ерунда? Не может будущее прятаться в пещере… если только это не…

Плывущие стены пещеры вдруг потрескались, образовав подобие стеллажей с книгами.

«Библиотека?!» — не поверил он глазам.

Конечно, это была не библиотека, хотя её стены и впрямь напоминали стеллажи с книгами. Стоило ему сконцентрировать внимание на каком-либо корешке книги, как тот начинал таять, превращался в слой дыма и становился «корешком» только после того, как Ватшин отводил взгляд.

«Бред! Куда я попал? Это вовсе не библиотека… археотека? А эти книги — археологические раритеты?» — «Балбес ты, Венедиктович, — иронически заметил внутренний голос. — Разумеется, это не пещера и не библиотека, это хранилище твоей памяти». — «Странное хранилище…» — «Просто твоё воображение сделало его доступным мысленному представлению в таком виде». — «Значит, я могу… посмотреть… любой момент истории?» — «Зря, что ли, тебя выкрали ксенотики? Ты хроник, и это уже навсегда. Они выбьют из тебя всё, что ты помнишь».

Собственная оценка подействовала как холодный душ.

Ватшин поёжился, продолжая удерживать перед глазами панораму «пещеры-библиотеки».

«Ничего они со мной не сделают! Не дамся! Знать бы, где здесь лежат события прошлого, а где — варианты будущего». — «Ищи».

Он пробежался глазами по «стеллажам», уходящим влево и вправо до полного растворения в темноте.

Впрочем, не совсем в темноте.

Направо — и вправду всё тонет в глухой тёмной пелене, а вот налево — наоборот, пещера уходит в слабое *сияние*. По логике, будущее должно было находиться там.

«Проверим?»

Невесомое мысленное тело Ватшина устремилось в глубь пещеры, к тому её концу, который скрывался в слабом свечении будущего.

4. Рублёвку никому не отдадим

Приказ найти писателя Ватшина Солому врасплох не застал.

Впрочем, его невозможно было чем-либо удивить, шокировать, рассердить или вывести из себя. Он так жил, оптимистично подходя к решению любой жизненной проблемы, и неурядицы обходили его стороной.

Район поисков был известен — МКАД в месте пересечения с Рублёво-Успенским шоссе и все посёлки в радиусе пяти километров. Об этом сообщил Уваров, сумевший каким-то образом вычислить примерные координаты местонахождения Ватшина. На первый взгляд — не такое уж и большое место действия. Однако если бы у команды Соломы не было информационной поддержки, он вряд ли сумел бы отыскать пропавшего писателя быстро, хотя тот и не являлся «иголкой в стоге сена».

Получив задание, Юрий мгновенно сориентировал компьютерщиков Дэна и оперативников Гордеева на поиск Ватшина и уже через час знал, что машина писателя — небольшой паркетный джип «Ниссан» — была замечена за МКАД в районе деревушки Раздоры, а сам он как будто выходил из своей машины и садился в машину ДПС.

Солома напряг сеть осведомителей «Заставы», связанную с дорожной полицией. Ещё через несколько минут стало известно, что в самом начале Рублёво-Успенского шоссе наряду с обычной дежурной бригадой работали передвижные экипажи второго батальона дорожно-постовой службы, и Солома двинул к Рублёвке свою команду на пяти машинах, пассажиры которых имели специальные пропуска ФСБ.

Об этом позаботился Гордеев, имеющий прямую связь с заместителем директора службы безопасности Кузьмичёвым.

Одну машину ДПС, новый «Форд Мондео», обнаружили в трёх километрах от МКАД, на повороте к Рублёвскому кладбищу.

Взяли двух полицейских чисто, без шума.

Возле «Форда» остановился мультивен «Дукато», из него вышел Солома, показал полицейскому на дороге удостоверение полковника ФСБ и пригласил в машину. Сержант колебался недолго, влез в салон мультивена, а через минуту туда же вежливо проводили его напарника — лейтенанта.

— Где писатель? — спросил напрямик Солома сразу у обоих.

Инспекторы переглянулись.

— Какой писатель? — с недоумением спросил лейтенант.

— Вы останавливали кроссовер «Ниссан» номер двести одиннадцать?

— Не помню.

— Не было такого, — мотнул головой пожилой, простецкого вида сержант.

— Вы стояли у развилки Рублёвок перед кольцевой?
— Нет, мы сразу в Рублёвку въехали. Это, наверное, третий экипаж на развилке стоял.
— Кто конкретно?
— Да в чём дело?
— Отвечайте на вопросы!
— Мухин и Петренко,— сказал лейтенант.— Вообще-то должны были выехать Столбский с Меншиковым, но Мухин сам напросился, я слышал.
— Вы его давно знаете?
— Года два, а что?
— Что он за человек?

Лейтенант озадаченно взялся за мочку уха.

— Мухин? Так, мрачноватый, шуток не любит.
— Звание?
— Сейчас капитан,— ответил сержант.
— Можете узнать, где он сейчас?

Сержант замялся, глянул на напарника.

— Я с ним не в таких отношениях.
— Вы?— Солома перевёл взгляд на офицера.
— Что-то случилось?— скривил тот губы.
— Ещё нет, но может,— туманно объяснил Солома.— Главное, что от ваших ответов зависит не только судьба капитана Мухина, но и ваша собственная. Нам надо знать, где Мухин находится в настоящий момент, и чтобы он не догадался, что им интересуются специально.
— Могу связаться с ним по рации, скажу, что получил от комбата приказ ехать в Раздоры.
— Звони,— Солома пальцем попросил у сержанта его рацию.

Лейтенант выдвинул из-под воротника мундира усик микрофона, прицепил к уху дужку динамика.

— «Ветка-три», «Ветка-три», я «Ветка-два». Как слышишь?

Несколько секунд на волне дежурной связи были слышны лишь далёкие тихие голоса и музыка. Потом прорезался чей-то сухой голос:

— Я «Ветка-три». Коротич, ты, что ли?
— Я, товарищ капитан. Комбат приказал ехать в Раздоры, а там, я знаю, вы дежурите.
— Я чуть подальше, в Барвихе. Что случилось?
— А хрен его знает, комбат не объяснил. Велено усилить разъезд.
— Исполняй, не помешаешь.
— Есть.— Лейтенант отодвинул усик микрофона, посмотрел на Солому:— Он где-то в районе Барвихи.
— Машина?
— «Фольксваген», номер ноль девять девяносто.
— Барвиха — наше всё!— с иронией хмыкнул зам Соломы, сидевший рядом с водителем.
— Садитесь в свою машину и сидите тихо!— сказал Солома.— Никому ни слова о нашей встрече! Понятно?
— Так точно!— дружно кивнули полицейские, вылезая из мультивена.
— В Барвиху, Вова,— сказал Солома водителю, поднёс к уху браслет своей рации.— Денисов, проверь трассу в районе Раздоры — Барвиха.
— Слушаюсь,— ответил оперативник, отвечающий за сканирование шоссе по сети телекамер, установленных вдоль трассы.

Мультивен вернулся к МКАД и помчался по шоссе в направлении на Барвиху.

Денисов ответил через две минуты:

— Час пятнадцать назад «Фольксваген» с указанными номерами замечен на съезде к санаторию.
— Всем группам — сосредоточиться на Барвихе! Искать «Фольксваген» ноль девять девяносто, с мигалками! Не шуметь!

Машины с бойцами команды Соломы повернули к знаменитой Барвихе, известной всей России как владение миллионеров.

5. Будущее — есть!

Любопытство оказалось сильнее страха.

Сначала Константин нервничал, ожидая возвращения ксенотиков, потом решил относиться к ситуации философски: что будет, то и будет. В конце концов, ксенотики должны понимать, что убивать его нет смысла: чем он тогда поможет им? А там, глядишь, и наши подоспеют.

Поймав себя на определении «наши», Ватшин невесело усмехнулся, так как уже начал причислять себя к анксам. С другой стороны, судя по беседам с Гордеевым, они своих сотрудников в беде не бросали.

Подумав об этом, он и решил пуститься в новое путешествие по безднам собственной памяти, надеясь найти что-то определённое, что можно было бы отнести к ценной информации. Ксенотики были уверены в его осведомлённости, так почему бы и в самом деле не стать обладателем секретов, которые помогут ему торговаться за жизнь?

«Меньше знаешь — лучше спишь»,— напомнил внутренний голос известную истину обывателей. Но Ватшин не стал обсуждать неприятную тему. В жизни он руководствовался другими формулировками.

Космос памяти послушно развернулся перед ним призрачной всеобъемлющей звёздной панорамой.

Был соблазн снова окунуться в изначальный мрак пространства, предшествующий появлению звёзд и крупномасштабной сетчатой структуры Вселенной, чтобы поискать признаки жизни, особенно — разумной. Однако Ватшин подозревал, что масштабы разумного преобразования пространства в эти времена не столь велики, чем в более поздние периоды развития Мироздания, поэтому тратить силы на поиски древнейших цивилизаций

не стал. Интереснее было бы поискать следы прошлых разумных систем поближе к действительности, так как существовал реальный шанс найти уцелевшие артефакты и сооружения.

Вспомнились строки поэта[1]:

> Мир пронизан минувшим. Он вечен.
> С каждым днём он богаче стократ.
> В нём живут наши давние встречи
> И погасшие звёзды горят.

За стенкой камеры что-то стукнуло. Мысли Ватшина вернулись в реальность. Скоро должны были прийти вербовщики, настроенные решительно и жёстко, и до этого момента он должен был сделать прогноз будущего: есть в нём Ватшин Константин Венедиктович, писатель и лауреат многочисленных литературных премий, или нет?

Переход в другое состояние психики — «считывания будущего» (оно во многом отличалось от состояния «странствий» по памяти) — дался с трудом: мешало сознание, занятое обузданием эмоций. Хотелось выбраться из тюрьмы как можно скорей и забыть об этом как о дурном сне.

В конце концов Ватшин справился с собой, припомнив опыт джек-лондоновского «странника по звёздам», занялся медитированием и добился-таки необходимой степени концентрации, позволяющей забыть об окружающем мире.

Мысль прыгнула в будущее, «тень» которого психика действительно воспринимала как тень, падающую от стен гигантской башни, устремлённой в небо.

Константин не понимал, как у него это получается. Сознание и память сами отфильтровывали шумы и ложные сигналы фона, регулировали восприятие и рождали образы. Может, в нём и в самом деле возможности считывания будущего и прошлого были заложены с рождения, а информация Кротова лишь возбудила нужные контуры, разбудила внутренний эйдос? Но факт оставался фактом: мысленные усилия привели его к башне будущего и повели по ступенькам вверх, надо было лишь выбрать «этаж» — нужное время — и понять, что на этом «этаже» располагается.

Помня прошлые выходы из тела, он не стал прыгать высоко — на миллионы и миллиарды лет. В данный момент его интересовало собственное положение, а не судьбы Метагалактики, поэтому стоило подняться всего на «этаж»-два, чтобы убедиться: завтра-послезавтра он будет жить. Но гораздо больше его волновал другой вопрос: *где* он будет жить и *с кем* дружить. Не хотелось верить, что ксенотикам удастся сломить его волю и завербовать на свою сторону.

Смутные очертания входа в башню остались позади.

Ватшин медленно поднялся на «пару пролётов» почти невидимой лестницы, вышел на «лестничную площадку».

«Мне нужно знать, что будет завтра! Мне нужно знать, что будет завтра!»

Окружавшая его зыбкая пелена, полная туманных струй и эфемерных бликов, расступилась, он увидел салон самолёта… и Люсю, сидящую рядом… и бойца Гордеева по кличке Солома… и ещё с десяток людей, сидящих справа, впереди, сзади… кто-то похлопал его по плечу.

Ватшин оглянулся.

— Сан Саныч?!

Уваров, сидевший в кресле за ним, подмигнул ему. Губы математика не шевельнулись, но Константин услышал его раскатистый голос:

— Кажется, мои усилия не пропали даром.

— Вы мне снитесь, — признался Ватшин.

— Это не сон — взаимодействие хроников.

— Я же не хро…

— Хроник, хроник, даже сильней, чем я, иначе я бы тебя не нашёл. Чёрные дыры видел?

— Н-нет… то есть видел… в прошлом.

— Они были всегда, но только в наши времена стали объединяться в ансамбли. Не догадываешься зачем?

— Нет.

— Не знаю, обладают ли системы чёрных дыр разумом, пусть и не подобным человеческому, но они явно пытаются замедлить, а то и вовсе остановить инфляционное расширение Вселенной. Слышал, наверно, что последние несколько миллиардов лет Вселенная расширяется с ускорением?

— Слышал.

— Возможен и другой вариант: кто-то использует чёрные дыры для остановки расширения.

— Хорошая идея.

— Для романа? — засмеялся математик. — Отличная! Дарю. Завтра встретимся, поговорим на эту тему.

— Если у меня оно есть — завтра…

— Непременно будет!

— Я в тюрьме…

— Ну так что ж? Есть время для размышлений. Всё нормально, держись, наши на подходе. Увидимся.

Образ Уварова начал таять.

Ватшин хотел успокоить жену, но и она исчезла, успев послать мужу любящий преданный взгляд.

— Всё будет хорошо… — прилетел из светящегося тумана голос Соломы, и Ватшин очнулся.

Голову пронзало тающее *сияние*. Возможно, его оставила ставшая совсем невидимой «башня будущего», которую строил в том числе и он сам — своими мыслями, волей, желаниями и мечтами.

Загремел засов на двери, в камеру хлынул поток света.

Ватшин сел на топчане, подслеповато щуря глаза, пытаясь разглядеть гостей.

1. *В. Шефнер*, «Непрерывность».

— Ну что, Константин Венедиктович,— заговорил пожилой тоном доброго учителя,— приняли решение?
— Принял,— сказал Ватшин; голос был хриплым, и он повторил, откашлявшись:— Да, принял!
— Будете работать с нами?
— Нет!
— Я говорил, ему надо сделать больно!— поморщился черноволосый.— Интеллигенты боятся боли. Отчикаем пальчик— по-другому запоёт.
— Бесин будет недоволен.
— Ему нужен результат! Хроник будет работать и без пальца, и без уха, и без яиц, если что. Хочешь, докажу?

Пожилой, назвавшийся Иваном Кировичем, нерешительно почесал подбородок.

Ватшин взмолился в душе: Солома, быстрее!

Черноволосый достал нож, провёл пальцем по лезвию, шагнул к Ватшину.

Константин вжался спиной в холодную бетонную стену.

В коридоре за спинами вербовщиков раздался шум.

Черноволосый недовольно оглянулся, вытянул руку с ножом, полез было другой рукой под полу пиджака и улетел к дальней стене чулана от мощного удара, сполз по стене на пол.

Его напарник прижался к другой стене, бледнея, но его выдернули из комнаты, как пробку из бутылки, и в камеру вошёл улыбающийся Солома.
— Живой, Константин Венедиктович?

Вот тогда Ватшин и понял, что будущее— существует реально, а лично у него есть завтра.

6. Выметайтесь!

Кузьмичёв предложил кофе, но Гордеев отказался, он больше любил зелёный чай с лимоном.
— Ты?— директор ФСБ посмотрел на седого, с аккуратной бородкой Дэна.
— Не откажусь,— кивнул главный логист «Заставы».

Адъютант директора принёс кофе.
— Докладывайте,— сказал Кузьмичёв, глянув на часы.— Сжато, конкретно, по делу. В двенадцать меня ждёт президент.
— Ватшин— не простой хроник,— сказал Гордеев, открывая папку, принесённую с собой, заглянул в неё и закрыл.
— То есть?
— Он эф-хроник,— сказал Дэн, принимаясь за кофе.

Директор перевёл взгляд на Гордеева.
— Он видит будущее,— сказал начальник службы безопасности «Заставы».— Что явилось для нас сюрпризом.
— Ясновидящий?
— Что-то вроде этого.
— Думаю, это сюрприз не только для нас,— добавил Дэн.— Ещё больший сюрприз мы преподнесём господину Бесину.
— Эт точно,— усмехнулся Гордеев.— Он ещё не знает, что мы с помощью Ватшина взяли чуть ли не всю верхушку «Ксенфорса».
— Как он?
— Чувствует себя виноватым после освобождения, что правильно. Хотя, с другой стороны, именно благодаря его хождению в будущее мы и вышли на гнездо «пастухов».
— Есть ещё одно— герпы.
— Доберёмся и до «Герпафродита». Ватшин дважды выходил в будущее и много чего напредсказал. Мало того, он покопался в прошлом Солнечной системы и обнаружил кое-какие интересные объекты на планетах: на Меркурии, на Марсе, на Луне, спутниках Юпитера.
— Планеты нам пока недоступны.
— Всему своё время. До Луны мы уже можем дотянуться, там скоро откроется наша станция, и это будет ещё один неприятный сюрприз для главного «пастуха». Судя по всему, на Луне существует древняя база первых осваивателей Системы.
— Атлантов?
— Нет, Ватшин говорил о каких-то обезьяноподобных существах.
— По легенде,— сказал Дэн,— на Земле существовала Лемурия— цивилизация древних лемуров.
— Вы его сориентировали, чтобы он Землю посмотрел?
— Времени мало было,— качнул головой Гордеев.— Он прошёлся по верхам, сказал, что на дне многих глубоководных озёр лежат руины, а подо льдами Арктики— разрушенная пирамида.
— Гиперборейский след,— добавил Дэн.
— В таком случае писатель— бесценнейшая находка для нас!
— Как и математик Уваров.
— Их надо беречь, как сокровища Гохрана!
— Примем меры.
— Надеюсь, мы сможем противопоставить всем этим… инопланетным бесам *силу*, с которой они не совладают.
— Представляю,— с мечтательной полуулыбкой проговорил Гордеев,— как я вхожу в кабинет к Бесину и говорю ему: выметайтесь отсюда к чёртовой матери!
— Из кабинета?
— Из России!
— С Земли,— добавил Дэн.

Три умудрённых опытом человека, создавшие пограничную *заставу* России, обменялись понимающими взглядами, веря, что судьба даёт им шанс освободить человечество от иноземных «пастухов».

Жан-Пьер Лёсьёр

Птица с дерева спокойствия

Перевод с французского Николая Переяслова

Слово спасения

Моё слово—кремень. Я сказал его, и в тот же миг—
в восходящих потоках души появился парящий
на раскинутых крыльях орёл, как герой древних книг,
озирающий дали земли, горьким дымом чадящей.
Вы представьте луну, что кругла и плывёт, как глагол,
или птичку колибри, что вьётся, как стих мой глагольный,
или время, что льётся в вечерний темнеющий дол
за ударом—удар, словно медленный гул колокольный.
Наглотавшись метана и угольной пыли,—смотри!—
все шахтёры на свете похожи, как кровные братья.
Все они по природе—отчаянные бунтари,
их слова тяжелы, и болезненны рукопожатья.
Тем девчонкам, что с ними уйдут, выпадает лишь боль.
Солнца луч не пробьёт толщу грубого мокрого камня.
Вдоль обочин судьбы проступает, как пот или соль,
невозможность, что душу гнетёт, как порода, веками.
Сотни тысяч шагреневых кож в багаже их лежит.
Тонет грохот шагов в пустоте по пути на работу.
Прячут слёзы украдкой они от обиды и лжи
да глядят на туман, что висит по утрам над болотом…

Когда я увидал, как проходят они, словно тень,
я сказал своё слово…
И было оно—как кремень.

Никаких сомнений

Никаких сомнений—жизнь права!
Да и что сказать о белокурых
симпатичных местечковых дурах,
что глотают все мои слова?

Не дождавшись урожайных дней,
виноделы вкупе со жнецами
напились—и, став вина пьяней,
повалились наземь мертвецами.

Бог обставил лучших игроков,
раскатав шарами наши жизни,
чтоб я жёстче дырки для шнурков
стал в ботинках дворников парижских.

Никаких сомнений—жизнь права!
Дождь стучит по лицам и по лужам.
Ничего, пусть мокнет голова—
есть вокруг делишки и похуже…

Возрождение

Я родился
из тёмного облака пролитой крови,
пробивая тропинку себе через сотни преград.
Я из пыли заводов пророс, чтоб явиться вам в слове,
перекрывшем дорогу рутине мощней баррикад.
Солнца луч, проскользнув через сито решёток непрочных,
отогрел мою душу, что сжалась от стужи в комок.
Брызги грязи из луж запятнали мою непорочность.
Я пришёл в этот мир, как из трещины глины—цветок.
Где-то там, в стороне,
жизнь кипела, как праздник цветущий,
ну а я жил, надеждой до края заполнив глаза,
прижимая от страха побитой собакою уши
и рыча на весь мир, чтоб струились стихи, как слеза.
Где вы, девы мои,
что ласкали меня под луною,
распустив надо мной свои косы, как ивовый куст?
Вы меня целовали, своей омывая слюною,
как стиральною пеной, текущей с измученных уст.
Вы меня обнимали, подобно наждачной бумаге,
оставляя на теле отметины в форме цветов—
как следы от ожогов!.. Но первыми каплями влаги
даже слабенький дождь с моей кожи их смыть был готов.
Ваши пальцы шершавые трогали лоб мой и брови,
поцелуи кислили, как старый заброшенный сад…

…Я родился
из тёмного облака пролитой крови,
пробивая дорогу себе через сотни преград.

Стирка-1940

На верёвках сушилось бельё: к ряду—ряд, к ряду—ряд.
(Как шеренги готовых отправиться в битву солдат.)
Рядом—пруд, что в дожди
в океан превращался из лужи,
полный карпов и змей.
Этих карпов мы ели на ужин.

Тётка била вальком (будто в небе рвались дирижабли!)
по сырым простыням, от песка загрубевшим и ржавым.

Ягодицы мои закалились в контакте с ремнём,
став как крепкий орех, что в лесу мы по осени рвём.
Из открытой печи разлетается чёрная сажа,
лезет в шкаф через щель—и рубашки там белые мажет.
Солнце выбелит всё—и отстиранную рубашку,
и дорогу, и степь,
и в придачу—меня, замарашку.

Во дворе на верёвке—бельё (как шеренги солдат).
Солнце сушит и дядькину куртку, и тёткин наряд.
У порога лохань отражает небес синеву.
На лугу мирно бродят коровы и щиплют траву.
Ну а в городе кто-то, кому тишина не нужна,
взял и бросил на ветер истории слово—«война».
И его поволок через горы, леса и жнивьё
этот бешеный ветер, который не сушит бельё…

Жан-Бернар Папи

Запах неба

Перевод с французского Николая Переяслова

Женщины в мехах

Я женщин люблю в одеянье собольем,
что тесную дружбу ведут с алкоголем;
они будоражат мне мысли и кровь,
толкая искать в их объятьях любовь.
Их груди — висят, как тяжёлые вёдра,
и манят к себе их широкие бёдра.

От них по утрам (так вокруг говорят)
исходит пьянящий, как ром, аромат,
который рисует в сознанье у всех
картины бесстыдных, но сладких утех.
Их губы — горят, точно раны в крови!
И паром дымится их ложе любви…

При этом — им столько природа дала
тепла материнского, что, как зола,
хранит в себе жар от костра, что погас!..
И это тепло — они тратят на нас.
Прижмут нас к груди своей тёплой рукой
и ласково шепчут: «Спи, маленький мой…»

Не в силах картину такую забыть,
смогу ли я их хоть когда разлюбить?

За окном

Серый дождь за оконным стеклом,
словно грифелем, струями чертит
контур хмурой темницы для черни…
На стекле, как на небе вечернем,
ты выводишь мизинцем излом,
чтоб его не прочли даже черти,
что жируют в аду за углом.

Дождь блестит над землёй — как корона.
Вновь разлукою веет с перрона,
что накаркала злая ворона,
всем крича, что прощаться резон!

Слыша шаг, что чеканят морозы,
стылый ветер занёс на газон
труп увядшей желтеющей розы.

Да от церкви доносится звон,
будто там в этот час служат тризну
по любви, что казалась капризной,
но лишилась и жара, и сил,
словно пламя, что дождь погасил…

Прощание

Детский мой выкрик: «Прощай!» — как попытка
запрыгнуть
в поезд, где ты из окошка смотрел на перрон.
В смерти — нет смысла. Её невозможно постигнуть.
— Где ты, отец?
— Он уехал на базу в Хайфон.

Азия — тайна, где сгинул ты невозвратимо.
Сгинувшим — нужно, чтоб мы вспоминали о них.
Помня свой долг, ты отправился невозмутимо
в рейд, чтоб остаться в строках засекреченных книг —
тех, что везли корабли к побережью Вьетнама…

— Где ты, отец? Что тебе не хватало в судьбе?..
Пусто. Лишь память сквозит, как бездонная яма,
и не даёт ни на миг мне забыть о тебе.

Запах неба

Запах неба — и ветра волнующий запах,
что крадётся вдоль моря на согнутых лапах.
Море — это безумство. Безумства сестра —
хрупкой девушкой встала на кромке утёса.
Этот образ — как искорка, что из костра
прямо в глаз мне попала и вызвала слёзы.

Запах неба — и дух человеческих стад,
за которым не слышен мне твой аромат.
Заглушили твой смех чёрной тучею грозы,
и в гортани твоей задохнулись вопросы.
А цветы, что улыбки младенца нежней,
озарили собой в честь тебя всю окрестность.

Запах неба — и запах струящихся дней.
Я устал без любви. Я тоскую по ней.
Без касаний к тебе сохнут пальцы, как лозы,
утешения нет, впереди — неизвестность.
Всё вокруг — лишь мираж или метаморфозы,
не узнать даже с детства знакомую местность.

Запах неба — и запах любви, что остра,
словно запах бальзама иль запах смертей.
Вот опять я стою, очарован с утра
солнца бликом, как будто улыбкой твоей…
Но лишь вспомню тебя — следом, как неизбежность,
входит в сердце мне боль, словно шпага быстра.

Женщины в Сараево

Эти женщины плачут и плачут, не в силах забыть
тех, кого в кратком счастье своём не смогли долюбить.
Посредине кровати ночной, что мертва, как пустыня,
они шепчут в тоске дорогое, любимое имя,
так боясь, что, когда перестанут его повторять,
то и в памяти могут любовь навсегда потерять,
доживая свой век с одиночества стужей в крови—
без объятий, без ласк, без любимого и без любви…

Сколько женщин состарилось, выплакав долю свою,
бесконечно молитвы о милом творя перед Богом,
замирая от каждого хруста в ночи за порогом:
«Это—он?.. Он вернулся?.. Я поступь его узнаю!..»
Но убитых в бою—не пускает обратно война,
даже если об этом ночная кричит тишина.

Не забыть никогда, как кружилась любовь вокруг вас,
словно лёгкая бабочка возле цветка асфодели,
что горит, как свеча, возле каждой могильной постели,
вовлекая порхающих бабочек в радостный вальс.

Пусть звучит этот вальс! Пусть веселье наполнит мир вновь!
Пусть откроется небо ликующим песням и птицам!
Пусть в глазах и сердцах вера в счастье костром разгорится.
Пусть в Сараево снова—навеки вернётся любовь!..

Мандарины

Когда-то праздник Рождества пах мандаринами,
и, убежав с утра с друзьями за крыльцо,
мы шли гулять, чтобы, застыв перед витринами
и к их стеклу прижав голодное лицо,
смотреть полдня, не отводя глазёнок
от блюда, где дымился поросёнок.

Когда-то праздник Рождества пах мандаринами,
что были нам вместо подарков и кино.
На кухне мама что-то вкусное варила нам
и напевала, глядя в мёрзлое окно.
Ну а отец—глотал украдкою вино.

Когда-то праздник Рождества пах мандаринами,
что на рассвете, вызывая в нас восторг,
лежали горкою над полкою каминною,
в холодной комната сияя, как костёр.
И мы бежали босиком к ним через спаленку
под хитрым взглядом опортреченного Сталина,
хватая жадно мандаринки, как мечту,
хотя бы раз в году забыв про нищету.

Когда-то праздник Рождества пах мандаринами,
и день грядущий нёс всем радостей мешок,
нас не пугая полицейскими мундирами,
а обещая, что всё будет хорошо…
Давно то было! В том году, в котором—
ещё не стало сердце «пламенным мотором».

Анатолий Вершинский

Всеволод Юрьевич из рода Мономаха

Византийские уроки русского князя

Вместо предисловия

Во второй половине XII столетия окраинная земля в междуречье Оки и Волги переместилась, вопреки законам географии, в центр восточноевропейской политики. Киев и Новгород покорились воле суздальских князей, Константинополь озаботился их возросшей активностью. Младший наследник младшего Мономашича — Юрия Долгорукого, способный воспитанник Византии, умелый правитель и расчётливый полководец Всеволод Большое Гнездо (19 октября 1154 — 15 апреля 1212) раздвинул границы княжения до тех пределов, в которых оно впоследствии было названо Владимирской Русью, колыбелью отечественной государственности.

Сообщения летописцев о Всеволоде Юрьевиче, при всём их внимании к сильному властителю, содержат пробелы. Воссоздать пропущенные страницы ранней биографии князя, выявить подлинное значение его цареградской ссылки, прояснить причины возвышения вчерашнего изгнанника, осмыслить византийский опыт, усвоенный им и его землёй, призвана книга исторических очерков, четыре из которых автор предлагает вашему вниманию. Основанная на первоисточниках и трудах учёных-медиевистов, эта работа сочетает строгость предметного исследования с доступностью изложения. Очерки-главы написаны живым, образным языком, рассчитаны как на специалистов, так и на широкого читателя и могут быть полезны школьникам и студентам, изучающим историю России.

Глава 1

Цареградский «ссыльнопоселенец»

Младший сын Юрия Долгорукого Всеволод Большое Гнездо, прозванный так за многодетность, собственное детство провёл на чужбине, будучи выслан за пределы отечества вместе с матерью, вдовствующей княгиней, и другими её сыновьями. Страну, которая приютила изгнанников, на Руси называли «Греческим царством», сама же она себя величала «Империей римлян»[1]. И была ли эта страна чужой для русского княжича, нам ещё предстоит разобраться.

Планы и опасения

Согласно известию Тверской летописи, источника сравнительно позднего, Всеволод Юрьевич родился 19 октября 1154 года[2]. Крестили княжича в честь святого великомученика Димитрия Солунского, а мирское имя к нему перешло от знаменитого прадеда — Всеволода Ярославича, титуловавшегося «князем всея Руси».

Участь потомка славного рода казалась безоблачной. С третьей попытки Юрий Владимирович, ростово-суздальский князь, утвердился на киевском троне и всех девятерых наследников от обоих браков наделил волостями: взрослых рассадил по южнорусским столам, а самым юным, Михалке и Всеволоду, завещал Ростов и Суздаль.

В 1157 году Юрий Долгорукий скоропостижно скончался, и в Залесской земле[3] княжить стал по воле горожан старший из его живых сыновей — Андрей Боголюбский. Судя по тому, что случилось дальше, его договор с городскими общинами не предусматривал дробления власти.

Ипатьевская летопись под 6670 (1162) годом сообщает: «…выгна Андрѣи епископа Леона исъ Суждаля, и братью свою погна, Мьстислава и Василка, и два Ростиславича, сыновца своя, мужи отца своего переднии, се же створи, хотя самовластець быти всѣи Суждальскои земли… Том же лѣте идоста Гюргевича Царюгороду Мьстиславъ и Василко съ матерью, и Всеволода молодого пояша со собою третьего брата…»[4]

В летописи по Воскресенскому списку это известие повторяется почти дословно; существенное

1. Βασιλεία τῶν Ῥωμαίων (Царство (империя) ромеев (римлян)) — греческое название Восточной Римской империи.
2. ПСРЛ. Т. 15. Летописный сборник, именуемый Тверской летописью. СПб., 1863. Стб. 221.
3. Залесская земля — старинное название междуречья Оки и Волги; то же, что Владимиро-Суздальская (Ростово-Суздальская) земля.
4. ПСРЛ. Т. 2. Ипатьевская летопись. 2-е изд. М., 2001. Стб. 521–522. Здесь и далее летописные тексты цитируются в упрощённой орфографии. Сыновец — племянник.

отличие состоит в том, что в числе изгнанников назван ещё один единокровный брат Андрея — Михалко[5].

Историки относят упомянутые события ко времени около 1161 года[6]. Всеволоду было в ту пору примерно семь лет, и никто не мог предполагать, что Русь покидает будущий великий князь владимирский.

Следующее появление нашего героя на страницах летописей связано с конфликтом далеко не бескровным. Зимою 1168–69 годов мы видим четырнадцатилетнего Всеволода в числе соратников Андрея Боголюбского, идущих под началом его сына Мстислава на Киев[7]. В роду покойного Юрия Долгорукого, чей первенец Ростислав скончался в 1151 году, главенство Андрея Юрьевича неоспоримо: младшие братья, сыновья и племянники подчиняются ему безоговорочно. После взятия города 8 марта 1169 года на «золотой киевский стол» по воле Андрея садится его полнородный брат Глеб, а Всеволод остаётся при Глебе, у которого уже подвизается в роли служилого князя Михалко. Позже, в начале 1173 года, Всеволод и сам побудет у власти в Киеве. Правда, недолго — пять недель.

Забота Глеба Юрьевича о высланных из Суздальской земли братьях может навести на мысль о родстве его с ними более близком, чем единокровное. Действительно, в некоторых генеалогических справочниках и работах историков Глеб называется сыном Юрия Долгорукого от второго брака, то есть признаётся полнородным братом не Андрея, но изгнанных им Юрьевичей. Генеалог и геральдист Е. В. Пчелов убедительно показал, что Глеб родился от первого брака Юрия; сыновьями от второй жены были (в порядке старшинства) Мстислав, Василько, Михалко, Всеволод[8].

Куда же подевалась к 1169 году вражда Андрея Боголюбского к потомству мачехи и сыновьям Ростислава? Да и была ли вражда? Какова реальная подоплёка высылки его единокровных братьев и племянников? Где они жили и чем занимались в изгнании? И почему в одном «проскрипционном списке» с родственниками Андрея, с ближними боярами покойного его отца оказался ростово-суздальский владыка? Начнём с последнего вопроса.

Киевский назначенец Леон, выходец из Византии[9], был удалён из Суздаля уже вторично. Ранее, в 1159 году, за чрезмерное усердие в сборе податей с церквей его «выгнаша Ростовци и Суждальци», то есть на общем собрании постановили сместить с епископской кафедры и выдворить за пределы Залесской земли представители двух старейших её городов. Изгнанный по решению веча, Леон, видимо, сумел возвратиться. Историк и археолог Н. Н. Воронин высказал мнение, что не устроивший горожан епископ мог найти приют и поддержку при дворе вдовы Юрия Долгорукого, которая к тому времени вернулась из Киева в Суздаль с малолетними сыновьями и сохранившими верность их дому соратниками покойного мужа: «Вероятно, вокруг княгини группировались недовольные политическим курсом Андрея старые бояре, члены княжеской думы — «передние мужи» Юрия. В Суздале образовалась крайне опасная для планов Андрея группировка, которую усиливал теперь опальный грек Леон… Как показывают дальнейшие события, эта антикняжеская группировка имела поддержку за рубежами Владимирской земли, почему была особенно опасна. Андрей и решил покончить с ней одним ударом»[10].

Какие планы Андрея Боголюбского имеются в виду? Прежде всего — его намерение учредить во Владимире, новой столице Залесской земли, отдельную от Киева митрополию во главе с угодным князю иерархом, русским родом. С такой просьбой Андрей Юрьевич обращался к Луке Хрисовергу, патриарху Константинопольскому. Летописи сохранили перевод грамоты, которую патриарх направил в ответ князю. В этом послании отказ учредить митрополию во Владимире мотивируется тем, что единая земля должна иметь одного архипастыря: «…отъяти таковый град от правды епископьи Ростовския и Суждальския и быти ему митрополиею не мощно есть то… понеже бо… не иноя страны есть ни области таковый град… но тое же самое земли и области есть… в нейже едина епископья была издавна, и един епископ во всей земли той»[11]. Неназванной причиной отказа явилось, очевидно, законное опасение Константинополя в том, что появление новой митрополии углубит разделение Руси, политически раздробленной, но духовно целостной,

5. ПСРЛ. Т. 7. Летопись по Воскресенскому списку. М., 2001. С. 76.

6. *Рапов О. М.* Княжеские владения на Руси в X — первой половине XIII в. М., 1977. С. 149–150; *Назаренко А. В.* Андрей Юрьевич Боголюбский // Православная энциклопедия. Т. 2. М., 2001. С. 393–398.

7. ПСРЛ. Т. 1. Лаврентьевская летопись. М., 1997. Стб. 354; ПСРЛ. Т. 2. М., 2001. Стб. 543.

8. См.: *Пчелов Е. В.* Генеалогия семьи Юрия Долгорукого // Ruthenica. Т. III. Київ, 2004. С. 68–79.

9. Термин «Византия» — научная условность. Так стали именовать «Ромейское царство» уже после его падения западноевропейские историки (Византий, греч. Βυζάντιον, — город, на месте которого Константин Великий возвёл Новый Рим, позднее получивший неофициальное название Константинополь).

10. *Воронин Н. Н.* Андрей Боголюбский и Лука Хризоверг (Из истории русско-византийских отношений XII в.) // Византийский временник. 1962. Т. XXI. С. 29–50.

11. Грамота цареградского патриарха Луки Хрисоверга к Андрею Боголюбскому // *Макарий (Булгаков), митр.* История Русской Церкви. Кн. II. Прилож. 2 к т. 3. М., 1995. С. 581–582.

и усложнит контроль над церковной властью в её землях, традиционно осуществляемый патриархатом через Киевского митрополита — как правило, византийского ставленника. В конце 1150-х годов, незадолго до того, как владимиро-суздальский князь Андрей выступил со своей опасной инициативой, духовным и светским властям в Киеве с большим трудом, при поддержке патриарха, удалось избежать церковного раскола, которым грозило противоборство двух архиереев: смещённого с митрополичьей кафедры Клима Смолятича (1147–1155), русского родом, и сменившего его Константина I (1156–1158/1159), византийца. Недаром после этих событий знаменательно усложнился официальный титул главы Русской Церкви: «митрополит Киевский *и всея Руси*»[12].

Поборники единства

Важно отметить, что наряду с Константинопольским патриархом к рассмотрению просьбы суздальского князя мог быть причастен и «греческий царь» — василевс Мануил I Комнин (годы правления 1143–1180). Исторически сложилось так, что исповедание Христовой веры первоначально утвердилось в пределах Римской империи, восточная часть которой на тысячелетие пережила западную, то теряя, то вновь обретая владения, но неизменно сохраняя целостность власти. «Как верховные правители Империи, в границах которой и существовала Вселенская Церковь, императоры в полной мере чувствовали свой долг перед Православием как православные владыки. Это привело к тому естественному состоянию дел, когда никакой формальной границы между церковной и общеполитической деятельностью как императоров, так и иерархов не существовало… византийским императорам… принадлежали административные прерогативы при определении границ епархий и патриархий, а также при поставлении патриархов и их отставке с кафедры»[13].

Во второй половине XI века власть церковной иерархии в Византии усилилась, императоры Дуки уже не вмешивались в дела духовного управления. Возврат к прежнему порядку произошёл с воцарением Алексея I Комнина (1081–1118). Рядом своих новелл василевс регламентировал права и обязанности церковнослужителей, их взаимоотношения с мирянами, их продвижение по службе. Новелла 1107 года гласит: «Моё императорское могущество, пользуясь правом, разрешаемым святыми канонами, изволило постановить, что ни один епископ отныне не будет возводим в высший сан архиепископа или митрополита иначе, как по собственному всякий раз побуждению императора…»[14]

Разумеется, обязательства перед Церковью василевсы могли выполнять беспрепятственно лишь на территории самой Византии. Но Церковь была едина и в державе ромеев, и в сопредельных православных странах, поэтому проблемы зарубежных митрополий, подчинённых Константинопольскому патриархату, тоже заботили императоров — независимо от степени их политического влияния на государства, чьё население окормляли эти митрополии. Что касается внука Алексея I — Мануила I Комнина, то хорошо известно его ревностное отношение к вопросам веры: император «не раз участвовал в богословских спорах, отстаивая истины Православия и вынося на суд епископов спорные суждения»[15]. Не обошлось без его участия и дело Леона.

События развивались так. Повторно изгнанного (на сей раз Андреем) епископа пришлось принять обратно, но в Суздаль князь его не пустил, поселил в Ростове. Вскоре Леона обвинили в ереси по вопросу о порядке постов. Спор шёл о том, разрешается ли скоромная пища в постные дни (среду и пятницу), если на них приходятся господские или богородичные праздники. Леон не допускал никаких послаблений, что шло вразрез с обычной практикой. И был выдворен в третий раз.

Поддержанный противниками Андрея Боголюбского — черниговским князем Святославом Ольговичем и киевским Ростиславом Мстиславичем, изгнанник отправился к Мануилу, которого нашёл «в Болгарии, на пути из похода на Венгрию… Перед лицом Мануила, любителя богословских дискуссий, произошёл диспут о постах между Леоном и епископом болгарским Андрианом, который и «упрел» Леона»[16]. Так «ересь Леонтианьская» была посрамлена в присутствии императора, самому же Леону, в пылу «прения» «молвящю на цесаря», то есть допустившему полемический выпад в адрес василевса, досталось от охраны: «оудариша слуги цесаревы Леона за шью и хотѣша и въ рѣцѣ оутопити…»[17]

Собор в Киеве, созванный митрополитом Иоанном IV (1164–1169), очередным ставленником Константинопольского патриархата, также разбирал дело Леона. Обвинения суздальского князя, предъявленные его послом, митрополичий суд посчитал надуманными и Леона оправдал.

Лука Хрисоверг поддержал решение киевского собора. В том же самом послании, где Андрею

12. См.: Митрополиты Киевские и всея Руси / Сост. А. В. Поппэ. Авториз. пер. с нем. А. В. Назаренко // *Щапов Я. Н.* Государство и Церковь в Древней Руси. М., 1989. С. 196–198.
13. *Величко А. М.* Политико-правовые очерки по истории Византийской Империи. М., 2008. С. 69–70.
14. Там же. С. 223–224.
15. Там же. С. 96.
16. *Воронин Н. Н.* Указ. соч.
17. ПСРЛ. Т. 1. Стб. 352.

под страхом отлучения от церкви запрещалось учреждать отдельную митрополию, патриарх настоятельно, не стесняясь резких выражений, призвал его вернуть «епископа, главу церковную и людскую», в Ростовскую епархию, «оправлен убо сии епископ своим Собором… и оправдан есть нами, и в службу его с собою прияхом, и служил с нами»[18]. Если же князь не станет повиноваться поучениям и наказам епископа, более того — опять начнёт гнать этого Богом ему данного святителя и учителя, в таком случае — хоть бы весь мир наполнил он церквами и городами — «то не церкви, то хлеви…»[19].

Увещевания патриарха достигли цели: в дальнейшем ни Андрей Боголюбский, ни его преемники на владимирском троне уже не покушались на единство церковной власти в русских землях. И стольный город обширного Залесского края стал центром митрополии не в ущерб целостности этой власти. В конце XIII века митрополит Максим перенёс резиденцию из разорённого монголами Киева сначала в Брянск, затем в Суздаль, а в 1299 году — в заново отстроенный Владимир-на-Клязьме. Но титул у владыки долго оставался прежним, и власть его распространялась на все русские епархии — от Сарайской на востоке до Галицкой на западе.

В 1458 году Русская Церковь окончательно разделилась на две митрополии — самостоятельную Московскую, которая не признала Флорентийскую унию 1439 года, и Киево-Литовскую, вернувшуюся под юрисдикцию Константинополя. С 1461 года иерархи, занимавшие митрополичью кафедру в Москве, стали титуловаться *митрополитами Московскими и всея Руси*.

А за полстолетия до расколовшей православный мир унии, в 1389 году, соборное определение Константинопольского патриарха Антония подытожило четырёхвековой опыт церковного управления на Руси: «Изначала установлено, чтобы вся русская церковь была пасома и управляема одним митрополитом… так как великая русская земля разделена на многие и различные мирские княжества и на столько гражданских областей, что имеет многих князей, ещё более [мелких] владетелей, которые не менее разделены по своим стремлениям, как по делам и местам, так что многие восстают и нападают друг на друга… то божественные оные отцы… принимая во внимание, что не на добро и не на пользу им будет, если и церковная область распадётся на многие части, что, напротив, единый для всех митрополит будет как бы связью, соединяющею их с ним и между собою, установили там одну власть духовную, за невозможностию привести к единству власть мирскую»[20].

Последовательно отстаивая духовную целостность Руси, угасающая Империя словно бы готовила себе преемницу…

Корни раздора

Мысль историка о заговоре Юрьевых бояр, в центре которого оказалась мачеха Андрея Боголюбского, вдовствующая княгиня, — не более чем предположение. Реальная опасность если и грозила князю, то не сию минуту. Сначала должны были подрасти мачехины сыновья Михалко и Всеволод. Ведь именно им по «ряду» Юрия Долгорукого с городами Ростово-Суздальской земли — договору, скреплённому крестоцелованием, — предстояло княжить в ней после отца. Об этом обете, что дали Юрию горожане, вспоминает под 6683 (1174) годом, уже после зверского убийства Андрея Юрьевича его придворными, владимирский летописец, причём ответственность за вокняжение Андрея в 1157 году и высылку его единокровных братьев в начале 1160-х он возлагает на горожан, которые, крест «цѣловавше къ Юргю князю на менших дѣтех, на Михалцѣ и на братѣ его, и преступивше хрестное цѣлованье, посадиша Андрѣа, а меншая выгнаша»[21].

Корни этих событий уходят в 1130-е годы, когда в роду Мономашичей возник разлад, обернувшийся распадом отцовской державы.

Владимир Всеволодич Мономах княжил в Киеве с 1113 по 1125 годы. Его преемником на киевском троне стал старший сын Мстислав, прозванный Великим. При нём ещё сохранялось относительное единство Древнерусского государства. Умер Мстислав Владимирович в 1132 году, «оставивъ княжение брату своему Ярополку», сидевшему до того в Переяславле Южном, «ему же и дѣти свои съ Богомъ на руцѣ предасть»[22]. Именно с этой даты принято отсчитывать начало политической раздробленности Руси. (Правовые предпосылки её раздела создал состоявшийся в 1097 году Любечский съезд князей. Для прекращения удельных распрей потомки Ярослава Мудрого, пять его внуков и один правнук, договорились о прямом, от отца к сыну, наследовании княжеской власти в русских землях: «кождо да держить отчину свою»[23].)

18. Грамота цареградского патриарха Луки Хрисоверга… С. 582.
19. Там же.
20. Соборное деяние о русском [митрополите] кир Киприане / Пер. с греч. А. С. Павлова. // *Мейендорф И., прот.* Византия и Московская Русь: Очерк по истории церковных и культурных связей в XIV веке. Paris, 1990 (URL: http://www.sedmitza.ru/text/438255.html).
21. ПСРЛ. Т. 1. Стб. 371–372.
22. ПСРЛ. Т. 2. М., 2001. Стб. 294. О собственных детях Ярополка точных сведений нет. Возможно, его сыном был упоминаемый в летописях «Василко Ярополчич» (см.: ПСРЛ. Т. 2. М., 2001. Стб. 411, 525, 550; ПСРЛ. Т. 7. С. 78, 80).
23. ПСРЛ. Т. 1. М., 1997. Стб. 256–257.

Взойдя на киевский трон, Ярополк поспешил исполнить обещание, данное Мстиславу[24]: перевёл его сына Всеволода из Новгорода в Переяславль Южный, номинально третий после Киева и Чернигова город. Младших Мономашичей, Юрия и Андрея, возмутило это решение, ведь переяславльский стол по традиции открывал путь к великокняжескому трону. Значит, своим будущим преемником, в обход меньших братьев, Ярополк избрал племянника? Юрий предпринял попытки установить контроль над Переяславлем.

Разгоревшаяся междоусобица, в которую втянулись черниговские князья, и неудачные попытки Ярополка унять пожар, перемещая родичей с одного стола на другой, привели к обособлению Полоцка и Новгорода. Их вечевые собрания выдворили ставленников Киева (сыновей Мстислава) и призвали князей, угодных местным элитам. В Полоцк из византийской ссылки вернулся представитель здешней династии, в Новгороде начала складываться боярско-купеческая республика — торгово-аристократическое государство с верховенством выборной власти и ограниченными полномочиями князя, приглашаемого со стороны.

Способность к самоорганизации проявила и Ростово-Суздальская земля. Пока её правитель утверждался в южнорусских землях, а с 1147 года боролся за киевский трон, залесские общины управлялись с делами собственными силами. Горожане без княжьего догляда (изредка — под надзором его сыновей-наместников) достраивали заложенные Юрием укрепления, без его полков отражали набеги неприятеля (так, в 1152 году ростовцы отбили от булгар Ярославль[25]). И заранее присмотрели меж его наследников будущего князя.

Пребывая у власти в Киеве, Юрий Долгорукий передал старшим сыновьям княжения в Поднепровье, невеликие по размеру, но важные из-за близости к первопрестольному граду. Андрею, второму сыну Юрия, сначала достался Переяславль Южный, а затем, по смерти Ростислава, Юрьева первенца, — престижный Вышгород. Но Андрей Юрьевич нарушил волю отца и в 1155 году вернулся в родную Залесскую Русь — по уговору с её боярством, о чём свидетельствует статья «А се князи Русьстии», находящаяся в рукописи Археографической комиссии перед комиссионным списком Новгородской первой летописи: «Въ лѣто 6663. Приде из Киева… въ градъ Володимирь князь великыи Андреи Юрьевичь безъ отчя повелѣниа, егоже лестию подъяша Кучковичи…»[26] Бояре Кучковичи, влиятельные родственники жены Андрея, в переговорах с ним наверняка выступали не только от своего имени. Во Владимире Андрей Юрьевич обосновался на правах удельного князя.

После кончины Юрия Долгорукого в 1157 году «Ростовци и Суждалци, здумавше вси, пояша Аньдрѣя… и посадиша и в Ростовѣ на отни столѣ и Суждали…»[27]. Иными словами, правоспособные горожане, каковыми являлись главы семей свободных людей, на вече постановили отдать Андрею в княжение всю Ростово-Суздальскую землю. Так Михалко и Всеволод лишились отцова наследства и, не будучи князьями-изгоями[28], фактически оказались в ситуации таковых — в положении потенциальных искателей столов.

Вряд ли Андрей Юрьевич испытывал чувство вражды к малолетним братьям. Но братишки росли; завтрашних соперников надлежало устранить сегодня. Был избран самый гуманный вариант — ссылка. Удаляя княжичей за пределы влияния враждующих сородичей Рюриковичей и соперничающих городских элит, Андрей Боголюбский тем самым лишал своих противников возможности использовать попранные права несовершеннолетних Юрьевичей как знамя в борьбе против его княжения. Вполне естественно, что с малыми детьми отбыла их мать, а сопроводили княгиню и её сыновей близкие им люди — советники и слуги покойного Юрия Долгорукого.

Были выдворены за пределы Залесской земли и другие единокровные братья Андрея — Мстислав и Василько Юрьевичи. У главы семейства, которым стал Андрей по смерти отца, обязанностей оказалось не меньше, чем прав: младшие родичи искали у старшего покровительства… и, разумеется, княжеских столов — «взамен» тех, что утратили оба: первый — в 1157 году в Новгороде, второй — в 1161 году в Поросье.

В схожей ситуации оказались Андреевы племянники Мстислав и Ярополк, сыновья покойного Ростислава Юрьевича. Первенцу его, Мстиславу Ростиславичу, тоже не повезло с Новгородом: в 1160 году он занял в нём стол, в 1161-м был вынужден оставить. О втором сыне Ростислава, Ярополке, в летописях до 1162 года сведений нет. Ясно одно: своего удела у него не было.

Итак, в начале 1160-х годов в Суздальской земле создалась нетерпимая для властей ситуация: здесь прозябали (иначе сказать нельзя) шесть обездоленных потомков Юрия Долгорукого — четыре сына и два внука. Каждому из них был нужен стол, а значит, стольный город и, следовательно, управляемый этим городом удел. Но рассаживать

24. Там же. Стб. 301.
25. Подробнее см. главу «Полотно для ангельских одежд».
26. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. Рязань, 2001. С. 467.
27. ПСРЛ. Т. 1. Стб. 348.
28. Изгой *(от вост.-слав. «гоити» — жить)* — человек, выпавший («выжитый») из своей социальной группы. Князем-изгоем именовался на Руси Рюрикович, которому старший в роду не успел перед смертью передать удел.

по столам родичей, отдавать им в управление залесские волости суздальский князь не хотел, а возможно, по договору с горожанами, и не мог (делами в пригородах и на подведомственных им территориях управляли знатные бояре — тысяцкие и сотские, и у них не было желания делиться с кем-либо властью). Вот и предложил старший Юрьевич братьям и племянникам поискать доли за пределами его княжения. Настоятельно предложил…

Очередное же выдворение ростово-суздальского епископа, вероятнее всего, просто совпало по времени с изгнанием родственников Андрея. У «гречина» Леона были свои «вины» перед князем и горожанами.

Приют для изгнанников

Злоключения Леона растянулись на несколько лет. Участь вдовствующей княгини, Андреевой мачехи, и её сыновей решилась гораздо быстрее. Какое-то время они пожили в Поднепровье (вероятно, у сочувствующего им Глеба Юрьевича в Переяславле Южном), пока решался вопрос об их эмиграции в Византию. И, получив приглашение Мануила, отбыли в Царьград.

По мнению киевского летописца, решающую роль в событиях, изложенных в статье 1162 года, сыграл именно Андрей Боголюбский, желавший быть «самовластцем» «всей Суздальской земли». (Термин *«самовластец»*, позже *«самодержец»*, требует пояснения. Это калька с греческого «αὐτοκράτωρ». Начиная с X века, звание «автократор» входит в официальную титулатуру византийских императоров: «василевс и автократор ромеев». В эпоху высокого средневековья этот термин определял суверенного, то есть независимого от других государей, властителя, а вовсе не абсолютного монарха, каковое значение приобрёл уже в Новое время.)

Владимирский летописец, осмысливая то, что случилось двенадцатью годами позже, инициаторами высылки Андреевых родичей называет горожан. Видимо, истина, по обыкновению, лежит где-то посередине: и князь, и призвавшие его города в лице боярско-купеческой знати были равно заинтересованы в этой превентивной мере. По их практичному разумению, тем самым они сохраняли установившееся равновесие княжеской и общинной власти, оберегая Залесскую Русь от усобиц, чреватых её разделением.

Что любопытно, в Суздальской земле отъезд родственников Андрея Боголюбского остался в своё время как бы незамеченным. Более того, под 6670–6671 (1162–1163) годами в Лаврентьевской летописи вообще нет записей. Надо полагать, изначально таковые были, но в них содержались сведения, «неудобные» для владимирской династии, и эти статьи пришлось удалить при последующей редактуре.

Киевский же летописец под 1162 годом отметил не только факт изгнания Андреевых родственников, но и честь, оказанную им в Византии: «Том же лѣте идоста Гюргевича Царюгороду Мьстиславъ и Василко съ матерью, и Всеволода молодого пояша со собою третьего брата, и дасть царь Василкови в Дунаи 4 городы, а Мьстиславу дасть волость Отскалана»[29]. Андреевы племянники, сыновья покойного Ростислава, не упомянуты в числе отбывших в Константинополь. Очевидно, они остались в Южной Руси. Неизвестна судьба «передних мужей» покойного Юрия Владимировича. По логике вещей, кто-то из них мог последовать за его детьми в Византию.

Среди отправившихся в Царьград не назван и Михалко. С начала 1168 года его имя упоминается в источниках рядом с именем единокровного брата — переяславльского князя Глеба Юрьевича[30]. Воскресенская летопись прямо указывает, где Михалко обосновался, представляя братьев следующим образом: «Юрьевичи Глѣбъ и Михалко изъ Переяславля»[31] (Южного). В. Н. Татищев под 1169 годом называет владением Михалка Юрьевича Городец[32] Остёрский — крепость, которая располагалась при впадении реки Остёр в Десну (ныне город Остёр Черниговской области Украины) и принадлежала прежде Юрию Долгорукому.

Логично предположить, что после высылки в начале 1160-х годов Михалко нашёл приют у Глеба и стал его подручником. По возрасту он уже годился для походной жизни: генеалогические исследования показывают, что Михалко Юрьевич мог родиться либо между 1151 и 1153 годами, либо «самое раннее в 1149 г.»[33]; в последнем случае ему в 1162 году исполнилось бы тринадцать лет. Именно с этого возраста Владимир Всеволодич (будущий Мономах) «трудился в разъездах и на охотах»[34].

Из сообщения Татищева о походе 1169 года на Киев следует, что Михалко, в свою очередь, приютил в Городце Остёрском младшего брата — Всеволода, вернувшегося из Византии, и племянника — Мстислава. К сожалению, ценность

29. ПСРЛ. Т. 2. М., 2001. Стб. 521. Встречается и другая форма записи этого топонима: «от Скалана».
30. В числе Рюриковичей, выступивших по призыву киевского князя Мстислава Изяславича против половцев, «Глѣбъ ис Переяславля, братъ его Михалко» отмечены Ипатьевской летописью под 6678 (1170) г. (ПСРЛ. Т. 2. М., 2001. Стб. 539). Воскресенская летопись приводит известие об этом событии в статье 6677 (1169) г. (ПСРЛ. Т. 7. 2001. С. 82). В. Н. Татищев уточняет датировку: 1168 г. (*Татищев В. Н.* История Российская с самых древнейших времён. Кн. 3. М., 1774. С. 159).
31. ПСРЛ. Т. 7. С. 82.
32. *Татищев В. Н.* Указ. соч. С. 164.
33. *Пчелов Е. В.* Указ. соч. С. 77–78.
34. О воинском обучении ромейских царевичей и русских княжичей см. главу «Уроки византийских полководцев и русская „наука побеждать“».

известия снижается из-за неточности, допущенной историком. Перечисляя участников антикиевской коалиции, Татищев называет полные имена молодых князей: «Всеволодъ Юрьевичь и сыновецъ его Мстислав Мстиславичь изъ Городца»[35]. Ипатьевская летопись, самый ранний источник сведений об этой кампании, именует Всеволодова племянника без указания отчества: «Мьстиславъ внукъ Гюргевъ»[36]. Очевидно, киевский летописец не боялся оказаться непонятым современниками: ему были известны лишь два внука Юрия Долгорукого с таким именем. Один из них, Мстислав Андреевич, возглавлял поход и потому поименован среди князей первым. Отчество другого Мстислава, названного летописцем в конце списка, автор «Истории Российской», вероятно, домыслил, ошибочно решив, будто речь идёт о сыне князя Мстислава Юрьевича. Проясняет картину Воскресенская летопись: в ней среди участников похода на Киев представлен «Мстиславъ Ростиславичь внукъ Юрьевъ»[37], то есть старший сын Ростислава, покойного брата Андрея Юрьевича, к тому времени сведённый в очередной раз с новгородского стола.

…Пройдут годы—и Ростиславичи, Мстислав и Ярополк, некогда разделившие участь изгнанников с младшими Юрьевичами, Михалком и Всеволодом, станут их непримиримыми соперниками в борьбе за власть в Залесской земле. Классический древнерусский сюжет: противостояние племянников и дядьёв!

Нецарская родня

Вернёмся к старшим сыновьям Юрия (Георгия) от его второго брака. Свидетельство Ипатьевской летописи о том, что Василько получил владения в Восточной Римской империи, подтверждает византийский историк Иоанн Киннам. Описывая более поздние (1165 года) события, он отмечает: «В то же время и Владислав, один из династов в Тавроскифской стране, с детьми, женой и всеми своими людьми добровольно перешёл к ромеям. Ему была отдана земля у Истра, которую некогда василевс дал пришедшему Василику, сыну Георгия, который среди филархов Тавроскифской страны обладал старшинством»[38].

Не эта ли щедрость императора к пришельцу из Тавроскифии, как упорно называли ромейские книжники Русь, побудила позднейших летописцев, а вслед за ними историков, сделать вывод о близком родстве Мануила со второй женой Юрия Долгорукого? Под 6670 (1162) годом Густинская летопись, старейшие списки которой относятся к последней трети XVII века, сообщает: «…пойдоста Мстиславъ и Василко и Всеволодъ Юрьевичи, со матерію, въ Цариградъ, къ царю Мануилу, къ дѣду своему; и даде имъ царъ градовъ нѣсколко, да живутъ тамо»[39]. Таким образом, составители Густинской летописи считали вторую жену Юрия дочерью Мануила I Комнина. В. Н. Татищев, комментируя благосклонность императора к её сыновьям, заключил, что она «Греческая Принцесса была»[40].

Н. М. Карамзин, как и его предшественники, считал вторую жену Юрия Владимировича гречанкой, но усомнился в её царском происхождении: «Вероятно, что вторая Георгиева супруга была *Гречанка*, ибо она уехала в Царьград; но Историки наши без всякого основания именуют её Греческою *Царевною Еленою*. Родословная Византийского Императорского Дому не представляет нам ни одной Царевны Елены, на которой мог бы жениться Георгий…»[41]

Так ли важно знать, откуда происходит мать Всеволода? Русская она или гречанка (точнее, византийка), царевна или княжна—это ничего не меняет в писаной биографии великого князя владимирского Всеволода Юрьевича Большое Гнездо. А в неписаной? Между упоминаниями о нём под 1162 и 1169 годами—пробел, пустота. Можно ли реконструировать его жизнь в изгнании? Попытаться—можно. Как раз для этого и важно знать происхождение его матери.

Сначала отсечём крайности. Простолюдинку, неважно из каких земель, не взял бы в жёны владетельный князь: люди средневековья вступали в брак исключительно по расчёту—экономическому, политическому, тому и другому. И принадлежали жених и невеста, как правило, к одному сословию, к одному социальному слою. Не была Юрьева наречённая и дочерью Мануила I Комнина. Действительно, тот родился в 1118 году[42] (по другим данным, в 1123-м[43]), и в 1162 году у него попросту

35. *Татищев В. Н.* Указ. соч. С. 165.
36. ПСРЛ. Т. 2. М., 2001. Стб. 544.
37. ПСРЛ. Т. 7. С. 84. Подробно о подготовке похода и составе коалиции: *Пятнов А. П.* Киев и Киевская земля в 1167–1169 гг. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2003. №1. С. 22.
38. *Бибиков М. В.* Византийский историк Иоанн Киннам о Руси и народах Восточной Европы. М., 1997. С. 67. Династ—владетельный князь; Истр—древнегреческое название Дуная; филарх—иноплеменный вождь.
39. ПСРЛ. Т. 2. Ипатьевская летопись и Густинская летопись. СПб., 1843. С. 307.
40. *Татищев В. Н.* Указ. соч. С. 141, 488.
41. *Карамзин Н. М.* История государства Российского в 12-ти томах. Т. II–III. М., 1991. С. 345.
42. Manuel I Comnenus // Encyclopædia Britannica Online. 2011. URL: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/363118/Manuel-I-Comnenus
43. *Каждан А. П.* Мануил I // Советская историческая энциклопедия. Т. 9. М., 1966. С. 44–45.

не могло быть взрослых внуков, способных управлять областями Империи. Оттого и появилась в исторической литературе новая версия: женой Юрия Долгорукого была сестра Мануила[44]. То есть дочь его отца, василевса Иоанна II Комнина, а значит, по-прежнему царевна. Ну а как же иначе? Разве может столь славный государь жениться на особе менее знатной? Но громкую свою славу Юрий Владимирович снискал не ранее 1140-х годов, когда включился в борьбу за киевский стол. А вторично женился, как убедительно показал современный исследователь, «где-то на рубеже 1120-х–1130-х гг.»[45], когда сидел в Суздале, куда перенёс свою резиденцию из Ростова после смерти отца, Владимира Мономаха. В ту пору Волго-Окское междуречье представлялось византийцам сущим захолустьем. Никаких царевен бы не хватило, чтобы повязать августейшими узами всех властителей даже на границах Империи, не говоря уже о задворках «Тавроскифской страны»[46]. Законное сомнение Карамзина в царском происхождении второй жены Юрия подтвердили позднейшие исследователи, не нашедшие в анналах византийской истории упоминаний об этом браке[47].

Если не царевна, то кто? Рассуждая о возможных матримониальных притязаниях ростово-суздальского князя, не стоит забывать, что бабкой Юрия Владимировича по отцовской линии была дочь византийского императора Константина Мономаха, по коей причине Юрьев отец и получил своё знаменитое прозвище. Дату кончины Владимира Мономаха и предполагаемую дату второй женитьбы Юрия Долгорукого разделяют лишь несколько лет. За это время при дворе василевса Иоанна II Комнина (с чьим отцом Алексеем Владимир Всеволодич воевал за города на Дунае, а с ним, Иоанном, замирился и породнился) не могла развеяться память о подлинно великом князе земли Русской, не могли прерваться цареградские связи семьи Владимира, и новой супругой овдовевшего его сына должна была стать если не родственница, то хотя бы свойственница императора или иная знатная особа из его окружения.

Женитьба на цареградской «боярышне» не была зазорной для суздальского князя. Ведь и «своих» боярышень, а не только княжон, брали в жёны — из политической или экономической целесообразности — русские князья. Так, дочь богатого боярина Степана Ивановича Кучки, владевшего сёлами по реке Москве и казнённого Юрием Долгоруким за оскорбление княжеского достоинства[48], была выдана замуж за его сына Андрея; Кучковы же «сёла красные», включая поселение, на месте которого вырос впоследствии город Москва, отошли к Юрию[49]. Другой сын Юрия Владимировича, Мстислав (тот самый, что получит в управление таинственную «волость Отскалана»), княжил в 1154–1157 годах в Новгороде и был женат на дочери местного боярина Петра Михалковича, игравшего одну из первых скрипок в новгородском самоуправлении. Внук Юрия Долгорукого Мстислав Ростиславич сочетался в 1176 году вторым браком с дочерью другого знатного новгородца — боярина Якуна Мирославича. Генеалогически оправдать эти браки новгородских князей могло предполагаемое историками происхождение их невест от героя скандинавских саг ярла Рёгнвальда Ульвссона, чьей двоюродной сестрой была шведская принцесса Ингигерд (в крещении Ирина), вышедшая замуж за Ярослава Мудрого, а женой — старшая сестра норвежского конунга[50]. Да и строптивец Кучка, полагают исследователи, был не простой боярин: скорее всего, он происходил из рода племенных князей-вятичей[51]. И его проступком, судя по суровости наказания, явилось неисполнение долга вассала перед сюзереном.

Вторая женитьба Юрия Долгорукого, несомненно, имела политическую подоплёку. Генеалогическое обоснование этого брака, вероятно, также нашлось: если новобрачная не принадлежала к правящему роду (а клан Комнинов был весьма обширен), то таковой её могли объявить — в истории

44. По более осторожному мнению — родственница. См., например: *Лимонов Ю. А.* Владимиро-Суздальская Русь: Очерки социально-политической истории. Л., 1987. С. 36.

45. *Пчелов Е. В.* Указ. соч. С. 78.

46. Об официальных ограничениях на браки между членами императорской семьи и представителями иноземных правящих домов, а также о способах обхода этих формальных препятствий см.: *Люттвак Э. Н.* Стратегия Византийской империи / Пер. с англ. М., 2010. С. 203–213.

47. См.: *Kazhdan A.* Rus'-Byzantine Princely Marriages in the Eleventh and Twelfth Centuries // Harvard Ukrainian Studies. Proceedings of the International Congress Commemorating the Millennium of Christianity in Rus'-Ukraine. Vol. 12/13 (Cambridge Mass., 1988/1989). P. 423–424. В частности, автор пишет (пер. с англ. наш): «У нас нет никаких данных относительно женитьбы Юрия на греческой принцессе. Лопарев (Х. М. Лопарев, известный учёный-византинист. — *А. В.*) не включал это необоснованное свидетельство в свой список браков».

48. «Той же Кучка возгордевься зело и не почте великого князя подобающею честию… но и поносив ему к тому ж» (О зачале царствующего великого града Москвы, како исперва зачатся // *Тихомиров М. Н.* Древняя Москва. XII–XV вв.; Средневековая Россия на международных путях. XIV–XV вв. М., 1992. С. 174).

49. *Тихомиров М. Н.* Указ. соч. С. 12, 175.

50. Подробнее см.: *Гиппиус А. А.* Скандинавский след в истории новгородского боярства (в развитие гипотезы А. А. Молчанова о происхождении посадничьего рода Гюрятиничей-Роговичей) // Славянизация Русского Севера. Механизмы и хронология. Под ред. Ю. Нуорлуото. Slavica Helsingiensia 27. Хельсинки, 2006. С. 93–108.

51. *Тихомиров М. Н.* Указ. соч. С. 14.

международных связей Византийской империи подобные случаи известны[52]. Так или иначе, ромейская родня суздальского князя была наверняка влиятельна.

…В 1150 году, в пору первого, довольно недолгого, пребывания у власти в Киеве, Юрий Долгорукий сблизился с галицким князем Владимирком Володаревичем, отдав свою дочь Ольгу за его сына Ярослава. Общий враг породнившихся властителей, Изяслав Мстиславич, небезуспешный соперник Юрия в борьбе за киевский стол, выступал в альянсе с венграми и поляками; Владимирко был свояком и союзником византийского императора Мануила I Комнина, который вёл затяжную войну с королём Венгрии Гезой. Отныне Юрия и Мануила связывали не просто взаимные симпатии близких по духу и не чуждых по происхождению людей, но общие интересы. Воюя с венгерскими пособниками Изяслава, Юрий Владимирович тем самым помог Византии. А имперские власти, светские и духовные, поддержали своего соратника при его повторном восхождении на киевский трон. В древности и в средневековье союзнические отношения государей нередко скреплялись династическими браками, и примеры таковых мы только что видели. Может быть, на этой благодатной почве зародилась легенда о царском происхождении второй жены Юрия? Уж коли соратники—значит, свояки…

Из добрых побуждений

Цареградские связи Мономашичей—сами по себе несильный довод в пользу версии о византийских корнях второй жены Юрия Долгорукого. Что ещё могло бы свидетельствовать об этом? Прежде всего—выбор страны, куда отправилась вдова Юрия, покинув Суздаль по воле пасынка. Тут Карамзин, безусловно, прав. Со времён печальницы Рогнеды, которую киевский князь Владимир Святославич отослал с их малолетним сыном в родную ей Полоцкую землю, так повелось на Руси, что изгнанные жёны и вдовы князей возвращались в отчие пределы, увозя несовершеннолетних чад своих. Будь вдова Юрия Долгорукого русская родом, или половчанка, или булгарка, зачем бы она поехала на чужбину, в Царьград? Не зная греческого языка, византийской культуры, не имея родственников-ромеев… Логично предположить, что отправилась она с сыновьями на родину.

Противники этой гипотезы полагают, что Византия была выбрана из сугубо практических соображений: ставшие «лишними» на родной земле, русские витязи рассчитывали снискать славу в чужой, но единоверной стране, под началом её воинственного властителя—православного монарха с повадками рыцаря. Византийские императоры издавна ценили русских ратников—со времён Олега Вещего их охотно брали на службу[53]. Эмиграцию единокровных братьев Андрея, их дружинников, сохранивших верность князьям, и (возможно) бояр их отца некоторые исследователи рассматривают как «элемент альянса, выстроенного Мануилом I против Венгрии»[54]. Участником этого союза, о чём уже говорилось выше, был Юрий Долгорукий[55], его кончина пробила в строе соратников заметную брешь.

Андрей Юрьевич уважал союзнические обязательства отца, но вряд ли был заинтересован в том, чтобы поставлять Византии воинов для покорения Венгрии. Есть свидетельства, что «Мануил… мечтавший о восстановлении могущества Римской империи, вынашивал и планы более непосредственной связи Руси с Ромейской империей: предполагая подчинить своей власти Венгрию, Мануил рассчитывал, что это сольёт Русь с территорией его державы»[56]. У владимиро-суздальского князя были свои намерения относительно южнорусских земель, и столь тесного сближения с Византией Андрей не желал; напротив, он стремился ограничить её вмешательство в русские дела. Сохраняя добрые отношения с Империей, он видел их развитие не в послушании младшего старшему, а в уважительном диалоге суверенных государств. В ряде источников прямо декларируется равенство суздальского «самовластца» с византийским императором. Так, созданное при участии князя «Сказание о победе 1164 года над волжскими болгарами и празднике Спаса» открывается знаменательным посвящением: «Благочестивому и верному царю нашему князю Андрею оуставившоу сие праздновати со царём Маноуилом…»[57] В рассказе о тех же событиях Никоновская летопись, выдавая желаемое за действительное, характеризует отношения Андрея Боголюбского и Мануила Комнина следующими словами: «Симъ убо самодръжцемь обѣма межи собою въ любви мнозѣ живущемъ»[58].

52. Вот лишь один пример. «Михаил Асори и некоторые из армянских писателей утверждают, что Маврикий, утвердив на престоле Хозроя, выдал за него дочь свою, Мириам или Марию» (История императора Иракла. Сочинение епископа Себеоса, писателя VII века / Комментарии. М., 1862. С. 196–197). Хозрой—Хосров II Парвиз, шахиншах Персии в 591–628 гг. Византийские хроники упоминают трёх дочерей императора Флавия Маврикия (годы правления 582–602); Марии среди них нет.

53. Подробнее см. главу «Уроки византийских полководцев и русская „наука побеждать“».

54. *Kazhdan A.* Указ соч. С. 424. Пер. с англ. наш.

55. См. также: *Литаврин Г. Г.* Русско-византийские отношения в XI–XII вв. // История Византии. В 3 т. Т. 2. М., 1967. С. 347–353.

56. *Воронин Н. Н.* Указ. соч.

57. *Забелин И. Е.* Следы литературного труда Андрея Боголюбского // Археологические известия и заметки. 1895, № 2–3. С. 46–47.

Высылку знатной ромейки с детьми официальный Константинополь мог расценить как недружественный акт. Вряд ли такое развитие событий устраивало Андрея. Трудно сказать, чем формально князь мотивировал необходимость отъезда неугодных родственников, но легко представить, что о приезде их в Византию (а возможно, и об условиях пребывания там) он заранее договорился с имперскими властями. Только вот интересы «альянса» тут ни при чём: каждая из сторон решала не общие, а сугубо свои задачи. Князь бескровно избавлялся от возможных соперников. Император бесхлопотно получал храбрых и опытных воинов.

Как назывались четыре города, которые Мануил дал в управление Васильку Юрьевичу, мы не знаем. Но известно, что стояли они на Дунае или в непосредственной близости от него. А по Дунаю, на значительном протяжении его течения, проходила граница Империи с Венгрией. То есть речь, возможно, идёт о четырёх порубежных крепостях в регионе, охваченном войной. И поскольку эта область три года спустя «была отдана» некоему «династу» Владиславу, тоже русскому родом, а имя Василька Юрьевича больше не упоминается в летописях Руси и хрониках Византии, постольку мы вправе предположить: старший брат Всеволода пал в боях за расширение имперских пределов. (Война Византии с Венгрией за земли в Хорватии и Далмации длилась несколько лет; по мирному договору 1167 года спорные территории отошли к Империи.)

Сложнее обстоят дела с «волостью Отскалана», которую Мануил I дал в управление Мстиславу. В ней комментаторы Ипатьевской летописи видят известный с библейских времён город Аскалон. Меж тем ещё Карамзин писал: «Мстислав, по харатейным летописям, в 1166 г. удалился в Заволочье (земли в бассейне Северной Двины и Онеги, освоенные новгородцами.—*А. В.*). Император Греческий не мог сему Князю дать Аскалонской области, ибо она принадлежала тогда Королям Иерусалимским»[59]. Тут требуется некоторое уточнение. В 1162 году графство Яффы и Аскалона не являлось королевским доменом—оно принадлежало Амори, младшему брату иерусалимского короля Балдуина III. В 1158 году Балдуин женился на племяннице Мануила, признал верховенство императора (хотя и не стал его вассалом) и заключил с ним союз против сирийского атабека Нур ад-Дина. В 1162 году Балдуин умер, детей у него не было, и королём Иерусалима стал Амори I. На следующий год графство Яффы и Аскалона обрело статус королевского домена. Можно предположить, что новому иерусалимскому королю понадобился надёжный человек для управления графством (а затем доменом), достаточно знатный и грамотный, чтобы занять эту должность, но не замешанный в местных интригах, и такого человека предоставил свояку и союзнику Мануил. Так что Мстислав Юрьевич действительно мог оказаться в Палестине. Теперь относительно упомянутого Карамзиным похода в Заволочье в 1166 году. Источник не называет отчество предводителя—только имя: «Тое же зимы иде Мстиславъ за Волокъ»[60]. Современные исследователи считают, что возглавивший экспедицию Мстислав—отнюдь не Юрьевич, не брат Андрея Боголюбского: по одной версии, это его сын Мстислав Андреевич, по другой—племянник Мстислав Ростиславич[61].

С отступлениями от канонов

Есть ещё один аргумент в пользу «греческого» происхождения второй жены Юрия Долгорукого, довольно неожиданный и достаточно спорный. Е. В. Пчелов, специалист в области генеалогии и геральдики, отмечает: «В этом контексте любопытно предположение о том, что на известной иконе Дмитрия Солунского (ныне в собрании Третьяковской галереи) изображён Всеволод Юрьевич, чьи византийские черты лица резко контрастируют с половецким антропологическим типом Андрея Боголюбского, выявленным в процессе реконструкции М. М. Герасимова»[62] (и, добавим, с мадьярским типом Мануила Комнина, смуглолицего сына венгерской принцессы,—мнимого деда Всеволода).

Икона, о которой идёт речь, была обнаружена в 1919 году в подмосковном городе Дмитрове, в нижней церкви Дмитрия Солунского Успенского собора. Устная легенда связывала её с личностью великого князя Всеволода Юрьевича, в крещении Дмитрия. Действительно, большинство исследователей датировали икону концом XII—началом XIII веков, то есть временем княжения Всеволода Большое Гнездо. Да и сам город Дмитров—изначально крепость, основанная по случаю его рождения и названная в честь его небесного покровителя. Известие об этих событиях содержит Тверская летопись: «О Дмитрѣ. Въ лѣто 6663. Сущу князю Георгiю Суждальскому Володимеричу въ своей области на рѣцѣ на Яхромѣ и сь княгинею, и мѣсяца октобря 19 день родися ему сын Дмитрiй, и нарече ему имя Всеволодъ, и постави на томъ мѣстѣ въ имя его градъ, и нарече его Дмитровъ»[63].

Учитывая время создания и место нахождения иконы, некоторые учёные предположили, что она

58. ПСРЛ. Т. 9. Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью. СПб., 1862. С. 210.
59. *Карамзин Н. М.* Указ соч. С. 345.
60. ПСРЛ. Т. 1. Стб. 353.
61. См.: *Богданов С. В.* К изучению термина «волок» письменных источников XIII–XV вв. // Новгород и Новгородская земля: История и археология. Новгород, 2005. С. 236–241.
62. *Пчелов Е. В.* Указ. соч. С. 72.

представляет собой княжеский портрет. Такого мнения, в частности, придерживался Д. С. Лихачёв: «Со стендов Третьяковской галереи смотрит на нас выразительное изображение известного всем по «Слову» Всеволода Большое Гнездо — в образе Дмитрия Солунского (святого патрона этого князя)»[64].

Специалисты в области иконописи относятся к изложенной версии скептически: средневековые каноны не допускали портретного сходства изображаемого святого с конкретным человеком. «Более того, даже иконный образ самого святого отнюдь не является его портретом. Поэтому весьма опрометчиво усматривать в лике Дмитрия Солунского лицо Всеволода III»[65]. Но те же исследователи отмечают, что дмитровская икона «стоит особняком в иконографии Дмитрия Солунского. И лик, и поза, и жест святого необычны для иконных образов христианского воителя»[66]. Особенно выделяется в их ряду лик: Дмитрий изображён с усами и небольшой бородкой — вовсе не так, как на других иконах, где он представлен безбородым и безусым юношей. И тот факт, что иконописец отступил от канонического образа святого, внёс в его лик особенности облика православного воина-мужа, говорит об исключительности стоявшей перед художником задачи. Учитывая личность заказчика, можно понять и содержание этой задачи. Разумеется, речь не идёт о портрете в понимании живописцев более поздних эпох. Но типологическое сходство изображённого на иконе святого воина с наречённым его именем князем (соответствие этнического типа, православного обличия, даже характера — чего сто́ит полуобнажённый меч в руке Дмитрия!) вполне могло иметь место.

В связи с этим достойно упоминания и другое живописное произведение — так называемая Ктиторская композиция, фреска, размещённая в аркосольной нише в юго-западном углу церкви Спаса Преображения на Нередице[67]. Согласно атрибуции Ю. Н. Дмитриева, эта композиция могла быть создана около 1246 года, то есть примерно полувеком позже других фресок храма, построенного в 1198-м и расписанного в 1199 году[68]; на ней в образе предстоящего перед Христом храмоздателя (ктитора) увековечен, по мнению исследователя, князь Ярослав Всеволодич; заказал же фреску в год его кончины, разумеется, сын — Александр Ярославич Невский, в ту пору новгородский князь[69].

Гипотезу искусствоведа и реставратора Ю. Н. Дмитриева поддержали многие специалисты, в том числе признанный знаток средневекового искусства В. Н. Лазарев[70]. Их критики сделали упор на то, что Ярослав Всеволодич в принципе не мог быть изображён на ктиторском портрете, так как не являлся храмоздателем Спаса на Нередице: церковь не им была основана и в годы его княжения в Новгороде (1215, 1221–1223, 1224–1228, 1230–1236) не возобновлялась, не перестраивалась, не расписывалась.

Атрибуция Ю. Н. Дмитриева не была первой. Несколько раньше обнародовал свою версию историк искусства Н. Л. Окунев. В рассуждениях он опирался на опыт изучения аналогичных изображений в храмах Сербии. Заказчиком Спасо-Преображенской церкви являлся Ярослав Владимирович, княживший в Новгороде в 1181–1184, 1187–1196 и 1197–1199 годах, а значит, именно он изображён на фреске[71]. Противники гипотезы Н. Л. Окунева напоминают, что церковь расписали после того, как Ярослав Владимирович в очередной раз (и уже окончательно) был выведен из Новгорода[72]. Вряд ли у новгородских мастеров могло возникнуть желание запечатлеть неугодного князя на фреске храма[73].

Ктиторский портрет в аркосольной нише церкви Спаса на Нередице красноречиво свидетельствует о южных корнях изображённого на нём немолодого мужчины. Этому этническому и возрастному типу вполне мог бы соответствовать Ярослав Всеволодич (1190–1246), третий сын «гречина» по матери Всеволода Юрьевича и «ясыни»[74] Марии Шварновны[75].

63. ПСЛР. Т. 15. Стб. 221.

64. *Лихачёв Д. С.* Слово о походе Игоря Святославича // Слово о полку Игореве. Л., 1967. С. 38.

65. *Пелевин Ю. А.* Дмитрий Солунский. Икона. Конец XII — начало XIII в. ГТГ // Российский общеобразовательный портал. URL: http://artclassic.edu.ru/catalog.asp?ob_no=%2017322

66. Там же.

67. Полное каноническое название: церковь Преображения Господня на горе Нередице. Расположена в 1,5 км к югу от Великого Новгорода, на правом берегу Волхова.

68. Новгородская первая летопись… С. 44, 237–238.

69. См.: *Дмитриев Ю. Н.* Изображение отца Александра Невского на нередицкой фреске XIII в. // Новгородский исторический сборник. 1938. Вып. 3–4. С. 39–57.

70. *Лазарев В. Н.* История византийской живописи. М., 1986. С. 111.

71. *Окунев Н. Л.* Портреты королей-ктиторов в сербской церковной живописи // Byzantinoslavica. Praha, 1930. Roc. II. С. 80–81.

72. Новгородская первая летопись… С. 44, 238.

73. См.: *Колчин Б. А., Хорошев А. С., Янин В. Л.* Усадьба новгородского художника XII века. М., 1981. URL: http://www.bibliotekar.ru/rusOlisey/8.htm

74. Ясы — северокавказские аланы, средневековые предки современных осетин.

75. О происхождении первой супруги Всеволода Большое Гнездо см.: *Вершинский А. Н.* «Лютый зверь» на страже государства. 2006. URL: http://a-vers.narod.ru/lutyzver.htm

Подведём итог наших рассуждений. Внимательное прочтение наиболее ранних летописных известий об изгнании Андреем своих родственников и приведённые выше доводы в пользу гипотезы о принадлежности матери Всеволода к знатному ромейскому роду позволяют сделать два немаловажных вывода.

Во-первых, она сама и её младший сын остались в Константинополе. Ведь им не выделили какой-то особой области для поселения, а направлять ищущую приюта соотечественницу, матрону с малолетним дитятей, в военный лагерь на Дунае или в живущую как на вулкане Палестину — такое могли приписать царю-рыцарю Мануилу лишь оторванные от реалий его времени книжники, составители позднейших летописных сводов.

Во-вторых, не будучи царской крови, Всеволод не мог воспитываться при дворе как византийский царевич или чужеземный принц (например, как его современник Бела, младший брат венгерского короля и в будущем сам король, покровителем и наставником которого был Мануил), а значит, русский княжич избежал сомнительного удовольствия с ранних лет познать и усвоить специфические нравы дворца, с его интригами и спесью вельмож, с его вездесущими евнухами, с регламентированным до мелочей распорядком. Но у греческой родни Всеволода, конечно же, были средства, чтобы дать ему начальное образование *(пропедиа)* на дому, наняв достойного учителя. Когда же ученик подрос и усвоил азы грамотности, он мог обучаться в одной из так называемых *грамматических* школ, где получали среднее образование *(педиа)* дети в возрасте от десяти-двенадцати до шестнадцати-семнадцати лет[76].

Комнины, как и их предшественники Дуки, придавали большое значение воспитанию и обучению своих подданных, привлекали ко двору образованных людей, поощряли тех, кто обнаруживал тягу и способность к научным занятиям. Знание в Византии было великой ценностью, обладать которой стремились и василевс, и рядовой гражданин Империи. В наставники своим детям императоры приглашали лучших учёных страны. Не уступить государям старались их важные сановники. Дети простолюдинов тоже могли учиться: городские и сельские школы были открыты для всех… для всех, кто был способен заплатить за обучение. И люди незнатные и не слишком состоятельные на последние деньги учили своих сыновей, чтобы те могли выбиться из низов: ведь, получив образование, можно было изменить положение в обществе, дослужиться до высоких чинов, достичь власти и богатства… Вот такой страной была Византия XII века. Разве можно представить, чтобы талантливый и честолюбивый княжич остался неучем в такой стране?

Поживи Всеволод в Царьграде подольше, он мог бы поступить в знаменитую Магнаврскую школу[77] или другое высшее учебное заведение византийской столицы. Но судьба распорядилась иначе: не позже конца 1168 — начала 1169 года, в возрасте четырнадцати лет, цареградский «ссыльнопоселенец» вернулся на Русь. Разумеется, с позволения (а возможно, и по приглашению) старшего в отцовском роду — Андрея Боголюбского, которому для похода на Киев и последующего контроля над ним потребовались энергичные и грамотные сторонники. А византийский выученик, со связями в Константинополе, с прекрасным знанием греческого языка и ромейских обычаев, дорогого стоил… Мог ли догадываться Андрей Юрьевич, что некогда высланный им (а фактически отправленный учиться) младший братишка продолжит начатое им дело и стяжает славу, сравнимую со славой их великого деда — Владимира Мономаха?

В образованности Всеволода Юрьевича, его рассудительности, чувстве прекрасного убеждает вся деятельность князя на поприще устроителя и украшателя Владимиро-Суздальской Руси. Вот как писал об этом известный искусствовед В. Н. Лазарев: «Преемник Андрея Боголюбского, Всеволод Большое Гнездо (1176–1212) был хорошо знаком с византийской культурой. Юные годы Всеволод провёл в Константинополе, где научился ценить красоту византийского культа и искусства. Недаром он пригласил для росписи возведённого им Дмитриевского собора константинопольских мастеров»[78].

О том, что Всеволод хорошо усвоил византийские уроки, писали многие исследователи. Наш вывод, что младший сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха мог получить классическое образование в самой просвещённой из столиц тогдашней Европы, позволяет конкретизировать содержание этих уроков. Ведь чему учили цареградских школяров, мы знаем из сочинений византийских авторов. Но это тема следующей главы.

Глава 2

Первый ученик Второго Рима

Всеволод Ярославич, «князь всея Руси», был редкостно образован: знал, по прямому свидетельству сына — Владимира Мономаха, пять языков.

76. *Джуринский А. Н.* История зарубежной педагогики. М., 1998. С. 37.

77. Магнаврская школа — государственный университет в Константинополе, основанный в середине IX в. усилиями выдающегося византийского учёного Льва Математика на базе высшего учебного заведения, которое учредил ещё в 425 г. император Феодосий II.

78. *Лазарев В. Н.* Русская иконопись от истоков до начала XVI века. М., 2000. С. 41.

Мономашич Юрий Долгорукий младшему наследнику дал мирское имя своего деда и оставил «Поучение» отца. Мог ли Всеволод Юрьевич не вдохновиться примером старших родичей, не перенять их пытливый нрав, их тягу к учёности? Эту фамильную жажду знаний утолила бы и русская школа, но случилось так, что наставниками княжича стали цареградские учителя.

По византийскому образцу

Исповедание Христовой веры наши рассудительные предки восприняли от тех, кто сохранил её в чистоте и неповреждённости. Вместе с православным учением русские люди усваивали византийский опыт учительства. Вводивший на Руси христианство Владимир «на[ча] ставити по градомъ церкви и попы, и людие на крещение приводити… и пославъ нача поимати оу нарочитои чади дѣти и даяти на оучение книжное». «Нарочитая чадь» — именитые люди, знатные горожане. Расчёт был на то, что уже спустя поколение местная власть сосредоточится в руках людей просвещённых. В руках единомышленников, признающих одного Бога — Святую Троицу и одного государя — киевского князя.

Жизнь, как водится, внесла поправки в державный план: единовластие продержалось, по историческим меркам, недолго. Зато просветительского запала хватило на века. Хотя поначалу реформа образования на Руси не слишком радовала вчерашних язычников. «Повесть временных лет» сообщает: «А матери же чадъ своихъ плакахуся по нихъ, и еще бо ся бяху не оутвѣрдилѣ вѣрою, но акы по мерьтвѣцѣ плакахуся симь же раздаянымъ на оучение книжное».

Комментируя слова летописца, Б. Д. Греков отмечал: «Совершенно ясно, что «учение книжное» — это не обучение грамоте, а школа, где преподавались науки, давалось серьёзное по тому времени образование. Грамоте обучали не в этой школе. Простая грамота была известна на Руси задолго до Владимира».

Сведения о численности первых киевских школяров сохранила Вологодско-Пермская летопись: «…князь великии Владимер, собравъ дѣтеи 300, вдал учити грамоте». Важное уточнение состава учащихся находим в хронике польского историка XVI века М. Стрыйковского: Владимир отдал в учение «всех названных сынов своих и возле них несколько сот боярских сынов». Так закладывалась добрая традиция правящего рода Рюриковичей — не уступать в грамотности, а нередко и в учёности своим придворным и подданным, более того — служить им примером. Эта традиция позже расцвела во Владимиро-Суздальской земле — во многом благодаря её просвещённым властителям: Андрею Боголюбскому, Всеволоду Большое Гнездо, его старшему сыну Константину — и продержалась там до монголо-татарского разорения. (С приходом монголов школьное образование в землях Северо-Восточной Руси не исчезло — например, школа в Григорьевском монастыре Ростова продолжала действовать вплоть до XV века, но уровень грамотности населения, в том числе знати, заметно снизился. Ещё П. Н. Полевой отмечал: в летописях «о Димитріи Донскомъ прямо говорится, что онъ не былъ хорошо изученъ книгамъ; о Василіи Темномъ — что онъ былъ не книженъ и не грамотенъ».)

Первыми православными священниками на русской земле были выходцы из Византии. Логично предположить, что и первыми учителями киевской школы стали учёные греки, а также те славяне, которые получили образование в городах Империи. Примером для них являлись премудрые солунские братья Кирилл и Мефодий, просветители славянские. Важно отметить, что Кирилл (в миру Константин) учился, а позже преподавал в Магнаврской школе, высшем учебном заведении Константинополя. В 863 году в столице Великоморавского княжества Велиграде братья основали первую школу, где обучение велось на славянском языке. В его основу был положен говор македонских славян болгарской группы — солунский диалект, хорошо знакомый Кириллу и Мефодию. Многие богословские и школьные тексты перевели с греческого на славянский сами братья. В Болгарии учебные заведения по византийскому образцу открывали последователи Кирилла и Мефодия. Развитие книжной грамоты и школьного дела на Руси также нельзя представить без наследия солунских братьев, без участия тех, кто продолжил их труд на славянских землях.

В 1037 году в Киеве была основана митрополичья кафедра. При ней, по мнению исследователей, и началось отечественное летописание. Русские летописи составляли те же люди, которые переводили на славянский греческие книги и переписывали сочинения, уже существующие на славянском языке (древний его вариант принято именовать старославянским; более поздний, русского извода, на котором у нас ведётся богослужение, — церковнославянским). Естественно, что русские летописцы владели славянским языком и широко использовали книжную лексику и фразеологию. Но просторечных слов и выражений тоже не избегали. В результате в языке летописных сводов переплелись различные стилистические пласты: церковнославянские и восточнославянские элементы, общерусская и диалектная лексика. Это обогатило текст, усилило его художественную выразительность. И повысило информативность: из летописи можно узнать не только то, что хотел сказать её составитель. К этой особенности нашего летописания мы ещё вернёмся, а пока продолжим разговор о первой реформе русского просвещения.

Учебные заведения, подобные киевскому, возникли позже в Новгороде (1030 год, 300 учащихся), Курске, Переяславле Южном, Суздале, Чернигове, Муроме, Владимире Волынском и ряде других русских городов. Эти заведения называли «училищами» (термин «школа» в древнерусской письменности впервые встречается в 1382 году). Ко второй половине XII века школьное обучение на Руси стало практически повсеместным. Так что младший сын Юрия Долгорукого, вернувшийся вместе с матерью из Киева в Залесскую землю после смерти отца, имел возможность прежде Царьграда какое-то время поучиться в Суздале.

Русские и ромейские мальчишки воспитывались примерно одинаково. В возрасте пяти-семи лет из женских рук они переходили в руки наставников-мужчин: в школе таковыми были учителя, дома—воспитатели-дядьки, обычно родственники или доверенные слуги. Всеволоду к моменту высылки было около семи лет, значит, его тоже опекал такой воспитатель—«кормилец», как говорили на Руси в ту пору; вероятно, это был человек из ближнего окружения покойного отца. В числе дружинников Юрия Долгорукого, которых его сын Андрей выслал вместе со своей мачехой и единокровными братьями, несомненно, оказался и наставник Всеволода. В Константинополе он продолжил воспитание княжича—на пару с греческим учителем.

Начала грамоты учили на дому

Высокая образованность родичей Всеволода Юрьевича хорошо известна; ему было на кого равняться. Его прапрадед Ярослав Владимирович, величаемый Мудрым, один из выпускников основанной св. Владимиром школы, в свою очередь, устроил училище в Новгороде (второе после киевского) и составил первый отечественный правовой кодекс—Русскую Правду. Сын Ярослава Всеволод был полиглотом—знал, как мы уже отмечали, пять языков. Своим блистательным «Поучением», обращённым к наследникам, прославился, помимо прочего, Ярославов внук Владимир, знаменательно прозванный Мономахом. (Μονομάχος—по-гречески «единоборец». Владимир Всеволодич получил это прозвище, очень подошедшее к его бойцовскому характеру, в связи с тем, что из рода Мономахов происходила его мать, о чём он и сообщает в своём сочинении. Согласно официальной родословной князя, его дедом по материнской линии был византийский император Константин IX Мономах.)

Сестра Владимира Мономаха Анна отличалась начитанностью; приняв пострижение, основала в 1086 году при Андреевском монастыре первое в Европе женское училище и много лет руководила им. Внучка Владимира Всеволодича Евпраксия Мстиславна, выданная замуж за сына и соправителя византийского императора Иоанна II и при коронации получившая, по одной из версий, имя Зоя, обладала, очевидно, высокой грамотностью: «Многие годы она провела в обществе образованной принцессы Анны Комнины, известной византийской хронистки, написавшей биографию своего отца, а также севастокриссы (придворная должность) Ирины, которая покровительствовала учёным и особенно интересовалась историей». Популярна гипотеза о врачебных познаниях Евпраксии. В 1902 году в библиотеке Лоренцо Медичи во Флоренции византинист Х. М. Лопарев обнаружил медицинский трактат на греческом языке, озаглавленный «Ἄλειμμα τῆς χυρᾶς Ζωῆς βασιλίσσης»—«Мази госпожи Зои-царицы», и его авторство приписал Евпраксии-Зое. Дальнейшие исследования показали, что заглавием сочинения Х. М. Лопарев посчитал название одного из рецептов. Трактат представляет собой сборник-лечебник, и составил его—предположительно, по заказу императрицы Зои, жившей на столетие раньше Мстиславны,—практикующий врач, имя которого не сохранилось.

Внук Мономаха Андрей Юрьевич, единокровный брат Всеволода, участвовал в создании нескольких богослужебных сочинений, а после успешного похода на Волжскую Булгарию написал (если не лично, то в соавторстве с другими книжниками) «Сказание о победе над болгарами и установлении праздника Спаса в 1164 году», называемое в ряде старинных рукописей так: «Слово о милости Божией великого князя Андрея Боголюбского».

Вероятно, грамотной была и мать Всеволода Юрьевича. Сведений о византийских школах для девочек нет, но есть указания на то, что юные ромейки знатного происхождения учились грамоте у домашних наставников и просвещённых родственников. Обручали византийских барышень задолго до венчания, иногда в раннем детстве, и после помолвки девочка порой воспитывалась не в родительской семье, а в доме будущего мужа, беря с ним уроки у одних и тех же учителей.

В Византии эпохи Комнинов элементарное образование (пропедиа), соответствующее программе начальной школы (грамматиста), дети состоятельных родителей получали, как правило, на дому. Вряд ли стал исключением и наш герой. Под руководством нанятого педагога он учился читать и писать—теперь уже и по-гречески. (Говорить на родном языке своей матери Всеволод, безусловно, умел.)

Грамоте в ту пору обучали буквослагательным методом. Он был известен с античных времён, применялся во всей Европе, а в России продержался до 60-х годов XIX века. В основе метода выделение единицы членения текста—буквы, которую однозначно связывали со звуком. Ученики заучивали

буквы («альфа», «бета», «гамма»… «азъ», «буки», «вѣди», «глаголь»…), составляли из них слоги и тоже заучивали их; затем читали слова «по складам», с обязательным произношением вслух, причём в школе ученики делали это хором. К письму приступали, уже освоив «склады»: сначала писали буквы и слоги, затем слова и предложения. Такое обучение было трудоёмким и долгим.

Чтобы лучше усвоить слова и выражения, широко использовали приёмы мнемоники — искусства запоминания, ведь разговорный язык того времени существенно отличался от классического греческого, который преподавали в школе и на котором были написаны учебные тексты. Аналогичные мнемонические приёмы практиковались и в училищах средневековой Руси. (Мнемотехника существует издревле и никогда не выпадала из арсенала обучения. Наверняка многим читателям памятны так называемые «зубрилки», до сих пор бытующие в школьной субкультуре, — устные, часто рифмованные, тексты, облегчающие запоминание тех или иных правил, — скажем, геометрии: «Биссектриса — это крыса, которая бегает по углам и делит угол пополам»; оптики: «Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан» и т. п.)

Искусство счёта, как и в античные времена, средневековые школяры постигали в буквальном смысле «на пальцах», а также с помощью абака. Наряду с уроками чтения, письма и счёта, в программу начального обучения входили занятия пением, преимущественно церковным; знакомили учеников и с основными событиями истории, прежде всего библейской.

На Руси для копирования книг, в делопроизводстве и летописании применяли пергамен, а с XIV века — и привозную бумагу. Для школьных штудий эти материалы были слишком дороги, и учащихся выручали пришедшие из античности церы — дощечки, покрытые воском. Для записей на цере служил так называемый стиль (или стилос, а по-русски «писало») — инструмент, напоминающий современный стилус, используемый в мобильных устройствах для ввода информации. Стиль представлял собой металлический или костяной стерженёк, один конец которого заострялся, другой же оформлялся в виде головки или лопаточки, служивших для затирания начертанного на воске.

Использовали школьники и берёсту — самый доступный, самый «демократичный» писчий материал средневековья. Буквы на берёсте обычно процарапывали тем же самым стилем. (В том, что берестяные грамоты, включая записи, сделанные школярами, сохранились преимущественно в Новгороде, заслуга его чрезвычайно сырой почвы, в которой из-за отсутствия доступа воздуха не гниёт органика. Жители прочих русских городов не уступали в грамотности северянам.)

В Византии в бытовых и учебных целях применяли, разумеется, церы: благо, русский воск поступал сюда регулярно. Виды берёз, чья кора пригодна для письма, в средневековых пределах Восточной Римской империи встречались нечасто, зато бумага стала к тому времени сравнительно доступной и вошла в школьный обиход, писали же на ней перьями: изредка — тростниковыми, гораздо чаще — птичьими, обычно гусиными. Гуси вновь спасали Рим, теперь уже Второй, и на сей раз — от неграмотности. (Школяров, у которых не получалось от неё спасаться, «наставляли на ум» розгами — как в ромейских, так и в русских землях. Прутьев для порки хватало везде.)

«Свободные искусства» изучали в школе

В системе византийского образования средней ступенью (педиа) было обучение в школе «грамматика». Само название «грамматическая школа» говорит о том, насколько важное значение придавалось в ней изучению норм языка. Описание одной из таких школ оставила Анна Комнина, византийская царевна, обессмертившая своё имя сочинением «Алексиада» — повествованием о времени правления её отца, василевса Алексея I Комнина (1081–1118): «…справа от большого храма стоит грамматическая школа для сирот, собранных из разных стран, в ней восседает учитель, а вокруг него стоят дети — одни из них ревностно занимаются грамматическими вопросами, другие пишут так называемые схеды. Там можно увидеть обучающегося латинянина, говорящего по-гречески скифа, ромея, изучающего греческие книги, и неграмотного грека, правильно говорящего по-гречески. Такую заботу проявлял Алексей о гуманитарном образовании». Под говорящим по-гречески скифом, скорее всего, подразумевается выходец из русских земель: Скифией, или Тавроскифией, византийские писатели именовали по традиции территории на север от Чёрного моря.

Нарисованная царевной Анной картина относится к началу XII века; способы обучения не менялись в ту пору десятилетиями, так что и в 1160-х годах занятия в средней школе Византии проходили, скорее всего, по описанному сценарию.

Исследователи установили, что в XII веке подобные методы освоения греческой грамматики были уже знакомы русским людям, а возможно, применялись в её изучении на Руси. В адресованном смоленскому просвитеру Фоме послании, написанном между 1147 и 1154 годами, киевский митрополит Климент Смолятич сообщает: есть «у мене мужи, имже есмь самовидець, иже может единъ рещи алфу, не реку на сто, или двѣстѣ, или триста, или 4-ста (слов. — *А. В.*), а виту — також». Н. В. Понырко, подготовившая к публикации текст источника, в комментариях к нему поясняет: «Это место в Послании митрополита Климента

свидетельствует о том, что в его окружении были люди, образованные по-гречески. Умение сказать нечто более чем стократно на альфу, виту и все 24 буквы греческого алфавита означает не что иное, как владение таким разделом курса византийской грамотности, который именовался схедографией и состоял из особого рода орфографических и словарно-грамматических упражнений на каждую букву алфавита».

Схедография помогала постичь премудрости языка, но доставляла, по сообщениям византийских авторов, немалые трудности учащимся. (Та же царевна Анна, вспоминая годы своего ученичества, отмечает: «...овладев риторикой, я осудила сложные сплетения запутанной схедографии».)

Наверняка и Всеволоду пришлось покорпеть, составляя таблички-схеды. Зато в дальнейшем усидчивость, дотошность, умение корректно поставить задачу и детально разобраться в проблеме, выработанные, помимо прочего, и на уроках грамматики, очень помогли младшему Юрьевичу, когда он встал у кормила власти.

В средние века в основе светского образования лежало изучение так называемых семи свободных искусств. Их было принято делить на два учебных цикла. К дисциплинам первого цикла, тривия (лат. trivium, буквально — «трёхпутье»), относились науки словесные: грамматика, диалектика (логика) и риторика. Во второй цикл, квадривий (лат. quadrivium — «четырёхпутье»), включались математические науки: арифметика, геометрия, музыка (учение о гармонии), астрономия. Этот перечень обязательных для усвоения дисциплин сформировался на рубеже поздней античности и раннего средневековья. Позже византийская школа прибавила к трём словесным наукам ещё одну — поэтику. Вместе они составляли первую четверицу; следующие четыре дисциплины, начиная с арифметики, — вторую. «Основная часть учащихся ограничивалась изучением предметов первой „четверицы“».

Начальное образование занимало два-три года, учёба в средней школе — ещё пять-шесть лет. Всеволод покинул Константинополь не позже 1168 года, то есть пробыл в нём не более шести лет. Значит, на учёбу в средней школе у него оставалось три-четыре года. Вряд ли за этот срок он смог бы пройти полный курс обучения, но дисциплины первой четверицы и базовый предмет второй (арифметику) наверняка успел усвоить.

Читатель вправе спросить: откуда у нас уверенность в том, что юный княжич, овладев азами грамотности, поступил в учебное заведение, а не продолжил образование дома?

Во-первых, структура средних (грамматических) школ была достаточно сложной. В них работали уже не отдельные учителя, а группы преподавателей. Власти контролировали эти школы, направляли их деятельность в надлежащее русло. Во времена правления династии Комнинов образованность являлась непременным условием для продвижения по служебной лестнице, поэтому практически вся светская знать и церковные иерархи имели за плечами как минимум грамматическую школу. Сын русского князя и знатной ромейки, Всеволод просто обязан был учиться в ней.

Во-вторых, сами занятия в средней школе проводились таким образом, что адекватно воспроизвести их в домашних условиях едва ли бы удалось. «Среди методов обучения популярны были состязания школьников, в частности, в риторике. Рутинное обучение выглядело так: учитель читал, давал образцы толкования, отвечал на вопросы, организовывал дискуссии. Учащиеся учились цитировать на память, делать пересказ, комментарий, описания (экфразы), импровизации...»

Овладеть искусством ритора, то есть умением красно говорить и убедительно спорить, ссылаясь на авторитетные мнения и украшая речь цитатами из классиков, мог лишь начитанный человек. Со времён античности круг чтения школяров составляли поэмы Гомера и Гесиода, трагедии Эсхила, Софокла и Еврипида, комедии Аристофана, песнопения Пиндара, идиллии Феокрита. Утверждение христианства расширило этот круг: в него вошли книги Ветхого и Нового Заветов, Псалтирь, жития святых, сочинения отцов церкви. В IV–VI веках государственным языком Восточной Римской империи оставался латинский, затем его сменил греческий, но латынь продолжали изучать. В X веке её исключили из школьной программы.

Государственные учебные заведения, подобные школе, описанной в «Алексиаде», были редкостью. Большинство византийских подростков училось в частных школах. За обучение приходилось платить; особенно дорого стоили книги, доставать которые ученик должен был сам. Потому детей в среднюю школу отдавали люди обеспеченные. Есть основания полагать, что в доме, где нашли приют Всеволод и его мать, имелась библиотека и что какие-то книги он привёз потом из Византии на Русь. Ведь от кого, как не от отца, мог перенять старший сын Всеволода своё стремление к знаниям, страсть к собиранию книг и летописей, заботу о школьном деле? По сведениям В. Н. Татищева, у Константина Всеволодича была обширная библиотека, которую он пополнял до конца жизни и завещал по смерти опекаемому им владимирскому училищу — вместе с домом и доходами от изрядной части своих земельных владений: «...Князь Великій Константинъ Всеволодичь мудрый... Великій былъ охотникъ къ читанію книгъ, и наученъ былъ многимъ наукамъ; того ради имѣлъ при себѣ людей ученыхъ, многіе древніе книги Греческіе цѣною высокою купилъ

и велѣлъ переводить на Рускій языкъ, многія дѣла древнихъ Князей собралъ и самъ писалъ, такожъ и другіе съ нимъ трудилися»; «…домъ же свой и книги вся въ училище по себѣ опредѣлилъ, и къ тому на содержаніе немалые волости далъ, о чемъ просилъ брата Юрия, дабы обѣщалъ непоколебимо завѣтъ его сохранить…»

Плоды ученичества

В том, что Всеволод изучал в Царьграде не только грамматику, но и более сложные искусства—риторику, поэтику, диалектику (логику), убеждают особенности его правления. Он был терпелив и красноречив. Об ораторских навыках Всеволода Юрьевича свидетельствует хотя бы его послание племяннику Мстиславу Ростиславичу. В изложении владимирского летописца явно сохранён стиль первоисточника. Вслушаемся в эти звучные, размеренные строки, с характерными для декламации сквозными повторами (членение наше): «…брате, оже тя привели / старѣишая дружина, / а поѣди Ростову, / а оттолѣ миръ възмевѣ. / Тобе Ростовци привели и боляре, / а мене былъ с братомъ Богъ привелъ и Володимерци, / а Суздаль буди нама обче, / да кого всхотять, то имъ буди князь».

Всеволод хотел и умел договариваться. С другими князьями—союзниками и соперниками. С государями сопредельных стран, с которыми доводилось воевать, а потом замиряться. Но главное—с народом, точнее, с правоспособной частью населения земли, в которой он правил. Правоспособными, как известно, считались главы семей свободных людей. Они-то и собирались на вече. Этот субъект переговорного процесса немало попортил крови князьям.

В Киевской Руси установился лествичный порядок передачи княжений, при котором «золотой стол» в Киеве занимал старший в роду Рюриковичей, а другие родичи назначались им в подчинённые города по принципу: чем важнее город, тем старше князь. Подолгу на своих местах назначенцы не задерживались—со сменой киевского князя все прочие, со своими дружинами и челядью, перемещались из города в город, как бы поднимаясь по «служебной лестнице» («лествице»).

Эта система правления даже в условиях распада единого государства позволяла Киеву сохранять известный контроль над обособившимися княжениями, но довольно быстро пришла в противоречие с развивающейся экономикой обширной страны. Богатеющим русским землям для стабильного роста производства и товарообмена нужны были не временщики, озабоченные главным образом тем, как бы поскорее занять более престижный стол (и часто не стеснявшиеся в средствах для этого), но правители, кровно связанные со своим краем, радеющие о завтрашнем его дне.

Интересы земли представлял её старейший город. Пригороды, как называли младшие города, и сельские общины подчинялись решениям веча старшего города. Нередко младшие города соперничали со старшими за главенство в земле, призывая «своих» князей.

Серьёзной силой, выступающей от имени земли, становились бояре—знатные дружинники, оседавшие на пожалованных князьями угодьях. В раннефеодальной Руси домениальные владения Рюриковичей были сравнительно невелики, и лишь немногих своих вассалов (младших родичей, ближних бояр) князь мог пожаловать городами, сёлами и угодьями из числа тех, что принадлежали ему на правах собственности. Чаще от суверенного держателя верховной власти над страной его подручник добивался права собирать в свою пользу налоги и пошлины с части её территории, то есть получал волость в кормление. (Есть основания полагать, что многие земельные наделы, управляемые кормленщиками, в дальнейшем были освоены ими в собственность, стали их вотчинами.) Сильные благодаря своему богатству, лидерским навыкам и корпоративной спаянности, бояре верховодили на вече, а в немирные дни, будучи профессиональными воинами, составляли костяк городского ополчения. В Ростово-Суздальской земле оно получило название «Ростовская тысяча».

В легитимном правителе и авторитетном полководце—князе из рода Рюриковичей—земля по-прежнему нуждалась, но князя приглашала теперь сама. И вместе с ним была заинтересована в том, чтобы свою власть он передал прямому наследнику, а не иному родственнику, следующему по старшинству. Княжения в землях стали закрепляться за определёнными ветвями Рюрикова рода. В Ростово-Суздальской земле обосновались потомки Юрия Долгорукого, сына Владимира Мономаха.

Земля и князь заключали договор—«ряд», на первых порах устный, а позже письменный, где разделялись полномочия княжеской и общинной власти. Этот договор утверждался крестоцелованием (обычай, пришедший из Византии).

Как мы знаем, по «ряду» Юрия Владимировича с элитой Ростово-Суздальской земли, княжить в ней после его смерти должны были Михалко и Всеволод. Но когда Юрий Долгорукий скончался, ростово-суздальское боярство убедило горожан, в ущерб правам его младших сыновей, утвердить князем старшего: «Того же лѣта Ростовци и Суждалци, здумавше вси, пояша Аньдрѣя… и посадиша и (его.—*А.В.*) в Ростовѣ на отни столѣ и Суждали, занеже бѣ любимъ всѣми, за премногую его добродѣтель». Выражение «здумавше вси» говорит о том, что посажение Андрея Юрьевича на княжеский стол санкционировали вечевые собрания этих городов. Несомненно, был

заключён и соответствующий «ряд» горожан с князем. В дальнейшем Андрей не оправдал их надежд, стал проводить собственную политику, ущемлявшую интересы ростовской и суздальской знати. Он даже территориально отмежевался от неё, перенеся столицу княжения во Владимир, считавшийся «пригородом» Ростова. Утратив опору в старой аристократии, Андрей Юрьевич не создал надёжной новой, и, когда заговорщики пришли его убивать, среди приближённых князя не нашлось достойных защитников.

Всеволод Юрьевич имел формальное право на княжение в Суздальской земле — по «ряду» своего отца с нею, вслед за братом Михалком. Но реально воспользоваться этим правом Всеволоду позволили горожане, жители Владимира. Когда Михалко, их законный, но недолговекий князь, умер, они пригласили на опустевший владимирский стол Всеволода, княжившего в ту пору в Переяславле-Залесском.

Таким образом, и Андрей, и Всеволод к власти в Суздальской земле пришли демократическим путём (в том смысле, в каком понятие «демократия» вообще применимо к условиям средневековья), то есть были избраны свободными горожанами, участниками народного собрания — веча.

Андрей Боголюбский переоценил свои силы, нарушил «ряд» с ростовцами и суздальцами и не сумел (или не посчитал нужным) договориться с жителями им же возвышенного Владимира. И остался без опоры. Молодой Всеволод «урядился» с владимирцами, утвердился благодаря их поддержке в Ростово-Суздальской земле, а с годами расширил её владения до тех пределов, в которых их ныне принято называть Владимирской Русью. И условий своего договора с горожанами князь не нарушал: «Могущественный и страшный для соседей, у себя дома Всеволод… был послушным исполнителем воли… владимирцев…» Возможно, уважение к закону, ответственное отношение к взятым на себя обязательствам — тоже плод его цареградского ученичества.

Чем «бояре» отличаются от «боляр»

Язык летописных источников, где переплетаются древнерусская словесность и старославянская книжность, — настоящий подарок исследователям. Обратимся к уже цитированной нами статье Лаврентьевской летописи. Под 6685 годом описываются вокняжение Всеволода во Владимире после смерти его брата Михалка и начало борьбы младшего Юрьевича за верховенство в Ростово-Суздальской земле.

«Володимерци же помянувше Бога и крестное цѣлованье к великому князю Гюргю, вышедше передъ Золотая ворота, цѣловаша крестъ ко Всеволоду князю брату Михалкову и на дѣтехъ его, посадиша и на отни и на дѣдин столѣ в Володимери. В то же лѣто приведоша Ростовци и боляре Мстислава Ростиславича из Новагорода, рекуще [ему]: поиди, княже, к намъ. Михалка Богъ поялъ на Волзѣ на Городци, а мы хочемъ тебѣ, а иного не хочемъ… Он же приѣха Ростову, совокупивъ Ростовци и боляре, гридьбу и пасынкы, и всю дружину, поѣха к Володимерю. Всеволодъ же поѣха противу ему, с Володимерци, и с дружиною своею, и что бяше бояръ осталося у него, а по Переяславци посла Мстиславича Ярослава, сыновця своего… Князь же Всеволодъ благосердъ сы, не хотя крове прольяти, посла къ Мстиславу, глаголя: брате, оже тя привели старѣишая дружина, а поѣди Ростову, а оттоле миръ възмевѣ. Тобе Ростовци привели и боляре, а мене былъ с братомъ Богъ привелъ и Володимерци, а Суздаль буди нама обче, да кого всхотять, то имъ буди князь».

Мстислав отклонил мирное предложение Всеволода, сославшись на «величавые речи» ростовских мужей и «боляр», которые заявили: «…аще ты миръ даси ему, но мы ему не дамы».

Чем интересен этот эпизод политической биографии Всеволода? Мы видим, что его главная опора — городское ополчение (летописец, владимирский клирик, высоко оценивает правосознание своих земляков, новых людей «мизинных», то есть «малых»: «…новии же людье мѣзинии Володимерьстии оуразумѣвше яшася по правъду крѣпко»). Вслед за горожанами названа личная («своя») дружина. И лишь затем говорится о «боярах», которые остались у Всеволода. Вряд ли это те самые «передние мужи» Юрия Долгорукого, изгнанные Андреем из Суздаля, прежней столицы княжения, — ведь даже неизвестно, вернулся ли кто-нибудь из них на родину. Скорее всего, речь идёт о владимирской знати.

Боярство во Владимире в ту пору находилось под влиянием ростовских вельмож, влившись в уже упомянутую «Ростовскую тысячу». Видимо, лишь немногие из владимирских бояр поддержали Всеволода, недаром летописец называет их в последнюю очередь. Но вот что странно: в изложенном летописью послании Всеволода бояре вовсе не названы в числе тех, кто «привелъ» его.

Если вчитаться в летописный текст внимательней, выясняется удивительная вещь. Местные аристократы, поддержавшие Всеволода, именуются иначе, нежели вельможи, призвавшие Мстислава. Ростовская знать и её союзники из других городов называются славянским (болгарским по происхождению) словом «боляре», а соратники владимирского князя — русским «бояре». В том, что это не случайность, легко убедиться. Сравним, как распределяются в тексте оба варианта термина, «болярин» и «боярин», с учётом образованных от них прилагательных. В статьях под 6683–6685 годами, излагающих события 1174–1176 годов и написанных, как установил М. Д. Приселков, тем же

человеком, который составил первый Владимирский свод, слова с корнем «боляр-» встречаются тринадцать раз и применяются лишь в отношении ростовской знати, слова же с корнем «бояр-» употреблены четыре раза, относятся исключительно к сторонникам владимирского князя и встречаются только в сообщении под 6685 (1176) годом.

Крайне мала вероятность того, что эти слова случайно распределились подобным образом. Напрашивается вывод: летописец намеренно использовал разные варианты одного и того же термина для обозначения близких по социально-экономическому положению, но различных по политической ориентации групп населения. Но в таком случае он рисковал быть непонятым читателем, ведь на пространстве всего предшествующего текста слова «боляре» и «бояре» встречаются в летописи без какой-либо системы, вперемежку, как совершенно равнозначные.

Более убедительным представляется другое объяснение. Автор указанных летописных статей не использовал оба слова, он предпочитал одно, книжное,—«боляре». Названы же сторонники Всеволода «боярами» потому, что применил это название другой летописец, продолживший работу над Владимирским сводом. В сообщении под 6685 (1176) годом он посчитал нужным упомянуть «бояр» и сделал это в привычном ему написании. До вмешательства редактора никаких «бояр» в тексте не было, в противном случае они бы именовались «болярами», как и вельможи из лагеря Мстислава. Значит, не было (или почти не было) бояр и в первоначальном окружении Всеволода. Становится понятным, почему младший Юрьевич апеллировал только к воле Бога и владимирцев—горожан, посадских людей, о которых ростовцы говорили уничижительно: «то суть наши холопи каменьници» (каменщики, то есть ремесленники). Ощутимой поддержки местного боярства Всеволод пока не имел.

Источники свидетельствуют: князь и горожане выступают как равноправные партнёры. Получив отказ Мстислава на предложение разрешить их спор полюбовно, Всеволод советуется с переяславцами, как ему поступить. Позже, после победы над союзником Мстислава—рязанским князем Глебом, Всеволод Юрьевич, убеждённый христианин («благосердъ»), старается не допустить расправы над ним и другими пленными, родичами и вельможами Глеба, но вынужден считаться с волей владимирцев, желающих наказать своих и княжьих обидчиков за их «неправду». В этом и других случаях двадцатидвухлетний правитель поступает как осторожный, прагматичный политик, идущий на тактические уступки своим сторонникам ради достижения стратегической цели—сохранения и укрепления власти. Чувствуется византийская школа.

Но кто же те владимирские жители, названные в летописи «боярами», которые поддержали Всеволода, а затем учинили вместе с купцами «мятежъ великъ», требуя наказать пленников? Вероятно, местные землевладельцы, чьи хозяйства, семьи и святыни пострадали от рязанской рати, усиленной половецкой конницей («Глѣбъ… с Половци с погаными… села пожже боярьская, а жены и дѣти и товаръ да поганым на щитъ, и многы церкви запали огнемъ…»). В сравнении с родовитыми «болярами» Ростова и Суздаля эти владимирские «бояре» были такие же «мизинные люди», как и посадское население Владимира, поэтому в изначальном тексте летописи (первом Владимирском своде) отдельно не упоминались. В более поздние времена, когда имя Всеволода Юрьевича прогремело по всей Руси и за её пределами, когда его официально стали титуловать великим князем, а его неродовитые соратники обрели власть и знатность, очередной редактор свода решил «восстановить истину», здраво рассудив, что столь славному государю не пристало выступать на страницах истории без бояр. При этом, в силу особенностей своего стиля, сводчик использовал русский, а не славянский вариант термина.

Можно даже определить время, когда была сделана эта правка. М. Д. Приселков считает, что следующая редакция Владимирского свода относится к 1193 году (по Н. Г. Бережкову—к 1192 году), и выполнил её автор записей 6686–6701 (1178–1192) годов. Так вот, в этих новых статьях «бояре» встречаются четырежды (в сообщениях под 6694–6695 годами, которым соответствуют 1185–1186 годам от Р. Х.), а «болярин»—только один раз (под 6694 годом). Логично предположить, что автором новых статей и редактором статьи 6685 (1176) года был один и тот же человек. В 6701 году (1193-м—по М. Д. Приселкову, 1192-м—по Н. Г. Бережкову) он составил новую редакцию свода и внёс поправки в записи своего предшественника. (Единственный славянский вариант термина—в статье под 6694 годом—мог появиться в результате описки последующего сводчика.)

Не было среди сподвижников молодого Всеволода важных вельмож, владельцев многих сёл и угодий. Были оборотистые купцы, умелые ремесленники, зажиточные хлебопашцы, рисковые, но удачливые артельщики—добытчики земных и водных богатств. Свободные и состоятельные люди, передовая, деятельная часть народа. (Бояре появятся позже: действительно, как же великому князю без бояр?)

…В Константинополе Всеволод изучал по книгам жизнеописания знаменитых властителей, а воочию мог наблюдать, как творят историю православные наследники великой античной державы—византийский император и его просвещённые

сановники. Став правителем земли, соизмеримой по территории с владениями Второго Рима, Всеволод Юрьевич на практике применил эти познания, обогащённые опытом княжения в нескольких русских городах, включая Киев. Многое в деятельности Всеволода Большое Гнездо утверждает нас в мысли, что в цареградском «книжном учении» он был одним из первых учеников. А среди государей Руси—и вовсе первым.

Глава 3

Уроки византийских полководцев и русская «наука побеждать»

В известиях о событиях конца 1168—начала 1169 годов в числе одиннадцати князей, которых «посла князь Андрѣи и[с] Суждаля… на Кыевьскаго князя Мстислава», упомянут и Всеволод Юрьевич. Из сообщения следует, что к этому времени он вернулся на Русь и примирился со старшим братом. Всеволоду четырнадцать лет, он верит в успех, он ведёт на приступ дружину. Значит, в Константинополе юный изгнанник постигал не только «свободные искусства», но и ратное мастерство? Именно так. Ведь он—князь, представитель высшего воинского сословия.

Книжное учение—с полевой муштрой

Командный состав средневековых армий обновлялся быстро, а готовился долго. Воспитание завтрашних полководцев начинали, что называется, с младых ногтей. На Руси княжеского или боярского сына в возрасте пяти-семи лет отрывали от матушкиной юбки и передавали на попечение «кормильца» (в источниках, начиная с XIII века, используется также синоним «дядько»)—близкого друга, родственника или верного слуги. (Так, наставником Владимира Святославича, будущего киевского князя, стал Добрыня Малкович, брат его матери Малуши, наложницы Святослава.) Лет в двенадцать-тринадцать, а то и раньше, отпрыски знатных семей приобщались к походной жизни. Сыновья князей становились их «подручниками»—порученцами по особо важным делам, наместниками в пригородах, а сыновья бояр—младшими дружинниками. Владимир Мономах в своём «Поучении» сообщает, что трудился в разъездах и на охотах с тринадцати лет.

Примерно так же поступали с детьми византийцы. «К 5–7 годам мальчика освобождали от женской опеки. В знатных семьях он попадал в этом возрасте в руки наставника-педагога (дядьки), который наблюдал за играми ребёнка, развлекал воспитанника и учил его грамоте… Иногда по нескольку лет мальчик из знатной семьи жил или в доме невесты, обручённой с ним, или у отцовского столичного друга, проходя курс обучения, или во дворце императора…»

Сыновей высокопоставленных особ готовили к военной и государственной карьере несколько наставников. Вот как описывает Никифор Вриенний обучение двух юношей-сирот, которых их отец, крупный военачальник Мануил Комнин (прапрадед своего будущего тёзки императора Мануила I Комнина), отдал перед смертью на воспитание «скиптродержцу» Василию II: «Василевс… поставил над ними педагогов (воспитателей) и педотривов (учителей) и одним приказал образовывать нрав юношей, а другим—учить их воинскому делу: искусно вооружаться, закрываться щитом от вражеских стрел, владеть копьём, ловко управлять конём, бросать стрелу в цель, вообще—знать тактику, то есть уметь как следует построить фалангу, рассчитывать засады, приличным образом располагать лагерь, проводить рвы, и всё прочее, относящееся к тактике».

Как видим, воспитанники императора проходили полноценную военную подготовку—от выучки рядового ратника до обучения полководца.

Книжное учение и полевая муштра пошли им впрок: старший, Исаак, стал императором (правда, ненадолго), младший, Иоанн,—великим доместиком (главнокомандующим имперской армии). Сын Иоанна, Алексей Комнин, удачливый полководец, пришёл к верховной власти посредством военного переворота. Он правил Византией в 1081–1118 годах и много сил и времени отдал строительству армии, причём сам занимался подготовкой воинов-новобранцев, что не единожды отметила в своей «Алексиаде» его просвещённая дочь Анна: «Он учил их твёрдо сидеть в седле, метко стрелять, искусно сражаться в полном вооружении и устраивать засады…»; «В течение всей ночи он призывал к себе воинов, особенно лучников… давал полезные советы для предстоящей на следующий день битвы и учил натягивать лук, пускать стрелу, время от времени осаживать коня, опять отпускать поводья и, когда нужно, соскакивать с лошади…»; «Всё то время, в течение которого там был разбит шатёр самодержца, Алексей не имел иного занятия, кроме зачисления в войско новобранцев и тщательного обучения их натягивать лук, потрясать копьём, править конём и становиться расчленённым строем. Он обучал воинов новому боевому порядку, который он изобрёл, а случалось, что и сам выезжал вместе с ними, объезжал фаланги и давал полезные советы».

Ко двору воинственного государя

Внук Алексея I Мануил I Комнин правил империей в 1143–1180 годах. Его детство и юность прошли в военных походах, под рукой отца—василевса Иоанна II. Юноша отличался храбростью, граничащей с безрассудством. Никита Хониат, высокопоставленный чиновник и писатель, сообщает: «Однажды младший сын царя, по имени Мануил,

взяв копьё и выступив довольно далеко вперёд, без ведома отца, напал на неприятелей. Этот поступок юноши заставил почти всё войско вступить в неравный бой, так как некоторые увлеклись соревнованием, а все другие боялись за юношу и думали особенно угодить царю, если, при их содействии, он не потерпит от неприятелей никакого вреда. В виду всех царь похвалил за это сына; но потом, когда вошли в палатку, он нагнул его и слегка наказал за то, что он не столько храбро, сколько дерзко, и притом без его приказания, вступил в бой с неприятелями».

Из четырёх сыновей Иоанна выжили двое. Перед смертью, случившейся в походе, «царь собрал родных, друзей и все власти и высшие чины» и назвал своим преемником не Исаака (старшего из уцелевших наследников), но Мануила, так обосновав свой выбор: «…оба они хороши, оба отличаются и телесною силою, и величественным видом, и глубоким умом, но в отношении к управлению царством мне представляется несравненно лучшим младший, Мануил. Исаака я часто видел вспыльчивым и раздражающимся от самой ничтожной причины, потому что он крайне гневлив, а это губит и мудрых и доводит большую часть людей до необдуманных поступков. Между тем Мануил с целым рядом других достоинств, которых не чужд и Исаак, соединяет и это прекрасное качество — кротость, легко уступает другим, когда это нужно и полезно, и слушается внушений рассудка».

Утвердившись во власти, «кроткий» Мануил проявил железную волю: мечтая восстановить империю в прежних границах, он неустанно воевал, а в мирное время повышал боеспособность армии жёсткими тренировками, в которых участвовал вместе с рядовыми воинами. Свидетельствует секретарь и биограф императора Иоанн Киннам: «Главной заботой царя Мануила тотчас по вступлении его на престол было особенно то, чтобы сколько можно более улучшить вооружение римлян. Прежде они обыкновенно защищались круглыми щитами, по большей части носили колчаны и решали сражения стрелами, а Мануил научил их употреблять щиты до ног, действовать длинными копьями и приобретать как можно более искусства в верховой езде. В самое даже свободное время от войны он старался приготовлять римлян к войне и для того имел обыкновение нередко выезжать на коне и делать примерные сражения (заимствованные, как поясняет другой византийский историк, Никифор Григора, от латинян или франков.— *А. В.*), становя отряды войска один против другого. Действуя в этих случаях деревянными (без наконечников.— *А. В.*) копьями, они таким образом приучались с ловкостью владеть оружием. Вследствие сего римский воин скоро превзошёл и германского, и италийского копейщика. От таких упражнений не уклонялся и сам царь, но становился в числе первых и действовал копьём, которое по долготе и величине с другими было несравнимо».

И вот ко двору воинственного, храброго и великодушного государя прибыл опальный Всеволод, в крещении Дмитрий, сын покойного Юрия Долгорукого, союзника Византии. Русский княжич, ребёнок знатной ромейки, возможно царской родственницы, был, конечно, представлен Мануилу, а когда подрос и освоился, то начал появляться на дворцовых приёмах, на устраиваемых василевсом рыцарских турнирах. (Не на этих ли ристаниях, с любопытством разглядывая изображённые на щитах их участников эмблемы — прообразы будущих фамильных гербов, задумался Всеволод о том, что неплохо бы и его роду обзавестись подобной символикой? Известно, что эмблемой владимирских князей стал вздыбленный барс, и случилось это, скорее всего, в правление Всеволода.)

Кто были наставники младшего Юрьевича? Кто учил подростка приёмам конной езды, боя на мечах, действий копьём и щитом? Первым воспитателем, несомненно, являлся «кормилец», сподвижник умершего отца, приставленный к маленькому Всеволоду ещё до ссылки, в Суздале, где размещался двор его матери, вдовствующей княгини. Вторым наставником, уже в Константинополе, стал кто-то из её родичей, ветеран имперских сражений.

Два опытных воина, русский и грек, учили ратному искусству будущего полководца Владимирской Руси. Так ли различны были их знания и навыки? К этому вопросу мы ещё вернёмся, а пока зададимся другим: как сохранялись и распространялись эти знания?

Накопление боевого опыта

Византийская военная доктрина соединила опыт двух великих традиций: греческой и римской. Средневековые наставления слагались по образцу античных. Ко времени, когда Киевская Русь вошла в орбиту византийской культуры, в Империи оставались востребованными несколько сочинений по военным вопросам. Это трактат середины VI века «О стратегии», где неизвестный автор («Византийский Аноним») изложил актуальную для его эпохи концепцию стратегической обороны. Это созданный полувеком позже и обоснованно приписываемый императору Флавию Маврикию «Стратегикон», отразивший реформы в армии и наступательный характер новой военной доктрины. Это относящаяся к началу X века «Тактика» императора Льва VI, прозванного Философом, который мастерски обработал и дополнил новыми сведениями трактат Маврикия. Названия сочинений достаточно условны: во всех этих трудах, претендующих на энциклопедичность, рассматриваются вопросы и тактики, и стратегии.

Во второй половине X века появляются принципиально иные произведения, основанные целиком на личном опыте своих создателей,—«Стратегика» («Praecepta militaria») императора Никифора II Фоки и два трактата, чьё авторство не установлено: «О боевом сопровождении» («De vellitatione bellica») и «Об устройстве лагеря» («De castrametatione»). Эти работы лишены энциклопедичности, которая отличает предшествующие труды: каждая из них рассматривает определённый круг тем, привязана к конкретному региону, содержит узкоспециальную, зато уникальную информацию.

Из упомянутых сочинений наибольший интерес представляет «Стратегикон Маврикия». Ведь этот двенадцатичастный труд—и учебник по военному делу, и армейский устав, и справочник по боевому искусству воевавших с империей народов. Для современных исследователей трактат, написанный на рубеже VI–VII веков,—важный исторический источник. Для изучавших военное дело византийцев он был настольной книгой на протяжении столетий. Списанная большей частью с него «Тактика» Льва Философа обновила содержание первоисточника, но не заменила и тем более не отменила его.

До наших дней дошли пять списков «Стратегикона» (древнейший относится к первой половине X века), что говорит о широком распространении этого трактата в средние века. Установлено, что из наследия Руси «от домонгольского периода до нашего времени сохранилось не более 1% (!) всех письменных памятников». Распространяя эту оценку на Византию, чьи рукописи горели не реже русских, применительно к X–XII векам можно говорить о сотнях списков «Стратегикона».

А что же отечественная военная мысль? Неужели боевой опыт многоплеменного воинства Руси, переплавленный в русскую «науку побеждать», передавался только из уст в уста, из рук в руки? Память о войнах, которые вели соотечественники, сохраняли средневековые летописцы. Они сообщали о походах и битвах, указывали состав и вооружение войск, отмечали особенности боя. Но эти сведения, за немногими исключениями, были отрывисты и неполны. Некоторые военные события освещались более детально в житиях святых благоверных князей, в эпических произведениях. Так, в «Повести о житии Александра Невского» обстоятельно, с указанием имён и способов действий русских дружинников, описана битва со шведами в 1240 году. Осведомлённость безымянного рассказчика объясняется тем, что поведали ему об этом сражении сам князь Александр Ярославич и другие участники битвы. Подробно описывает превратности похода на половцев в 1185 году «Слово о полку Игореве», ведь знаменитая поэма также сложена современником, если не участником событий.

К сожалению, в числе сохранившихся памятников русской средневековой письменности мы не находим специальных пособий, в которых обобщались бы военные знания, давались предписания командирам и подчинённым. Возможно, таких пособий на Руси и не было—отчасти по той причине, что зарождавшийся спрос на них могли удовлетворять военные трактаты на понятном образованной русской элите греческом языке.

Есть ли основания полагать, что наставления ромейских военачальников были доступны русским полководцам?

«На войну выйдя, не ленитесь...»

Сопоставим выдержки из двух сочинений—«Стратегикона Маврикия» и «Поучения Владимира Мономаха» *(см. таблицу)*. Кроме первой цитаты, которую даже неподготовленный читатель поймёт без перевода, текст «Поучения» сопровождается переложением на современный русский язык. Оба автора—писатели православные и потому начинают свои труды с обращения к Богу, с упования на Его милость.

Мы видим, что наказы, которые Мономах даёт сыновьям, прямо перекликаются с наставлениями Маврикия. Особенно близко предписанию византийского императора указание русского князя на то, как надлежит вести себя воинству в собственной стране.

И ещё одна параллель. Создатель «Стратегикона» утверждает: «Действия на войне подобны охоте»—и последнюю главу трактата целиком посвящает занятиям охотой, усматривая в них разновидность воинских тренировок. И автор «Поучения», перейдя от проповеди к исповеди, значительное место в своём жизнеописании отводит тому, как он «тружахъся ловы дѣя», то есть «трудился, охотясь». Ключевое слово здесь—«трудился»: для князя охота не забава, но работа, которая стоит рядом с ратным трудом и которую не следует перекладывать на плечи подчинённых: «Еже было творити отроку моему, то сам есмь створилъ, дѣла на войнѣ и на ловѣхъ, ночь и день, на зною и на зимѣ, не дая собѣ упокоя». («Что надлежало делать отроку моему, то сам делал—на войне и на охотах, ночью и днём, в жару и стужу, не давая себе покоя».)

Можно ли утверждать, что все эти совпадения случайны, что Владимир Всеволодич, будучи опытным военачальником, сам сформулировал означенные правила и советы, независимо от предшественников? Логичнее допустить его знакомство с ними.

Известна эрудиция Владимира Мономаха. Образцами для его «Поучения» послужили назидательные сочинения, переведённые к тому времени на церковнославянский язык и вошедшие в «Изборник Святослава» 1076 года: Слово св. Василия

Стратегикон Маврикия (пер. В. В. Кучмы)	*Поучение Владимира Мономаха* (пер. Д. С. Лихачёва)
«Пусть направляет слово и дела наши Пресвятая Троица, наш Господь и Спаситель — крепкая надежда и защита богоугодных дел… мы советуем стратигу прежде всего иметь заботу о благочестии и справедливости и стремиться посредством этого снискать благоволения Бога, без чего невозможно успешно завершить ни одно начинание… потому что всё находится в Провидении Божием, и это Провидение управляет всеми — вплоть до птиц и рыб…» (с. 60, 62)	«Первое… страх имѣйте Божий в сердци своемъ и милостыню творя неоскудну, то бо есть начатокъ всякому добру… Поистинѣ, дѣти моя, разумѣйте, како ти есть человѣколюбецъ Богъ милостивъ и премилостивъ… Господь нашъ, владѣя и животомъ и смертью, согрѣшенья наша выше главы нашея терпитъ… И ты же птицѣ небесныя умудрены тобою, Господи; егда повелиши, то вспоютъ и человѣкы веселятъ тобе; и егда же не повелиши имъ, языкъ же имѣюще онемѣютъ» (с. 392; 396; 398)
«…стратиг… должен являть всем, кто с ним общается, спокойствие и невозмутимость, скромность и простоту в быту и в одежде, не допускать лести и чрезмерного угодничества в почитании самого себя…» (с. 62)	«Паче всего гордости не имѣйте в сердци и въ умѣ, но рцѣмъ: смертни есмы, днесь живи, а заутра в гробъ…» («Паче же всего гордости не имейте в сердце и в уме, но скажем: смертны мы, сегодня живы, а завтра в гробу…») (с. 398–481)
«Предпринимая необходимые дела, сам стратиг не должен уклоняться от трудов, считая себя выше их, но должен браться за дела и по мере возможности трудиться вместе со стратиотами…»; «Следует вести умеренный образ жизни, спать немного и ночами хорошо обдумывать всё необходимое…» (с. 146)	«На войну вышедъ, не лѣнитеся, не зрите на воеводы; ни питью, ни ѣденью не лагодите, ни спанью…» («На войну выйдя, не ленитесь, не полагайтесь на воевод; ни питью, ни еде не предавайтесь, ни спанью…») (с. 400–401)
«…не следует оставлять свой войсковой лагерь незащищённым, и один только ров не обеспечит его достаточную безопасность, но необходимо иметь и патрули» (с. 149) «Стратиг, не берущий ничего на веру, защищён на войне более надёжно»; «Изнеженный стратиг губителен для всего войска» (с. 154)	«…сторожѣ сами наряживайте, и ночь, отвсюду нарядивше около вои, тоже лязите, а рано встанѣте; а оружья не снимайте с себе вборзѣ, не розглядавше лѣнощами, внезапу бо человѣкъ погыбаетъ…» («сторожей сами наряживайте, и ночью, расставив стражу со всех сторон, около воинов ложитесь, а вставайте рано; а оружие не снимайте с себя второпях, не оглядевшись по лености, внезапно ведь человек погибает…») (с. 400–401)
Из главы под названием «В каком порядке должно совершать войско марш в собственной земле, если враги не угрожают»: «Во время марша всего войска его должен вести стратиг, предшествуемый почётным эскортом… Следует оберегать возделанные места, не совершать по ним переход и ограждать налогоплательщиков от ущерба» (с. 83)	«Куда же ходяще путемъ по своимъ землямъ, не дайте пакости дѣяти отрокомъ, ни своимъ, ни чюжимъ, ни в селѣхъ, ни в житѣхъ, да не кляти вас начнутъ…» («Куда бы вы ни держали путь по своим землям, не давайте отрокам причинять вред ни своим, ни чужим, ни сёлам, ни посевам, чтобы не стали проклинать вас…») (с. 400–401)

Великого «како подобает человеку быти», Поучение «некоего отца к сыну», Поучение Ксенофонта «к сынома своима», «Наставление Исихии, пресвитера Иерусалимского». При составлении «Поучения» Мономах использовал богослужебные и богословские тексты: Псалтирь, Прологи, Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского, Палею толковую, Постную триодь. Некоторые исследователи добавляют к этому списку Пророчества Исаии, Поучение Иоанна Златоуста, «Слово о законе и благодати» Иллариона. На замысел и содержание сочинения русского князя могли также повлиять произведения византийских и западноевропейских властителей, вероятно, доступные ему на языке оригинала: «Поучение сыну византийского императора Василия», приписываемое патриарху Фотию; труд Константина Багрянородного «Об управлении империей»; «Наставление» французского короля Людовика Святого сыну Филиппу; апокрифическое поучение англосаксонского короля Альфреда и сочинение «Faeder Larcwidas» («Отцовские поучения») — англосаксонское произведение начала VIII века, сохранившееся в библиотеке последнего англосаксонского короля Гарольда II, дочь которого стала женой Владимира Мономаха.

Зная, насколько широк был круг чтения русского князя, можно заключить, что параллели в его наставлении сыновьям и в тексте византийского «Стратегикона» неслучайны. Иначе говоря, «список литературы», использованной автором

«Поучения», должен быть расширен как минимум на одну позицию.

Нет никаких свидетельств о существовании средневековых переложений на русский язык трактата Маврикия, сочинений его последователей. Скорее всего, таких переводов не было. Но трудно усомниться в том, что Владимир Мономах читал по-гречески. В «Поучении» говорится, что его отец, Всеволод Ярославич, знал пять языков. Какие — Владимир Всеволодич не сообщает, однако более чем вероятно, что в их число входил греческий, ведь первой женою Всеволода Ярославича и матерью Владимира была ромейка, по официальной родословной Мономашичей — дочь византийского императора Константина IX Мономаха. Именно с нею мог попасть на Русь XI века список «Стратегикона», именно она могла научить сына греческой грамоте.

Означает ли сказанное, что только с этого времени полководцы сравнительно молодой державы начали осваивать наследие тех, кто совершенствовал искусство войны на протяжении многих столетий? Конечно, нет. Но об этом поговорим чуть позже, а сейчас отметим, что наследие было в известной степени общим. Целый ряд предписаний «Стратегикона» базируется на опыте столкновений византийцев с «варварами», которым посвящена отдельная часть (11-я книга) трактата. И самая обширная в ней глава — о древних славянах. В них автор видит серьёзного противника, владеющего тактикой борьбы, которую Маврикий именует «разбойной жизнью», а позднейшие теоретики назовут партизанской войной: «Племена склавов и антов одинаковы и по образу жизни, и по нравам; будучи свободолюбивыми, они никоим образом не склонны ни стать рабами, ни повиноваться, особенно в собственной земле… Ведя разбойную жизнь, они предпочитают совершать нападения на своих врагов в местах лесистых, узких и обрывистых. С выгодой для себя пользуются засадами, внезапными нападениями и хитростями, ночью и днём, выдумывая многочисленные уловки». Из предшествующих разделов трактата следует, что немало подобных хитростей взяла на вооружение византийская армия.

«Стратегикон Маврикия» аккумулировал боевой опыт многих народов и племён. В их числе — наши предки, не оставившие о той поре собственных письменных свидетельств.

Был ли знаменитый военный трактат в походной библиотеке Владимира Всеволодича? Знал ли он греческий в такой степени, чтобы читать насыщенный специальной терминологией «Стратегикон» самостоятельно? На эти вопросы ответа нет, но то, что воинские наставления Мономаха текстуально не совпадают с аналогичными предписаниями Маврикия, а даются русским князем в сжатом, почти афористичном виде, можно объяснить следующим образом: автор «Поучения» приводил их, не имея под рукой первоисточника. Впрочем, и не нуждался в нём: сведения, почерпнутые в древнем трактате, и навыки, обретённые в походах и сражениях, прочно слились в памяти полководца.

«Поучение» Мономаха сохранилось в единственном экземпляре — в составе Лаврентьевского летописного списка 1377 года. Логично предположить, что в стране с относительно высоким уровнем грамотности населения и правящей династией, не чуждой учёности, подобные наставления оставляли потомкам и другие князья; но им повезло гораздо меньше: их сочинения бесследно исчезли.

Богатство, что дороже золота

Проникновение военных знаний из Византии на Русь лишь отчасти связано с передачей книжной грамоты. Были и другие пути. Во-первых, заимствование опыта противника в вооружённых конфликтах с ним. Имеются в виду походы киевских князей на Царьград: Дира и Аскольда — в 860 году, Олега — в 906–907 годах, Игоря — в 941-м и 944-м; война Святослава 968–971 годов; морской поход русского ладейного флота под началом Владимира, сына Ярослава Мудрого, в 1043-м; неудачная борьба за «города на Дунае» Владимира Мономаха в 1116-м и некоторые другие экспедиции. Во-вторых, активное военное сотрудничество. В 950–980-х годах в имперской армии служили русские пехотинцы; в византийских войнах XI века участвовала наёмная дружина варягов и росов: в 1047 и 1064 годах — против сицилийских норманнов, в 1050-м — против печенегов на землях Фракии и Македонии, в 1053 и 1074 годах — против сельджуков в Грузии, а в 1057-м и 1071-м — против них же в Армении; есть сведения о русских наёмниках в Империи и в XII веке.

Добравшиеся до дому отставники-ветераны не берегли в кубышках ромейское золото, но хранили в памяти усвоенные в Империи приёмы строя и ведения боевых действий. Характерно, что именно с XI столетия отмечаются качественные перемены в построении русской рати: основным боевым порядком становится не сплошная «стена», как прежде, а так называемый «полчный ряд». Он составляется из нескольких полков, приведённых на поле битвы князьями земель, в которых эти полки были собраны. Строит объединённое войско и управляет им в сражении старший князь.

При всём отличии социально-политического устройства Руси от Византии, здесь просматривается определённая аналогия с организацией ромейской армии с начала VII по конец XI веков, когда территория Империи была разделена на военно-административные округа (фемы), и каждый такой округ формировал из свободных

налогоплательщиков—военнообязанных крестьян-землевладельцев—своё ополчение, начальником которого был стратиг, обладавший у себя в округе всей полнотой гражданской и военной власти. (Примерно с конца XI века подобные полномочия получает в русском городе и «тянущих» к нему сёлах тысяцкий—гражданский управитель и воевода в одном лице, назначаемый князем из числа знатнейших бояр.)

Таким образом, и византийское фемное войско, и русское ополчение составляли не просто соотечественники, но земляки, проникнутые чувством взаимовыручки; лично свободные и в то же время связанные друг с другом общностью судеб собственники—люди, которым было что терять в случае поражения. Ядро обеих армий составляли профессиональные войска (в той или иной степени наёмные): в Византии—императорская гвардия, на Руси—княжеская дружина.

На этом сходство заканчивалось: Византия и при фемном строе, и после его замены феодальным институтом проний продолжала оставаться единой державой, а Киевская Русь к середине XII века распалась на ряд соперничающих земель, которые, в свою очередь, начали дробиться на уделы. (Трагическим результатом подобного соперничества, а именно спора за контроль над Новгородом, и стало разорение Киева коалицией одиннадцати князей, которую организовал «суздальский самовластец» Андрей Боголюбский.) Но при внешней угрозе внутренние распри отступали на второй план, и дружины удельных владетелей, усиленные народным ополчением, собирались под руку старшего князя не затем, чтобы «наказать» его непокорного родича, но чтобы прогнать чужака.

Классическим становится трёхчастное построение—центр и два фланга. Знаменитая русская триада: посередине—«чело», обычно это пешая рать из ополченцев—«воев», с топорами, луками и сулицами (короткими метательными копьями); по краям—«крылья», конные отряды дружинников, в начищенных до блеска «бронях», с длинными копьями, щитами и мечами (позже—саблями). Со временем боевой порядок усложняется, обретает глубину—войско выстраивается в две линии. Первую линию образует передовой полк (реже—два полка: сторожевой и передовой); вторая линия имеет уже знакомую нам трёхчастную структуру: в центре—«большой полк», на флангах—«полк правой руки» и «полк левой руки». В особый отряд выделяются воины-пехотинцы, вооружённые луками. Они размещаются перед первой линией и встречают противника градом стрел, а затем отходят к передовому полку. (Позже, в пору возвышения Москвы, в построении войска начинает использоваться и третья линия: её образует «засадный полк»—резерв.)

В средневековой Западной Европе «на полях сражений господствовал одиночный бой тяжеловооружённых рыцарей, а пехота играла роль живого препятствия, обречённого на истребление». Орденские государства, чьи организаторы во время крестовых походов имели контакты с византийцами и кое-чему у них научились, противопоставили русскому строю усечённый клин, именуемый в народе «свиньёй», однако и с этим бронированным тараном успешно справлялся стойкий и маневренный «полчный ряд».

Если искать аналоги русскому боевому порядку, без ромейского наследия не обойтись. Построение войска как минимум в две линии, с использованием при этом резерва,—одно из важнейших требований византийской военной науки, глубоко усвоившей греко-римский опыт: «В необходимости создавать двойную линию строя и выделять резерв… сочетаются, как мы полагаем, и здравый смысл, и многие необходимые основания…» Даже если противник «обратит в бегство первую линию…— поясняет Маврикий,—в результате столкновения строй врагов нарушит свой порядок и окажется деформированным перед лицом упорядоченной силы, то есть перед второй линией. И вообще необходимо иметь в виду, что двойной строй пригоден не только против равных боевых сил… но и против превосходящих». Другое важное предписание византийского полководца—стараться по возможности воевать на территории противника: «Если стратиг полагает, что он имеет достаточно сил для борьбы с врагами, то ему следует стремиться вести войну лучше на чужой земле, чем на своей. Те, которые сражаются на чужой земле, находятся в состоянии большего напряжения, и борьба там ведётся не за одни только интересы государства, для чего воины и предназначены, но и за их собственное спасение», ведь там для них нет укрытий на случай опасности. Именно такой, наступательной, стала стратегия Владимира Мономаха в отношении половцев: объединёнными силами нескольких русских земель он предпринял три успешных похода в глубь половецких степей и отбросил основные силы кочевников далеко на юг.

Разумеется, одинаковые цели в аналогичных обстоятельствах диктуют схожее поведение. Известный византолог Г. Г. Литаврин отмечал: «…в историографии, как правило, говорится об огромной роли византийской цивилизации, о её широком и плодотворном культурном влиянии, но редко отмечается одно не менее важное обстоятельство: Византия на юге, а Древняя Русь на севере стояли как форпосты Европы в борьбе с кочевниками. Защищённые с запада океаном, а с востока Византией и Русью, страны Западной и Центральной Европы имели, несомненно, лучшие условия для развития. Их войны друг с другом

и внутренние феодальные раздоры требовали несравненно меньшей затраты сил, чем отражение непрерывного натиска восточных племён и народов».

Сходные задачи, решаемые Византией и Русью, предопределили известную близость их военно-политических стратегий. Но, оценивая путь, пройденный отечественной воинской наукой, нельзя исключать и прямую преемственность в ней византийского боевого опыта.

Вопрос о том, насколько были освоены русскими полководцами военные знания византийцев, остаётся во многом открытым. Е. А. Разин, автор «Истории военного искусства» — книги, признаваемой классической, отвечал на него с предельной осторожностью: «Интерес к военной культуре Византии проявляли киевские князья…» Личность одного из них мы попытались установить. Это, по нашему убеждению, Владимир Всеволодич Мономах.

Мудрая осторожность предводителя

Всеволод Юрьевич, внук Владимира Мономаха, несомненно, читал его «Поучение». Как военачальник он многое почерпнул и в ходе общих операций с опытными полководцами. Таковым, например, являлся воевода Борис Жидиславич, вместе с которым Всеволод в 1169 году брал Киев, а восемь лет спустя, когда былой соратник оказался в стане противников, одержал победу теперь уже над ним. Но всё это случилось после «цареградской ссылки». А в Константинополе дотошный школяр наверняка познакомился с византийскими наставлениями по военному делу. Что подтверждает эту версию? Да хотя бы тактическое мастерство молодого Юрьевича. В знаменитом сражении на реке Колокше в 1176 году умелым манёвром поделённого на две части войска он обратил в бегство рать рязанского князя Глеба и, преследуя отступающих, полонил его самого, «и сына его Романа, и шюрина его Мстислава Ростиславича, и дружину его всю изъимаша, и думци его извяза все, и Бориса Жидиславича, и Ольстина, и Дедилца, и инех множество, а поганые Половци избиша оружьем». Летописец, рассказывая о победе Всеволода, перечисляет имена виднейших бояр в стане соперников владимирского князя, но не называет ни одного воеводы в его собственном ополчении. И это не упущение историографа. Опытных советников («думцев»), испытанных воевод не было в ту пору у Всеволода, ведь боярская верхушка Ростово-Суздальской земли выступила против него. Оперативное руководство войском осуществлял он сам.

Когда кровопролитие становилось неизбежным, Всеволод действовал твёрдо и тактически грамотно. Стратегическим же императивом нашего героя было стремление разрешать конфликты мирным путём, а если не удавалось, то хотя бы с наименьшим уроном в рядах сторонников. Современный его биограф подчеркивает: «Стиль Всеволода-полководца заметно отличался от запальчивой рыцарственности южных князей. Следует признать, что вершиной его полководческой карьеры являются не блестящие победы на Липице и Колокше, а стояние на Влене, когда огромную коалиционную рать удалось отразить с минимумом потерь…»

Маврикий о мудрой осторожности предводителя войска выразился так: «Хороший вождь никогда не вступит с противником в генеральное сражение, если только его не вынудят к этому серьёзные обстоятельства времени или дел». Всеволод Юрьевич был хорошим вождём.

Встретившись с Мануилом в детстве, он наверняка попал под обаяние этой незаурядной личности. Но, став правителем, во внешних проявлениях власти не пытался походить на василевса. Церковные дела решал с киевским митрополитом — не обращался через его голову к патриарху в Константинополь. Не ставил в пропагандистских произведениях своё имя рядом с именем императора, не назывался, подобно ему, «царём». Достоинство власти в одной из крупнейших русских земель Всеволод утверждал, не прибегая к иностранным заимствованиям: он закрепил за владимирскими правителями исконно славянский титул «великий князь», прежде применявшийся на Руси (причём спорадически) лишь к тем властителям, кто занимал «златокованый» стол в Киеве. Младший Юрьевич, как мы помним, тоже на нём побывал — в 1173 году, по настоянию брата Михалка, недолго, пять недель, пока не свергли соперники. Шаткий киевский трон, далеко не такой блестящий, как прежде, Всеволода не прельщал. Он сидел на владимирском престоле — и просидел на нём ни много ни мало тридцать шесть годков. А всего княжил — тридцать семь лет. (Любопытное совпадение: тот же властный срок отвела судьба Мануилу!)

Всеволод Юрьевич был суверенным правителем, но «самовластцем» не стал: по важнейшим вопросам держал совет с дружиной и горожанами. Незадолго до смерти он собрал представителей всех городов Владимиро-Суздальской земли для утверждения своей воли: передать великое княжение не первенцу Константину, который ослушался отца и великого князя, а следующему за ним по старшинству сыну — Юрию.

Вновь напрашивается параллель с историей Византии: василевс Иоанн II Комнин тоже избрал преемником не старшего сына. Изложив прочувствованную речь смертельно больного императора, Никита Хониат сообщает: «Когда царь Иоанн сказал это, собрание, рыдавшее при его словах, охотно признало Мануила царём, как бы он избран был по жребию или по большинству голосов.

Затем отец обратился с словом к сыну и, давши ему полезные советы, украсил его царскою диадемою и облёк в порфиру. Потом и собравшиеся по приказанию войска провозгласили Мануила римским императором, причём каждый из главных военачальников стоял отдельно с своим отрядом и ясным голосом говорил приветствие новому царю. Наконец предложено было Евангелие, и пред ним все поклялись в преданности и верности Мануилу. Распорядителем и вместе виновником всего этого был великий доместик. Он думал чрез это обессилить и подавить стремление честолюбцев к возвышению и мятежу и не допустить партиям содействовать некоторым из царских родственников, которые, выставляя на вид старшинство лет, как нечто великое и достойное уважения, и преувеличивая своё царское родство, считали самих себя более достойными царствовать».

Когда Всеволод III утверждал преемника великокняжеской власти, держал ли он в памяти этот сюжет? Вероятно, да. Жизнеописания ромейских царей ученик византийской школы, конечно, знал.

И всё же строго параллельных сюжетных линий в истории не бывает. Решение Иоанна передать власть младшему сыну поддержала армия. Фактически — она возвела Мануила на трон. Но основу армии составляло уже не прежнее ополчение крестьян-стратиотов, а войско феодалов-прониаров, новой землевладельческой и военной знати, на которую опирались Комнины. Ядром этого феодального ополчения была тяжёлая кавалерия — катафракты. По опыту, вооружению и роли в битве им примерно соответствовала русская боярская конница — «старейшая дружина». В Ростово-Суздальской земле боярское ополчение (так называемая «Ростовская тысяча», куда входила и знать Владимира-на-Клязьме) выступило против младшего Юрьевича. Поддержали Всеволода младшие дружинники и дворовые люди, «дворяне». Главной же опорой княжеской власти стали незнатные жители «мизинных» городов.

Всеволод Юрьевич правил в земле с вечевым укладом. Здесь недостаточно было поддержки князя дружиной. Решающий голос имели свободные горожане — купцы, ремесленники, мелкие землевладельцы. Недаром съезд бояр и выборных людей от всех городов земли, утвердивший указ владимирского великого князя о престолонаследии, многие историки считают прообразом будущих земских соборов, а некоторые политологи — одним из первых в Европе парламентов.

Ранее мы уже отмечали, что Всеволод III получил власть по воле народа. Теперь подчеркнём: передал эту власть наследникам — также в согласии с народом.

Искусству воевать школяр Дмитрий, сын «тавроскифского архонта» Георгия, учился у византийцев. «Науку побеждать» преподали князю Всеволоду Юрьевичу его сограждане. Вооружённый, умеющий постоять за себя народ.

Глава 4

Полотно для ангельских одежд

В похвальном слове князю Всеволоду Юрьевичу летописец отмечает его ратную доблесть и грозную славу, которую он снискал, «много мужствовавъ и дерзость имѣвъ на бранех показавъ»: от одного только имени его «трепетаху вся страны». Не менее впечатляющий образ воителя, заступника отчей земли рисует «Слово о полку Игореве»: «Великый княже Всеволоде! Не мыслию ти прелетѣти издалеча отня злата стола поблюсти? Ты бо можеши Волгу веслы раскропити, а Донъ шеломы выльяти!» За эпической гиперболой — реальная мощь водимых Всеволодом полков, многочисленность речных судов, которые он использовал для транспортировки войска к месту боевых действий. Но только ли с этой целью «расплёскивали» Волгу вёслами русские гребцы?

«Створи миръ…»

Падение Хазарского каганата во второй половине 960-х годов открыло Киевскому государству дорогу в Поволжье. По сообщению арабского географа Ибн-Хаукаля, русы (очевидно, войско Святослава) в ходе наступления на Итиль, столицу Хазарии, «опустошили» Булгар, «маленький городок», служивший пристанью для поволжских и прикаспийских стран. «Повесть временных лет» умалчивает о разорении Булгара, не подтверждают это известие и другие источники, в том числе археологические. Некоторые исследователи считают, что Ибн-Хаукаль попросту перепутал Булгарию на Волге с Болгарией на Дунае. Как бы то ни было, волжский поход Святослава, увенчавшийся разгромом хазар, способствовал возвышению булгарского государства.

Первое летописное упоминание о военном столкновении Киевской Руси с Волжской Булгарией, вызванном, предположительно, отпадением от Киева к булгарам Вятичской земли, относится к 985 году. Согласно ПВЛ, князь Владимир Святославич «побѣди Болгары», но, видя, что имеет дело не с ополчением «лапотников», а с хорошо экипированным войском (дядя и наставник Владимира, воевода Добрыня обратил внимание князя на то, что пленные были все в сапогах), требовать дани не стал, а «створи миръ… съ Болгары», закреплённый взаимной клятвой.

Разумеется, история с сапогами не более чем притча, образно поясняющая, что добровольное партнёрство может быть выгоднее силового. Действительной причиной сговорчивости Владимира некоторые историки считают вмешательство Хорезма — союзника единоверной Булгарии.

«Владимир не был готов к большой войне, которая могла разразиться при втягивании в события исламских стран… Скорее всего, выход был найден с помощью самих болгар. Именно они предложили Владимиру заключение мира на приемлемых для Руси условиях…»

Отношения между двумя странами установились тесные: булгары даже пытались обратить Владимира и его окружение в свою веру. И хотя киевский князь предпочёл исламу христианство греческого обряда, это не повлияло на добрые отношения двух соседей: в 1006 году Киевская Русь и Волжская Булгария заключили торговый договор, по которому булгарские купцы получали право свободно торговать на Волге и Оке, а русские — в Булгарии. Между Киевом и Булгаром был проложен караванный путь.

Мир, который Владимир «створи… съ Болгары», не нарушался более столетия. И вот под 1088 годом русский летописец без каких-либо комментариев записал: «В се же лѣто възяша Болгаре Муромъ». По сведениям В. Н. Татищева, источники которых до нас не дошли, этот набег явился ответом на грабежи и убийства булгарских купцов на Волге и Оке, так как управы на разбойников со стороны местных властей не нашлось и возмещать ущерб никто не собирался. Позже Муром был отвоёван и отстроен, но в 1103 году на него напал мордовский князь — вероятно, вассал Булгарии.

Следующее столкновение русских и булгар случилось в 1107 году — в пределах Ростово-Суздальской земли: «Приидоша Болгаре ратью на Суждаль и обьступиша градъ и много зла сътвориша, воююща села и погосты и убивающе многыхъ отъ крестьянъ…» Согласно летописи, лишь чудом, по милости Божьей, удалось отстоять город.

Союзниками русских в противостоянии булгарам выступили половцы. В 1117 году тесть Юрия Долгорукого Аепа и другие половецкие ханы отправились на мирные переговоры в Булгарию, но были там отравлены. Война стала неизбежна. В 1120 году Юрий Долгорукий «ходи на Болгары по Волзѣ, и взя полонъ многъ, и полкы ихъ побѣди…». Тогда же, очевидно, был заключён мирный договор между Волжской Булгарией и Ростово-Суздальской землёй. Это подтверждается летописным сообщением о результатах другого похода, который организовал век спустя владимирский великий князь Юрий Всеволодич: потерпевшие поражение булгары трижды направляли к нему послов, и лишь на третий раз он «приятъ молбу их и взя дары у них, и управившяся по прежнему миру, яко же было при отци его Всеволодѣ и при дѣдѣ его Георгии Володимеричи» — Юрии Долгоруком.

Новый булгарский набег упомянут летописцем под 1152 годом: «Того же лѣта приидоша Болгаре по Волзѣ къ Ярославлю безъ вѣсти и оступиша градокъ в лодияхъ, бѣ бо малъ градокъ, и изнемогаху людие въ градѣ гладомъ и жажею…» К счастью, одному юноше удалось выбраться из осаждённого Ярославля. Он поспешил за помощью в Ростов, «Ростовци же пришедша побѣдиша Болгары».

Чем были вызваны эти набеги? Основной причиной считается начавшееся проникновение русских в мордовские земли, которое напрямую затрагивало интересы претендовавших на них булгар. Не стоит забывать и о том, что издревле важным товаром, который булгарские торговцы везли на южные рынки, были славянские рабы. Раньше невольников поставляли варяги, но потом они обрусели и крестились, а христианам не дозволялось продавать единоверцев на чужбину. Дефицит в живом товаре по мере сил устраняли язычники-половцы. Не возвращались домой без добычи и булгарские рати.

От обороны к наступлению Владимиро-Суздальская земля перешла при Андрее Боголюбском. Походы на булгар в 1164 и 1172 годах продемонстрировали силу владимирского князя и его решимость на действенные меры. Но Андрей Юрьевич был убит в результате заговора (в котором Тверская летопись усматривает и булгарский след), в Северо-Восточной Руси разгорелась кровавая усобица, и поволжский сосед, несомненно, воспользовался этим…

Как правило, походы русских во владения булгар являлись ответом на их предшествующие набеги. Несколько раз владимиро-суздальские князья приводили в Булгарию значительные по тем временам войсковые соединения, но ограничивались лишь разорением нескольких городков и сёл или вовсе только осадой столицы. Какую же цель преследовали эти «странные» походы на Волгу?

Длинноволокнистая культура

На суглинках северной России произрастает скромная трава с длинным стеблем, узкими листочками и небольшими голубыми цветками. Стебель легко расщепить вдоль волокон, но трудно порвать. А если волокна выделить из стебля и свить, получится нить, прочная и долговечная. Это растение — лён обыкновенный, он же прядильный, он же лён-долгунец.

В Европе обрабатывать лён умели ещё в каменном веке — не менее десяти тысяч лет назад. Высочайшего уровня развития достигло льноткачество в долине Нила: в Египте периода Древнего царства мумии оборачивали в льняные пелены, сотканные из пряжи тоньше человеческого волоса. Неурожай льна египтяне и их соседи считали страшной бедой: в числе библейских казней египетских назван град, уничтоживший, помимо прочего, посевы этой культуры: «…и был град и огонь между градом… Лён и ячмень были побиты, потому что ячмень выколосился, а лён осеменился…»

(Исх. 9:24,31). Обеззараживающие свойства льна вызывали к нему особое, благоговейное отношение. Льняные одеяния носили древнегреческие жрецы и иудейские священники. Плащаницею — тонким льняным полотном — обвили перед погребением тело Христа (Матф. 27:59, Мар. 15:46, Лук. 23:53). В Откровении Иоанна представлены «семь Ангелов… облечённые в чистую и светлую льняную одежду» (Откр. 15:6).

В x–xiii веках лён распространился на просторах Руси. О его значении в хозяйстве и в быту, о популярности льняного полотна, различных изделий изо льна (бельё, верхнее платье) говорит, к примеру, тот факт, что в уставе Ярослава Мудрого 1051–1053 годов наказания за их воровство прописаны отдельными статьями: «Аще мужь иметъ красти конопли, или ленъ, или всякое жито, митрополиту у вине, съ княземъ на полы; такожь и жонка, аще иметь то красти. Аще мужъ крадетъ белые порты, или полотна, или портища поневы, такожъ и жонка, митрополиту у вине, съ княземъ на полы».

В русских городах и сёлах льняное платье носили все: из полотна погрубее — простолюдины, из ткани потоньше — знать. Желанным был северный лён и в странах Востока. Есть сведения, что русским льняным полотном индийские вельможи одаривали своих приближённых, что в Дели на дорогие льняные одежды из Руси был большой спрос, что некий русский князь, предположительно с севера, в 1221 году преподнёс лён в качестве почётного дара турецкому эмиру в Крыму.

Но льняная пряжа использовалась не только для изготовления обычных тканей. Обвитая битью — тончайшей сплющенной проволокой из золота или серебра с позолотой, льняная нить становилась поистине золотой. Позже для основы стали использовать шёлк, но в описываемое время применялся только лён. Золототканое полотно и вышивка золотом приносили немалые прибыли тем, кто их продавал. Не оставались в накладе и поставщики отборной льняной пряжи.

Основными производителями длинноволокнистого льна в Европе были северные и северо-восточные русские земли: Новгородская, Псковская, Смоленская, Суздальская. В страны Востока лён шёл по Волжскому торговому пути, значительная часть которого проходила по владениям владимиро-суздальских князей. В результате Залесская Русь получала доход не только от реализации собственного льна, но и от транзита или перепродажи соседского продукта. Разумеется, торговали не только льном. Вывозили меха и кожу, воск и мёд, рыбу и рыбий клей, соль и моржовую кость, древесные заготовки для луков и клинки для мечей, другие продукты местных и отдалённых промыслов. И всё же главной, поистине золотой статьёй экспорта долгие годы оставался лён. Так что не будет большим преувеличением, если по аналогии с Великим шёлковым путём мы назовём Волжский торговый путь «Великим льняным».

Цена вопроса

Источники свидетельствуют, что купечество во Владимиро-Суздальской Руси обладало значительным политическим влиянием. В перечне тех, кто предъявлял свои требования владимирскому князю, участвовал в торжественных церемониях княжеского двора, сразу после бояр идут купцы. Вот, например, сообщение владимирского летописца под 6685 (1176) годом: «…на третии день бысть мятежь великъ в градѣ Володимери, всташа бояре и купци, рекуще: княже, мы тобѣ добра хочемъ и за тя головы своѣ складываемъ, а ты держишь ворогы своѣ просты… любо и казни, любо слепи, али даи нам». Вот запись 6714 (1206) года: «Всеволодъ великыи князь посла сына своего Костянтина Новугороду Великому на княженье… и проводиша и вся братья его с честью великою до рѣкы Шедашкы: Геор[г]ии, Володимеръ, Іоанн, и вси бояре отця его, и вси купци, и вси посли братья его…» Как видим, свои купцы названы перед послами других князей, родичей Всеволода.

В городском ополчении купечество стояло тоже не на последнем месте. Торговля, особенно международная, была сопряжена с постоянным риском для имущества и жизни. Поэтому купцы владели оружием подчас не хуже бояр — профессиональных воинов. Собственно говоря, и становились купцами нередко дружинники, сколотившие первоначальный капитал на княжеской службе.

Князь и его окружение получали от развития торговли немалую выгоду. Косвенную: богатела земля — рос авторитет правительства. И прямую: торговые и промысловые люди облагались налогами («скорыми повинностями») и платили пошлины («мыто»), а особо доверенные гости (крупные купцы, торговавшие в других городах и странах) сбывали излишки доходов князя и покупали предметы роскоши для его семьи и двора. Как и во все времена, интересы торгово-промышленного капитала смыкались в ту пору с интересами власти, и держатели русских земель, заключая договоры с другими государями, старались, помимо прочего, обеспечить безопасность купцов и беспошлинный провоз товаров.

После падения Хазарского каганата срединную часть Волжского торгового пути контролировала Булгария. Договор Владимира Святославича с булгарским эмиром содержал статьи о взаимовыгодной торговле. В то же время у Киевского государства были и другие пути для выхода на восточные рынки. Суздальская Русь могла воспользоваться лишь одним путём на Восток — Волжским. Правда, выбор и здесь имелся: либо сбывать задёшево лён, меха и воск булгарским купцам, которые затем

перепродадут их втридорога в южных землях, либо добиться беспрепятственного провоза товаров через территорию Булгарии. Судя по тому, как богатела эта страна (в конце X века её столица — «маленький городок» Булгар, а со второй половины XII столетия — «Великий город» Биляр, превышавший размерами Киев и Новгород), суздальским экспортёрам чаще приходилось довольствоваться первой возможностью. Но второй вариант использовался тоже. Это подтверждают прямые свидетельства персидских и арабских источников о русских судах на Каспии в XI и XIII веках, и с этим хорошо согласуется относящееся к XII веку известие, что между каспийскими портами Саксином (в устье Волги) и Амулем (на южном побережье Каспия) ежегодно курсировали до четырёхсот больших морских кораблей, в числе которых, по мнению ряда историков, были и русские.

Набеги булгар и подвластной им мордвы на залесские города и сёла наносили ущерб не только земледельцам, чьи посевы жгли, а работников угоняли в полон, не только ремесленникам, чьи мастерские разоряли, но и купцам. Страдала экономика края в целом. О какой торговле в условиях войны, о каком транзите товаров через территорию противника могла идти речь? Предпринимая восточные экспедиции, владимирские князья преследовали неизменные цели: во-первых, отбить у булгар желание совершать новые набеги на русские земли; во-вторых, там, где это было возможно, взять Волжский путь под свой контроль (для чего в удобных для обороны урочищах ставились бревенчатые крепости: сначала — Городец на крутом волжском берегу, между двух глубоких оврагов; затем — Нижний Новгород на стрелке Оки и Волги); там же, где сделать этого не удавалось, — обеспечить мирный торговый обмен с соседями.

Выйдя победителем из междоусобной борьбы, разгоревшейся в Северо-Восточной Руси после убийства Андрея Боголюбского, и наведя порядок внутри страны, владимирский князь Всеволод Юрьевич смог сосредоточиться на «волжском вопросе». Готовясь к масштабной кампании, он обратился за помощью к своим сторонникам, в том числе к великому киевскому князю Святославу Всеволодичу, с которым недавно замирился и как союзник рассчитывал на его поддержку. Об этой просьбе северного соседа коротко сообщает киевский летописец: «В лѣто 6690 (1182)… Всеволодъ Гюрговичь князь Соуждальскии заратися с Болгары и присла ко Святославоу помочи прося…» Содержание письма известно в изложении В. Н. Татищева; источник им не назван; в какой степени пересказ соответствует оригиналу, неясно.

Форма послания, на первый взгляд, отвечает дипломатическим нормам той эпохи. Святослав для Всеволода по возрасту и номинальному положению «старейший» — «отец», по княжескому роду — «брат», отсюда традиционное двойное обращение и общая тональность почтительной просьбы: «Отче и брате! Се болгары сосѣди наши, народъ безбожный, суть вельми богаты и сильны, нынѣ пришедъ по Волгѣ и Окѣ, якоже и коньми, съ великимъ войскомъ, многие города разорили, людей безчисленно плѣнили, которымъ единъ противиться не могу… Половцовъ же призывать не хочу, ибо они съ болгары языкъ и родъ единъ, опасаюся отъ нихъ измѣны, ниже хочу, чтобъ они, за моею саблею плѣнниковъ набравъ, ко вреду Руской земли усиливались; того ради прошу у тебя, да пришлешь ко мнѣ въ помочь достаточное войско, сколько самъ заблагоразсудишь, а когда тебѣ на иновѣрныхъ помочь потребна, я не облѣнюся самъ идти, или всѣ мои войска тебѣ послать».

Содержание письма вызывает вопросы. Если ущерб, нанесённый булгарами «ныне», то есть около 1182 года, был так велик, то почему этот набег не упомянут в дошедших до нас летописях? Если Всеволод не доверял половцам и опасался их усиления за его счёт, то с какой стати уже на следующий год он принял под своё верховное командование половецкую конницу? Да и суждение о том, что альянс с половцами может их усилить «ко вреду Руской земли», как называли в ту пору область Среднего Поднепровья, то есть владения Киева, Чернигова и Переяславля Южного, обращённое к бывшему черниговскому, а ныне киевскому князю, который сам в прежние годы трижды призывал половцев себе на помощь, вряд ли является дипломатичным. Наконец, зачем суверенный и сильный князь, которого через три года начнут официально титуловать «великим», предлагает другому князю, пусть и «старейшему», но реально более слабому, столь неравноценный обмен вспомогательными войсками? В действительности Всеволод вовсе уклонится в дальнейшем от помощи Святославу против половцев. Содержание письма явно домыслено В. Н. Татищевым или его источником, причём «реконструированный» текст, при кажущейся его учтивости, звучит весьма язвительно в отношении обоих князей.

Так или иначе, обращение Всеволода к Святославу имело место, и помощь была оказана: киевский князь послал в поход на булгар своего сына Владимира с черниговской дружиной.

Всего же под руку Всеволода Юрьевича встали восемь князей, и в 1183 году к месту сбора войск прибыли полки пяти земель: Владимиро-Суздальской, Черниговской, Смоленской, Рязанской, Муромской. Да из Переяславля Южного, родовой вотчины Мономашичей, привёл свою небольшую рать Изяслав, племянник Всеволода…

За поруганные святыни

Вооружённые конфликты знает история взаимоотношений многих стран и земель. Воевали друг

с другом народы, населяющие эти территории ныне; враждовали этносы, которые им предшествовали. И если противники исповедовали разные вероучения, то война, развязанная по вполне «мирским» причинам, приобретала в их сознании религиозную окраску, ведь борьба за интересы родного края, за жизнь и свободу соотечественников была одновременно отстаиванием своей веры и её святынь, причём победа расценивалась как Божья милость, а поражение — как наказание за грехи. Вот только не надо путать причину и следствие: в подобных столкновениях межконфессиональные противоречия сторон часто лишь подливали масла в огонь, но не были источником возгорания.

Особая статья — конфликты, запалом для которых действительно стала религиозная нетерпимость. Таково движение крестоносцев. В изначальной основе своей оно явилось ответом латинского Запада на притеснения христиан и поругание их святынь в странах Ближнего Востока.

Влияние крестовых походов на образ мышления европейца столь велико, что их название стало нарицательным и употребляется ныне в самом широком значении. В переносном смысле так именуют любую кампанию, направленную против идеологически чуждого сообщества, строя, образа жизни. Скажем, пресловутый «крестовый поход» Запада на СССР. Или новация недавней публицистики — «крестовый поход на Запад» (подразумеваются совместные усилия православных и католиков по «новой евангелизации» бездуховной Европы).

Но и в прямом, буквальном, терминологическом значении это понятие употребляется иногда чересчур вольно. Например, статью об упомянутой выше военной экспедиции в Булгарию современный историк ничтоже сумняшеся назвал так: «1183 год: Крестовый поход на Волге». Насколько правомерно подобное определение? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить, какими мотивами руководствовалось и что реально представляло собой крестовое движение. Начать придётся издалека…

Иисуса Христа распяли и погребли за стенами Иерусалима. Последователи Учителя почитали это место и сохранили память о нём после того, как город в 70 году разрушили римляне. Шесть десятилетий спустя император Публий Элий Траян Адриан основал на развалинах иудейской столицы римскую военную колонию. Ей дали название Элия Капитолина — по родовому имени цезаря и в честь Капитолийской триады богов: Юпитера, Юноны, Минервы. На рукотворном холме, скрывшем и Голгофу, и пещеру, где был погребён Иисус, расположились языческие сооружения: капище Венеры и статуя Юпитера. Лишь с утверждением христианства городу вернули его библейское имя, а поруганным новозаветным святыням — поклонение.

Учение Христа стало господствующей религией в Римской империи при Константине Великом. Его мать, царственная Елена, совершила в 326 году паломничество в Иерусалим. Организованные ею раскопки на насыпном холме, в предполагаемых местах распятия и погребения Иисуса, увенчались успехом: в пещере, где, по преданию, был погребён и воскрес Спаситель, она обрела Животворящий Крест, четыре гвоздя и титло «INRI» (сокращение латинской фразы: «IESVS NAZARENVS REX IVDAEORVM» — «Иисус Назарянин, Царь Иудейский»).

Считается, что именно св. равноапостольная Елена заложила первую церковь Гроба Господня. В состав храмового комплекса также вошли предполагаемое местонахождение Голгофы и место обретения Животворящего Креста. Величественный ансамбль Иерусалимского храма Воскресения Христова (каноническое название комплекса) строили без малого десять лет и освятили 13 сентября 335 года (в память о знаменательном событии Православная Церковь отмечает в этот день праздник Обновления храма). Обряд освящения совершился в присутствии императора Константина и представителей духовенства из разных стран. В храм потянулись паломники…

Храмовый комплекс просуществовал в первозданном виде без малого три столетия. За это время разделилась Римская империя, пал первый Рим и возвысился второй — Константинополь. В 602 году в Византии произошёл переворот: взбунтовались войска за Дунаем; император Маврикий, реформатор армии, выдающийся полководец и политик, был свергнут и убит мятежниками; трон занял их ставленник Фока, бывший сотник, провозглашённый главнокомандующим. Персидский «царь Хозрой» — шахиншах Хосров II Парвиз, обретший власть при помощи Маврикия ценой значительных территориальных уступок Византии, получил легитимный предлог для разрыва мира с империей: месть за своего покровителя. Началась многолетняя война, успешная для персов. В 610 году бездарный и жестокий правитель Фока был низложен и казнён; новый василевс Ираклий дважды предлагал Хосрову мир — и дважды получил отказ. Персы наступали, захватывали имперские владения; наконец в 614 году взяли Иерусалим. Жителей частью перебили, частью обратили в рабство, Животворящий Крест отослали шахиншаху, город предали огню. Сооружения храма при этом сильно пострадали, но вскоре были восстановлены, причём значительную долю средств на реконструкцию выделила жена «царя Хозроя» христианка Мария, по некоторым сведениям — дочь Маврикия. После свержения и убийства Хосрова в 628 году захваченные им у Византии земли вновь отошли к Империи; вернулся на прежнее место и Крест Господень.

В те же самые годы уроженец Мекки Мохаммед утверждал на землях Аравии новое вероучение… Ко времени смерти пророка в 632 году ислам распространился почти на весь Аравийский полуостров. Созданный Мохаммедом и наследниками его власти Арабский халифат начал наступательную борьбу с Византией и Персией. В 637 году халиф Омар (Умар ибн аль-Хаттаб) привёл армию под стены Иерусалима. Дабы избежать резни и разора, подобных тем, что прежде учинили персы, иерусалимский патриарх Софроний приказал сдать город. Благодаря этому храм Гроба Господня и другие святыни Иерусалима уцелели. Договор, заключённый Омаром и Софронием, неоднократно подтверждался их преемниками.

Христианские и мусульманские общины мирно сосуществовали в Палестине около четырёх столетий, пережив распад единого халифата и смену нескольких египетских династий, власть которых распространялась на Святую Землю. Но в начале XI века египетский халиф Аль-Хаким из династии Фатимидов, проводя реформы, столкнулся с недовольством рядовых налогоплательщиков-мусульман и перевёл его на иноверцев. Гонения на христиан вылились в жестокие расправы. Земли христианских монастырей были конфискованы, многие церкви разорены.

Пострадал и храм Воскресения Христова. По одним источникам, его разрушили полностью; по другим сведениям, в руины была обращена одна из красивейших построек храмового комплекса — Великая церковь, сложенная в форме базилики. После таинственного исчезновения Аль-Хакима в 1021 году его сын и преемник Захир прекратил преследование христиан и позволил византийским властям, в обмен на открытие мечети в Константинополе, провести восстановительные работы в Иерусалиме. Но прежнего великолепия храмовый ансамбль не достиг.

Очередные горестные известия пришли в Европу в 1071 году. Турки-сельджуки разбили при Манцикерте византийскую армию, возглавлявший её император Роман IV Диоген попал в плен. За короткий промежуток времени Империя утратила почти все свои владения в Малой Азии. У Фатимидского халифата, государства арабов-шиитов, враждебные им сунниты-сельджуки отвоевали Сирию и Палестину. Новая власть обложила христиан Иерусалима непомерными податями, ограничила их права, ужесточила контроль над христианскими святынями, творила беззакония в отношении паломников.

Вооружённые пилигримы

Притеснители христиан на Святой Земле были слишком сильны, чтобы противостоять им могло одно государство. Авторитетом, достаточным для сплочения разноплеменного европейского воинства, обладала церковь. Но имела ли она моральное право, вопреки библейскому «не убий», призывать прихожан к вооружённому насилию? Ещё в IV веке на этот вопрос ответил Августин Блаженный — своим учением о праведных и неправедных войнах. Праведная война преследует справедливые цели, объявляется и ведётся законным правителем, участие в ней рассматривается как акт правосудия, вершители которого обретают вечное спасение. В конце XI века появилось новое понятие: «священная война». Цель её — распространение и защита христианства, объявляет и ведёт такую войну духовный лидер христианского мира. Автор концепции — папа Григорий VII, идейный вдохновитель и провозвестник крестовых походов, первый из которых был объявлен спустя десять лет после его смерти.

Внешним стимулом к решительным действиям явились письма византийского императора Алексея I Комнина, адресованные западноевропейским властителям и датируемые 1090–1091 годами. Он просил поддержать Византию в борьбе с турками-сельджуками, которые к тому времени захватили значительную часть имперских владений и вместе со своими союзниками печенегами обложили Константинополь. Помощи от Запада Алексей не дождался, выручили василевса нанятые им половцы, разгромившие печенегов, но его послания пригодились.

В 1095 году в южно-французском городе Клермоне папа Урбан II выступил с проповедью, где призвал единоверцев поднять оружие за муки «братьев, проживающих на Востоке», за поруганные церкви. Сохранились пересказы этой речи. Согласно одному из них, римский первосвященник сослался на «важное известие» «из града Константинополя», то есть от византийского императора. Обращался папа к французскому рыцарству, но призыв услышали во всех христианских странах. В 1096 году начался первый крестовый поход.

Участники этой и последующих экспедиций крестоносцами не назывались. Они считали себя пилигримами, а своё движение в Святую Землю — паломничеством. Их этнический состав был довольно пёстр, основу армий составляли выходцы из Франции, Англии, Германии, итальянских городов-государств. Больше всего было французов, поэтому на Востоке, вслед за Византией, пришедших с Запада «варваров» назвали франками. (Позднее так же стали именовать оседавших в Палестине европейцев западные авторы.) Термины «крестоносцы», «крестовые походы» появились позже и происходят от обычая вооружённых пилигримов нашивать на свои плащи матерчатые кресты. (Надо ли уточнять, что эти одежды были отнюдь не белые, как орденские одеяния позднейших рыцарей-крестоносцев?)

В 1098 году франки овладели Эдессой и основали одноимённое графство. Следом возникло княжество Антиохия. Воспользовавшись поражениями сельджуков, Иерусалим заняли войска Фатимидского халифата, но ненадолго: в 1099 году город взяли крестоносцы и сделали столицей Иерусалимского королевства. Шестью годами позже образовалось графство Триполи.

Вот как расценивает эти события американский историк Томас Ф. Мэдден: «По любому счёту, I Крестовый поход был предприятием крайне рискованным. Не было ни общего руководства, ни цепочки субординации, ни снабженческой структуры, ни сколько-нибудь детально разработанной стратегии. Были лишь тысячи воинов, преданных общему делу… Многие из них погибли — одни в бою, другие от голода и болезней. Кампания была тяжёлая, всё время казалось, что она на грани провала. Но — чудо! — крестоносцы победили…»

Страшной была эта победа. Лишения на пути в Палестину, огромные потери, понесённые при штурме её крепостей, крайне ожесточили крестоносное воинство. При захвате Иерусалима особым неистовством отличались рыцари из Северной Франции и прирейнской Германии. Пленников они, как правило, не брали. Их жертвами становились не только защитники города, но и оказавшиеся на пути мирные жители: мусульмане, иудеи, караимы. Не поздоровилось бы и «схизматикам» — православным грекам и сирийцам, попадись они под горячую руку «латинянам», но прихожан восточных церквей спасло то, что городские власти, узнав о приближении крестоносцев, изгнали христиан из Иерусалима. Потом они, разумеется, вернулись… в разграбленные «освободителями» дома.

Трудно сказать, в каком виде застали франки храм Воскресения Господня. Видимо, в плачевном. Так или иначе, в 1130 году началась реконструкция, и к середине XII века храмовый комплекс был отстроен — в торжественном романском стиле.

Сельджуки не смирились с потерями в Малой Азии и захватили в 1144 году Эдесское графство. На помощь единоверцам поспешили новые отряды рыцарей и пехотинцев. Второй крестовый поход состоялся в 1147–1149 годах и окончился по ряду причин провалом. В частности, изменилась политика Византии. Опасаясь неконтролируемой армады франков под стенами Константинополя, который служил им перевалочным пунктом на пути в Малую Азию и Палестину, император Мануил I Комнин заключил с сельджуками «пакт о ненападении». Позже католическая Европа припомнила «греческим еретикам», помимо прочего, и это «отступничество»…

Сколь бы приземлёнными ни были побудительные мотивы многих крестоносцев — каждого в отдельности (обретение земельных владений, богатства и власти, совершение воинских подвигов, бегство от наказания и т. п.), вместе они достигли декларированных высоких целей: вырвали Святую Землю из рук мусульман, защитили и обустроили Гроб Господень.

…Наверное, грехи тех, кто создавал христианские государства на Ближнем Востоке, — грехи, так и не искупленные, несмотря на обещание папы, — замаливали потомки пришельцев, мирные люди, для которых эти земли были уже родными. И Провидение послало им не столь кровожадного, как их предки, мстителя. В 1187 году знаменитый Саладин (Салах ад-Дин Юсуф ибн-Айюб), султан Египта и Сирии, разгромил в битве при Хаттине объединённую армию христиан, захватил большинство прибрежных городов и осадил Иерусалим. Немногочисленные защитники города доблестно оборонялись, но силы были слишком неравны, и франки договорились об условиях сдачи. Всем христианам, включая воинов-крестоносцев, сохранялась жизнь и давалось право покинуть Иерусалим со своим имуществом, уплатив подушную пошлину: за мужчину — десять динаров, за женщину — пять, за ребёнка — два. На выкуп бедняков выделили средства военно-монашеские ордена госпитальеров и тамплиеров. Те, кто заплатил за свободу сам или был выкуплен из плена, ушли в Тир, за его прочные стены. Для шестнадцати тысяч неимущих не нашлось денег, и, согласно договору, победители увели их в рабство. Церкви были обращены в мечети. Храм Воскресения поруганию не подвергся. Часть христиан предпочла остаться в Иерусалиме. Этот выбор сделали в основном прихожане восточных церквей, за долгие века научившиеся уживаться с мусульманами.

На утрату Святого города Европа ответила третьим крестовым походом. Самый талантливый и последовательный из его руководителей, английский король Ричард Львиное Сердце сумел отвоевать средиземноморское побережье, но до Иерусалима не дошёл. Договор, который он заключил с Саладином, обеспечивал относительный мир в Палестине и неприкосновенность направляющихся к святыням паломников-христиан. Разумеется, уже безоружных.

Последовали новые крестовые походы, но в целом они закончились неудачей. К исходу XIII столетия последние очаги сопротивления крестоносцев на Святой Земле были подавлены.

Из Палестины… в Прибалтику

Сказано: «По плодам их узнаете их» (Мф. 7:16). Обильными, но терпкими плодами одарили мир крестовые походы.

Их яркое, но недолговечное достижение: создание христианских государств на Ближнем Востоке. Их «побочный» эффект для Запада: обогащение итальянских морских республик, ставших очагами

торгового капитализма; централизация власти в «латинских» странах за счёт оттока наиболее мятежной части знати; культурные заимствования с Востока и более широкий взгляд на мир; а в перспективе — Ренессанс и открытие Нового Света. Их непредвиденные последствия для Востока: ускорение консолидации ислама под знаменем войны с «неверными»; падение форпоста Европы — Византии и возвышение на бывших её территориях Османского султаната; вытеснение христиан из Передней Азии — колыбели христианства; а в отдалённом итоге — принятие Русской державой имперского долга защитницы Православия.

С крестоносцами у православных особые счёты. Были рыцари — союзники Византии, крёстной матери Руси, защитники общих для всех христиан святынь. Под 1190 годом киевский летописец с явным сочувствием откликнулся на гибель Фридриха Барбароссы и множества его соратников: «В то же лѣто иде цесарь Немѣцкыи со всею своею землею битися за Гроб Господень… Сии же Нѣмци яко мученици святии прольяша кровь свою за Христа со цесари своими…» Но были и другие крестоносцы — разорители Константинополя, участники нашествий на Русь.

Выше мы говорили о крестовых походах в узком, изначальном смысле. Со временем значение термина расширилось. Сегодня исследователи этого феномена придерживаются двух основных позиций. «Традиционалисты» считают крестовыми только те походы, которые были направлены на отвоевание или защиту Святой Земли и её реликвий. «Плюралисты» принимают во внимание не географию, но характер кампаний. Если военная экспедиция, отправлявшаяся отнюдь не на Ближний Восток и вовсе не против мусульман, вдохновлялась и руководилась Папой Римским, а её участники получали привилегии при организации кампании и отпущение грехов по её завершении, как и их братья в Святой Земле, то такую экспедицию тоже следует считать крестовым походом. Именно так многие историки расценивают военные действия в Прибалтике, которые вели в XIII веке Орден меченосцев (он же Ливонский) и поглотивший его затем Тевтонский орден («родившийся» в Палестине, но «пригодившийся» папству в Восточной Европе). Эти крестовые походы непосредственно затрагивали интересы русских земель: Полоцкой, Псковской, Новгородской и других. В 1240 году крестоносцы захватили Изборск и Псков, вторглись во владения Новгорода.

В объединённом войске новгородского князя Александра Ярославича против ливонских рыцарей-крестоносцев выступали и суздальские ратники — прямые наследники тех дружинников и ополченцев, кто шестью десятилетиями раньше ходил на булгар под водительством его деда Всеволода Юрьевича. Не думали победители прибалтийского рыцарства, что на одну доску с крестоносцами поставят восемь веков спустя их сородичей, православных воинов. Да и современный житель среднерусских равнин до недавних пор не догадывался, что его отдалённые предки, выступая против немирных соседей — мусульман-булгар, совершали тем самым… «крестовый поход». Вот уж действительно: крещёный — значит, «крестоносец»!

Молодечество и геройство

Есть основания полагать, что коалиционные войска под общим командованием владимирского князя Всеволода Большое Гнездо шли в Булгарию отнюдь не для захвата её территорий. Это была прежде всего демонстрация силы.

Суверенитет государства подтверждается системой договоров с другими субъектами международного права. К 1183 году у Владимиро-Суздальской земли нет серьёзных противоречий с южными, северными и западными соседями. В Муроме княжит верный Всеволоду Владимир Юрьевич, в совместных боях доказавший свою преданность. В рязанских уделах сидят покорные владимирскому князю сыновья Глеба Ростиславича, который в 1176 году выступил на стороне своего шурина Мстислава против Всеволода, но был им разбит, пленён и умер в темнице. В 1182 году новгородский стол занимает Мономашич Ярослав Владимирович, свояк и подручник Всеволода. В том же году свойственником и союзником владимирского правителя становится его недавний (и, к счастью, недолгий) противник Святослав Всеволодич, в прошлом черниговский, а ныне киевский князь: за его младшего сына Мстислава Всеволод Юрьевич отдаёт своячeницу — младшую сестру жены. В Чернигове в это время правит родной брат Святослава Всеволодича Ярослав, в Новгороде Северском — их двоюродный брат Игорь Святославич (герой «Слова о полку Игореве»). В Переяславле Южном сидит Владимир Глебович — племянник Всеволода, сын его единокровного брата Глеба Юрьевича, покровителя в годы изгнания. Как видим, значительная часть Южной Руси управляется сторонниками правителя Руси Владимирской. Наконец, на западе, в Смоленске, княжит Давыд Ростиславич — также союзник Всеволода.

Нет сомнений, что уже в начале 1180-х годов Всеволод Юрьевич — авторитетный властитель, с которым считаются как ближние, так и дальние соседи. Он во многом обезопасил свою державу от внешних угроз: в сопредельных землях правят его сторонники, будь то дружественные ему суверены или его собственные вассалы. Эта стратегия проверена временем. Как поступали римские императоры в начале новой эры? Как выстраивали внешнюю политику хитроумные византийские василевсы? От враждебного, «варварского» мира

они старались отгородиться кольцом союзных и полузависимых государств. Очень похоже организует окружающее пространство молодой выпускник цареградской школы…

Но всё же безопасность неполна, на востоке кольцо разорвано: не погашен затяжной конфликт с Волжской Булгарией. И в поход к её столице выступают под началом Всеволода не только его полки, но и рати почти всех его союзников. Нет лишь новгородцев: то ли их решили не ждать, то ли посчитали, что эффект от их участия не перекроет затрат на транспортировку войска к месту сбора. (Обычно походы совершались в зимний период, когда замерзали болота, а реки становились ледовыми дорогами, но эта экспедиция использовала водный путь.)

От устья Оки, где соединились части коалиции, флотилия Всеволода спустилась Волгой до устья реки Цевцы. Здесь, у острова Исады, князь оставил суда — насады и галеи. Для их охраны он отрядил белоозерский полк под началом воеводы Фомы Лазковича, а сам с основными войсками двинулся к Биляру, «Великому городу» русских летописей. Вскоре к рати Всеволода присоединилась половецкая конница, которую вёл некий булгарский бий, оппозиционный верховной власти эмира (междоусобицы в ту пору сотрясали не только Русь, и не только русские князья привлекали кочевников к своим разборкам). Приведя новоявленных союзников к присяге, «приде князь к городу… Наряди полки, а самъ поча думати с дружиною».

Итак, развернув войска в боевой порядок, Всеволод собирает военный совет, чтобы обсудить план дальнейших действий. В это время пеший отряд осаждённых выходит за городскую стену под прикрытием наспех сооружаемого внешнего укрепления — тына, называвшегося в ту пору оплотом, или плотом. Племянник Всеволода с небольшим конным отрядом пытается прорваться к открытым воротам: «Изяславъ же Глѣбовичь внукъ Юргевъ доспевъ с дружиною, возма копье, потъче къ плоту, кдѣ бяху пѣши вышли из города, твердь оучинивше плотомъ. Он же въгнавъ за плотъ к воротомъ городнымъ, изломи копье, и ту оудариша его стрѣлою сквозѣ бронѣ подъ сердце, и принесоша еле жива в товары» (в стан). К сведениям владимирского сводчика важные детали добавляет киевский летописец: «Болгарѣ жѣ видѣвше множьство Роускихъ полъковъ не могоша стати (построиться для битвы. — *А. В.*), затворишася в городѣ. Князи же молодѣи оуохвотишася ѣхати к воротомъ биться, и тоу застрѣлиша Изяслава Глѣбовича…»

Сопоставляя данные двух источников, можно сделать следующие выводы: 1) булгарское войско не отважилось на полевое сражение с русской ратью и поспешило укрыться в городе; 2) столица Булгарии была недостаточно укреплена: лишь оказавшись в осаде, горожане начали сооружать перед воротами дополнительную «твердь» — бревенчатый частокол; 3) в атаке на городские ворота участвовал не только Изяслав «с дружиною», но ещё кто-то из младших князей: военный совет проходил явно без их участия, и пока старшие товарищи «думали», молодёжь решила «отличиться» в деле. Резюмируем: гарнизон и жители Биляра, лежавшего в отдалении от водных путей, не ожидали, что под стены города явится столь сильный противник, не подготовились как следует к обороне и не смогли бы выдержать долговременной осады. Брать Биляр приступом не было нужды. Это понимал Всеволод, с этим соглашались его многоопытные советники-воеводы. «Князи же молодѣи» не хотели думать об этом…

Не согласованная с действиями других подразделений, атака дружины Изяслава захлебнулась. Осаждённые воодушевились, осаждавшие огорчились, но от плана не отступили. Осада Биляра продолжилась.

Меж тем к острову Исады, к оставленным под охраной белоозерцев судам, приблизились отряды из других булгарских городов: пешие — на ладьях водой, конница — берегом. По сведениям киевского летописца, число нападавших пехотинцев достигало пяти тысяч; о количестве всадников сведений нет. К сожалению, не сообщают летописи и о том, сколько ратников обороняло остров. Попробуем оценить их численность. Известно, что в 1146 году Юрий Долгорукий послал на помощь новгород-северскому князю Святославу Ольговичу «тысящу бронникъ дружины Бѣлозерьскіе». Словом «тысяча» на Руси обозначали не только число 1000, но и войсковую единицу, в составе которой реально могло быть и меньше тысячи «бронников», и больше. Допустим, что в данном случае речь идёт именно о тысяче латников. Вряд ли к 1183 году постоянное войско Белоозера стало больше. Однако, по сведениям Воскресенской летописи, в состав охранного полка на Исадах входили ещё и «вои», то есть ополченцы: «Бѣлозерцы же со прочими своими вои погониша» булгар. Ополчение также не могло быть слишком велико. Новгород, занимавший в ту пору около 120 га, мог выставить войско до пяти тысяч человек, включая княжескую дружину. Белоозеро в конце XII века имело площадь застройки около 50 га, а значит, при той же плотности населения, что и в Новгороде (допущение вполне вероятное), располагало примерно в 2,4 раза меньшим, чем он, населением и, соответственно, мобилизационным ресурсом. Следовательно, общую численность охранного полка можно оценить в две тысячи ратников, и только половина из них — профессиональные воины, «бронники».

Несмотря на более чем двукратный перевес противника, белоозерцы выстояли и перешли

в контратаку. Булгары обратились в бегство, пытались уплыть на небольших речных судах—учанах, но перегруженные лодки опрокидывались, и люди в доспехах тонули: «и тако истопоша боле тысячи ихъ». Кроме того, «полъ третьи тысячѣ», то есть две с половиной тысячи воинов неприятель потерял непосредственно в бою. Таким образом, общие потери булгар в сражении за Исады составили не менее трёх с половиной тысяч человек. Видимо, эта битва произошла незадолго до снятия осады с Биляра, так как о победе белоозерцев Всеволод и его соратники, бывшие с ним, узнали только на обратном пути от стен булгарской столицы.

Принуждение к миру

Н. М. Карамзин полагал, что осаждённый город спасло от сдачи ранение Изяслава, «ибо Великий Князь, видя страдание любимого, мужественного племянника, не мог ревностно заниматься осадою, и в десятый день, заключив мир с жителями, отступил к ладиям...». Объяснение малоубедительное, если учесть тот факт, что двадцатидевятилетний Всеволод Юрьевич—не сентиментальный юноша, но опытный, закалённый в боях полководец, повидавший немало ран и смертей. Но дело даже не в особенностях биографии конкретного военачальника. Не считаться с эмоциями, не поддаваться чувству горечи за страдания боевого товарища, даже близкого, даже родного тебе человека, требовал суровый воинский этикет. Современный историк считает, что «подчёркнуто равнодушное отношение к смерти было составной частью княжеского поведения. Особенно наглядно оно представлено в письме Владимира Мономаха к Олегу Святославичу, там, где говорится о смерти сына Мономаха на поле брани: „Дивно ли, оже мужь оумерлъ в полку ти? Лѣпше суть измерли и роди наши“». Вспомним в этой связи, насколько высок был авторитет Владимира Всеволодича среди его потомков, как стремились ему подражать сыновья и внуки.

Не вызывают сомнений выучка и отвага русских ратников: сравнительно небольшой белоозерский полк наголову разгромил более чем пятитысячное войско неприятеля. Наверняка не хуже были подготовлены и другие полки. И всё же главные силы Всеволода не предпринимают активных действий (самочинная атака Изяслава не в счёт). Владимирский князь явно выжидает. Чего же он ждёт? Того, за чем и пришёл под стены булгарской столицы,—предложения заключить мирный договор, разорванный булгарами в 1152 году и, видимо, так и не возобновлённый впоследствии. Долго ждать не пришлось: «Болгаре выслалися бяху к нему с миромъ» («съ челобитіемъ»—уточняет «Воскресенская летопись»).

Осторожное, продуманное ведение военных действий было в духе Всеволода Юрьевича: насколько возможно, он избегал большой крови, добиваясь грамотным выбором позиций и точечными ударами по уязвимым местам противника нередко большего, чем дало бы ему генеральное сражение. Яркий тому пример—двухнедельное «стояние» в 1180 году войск Всеволода (в составе суздальских, рязанских и муромских полков) против вторгшихся в Суздальскую землю ратей Святослава Всеволодича (в ту пору князя черниговского) и его союзников новгородцев, имевшее место на реке Влене (в которой историки видят реку Велю, приток Дубны): «Соуждалци же стояху на горах, во пропастехъ и ломох, ако же нѣлзи ихъ доити полком Святославлимъ. Всеволожа дроужина хотяхоуть ехати крѣпько на Святослава, Всеволодъ же благосердъ сыи не хотя кровопролитья и не ѣха на нь, и посла Всеволодъ Рязяньскии князи, и вогнаша в товары (в стан.—*А. В.*) Святославле, и потопташа ѣ, а инѣхъ изоимаша, а другие исѣкоша...» Измотанный налётами на свой лагерь, так и не дождавшись решающей битвы, Святослав, опасаясь весенней распутицы, поспешно отступил. Преследовать его не стали, но обоз отбили.

Столь же расчётлив и сдержан Всеволод при осаде Биляра. Если бы не «молодецкая» выходка Изяслава, стоившая ему (и, наверное, не только ему) жизни, да не попытка булгар захватить русскую флотилию, поход 1183 года мог бы окончиться практически бескровно. (Вновь напрашивается параллель с военно-политической стратегией Византийской империи, которая, усмиряя очередного беспокойного соседа, всеми способами старалась избегать масштабных сражений и отнюдь не желала его сокрушить, понимая, что опустевшее место займёт другой, возможно, ещё более опасный.)

И вот эту кампанию, которая вовсе не ставила своей задачей разгром неприятеля и захват его территорий, но представляла собой радикальное средство принуждения к миру, современный автор сравнивает с крестовыми походами, допуская, что «в случае успеха Всеволод намеревался завоевать всю страну, а на её месте создать вассальное христианское княжество...»!

Завоёвывать Волжскую Булгарию никто из русских князей не собирался: ни Всеволод Большое Гнездо, ни его предшественники, ни преемники. Тем более под знаком креста. Правители Владимиро-Суздальской Руси были прагматики: в меру сильный и независимый добрый сосед был им нужнее, нежели слабый, внешне покорный, но затаивший злобу «подручник»...

Итак, договор, заключённый, как мы помним, Юрием Долгоруким, отцом Всеволода, продлён на прежних условиях. Везя водою тело скончавшегося от раны Изяслава, «Всеволодъ възвратися в Володимеръ, а конѣ пусти на Мордву». Княжьи дружины не могли вернуться домой с пустыми руками.

В числе условий договора наверняка была статья, обеспечивающая транзит товаров через владения булгарского эмира. Вопрос: много ли времени понадобилось русским купцам, чтобы воспользоваться этой вновь открывшейся возможностью? Вспомним, какие суда составляли флотилию Всеволода. Лаврентьевская летопись называет их обобщающим термином: «лодьи». Ипатьевская уточняет: «носады и галѣѣ».

По поводу первых особых вопросов не возникает: носа́д, или наса́д (более древняя форма—на́сад)—изобретение отечественное. Это парусно-гребное судно с плоским дном и высоко «насаженными» дощатыми бортами, с круто задранными носом и кормой. Благодаря малой осадке применялось почти на всех речных путях Руси, годилось и для морского плавания. Средневековые насады широко использовались как военно-транспортные суда.

Галея—птица заморская. Или лучше сказать: рыба? Есть версия, что это название происходит от греческого «γαλεώτης» («галеотис»)—«меч-рыба». Начиная с VI века, основной боевой единицей византийского флота был дромон—парусно-гребной корабль с одним или двумя ярусами вёсел и тараном. Прообразами дромона считаются римские суда либурна и бирема. В «Тактике Льва», византийском военном трактате конца IX—начала X веков, греческим термином «γαλαία» (читается «галеа») обозначена одноярусная разновидность дромона—лёгкое и быстроходное судно, предназначавшееся для разведки и патрулирования. На латинском Западе с XI века развивался и совершенствовался двухъярусный преемник дромона, пока не обрёл законченный вид к исходу XIII века. Этот корабль получил известность под именем «galea». В XIII столетии он и остался: одноярусные суда были проще в постройке и управлении, чем двухъярусные, и прототипом военного парусно-гребного корабля последующих веков явился итальянский наследник дромона—судно с одним ярусом вёсел. Его название «galera», вариант латинского «galea» (от греческого «γαλαία»), стало «родовым именем» для всех боевых одноярусных кораблей. Галеры входили в состав военных флотов Европы до середины XIX века.

Чёрное море открывало средиземноморским галеям путь в бассейн Днепра, Азовское—в систему Дона. Но переправлять морские суда по мелководным речным притокам и долгим волокам на Волгу и Оку было накладно. Видимо, галеи умели строить на приволжских верфях. Утверждать, что это умение русские корабелы конца XII века переняли «от генуэзских колонистов, живших тогда на Днепре», некорректно: колонии генуэзцев в Северном Причерноморье появились лишь в XIII–XIV веках. Но, возможно, их торговые суда изредка швартовались в черноморских гаванях и раньше—в последней трети XII века. Одна из статей договора, который заключил в 1169 году с Генуей византийский император Мануил I Комнин, гласит: «Корабли генуэзских купцов имеют право проходить во все земли, кроме России и Матреги, если только его властью не будет туда разрешение». (Под «Россией» греки разумели побережье Азовского моря, «Матрегой» называли Тмутаракань.) Вряд ли подобное разрешение давалось часто: Византия берегла свою монополию на торговлю в Северном Причерноморье. Но познакомиться с итальянскими судами отечественные корабелы имели возможность не только в черноморских портах, но и в Константинополе, в предместье которого обосновались выходцы из Генуи. Так что образцом для русских судостроителей действительно могла стать генуэзская галея. Одноярусная, с одной мачтой и косым («латинским») парусом, или двухъярусная, с двумя мачтами и парусами?—вопросы, которые требуют отдельного рассмотрения.

Исходя из здравого смысла, выскажем предположение, что практичные жители речной страны остановились на варианте с одним ярусом вёсел: главным преимуществом такой галеи была небольшая осадка (полметра—порожняком, до полутора метров—с грузом), что делало это плоскодонное судно пригодным для плавания едва ли не по всем водным путям Руси—от малых притоков до великих рек и морского мелководья (шторм в открытом море плоскодонка с высокой осадкой, естественно, не выдерживала). По крайней мере, во Владимире-на-Клязьме одноярусные галеи швартоваться могли. А ведь считается, что галерный флот в нашем Отечестве создал Пётр I…

Зачем Всеволоду понадобились манёвренные боевые суда? Морских сражений Залесская Русь не вела, а для перевозки грузов, транспортировки ратников и лошадей по рекам вполне хватало привычных насадов, наиболее крупные из которых оснащались не только мачтой с парусом, но и палубой. Мы вправе предположить, что быстроходные галеи предназначались не для речных круизов, а для сопровождения судов, перевозящих товары по Каспийскому морю. Всеволод Юрьевич не сомневался: выгодный мир будет заключён, и продолжением похода на Биляр станет торговая экспедиция на Каспий… Разумеется, это только гипотеза. Но очень естественно вписывается она в контекст доподлинно известных событий. Не владимирские ли галеры пополнили число кораблей, плававших из Саксина в Амуль и обратно?

Тонкости стилистики

Проводимая владимирскими князьями восточная политика оправдалась в исторической перспективе. Продлив в 1229 году мирный договор

с Владимиро-Суздальской землёй, Волжская Булгария смогла сосредоточить все ресурсы для борьбы с татаро-монгольским нашествием. И в течение нескольких лет сковывала значительные силы захватчиков, отсрочив тем самым их натиск на Русь. Немало мусульман-булгар нашли тогда пристанище в православных русских землях. По сведениям В. Н. Татищева, после взятия «Великого города» монголами, «отъ плѣненія Татарскаго многіе Болгары избѣгши, пришли въ Русь, и просили, чтобъ имъ дать мѣсто. Князь Великій Юрій вельми радъ сему былъ, и повелѣлъ ихъ развести по городамъ около Волги и въ другіе». Остаётся только сожалеть, что восстановленные добрососедские отношения между двумя странами не переросли в оборонный альянс. Но причина тут вовсе не в «иноверии» булгар. Даже свои, православные, русские земли не могли сплотиться перед лицом великой угрозы, что уж говорить о союзе с чужой землёй…

Проблема же иноверия была в ту пору совсем не так остра, как представляют некоторые литераторы сегодня. Судите сами. В рассказе владимирского летописца о походе Всеволода семь раз встречается этноним «булгары» и его производные. И только единожды упоминается конфессиональная принадлежность противника, причём не в начале повествования, что было бы логично, а ближе к его концу, при экспрессивном описании контратаки белоозерцев: «…а наши погнаша сѣкуще поганыя Бохмиты».

В этих словах, вопреки мнению тех, кто усматривает в них обидный смысл, нет ничего оценочного. «Бохмиты» — значит магометяне (от имени пророка Мохаммеда, неточно записанного древнерусскими книжниками как Бохмит), а «погаными» (от лат. «paganus» — «сельский, провинциальный») на крещёной Руси называли не только язычников, но и всех иноверцев, и это слово было стилистически нейтрально. Летописец как бы спохватился, что чуть не забыл отдать дань православной книжной традиции…

В том, что процитированный фрагмент предложения — не более чем фигура речи, убеждает и подчёркнуто поэтическое строение фразы, пронизанной внутренними созвучиями: «наши» — «погнаша» — «поганыя». Вспомним знаменитое: «Съ зарания въ пятокъ потопташа поганыя плъкы половецкыя…» Налицо совпадение грамматических структур и сходство художественных приёмов. Владимирский летописец, вероятно, знал «Слово о полку Игореве» и мог воспользоваться стилистической находкой его автора.

…Когда военную экспедицию, затеянную по причинам отнюдь не духовного порядка, называют крестовым походом лишь потому, что в ней участвовали представители христианской цивилизации, а их противники принадлежали к исламскому миру, — это не речевая вольность, не публицистический изыск, но прямая подмена понятий. Небезобидная — как всякое искажение реальности. В общественном сознании сложился далеко не ангельский образ воина-крестоносца, и столь нехитрым приёмом стереотипы восприятия этого образа переносятся на русских ратников.

Андрей Боголюбский и Всеволод Большое Гнездо — современники Фридриха Барбароссы и Ричарда Львиное Сердце. Будучи политиками и полководцами, властители Северо-Восточной Руси тоже не всегда выступают в белых ангельских одеждах — чаще мы их видим в боевых доспехах. И кресты на русских воителях, безусловно, есть — но только нательные. Приписывать же им идеологию вождей крестового движения неправомерно. Никаких религиозных целей русские походы в Булгарию не преследовали, никаких захватов её территории организаторы этих походов не планировали. Имели место военно-торговые предприятия. Военные — потому что для стабилизации обстановки требовалось проявить силу. Торговые — потому что главной задачей было возобновление беспрепятственного провоза товаров. И среди них не в последнюю очередь — тонкой северной пряжи, полотна и платья, в которое с равной охотой наряжались и христиане, и мусульмане.

«Князь не напрасно меч носит…»

Возобновление в 1183 году мирного договора с булгарами — не просто очередная военно-дипломатическая победа Всеволода. По сути, это завершающая стадия легитимации нового статуса владимирского княжения. Объявить о нём предполагалось, вероятно, в следующем году. Но наступивший 1184-й не располагал к торжественным актам: апрельский пожар во Владимире уничтожил едва ли не все городские постройки; сгорели тридцать две церкви; был сильно повреждён и требовал реконструкции белокаменный Успенский собор. Только в мае 1185 года владимирский летописец впервые титулует младшего Юрьевича великим князем. Важен контекст, в котором это делается: после сообщения о грозном небесном явлении — затмении Солнца и в связи с радостным событием — появлением на свет долгожданного наследника Всеволода (прежде в его семье рождались лишь девочки). Эти факты связаны в сознании летописца не только хронологически, недаром запись о них целиком выполнена не чернилами, но киноварью: «В лѣто 6694 месяця мая въ 1-й день на память святаго пророка Иеремия, в середу на вечерни, бы знаменье въ солнци, и морочно бысть велми, яко и звѣзды видѣти, человекомъ въ очью яко зелено бяше, и въ солнци оучинися яко месяцъ, из рогъ его яко угль жаровъ исхожаше: страшно бѣ видѣти человекомъ знаменье Божье. В то же лѣто того же месяца мая въ 18-й день на память святаго мученика Потапья в субботу роди сынъ

оу великаго князя Всеволода, и нарекоша имя ему в святомъ крещении Костянтинъ».

Вот так, ненавязчиво, как бы вскользь, но — красным по белому! — оглашается в официальном документе, каковым является летопись, новый для Всеволода Юрьевича титул: великий князь. Далее практически каждое упоминание имени его сопровождается этим почётным званием. До Всеволода из владимиро-суздальских князей только двое названы в летописи великими, причём в существенно ином контексте: Андрей Боголюбский — посмертно; Михалко Юрьевич — «локально» («...бысть радость велика в Володимери градѣ, видяще оу собе великого князя всея Ростовьскыя земли»). Их отец, Юрий Долгорукий, также записан великим князем, но титулом этим он обязан своему правлению в Киеве.

Важно отметить: великим князем называет Всеволода Юрьевича не только владимирский книжник, но и южнорусский писатель — автор «Слова о полку Игореве», что свидетельствует о признании титула владимиро-суздальского правителя за пределами его державы, причём в сфере влияния недавнего соперника — киевского великого князя.

Тут самое время подчеркнуть, что соглашениям Всеволода с властителями соседних земель предшествовал его «ряд» со своей землёй, с её правоспособным населением. Чего бы добился младший Юрьевич без договора с народом, без поддержки не знатных, но знающих цену себе горожан? Остался бы мелким удельным владетелем или вовсе служилым князем, подручником более сильного правителя.

Вернёмся к похвальному слову Всеволоду, с цитирования которого мы начали главу: «В лѣто 6720 (1212) индикта месяца априля въ 13-й день, на память святаго Мартина папы Римьскаго. Преставися великыи князь Всеволодъ, именовавыи в святомъ крещеньи Дмитрии, сынъ Гюргевъ, благочестиваго князя всея Руси внукъ Володимира Мономаха, княживъ в Суждальстѣи земли лѣт 30 и 7, много мужствовавъ и дерзость имѣвъ на бранех показавъ, украшенъ всѣми добрыми нравы, злыя казня, а добросмысленыя милуя, князь бо не туне мечь носить — в месть злодѣем, а в похвалу добро творящим...» Отмечает летописец и личную скромность князя, который «не взношашеся, ни величашеся о собѣ», и его внимание к нуждам простых людей: Всеволод правил, «судя судъ истиненъ и нелицемѣренъ, не обинуяся лица силных своихъ бояръ, обидящих менших, и роботящих (порабощающих. — *А. В.*) сироты, и насилье творящих».

Высоко оценивая личность и деяния новопреставленного князя, летописец избегает прямых сравнений с его знаменитыми родичами — он делает это косвенно, посредством реминисценций: в посмертном слове о Всеволоде Юрьевиче встречаются явные цитаты из их жизнеописаний. Например, выражения из похвалы Владимиру Мономаху: «оукрашеныи добрыми нравы», «его имене трепетаху вся страны, и по всѣм землям изиде слух его» почти дословно повторяются в адрес Всеволода Большое Гнездо: «украшенъ всѣми добрыми нравы», «сего имени токмо трепетаху вся страны, и по всеи земли изиде слух его».

Одно из ключевых изречений в некрологе Всеволода, восходящее к Иоанну Златоусту, — о мече как атрибуте власти — отсылает читателя к летописному сказанию «О оубьеньи Андрѣевѣ», к тому его фрагменту, где противление легитимной власти квалифицируется как преступление против Бога: «Вѣща бо великыи Златоустець: тѣмже противятся волости, противятся закону Божью, князь бо не туне мечь носить, Божии бо слуга есть». В похвале Всеволоду знаменитая сентенция варьируется: «...князь бо не туне мечь носить — в месть злодѣем, а в похвалу добро творящим». В тексте самого некролога лишь констатируется, что княжий меч — символ правосудия; в контексте же с цитируемым сказанием подразумевается конкретный акт этого правосудия, о котором не упомянули современные событию летописи, но поведали более поздние: Всеволод завершил расследование убийства Андрея, начатое Михалком, и «злодѣевъ, дерзнувшихъ проліяти неповинную кровь брата его... всѣхъ изыска и сугубой казни предаде...». В числе казнённых заговорщиков были бояре Кучковичи, братья жены Андрея Улиты, а согласно преданию — и она сама. Возможно, поэтому составитель Владимирского свода умолчал о розыске и суде над убийцами, но оставил намёк на причастность Всеволода к их наказанию.

Со словесным портретом князя-воителя, поборника справедливости, знаменательно перекликается иконописный образ, который традиция связывает с именем Всеволода Юрьевича. Помните необычную икону Дмитрия Солунского, обретённую в послереволюционном Дмитрове? Ту самую, что датируется концом XII — началом XIII веков и многими считается едва ли не портретом Всеволода, крещённого Дмитрием в честь этого святого. На иконе изображён сидящий на престоле воин в патрицианских одеждах, с полуобнажённым мечом. Он строг и сосредоточен, его ладонь покоится на рукояти. Что предпримет витязь на троне: вынет обоюдоострый клинок из ножен или вложит в них? Вечный вопрос, вечная дилемма власти...

Евсей Цейтлин

Черновик

Из цикла «Откуда и куда»

Наташа Дорошко-Берман прошла по жизни неприкаянно и весело. Когда мы познакомились с ней, я сразу понял: она—из той породы людей, которых называют «искателями истины».

Металась из страны в страну, из города в город, от одного увлечения к другому: изучала йогу, саентологию, магию, соционику, иудаизм (одно время занималась даже в иешиве, готовящей реформистских «раввинов»); на Украине преподавала английский, работала библиотекарем, в эмиграции—как многие—нянчила богатых старух; писала стихи, прозу, песни, картины…

Где бы ни появлялась, сразу обрастала друзьями. Но верно подметила бард Катя Капельникова: в развесёлой шумной стае она держалась особняком. Я тоже думал о ней не раз: одинока, как бывают—естественно и беспечально—одиноки гении.

Наташа умерла в Израиле в последний год прошлого тысячелетия. За несколько месяцев до смерти ей исполнилось сорок восемь лет.

«Повесть несбывшихся надежд»… Так назвала она книгу своих рассказов, которую готовила к печати, боясь не успеть.

Конечно, в названии легко заметить подведение итогов. Легко угадать мысль автора: завтрашний день, суливший так много, уже никогда не наступит.

Ничуть не споря с этим, всё же не сомневаюсь: Наташа успела, смогла реализовать свой поистине особенный дар.

Разумеется, не в том дело, что талант её был столь многогранен (само по себе это нередко не только не помогает творческому движению, но даже мешает: автор суетливо мечется, пытаясь сделать выбор). Как известно, литературный успех коренится в другом: в ракурсе взгляда писателя на мир и человека, в творческой воле автора, в интонации его голоса.

1.

Голос Натальи Дорошко-Берман был на редкость чист. И, может быть, именно это прежде всего притягивало каждого, кто знакомился с её творчеством.

Первая книга Наташи—«Песни»—вышла довольно поздно, в 1991-м. Автору было уже под сорок. Тем не менее не приходилось сомневаться: перед читателем—подлинный лирический дневник, своего рода «молитва души» (Блок).

Вот лишь несколько строк из этого сборника. Лишь одно признание, связанное с тем, что так долго казалось ей «окончательным выбором»:

О родные мои, не зовите меня
В те чужие далёкие страны.
Пусть останусь одна, пусть медвежья страна
Так обнимет меня, что изранит.
. . . .
Пусть сегодня тюрьма, а назавтра сума,
Пусть живу в ожиданье погрома,
Я печали свои выбираю сама,
Я счастливей, я всё-таки дома.

Книга вышла в серии «Старт». Увы, от старта до финиша было совсем близко. Спустя всего десять лет я держал в руках тоненькую рукопись: Наташа составляла её в палате иерусалимского госпиталя.

Я долго думал о том, почему появилась эта рукопись. Скорее всего, автор решил отобрать *самое-самое* из написанного им. Попробовал по-своему реконструировать *путь*… Однако ещё точнее произнести слово *прощание*.

Вот почему старые стихи Наташи, давно ставшие песнями, так органично сосуществуют здесь с новыми, неопубликованными. И горько-понятен их адрес:

Боюсь, что не встречусь с тобою,
Наш день, наш ручей пересох,
И сердце исходит любовью,
Тоски обнажая песок…

Оглядываясь назад, заглядывая в себя, она набрасывает портрет поколения:

…Как мало нам силы дано!
Мы дети оглохшего века,
У нас истрепалась давно
Одежда из плача и смеха.

А вот — совсем о другом. Строки, похожие на прозрения, — они часто приходят к человеку на пороге бытия:

Смерть не точка, она многоточие в звёздном полёте.
Сбросит кожу душа и себя вдруг узнает опять…

Иногда же вдруг кажется, что автор настойчиво повторяет, даже внушает себе:

Не горюй, не прощайся, лишь небом взмахни,
как платочком…

Небольшая рукопись — всего двадцать стихотворений — напомнила мне сложное музыкальное произведение. Древняя, как искусство, тема прощания человека с жизнью здесь, конечно, главная — развивается, достигает апогея, а потом стихает:

…Я, как за иголкою нитка,
За следом повьюсь до конца,
Но бабочка я однодневка,
Моя облетает пыльца.
Прощайте, июньские зори.
Мир снова недвижен и тих,
И гор золотые узоры
Стираются с крыльев моих…

Она, как могла, боролась со смертью — до конца. Однако, перечитывая в эти дни свои стихи, отбирает прежде всего те, где нет сожаления и надрыва. Есть ощущение вечности.

2.

Совсем иначе голос Натальи Дорошко-Берман звучит в прозе. Сюжеты её рассказов, как правило, трагичны. Но автор говорит о своих героях, словно бы отстраняясь от них, зачастую — спокойно, даже с усмешкой.

Разумеется, между её прозой и поэзией нет непроходимой грани (всё дело, повторяю, лишь в ракурсе взгляда на жизнь, в жанре, в интонации). И, задумавшись сейчас о прозе Наташи, я слушаю одну из её песен:

Кружатся, кружатся листья осенние,
Кружатся люди, желая спасения.
Если кружиться, кружиться, кружиться,
То создаётся иллюзия жизни…

Почти вся её проза — об «иллюзии жизни», о бесконечном «кружении», которое человек принимает за суть. Своё предисловие к книге «Повесть несбывшихся надежд» писатель Михаил Хейфец назвал (перефразировав Ахматову): «Одинокий человек на голой земле». Жаль, что не бывает предисловий из одного предложения. В сущности, тут добавить почти нечего.

Конечно, в искусстве любая идея реализуется с помощью художественного приёма. Короткие — порой в несколько страничек — рассказы Наташи похожи на переходы в бесконечном лабиринте. В лабиринте живут люди, для которых часто не существует морали. Они дружат и — спокойно предают друзей. Они создают семьи и — тут же сами, не задумываясь, разрушают их. Кажется, они ищут свой путь, занимаясь с восточными гуру или споря о философах, которых так и не успели прочитать… Но при этом годы тонут в «словах, словах, словах».

Ну а что автор? Да ничего! Автор ироничен и, разумеется, не пытается никого судить. Автор как бы напоминает нам: наивно требовать от писателя быть «учителем жизни». У искусства — другие задачи. И — другой язык. Однако вот парадокс: «страшные» рассказы Наташи после прочтения оставляют ощущение чистоты…

Что же происходит в сознании читателя? Об этом когда-то точно сказал поэт Борис Чичибабин. Он писал, представляя книгу Наташи «Водоворот» (Харьков, 1994): «…Ну вот у меня непроизвольно и вырвалось слово «Бог». Скорее всего, наш автор в Него не верит, но это не имеет никакого значения. По-моему, проза его религиозна в самом высоком смысле этого слова. Она религиозна, потому что показывает, как бессмысленна, беспросветна, жалка и ужасна жизнь без Бога, жизнь, устроенная не по Его мудрой и доброй воле, а по дурацкому, жестокому и несчастному человеческому своеволию».

В ещё большей степени этот *прорыв к вечности* я ощущаю в песнях Наташи. Автор там поднимается над своей судьбой, заранее предвидит и осмысляет её…

3.

…Слушая песни Наташи, я нередко не мог удержаться — тут же писал ей открытки: сначала в Харьков, откуда она так долго не хотела уезжать (точнее — куда так упорно возвращалась), потом — в Израиль. Она отвечала короткими, энергичными письмами. В них не было жалоб, хотя ей становилось всё хуже и уже никто, в том числе сама Наташа, не сомневался в диагнозе: лимфома.

Не пишу о ней воспоминания. Не хочу подробно рассказывать об удивляющем многих сюжете Наташиной жизни, в которой, конечно же, была своя внутренняя, упрямая логика. Всё же вспомню, как мы познакомились. Давно замечено: именно во время первой встречи возникает, может быть, самый точный образ человека.

Осенью девяносто шестого я получил письмо из Иерусалима, от Михаила Хейфеца. Бывший политзэк, он обладает не только даром писателя-историка, но и не менее редким даром обострённо чувствовать чужой талант. Когда-то Хейфец нашёл несколько Наташиных рассказов в редакционном самотёке, а потом опубликовал их в русских газетах Израиля. Так вот, Михаил Хейфец писал мне: сейчас Наташа Дорошко в Чикаго, пожалуйста, поддержите её…

Вскоре мы встретились у нас дома и—долго пили чай. Она рассказывала о себе: о детстве—в Ужгороде, где родилась в семье знаменитого математика Самуила Бермана; о юности—в Харькове; о том, как поёт в метро; как пишет рассказы—мучительно стараясь дистанцироваться от своих героинь, очень похожих на автора.

Она говорила легко, с редкой непринуждённостью и доверчивостью. Но я запомнил её напряжённую осанку. А на лице как-то отдельно друг от друга жили улыбка и совершенно серьёзные, часто—печальные, глаза.

Тот же «оксюморон таланта» (соединение на первый взгляд несоединимого) я потом находил и в прозе Наташи. В подобном сочленении (идёт ли речь об искусстве или о человеке) всегда есть притягивающая и, в сущности, не разгадываемая тайна.

4.

…Еврейский мотив—далеко не самый главный в творчестве Натальи Дорошко-Берман. Но из наших разговоров с Наташей знаю: мотив не был случайным.

Её «еврейские» рассказы часто фантасмагоричны. И это всегда подчёркивает сложный замысел автора.

В рассказе «Сомнамбула» старик-еврей учит идишу встреченную им случайно, в магазине, девушку. Они увлекаются, думают даже о специальных передачах по телевидению. Хотя, кроме них, никто в городе не понимает эту «забытую плачущую гортанную речь». При чём же здесь телевидение? «Видите ли,—жалко объясняет старик,—властям хочется сделать вид, что всё здесь с евреями в порядке. Даже лучше стало. Вот и передачи на еврейском появились. Давайте подыграем им… Давайте тоже сделаем вид, что всё в порядке, а?»

Рассказ «25 февраля» пронизан ожиданием погрома. Ожидание это абсолютно реально (я тоже хорошо помню атмосферу, в которой жили евреи во многих регионах СССР в 1989–1990 годах). Фантасмагоризм же рассказа связан с образом и судьбой героини (между прочим, также совершенно реальной)—«восьмидесятилетней Брони, которая у себя дома за весьма умеренную плату занималась со мной йогой».

Впрочем, иногда мысли и чувства автора ничуть не скрыты. В «Песне без слов», в той же «Сомнамбуле» так явственна нежность повествователя к прошлому своего народа, его культуре—оказывается, всё это живо где-то в подсознании, хотя, казалось, «давно схоронено под пеплом воспоминаний».

5.

…Письма от Наташи приходили всё реже. «…Готовилась не жить, а умирать, и писать как-то было не о чем»,—заметила она однажды.

Но она до конца оставалась творцом, а значит—её боль, её *прощание* становились материалом искусства. Не случайно израильский госпиталь—место действия самых последних рассказов Наташи.

О чём эти рассказы? О смерти и ожидании её. «Ни на солнце, ни на смерть нельзя смотреть в упор»,—заметил когда-то Франсуа Ларошфуко. Понятно, настоящий писатель легко опровергает эти слова. Наталья Дорошко-Берман всматривается в смерть пристально: подчеркну—в *собственную* приближающуюся смерть.

Но сразу уточню и другое. Вот один из лучших рассказов Наташи—«И знала я, что расплачу́сь сторицей…». Нет, это всё же не повествование о физиологии ухода, это не просто новелла о встрече в госпитале мужчины и женщины, которых как магнитом притягивает друг к другу, хотя женщина—на самом краешке жизни. Автора прежде всего занимает тайна кармы и философия смерти.

Весь рассказ—развитие одного (некошерного для евреев) образа. Итак, медбрат, с которым знакомится Валя в госпитале, когда-то выращивал, а потом убивал свиней. И до сих пор пленён мрачной магией перехода от жизни к смерти: «Ты не представляешь себе, что чувствуешь, когда… на твоих глазах душа живого существа отделяется от тела. Это как оргазм, да нет, почище оргазма. Потом уже не можешь без этого. Хочешь ещё и ещё».

А теперь выслушаем героиню. Всмотримся в трансформацию того же образа. «Она давно, чуть ли не с детства, знала, кто она. И все в доме так её и звали: «Свинушок, свинушок»,—и это звучало не оскорбительно, скорее даже ласкательно. Просто и мама, и папа, и сёстры поняли и почувствовали её природу и не бранили её, не осуждали. Мама и сёстры до блеска убирали, натирали квартиру, а ей милее всего был свинюшник…» Речь тут, конечно, не о том, что называют неаккуратностью. Речь—о глубинном, о сути: «Мужчины никогда не сходили по ней с ума. Слишком очевидным для них становилось то, что никакая она не женщина. Ну, пойти с ней в лес, на речку, а дальше что?» Сама героиня открывает это в себе рано: «Но я же знаю, кто я!—оправдывала себя Валя.—А свиньям чаще, чем раз в году, это не требуется». И ещё важно: она «где-то в глубине души всегда знала, что ей суждена короткая жизнь, потому, верно, и стремилась ничем себя не обременять и жить беззаботно и счастливо. Свиньи, наверное, тоже предчувствуют свою гибель, но предпочитают не задумываться, а жить сегодняшним днём».

Сегодняшний день героини—это госпиталь, «у неё серьёзно задеты лёгкие, и никакая химиотерапия ей уже помочь не может».

Она не нуждается в утешении. Она твердит про себя ахматовские строки:

И знала я, что заплачу́ сторицей
В тюрьме, в могиле, в сумасшедшем доме,
Везде, где просыпаться надлежит
Таким, как я…

Расплата? Болезнь не кажется несправедливостью, но всё-таки, всё-таки… Надежда остаётся.

«— Врачи говорят, что спасти меня может только чудо!— взглянула она на свинореза.
— Чудо?— задумался он, и глаза их встретились, и она вздрогнула от его взгляда.
— Мне кажется, я мог бы спасти тебя,— улыбнулся он. <…>

Она не помнила, сколько ждала его. И когда, даже не раздеваясь, он повалился на неё, когда вошёл в неё и задвигался в ней, она еле сдержала крик боли и наслаждения. По его желанию она то взлетала, то падала, то танцевала какой-то немыслимый танец, и ей захотелось сказать: «Я люблю»,— но она не смогла вымолвить ни слова. Её лёгкие издали что-то помимо её воли, и это было хрюканье, натуральное хрюканье. И он услышал этот столь знакомый ему призыв и, напрягшись в немыслимом, давно позабытом экстазе, по самое сердце вонзил в неё свой нож.

И, раскинув руки, она лежала в тени и прохладе. А листва шумела над ней всё глуше и глуше…»

Да, Наташины рассказы о смерти похожи на притчи. Притчей, в сущности, является и новелла «В ожидании Инночки». Притчей о поиске «конечной истины»: она всегда (даже в преддверии смерти) ускользает, прячется от человека— как «прячутся» от героев рассказа витражи Шагала, украшающие госпитальную синагогу.

В том же девяносто шестом, когда мы познакомились, вышла моя книга «Долгие беседы в ожидании счастливой смерти». И Наташа вновь и вновь возвращалась в наших разговорах к этой теме. Думаю, причина её интереса была не только в той же уверенности: «ей суждена короткая жизнь». Как писатель, она не сомневалась: смерть— именно та точка, откуда хорошо открывается «человеческий космос».

Закономерен в этом цикле рассказ «Свидание»— из сборника «Повесть несбывшихся надежд». Сорокапятилетняя женщина умирает в туристическом автобусе по дороге в Варшаву, но— странно— её существование продолжается… Нерв рассказа— это постепенное осознание героиней банальной вроде бы истины: жизнь тела, с которым в течение десятилетий связано было так много страданий, оказывается, столь мало значит! И так трудно сразу войти, полностью погрузиться в свою единственно *подлинную* жизнь… Вот Саша словно со стороны услышала: кто-то вызывает скорую, но «вдруг поймала себя на полном безразличии и к этой женщине, и к её смерти». А потом она исполнит своё давнее желание— разыщет в Варшаве подругу матери, профессора физики тётю Лёлю, которую видела лишь однажды, в детстве. Та давно умерла, но их свидание состоялось.

«Лёля подняла на неё тяжёлые, немигающие глаза.
— Послушайте,— непонятно чего испугавшись, вскочила Саша.— Я должна бежать. Сейчас уже пять, и мой автобус уйдёт, так меня и не дождавшись.
— Твой автобус давно ушёл,— одними губами произнесла тётя Лёля.— Ещё тогда, когда ты ехала в Варшаву, ещё тогда…
— Что?— вздрогнула Саша.— Что вы хотите этим сказать?
— Ты и сама всё знаешь,— глухо, как из-под земли, отозвалась тётя Лёля.— Ты же сама только что рассказала мне, как это случилось с тобой.
— Но это было не со мной!— схватилась за сердце Саша.— Это была другая, совсем другая женщина. Мы отправили её в морг, а сами…
— Уехали смотреть Варшаву,— расхохоталась тётя Лёля.— Я уже слышала этот бред. И не кричи ты так. Всех перебудишь. Лучше устраивайся поудобней, лучше поспи, поспи с дороги».

Смерти нет?— переспросит читатель. Скажем иначе: мы видим в рассказе жизнь человеческой души, для которой не существует барьеров времени и пространства.

6.

Повторюсь: Наташа не раз говорила мне об автобиографичности своих рассказов. Я не верил: слишком невероятными, жёсткими, нередко «жестокими» были эти истории. Однако мама и братья Наташи подтвердили сейчас: да, почти всё— так или иначе— происходило с ней самой.

Писала урывками, торопливо— в перерывах между поездками, встречами, захватившими её очередными увлечениями. Должно быть, считала: её писания— только черновик, к нему рано или поздно придётся ещё вернуться. Символично: все прижизненные книжки Наташи изданы небрежно, полны опечаток, которые— даря свои сборники— она старательно исправляла. (Однажды опечатка вкралась даже на обложку— в фамилию автора.)

Мне кажется теперь: сама жизнь Наташи тоже походила на черновик— не случайно *напоследок* она пыталась многое переосмыслить, переписать набело.

Смерть, как известно, несёт в мир не только боль и утраты: катарсис, которым увенчана трагедия, преобразует хаос бытия. Через год после того, как Наташи не стало, её друзья Инна и Евгений Захаровы выпустили в известном харьковском издательстве «Фолио» прекрасный двухтомник её произведений: стихи, проза, живопись (составитель Михаил Красиков). Здесь-то я и прочитал

страничку из дневника Наташи. Она опять—отстранённо и без иллюзий—пересматривает свою жизнь, фиксирует мысли, которые кажутся ей голосом собственной воли:

«…У тебя нет стремления свить гнездо. У тебя нет стремления к созиданию. У тебя нет дома, ты растворена в пространстве. Растворяйся дальше, это твой путь…

И последнее: ты—тупиковая ветвь своего рода, после тебя не останется ничего. Твоя проза умрёт ещё раньше, чем ты. «Что же мне остаётся в жизни?»—спросишь ты. Только одно: быть счастливой. Ты это умеешь. Это единственное твоё достоинство. Не ищи цели в жизни и её оправдания. Жизнь сама есть и цель, и оправдание, и много больше того.

А теперь признайся: ты счастлива даже здесь, теперь, на больничной койке… Всё, что было,—только краткая остановка на твоём пути. Не пугайся, что Бог покинул тебя. Я, твоя воля, твоя доля,—с тобой».

Не автору судить о судьбе своих книг. Наташа ошибалась и в другом. Бог никогда не покидает нас. Он только отдаляется порой—испытывает человека, как испытывал Иова.

Узнав о смерти Наташи, я подумал: чистая, бессмертная её душа скоро и счастливо соединится с нашим Создателем.

135 лет со дня рождения ∴ Д*и*Н антология

Максимилиан Волошин

Бессмертна жажда муки

● ● ●

Себя покорно предавая сжечь,
Ты в скорбный дол сошла с высот слепою.
Нам тёмной было суждено судьбою
С тобою на престол мучений лечь.

Напрасно обоюдоострый меч,
Смиряя плоть, мы клали меж собою:
Вкусив от мук, пылали мы борьбою
И гасли мы, как пламя пчельных свеч…

Невольник жизни дольней—богомольно
Целую край одежд твоих. Мне больно
С тобой гореть, ещё больней—уйти.

Не мне и не тебе елей разлуки
Излечит раны страстного пути:
Минутна боль—бессмертна жажда муки!

● ● ●

Мы заблудились в этом свете.
Мы в подземельях тёмных. Мы
Один к другому, точно дети,
Прижались робко в безднах тьмы.

По мёртвым рекам всплески вёсел;
Орфей родную тень зовёт.
И кто-то нас друг к другу бросил,
И кто-то снова оторвёт…

Бессильна скорбь. Беззвучны крики.
Рука горит ещё в руке.
И влажный камень вдалеке
Лепечет имя Эвридики.

● ● ●

Я быть устал среди людей,
Мне слышать стало нестерпимо
Прохожих свист и смех детей…
И я спешу, смущаясь, мимо,
Не подымая головы,
Как будто не привыкло ухо
К враждебным ропотам молвы,
Растущим за спиною глухо;
Как будто грязи едкий вкус
И камня подлого укус
Мне не привычны, не знакомы…
Но чувствовать ещё больней
Любви незримые надломы
И медленный отлив друзей,
Когда, нездешним сном томима,
Дичась, безлюдеет душа
И замирает не дыша
Клубами жертвенного дыма.

● ● ●

И день и ночь шумит угрюмо,
И день и ночь на берегу
Я бесконечность стерегу
Средь свиста, грохота и шума.

Когда ж зеркальность тишины
Сулит обманную беспечность,
Сквозит двойная бесконечность
Из отражённой глубины.

Вячеслав Тюрин

Вавилонская молва

* * *

Время неумолимо,
счастье необъяснимо,
существованье мнимо,
верен же только Бог.

Что же нам делать дальше,
дабы избегнуть фальши,
вдаль устремляясь? Даль же
нас застаёт врасплох.

Будучи виноваты,
малость придурковаты,
вскоре займём палаты
жёлтого дома вновь,

где будем жрать баланду
либо собьёмся в банду,
дабы внимать сержанту
Пэпперу. Дабы кровь

мощно играла в теле.
Дабы врачи вспотели,
и на Страстной неделе
нас отпустили вон.

Вон из юдоли скорби.
И мы споём в восторге,
что побывали в морге,
но победили сон.

Сон — не из самых страшных,
бред — не из самых страстных,
хоть и огнеопасных,
если взирать в одну

точку, припоминая,
что была жизнь иная
где-то в начале мая,
только пошла ко дну.

Вспомнишь тут Атлантиду
и затаишь обиду,
не подавая виду,
что удручён весьма

собственною судьбою.
А детвора гурьбою
к снежному склонна бою,
ибо пришла зима.

Вавилонская молва

1.

Дитя трущоб в колготах «Оро Россо»
готова стать игрушкою матроса
всего за несколько монет. И всё же
вам это обойдётся не дороже,
чем напускная вежливость девицы,
с которой невозможно поделиться
последними грошами, потому что
ей нечто человеческое чуждо.

2.

Вот девушка в набедренной повязке:
совсем другое дело, право слово!
Без песни жить не может, как без пляски, —
в том смысле, что физически здорова.
Сучит ногами, схвачена сатиром —
козлобородым юношей, который
известен тем, что ходит по квартирам
и прячется — вот именно — за шторой.
(Либо в шкафу — смотря по обстановке.)
«Послушайте, какой же вы неловкий!
И почему вы дышите неровно,
держа не в той руке пустую вилку?
Не вы конкретно — все вы поголовно
зальёте шар и лезете в бутылку».

3.

Свобода тела, торжество торговли!
Тут ловят кайф, и люди в этой ловле
подпишутся на всё во имя страсти,
кружа в калейдоскопе карнавала.
Достаточно зайти с козырной масти,
чтобы мадам тебя поцеловала.
Достаточно как следует влюбиться,
с цепи сорваться, выйти вон из ряда.
Тут Вавилон — и можно заблудиться,
но публика тем паче будет рада
блуждающей звезде, надрыву скрипок
в оркестре, странствующем одиноко.
Дитя трущоб, не бойся: с нами Стрибог
и старая кремнистая дорога.

Исповедь графомана

Я расскажу тебе—про великий обман…
Марина Цветаева

Пока дышу, спасибо за слова
и музыку. Я тронут до мурашек.
Мифологические существа!
Меня, как постояльца меблирашек,
вы звали за собой на острова

с засохшими колодцами дворов
и каменной пустыней вертограда,
манящего, как лучший из миров.
Волнует душу невская наяда,
и нежно возникают волны строф—

как будто в белом сумраке ночей,
как в оболочке опиумной грёзы,
заключена божественность речей,
классическая горечь туберозы,
и кровь бежит по жилам горячей.

Обманывать—ещё куда ни шло:
совсем другое дело—жить обманом.
Нам в этом смысле страшно повезло:
не то что безобидным обезьянам,
уверенным, что лодка и весло—

одно и то же. Может быть, Улисс,
найдя романтику Тартара куцей,
отправился бы в те края, где рис
выращивают, как велит Конфуций,—
когда бы не намёк из-за кулис.

И вправду, не мешало бы сменить
как тему, так и фон повествованья.
Поёт веретено, сучится нить.
И надобно вести существованье:
чело зачем-то мыслями темнить.

Тебе темно? Попробуй огонька
спросить у незнакомца в переулке.
Возможность обознаться велика.
Нарушив одиночество прогулки,
наткнёшься на чужого двойника.

Свидание дороже благ земных.
Я всем желаю всяческого блага.
Жить, о себе невесть что возомнив,
отучит терпеливая бумага,
отвадит чернозём, её жених.

Хозяин тьмы, чьё ремесло—мосты
над хлябью возводить усильем воли,
не жертвами ли страха высоты—
как дочерьми и сыновьями боли—
осуществляются твои мечты?

Хвала тому, кто время превозмог
и пересёк серебряную Лету.
До нитки, разумеется, промок,
а не кричал: «Карету мне, карету».
Не исчезал из виду под шумок.

И всё такое. Разве что в бреду.
В связи с неизлечимостью болезни.
Чем создавать искомую среду,
способствуя возникновенью песни,
чтобы затем идти на поводу

у ритма, разглагольствуя взахлёб
о том, что попадает в поле зренья,
как инфузория—под микроскоп
или ресница—в глаз венцу творенья,
меняющему срочно гардероб
и ноги делающему туда,
где ветер порасклеивал афиши,—
на рынок отрезвлённого труда.
Клин журавлей, словно знаменье свыше,
укажет направленье. Череда

сопутствующих образов в мозгу
затеяла подобье хоровода.
Без ихней пляски долго не могу
держаться: такова моя природа.
Чего не пожелаю ни врагу,

ни собутыльнику в уютной мгле
вагона с человеками на полках.
(Как будто мало места на земле.)
Не спрашивай, зачем рука в наколках
и почему глаза навеселе.

Блажен, кто в этой призрачной стране
живёт, не понимая ни бельмеса.
Как дятел, восседающий на пне
в окрестностях елабужского леса,
внимая соловьиной болтовне.

Духовная что значит нищета!
Я тоже начинаю задыхаться
(хотя не вижу в этом ни черта
блаженного) и мыслью растекаться
по древу, дым пуская изо рта

в любое время года. Графоман
испытывать не должен дискомфорта
на тот предмет, что пуст его карман:
он существо совсем иного сорта,
чем остальные. Взять его роман

с изящною словесностью. (Читай:
с излишествами в области науки
битья баклуш.) Сослать его в Китай?
Или взять недоумка на поруки?
Не замечать, как звёзды—птичьих стай?

Подумаешь, пернатая лузга
в затепленной лазури поднебесья,
когда вокруг дремучая тайга
Вселенной, потерявшей равновесье,
как страх теряют, если дорога́

распутица житья, где вязнет шаг,
осознавая неизбежность тлена,
когда с похмелья куришь натощак,
в козырном листопаде по колено;
и начинаешь думать о вещах,

как говорится, больше, чем они
того заслуживают. И, в итоге,
теряешь драгоценнейшие дни,
сомнительные возводя чертоги
на чердаке, свободен от родни.

Как северные пальмы, фонари,
тень воскрешая, продлевают вечер.
О чём-нибудь со мной поговори,
читающий листву бульвара ветер,
или ступай ко мне в поводыри.

Я плохо вижу, будучи в хмелю.
Кошачьи свадьбы в гулких подворотнях
внушают отвращенье кобелю.
В кабине для звонков междугородных
я призрака за лацкан треблю.

Над мостовой, искристой от дождя,
клубится мгла, как будто шерсть овечья.
Простёрши длань, стоит кумир вождя,
ползёт туман в сады Замоскворечья,
тоску на пешехода наводя.

Вселенная расторгнутых границ!
Бунтующих темниц орущей плоти!
На месте ветром выдранных страниц
растут другие в том же переплёте.
Что навзничь падать ей, листве, что ниц.

А поутру костлявая метла
под окнами скрипеть начнёт уныло.
Судьба, с чего ты, собственно, взяла,
что существуешь? Хоть бы позвонила.
Давно молчат твои колокола.

Ты пропадала в облаке слюды,
мелькала за решёткою зверинца.
Старьёвщица, ты путала следы,
и я с твоим отсутствием смирился
под шелест окружающей среды.

В конце концов, я к шелесту привык:
он стал для меня чем-то вроде ритма,
гораздого развязывать язык,
когда уже не действует молитва,
последняя надежда горемык.

Я знал тебя в иные времена
как женщину с влюблёнными глазами!
Ты сострадала мне, словно струна,
задета за живое голосами,
от коих остаются имена,

как символ бытия за гранью снов.
Я нынче только песней осчастливлен
и не хочу блуждать в подборе слов.
Пускай прольётся правда щедрым ливнем
и горизонт окажется лилов.

● ● ●

Взгляни на мир и обомлей:
творенье Бога.
Домой идёшь ты от друзей.
Длинна дорога.

Слева раскинулся пустырь,
а справа — сосны.
Идти не надо в монастырь:
всем светит солнце.

Всех согревает. А в пути
твори добро для
того, кому трудней идти
сейчас, сегодня.

Придёшь домой — обнимет мать,
отец обнимет.
Постелют тёплую кровать,
и вот — тоски нет.

Танцует осень за окном,
листвой ворожит.
Ты возвратился в отчий дом,
и не тревожит

тебя уж более печаль
от прожитого,
которого немного жаль.
Так молви слово

о том, как странствовал и пел
на перекрёстках.
Кого-то за душу задел.
О том, как, в звёздах,

тебя касался небосвод
и птахи пели.
Как шёл решительно вперёд,
к родной купели.

Александр Петрушкин

Сорок дней

* * *

По кругу заводному бродит смерть,
Звенит своим невиннейшим скелетом,
Как грусть перед неведомым ответом,
Врываема стаканами на треть.
И Михаилов водят под запретом
Там, где нельзя ни жить, ни умереть.

Какая впалость слов, летящих вверх,
К слепой луне, заснувшей в винограде,
Как будто мы представлены к награде
В батальной сцене, покорившей всех,
И долгими раскатами в наряде
Её кружит, не пропадая, вкусный смех.

Мы разжуём смешливый леденец
И выплюнем его троянской птицей
Туда, куда винившийся птенец
Пытался впасть, чтоб только не разбиться,—
Но, в траектории своей разбив венец,
Он бабушкин клубок распял на спице.

По смерти свитой пролетает круг,
Своим концом ввергая нас в начало.
Какому деревянному причалу
Принадлежал берёзовый наш звук?
С какой же веры или же хорала
Ты воровал одежды верной стук?

По нищей смерти пробежит волна.
Остановись, переверстай мгновенье,
Простив себе неправые гоненья,
Не требуя ни короба, ни дна,
Играя светлокожей своей тенью,
Которая тобою лишь больна.

Пернатый птенчик, ощутив ладонь,
Не покидает, если не обняли.
Мы, верные своей глухой печали,
Граним из пустоты вокруг объём.
И смерть, с которой нас на миг разъяли,
Нас ждёт к себе, в ещё непрочный дом.

Телега

так ехал на телеге я
телегу настрочив сперва
и настрогав на два листа
произнося что износил
я из последних (как бы сил)
не говорил чир говорил:

так ехал на телеге я
передо мною два быка
играли в (как бы) дурака
за мной приглядывая строго
струилась медленно дорога—
моя (балканская) звезда

и кто-то медленно полого
черкал на секе снигиря
и стаскивая сапоги—мне говорил
замри-умри и выгляни из-за полога
тебе осталось так немного—
с тобой обнимется земля

и кто как мёд (ленно) из лога
чирикал на щеке у бога
наверное его зола (со мною)
ехала в телеге
(моей же) темноте поверив
в колёса спрятавшись рекла:

пока мир пропадал в дороге
не обернувшись на пороге
телегою насквозь скрипя
воняя как телега я
скрепил себя с невнятной речью
попутчиков вся речь—сверчка

так ехал по телеге я
чирикая молчанье свечка
всё догорала до утра и полоскала берег чумный
моя (балканская) звезда
(ты помнишь смерть казалась чудной
здесь за игрою в дурака?)

● ● ●

В крещенских числах тёмного января
(брат мой простит, поскольку в других закопан)—
я проходил, по беглой воде шурша,
как водомерка бежит, понимая, что скоро в кокон
вмёрзнет—лишь остановятся она иль вода,
та, что бежит навстречу (точней—струится,
ещё точнее—дышит, вдыхая меня, когда
попытаюсь вглядеться-остановиться).

Мусорна речь нашей воды, и я
кропаю черновики на водице лапкой—
скоро холодный Анбаш запрокинет меня
чёрточкою над «и»—чтобы стала кратко,
как водомерка, воспоминанье вод—
выдох сбудется—над январём светиться—
выжнет гнездовье для инородца—крот
там, под землёй и илом, мне загорится.

А никакая теперь иордань—где дым,
и выдох один гуляет—теперь без тела—
правильное крещенье—и я, как сын,
открываю глаза и вижу: поспешно слепо—
с той стороны снигири за водой летят,
носят её ледышки под клювом с Богом
в крещенские даты бесчисленного января,
зная, что и вода возвратится домом.

● ● ●

ну вот и сорок дней (читаешь: лет)
оса влетает в сад и с богом мальчик
всё говорит (считаешь много бед
прошедших мимо?—Отсчитай иначе)
в таком заливе—русским заливать
ты всё соврёшь и перепишешь вновe
и на плечо (чо сядет там?—оса?)
тату нарежешь—ощутив мир голым
ты всё соврёшь—такой посмертный дар
что вечность существует лишь однажды
ты входишь в гроб челябинский как в лифт
и морщишься от этой смерти лажи
смерть—это лажа (повтори Орфей)
так падал камень и завис в четвёртой
полёта доле и своих корней
вошедший в сад конечно же не помнит
не помнит став осой в своём саду
он видит как его несут во рту
его же дети (если я солгу
то в этом ты молчанием поможешь)
ну вот и сорок—насекомым я
налью с малиной чай на стол поставлю
чтоб сын осу в руке отца держал
и говорил что я не помню даже
договорив свою смешную смерть
оса влетает в сад и боль запомнив
раздавленно лежит в руках детей
и понимает не бывает больно

Колумб

уходит суд как мёртвый в море
ещё живущий через край
заглядывает в эти хоры
в не огранённый днями рай

уходит суд как тьма в больнице
когда случайный ангел снясь
вдруг забирает наши лица
оставив кожи их и грязь

уходит суд как мало время
стальной подковою разбив
тарелку божию на рыбе
и в шар фарфор соединив

а рыбе с тьмою одиноко
она идёт за шаром вслед
и провожает одиноким
как выстрел поплавка след в след

идёт по крику горло ищет
и отрывает лист колумб
уходит прочь и нищий
нищим навечно оставляет круг

лишь аутист или подросток
на жёрдочке своей стоит
и рыбу на свисток свой ловит
чтоб снова свет соединить

● ● ●

вот дворник вася он хорош
стоит под снегом просыпаясь
несёт метлу дракона меч
он до подземного сарая

он встал когда его страна
ещё почти не засыпала
его подняли два гудка
взлетев с кыштымского вокзала

он делает по два витка
над этой площадью с мечетью
он крылья достаёт сперва
и делает попытку третью

по улице своей скользя
идя по улице свободы
он слышит как два фонаря
грозят нам пальчиком—Дидоны

он новоназванный Эней
идёт под ликами Таннита
и неопрятные стихи он прячет в снег
многоязыкий

вот дворник вася он хорош
идёт с кыштымского вокзала
многоязычный идиот
почти Обводного канала

дзо

на двадцать третье каждый не служивший
служака выпивает две поллитры
и ёлкою последнею домой
стремится по уклону—боже ж мой
такая вот россия приключилась
с тобою брат твоя сестра побрилась
и с криками и скринами аллаха
гуляет тоже ровно росомаха
вот перекос ворона я закопан
с солдатами в районе перекопа
в районе часа третьего шестого

на двадцать третье на углах убого
разложен снег как баба плечевая
на двадцать три рубля уже хромая
россия поминает нас негромко
трещит у наркомана слева ломка
и речевая просится наружу
страны своей которой я загружен
по горлышко и по февраль засветит
пылает ёлка соблюдай омерты
закон базар чтоб было всё по фене
три раза по поллитре я бессмертен
я соблюдаю правила до гроба
россия родина слонов читай уродов
читай меня (да хоть по двадцать третье)
я сам урод я здесь служу до смерти

Голубятня

Андрею Санникову

насколь прекрасна голубятня
и требуха и эта поросль
несущая нас на руках
пока живот со смертью порознь

пока прекрасно смертны мы
ухватывай снаружи тела
как эта поросль нас во тьмы
несёт заложено и спело

так рас-спешит в округе жизнь
в кружок закрытых светом скважин

пока там жарят голубей

парных как молоко и свет
всё дольше из замочных скважин

пока природа голубят
накормит миром до ответа
и губы вытерев взлетят
и в скважину пройдут с рассветом

оставив голубятню нам
где смерти их до самой крыши
чтобы несла нас на руках
пока живот как смертный дышит

Грач

Поехали в грачиный этот рай,
где белый свет и босиком трёхпало
проходит глас насквозь тебя, насквозь
физический раствор—где, как упало—
так и лежит [что спрашивать в ответ?],
рассыпанный на тени, чёрный снег—
он, кажется, крошится у запала…

Мне западло, мне—в птичий этот лай
где повестись на каждого базары
и грач больной ведёт [как поводырь]
меня и голос, где мясная тара
меня ещё выносит—ехать, стыд—
весь этот долгий, в прицепном у стаи,
где чёрный свет нас долюбил, распил,
разлил в свои гранёные стаканы.

Поехали, гранёный мой стакан,
позвякивая ложкою утробной,
трёхпало трогая грачиный доязык
и проживая физраствор по пробной
уже двадцатый раз, кажись. Кажись!
Такая жесть, что, проживая голос,
его ты, как покойника, везёшь—
прилюдно, по-срамному, в одиночку.

Поехали в грачиный этот рык,
в сад полосатый, в костяную почку,
которую снежок проборонил,
чтобы остались пустота и голос.

● ● ●

Алексею Миронову

ни мёртвый ни чужой ни-ни ни-ни
сбегающий за дозою колбасной
припоминай как привели огни
в аскезу в этот ящик безопасный

как в длинный снег продавленный трамваем
ни мёртвый ни чужой ни разговорный
приговорил идти на этот красный
из горла только выдохом скоромным

переходя здесь за неделю землю
пересыпая с каждою открытой
такое горе что Федоре страшно
такое счастье что по швам корыто

ни мёртвый а скорей сорокалетний
стоишь в своём [пока живой] Тагиле
и слышишь этот снег тупой отвёрткой
заверчивает смерть что мы забыли

Евгения Красноярова

Во мне не раб, но воин

● ● ●

Я ждала письма, твоего письма,
мой почтовый синоним сошёл с ума,
принимая посланий чужих тома—
эпитафий, эпиталам…

Ты молчал—берёзой, молчал—водой,
за тобой приходили и шли с тобой
по росе, полосе, где молчит прибой,
где колышется зверобой…

Я боюсь, боюсь, что не надо—ждать,
что тебе уже где-то сказали «да»,
что над миром, в котором ты жил всегда,
золотая зажглась звезда.

Ты ходи, ходи под её лучом,
под ласкающим щиколотки бичом,
становись—обмякающим сургучом,
прилетевшим домой грачом…

А что письма? Письма… Морока, блажь—
не забудешь, не вытравишь, не продашь.
Письма—это отчаяние души.
Не терзай себя. Не пиши.

● ● ●

Я в прошлом—хетт,
а в будущем—гранит.
Во мне не раб, но воин—говорит.
Я убивал. Меня рождали вновь,
но никогда не изменялись—кровь
и над Хетуссой пламенный рассвет.

Как выл пророк,
как плакал звездочёт,
когда мы шли, сомкнув ряды. Плечо
к плечу прижав. И мир—войной рвало.
Нас, как песок, мололо и мело
хребтами храмов, улиц и дорог…

Я правды свет
из всех смертей и битв
под сердцем вынес—всех перехитрив,
возок планеты катится назад.
И мне гадалка скалится в глаза:
—Ты в прошлом хетт,
а будущего—нет.

911

Почему же вы верите тем, кто врёт,
кто на мясо и хлеб разделил народ,
кто, сигару надменно зубами сжав,
принимает причастие от ножа?

А потом негодуете:
—Как ты мог
дать им силу, и славу, и волю, Бог?!
И в полглотки стенаете по ночам,
посылая проклятия палачам,

а когда солнце вламывается в дом,
вы их любите, любите всё равно
и несёте, несёте свои гроши
властелинам, чтоб выкупить право—жить.

● ● ●

Есть книги—лёгкие, как сон
завёрнутого в лён младенца,
который только что рождён
и спит у сердца.

На них ещё лежит пыльца
нездешних бабочек и лилий.
Они у самого лица
являют крылья.

Есть книги—дикие поля,
не обнесённые забором.
В них бег, и трепет ковыля,
и воин-ворон.

В них кровь натянутых тетив
и солнца розовое веко
в священный сплетены мотив
для человека.

Но есть другие—жернова,
зерно сминающие в порох.
В броню одеты их слова,
жесток и зорок

необоримый смертью глас—
он верховодит и пророчит,
и ни единого из нас
принять—не хочет.

Илья Иослович

Бедная Россия

Сценарий

Октябрь 1905.
События развиваются
очень быстро.
Власть бездействует.
Председатель Государственного совета
граф Сольский
встречает графа Витте
и говорит:
— Я слышал, вы уезжаете за границу?
Я-то думал, вы нас спасёте.
Что же, уезжайте,
а мы тут все погибнем.
Витте отвечает:
— Времени не осталось.
Пора решаться.
Граф Сольский
сообщает министру двора
барону Фредериксу:
желательно государю
выслушать графа Витте.
Безотлагательно.
Графу Сергею Юльевичу Витте
телефонирует
барон Фредерикс:
«Государь вызывает в Царское Село
переговорить о положении дел
ввиду наступившей резкой смуты
и волнений».
Сергей Юльевич просит
князя Оболенского
к утру
набросать проект
манифеста
о даровании населению
незыблемых основ
гражданских свобод.
Железная дорога
бастует.
Едут на пароходе.
Тут же едет
барон Фредерикс.
Читают текст вслух.
Сергей Юльевич говорит:
— Вступление красноречиво,
да это несущественно,
а вот что у вас выходит по пунктам?
Что о свободах?
Во дворце
их ожидают.
Николай Николаевич
смотрит
на Николая Александровича
и Сергея Юльевича.
Генерал-адъютант Рихтер
вздыхает.
Сергей Юльевич
доступно объясняет
для альтернативно одарённых:
— Надо немедленно
действовать.
Решений есть ровно два.
Или ввести диктатуру
и подавить военной силой.
Или объявить свободу
и дать конституцию.
Медлить
не представляется возможным.
Очень может быть,
диктатура предпочтительна.
Он так не думает, но:
некоторые так полагают.
Тогда лучшая кандидатура —
Николай Николаевич.
Он человек военный.
Николай Николаевич
лезет в карман
и достаёт револьвер.
И говорит,
что если к нему
будут приставать,
он застрелится
прямо здесь.
Тут же.
Николай Александрович
поднимает глаза на Сергея Юльевича
и спрашивает:
— У вас, вероятно,
уже имеется проект?
Сергей Юльевич
вынимает текст.
Барон Фредерикс
закрывает глаза.
Все молчат.

Наталия Слюсарева

Епископ Пергамский

Храм

По привычке, почти что давней, смотрю вверх, в самую сердцевину купола. В каком-то храме убирающаяся старушка не по-доброму: «Ну что голову задрала? Чего глазеть?» На меня чуть ли не с тряпкой. Я отступила немного, но из круга не вышла. Где стоять, мне в соборе Святого Петра когда-то подсказали: «Стой в центре, в луче, там самая благодать». В соборе Св. Петра—купол высоченный, из голубя не то что луч—колонна света льёт. Вспомнилась Марина, на которую—«головокружительный Бог» из старого Спасителя.

Гляжу в полярную звезду купола, там наверху—упругие херувимы с папоротками. Не с папоротниками, а именно что с папоротками—нижними длинными перьями маховых крыл, всегда другого оттенка; выше—серафимы о шести крылах, тоже при полной боевой выкладке. Рядом должны быть колёса—бронированная техника. Следующее подразделение—Силы. Ещё выше—Престол. Вот где силища страшная. Всё клубится. Колёса вращаются… «на него же и ангели грознии не могут взирати». Надо поворачивать, пониже спускаться, где потише, в летние лагеря, в Гатчину. А то и к самому к Дону, где—рати да хоругви, где архангел Михаил на границе с Диким Полем пограничником мотается. Врангелевские казачки́ нарекли полуразрушенный Галлиполи, куда их сгрузили с барж (балканские братья только приняли),—Голо Поле.

Храм епископа Пергамского Антипы, раннехристианского мученика,—у него просят облегчения от зубной боли—каменный, пятиалтарный. В Пергаме, «и Ангелу Пергамской Церкви напиши…», епископа умучили самым настоящим образом: посадили в раскалённого медного вола, где тот, как повествует акафист, мирно уснул. Вытянутый центральный купол храма очертаниями повторяет высокий лоб нашего иерея. В левом приделе купол—княжеской шапочкой. Изнанка шапочки вышита, как с рождественской открытки, княжичами в сапожках и пуговицах. Цвета храма—в тон с одеянием священномученика Антипы на иконе—зелёный и розовый. Зелёный—неяркий, приглушённый, цвет осоки. Бледно-зелёный с розовым. Краски раннего итальянского Возрождения. Не сбитые старые фрески—тёмно-фиолетовыми, коричневыми островками по белому океану штукатурки.

В храме—ремонт. Над царскими вратами—пустое пространство, высокой бойницей с поперечной балкой. Через неё, как через окно, в алтарь можно заглянуть. Алтарный свод падает концом радуги. Алтарь—пещера. В которой—младенец. Люстра звездой Вифлеемской блистает. Из алтаря—белый свет тонкой вуалью. Прихожане перед пещерой—волами и осликами. Во всяком случае, я—точно, ослицей жую свои мысли, мирскую жвачку, хоть ноздрями в ту сторону. За спинами—стужа, из пещеры—тепло.

В центральном приделе—свет розовый. Ощущение, что нахожусь внутри живого существа. Два латунных резных столбца с горящими свечами—два глаза. На самом верху три огонька в лампадах свет не отражают. Свечи на подсвечнике, напротив, отражаются в высоком центральном столбике. Тоненькие восковые балеринки истаивают. На вертлявую головку пламени колпачком мокрого указательного—жжётся. Смотрю на отражённые, колеблющиеся в жёлтом металле язычки, вижу в них своих прабабушек и прадедушек. Самого отдалённого по шкале времени предка недавно узнала. Звали его Тит, жена Домна, сын Стефан, воронежские. Шили, между прочим, одежду для священников. Перед революцией Тит—глава некоей административной единицы в уезде. Пришли революционеры. Тита, само собой, сняли. Собрали сход, спрашивают: «Кого хотите главой?» Народ: «Тита». Они: «Дураки!» Но я братику Стефану улыбаюсь. Он молод, лицом пригож, глаза синие. Джотто ему ещё румянец на щёки подложил. А главное, у него кадило в правой руке на цепях отклоняется. Это движение мне очень нравится. Я всякое движение очень люблю. Кадило назад, благовонный дым вперёд. В Троицыной Лавре, в Успенском соборе это движение мозаикой выложено. Стефан—дьякон, даже архи. Дьякону—кадить полагается. Вот он и кадил, пока не остановили его камнем в висок братишки-революционеры.

«Мои мысли—не ваши мысли, ни ваши пути—пути Мои… Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших…»

Под куполом — паникадило бронзовым венцом на высоком лбу купола. Обод надёжный, прочный, «горе катить». На мне тоже венец. Сегодня из стрекоз. Восемь стрекоз сидят на моём венце. Вот одна поднялась вертолётиком, сделала круг вокруг своей оси и села головкой в другую сторону. Тельца у стрекоз сапфировые, крылья изумрудными пластинками выложены. Гляжу я на Георгия Победоносца, покровителя тех, кто носит оружие. Мой это храм — всаднический.

Фасадом храм смотрит на Кремль, на Тайницкую башню, боком соседствует с музеем им. Пушкина, в котором от Пушкина никогда ничего и не было, собранным стараниями И. В. Цветаева и Ю. С. Нечаева-Мальцова. Не так давно вернулся Антипий в лоно патриаршего хозяйства, до того в нём складировали нечто музейное — архив, рукописи. О храме мало сохранилось в «письменном». «От Антипия огонь зачался», — одна из немногих записей 1550 года о большом пожаре, уничтожившем деревянную Москву. Храм епископа Пергамского — для опричников. Первый в их слободе. На заутреню к нам — Иван Грозный, толкаться, христосоваться с Оболенскими, Трубецкими, Вяземскими, — как будто на наше крыльцо дочь боярскую, лебедь белую, подталкивал венчаться. За оградой храма с восточной стороны в соседях — Малюта Скуратов. Лютый разбойник. В ушах, с аудиозаписи, зазвучал тоненький высокий голос старца Сампсона, беседующего с прихожанами. Голос — как у младенца: «...Так вот жил и разбойничал совсем лютый разбойник, уже после войны, лютее его не было, душегуб, и малых детей не жалел. Наконец его поймали, связали и повели на расстрел. А у него сила была огромная. Пули его не брали, отскакивали. Все пули на него израсходовали. Тогда он караульщикам и говорит: «Ребята, меня пуля не возьмёт. Вот вам пуговица, её зарядите, только так меня порешите». Зарядили пуговицу — и точно: пуговицей в висок его и убили».

За окном левого придела — рябина в красных ягодах. Ягоды можно есть, а можно на пуговицы пустить, чтобы плащ князя не распахивался. Ветер поднялся сильный, рябина раскачалась.

За рассолом или чем другим — рыжая голова Малюты к нам через забор. У нас отец Димитрий тоже рыжий; хотя нет, о. Димитрий золотой, а то бывает прозрачный, алебастровый, особенно в последнюю неделю поста. В центре храма — икона святого благоверного князя Александра Невского. Рука на сердце. «Всем моим — вам всем». Оклад серебряный, по нему ягоды виноградные спеют. Справа — святой великомучениче Победоносче Георгие, в доспехах, под алым плащом на белом коне. Слева — полковник Романов в окружении семьи.

...Что там отец Димитрий говорит — «промыслительно». Красиво говорит. «О, как ты красив...» На шее шарф. Простужен. Глаза узкие, но не татарской ужиной, а византийской, царской. У Любочки, матушки, глаза тоже узкие. А у детей вообще — чёрточки, тире. Прямо египетские дети. Наверное, новая раса грядёт. Всё-таки у него глаза в отца — Михаила Михайловича Рощина. Как Далида пела на французском: «Коме туа, коме туа...» — мол, ни у кого нет таких глаз, «как у тебя, как у тебя». Неужели отец Димитрий так хорош? Хорош? Вздохнуть и не дышать... Он прекрасен. Когда он проходит по храму — кажется, одна его чёрная ряса скользит над полом. Хотя нет, у отца Димитрия не скольжение. У него — шаг, и даже широкий, совсем не скольжение. Ещё — руки. Когда он поднимает их, стоя на границе земного и небесного, как бы поддерживая невидимый сосуд, они — как два голубя: нечто особенное, нечто совершенное. Два белых огня из чёрных раструбов шёлковых рек. Руки объявляют себя так сразу, так невозможно бело — нельзя быть белее.

Белый Пьеро, белый эпилептический, белый Благовещенья.

О чём он говорит? О целомудрии. Да, целомудрие. Я понимаю целомудрие. Я — не какая-нибудь вавилонская. Ещё в самом начале, уловив всю его необыкновенность, я сразу отправила файл с его образом в потаённую ячейку своей коллекции, чтобы при случае доставать. И вот однажды вечером, когда Ра на своей лодке окончательно сполз в подземный мир, я закрыла глаза, предвкушая встречу, и... И ничего не произошло. Время зачастило мелкими секундами. Там, где должен был появиться образ, стоял свет и пустота. И так как я не самая смелая, то осторожно, на цыпочках, как по минному полю, стала отступать и больше никогда не пробовала.

О чём сейчас говорит?.. О языке. «Не обольщусь и языком, его напевом млечным...» Оказывается, в русском языке — три миллиона слов, а в греческом, пожалуйста, семь миллионов. «Аксиос» (достойно), «елейсон» (помилуй). Красиво. А я-то всегда считала, что русский наш — наи-самый.

Опять он — про целомудрие. Значит, «Весна» Боттичелли ему не годится, пусть так. Какой у о. Димитрия удивительный способ мыслить и оформлять мысль, какой-то совершенно особенный: «Иди почитай... почитай отца своего»... то — языками пламени, как апостол, а то так приложит словцом. И — остроумие...

Сейчас должен выйти из боковой дверцы алтаря. Вышел. Обступили. Духовные дочери. Алконосты, Сирины — в платочках. Билибинские девы-птицы — вразвалочку по двору, босыми пятками, за золотыми зёрнами. Может, и не заклюют, и подпустят к тому, кто их окормляет. Осели пузыристыми подолами юбок на кафельную полянку, внимают. Папоротки их свисают, но могут устроить и пыльную бурю. И что это я злобствую?.. Обычная ревность. Это их двор. А я не захожу на ваш двор.

Не хожу по вашей соломе. У меня своя прогалинка с бледно-розовыми маргаритками на тёмно-зелёной траве. Случается, правда, что неуклюжая брейгелевская телега заденет несколько цветиков, но они быстро поднимут свои головки, не то что лоскутки влажных орхидей, разлагающиеся в тропической неге. Гоген был королём зелёного цвета. Это так, к слову. Мусейон-то напротив.

— А ну?—в полукруг перед экскурсоводом из Третьяковки.—Что делает зелёное? (Зелёный гиматий на святом.)

Молчание.

— Ну, что делает зелёное?..

Все—бараньими глазами.

— Умрите от счастья! Цветёт!

Это я всё ещё перед птицами. Почему бы им не перемахнуть через забор и не полетать по галереям музея, а я пока—под благословение? Окружили—не подойдёшь. Шекспир любил зелёный цвет, и Мольер. Есть ещё беклиновский зелёный. А уж леонардовский с Благовещенья... Нет, стоят, не отходят, хоть им зелёный, хоть мармеладовый. Поздно. Ушёл. Прошёл. «Стороной, как дождь». Ну и ладно, и я пойду... Спасибо Богу за всё.

Утро

Открываю глаза. Не сразу. Не как в юности—взлетающим занавесом на удавшейся премьере, прокручивая взахлёб ханжонковскую плёнку вчерашнего дня, всегда блистающего, мельтешащего, запорашивающего мои бульвары маскарадной мишурой. Обезьяний прыжок к окну. Приветствую тебя, белый бесконечный день всего сбывающегося.

Утро. Какое утро? Полдень, не менее того. Оттого что вчера—за полночь телевизор. Бездумно. И зачем? А воли нет—грохнуть его о подоконник. Да, недаром в символах египетской власти «джед»—хребет, позвоночный столб Озириса. Чтобы фараону держать спину прямо. А на голове—урий. Кобра. Что умеет делать кобра? Правильно—поднять свою смертоносную головку. Вот за это её умение—встать в вертикаль—и выбрали её на корону. А всё вместе—и хребет, и кобра—считай, принцип воли. Да здравствует Египет знающий. А воли нет, «джед»-хребта нет—подняться и выключить телевизор, внутри которого—фильм про гигантскую анаконду. Так и сижу перед плазменным приятелем застывшим изваянием Будды, подсказывая дебильным героям реплики из дешёвого американского кино. Машине с проколотыми шинами: «Ну давай, детка, давай трогай, ещё немного... би-би...» Дружку, у которого отъедено две трети тулова злобной акулой: «Милый, что-нибудь не так?..» Впрочем, я люблю про большую анаконду. С детства. Мир приключений. Сбежать на Амазонку. Увертюра Дунаевского к «Детям капитана Гранта» и сегодня выбросит меня на кухню—поднять попеременно правую и левую руку в гимнастике на «три-четыре».

Прикидываю: к концу фильма должны остаться в живых—рыжая девица-биолог с результатами анализов и бывший рейнджер в жилетке. Да, вчера—телевизор. Прежде чем встать, надо ментально поддуть спасательную подушку на день, хотя бы на треть. Так, год рождения пропускаем. Вообще про это не думаем. Предсказание жрецов майя о конце света—в угол. Запущенный где-то кем-то коллайдер—туда же, в обнимку со вспышками на солнце. Глобальные угрозы, в сущности, появились не так давно. Что раньше угрожало москвичам? Ну, мыши на кухне (кота на них), тараканы—порошочком. Да, я—москвичка. Живу в Москве—вот, кстати, и выскочил плюс. В столице, не в каком-нибудь Урюпинске. Отчего всегда Урюпинск? И есть ли он? Наверняка в нём экология лучше. Снегири—зимой, соловьи—в мае. Так, что ещё? Я здорова, не кашляю и никому не нужна. Дети не звонили уже неделю и сами никогда не позвонят. Стоп, я—позитивна. Мне вчера в парикмахерской и девчушка, что меня подстригала, объявила: «Вы—позитивны». Но тут, возможно, упреждая моё недовольство, что сзади много состригла. Да, в сущности, я позитивна, мои мысли позитивны, моя речь позитивна. У меня самые лучшие дети в мире, слава Богу.

Господи! Как хочешь, а я на тебе сегодня повишу. У меня есть храм, Антипа, который знает всё о состоянии моих дёсен, и мой светлый иерей. Теперь можно вставать и двигать к холодильнику.

Капернаум был трудным городом для Христа. Он приходил в Иерусалим только на Пасху, а так обычно ходил по селениям, проповедовал в Галилее, и на этот раз опять завернул в Капернаум. Сегодня читали притчу о расслабленном, которого спустили на верёвках его родственники через разобранную крышу прямо Христу под ноги. Я всегда думала, что смысл притчи в том, что—и люди поработали. Волокли этого расслабленного на носилках, крышу разбирали, то есть вложили много своего труда, в ответ и чудо совершилось. Движение навстречу друг другу. Конечно, и это, но о. Димитрий про это ничего не сказал.

Когда после слов Христа: «Прощаются тебе грехи твои, возьми свой одр и иди»,—расслабленный взял свою постель и пошёл, свидетели, бывшие в доме, то есть капернаумцы, воскликнули: «Воистину, великое чудо сотворил сей человек». Назвали Христа человеком. И всё. Сомневающаяся интеллигенция. Ад будет забит интеллектуалами. Особенность ума—перебирать неудачи, я сама её знаю. В молитве говорится: «Шуия (левой) части избавиться, десныя (правой) страны общники быти». То есть встать по правую сторону от Иисуса Христа. Правая часть мозга отвечает за интуицию, творчество, левая—за рациональное, логическое

мышление. Левая-то и паникует, сомневается. На веру ничего не принимает.
— И даже в день Страшного суда,— продолжил священник,— будут те, кто не поверят в Христа. А тот, кто в этой жизни его не принял в своей простоте, не примет и в другой. Должен быть плач о своих грехах, а не унылое стояние по схеме: покаялся — причастился. Святой говорит: «Отдай кровь, возьми Дух Святой». Кровь должна измениться. А никто из нас не хочет делать себе кровопускание! И Христос скажет: «Я вас не знаю. Отойдите от меня вы — не ходящие по моим заповедям».

Чтение проповеди нашим иереем есть выброс пламени невещественного. Накопление в водоёме мысли и выброс. Стреляние через глаза. Стихия — огонь. Обжигает. Стихия речи протоиерея Владимира — вода. Когда отец Владимир читает проповедь, то — как вода по камушкам течёт: что-то огибает, где-то блеснёт, с чем-то столкнётся.

Служба закончилась, и я вышла на крыльцо…

Вышла из храма и попала в истинный февраль. И само потекло: «… где, как обугленные груши, с деревьев тысячи грачей сорвутся в лужи и обрушат…» Но луж ещё нет. А идёт снег крупными хлопьями, да так красиво. Медленно — пушистый снег, прямо из «Щелкунчика». У Джованни Пасколи есть такое стихотворение: «Медленно снег падает хлопьями, хлопьями… няня качает колыбель. В прекрасном саду малыш засыпает, хлопьями снег — медленно, медленно».

> Lenta la neve fiocca, fiocca, fiocca.
> Senti: una zana dondola pian piano. <…>
> Nel bel giardino il bimbo s'addormenta.
> La neve fiocca lenta, lenta, lenta.

Из сегодняшней проповеди: «Мы с вами есть хранители равновесия во Вселенной». Хранители. Я с крыльца храма стараюсь спуститься гармоничнее. На дворе колымажная метель. Снежинки — в пушинки, пушинки — в белые пуговицы. Белые пуговицы — в печатные пряники. И вся эта благодать — на нас с седьмого неба, на хранителей равновесия.

Пасхальное

Сегодня о. Димитрий на проповеди заплакал на слове «ждёт». То была проповедь о блудном сыне, а ждёт Отец, ждёт нас всех, но если вы будете смеяться, то я первая уйду и не обернусь. Сегодня о. Димитрий заплакал и светлым указательным пальцем — по узким глазам к виску, чтобы стереть ток слёз… один раз и ещё несколько, как стирают резинкой неудавшуюся фразу, но неудавшихся не было.

Нынче на литургии отмечали Сретение, и притча о блудном сыне в Евангелии почему-то совпала со Сретением. А Сретение — это когда ветхий старец Симеон произнёс ключевую фразу: «Ныне отпущаеши, Господи, раба своего»,— мол, не умру, пока не увижу Господа. И Симеон узрел, и его отпустили. Читалось два Евангелия — одно про Сретение, а второе о блудном сыне. На картине Рембрандта младший сын, намаявшись в миру, стоит на коленях в рубище, а отец обнимает его руками. И о. Димитрий сказал, что Отец ждёт, и мы все вернёмся к нему и обретём своё царское достоинство, оставив корыта, разделим с Отцом и трапезу, и царство. Потом он прошёл в алтарь, передав крест для целования о. Владимиру.

Пасхальная служба. Стоишь. Стоишь. Больше половины службы отстояли. Народу много. Все плотно стоят. И я — со всеми, в ногах тяжесть, всё тело наливается. Ничего не чувствую. Стараюсь только из-за голов видеть Спасителя с иконостаса. Смотрю на него. Шею вытягиваю, голову то вправо, то влево наклоняю.

Храм — в лесах. Мастера на полу узор кафельный выкладывают — лепестками, треугольниками. Фон плит — цвета сиенской земли, глины обожжённой. Пространство — наш конёк, хоромы княжеские, но сегодня столько людей, что у меня островок свободной земли только для правой ноги. Левую после предыдущей литургии Преждеосвященных Даров под собой не чувствую. Как я встала неудобно на проходе. Все меня подталкивают, подпихивают. Малышня, на уровне колен, ручейками прокладывает себе тропинки. Не могу удержаться, чтобы не погладить светлую головку. В притворе на столах рисунки детей. Здесь всегда лежат цветные карандаши и бумага. Один такой рисунок на четвертушке листа взяла себе на память. Большая ромашка, и на каждом из лепестков ещё нарисовано солнышко с частыми лучами. Восхитительная щедрость.

Да. Хоромы княжеские. У нас князья, можно сказать, и по сей день не переводятся. Вот впереди меня, через две головы, стоит потомок князей Вяземских — Гийом. Родители его в Париже, а он захотел в Москве жить и работу ищет. Молодой, ликом светел. Прямо стоит, зажжённой свечой. Паша, старшая дочка о. Димитрия, свечку второй раз поджигает и кулачок ей снизу показывает: «А ну стоять!» В нашем храме плиты самые квадратные, стены самые розовые. Всё ещё цаплей на одной ноге стою, другую берегу. Хор… «Тебе благодарим… и молимтися, Боже наш». Всё ближе, когда Господь примет нас как блудницу и разбойника, и подовьёт к своей лозе, и ягоды виноградные вострепещут радостью. И сок потечёт. Прими не как… а как разбойника.

Вот, ещё одного разбойника знаю, удивительного,— Феликса, князя Юсупова, графа Сумарокова-Эльстона. Чтобы фамилия не пропала, царь дал разрешение в браке его матери и отцу, как единственным наследникам, двойные фамилии носить. Сами его воспоминания достаточно безыскусны.

Куража в нём много. Отца моего напомнил этим. Но ни в чём он не рисуется. Пуришкевич его отметил: «Мне он сразу понравился и внешностью, в которой сквозит непередаваемое изящество и порода, и, главным образом, духовной выдержкой».

Удивительно. Человека убил. Душегуб. И хоть бы когда какое раскаянье. Никаких угрызений за всю жизнь. И ведь как долго и непросто с Распутиным разбирался. Тот, травленный, не отравленный, стрелянный, восстаёт из мёртвых, и душит Феликса, и мелко ему в ухо шепчет: «Феликс, Феликс, Феликс…» Кто бы такое выдержал из современных и в психушку не попал? Кому такое под силу? А ему хоть бы что. Пуговицы на него не было. А как он хорошо о вере в конце жизни написал:

«…Да пути-то Господни неисповедимы. И что объяснять необъяснимое? Высшая мудрость — слушаться Создателя. В простой, безоглядной, нерассуждающей вере обрёл я подлинный мир и равновесие душевное. Знаю я, что Бог есть, и того мне довольно. Просить Его ни о чём не прошу, но что даёт, за то Ему благодарен. А счастье ли, горе — всё к лучшему».

У Феликса — глаза матери, серо-голубые, светлые, Зиночкины. Даже Серов, который неохотно писал богатейство, и тот не устоял перед её обаянием. «Смех её слышу». Знаю, что серовские мастерские тоже на территории нашего храма размещались. Может, во внутреннем дворе сейчас краски перетирает, или за плетёной бутылью кьянти с К. Коровиным и С. Мамонтовым Флоренцию вспоминают.

У Феликса, как и у Зиночки, глаза — камни драгоценные. Вот Библию подняли над головой. Вспыхивает по золоту аметистовыми, пурпурными отсветами. Поплыли огни. Перед глазами — мамино кольцо, подарок отца, с александритом. Камень переливается то фиолетовыми, то зелёно-синими огнями. И эта дура, моя сестра, не хватило ей на выпивку, продала его кому-то на сторону. Я даже застонала вслух. Кто-то из ближних обернулся ко мне участливо: думает, мне плохо. Нет. Мне хорошо, очень хорошо… Продала первому встречному, небось даже и не за десять долларов. Почему я за день до этого не выкупила его у неё? Так кто из нас дура? Если бы я предложила ей пятнадцать, она в тот день самой счастливой была бы. Может, и лучше, что так вышло, само ушло от греха. С таким кольцом «моя прелесть» и помирать жалко.

«Смерти нет…» Что? А? А где отец Димитрий? Есть в нём от апостолов, от ярославских икон. Внутреннее горение. На ярославской иконе красного мало, а жар плотный. Изнутри сила в цвет плавится. Царские врата раскрылись. И пошёл клир. По двое с хоругвями потекли, просто счёту нет. Пошли, пошли… и мы вслед за ними развернулись, друг от друга огонь берём. Всё ещё в храме. Народу столько, что первые крестным ходом уже всю церковь обошли, а последние из неё не выходили. А пространство перед Антипием, вплоть до музея, весь Колымажный переулок, народом московским заполнено. К музею спиной стоят. Вот и мы со свечками двинулись. Иерей наш миру звонко: «Христос воскресе!» И народ московский с улиц в ответ с той же могучей радостью: «Воистину воскресе!!!»

Царевич Димитрий — преображённый, плавающий, как дельфин, в водах жизни небесной и земной, где хочет.

В трапезной всего изобильно. Скатерти крахмальные на два продольных длинных стола. Поперечный — для священства. Вдоль столов — скамьи, стулья раскладные. На скатертях — снеди невидимо: купцами Калашниковыми в заломленных шапках — подбоченившиеся куличи; подпирающие их снизу, крашенные в луковой шелухе, сейчас готовые треснуть круглолобые поединщики. Плещется в пластмассовых стаканчиках весёлое фряжское вино. На ликах — заря радости. Зорю бьют. Певчие подошли. Подкладываю отрокам из хора. Как пели! Часто так хорошо поют — с силой, какую, верно, Илья Муромец от калик перехожих с их целебной водой получил и с печи на подвиги скатился. Когда силой, Духом поют, такое пение долго не забываешь, вообще не забываешь. Ну а пасхальное?…

Поднимается отец Димитрий с бокалом, тост говорить будет.

— Милые мои, мои хорошие, смерти нет!.. Утром был у нас патриарх. Проводил его. Столько было всего за день. Я, крайне утомлённый, часов в девять вечера вошёл в комнатку передохнуть. Сил уже нет никаких, на пределе. Лёг и думаю: умру, сил нет. Жду… и про себя: «Господи, ну утешь меня хоть как-то». Смотрю наверх — мрак. Присмотрелся и вижу на тёмном потолке световые блики, как звёзды. Лежу и смотрю на ночное небо, по которому — звёзды. Даже встал посмотреть сквозь щёлочку: откуда свет? Подвальная же комнатка, без окон. А — свет сквозь дверь, от свечей. И снова подумал: «Как хорошо. Господь утешает». Бог всегда пошлёт тебе утешение. Надо только воззвать к нему. И вы здесь — как звёзды. На вас Господь сверху смотрит. Здесь, в этой тьме, вы сами — как яркое созвездие. Каждая душа — звезда. Смерти нет. Есть только миг. Закрыл глаза и открыл в жизнь. Я думаю об этом великом миге, об этом великом переходе. «Злая наследует злая. Благая наследует благая».

Пару лет назад, когда я в храме стояла чуть ли не руки в боки, даже озлилась я на батюшку, что он нам всё… туда и туда — в Царство Небесное. Мне и тут хорошо. И как-то не удержалась и однажды даже так ядовито говорю ему: «Вот когда вы нам читаете свои инструкции по вознесению…» — то-то и то-то, забыла уже, что дальше сказала, неважно.

Важно, что сейчас в Царство Небесное не то чтобы я стремлюсь, но, во всяком случае, думаю о пороге, как к нему подступиться, чтобы без отчаянья. Надо будет собраться, не посрамить о. Димитрия. Его мысль, пожалуй, самая главная: «Смертный час есть самая великая жизнь».

Нынешним воскресеньем отец Димитрий не читал нам проповедь — ночью болел за футбол; читал отец Владимир. Иерей Димитрий, выходя из алтаря, благословлял на ходу: «Оле-оле-оле-оле! Россия, вперёд!»

Крещение

В 1988 году приход редких открытых московских храмов состоял из белых сухоньких старушек, обирающих мягкий оплавленный воск и проводящих вафельным полотенцем по лику икон.

В 988 году князь Владимир крестил Русь, загнав жителей Киева и окрестностей в бликующие потоки Днепра. Ровно через тысячу лет рябь этого события создала колебание, которое ввергло меня в те же воды. Не в Днепр, конечно, а в тазик с водой на дому.

Выбравшись как-то в один из отдалённых районов, куда перебралась моя подруга, глянув на знакомое название улицы, я решила её навестить. Порывшись основательно в памяти, вспомнила подъезд и, повздыхав на лестнице без лифта, позвонила в дверь на последнем этаже классической пятиэтажки.

Открыла она — моя одноклассница, с которой мы вместе учились в той же средней школе, которую в своё время окончил Владимир Высоцкий — единственное, чем мы могли гордиться. Открыв дверь нараспашку, подруга также нараспашку возвестила:

— А ты знаешь, что мы можем тебя прямо сегодня окрестить?

— Как это?

— А так, я сейчас звоню своему знакомому батюшке по телефону. Лёва его друг.

Лёва был последним приятелем моей подруги, имел красивое узкое лицо и носил бороду.

— Нашего батюшку благословили крестить на дому, не беспокойся. (Я и не беспокоилась.)

— Но для этого нужно что-то иметь с собой — крест там или что?

— Я же тебе говорю — я ему звоню, и он возьмёт всё, что надо. Главное, вода у нас есть. Вчера в доме воды как раз не было. А сегодня есть. Это хороший знак.

— Давай!

Я почему-то сразу согласилась.

Точно через час раздался звонок в дверь, и в комнату вошёл батюшка, тот, кто имел разрешение совершать таинство крещения на дому. Батюшка, отец Владимир, оказался румяным парубком, здоровым, крепким, сразу видно — любящим молоко. У него был даже особый выговор, то есть он был дальше, чем из Подмосковья. Теперь я понимаю, что явление отца Владимира было мне дано именно что во смирение. Потому что, ожидая кого-то в чёрной сутане со страниц Стендаля, я уже предвкушала, как после обряда заведу с ним разговор о Висконти. Но, взглянув в коридоре на отца Владимира, я сразу поняла, что тему итальянского неореализма нам не поднять. И, каюсь, впоследствии ещё не раз смущала батюшку своими интеллектуальными требами. Он густо багровел в щеках и умилительно-нежно смотрел в угол комнаты.

Отрёкшись от того, от кого должно, с чувством надев крестик, протерев мокрые волосы полотенцем, я последовала за крёстной матерью на кухню, где мы и отметили это событие кагором. Я вышла из квартиры с крестиком на шее. В моей повседневной жизни особенного ничего не происходило. В первые полгода регулярно наезжал батюшка служить у меня дома, читал молитвы, оставлял почитать о. Иоанна Кронштадтского. Первую икону — «Троеручицу» — мне оставили друзья, которые уезжали навсегда в Америку.

Шло время… Как-то, выйдя из метро на своей станции, бросив взгляд через дорогу, я заметила на территории всегда заколоченного жёлтенького храма какое-то движение. Разбирали склад. Руководил восстановлением храма поставленный на этот приход отец Марк. Храм — в память митрополита Филиппа, редкого, кто имел смелость спорить с нравным Иоанном, за что и поплатился.

Отец Марк — выше всех на голову, красивый, статный. Ну просто Ангел Златые власы. Внешне отец Марк удивительно был похож на одного из ярких представителей Серебряного века, Максимилиана Волошина. Он имел такие же волнистые кудри, которые напоминали историю о филистимлянине и даме с ножницами, такие же весёлые глаза, лёгкую льющуюся речь и готовность выслушивать любой бред, который несли ему прихожане, переступая через доски и кирпичи. Меня и моего мужа, с которым я венчалась по преимуществу из-за того, что друзья из Парижа бандеролью прислали мне венчальное гипюровое платье с отделкой из брюссельских кружев, и в придачу — гусиный паштет фуа гра (фуа гра в девяностые годы — по равнобедренности сторон это могло означать только венчание)… да, и меня, и моего мужа отец Марк величал благочестивыми прихожанами. Из его уст это звучало так мило. Мы отнюдь и конечно совсем не являлись таковыми.

Мы болтались у него под ногами. Мы отнимали у него время, обсуждая с ним, как организовать какую-нибудь фирму для продаж чего-нибудь, вплоть до гробов. Каталог с гробами — шикарными, полированными, из ценных пород дерева: палисандр, дуб, кипарис, отдельные «вип» с пуленепробиваемыми тонированными стёклами, — я получила от знакомого итальянца, с идеей

продавать их в России. Привечая «благочестивых», отец Марк уводил нас за собой в каптёрку, где поил чаем с сухарями и бубликами. Сам рассказывал о своих поездках в Сибирь, с целью собирать на восстановление храма. Радовался тому, что сибирские губернаторы понимают, что Россия Сибирью прирастает и что здравая мысль — открыть при нашем храме сибирское подворье. Но при этом внимательно выслушивал нас и даже листал каталог. И, подходя к подъезду, придерживая тяжёлую дверь, прокручивая одновременно в голове бизнес-план, я возбуждённо-озабоченно вопрошала мужа: «Ну как ты думаешь, отец Марк проникнулся идеей создания совместной фирмы?»

Он умер так быстро и так внезапно. Ещё он только что стоял на амвоне со своим большим крестом, и когда я жаловалась на то, что венчальный муж — не такой, как обещался быть, он заверял меня, что всё будет хорошо. Он подводил меня к только что отреставрированному расписному приделу с новым иконостасом и спрашивал: «Правда, красиво»? Он крестил моих детей.

Но нет, нет, я всё равно не сумею рассказать вам, как он был важен для меня — весёлый, золотой отец Марк, — не потому, что он мне говорил что-то очень важное. Я видела, как он любил свой храм, свой приход и как он всему этому служил. Служил людям, как «купленный раб».

«…Ах, какая женщина, мне б такую». Как-то, отлучившись на покурить, он сказал моему мужу, что ему так нравится эта песня.

Причастие

Сегодня причастилась от чаши. На исповеди о. Димитрий меня спросил, как давно я причащалась. Думая, что я совсем недавно причащалась, я с лёгким оттенком гордости говорю: «В чистый четверг…» — «Почему так давно?»

Причастие, причастие. Надо причаститься. Хочется причаститься. Не хочется правило долгое читать. Собиралась же в это воскресенье причаститься. В гостях холодец ела. Вечно так: не одно, так другое. Как-то в июне причащалась в Свято-Тихоновой пустыни, в мужском монастыре. В монастырской гостинице, сидя на кровати, перепутав каноны, не дочитав до конца, с тяжестью в голове и ногах, раскладываю постель: ох, наконец-то — спать.

Соседка напротив:

— Вы что, спать собираетесь?

Я даже вздрогнула.

— А что?

Недоумеваю: что, есть другие варианты?

Она:

— И не боитесь?

И немножко даже радостно это произносит.

— А чего?

— Что черти будут трепать.

— Как это?

Полное изумление. Оглядываю свою кровать и комнатку, в которой узких кроватей — четыре, нас, паломниц или кто мы такие, заехавшие, — трое.

— А вот одна тут приезжала. На этой же кровати спала. Так утром у неё все ноги в синяках. Черти её всю ночь тащили.

И, главное, смотрит на меня даже как-то выжидательно.

— Ну, не знаю… — единственно, что я сказала.

Что я могла ещё сказать? Но всё равно всю ночь спала хорошо.

«Не в суд и не в осуждение…»

Когда мама болела, уже после инсульта лежала дома, пригласили мы к ней о. Александра из ближнего храма, исповедать и причастить. Вначале комнату решили освятить. Отец Александр — молодой, росту маленького, сам громкий. Вошёл с кадилом. Мамуля, тогда ей под восемьдесят было, лежит тихонько на кровати, укрытая одеялом, вся такая первоклассница. Отец Александр с порога быстро комнату оглядел и возвестил:

— Не буду кадить! (Мы только рты открыли…) Не стану кадить, пока он здесь.

Все, в один голос:

— Кто он?

И смотрим друг на друга. Переглядываемся. Ничего понять не можем.

Отец Александр ничего не объясняет, а только громко повторяет:

— Не буду святить, пока он здесь.

Мама от любопытства приподнялась, сидит уже на кровати, на подушках. Глаза блестят. Я проследила взгляд батюшки в сторону наших книжных полок и увидела на одной из них — стакан для карандашей из чёрного чугуна, в виде головы Мефистофеля.

— Ух, — даже облегчённо вздохнула. — Понятно, — говорю, а сама уже карандаши из Мефистофеля вытряхиваю. — Я его сейчас отнесу и выкину во дворе в мусорку.

— Нет! — как вскрикнет отец Александр на мою декламацию. Мамуся аж подпрыгнула на кровати от его крика.

— А куда ж его? — интересуюсь я, теперь уже техническим моментом.

— Выносить, оставлять во дворе в таком виде нельзя. Искушение! — батюшка категоричен.

— А как же?

— Разбить! Уничтожить! Предварительно разбить и частями вынести.

— Ага, — медлю я с ответом.

А сама думаю: как же этот чугун и, главное, чем я его разбивать буду? Разбить такое сложно. С другой стороны, понимаю, что главное сейчас — чтобы служба началась.

— Ладно, — выступаю я со всей решительностью, — я его разобью.

И несу чугун на кухню.
— Только разбить! — вслед мне отец Александр.

Отнесла я Мефистофеля на кухню и сунула в ведро. Господи, прости меня, — не разбитого. Каюсь, выбросила его таким, не пыталась разбить. Не пыталась и пробовать. А кто знает? Может, если по вере… Может, если бы по вере, дунула бы на него, и он тут бы и рассыпался в дым. По вере уж точно так бы и вышло.

Ну, мамочка тогда причастилась. Довольная. И уже после ухода о. Александра рассказывает. Был у неё на сердце все эти годы тяжкий грех. Было ей лет пять. Жили они в городке Старый Крым, в белой мазанке. Тяжело жили, голод тогда был сильный. И вот как-то утром заходит к ним во двор нищий, а мама видит его из окошка хатки. И идёт этот нищий прямиком к сараю, где их единственная курица располагалась, и забирает из-под неё яйцо. Мама как увидела это, так с криками к отцу: «Папа! Папа! Нищий наше яйцо украл!» Отец взял ружьё и вышел во двор, она сзади следом. И видит: стоит нищий, руку разжал, и в его тёмной ладони белое яйцо дрожит. Испугался он очень. Отдал яйцо отцу — и скорёхонько со двора, втянув голову в плечи.
— И я, — продолжила мама, — всю жизнь не могу себе этого простить. Ведь он же голодный был. Может, это яйцо ему бы жизнь спасло…

В общем, очень она была тогда рада, что батюшка отпустил ей этот грех.

Время прошло. Мама дальше болеет, то есть в комнате своей лежит, командует всеми потихоньку. Через месяц-полтора посылаем мы за о. Александром, просим его прийти, совершить на дому требу: маму исповедать и причастить.

Приходит в воскресенье о. Александр, оживлённый, громкий. Комнату, правда, оглядел. Проходит к маме. Я слышу из приоткрытой двери:
— Ну вот, было мне пять лет… и входит к нам во двор нищий и берёт у нашей курицы яйцо.

Отец Александр ей:
— Тамара, мы этот грех с тобой уже исповедали и грех твой тебе уже отпустили. Давай называй свои грехи.

Мама:
— А у меня больше грехов нет.

Отец Александр аж крякнул:
— Так у тебя что, может, уже и крылышки отросли?.. Давай, давай, Тамара, вспоминай грехи-то.

Маме моей подруги тоже уже за восемьдесят. Исповедуется дома священнику: «Ну что… не пила, не воровала, постов не соблюдала…»

Поехала я на квартиру к сестре. Умерла моя сестра от пьянства раньше срока. Соседи позвонили. Умерла в ночь. Была некрещёная. Приехала я на следующий день. Говорю с девушкой, которую она к себе подселила.
— Как, — спрашиваю, — это произошло?
— Вроде простыла. Эти дни много пила, злилась, ругалась. За сутки пить, курить перестала. В последнюю ночь кричала очень.
— Отчего?
— Говорит: черти у неё в ногах… тащат её…

Монах

Если увижу монаха, непременно возьму его за руки, за обе руки; может, немножко покружу его, чтобы выразить свою радость от встречи. Самое нежное — монах, потому что он — и брат, и сестра одновременно, опекает, как брат, и любит, как сестра. У Чехова в рассказе «Святою ночью» у монаха умирает его единственный друг, товарищ по келье, который имел дар редкий — акафисты писать. А в них слова необыкновенные: «древо светлоплодовитое, благосеннолиственное», «светоподательна светильника сущим». Не слова — а «цветы и молния и ветер». И в конце рассказа — на перевозе он не может оторвать взгляд от лица женщины, как самое мягкое, что есть вокруг, стараясь угадать в ней черты своего ушедшего друга. Нет, Чехов открывал такие двери, которые ещё никто не открывал.

Я знаю иеромонаха Романа. Он совсем слепой. А видела я его в первый и последний раз, когда мы с дочкой пошли на день памяти на могилку к старцу Сампсону на Архангельское кладбище. Подошли после обеда, часа в четыре, и по хвосту я понимаю, что очередь часов на пять, а то и на шесть. Ну, делать нечего, встали, стоим, отходим по очереди ноги немного размять. Я, если бы одна, и не стояла бы, но хотела попросить святого за дочку, чтобы найти ей друга хорошего. Потому что мне самой друзья не нужны, то есть мне просить об этом не надо. Более того, сколько раз я сама швыряла трубки, хлопала дверьми перед их носом со словами: «Ой, оставь ты меня, ради Бога!»

Один раз мама входит, не постучавшись, — я тогда, после того как вылетела из престижного института, жила в самой маленькой из коммунальных комнат, но в своей квартире. Входит. Влетает. А у меня — друзья, веселимся. Мама моя, надо сказать, просто факел. «Ты что? Тебе же к экзаменам готовиться надо! Совсем с ума сошла!» Вы бы её послушали. А зимой вдруг говорит: «А вот проститутки — какая хорошая работа, в сапогах красивых ходят». Нет, вы не поймите только чего-нибудь. Всё как раз наоборот. Когда в гостях ей наливали вино в маленькую рюмочку, она начинала хохотать, как заводная кукла в кудряшках, просто закатывалась, как такое может быть. «Ой, что вы, Пётр Семёнович, как можно, я же не пью… и глоточка, не уговаривайте». Самый оглушительный разврат громовым раскатом, если она окунала в эту маленькую рюмочку, чтобы только обмакнуть, свои губки-лепестки. А тут с размаху, зимой: «проститутки». «…Мам, ну ты даёшь!»

Стоим мы в очереди к старцу, я уже все свечки купила, под всеми иконами прошла. Вдруг одна тётушка к нам со словами: идите, мол, туда, там пока ещё отец Роман принимает, а то он скоро уйдёт. И махнула рукой в сторону. Я сказала Анечке:
— Подожди здесь, а я пойду посмотрю.

Рада любой возможности отойти, тяжело в очереди несколько часов стоять — во всяком случае, мне. Пошла в сторону, куда указали, и — действительно, на боковой аллейке очередь к монаху молодому, светлому, в чёрной одежде. Пригляделась и вижу, что он совсем слепой. И вот понимаю по отголоскам разговоров вокруг, что можно у него спросить о своём заветном, и он ответит. А так его нигде не найдёшь, он — в затворе. И будто бы в день своих именин старец Сампсон (в миру граф Сиверс) велел ему у могилки быть и людям отвечать.

Иеромонах Роман здесь с десяти часов утра и уже уходит, и якобы определили последнюю, за которой не занимать. Ну так вот за этой, за которой больше не занимать, уже выстроилось человека четыре, встала я пятой, на авось, как Бог даст. И чем ближе к нему, тем в очереди больше психоз. Все толкаются, в спину подпихивают, да крупные все такие: «стояла», «не стояла», «девушка, эту не пускайте, она тут не стояла». А о. Роман:
— Тише, тише, всех приму.

Тембр голоса — как шелест листвы, ни против кого ветерка нет. Время идёт. Он к женщине молодой, которая его сопровождает:
— Ну, когда же мы пойдём?

Вся очередь замерла. Она ему отвечает:
— Ну, постоим ещё немного.

Так и я подошла и дочку впереди себя толкнула — говорю, проси друга себе, а свою заветную мечту не сказала ему.

Подошла моя очередь. Встала перед ним, голову наклонила, чтобы никто не слышал, и говорю ему:
— Хочу, чтобы у дочки всё сложилось, и нашла себе… хорошего.

А он в ответ спрашивает:
— А она хочет?
— Хочет, хочет, — заторопилась я, — конечно, хочет.

Помолчал он, поднял голову и устремил невидящий взор свой «горе», как говорится. Молчит. И я замерла. А он как бы спрашивает кого-то и ответа ждёт. Потом — мне:
— Не надо ей тебе никого искать. Придёт время — она сама себе найдёт.

Я только одно слово вставила:
— Хорошего?

Он — так же мягко:
— Хорошего.

И мы уже и к Сампсону достояли, и записки отдали, и обратно уже уходить, а он всё ещё людей принимал.
— Ну что же, когда же мы идём? — спрашивает у сестры.

И всё так тихо, такое смирение, Божечки ж ты мой. Именно что цвет небесный, «сеннолиственный». И вот повели его на выход после двенадцатичасового стояния, и он благословляет, и я — к нему под благословение и мысленно уже своё желание тайное говорю, а он так медленно меня перекрестил, с такой нежностью невыразимой, и как бы кому-то другому говорит, а я понимаю, что — мне:
— Людей не надо бояться. От людей только хорошее.

Нерешительность — моя печаль. Я сто раз передумаю, прежде чем к кому-нибудь обратиться, позвонить по делу, медлю, и мысль позвонить переходит в мысль: завтра сделаю. Конечно, мне тогда он это, голубчик, сказал, мне. И ещё сказал:
— Не расстраивайтесь те, кто не подошёл, спрашивайте меня внутренне, и я вам отвечу.

Что может быть роднее монаха, не знаю.

Крест

Дмитрий Солунский — воин. Мозаика XII века из собора Архангела Михаила Златоверхого мужского монастыря. В революцию монастырь упразднён. В 1935 году принято решено взорвать собор Архангела Михаила. Пока готовился взрыв, профессор В. А. Фролов, под свою ответственность, тайно перенёс несколько мозаик собора на цементную основу в чугунной раме. После одной из выставок мозаика осталась в Третьяковке.

Дмитрий Солунский довольно-таки легкомысленно опирается на щит, касаясь верхушки копья указательным пальцем; никакой готовности номер один. Удивительная, отмеченная мною, безмятежность.
— Так что его защищает? — неугомонная наша ведущая по залам древнерусского искусства.

А действительно, что, если сам он ничем особенно не озабочен. Так что или кто? Непонятно. Нам непонятно, хотя мы всем своим ментальным усилием и высшим гуманитарным образованием вперились в мозаику, но непонятно.

В другой раз приходится снисходить.
— Вглядитесь, общий фон фрески — золотой. Семантика золотого цвета — высший духовный мир. Золотой — цвет верховный, божественный. Это область Бога. Теперь внимательно переводим взгляд на одежду Дмитрия Солунского. Плащ — синего цвета, перевязь — белая. А на уровне груди, где доспехи, видите, тем же цветом золотым выложено. Почему? Да потому, что Бог его защищает. Художник от себя ничего не выдумывает.

Защищает. Как бы только это в себя вместить. Всё к тому, что к Богу надо быть ближе. Куда уж ближе, я и так ему в переносицу. Но это, конечно, в особые минуты. Так-то я далеко. А особые минуты случаются. Живёт внутри меня, в самой глубине, на дне шахты, в гнезде из сухих трескучих

сучьев, птица липкая Паника. И есть посвист соловьиный страшный, по которому вырывается она вертикально из своего колодца на погибель мою. Погубить хочет. Что нужно для этого? Какие такие обстоятельства? Да ничего особенного: войти в лифт либо спуститься в метро на эскалаторе. И чтобы вдруг—встал лифт скелетом в шахте или поезд мёртвой змеёй—в тоннеле. Тишина. Замерло движение жизни. О, вот тогда-то… «смотрят, ничего не видя, глаза, в ушах—звон непрерывный, потом жарким я обливаюсь, дрожью члены все охвачены, зеленее становлюсь травы, и вот-вот как будто с жизнью прощусь…» Но не любовное это бессилие, а самое—зоологическое. Раскрылись пещеры Ужаса. Полетели доли минут, доли моей жизни. И одно только остаётся мне—быть к Нему ближе.

Оттирая испарину со лба, расстёгивая трясущимися пальцами всевозможные пуговицы, освобождаясь—не стесняясь, руку сзади за спину,—от тесного лифа: «воздуху мне, воздуху…»—опустив голову, некуда ниже, начинаю—«Богородицу». Весь мир для меня теперь—внутренняя моя. «…Богородице Дево, радуйся». Голову ещё ниже. Сознание не теряем, держим себя. А птица Паника уже сзади поклёвывает, лапками по воротнику переступает, крылом сбивает, чтобы сползла я по сидению вниз, себя забыла, застонала, замолила: «О, как мне плохо. Спасите, плохо мне, помогите, откройте двери, воздуха, воздуха мне не хватает». Прочь, злая птица. Я ещё по точкам пройдусь. У меня—атлас дома, массаж точечный. Вот—«Богородице Дево, радуйся»—жму подушечку безымянного. Это сердце. «Сердце в груди бьётся, как птица». Так… «Богородице Дево, радуйся…» Мне хорошо. Спасибо, Пресвятая Матерь Божья. Мне хорошо. Помилуй меня. Сейчас поедем, сейчас тронемся. Тут и машинисты сутками работают под землёй, и другие служебные люди. И после смены на кухне всей семьёй чаи гоняют с баранками и сухарями, выбравшись из сумеречных тоннелей. «…Благодатная Мария, Господь с тобою…» А пещеры Киевско-Печерские такой тесноты в Лавре, в которых старцы себя замуровывали пожизненно. Забыла? Как узкими ходами с поворотами торопилась, выходила на свет Божий, удивлялась. Не могла отдышаться. Поезд стоит. «Господи, помилуй меня, грешную!»

И как это во мне одновременно за эти секунды столько всего передумывается, прочувствуется: одно дрожит, одно ожидает, одно гибнет, одно умоляет, одно цепляется, одно утверждает. Колёсики вращаются; что-то редкое, уникальное творится. «Господи, спаси и сохрани!» Доли, доли моего бессмертия перемалываются. Господи, Иисусе Христе, спасибо Тебе! Я к тебе близко. Я прямо-таки уткнулась в тебя. Я увеличила тебя до таких размеров! Я просто прилипла к тебе, как муха к стеклу. Вот я просто—в переносицу тебе, своими зрачками—в твои зрачки. Никого и ничего, кроме Тебя. «Слава Тебе, Господи! Слава Тебе, Господи! Слава Тебе…»

Что-то, как будто ветерок какой под колёсами прошёл, следом звук, как море по камушкам… И вот—тронулся же ты всем составом, дёрнувшись ещё разок напоследок. «Поезд мчится чистым полем, чистым полем поезд мчится». Какой машинист молодец! Докатил недостающие метры до светлой станции. Слава Тебе, Господи! Доли моей жизни при мне.

Я—на эскалаторе. Поднимающемся. Сердце ещё бухает. «Голоса долетают через море до Киева. Игорь едет по Боричеву ко Святой Богородице Пирогощей, радостны земли, грады веселы».

Ну что я, в самом деле, такой растрёпой? «…Проходите, мальчики, проходите. Вам на переход? Это—в середине зала…» Надо и себя в порядок привести, застегнуться, крест на себе поправить. Крест свой спасительный рукой покрыть, ощутить, поблагодарить его, что не дал мне пропасть в подземном царстве. На улице морозно, и дел на сегодня ещё столько. Как же я к Тебе сегодня близко была, Господи!

До тебя я теряла много крестов. Может, и не теряла специально. Они как-то исчезали сами, не оставляя памяти. До тебя я покупала в свечных лавочках при храмах, на простых шнурках и витых цепочках, много разных крестиков, выбирая то самый гладкий, то узорчатый, то простой серебряный. Ты объявил себя неожиданно и сразу в такой полноте и красоте, что пытаться искать что-либо другое, передумать, бросить и уйти было немыслимо. Первая мысль, которая мелькнула у меня в голове, когда я увидела тебя: сколько бы ты ни стоил, я отдам за тебя любые деньги и полцарства в придачу. Цена же, которую запросил за тебя волоокий грек, в чью лавочку вывела горбатая улочка Керкиры, главного города на острове Корфу, оказалась на самом деле столь смехотворно низкой, что сначала я не поверила и ещё раз переспросила цену. Неужели за тебя… всего-то столько условных единиц?

Довольный хозяин—о несчастный, он расставался с тобой навсегда,—туго запеленал тебя в обёрточную вощёную бумагу, снабдил пакетиком и, заклеив поперёк узкой ленточкой прозрачного скотча, белозубо улыбнулся на прощание. Тут же, на пороге, я разорвала на тебе все твои одежды. Мне надо было немедленно увидеть тебя и отныне любоваться с той же необходимостью, с какой люди обычно дышат. Ты стал моим воздухом—и воз–духом. Любуясь тобой на одном из самых зелёных островов греческого архипелага, я не догадывалась ещё о твоей Силе. Красота же твоя нуждалась в аплодисментах. Когда Фрина, модель Праксителя, выходила из моря после купания,

греки встречали её выход аплодисментами. «И разве не известно,—писал Вазари,—что Никомед, царь ликийский, обуреваемый желанием приобрести Венеру работы того же Праксителя, истратил на неё почти все народные богатства?»

Я долго аплодировала тебе. Для нательных крестов ты довольно строен и высок—в длину моего мизинца. По форме своих граней тебя нарекают крестом расцветающей лилии, так обозначил тебя мастер-ювелир, работающий по крестам. По твоему стволу и рукам выбиты смеющиеся брызги света. Но всего этого недостаточно, чтобы так высоко ценить тебя. Этот жёлтый металл зримо проводит вибрацию радости. Я поднимаю тебя на уровень глаз, смотрю в сердцевинку, прямо в сердце, и не было ни одного раза, чтобы я не начала улыбаться. Обрадованный, радующий меня своей радостью, останься со мной подольше.

Я слышала от людей, что цыгане чувствуют тех, на ком есть крест, и ёрзают на полках, если сидят рядом. Похоже на правду, ибо с твоим появлением ни один цыган не приближается ко мне ближе, чем на километр. Они вообще куда-то исчезли из Москвы. А раньше—табором на газонах. Да ладно, что цыгане? Даже воры, вынесшие полквартиры, уважительно положили тебя на место, чуть ли не протерев тряпочкой, вынув, правда, из твоего золотого ушка цепочку, которую я подобрала для тебя в той же Греции. Ладно, цепочку наживём, была бы любовь. Ты-то им не дался, коханый мой.

В любом храме я узнаю Спиридона Тримифунтского по жёсткой шапке из ивовых прутьев на голове. Самый большой чудотворец был всего-навсего простым пастухом.

Кавторанг

На Корфу благодарные жители подарили адмиралу Фёдору Ушакову золотую шпагу за то, что он отбил их от турок. У этой награды есть даже своё название: «Золотое орудие от греческой республики Семи островов».

Мой муж Николай, с которым я венчалась на Троицу в солнечном жёлтеньком храме митрополита Филиппа (и потом мы растеряли венцы), имел в своём роду почти адмирала—кавторанга, но какого!

Мы растеряли венцы, о чём я лично ничуть не жалею. Так вот, у Коли, которого со мною рядом больше нет, и я просто молчу и не хочу заводиться на эту тему, был славный предок. По-настоящему славный на всю Россию. Этим замечательным предком, которым стоило гордиться, был капитан Александр Казарский, что на маленьком 18-пушечном бриге «Меркурий» в Турецкую кампанию вывел из строя два турецких линейных корабля. (Смотри полотно Айвазовского «Бой брига «Меркурий» у берегов Босфора.) О самом бриге тоже не все знают. Бриг «Меркурий», двухмачтовый парусный военный корабль, появился в составе флота в 1819 году; предназначался для дозора и разведки. Судно построено по чертежам корабельного мастера Ивана Осьминина. Корпус брига—из крепкого крымского дуба. Ну, про его длину по палубе и ширину без обшивки не стану писать.

История началась весной 1829 года, когда бриг, крейсируя (так в донесении и прописано) у Босфора, обнаружил турецкую эскадру. Нашим кораблям был приказ отходить к своим портам, однако два турецких флагмана настигли менее быстроходный бриг. В итоге в неравном бою «Меркурий» одержал блистательную победу над противником, имевшим десятикратное превосходство в артиллерии и людях.

Черноморские моряки решили на свои собственные деньги установить в Севастополе памятник капитан-лейтенанту А.И. Казарскому. В 1835 году памятник—и это самый первый из всех памятников в Севастополе—был установлен на Мичманском бульваре. Бронзовая триера. На белом камне—лаконичная надпись: «*Казарскому, потомству в пример*».

В одну из поездок в Крым, в Севастополе,—Коля в белом костюме, я с сумочкой,—пошли мы как-то гулять по городу и специально зашли в морской музей. Остановились перед портретом А. Казарского. Переводя взгляд с портрета на супруга, я обнаружила «во внешнем» много сходства. Постояли у стенда адмирала Нахимова. В витрине моё внимание привлекла массивная подзорная труба и крохотная кофейная чашечка на два глоточка. Там же—модели парусников, фрегатов, яхт, среди которых—любимая яхта Николая II, красавица «Штандарт», строенная на датской верфи.

После столь славной победы судьба Александра Ивановича Казарского сложилась самым трагическим образом. Тотчас после триумфа Николай I определил его к себе во флигель-адъютанты на царскую службу, где тот скользил по паркетам два года. Собой адъютант был очень хорош, я теми же чертами очаровывалась. Увлёк знатную фрейлину—или она увлеклась, ребёнка увезли в Николаев, от той ветви Коля на свет появился. Позже Казарский был назначен ревизором, инспектором по инфантерии. Он, конечно, был неподкупен. Всё закончилось не так весело, как у Гоголя. В одной из поездок его отравили. Всыпали гигантскую дозу мышьяка в маленькую фарфоровую чашечку с кофе. Александр Иванович ни у кого принципиально не обедал, но от чашечки кофе, поданной барышней, не смог отказаться. Отравление было столь сильным, что в гробу он лежал чёрный, как уголь, с распухшим лицом, лопнувшими глазами, ступни ног отвалились, почернели даже аксельбанты и эполеты. Император, прочитав представление Бенкендорфа о его

смерти, начертал собственной рукой: «Слишком ужасно».

Все эти исторические подробности я вычитала из тоненькой книжечки, купленной в киоске музея. Брошюрка составлена капитаном 1 ранга в отставке Макареевым со товарищи, чужими людьми, которые озаботились, собрали в архивах факты, документы и издали на свои невеликие деньги на самой простой бумаге — о жизни и подвиге капитана 2 ранга Казарского А. И.

В конце брошюрки, наряду с рапортами и царскими указами, помещены выдержки из его капитанского судового журнала. И тут мне многое стало ясно — в частности, отчего наш флот долгое время побеждал.

Из рапорта Николаю I

Главного командира Черноморского флота и портов генерал-адмирала Грейга

«…Когда, по случаю замеченного приближения к нему неприятеля, командиром фрегата «Штандарт» приказано было каждому судну взять такой курс, при коем оное имеет наилучший ход, тогда бриг «Меркурий» поставил все паруса; однако сия перемена курса не могла отдалить его от преследующих. Лучшие ходоки неприятельского флота — 110-пушечный корабль «Селиме» под флагом капудан-паши и 74-пушечный «Реал-бей» под адмиральским флагом — настигали бриг чувствительно.

Видя совершенную невозможность избежать неравного сражения, капитан-лейтенант Казарский, собрав всех офицеров, составил военный консилиум, на котором штурман Прокофьев, как самый молодой, первый предложил взорвать бриг «на воздух». Вследствие того положено было единогласно — защищаться до последней крайности, и, наконец, если будет сбит рангоут или откроется в судне течь, то тот, кто из офицеров останется в живых, должен взорвать бриг, для чего был положен на шпиль заряженный пистолет. После сего, напомнив нижним чинам об обязанностях их к Государю и Отечеству, командир брига, к удовольствию, нашёл в людях решимость драться до последней капли крови. Упокоенный таковыми чувствами экипажа, капитан-лейтенант Казарский приказал открыть огонь из ретирадных пушек.

С корабля капудан-паши закричали: «Сдавайся и убирай паруса!» На сие ответствовали с брига при громком «Ура!» огнём всей артиллерии. Более трёх часов продолжали корабли непрерывную пальбу ядрами, книппелями, картечью. «Меркурий», действуя по 110-пушечному флагману правым бортом, перебил у него рангоут, после чего тот лёг в дрейф. Другой корабль продолжал бить бриг ужасными продольными выстрелами, но и сие отчаянное положение не могло ослабить твёрдой решимости храброго Казарского и неустрашимой его команды. Они продолжали действовать артиллериею и, наконец, счастливыми выстрелами перебили фор-брам-рею и левый нок фор-марса-реи, падение оной увлекло за собой лиселя. Второй неприятельский корабль пришёл в негодность.

В заключение капитан-лейтенант Казарский доносит, что он не находит ни слов, ни возможности к описанию жара сражения, им выдержанного. А ещё менее — той отличной храбрости, усердия и точности в исполнении своих обязанностей, какие оказаны всеми офицерами и нижними чинами, на бриге находящимися, и что сему токмо достойному удивления духу всего экипажа, при помощи Божьей, приписать должно спасение флага и судна Вашего императорского Величества.

Итак, 18-пушечный российский бриг в продолжение четырёх часов сражался с достигшими его двумя огромными кораблями турецкого флота, под личною командою Главных адмиралов состоящими, и сих превосходных сопротивников своих заставил удалиться».

Указ Государя Императора от 29 июля 1829 года на имя Морского Министра

«…18-пушечному бригу «Меркурий» за славные подвиги с двумя неприятельскими кораблями, дарован флаг со знамением св. великомученика и победоносца Георгия. Мы желаем, дабы память безпримернаго дела сего сохранилась до позднейших времён, вследствие сего повелеваем вам распорядиться: когда бриг сей приходит в неспособность продолжать более служение на море, построить по одному с ним чертежу и совершенным с ним сходством во всём другое такое же судно, наименовав его «Меркурий», приписав к тому же экипажу, на который перенести и пожалованный флаг с вымпелом; когда же и сие судно станет приходить в ветхость, заменить его другим новым, по тому же чертежу построенным, продолжая сие таким образом до времён позднейших. Мы желаем, дабы память знаменитых заслуг команды брига «Меркурий» и его имя во флоте никогда не исчезали, а, переходя из рода в род на вечныя времена, служили примером потомству.

Николай I».

Письмо,

посланное из Биюлимана 27 мая 1829 года, написанное штурманом «Реал-бея» оттоманского флота

«22 числа сего месяца вышли мы из пролива, чтобы взойти в залив Пендараклия на встречу одного отряда Русского флота…

Во вторник, с рассветом, мы приметили три русских судна: фрегат и два брига; мы погнались за ними, но только догнать могли один бриг в три часа пополудни. Корабль капитан-паши и наш открыли тогда сильный огонь. Дело неслыханное и невероятное. Мы не могли заставить его сдаться; он дрался, ретируясь и маневрируя со всем искусством опытного военного капитана, до того, что, стыдно признаться, мы прекратили сражение, и он со славою продолжил свой путь.

Ежели в великих деяниях древних и наших времён находятся подвиги храбрости, то сей поступок должен все оные помрачить, и имя сего героя достойно быть начертано золотыми литерами на храме Славы: он называется капитан-лейтенант Казарский, а бриг — «Меркурий». С 20 пушками, не более, он дрался против 220 в виду неприятельского флота, бывшего у него на ветре».

Приказы А. И. Казарского

На 1-е число марта.
С утра приготовиться к тировке такелажа и приготовить тир, чтобы в полдень, когда люди придут, не было ни малейшей остановки. Малярам непременно окончить гребные суда и всю к ним принадлежность.

А. Казарский

На 4 число.
Продёрнуть снасти для удобнейшей переборки команде. Баркасу с Дмитрием Петровичем ехать за крупой, и можно воспользоваться сим случаем, чтобы привезти ещё хорошего песку и забрать голики по взятой записке. Прочие работы — от г. вахтенного офицера.

А. Казарский

На 8 число.
В некоторые дни прописано в лагбухе так неясно и ошибочно; а притом столь дурным почерком, что невозможно разобрать, и многое пропущено. Как же лагбух есть документ, остающийся навсегда в команде для показания хода судовых работ, то на будущее время господа вахтенные офицеры озаботятся о верности того, что утверждают своими подписями, и будут призваны держать лагбух в исправности с подтверждением взыскания с виновных.

А. Казарский

На 12 число.
В продолжение ночи иметь паруса по силе ветра с должной осторожностью и обо всех переменах давать мне знать.

Поутру мыть брезенты холодною, а рубахи горячей водой, и потом палубу; но это начинать, смотря по состоянию погоды, а при худой не приступать.

Остальным людям из команды, которые не говели на прошедшей неделе, непременно отговеть к четвергу.

Капитан-лейтенант Казарский

Осьминин Иван Яковлевич — начальник корабельных инженеров Черноморского флота с 1819 по 1829 годы — построил:

в Севастополе:
- транспорт «Утка»;
- 18-пушечный бриг «Меркурий»;
- 12-пушечный катер «Сокол»;
- транспорт «Лебедь»;
- яхту «Голубка»;
- 10-пушечную бригантину «Елизавета»;
- 12-пушечный катер «Жаворонок»;
- 20-пушечный бриг «Пегас»;
- 36-пушечный фрегат «Рафаил»;
- 10-пушечную бригантину «Нарцисс»;
- 18-пушечный шлюп «Диана»;

в Николаеве:
- корветы «Сизополь» и «Пендераклия»;
- шхуны «Курьер» и «Вестник»;
- пароходы «Громоносец», «Подобный», «Везувий»;
- 120-пушечный корабль «Варшава».

Раба Божия

Попадаю на неделю жён-мироносиц.
— Назначение женщин — *умиротворять*, нести миро, перемалывать зубы ненависти в масло. «Сколько ненавидели, сколько сами обжигались об родителей…» — летят слова проповеди.

Да уж, ненавидеть — это я смогла… Эту программу я выполнила сполна. Близким и дальним объявить в глаза, кто они есть. Всю правду в глаза. Горькую? Уксус с желчью. Раскалённым маслом в глаза, чтобы знали о себе всю правду.
— Мы с вами — люди, взятые в удел… Кто в чём призван, тот в том и оставайся: холост — холостым, женатый — женатым, другого состояния для себя не ищи… «Тот в том и оставайся…»

«Ну пусть он полежит. Он же тебе не мешает». — «Как же не мешает? Он же пьяный. (Интересно, — уже про себя, — как же он мне не мешает и лежит. Днём мужчины не лежат)». И свекрови в трубку уже громко: «Лежит. Я его видеть не могу, как он лежит».
— Ну вот, наконец-то, — сказал о. Олег. — Наконец-то я дождался, когда вас обвенчаю.

Таинство свершается. В Троицу. Над нашими головами плывут серебряные венцы, над мужем — венец массивнее и выше, надо мной — пониже. Мы прошли за священником вкруг аналоя. На полу густо — веточки берёз. Ангелы протрубили: «И в горе, и в радости».

Дионисий полагал, что ангелы подобны искрящейся пыльце из золота, серебра или бронзы, либо красных, белых, жёлтых, зелёных самоцветов, или во всех оттенках полевых цветов.

Через три или три с половиной года, написав красивым почерком бумагу на имя патриарха, я заняла очередь на приём в канцелярию Патриархии.

— А мы развенчать вас не можем,—окинув текст глазами, благодушно, не торопясь, ответствовал епископ.

— Почему же?—протянула я в свою очередь так же благостно.

— Ваш гражданский брак расторгнут?

— Совершенно,—заверила я батюшку.

— Собираетесь ли вы в настоящее время вступать во второй брак, венчаться?

— Да нет, пока вроде не собираюсь.

— Патриарх (в тот год Алексий II) не благословляет на развенчание,—вздохнуло должностное лицо канцелярии.—Демографическая ситуация в стране сложная. В данный момент не благословляется.

— Но как же?—не отступалась я, полагая, что каждое начатое действие должно быть закончено.

— Даже если у вас будет бумага о развенчании,—всё ещё терпеливо втолковывало мне должностное лицо,—что это изменит? Патриарх же не протянет руку, не снимет с вас венцы. Таинство обратной силы не имеет.

— Но как же?—настаивала я.

Епископ посмотрел на меня, про себя, вероятно, произнеся бессмертную реплику из Чехова: «У вас на голове, мадам, табуретка или что?»

— Но всё-таки,—не унималась я.—Как же всё это теперь будет считаться в духовном смысле?.. Как же?—недоумённо прозвучало ещё раз моё вопрошание в стенах канцелярии.

— Ну,—вздохнул батюшка,—будет считаться, что вы свои венцы растеряли.

— Растеряли?..

На секунду я взвесила сие понятие в воздухе, согласилась и приняла его на грудь.

— Растеряли,—произнесла я почти громко вслух, перепрыгивая через лужи на обратном пути.—Растеряли венцы. И всё.

Мало ли я сколько в жизни всего теряла. В сущности, я была довольна походом в Патриархию.

Мой второй муж, который, как говорят, дан от людей, потому что тот, который от Бога, не пил и не курил, был очень хорош собой. У него была замечательная линия головы, особенно от виска к подбородку. Даже один весьма известный фотограф заметил, что у него чудо какое изобразительное лицо. Он, правда, никогда не мог самостоятельно взять себе ложку из кухонного шкафчика, а так и смотрел молча в тарелку, где в центре озерца из зелёных щей, бросив якорь, стояло бело-жёлтое яйцо. Однажды я специально не подала прибор, решив посмотреть: совершится ли какое-либо действие с его стороны? Ничего не произошло. Он смотрел в тарелку, будучи ничем, казалось, не обеспокоен. Не помню на какой минуте, не выдержав, я подсунула ему под руку ложку.

— Ешь!!!—отдала я приказ по армии.

Скажу в его защиту, он всегда охотно выносил мусорные вёдра. Конечно, мой красивый муж с аристократическими корнями совсем не должен был забивать гвозди; не думаю, что он знал даже, с какой стороны это делается. Его бытовая беспомощность была довольно милой. Спасибо той же армии, которая обучила его самостоятельно стирать носки, так что мне никогда не приходилось делать этого. Но это, пожалуй, и всё.

Я любила его, а он любил меня. Так что я даже однажды произнесла вслух—возможно, и сглазила:

— Знаешь, я так счастлива за тобой!

Имея в виду, что за ним, как за мужем. В какой-то степени за стеной. Но наш домик «наф-наф» не устоял. Между нами встал в свою вертикаль третий. Чужой. И всё рухнуло. До этого он долго, почти год, дремал, свернувшись зелёными кольцами, даже не выжидая, зная, что непобедим. Он дремал, поигрывая хвостом, давая нам возможность забыться и восклицать: «Ох, как же мы счастливы!» Он смотрел на меня своими подслеповатыми глазками с витража, встречая в холле наркологического отделения. Направо—наркоманы. Налево—алкоголики. Мужа уводили налево. И в первые дни рекомендовали приносить больше минеральной воды, потому что он спит и отдыхает.

Бедный, бедный Кока. Мне было жаль его. Сорвался. С кем не бывает. Надо будет написать ему ободряющую записку. Я напишу ему: «Милый Фодя...»—такие мы придумали себе имена, парочке счастливых зайцев. Заяц-муж с газетой «Советский спорт» на диване—Фодя, и зайчиха в клетчатом фартучке на кухне—Падя. «Милый Фодя, ты, наверное, сидишь на койке, свесив уши и опустив лапы; так вот, совсем не надо так сидеть, а напротив—приободриться. Всё будет хорошо».

— Не забудь, пожалуйста, в следующий раз пару пачек «Уинстона»,—Фодин голос в трубке был уже не таким глухо-безжизненным.

Жизнь продолжалась.

На какой-то очередной срыв в году я апатично смотрела в выщипанные бровки заведующей наркологическим отделением.

— Знаете,—с оттенком гордости рассказывала мне ладно подкрашенная заведующая,—наше отделение—одно из лучших. У нас все известные лежали, и не по одному разу,—Высоцкий, Шукшин...

— Ну вот,—не отчаивалась я.—Известные.

Не всё было так плохо в отделении, где лежал Фодя. Последний раз он нашёл даже там работу. Мужик, его сосед по койке слева, когда очнулся после капельницы, так проникся к мужу за его действительно лучшие качества: не грубость,

начитанность, футбольную осведомлённость,—что тут же предложил ему должность менеджера по продаже обрезной, необрезной доски из дуба и ясеня в своей строительной фирме. И, затопив, не без моего участия, наш семейный баркас, он вступил рабом на галеру. И мне казалось, он был счастливее, как когда-то на казарменной койке. Им командовал старшина, самому ему ничего не надо было решать, и его лисели провисали ровно настолько, чтобы плыть по течению.

Чтения

Разобрали крышу—и этого расслабленного, на верёвках, на его же постели, спустили Христу прямо на колени. И Христос сказал ему: «Возьми свой одр и иди»,—и тот пошёл. А в этих маленьких глинобитных домиках вообще окон не было. Было темно, жарко и ещё битком набито народу, потому что эти родственники или те, кто нёс того расслабленного, не смогли внутрь пробиться, но и не отступили—на крышу полезли. Но вот что интересно: когда они эту крышу разобрали (нанесли, между прочим, вред хозяину мазанки), то в комнатку хлынул свет. Свет вещественный и тот самый, фаворский, из сердец их, ратующих о помощи. И вышло так, что лучи их малых зерцал отразились от главного зерцала Бога—и реакция произошла. И расслабленный пошёл.

— Из алтаря выхожу с трудом на малый вынос,—отец Димитрий хочет сказать, как трудно ему выйти в мир, а не пребывать всё время с Богом.

Как он свидетельствует: «Священник Иоанн Шанхайский после литургии ещё час-полтора оставался в алтаре… медлил». И о. Димитрий хочет медлить, но надо выходить.

Матушка стоит в сторонке, беременная, как рождественская ёлочка. Скоро ещё один весёлый шарик закрутится на её веточках.

— Чтения в трапезной по четвергам—ни с чем не сравнимые,—это он так обычно говорит в конце проповеди.—Не забудьте про четверг, на этой неделе состоятся наши душеспасительные, ни с чем не сравнимые чтения.

В шутку, конечно.

И мне—в мир.

В Англии во времена Шекспира, в эпоху Возрождения, люди обладали удивительно развитым чувством колорита. Одна торговая фирма разослала список товаров, где были перечислены семьдесят четыре цвета. Один только серый цвет, который на языке символов означал: уныние, ошибка, обман, бедность, нагота,—имел названия: «цвет пепла», «цвет трубочиста», «крысиный», «жемчужный», «серый нищенский», «серый джентльменский».

И не «джентльменский» вовсе, а самый нищенский заполз и держит в плену. Если просто уныние—справляешься, а когда с тревогой… С тревогой—плохо.

Нет! Нельзя долго думать о плохом, нехорошо. Надо себе помогать и миру. Со слов нашего иерея: «Мир сам себя не может преобразить. Человек—единственный, кто может и призван к этому». Можно даже и до фаворского Света самому дойти, если очень постараться. Вот я и подумаю, будто мне хорошо, несмотря на то, что и день световой короткий, и ждут меня вялые ритмы жизни, как их обозвал Антониони, и наши продули счёт в футболе. Последнее, впрочем, ожидаемо. А я возьму и сделаю усилие, подумаю: «Мне—хорошо, и миру хорошо».

Даже вторая из главных заповедей—«возлюби ближнего»—начинается с глагола «возлюби», то есть давай работай любовью. А не так, что ты в зипун завернулся, отвернулся на своей телеге: только меня не трогайте, мне не звоните,—и правит кто-то за тебя туда, где всё одно знаешь, что пропадёшь. «Как прямо ехати—живу не бывати, нет пути ни прохожему, ни проезжему, ни пролётному…»

Отличная история, когда Христос, опустив голову вниз, чертит палочкой по песку, а к нему подводят блудницу. «Пусть первый бросит в неё камень, кто сам без греха». Чудесная—о Петре, который пошёл по воде за Христом, но засомневался и стал тонуть, и слова протягивающего ему руку: «Горе сомневающемуся, ибо он подобен пене морской». Но более других мне нравится притча, когда самаритянка буквально вырвала для себя излечение, самовольно прикоснувшись к его хитону. И он ведь сказал ей, что находится здесь для иудеев, то есть для своего народа. «Но и собаки кормятся крохами со стола хозяев». «Вера твоя…» Замечательно, как этой дерзостью она удивила Господа, и ему ничего не оставалось, как подтвердить её выбор.

Купила я себе ранней весной имбирный корень и начала употреблять его в пищу. Весной организм слабеет. А имбирь убивает микробы, чистит кровь, все про его лечебные свойства знают, и подруги подтвердили. Имбирный корень, который я принесла с рынка, был очень похож на картофельный клубень, такой же серый и невзрачный. Идут весенние дни. Режу я ему бока и тоненькими ломтиками употребляю в пищу. И вдруг в один прекрасный день, как говорится в сказках, только я отрезала от него кусочек и положила в рот, как заметила неожиданно для себя, что от моих действий он не уменьшается, а напротив, как бы увеличивается. На его противоположном боку появился какой-то холмик, бугорок, почечка некая образовалась, и из неё зелёненький язычок торчит. Изумилась я. То есть мой корень имбирный, для здоровья полезный, который я с одного бока ем, с другого растёт и даёт побег.

Взяла я тогда розеточку из тех, что под варенье, налила в неё немного воды, определила туда

клубень, поставила на подоконник и жду, что будет. И корень имбирный пока не ем, хотя по асфальту свинцовые дожди шлёпают и вокруг—много простуженных. Через два-три дня достаю розеточку и внимательно клубень разглядываю—и точно: язычок зелёный подрос и даже как будто поправился. Так я этому событию вдруг обрадовалась «Ах ты,—думаю,—мой лапатотенька!..» И мне уже захотелось ему и пальто прикупить. Подхватила я его под мышки и отнесла в свой палисадник на балкон—и определила к цветам. И напутствие ещё дала: «Живи,—говорю,—процветай!» Вот так: был кашей, а стал товарищем. Ну разве не его Вера спасла его? Его едят, а он с другого бока имеет дерзость зеленеть. И ведь остановил он мой ножичек. А про то, что я могу заболеть, я и думать забыла. Удивило меня чудо жизни, и сил во мне от этого намного больше прибавилось.

— В этот четверг, не забудьте, чтения наши «душеспасительные», последние в этом году. В субботу наш храмовый праздник—епископа Антипы Пергамского. Следующая неделя—«неделя о расслабленном»,—с улыбкой, привздохнув,—приходской праздник.

Отец Димитрий совсем не смущается своей бороды, а преспокойно касается её своими белыми тонкими пальцами. Ещё сидит боком и левой рукой подтягивает чёрную полосу рясы на правое колено. Привычка—или, может, он мёрзнет. В притворе храма, где сегодня проходят чтения и где греются две стройные ели, действительно холодно. Слева какой-то то ли сектант, то ли не пойму кто достаёт его своими вопросами, по большей части всё про нечистую силу.

— У самого маленького бесёнка на конце самого маленького коготка сил предостаточно, чтобы перевернуть всё на земле. Не играйте с этим.

— А хорошо включать мечтательность, интуицию?

— Ни в коем случае: выключать, а не включать.

Вопрос о сердце.

— Молитесь три раза, куда сердце склоняется. Я настолько рассеян, что моё сердце склоняется в сторону супермаркета или ресторана. (Шутит, конечно.) Себе доверять, своей интуиции—это чушь. Сердце надо заработать. Сердце—это духовное.

Голос из-за рядов:

— Эх, мне бы ваше сердце!

— Ещё не факт. Ой, куда я попало! Сердце моего духовного отца в соседстве с моей печенью не выдержит. Моё уже стонет!

— Батюшка, какие вы видите во мне грехи?

— Ничего не вижу.

Вопрос про Денницу. Вроде того, можно ли ему помочь.

— Он, Денница, сам себя определил в ад. Мы ещё пока с вами живём в мире возможностей. А тот мир—место, где нет возможностей. Почему Церковь не молится за самоубийц? Потому что с их стороны—это восстание против Бога. Бог положил родиться, жить. Вообще, мы не задумываемся над тем, что мы родились. И что это—чудо. Что живём—чудо, что умираем—чудо. Если человек определил сам себя в место, где нет возможностей, в отличие от этого мира, то есть ещё те, кто за него молится и может отмолить.

— Любите Господа уже за одно то, что дьявол—зол.

А зевает как широко. Что ж ты, дурачок, разве тебе бабушка не говорила, что надо мелко рот перекрестить, чтобы, когда зеваешь, нечистое-то и не влетело.

— Батюшка, какие вы видите во мне грехи?

— Ничего не вижу, кроме вашей серой рубашки.

— Я тоже ничего не вижу.

— Вот и хорошо...

Сидит, голову наклонил, мирянку слушает. Думает своим высоким лбом, своим куполом. Прекрасный и неприкасаемый Жюльен Сорель из Колымажного двора.

гмии

Воскресная служба закончилась, с высокой лестницы храма окидываю Колымажный. «И куда?..» На душе «мир всем»—и хочется длить ясную радость. Напротив массивная дверь музея на выход выпускает порциями посетителей. Может, в музей? Подышать его сжатым воздухом, мимо Перикла—к бирюзовым скарабеям и алебастровым ибисам...

Весь июнь хожу в музей им. Пушкина. Каждое утро поднимаюсь по парадной лестнице не посетителем—почти сотрудником, нанятым переводчиком для проведения выставки рисунков Федерико Феллини, знаменитого итальянского кинорежиссёра. Июнь 2007 года—душный, влажный. В музее дышать нечем, как в сауне, каждые полчаса выскакиваем на улицу, кто—курить, я—за глотком горячего колымажного воздуха.

В кабинете директора музея Ирины Антоновой—совещание. Размещаемся за большим старинным столом. Слева от меня директор итальянского музея в Риме, аналога нашего гмии. Я уже знаю, по секрету, чтó он хочет выпросить на выставку в Италию у Антоновой: Гогена. У нас лучшие его работы. «Доттор диретторе» её немного побаивается.

— О, Антонова! уна персона гранде!

Указательный палец вверх, в пропадающий в поднебесье лепной потолок.

— Сегретария ди Сталин!

Палец ещё более внушительно вверх—и запускается метрономом на мерное раскачивание. «Сталин» у него звучит как «Нерон».

Директор тарахтит по-итальянски. Я тарахчу перевод на русский. Директор перечисляет пункты договора. Римский музей и ассоциация Феллини берут на себя расходы...

На широкий стол из папки по одному выкладываются рисунки маэстро.

Госпожа Антонова перебирает листки с недолговечным фломастером, некоторые откладывает в сторону.
— Всё-таки к нам ходят дети, некоторые рисунки мы выставить не сможем.

Часть работ отправят в галерею на Солянке, туда же — и фотографии. Кроме рисунков, будут ещё костюмы из фильмов.

Феллини в работе был неуступчив, дотошлив. Ему был нужен какой-то именно тот единственный цвет. Он накупил дорогущего синего шёлка на рубашку для своего Казановы. Но в итоге синий шёлк не пригодился, кадр вырезали. Многие вещи мастерил своими руками. Он, кстати, разорял всех продюсеров, с которыми работал. Часто ругался с церковью. В то время, когда наши режиссёры обивали пороги ЦК и министерства культуры, Феллини обивал пороги кардинальских резиденций.

Выставка прошла удачно. Как-то, выйдя из музея, я зашла в храм, что напротив. Я уже знала, что туда перевели отца Димитрия, но ещё не знала, что это за храм, в честь кого. В притворе сидел отец Димитрий, на удивление — один. Мы были знакомы по Переделкино. После того как мы поздоровались, он предложил:
— Давайте я покажу вам храм.

Я подняла голову: ого, высокий, внутри — белый. У храма оказалась особенность — алтарь в алтаре. Вот так я и перешагнула порог.

Решаю: да — в музей. Гулять так гулять. Обойдя невысокую ограду, вступаю на просторную территорию ГМИИ с высаженными красными розами, тёмными елями, склонёнными лиственницами. Музей изящных искусств имени императора Александра III открывали 13 июня 1912 года в присутствии государя. Переименован в тридцатые годы XX века в ГМИИ им. Пушкина, именно в те годы, когда за всех гасил свет Пушкин. Основатель музея — Владимир Иванович Цветаев, архитектор — Роман Иванович Клейн, меценат — Юрий Степанович Нечаев-Мальцов. Великий меценат. Меценатство в России делом было обычным. Шереметьевы строили странноприимные дома, Куракины — богадельни, Голицыны — больницы, Демидовы осыпали золотом юный Московский университет.

«...Звонили колокола по скончавшемуся императору Александру III, и в то же время отходила одна московская старушка. И, слушая колокола, сказала: «Хочу, чтобы оставшееся после меня состояние пошло на богоугодное заведение памяти почившего государя». Состояние было небольшое: всего только двадцать тысяч. С этих-то двадцати старушкиных тысяч и начался музей». Рассказ, записанный Мариной Цветаевой со слов её отца.

В Петербурге Юрий Степанович Мальцов попечительствовал Морскому благотворительному обществу, Николаевской женской больнице, Сергиевскому православному братству и т. д., и т. п. без счёта. Субсидировал журнал «Художественные сокровища России», редактором которого состоял Александр Бенуа.

С чего у него водились деньги? В наследство от дяди ему досталась «хрустальная туфелька» — стекольные заводы, которые в ту пору как раз вывели из Подмосковья во Владимирскую губернию, на реку Гусь. Отсюда Гусь-Хрустальный.

«Не знаю почему, по непосредственной ли любви к искусству или просто «для души» и даже для её спасения (сознание неправды денег в русской душе невытравимо), — во всяком случае, под неустанным и страстным воздействием моего отца Нечаев-Мальцов... стал таким же его физическим создателем, как отец — духовным» («Музей Александра III», М. Цветаева).

Вклад Ю. С. Нечаева-Мальцова в музей был колоссален. Триста рабочих, нанятых им, добывали на Урале белый мрамор особой морозоустойчивости; когда же выяснилось, что десятиметровые колонны для портика сделать в России невозможно, Юрий Степанович заказал их в Норвегии, зафрахтовал пароход для их доставки морем и баржи для сплава по рекам до самой Москвы.

«Люди колоссальных, или «громовых», как говорится в здешнем купечестве, богатств, или лица, известные своей щедростью на приобретение произведений искусств, уклонились под тем или иным предлогом от помощи», — писал Владимир Иванович Цветаев. В сущности, Юрий Степанович Нечаев-Мальцов стал единственным жертвователем музея, внеся около двух миллионов рублей — две трети от его трёхмиллионной стоимости.

И когда из-за стачек встали его заводы, он ни рубля не урезал из музея.

В день открытия музея давняя приятельница профессора Цветаева, обрусевшая итальянка, пыталась водрузить на его голову лавровый венок. Увенчать за труды. Музей открывали в присутствии государя. Приятельница тянула профессора за рукав: «Иван Владимирович, вы должны встать и выйти, встать и выйти». «И он, как во сне, — вспоминала Марина, — встал и вышел, в чёрном, шитом специально для этого дня мундире с золотыми дубовыми или лавровыми листьями, и стоял у главного входа среди белых колонн».

«Хорошая работа, Иван Владимирович. Хорошая!» Я огибаю Цветаева и исчезаю в тёмной прохладе вестибюля.

Пяди

Интересно, что и Цветаев, и Нечаев-Мальцов — оба умерли в один и тот же год и ровно через год после открытия музея, в 1913 году. А Юрий Степанович Нечаев-Мальцов — так на сороковой день после смерти В. И. Цветаева, прямо как Андрей Рублёв

и Даниил Чёрный. Похоронили мецената на Новодевичьем кладбище, и на сегодняшний день могила его неизвестна. А тело Колчака, адмирала, после его расстрела 20 февраля 1920 года, спущено под лёд в приток Ангары, речку Ушаковка. И в Париже, на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, под номером шесть значится могила Александра Васильевича Колчака. Выходит, у них в Европе без тела есть могила. А у нас в России, с телом и нашим пространством, могилы нет. И—памяти нет. Так, опять, кажется, я вижу бревно в чужом глазу, то есть соринку, это в моём—бревно. Впрочем, что в моём, что в нашем—телега с брёвнами. «За свой ли грех судьба такая или за родителей»?—спросили у Христа. О, у нас в России много грехов за родителей… Удивим же мир своей кротостью и поднимемся на второй этаж к Пантократору. Икона приписана художнику Ангелосу, работавшему на Крите с 1430 года. Акстиос, Ангелос!

Ты смотришь на меня Пантократором с тёмной византийской доски—левая рука на Евангелии. Всю толщину книги между драгоценным переплётом мастер залил красным цветом. Сила Логоса. Юношей Эммануилом с глазами цвета пчелиного мёда и ушками, завёрнутыми виноградным листом. Большая богиня Хатхор с коровьими ушами. Через ухо вошёл Святой Дух. Берегите уши. Но я не об ушах. Я—о глазах.

С фрагмента Деисусного чина—вот-вот начнётся суд, и эта доска также отобрана в Третьяковку, с красной сургучной печатью Кремля «Самые ценные иконы России»,—Ты отводишь глаза в сторону. Иоанн Креститель чуть ли не торкает меня своим пастушьим посохом в лоб: «Покайся, пока не поздно». Богородица одесную с нежной заботой обо мне: «Ну, сделай ещё одно усилие, изменись». А Ты, Ты отводишь глаза в сторону. Ты даёшь мне время… «Да… потерпи на мне, Господи».

Я сторонюсь Тебя распятого. Я не люблю этот оттенок. В Европе этот цвет заполучил столько названий—цвет пыли, цвет пепла…

Я приветствую Преображение, когда Ты—в снопе абсолютного света. И, конечно, люблю Тебя младенцем. Маленьким тельцем золотого тюленя, золотым веретеном на коленях Богородицы. Тебя—в белом кульке, когда родители труся́т на осле в Египет, подальше от солдат Ирода. Тебя—юношей в синем хитоне на дороге среди людей. Ты будешь объясняться притчами, а они будут есть рыбу. Тридцать три года для того времени, кстати, почтенный возраст. Ты изгоняешь из храма менял.

Я видела достаточно православных храмов на Руси. Сказать Тебе по секрету, я пересекала алтарную часть «Спасителя», плавая в открытом секторе бассейна «Москва» в середине семидесятых. «Потерпи на мне, Господи». Я видела разрушенные высокие каменные храмы, слишком большие для маленьких деревенек, куда никто не заглядывает на литургию, кроме ветра. Заколоченные московские соборы, в чьих приделах десятками лет томились заводские склады, реставрационные мастерские. По «Золотому кольцу»—церкви без куполов с зияющими проёмами окон и снятыми колоколами. И знаешь, Господи, когда в Троице-Сергиевой Лавре в 1930 году снимали колокола, один упирался.

Из дневника писателя М. Пришвина:

«*1929. 22 ноября.* В Лавре снимают колокола, и тот в 4000 пудов, единственный в мире, тоже пойдёт в переливку. Чистое злодейство, и заступиться нельзя…

1930. 15 января. 11-го сбросили Карнаухого. Как по-разному умирали колокола. Большой, Царь, как большой доверился людям в том, что они ему ничего худого не сделают, дался спуститься на рельсы и с огромной быстротой покатился вниз. Потом зарылся головой глубоко в землю. Толпы детей подходили к нему, и все эти дни звонили в края его…

Карнаухий как будто чувствовал недоброе и с самого начала не давался, то качнётся, то разломает домкрат, то дерево под ним трескается, то канат оборвётся. И на рельсы шёл неохотно. Его потащили тросами… При своей громадной форме, подходящей к большому Царю, он был очень тонкий, его 1200 пудов были отлиты почти по форме Царя в 4000. Зато вот, когда он упал, то разбился вдребезги. Ужасно лязгнуло, и вдруг всё исчезло: по-прежнему лежал на своём месте Царь-колокол. И в разные стороны от него по белому снегу бежали быстро осколки Карнаухого. Язык Карнаухого был вырван и сброшен ещё дня три тому назад, губы колокола изорваны домкратами.

23 января. «Православный?»—спросил я. «Православный»,—ответил он. «Не тяжело было в первый раз разбивать колокол?!»—«Нет,—ответил он.—Я же со старшими шёл и делал, как они, а потом само пошло».

Может быть, Ты немного ещё потерпишь на нас?

И наконец, в Севастополе—храм Св. Владимира, неухоженный, в подвальной части которого под напольным крестом из чёрного мрамора покоится прах четырёх адмиралов России. И знаешь, пожалуй, я перечислю их имена: В. А. Корнилов, В. И. Истомин, П. С. Нахимов, М. П. Лазарев.

Адмирал достал своё золотое оружие—саблю (или кортик?)—и выбросил его за борт.

Я трепещу отца Димитрия. «…Оле воск… Оле…» Алая завеса в сторону. Явление Илии в тучах: «Гул! Празднословие!» Полыхнул в приход пламенем и скрылся в своей алтарной пещере. Все притихли. Маленьким детям зажали ротики и понесли из храма на крылечко.

Стоит перед нами иерей, проповедь будет говорить. Стоит вонзённым мечом, на две трети в пол. Линия плеч—полукруглым эфесом золотой

шпаги. Жители Керкеры подарили золотую шпагу адмиралу Ушакову, не проигравшему ни одного сражения, за освобождение от турок. У моего отца, кстати, были сабля и бурка, подаренные казаками за освобождение Кубани в 1944 году. Недаром он Кубань освобождал, свои земли казачьи. Осталась единственная карточка деда, где он в казацкой фуражке и в белом шарфе. В Первую мировою служил царю и Отечеству. Им, верно, ещё и завет Суворова толковали. «Не помолившись святителю Николаю Чудотворцу, оружия не обнажай, ружья не заряжай, ничего не начинай!»

Тут адмирал достал кортик (или саблю?) — золотое оружие, вручённое за оборону Порт-Артура, — и… шварк его за борт, как персидскую княжну… «так не доставайся же ты никому».

Японцы в плену оружие не отобрали, оставили. Наши припёрлись в очередной раз.

«Что есть у меня, чего нет у вас?» — бросил в толпу теперь уже красных матросиков адмирал, раскрывая перед ними свой чемодан со сменой рубашек и книгами.

Ах, какие лилии сегодня из вазы на полу — белоснежным салютом. Сами небольшие, с узким аристократическим запястьем. Белоснежные, как оперенье лебедей в метель. Хотя зелёный со стебля не хочет заканчиваться и ещё длится своим мазком, отзвуком в устье цветка. Если заглянуть в сердцевину граммофончика, из его сердца на тебя — зелёный. Но к середине лилия объявляет свою веру всей полнотой белого. За краем лепестков — покров воздуха. Я знаю символику цветка. Два вставленных друг в друга треугольника. Лествица вверх, лествица вниз. Восхождение и нисхождение.

— Так зачем архангел Гавриил пришёл сказать Марии, что её выбрал Бог?

Опять молчание.

— Ну зачем он протянул ей лилию, символ чистоты, целомудрия?

— …

Молчим. Выражение лиц — вроде думаем.

— Да чтобы узнать у неё: согласна ли она? Свобода выбора — величайший из даров…

Союз земного и небесного. Поймёшь это, а дальше тебя уже повезут, как на салазках. Колёса по орнаменту с лилиями быстро катят на ферапонтовских фресках.

Ничто сильнее, нежели запах, не в состоянии опрокинуть тебя в прошлое, ничто иное, как запах. В метро, в переходе, передо мной двое дачниц несут в сумке запах флоксов. И в ту же секунду я, десятилетняя четвероклассница, огибаю деревянное крыльцо и бегу по дорожке, мимо аккуратно высаженных флоксов, к будке, чтобы поздороваться с нашей лайкой Линдой, неприрученной дурочкой, убежавшей вскорости, помахивая навсегда своим хвостом-бубликом.

Самая красивая вещь на свете — адмиральская форма. Надо было жить в те времена, когда флот наш был во славе, — верно, во времена Ушакова. Когда Севастополь сиял. Адмирал при золотой шпаге принимает парад на Графской пристани. В окно — акации. И всё кругом так ясно. Во всём нашем государстве. А то у нас ясно только в храме. А за храмом — неясно, да и вообще все друг другу надоели. За границей русские друг от друга шарахаются. Дожили. А впрочем, всё по заслугам. Если тело адмирала Колчака подо льдом притоком Ангары плывёт к Байкалу, то всё очень даже ясно.

Тело ушло под воду, в твоём случае — под лёд. И в твоём случае даже не в первый, а — в третий раз. Тридцать лет назад, вызвавшись первым искать на ботах сгинувшую на Севере экспедицию барона Толля, перебираясь через полынью, ты провалился под лёд. Тебя выдернули за шиворот, но ты ещё раз ушёл с головой в гибельный стылый целлулоид арктических вод. В самую последнюю секунду кто-то схватил тебя за шарф; на берегу, на льдине кто-то отдал тебе своё сухое бельё. И это всё. С тех пор тебя мучили жестокие боли. Хронический суставной ревматизм.

На третий заход тебе не суждено было ни испугаться, ни ощутить на себе смертельный холод, ибо смерть уже пришла. В третий раз на своём собственном расстреле, как старший по званию, ты сам отдал команду: «Товсь… пли!»

Ну ничего, как-нибудь… на тебе был крест. Ты даже благословил своего сына, который оставался в Париже с матерью. Не знаю, кому достался твой золотой портсигар — очевидно, кому-то из охраны. В последней просьбе ты сказал: «Прошу передать в Париж моё благословение сыну…» — практически на ветер. И те, которых мы любим, наши враги, они, конечно, не догадались, что восточный ветер, верный адъютант адмирала, донёс его последнее распоряжение до Франции.

Звонница

Шатровая белая колокольня храма Рождества Богородицы в селе Поярково, куда меня завезли по дороге на Круглое озеро, строена во времена Алексея Михайловича. Вотчина боярина Артамона Матвеева. В смутные времена, когда отдельные отряды поляков, не заведённые Иваном Сусаниным в чащу, часто жгли окрест деревянные церкви, Матвеев, головной московских стрельцов (в бунт стрелецкий первым голову сложит под топориком Петруши), задумал строить на месте сгоревшей церквушки храм каменный и звонницу. На зодчество позвал итальянцев.

Сколько добирались до села Поярково гости фряжские, можно только прикинуть. Ежели сам Алексей Михайлович в паломничестве до Лавры пару недель проводил в дороге. Помолившись, утречком — из Кремля, на ночь с благодарственной

молитвой от разбойников и хищных зверей почивал в своём селе Алексеевское. И сколько раз итальянцы в той дороге на Русь стриглись, брились, нам неведомо, но вот они и в селе Поярково. Раскладывают на крыльце перед боярином чертежи, отвесы да циркули. Матвеев, правда, в голове свой дизайн имел. Хотел для храма своего от славы кремлёвских соборов, ну и закрутил эклектику. Посадил шатёр на куб на четырёх основаниях. Левая осела. И вот уже никто не помнит и самого Артамона, следов нет от его имения, а звонница стоит.

Стройная. Нарядная. Арочные проёмы нижнего и верхнего ярусов украшены висячими гирьками, парапет — полихромными изразцами. Храм славился церковной утварью. Из писцовых книг XVII века: «На престоле находился резной золочёный крест, два Евангелия: одно с чеканными серебряными и золочёными клеймами с изображением Спаса и Евангелистов, другое — в басменном (тиснёном) окладе, тоже позолоченном. Восемь резных подсвечников, украшенных листовым серебром, медная водосвятная чаша, два кадила, пять аналоев. На колокольне — десять колоколов. Богат был храм и церковными одеждами: ризы, епитрахили, оплечья, поручи, плены, покровы. Все из атласа, бархата, камки, парчи...» Судя по описи, очевидно, что XVII век был лучшим временем в истории церкви Рождества Богородицы.

Настоятелем храма в тридцатых годах был священник Сергий Третьяков, «безотказный наш», как звали его прихожане, но вскоре его арестовали и в 1937 году расстреляли, тогда же — последняя литургия. После закрытия церковь подверглась разграблению.

В 1938 году на колокольне гуляет ветер, в 1941 году на колокольне засел немец, корректировщик огня, — и, как признался местный старожил церковному старосте, снял он таки немца с колокольни: «Трое нас, мужиков, в деревне было, что заимели эту думку. Когда проходили под колокольней, только под ноги глядели. А из кустов, с берданкой — на звонницу. В общем, снял я фрица, а только до сих пор снится мне эта колокольня».

— А сейчас, — поднял голову староста, — филин на колокольне поселился. Каждую ночь прилетает. Всех ворон распугал. Сидит наверху и ухает, нравится ему там.

А кому его снять? Некому... Своих соколов Алексей Михайлович давно с собой в Москву увёз.

Удивило меня, что в этом, нестоличном, храме хранятся мощи великой княгини Елизаветы Фёдоровны.

О Елизавете Фёдоровне я давно хотела что-то вроде сценария писать. И киносценарий мой начинался бы так. Едут медленно в тумане по степи повозки, на которых деревянные ящики. Сопровождают телеги несколько человек, из которых один — казак из простых, и — монах, из бывших благородных. Неожиданно начинается сильный дождь. Казак скидывает с себя шинель и любовно, что непременно акцентировать, укрывает своею шинелью один из ящиков. И говорит такую фразу: вот, мол, в России — сколько земли, а трёх аршин не нашлось». А в ящике — останки княгини Елизаветы Фёдоровны. И эти ящики долгими путями, через Китай, как мы знаем, должны добраться в Палестину, до приюта св. Магдалины, где мощи княгини упокоятся.

В гессенском музее, на её родине, есть бюст мраморный работы скульптора Н. Трубецкого, который близок к её удивительной красоте. А ни один живописный портрет и ни одна фотография особой, тонкой красоты её не смогли передать.

Михаил Нестеров расписал её обитель синекрылыми ангелами по белому, по белой Руси. А всё равно не приблизился к её белому. Да и наш скульптор Клыков, которому я аплодирую за шинель на плечах адмирала Колчака, что как хоругвь, — но не «вперился» он (по выражению Иоанна Кронштадтского) в дух её.

У Елизаветы Фёдоровны украшений — своих, и муж её, великий князь Сергей, любил ей дарить, — было на большой ювелирный магазин. После убийства мужа (бомбой прямо в грудь, в сердце, так что это сердце потом нашли на крыше дома) разделила она драгоценности свои на три части. Одну часть в казну отдала, вторую часть — в наследство своим приёмным детям, а на третью выкупила участок земли на Большой Ордынке в Замоскворечье, чтобы строить там обитель. И любимым цветом её был белый. Есть ещё у меня в том сценарии сцена на балу маскарадном, что состоялся в 1903 году и на котором весь двор присутствовал в боярских костюмах XVII века. И Зинаида Юсупова на нём была в своих тяжёлых жемчугах. И будто бы на этом балу роняет княгиня свой платок белый батистовый с инициалами «Е. Ф.». Поднимает его с полу адъютант великого князя Сергея, тайно в неё влюблённый, после долгих мытарств он монахом её в последний путь провожает (в сценарии адъютант этот похож немного на Феликса Юсупова).

В жизни молодой Феликс многим был обязан Елизавете Фёдоровне. Она его любила, учила отдавать и благотворить, брала с собой в паломничество и душу ему выстроила. Вот у Феликса был хребет и сердце. Кем он был до семнадцатого года — «графчиком», по определению Валентина Серова, наследником баснословных богатств, которым и в семье не знали счёта, избалованным, эпатирующим Дорианом Греем, торгующим на аукционе в Архангельске живого белого медведя. И какая замечательная точка спустя пятьдесят лет, в Париже, на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, — один крест на всех четверых Юсуповых, от

недостатка средств прикупить участок земли. Ибо князь пустил деньги не на склеп—при желании мог бы быть золотой,—а спускал без счёта на своих соотечественников. И спустил. И за полвека, проведённых на чужбине великим утешителем для других, не терял ни хорошего настроения, ни остроумия, ни аппетита. Юсупофф's way.

Впрочем, земли хватило на всех. Сколько её надо? У одного казака в вещевой сумке были погоны и узелок с Донской Землёй. Кроме этого, у него буквально ничего не было, и, ложась спать, в Константинополе, он клал свою сумку под голову со словами: «Ну, слава Богу, на своей Земле спать будем!»

...Так вот, на том балу адъютант решает платок утаить и им любоваться—и потом я подумала, что платок этот у меня пройдёт через руки многих людей—и воров с Хитровки, и бомбистов, и в конце княгиня этим платком в шахте будет перевязывать раны князю Палею. Но стало мне ясно из записок, что раны она перевязала своим апостольником. И конечно, я уже не могла допустить такого искажения.

Великую княгиню первой сбросили в шахту живой. Шахта глубиной шестьсот метров. И упала она на уступ. Конечно, она лёгкая была. И какой-то тяжёлый латыш-исполнитель толкнул её в спину, в шахту лететь. Она и полетела ввысь, сначала голосом, который ввысь...

Стою у тёмной ели в храме Марфо-Мариинской обители, до её иголок дотрагиваюсь. У Елизаветы Фёдоровны на ёлках—украшения, снежинки из белой бумаги и ангелы.

Елизавета Фёдоровна покровительствовала воинству. И на рождественский концерт в воскресенье в Марфо-Мариинскую обитель приехал солдатский хор, на самом деле—инженерных войск. А у одного рядового, с самым простым лицом, можно сказать, рябого и курносого, оказался голос такой красоты и лёгкости, что все неаполитанцы закружились бы в тарантелле от счастья, позвякивая в свои золочёные тарелочки. И сначала слушали распевы Бортнянского. Потом рождественские колядки, «Христос рождается...». А на бис—«Боже, царя храни!».

Из дневника наследника: «За завтраком пели казаки. Были и пляски».

Мальчик, о котором нечего сказать и который сам мало говорил. Почти не улыбался, редко смеялся, чаще стонал. Больше лежал, нежели ходил. Никогда не прыгал, не носился со сверстниками, не крутился волчком. Мальчик в матроске, царской крови. Цесаревич. От «цесаревича» веет византийским ветерком. Багрянорождённые—то есть на пурпурных пелёнках. В пурпурных пелёнках имели право рождаться только царские дети. В Третьем Риме пурпур обернулся неостанавливаемой струйкой крови. Здоровая кровь Романовых не одолела больную гессенскую. Гемофилия. Рано поседевшая мать и плачущий отец.

«Это было самое прелестное дитя, о каком только можно было мечтать»,—писал его воспитатель Пьер Жильяр. Наследник боготворил отца и нежно любил мать. Она же гордилась его красотой.

«Душка, моя мама. Сегодня синее небо. Кошка лежит на диване, а Джой (собака) у неё искал блох и страшно её щекотал. Если тебе надо Джоя, чтобы он искал блох у тебя, я его пошлю, но это стоит 1 р.».

«Дорогая моя, милая мама. Был в церкви. Папа, как всегда, в штабе. Котик лежит на диване и играет сам с собой».

«Ненаглядная, моя душка мама. Нога отдохнула, и ей гораздо лучше. Даже был в церкви, а сейчас в штабе. Храни вас всех Господь!»

Поражавший всех своей скромностью. «А куда мне теперь можно пройти?»—бледненький, выходя из автомобиля. Приезд наследника в Ставку в 1916 году.

«Наследник дисциплинирован, замкнут и очень терпелив» (П. Жильяр).

Даже слишком. Не крикнувший: «А как же я?!»—после того как его оповестили о том, что его отец отрёкся от престола. Спросивший только, густо покраснев: «А кто же теперь будет?»—«Видимо, никто...»

В России мальчики не нужны.

В России мальчиков забивают, ещё с Бориса и Глеба. Ещё—с Углича в парчовых одёжках. Что—в Питере, в серых шинелках, что—этого четырнадцатилетнего, в форме ефрейтора, в ипатьевском подвале.

«Слопала-таки поганая, гугнявая, родимая матушка Россия, как чушка...»

Таким он и остался, в матросочке и бескозырке с надписью родной яхты «Штандарт», в окружении белых царевен-сестёр в рамочках Фаберже, тёмной молоденькой ёлочкой в тени высоких берёзок. Его молочный зубок—крохотная речная жемчужинка, утопленная в доску небольшой тёмной иконы храма Николая Мирликийского в Пыжах на Большой Ордынке,—единственная реликвия.

> ...«Послушайте, маленький,
> Можно мне вас тихонько любить?»

Когда все уже плавали в багрянце на полу ипатьевского подвала, наследник единственный всё ещё оставался сидеть на стуле (оставался живым, со слов участника казни А. Стрекотина), и надо было ещё стрелять в него, в голову и грудь, прежде чем он упал, окончательно вернувшись в горячий и солёный царский пурпур.

И что? Мы в России имеем право просить себе—на счастье? В каких же это, интересно, молитвах?

После концерта высыпали на широкий двор обители и по тропинке, протоптанной в снегу, заспешили в дальний угол к полевой кухне, где

отведали походной еды—перловой каши с тушёнкой. Запили горячим чаем. Вышли из ворот обители—как будто побывали в гостях у княгини.

Когда по Замоскворечью, по сугробам, пробираешься то ли в Третьяковку, то ли в Марфо-Мариинскую, как будто всё—ещё до всяческих революций. Дух серебряный в Замоскворечье сохранился. Флакон уже пуст. А аромат от хороших духов сохранился.

Крымские розы

Когда-то очень давно, в своём маленьком детстве, я жила в жёлтом Китае, как канарейка. У меня было жёлтое платьице. И родилась на берегу Жёлтого моря. Много жёлтого. Домашний лохматый сеттер был чёрный и дурной от слишком большой любви ко всем, высунутый красный язык, ходящие бока, в глазах и ушах—готовность тотчас исполнить любой призыв: сидеть, служить, бежать.

Папа был главный в китайском доме. Но он был главным не только для нашей семьи в доме с рогатой крышей. Он был главным для всей Поднебесной: от высоких снежных Тянь-Шаньских гор до широкой полноводной реки. Защищал жёлтое китайское эмалевое небо от вражеского японского красного солнца. И не приходил домой, как обычные люди, а, заходя на посадку, подлетал. Интересно, что, отрицая Бога, поминая его в чёрные минуты, он был вызван к жизни именно Богом.

Отец Илларион, приглашённый отслужить молебен на дому в бедном весёлом дворе Тифлиса, с тем чтобы родился мальчик, поставил единственное условие: родившегося младенца мужеского пола, по достижении нужного возраста, отдать в семинарию. Молебен был отслужен. И мальчик родился, когда кругом всё уже рушилось, но Небо он всё-таки получил.

Ангел, которого высокодаровитый Бог щедро скинул ему на правое плечо аксельбантом, был, разумеется, флигель-адъютантом—храбрым, весёлым, удачливым. Как и должно по рангу, адъютант был расторопен и скор. В распахнутой кожанке он носился от «дутика»—хвостового колеса—к пропеллеру, чтобы крутануть его за лопасть ещё разок… трррртттт… ттт… тт. «Аллюр три креста!» Высоко и ладно он носил отца по первому небу, раздвигая перед носом его среднего бомбардировщика кучевые и разноперистые облака. После рулёжки лёгким щелчком выбивал из серебряного портсигара папиросу с жёлтым пахучим китайским табаком и, сдвинув шлем на затылок, закинув голову в небо победы, весело смеялся.

«Наш генерал чрезвычайно остроумен, и служить под его началом—легко и приятно». (Голос подчинённого из далёких, пожелтевших воспоминаний 1944 года.)

В мою домашнюю армию входили пузатый мишка, тряпичный петрушка, кот из шёрстки, бронированную технику представляли рикши с запряжёнными в них обезьянками. «Надо победить! Надо победить всех!»—кроликов в загоне, сестру, манную кашу. Надо свистнуть Пирата и идти к воротам встречать отца. А вдруг он придёт сегодня не в глубокую ночь?..

А? Что? Да, конечно. Помилуй, Господи, передаю свечку на… Так как же я могу быть ближе к Богу? Ближе к небу? Ах да, я куплю самолёты и размещу их в своей рабочей комнате. Да, я поеду в самолётный музей, накуплю моделей самолётов—тех, на которых летал мой отец, в первую очередь,—и поставлю их на полки. Так я буду ближе к небу. Я стану смотреть на самолёты и невольно поднимать голову к небу. Всё начинается снизу. Я начну с самой нижней ступеньки лестницы, которая ещё на уровне земли, и то, что ты на ней стоишь, высоту ещё не чувствуешь, и кажется—ничего не меняется, но под тобой—уже ступенька, палочка, жёрдочка и луч. О седьмом небе никто ещё не говорит. Пусть это будет первое небо, даже подготовительное небо, по которому летают галки, вороны и самолёты. Я ведь всегда замечаю белую полоску за самолётом, для меня это росчерк и подпись отца. Он расписывается по небу, и я каждый раз киваю ему головой и говорю: «Привет!» Это—небо. Ничего. Сначала отец… И, может быть, в конце всех концов—тоже… Отец?

Ну что всё глазеть вверх? А что—под ногами? В вазах—розы. А на иерее—лиловое. По фону золотые розы вышиты. Особая служба, верно. Розы гобеленовые, французского шитья. Мохнатые, богатые, лионских ткачей. То прадедушка через меня глядит, каждую строчку взглядом провожает, оглаживает, чтобы всё ровно по чину, ладно, чтобы строй службы не нарушался, достойно шёл. Акстиос! Достойно!

Розы Крыма. Они были на моей соломенной шляпке, когда мне было шесть лет, срезанные восхищённым садовником военного санатория для красавицы мамы. Их очевидный, стоящий наполненным парусом над цветком аромат, пронизанный полуденным зноем Крыма, навсегда связался у меня с родным, маминым.

В Крыму розами занимались. Ещё пару столетий назад, с целью создать в имении Мелас, что на южном побережье, роскошный розарий, его владельцами был выписан из Германии искусный садовник. С помощью Божьей, своего таланта и благодатного таврического климата довольно скоро количество сортов было доведено учёным садовником до астрономической цифры. Старик-немец так и хлопотал над бутонами, пока его не сняли буквально с клумбы, в длинном фартуке, с садовыми ножницами, нагрянувшие сюда в крымскую кампанию французы и англичане. Не обнаружив никого в имении, они прихватили с собой чудака-немца как военный трофей или

как реликтовую единицу. С тех пор осиротевшие розы Меласа были предоставлены в основном Божьей милости. Заехавший в своё имение после Крымской кампании поэт, граф Алексей Толстой, в компании братьев Жемчужниковых, оценив красоту тех мест, воспел их в стихах. Один из лучших розариев был и у Юсуповых в их Кореизском имении.

Крымские розы скромно, где-нибудь островком в скверике,—в посёлке Приморье или в Коктебеле. Я подхожу к ним, чтобы признать, вдохнуть их тёплый привет и, наклонившись пониже, спрятать увлажнённую память, потому что я помню этот сочный рубенсовский дух с детства, в котором я пребывала так недолго и в котором эти срезанные бутоны мне были так не нужны на круглых полях моей соломенной шляпки.

В совхозе «Крымская Роза» под Симферополем—братская могила, где в Отечественную упокоились после расстрела мои бабушка и дедушка. Белые лепестки сорта «Rosa Alba»—их последние светлые и лёгкие одежды

Наш храм—наш улей. Протоирей Владимир, иерей Димитрий—золотыми пчёлами. Мы—пчёлками бурыми, ведомыми. Мы следим взглядом за «золотыми»—куда они, туда и мы. Они смотрят на восток—и мы глядим на восток. Мы поворачиваемся за дымами каждений и выходим на высокое весеннее крыльцо, как на верхнюю палубу, чтобы следовать за их парчовыми спинами крестным ходом вокруг нашего улья.

И сегодня—долгие лилии на полу в простых стеклянных вазах. Зелёные стебли притихли в воде, зато в эфире, в мире бутонов и лепестков, вершится самое оглушительное цветение. Если бы мы смогли, как в замедленной съёмке, узреть, как узкие бледно-зелёные бутоны, расширяясь, освобождаются, будто от зимнего надоевшего пальто, и выстреливают наконец белой парадной адмиральской формой,—о, как бы мы все возликовали на нашей палубе и как бы обрадовались столь великому чуду.

И сколько ещё этой невидимой жизни в храме под куполом—в свечах, окнах, балках, даже в коврике на полу. В свечах особенно. В подрагивании их пламени есть что-то от щебетания. Такой щебет поднимают птицы на рассвете за секунду до того, как из-за фиолетовой горы вывалится солнце над морем. Язычки пламени «мерами потухающими и мерами возгорающимися»—тоже золотые пчёлки. Ну что ж, будем спасаться ульем.

Из обрывков давней кинохроники: адмирал Колчак—доли секунд—на палубе—рука за бортом кителя—корабельным орудием.

Да, я люблю адмиралов: Нахимова, Ушакова, Колчака… и что?

Как я могу любить храм, когда я никогда не была в нём, не переступала его порог до тридцати пяти лет? Как мне дотянуться до Христа, если я не понимаю, почему надо быть в храме на литургии? Каждое воскресенье. Каждое. В воскресенье мы ходили в цирк любоваться на арене сноровкой джигитов на белых лошадях. Не в воскресенье я слышала о полигонах, аэродромах. Я понимаю—развод караула. Я люблю слово «победа». Надо чаще восклицать: «Господи!»

«Господи, где Ты был, когда я была маленькой? Мои родители строили СССР. Строили замок на песке, ругаясь, проклиная друг друга и давая друг другу клятвы в вечной любви. Зарекаясь больше не обижать друг друга—и обижая, обижая и обижая…»

А теперь меня таскают, «расслабленную», чистые души, подставляя своё крыло, подталкивая то в окно, то на ту кровлю, то на эту. За Светом. Чтобы мне спастись и живу быть. Под свет. Под свет, а я сползаю… Градус любви должен быть выше. А памяти?

Я с ранних лет люблю солдатскую шинель. Складку на спине на этой шинели. Серые шинели в Крыму, уходящие в Чёрное море от красной телеги. Белые предпочитали в плен не сдаваться.

В детстве, далёком и сумбурном, когда мы маршировали по коридорам в повязанных красных галстуках, в мою не лишённую оптимизма эпоху, каппелевцы в чёрном были моими личными врагами.

Не выдвигаясь из шеренг, мерно чеканя шаг, с неотвратимостью тучи надвигались они на того, кто всегда впереди, на тачанке,—над головой хлопающая бурка—на командира уральской дивизии Василия Ивановича Чапаева. На Чапая и на пулемётчицу Анку. Впереди—офицеры в странного кроя кителях, галифе, на ногах начищенные до блеска сапоги. За неимением оружия, с девятого ряда хотелось в них плюнуть или зажмурить глаза. О, эти штучки кино! Не ложкой кинематографа расхлёбывать нашу историю. Пусть оно хвалится фрачным Максом Линдером, великим Чаплином, на худой конец—серенькой, но честной хроникой.

Лакированные сапоги на Урале. На самом деле на них были валенки, в которых было невозможно идти из-за намерзающего льда. Шли по заснеженной сибирской реке Кан. Белое полотно реки и неприступные берега. На реке из-за оттепели собиралась вода. Отдельные участки—по колено в воде: люди, повозки, лошади. Шли на Иркутск через Нижнеудинск, выручать Верховного Правителя адмирала Колчака. Как если бы ревнивые снега и торосы, ополчившись, решили преследовать его повсюду. То ли не смогли простить его вторжения в Арктику, научных изысканий, то ли, напротив, покорённые красотой и благородством адмирала, задумали оставить в своём ледяном плену навечно.

Головную колонну вёл генерал-лейтенант Каппель. Последний переход белых по Сибири—

Ледяной, с большой буквы, вошёл в историю как легендарный. Замерзающий лёд на валенках задерживал движение. Части дивизии Каппеля опоздали в Иркутск не по вине Владимира Оскаровича, которого к этому времени уже не было в живых. Опоздали отбить эшелон с золотым запасом и вызволить из тюрьмы адмирала Колчака.

Из воспоминания полковника Вырыпаева:

«При гробовой тишине пошёл снег, не перестававший почти двое суток падать крупными хлопьями; от него быстро темнело, и ночь тянулась почти без конца, что удручающе действовало на психику людей, как будто оказавшихся в западне.

Валенки не пропускали воду, потому что были так проморожены, что вода при соприкосновении с ними образовывала непромокаемую ледяную кору. Но зато эта кора так тяжело намерзала, что ноги отказывались двигаться. Поэтому многие продолжали сидеть, когда нужно были идти вперёд, и, не в силах двинуться, оставались сидеть, засыпаемые снегом.

Сидя ещё на сильной верховой лошади, я подъезжал к сидящим на снегу людям, но на моё обращение к ним встать и идти некоторые ничего не отвечали. А некоторые, с трудом подняв свесившуюся голову, безнадёжно почти шёпотом отвечали: «Сил нет, видно, придётся оставаться здесь!» И оставались, засыпаемые непрекращающимся снегопадом, превращаясь в небольшие снежные бугорки».

В походе генерал Каппель сильно простудился. Его, уже бесчувственного, внесли в дом. После осмотра случайным доктором оказалось, что у него обморожены пальцы на ногах. Надо было срочно произвести ампутацию. Инструментов не было. Ампутацию произвели ножом. Очнувшись ненадолго, пациент тихо спросил: «Доктор, почему такая адская боль?»

После этого генерал Каппель, который уже не мог ходить, ещё ставил ногу в стремя и верхом приветствовал солдат. От предложения перейти в чешский санитарный вагон генерал категорически отказался.

И ещё двое суток он, бессознательный, был на коне впереди войска, в объятьях у огромного детины-казака. Всё внимание доктора́ сосредоточили на обмороженных ногах и совсем упустили из виду его покашливание. Думали, что у него гангрена, однако генерал умирал от двустороннего крупозного воспаления лёгких. Одного лёгкого уже не было, а от другого оставалась небольшая часть.

26 января 1920 года его не стало.

Участник похода генерал Сахаров записал: «Смерть его среди войск, на посту, при исполнении тяжёлого долга—обязанности вывести офицеров и солдат из бесконечно тяжёлого положения,—эта смерть окружила личность вождя ореолом светлого почитания. И без всякого сговора, как дань высокому подвигу, стали называть все наши войска „каппелевцами“».

Подчинённые не оставили тело своего генерала. Гроб с телом Каппеля сопровождал отступающую армию.

Отчего бы нам не читать в нашем храме панихиду в январе по участникам сибирского Ледяного похода? Вполне возможно, наша тёплая память будет для них своего рода костерками на белой реке, возле которых они отогреются, поднимутся и пойдут дальше.

Не пойду нынче в музей, поеду-ка я после службы в Донской—протру фотографию и затеплю свечку Владимиру Оскаровичу и кто там с ним рядом…

Холодно как. Пламя свечи просто ложится от сквозняка. Я сама—как колеблющееся пламя. Такой сквозняк над Россией прошёл. Но я буду ходить в храм. И когда-нибудь вера выстроит свет моей свечи в струну. В меч и в «мир». И я начну слышать службу, быть в ней—и услышу слова:

«Грады наша и страны Российския от нахождения иноплеменных заступи и от междуусобныя брани сохрани. О Мати Боголюбивая Дево! О Царице всепетая! Ризою Твоею покрый нас от всякаго зла, от видимых и невидимых враг защити, и спаси души наша.

…К святей Твоей Церкви, молимтися, милосердный Господи, услыши и помилуй. Устроивый мир сей в славу Твою… Христолюбивым князем, боляром, и христоименитому воинству на поле брани и в разных походах за Православную Веру и многострадальное Отечество наше пострадавшым и убиенным… или в изгнании скончавшымся, Вечная память (трижды).

Благоверным людям страждущия страны нашея Российския во всех тяжких обстояниях их подаждь Господи на безбожническия козни крепость, от глада, губительства и междуусобных браней, благочестия же во Отечестве нашем возставление и Многая лета (трижды)».

Марат Валеев

Сталинский палец

Сколько Кешка помнил себя, всегда в небольшом и единственном скверике у отделенческой конторы их села годами стоял на своём постаменте аккуратно выбеленный Сталин.

Был он сравнительно небольшой—может быть, двухметрового роста,—в незастёгнутой шинели, сжимающий в левой руке, прижатой к бедру, какую-то свёрнутую папку или тетрадку, а указательным пальцем правой вытянутой руки показывал куда-то вдаль. Хотя—что значит куда-то? Стопроцентно—в светлое будущее.

Постамент Сталина был не особенно высокий. И если один пацан подсаживал другого, тот запросто мог взобраться к «отцу народов» и пообщаться с ним более тесно. Но мечта каждого из пацанов—вскарабкаться на распростёртую «отцовскую» длань и посидеть на ней—была совершенно неосуществимой.

Во-первых, высоко, и без специальных приспособлений типа лестницы или хотя бы длинной доски и думать об этом было нечего. Во-вторых, их всегда нещадно гоняли из этого сквера немногочисленные, но бдительные конторские служащие, начиная с одноглазого управляющего (со зловещей чёрной, как у пирата, нашлёпкой на отсутствующем зрительном органе) Копелева и кончая ворчливой техничкой бабой Лидой.

В сквере этом, огороженном штакетником, росли старые раскидистые клёны, гремящие сухими стручками колючие акации и густо разросшиеся кудрявые кусты крыжовника с крупными, похожими на миниатюрные полосатые арбузики ягодами.

Вот полакомиться ими пацаны и лазали сюда, а ещё поиграть в прятки и в войнушку. Сквер тогда казался большим (это сейчас от него даже и пеньков не осталось), и в нём можно было затаиться как «партизанам», так и «немцам».

Ну и, само собой, обязательно залезть на постамент к Сталину и поплевать с высоты этого положения на остальных.

Пацаны воспринимали его не как олицетворение вождя и соратника Ленина, Верховного Главнокомандующего и прочая, и прочая (хотя при этом и знали, что он когда-то был главным в стране), а просто как единственного в деревне каменного дядьку и потому относились к нему без какого-либо пиетета, что не нравилось взрослым и за что ребятню нещадно гоняли из сквера.

И вот в один прекрасный день, а вернее, утро, обнаружилось, что сквер очень изменился. Там чего-то явно не хватало, и от этого излюбленный пацанами скверик казался пугающе незнакомым.

Кешка как раз проезжал мимо на велосипеде по каким-то своим неотложным делам, и когда, приглядевшись, понял, чего не хватает, упал вместе с велосипедом.

А среди скверных зарослей клёнов и акации не хватало его белоснежной фигуры с указывающим в светлое будущее (или на того, кого надо арестовать?) пальцем—Сталина. От него остался один постамент с двумя торчащими изогнутыми кусками арматуры.

Каменный Сталин, многолетний, хотя и статический, соучастник мальчишеских игр, куда-то исчез. Как будто ему надоело днём и ночью, зимой и летом годами торчать на одном месте, сносить детские невредные, но всё же издевательства над ним, и он, с огромным усилием отодрав ноги в сапогах от своего постамента, сошёл с него и утопал куда-то. Может, в Кремль?

На самом же деле (сейчас это, конечно, все знают, а тогда—лишь единицы) решение о сносе памятников Сталину по всей стране было спущено свыше после выступления Никиты Хрущёва на двадцатом съезде КПСС с разоблачительной речью о злодеяниях отца народов за годы его правления в СССР.

И о том, что Сталин «ушёл» не сам, свидетельствовали оставленные ночью следы. Из ограждения сквера был выбит и затем снова наспех, кривовато, приколочен большой, метра на два шириной, фрагмент штакетника. А на земле остались следы волочения Сталина гусеничным трактором.

Они вели от сквера к главной деревенской (Центральной!) улице, через квартал сворачивали в переулок и вели дальше, за село, переползали через не асфальтированную ещё тогда автотрассу Павлодар—Омск и исчезали где-то в степи.

Позже говорили, что то, что осталось от Сталина после того, как его сдёрнули с постамента трактором при помощи троса, закопали в заранее заготовленной траншее где-то далеко-далеко за селом.

Проходящий мимо конторы народ внезапно останавливался и во все глаза смотрел на осиротевший сквер, на торчащие из постамента гнутые прутья. Ошеломлены и напуганы были многие. Кто-то плакал, предрекал едва ли не конец света — как будто Сталин умер повторно.

А кто-то и злорадствовал, хотя таких было совсем немного. Сталин и сегодня, грубо говоря, в фаворе ещё у значительной части населения. А в те годы — и подавно.

Но оставим эту лирику в стороне, а вернёмся к нашему герою.

Кешка, прислонив велосипед к забору и забравшись в сквер, подошёл к опустевшему постаменту. (Пустовал он, правда, недолго: на нём потом установили примитивный такой пирамидальный обелиск памяти погибших в годы войны односельчан. И он, конечно, ни в какое сравнение не шёл с памятником Сталину.)

Вокруг валялись бетонные крошки от сверженного монумента. Куски покрупнее были собраны в два цинковых ведра, которые стояли с тыльной стороны постамента. Кешка сообразил, что это их собрала конторская техничка баба Лида, чтобы затем отнести и ссыпать где-нибудь на задах, а сама зачем-то отошла.

И что-то подтолкнуло Кешку, чтобы он поочерёдно заглянул в оба ведра и увидел торчащий из одного знакомый бетонный, со стёртой побелкой, палец.

Кешка потянул и выволок из этого ведра кусок отколовшейся при падении сталинской кисти. Впрочем, кисти как таковой не было. Был кусок ладони, расколовшейся как-то по диагонали и сохранившей в целости оттопыренный большой и вытянутый указательный пальцы. Остальной части руки не было — наверное, осталась при туловище и была отбуксирована далеко за село.

Кусок сталинской руки был хоть и небольшой, но очень увесистый. Кешка стоял у постамента и с любопытством вертел в руках обломок этой каменной ладони с торчащим указательным пальцем.

— Ах ты, фулюган! Житья от вас нет! — услышал он вдруг визгливый голос.

Это из конторы спешила в скверик, с метлой в одной и руке и совком в другой, техничка баба Лида. Она уже открыла входную калитку и семенила по утоптанной тропинке к постаменту.

— А ну положи обратно, чего взял из ведра-то! А то вот я тебя щас метёлкой-то по заднице отхожу! И чё вас сюда, охламонов, тянет-то, а?

Кешка хотел было сигануть через забор и удрать из сквера. Но вместо этого почему-то пошёл бабе Лиде навстречу, грозя ей на ходу сталинским пальцем. А ещё он, как-то помимо своей воли, сказал с заметным грузинским акцентом:

— Э, женщына! Знай своё место, да?

Баба Лида захлопнула рот и, посторонившись, испуганно смотрела на мотающийся перед её носом каменный палец.

Не успев даже удивиться своему удивительному перевоплощению, Кешка спокойно вышел через калитку в основной проход к конторе, а оттуда — к прислонённому к забору велосипеду.

Баба Лида безмолвно смотрела ему вслед, согнутым в колечко указательным пальцем утирая уголки слезящихся глаз…

А Кешка со сталинским пальцем решил не расставаться, смутно подозревая наличие в нём какой-то необъяснимой мистической силы.

Дома он отколол молотком от уцелевших на каменной ладони большого и указательного пальцев ненужные, на его взгляд, выступы (ну как скульптор, который отсекает всё лишнее от своей будущей скульптуры), протёр следы сколов наждачкой и стал повсюду таскать с собой этот одновременно указующий и грозящий перст.

И вскоре вторым человеком, кто испытал на себе его неведомую силу, оказался Кешкин отец.

Уже начался учебный год, и Кешка, расслабившись за летние каникулы, что-то никак не мог включиться в учебный процесс в полную силу. И в итоге схлопотал жирную двойку по арифметике.

Мать её увидела, расстроилась и пожаловалась пришедшему с работы отцу. Ну а тот решил, что, видимо, лучшего стимула по отношению к ученическим способностям наследника, чем родительский ремень, быть не может.

И только он стал подступать к сыну, азартно размахивая сложенным вдвое выдернутым из своих штанов кожаным ремешком, как Кешка сноровисто нырнул в портфель и вытащил оттуда свой амулет.

— Но-но, нэ смэй! — гортанно сказал кто-то из Кешки, а сам он внушительно погрозил отцу сталинским пальцем. — Это нэправылный мэтод васпытания!

Отец чуть не сел на пол. Но удержался на ногах и, опустив ремень, обескураженно сказал:

— А как же с ним ещё… Двойка же…

— Всё равно нэ бэй! — назидательно сказал Кешка чужим глуховатым голосом. — Пагавары просто, папрасы исправить двойку…

— И он просто так исправит? — недоверчиво спросил отец, сам не зная кого.

— Исправлю, исправлю, вот увидишь! — заторопился Кешка, пока отец не отошёл от силы внушения, исходящего от каменного пальца, который Кешка всё ещё держал перед собой.

— Это чей? — наконец спросил отец, глазами указывая на то, что сынишка держал в руке. — Неужели *его*?

Указующий сталинский перст парил над конторским сквером не один год и хорошо запомнился всем.

— Ну,— солидно подтвердил Кешка, пряча палец обратно в портфель.

Удивительно, но батяня не только не предпринял попытки отнять его у Кешки, а вообще больше ничего не сказал. Кроме одного:

— Ладно, ты погуляй немного да садись за арифметику, а Зорьку я сам встречу…

(То есть — корову, с пастбища, что было Кешкиной святой обязанностью.)

В третий раз палец проявил себя очень своеобразно. Он заступился за Кешку в школе, когда уже после уроков на улице Колька Скосырев, не только на класс старше Кешки, но и на голову выше, просто так, от нечего делать, подставил ему ножку, и Кешка упал и здорово расквасил нос.

Колька стоял над Кешкой и ржал, довольный его плачевным видом. Он явно ждал, как Кешка отреагирует на его «шутку».

Конечно, надо было давать сдачи этому придурку, хотя Колька и здоровее.

«Вот сейчас, только подберу выпавший из портфеля палец, и если не побью, то хотя бы укушу эту сволочь Кольку Скосырева»,— ожесточённо думал Кешка, ползая по земле.

Размазывая кровь и слёзы злости по лицу, он вскочил с зажатым в руке сталинским пальцем. И неожиданно рука его сделала стремительный выпад и так долбанула этим самым каменным пальцем по лбу Кольки Скосырева, что тот, взмахнув руками, попятился-попятился назад, а потом и вовсе рухнул на спину, глухо ударившись затылком о землю.

От этого удара палец вырвался у Кешки из руки и тоже упал куда-то под ноги набежавших школяров и даже двух учительниц — Любови Викторовны и Тамары Николаевны, кинувшихся спасать лежащего молчком на земле, с закатившимися глазами и тут же взбугрившимся от вспухшей шишки лбом, Кольку Скосырева.

— Кто это его так? — запричитала завуч Любовь Викторовна.

— Вот он! — пискнула известная на всю школу ябеда Тоська Копенкина и показала на Кешку.

— Ты? — недоверчиво спросила Любовь Викторовна.— Чем же это ты его так сильно стукнул? И за что?

— Было за что,— буркнул Кешка.— А стукнул я его… Стукнул я его… Кулаком, вот! Пусть сам не лезет!

Колька уже начал приходить в себя, завозился, чихнул и сел. А Кешка продолжал искать глазами выпавший из руки сталинский палец. Но его нигде не было. Как сквозь землю провалился.

Может, кто подобрал в этой толчее? А может, он сам решил исчезнуть, от греха подальше, чтобы больше не искушать своими таинственными возможностями безгрешного ещё пацана?

— Ну, гад! — сказал Колька, всё ещё сидя на земле и щупая вспухший лоб.— Теперь берегись!

Но Кешка уже развернулся и понуро побрёл домой.

— Куда? — крикнула ему в спину Любовь Викторовна.— Я тебя ещё не отпускала!

Кешка махнул рукой, не оборачиваясь.

— Придёшь завтра с родителями! — продолжала голосить завуч.

Но Кешке было уже всё равно. С родителями так с родителями. Он чувствовал, что перестал бояться чего-либо или кого. Теперь даже и без сталинского пальца…

Ян Бруштейн

Первое вино

Жизнь с рыбами

Ещё в стародавние советские времена на улицах унылых и голодных провинциальных городов одномоментно, ближе к осени, появлялись огромные алюминиевые кастрюли с живыми рыбами. Возле них устанавливались разнокалиберные тётки с весами. И озверевший от доставания хлеба насущного народ резво кидался за диетпродуктом.

(Вот надо посчитать: сыну моему Максу недавно стукнул сороковник, тогда ему было пять, то есть это произошло примерно году в тысяча девятьсот семьдесят пятом. Ух ты, как раз мы с женой создавали трио «Меридиан»!)

Так вот, гуляючи с дитём, я, охваченный стадным чувством, тоже накупил толстых этих байбаков, сколько смог унести, и ещё Макс подобрал мелкого, полузасохшего на раскалённом асфальте карпёнка.

Повинюсь: двух рыб я, стеная и хватаясь за сердце, угрохал и пожарил сам, поскольку моя благоверная вокально визжала, когда видела, как куски карпа шевелятся прямо на сковороде. Но голод-то и тогда не был тёткой, и готовый продукт даже она с аппетитом умяла.

Ещё три рыбинки, что помельче, были помещены в ванну, где ловко заплавали в воняющей хлоркой воде. Туда же отправился и засушенный почти до состояния воблы рыбий ребёнок.

Сразу скажу, что он отмокал пару часов, потом задышал, наутро мы увидели его лениво плавающим кверху брюхом… опущу несколько стадий оживания… скоро карпик уже весело гонял по кругу, жадно оглядывая окрестности.

Сын немедленно назвал его Стёпкой, и выгнать ребёнка из ванной стало совсем невозможно. Кстати, остальные рыбы тоже получили имена, которые я уже совершенно позабыл.

С этого момента и начались наши серьёзные проблемы.

Мне придётся вспомнить ещё один случай, приключившийся совсем незадолго до того. Мы отдыхали в любимом нашем Коктебеле, тогда официально называемом Планерским. Однажды Максик с таинственным видом позвал меня и повёл кривыми коктебельскими переулками. Там на хилой лужайке паслась маленькая симпатичная овечка, привязанная к колышку бельевой верёвкой.

— Это Стелла,— сказало дитя,— мы с ней подружились.

— Хорошая,— одобрил я. И непедагогично добавил: — Давай её на шашлык заберём?

Ребёнок строго посмотрел на меня и с выражением сказал:

— Знакомых животных не едят!

Теперь вам понятно, что ни о каком поедании имеющих имена рыб речь уже не шла. Я поначалу робко предлагал отнести новых жильцов в ближайшую речку-вонючку, но в ответ слышал суровые напоминания о давно обещанной собаке и сдавался. Потихоньку наступили осенние холода, а потом и завьюжило.

Так они и жили в нашей ванне аж до весны. Весело плескались, плюя на хлорку, съедали в день по полбуханки хлеба, всю оставшуюся от завтрака кашу и, соответственно, успешно какали в эту же воду. Скоро старшие, как сказали бы сегодня, мутировали, выросли вдвое и стали похожи на крупных жителей океанских глубин. Хлорка действовала, видимо, как наркотик, и зверюги присматривались к нам весьма плотоядно. По крайней мере, выражение глаз у них было как у меня перед задержавшимся обедом. А недавний задохлик вырос до размеров вполне товарных и на жратву оказался самый злой.

Когда нам надоедало мыться в тазике, мы этих дармоедов высаживали в самую большую кастрюлю. Они не сопротивлялись и вроде даже радовались такому разнообразию в своей барской жизни.

…Привыкают люди ко всему, даже к аквариуму там, где обычные сограждане принимают душ. Сжились с нахлебниками и мы, общались с ними, играли, а ребёнка просто было от них не оттащить.

И всё же весной я собрал семейный совет и поставил вопрос ребром. Макса продуманно добил аргументом, что наши рыбы живут хоть и в сытом, но рабстве. Как будто в тюрьме. И сын сам предложил выпустить их в окраинное водохранилище, где даже официально разрешалось купаться.

В троллейбусе народ смотрел на нас с уважением, поскольку добыть живую рыбу не в сезон тогда могли только очень важные люди.

На берегу мы торжественно выпустили наших рыбин в неведомую вольную жизнь, с каждой

прощаясь уважительно, однако с облегчением. Макс долго не мог расстаться с подросшим Стёпкой, но и эта проблема понемногу устаканилась.

Домой летели как на крыльях. Нас ждали освободившаяся ванна и нетронутая буханка хлеба.

Через некоторое время среди городских рыбачков поползли слухи, что в тёмной воде водохранилища завелась «настоящая» рыба, с лопату величиной, что она не идёт на крючок, но по вечерам прыгает, как дельфин. А временами подплывает к берегу и смотрит на человека пристально, словно гипнотизируя. Один вечно хмельной рыболов даже утверждал, что она в сумерках высунула голову из воды и грубым голосом потребовала у него хлеба и каши.

Как я ругался матом

...Что касается мата—надо, чтобы он в литературе был абсолютно уместен и не мог быть ничем заменён,—тогда я его в текстах признаю. А не ради дразнения нервов пресыщенных дамочек на слэмах.

Я вообще по жизни практически не ругаюсь—разве что алкаш, мимо проходящий, вдруг на капот рухнет. Недавно так и произошло, и я рефлекторно выдал настоящий старшинский период, до глубины души поразив сидящую рядом жену.

Но были времена, когда я на инвективном языке попросту разговаривал.

В армии мне довелось служить замкомроты разведки, причём славное подразделение наполовину формировалось выходцами из Средней Азии. Ребята всё были хорошие, послушные, старательные, непьющие и чертовски выносливые. Одна беда: существенный языковый барьер создавал ощущение изрядной туповатости подчинённых. И я нередко срывался.

Был у нас повар Махмудурлы, палван—на их наречии «богатырь» Примерно метр шестьдесят на метр шестьдесят. Эдакий квадрат. Рука сгибалась только наполовину—дальше бицепс не пускал. На вопрос: «Как ты дошёл...» и т.д.—Миша—так мы его для простоты звали—отвечал:

— Ата (отец) бил пальван, бабай (дед) бил пальван, и Мищя—пальван... Наша камени...

Дальше Миша спотыкался, слово «поднимал» ему явно не давалось, и он только изображал могучие движения.

Потом, после дембеля, уже работая журналистом, я по заданию редакции объездил всю Среднюю Азию и видел эти камни, лежащие возле сельских дорог и отполированные множеством рук: от маленького, где-то килограмма на три, до гигантского, в половину человеческого роста. И надо было их поднимать по очереди, от лёгкого к великому, насколько хватало сил. Миша справлялся с предпоследним, чего, кроме него, никто не мог сделать.

— А большая камень только Аллах...

И Миша замолкал, безмолвно шевеля толстыми губами.

Как все большие и сильные люди, Миша был добр, но думал медленно. К тому же был невероятно упрям и половину команд то ли не понимал, то ли прикидывался. И всё норовил в солдатские щи насыпать присланные из дома жгучие специи. От этого малопривычные к такому жидкому огню славяне и я, примкнувший к ним еврей, выпучивали глаза, жарко дышали и матерились, а остальные киргизы-туркмены вкупе с кавказскими джигитами причмокивали и от наслаждения издавали восторженные междометия.

Я взрывался:

— Махмудурлы (так я его называл только в ярости), ты опять в котёл перца нахерачил, мать... мать... мать...

Глаза Миши наполнялись искренними слезами, и он начинал канючить:

— Мищя кусно делиль, Мищя карашо делиль... Мама не ругай, Мищя абидна...

И совал мне в руки стакан с компотом, который я и тогда беззаветно любил, да и сейчас им побаловаться не против. Я с облегчением вливал сладкую жидкость в горящее горло, и злость постепенно отступала.

Но однажды я за Мишу серьёзно испугался. Неукротимые наши джигиты подначили простодушного азиата на спор, что он не сможет съесть ящик сгущёнки. А в ящике помещалось—сейчас точно не вспомню, но не меньше сорока банок.

Надо сказать, что Миша сгущёнку любил, таскал её регулярно со склада и легко съедал сразу по несколько банок. Вскроет своим кухонным ножом, пальцем, похожим на сардельку, подденет содержимое—и в рот. А пустую банку—в помойное ведро.

...Славную компанию я застал на полянке. Все с восторгом следили за невероятным происходящим: Миша доедал сгущёнку. Вокруг валялись пустые банки, а припасённое ведро с водой было почти пустым. Глаза Миши помутнели, движения сделались неверными, он судорожно икал... но доедал-таки последнюю банку!

— Идиоты!—заорал я.—Мать... дышлом... в бога душу... он же помрёт! Махмудурлы, сволочь ты такая, быстро два пальца в рот!..

— Нися два пальцы, сгущёнка жалко,—простонал Миша.

— Махом в госпиталь, там тебя промоют,—и я бросился к телефону.

Когда приехали врач и два дюжих дембеля-санитара, Мишу уже никто не мог найти.

— Как зверь, ушёл помирать,—констатировал врач,—звоните, ежли что.

Махмудурлы появился через сутки. Где он отлёживался, никто так и не узнал. Но выглядел Миша испуганным, однако ж здоровым.

Караул с гауптвахты, куда Мишу закатал ротный, рассказывал, что наш повар три дня ничего не ел, только пил воду, а если сволочи-садисты предлагали ему конфету, бледнел и закрывал глаза.

Больше никто не видел, чтобы Миша ел сгущёнку.

На дембель мы уходили вместе. В вокзальном ресторане я выпил сотку водки, а Мише подарил бутылку «Буратино».

— Хороший ты, сержант,— сказал Миша почти без акцента,— не обижал никого. Только ругаешься сильно, плохо это. Душа пачкаешь.

И обнял меня осторожно, чтобы не сломать кости.

Приехав домой, я, отобедав, сразу принялся наглаживать сханыженную и припрятанную офицерскую полевую форму: девочки тогда военных любили, и можно было пощеголять аксельбантами да своими сержантскими погонами. И, осоловевший от маминых разносолов, въехал утюгом в собственную руку. Высказав непослушному агрегату всё, что я о нём думал, неожиданно услышал за спиной испуганное «ой» моей нежной интеллигентной мамочки. Она с ужасом смотрела на своего любимого мальчика — тощего, мосластого, загорелого, да ещё и матерящегося как извозчик. И тогда я встал перед мамой на колени и дал «честное сержантское» без дела плохие слова никогда не говорить.

И не говорю с тех пор. И не пишу, если смысл не требует.

Ещё — надеюсь я, что где-то в горах под Ургутом жив пока старый палван Махмудурлы и учит он мальчиков уважать Всевышнего и поднимать камни.

Салик

Его звали Салман, а дружески — Салик. Нам было по четырнадцать лет, и если я впервые попал в горы, он здесь себя чувствовал хозяином. Тем более что его старший брат Ваха был нашим инструктором в этом альплагере «Архыз».

Сначала мы подрались. Из-за девочки, по-глупому. Он мне ловким ударом разбил губу, а я, рослый и занимавшийся борьбой, так швырнул худенького горца, что тот попросту впечатался в землю, прошитую толстыми корнями архызских сосен. Потом долго прихрамывал и смотрел на меня страшновато, исподлобья.

Легкомысленная девочка, проигнорировав нас обоих, уже гуляла с высоченным московским задавакой, Ваха строго поговорил с братом, всё успокоилось, но Салик продолжал меня сторониться.

Пришло время первых уроков скалолазания. На учебной стенке — не слишком высокой скале — мы отрабатывали это непростое умение. Мне, увальню, горная наука давалась трудно. Тем более что в связку со мной Ваха (уж мне эта педагогика!) поставил более опытного брата. Его мрачная насупленность отвлекала и не давала сосредоточиться. А ведь от напарника в горах зависит всё, даже сама жизнь.

Первую стенку я как-то осилил, но когда мы перешли на более сложную скалу, произошло, как я теперь понимаю, неизбежное: я сорвался. Высота была плёвая, метров девять, но переломаться можно было серьёзно — это всё равно что сверзиться с третьего этажа. Однако маленький Салик, казалось, зубами вцепился в скалу, почти сросся с ней — и сумел меня удержать… Потом долго дул на ладони, обожжённые верёвкой, и что-то осуждающее ворчал на непонятном мне языке.

Почти всю ночь мы проговорили на веранде нашего домика — как прорвало! Я узнал, что Салик — нохчо, по-нашему — чеченец, что он живёт в чудесном городе Аргуне, что бабушка и дед остались после выселения в Казахстане. Он смешно вытаращил глаза, когда узнал, что я — еврей. Тут же торжественно сообщил, что в их школе любимый учитель — Рувим Моисеевич…

А на заре мы решили стать побратимами! Укололи ножиком пальцы, выдавили по капле крови на кусок хлеба, разломили пополам и съели. Не думаю, что это имело какое-то отношение к горским обычаям — скорее, было чем-то книжно-пиратским, из подростковых мифов.

Много лет потом мы нечасто переписывались и перезванивались. Виделись совсем редко, но всегда казалось, что расстались только вчера. Когда я служил в армии, Салик учился в пединституте в родном моём Пятигорске. Стал учителем русского языка и литературы в Грозном.

В начале девяностых Салман прислал мне письмо: «Начинается страшное. Снова будет Кавказская война…» Потом я узнал, что он погиб в девяносто четвёртом, во время первого же штурма Грозного, от шального снаряда.

Салман Талбоев, мой побратим, никогда не держал в руках оружия.

Первое вино

Вот, вспоминаю, как я впервые попробовал вино…

Нет, тот раз, когда я, мелкий первоклашка, в Новогодье хватанул с праздничного стола полстакана «водички», оказавшейся славной советской водочкой,— он не считается. Да я и не помню своих ощущений — проспал как застреленный почти сутки.

Но поскольку вырос я в благословенном южном городе, где сухого, да и «мокрого», креплёного винишка было хоть залейся, пройти мимо него я никак не мог. В самом прямом смысле.

Дело в том, что на углу широкой улицы, стекавшей с горы от Верхнего рынка к Нижнему,

рядом с которым я жил, и узенькой, ведущей к нашей маленькой двухэтажной школе, притулился глубокий подвальчик «Пиво и вино». На лестнице без перил, с выбитыми древними ступенями, плавал папиросный дым и кисловато пахло винным перегаром. Нередко, спускаясь в эту преисподнюю, приходилось перешагивать через дремлющих на холодке завсегдатаев.

Царил в чистеньком темноватом подвале немолодой армянин дядя Серёжа. Его безмерное брюхо, охваченное похожим на парус пиратского брига когда-то белым фартуком, упиралось в стойку. Руки с короткими, толстыми и мохнатыми, как гусеницы-переростки, пальцами всё время что-то тёрли, переставляли, считали и, конечно, наливали. Кому пиво, кому портяшку, а кому, из-под стойки, и водочки.

Тогда мы и не знали, что такой вот дядечка по-правильному называется богатым словом «бармен»…

Дядя Серёжа, правда, не сбивал коктейлей и таких слов, как «мохито» или «маргарита», слыхом не слыхивал, ограничиваясь славным сочетанием пива и беленькой. Зато он был знаменит своим умением открывать бутылки с местным «Жигулёвским»: неуловимым движением руки высоко выкидывал свой снаряд из-под прилавка, ловил другой рукой кверху донышком и незаметно сшибал пробку прямо над кружкой… Ах, как пенно текло это пиво в ёмкость, наполняя её больше воздухом, чем напитком! И выгодно было, и красиво.

Но этим вот небольшим жульничеством и ограничивалась невысокоморальность дяди Серёжи. Наш подвальный виночерпий был безусловным сторонником умеренности. Пьяным не наливал, лишнего не позволял. А уж ежели какой неосведомлённый забулдыга начинал рвать на себе нечистую майку и бросать в адрес благообразного армянина поносные слова, дядя Серёжа спокойно произносил: «Юрик, вынеси это…»

Дяди-Серёжиного племянника Юрика боялись все. Он почти не имел лба, говорил смутно и односложно, но обладал могучим торсом и похожими на столбы руками. Генетика ведь такая штука: в одном обожмёт—другого добавит сверх меры.

Юрик выходил из смутных глубин подвала и, несмотря на вопли и дрыганье объекта, выносил его на вытянутой руке туда, где лестница уходила в небо. И рваться назад, в винный рай, было совершенно бесполезно: Юрик мог и подзатыльника отвесить, а это было уже небезопасно для здоровья.

Меня в дядь-Серёжин подвальчик впервые завлёк одноклассник Серый, сынок местного кагебешного начальника—парень добрый и весёлый, однако шалопутный. Нам было по четырнадцать, но, здоровенные акселераты, мы надеялись сойти за совершеннолетних.

— Дядя Серёжа,—развязным голосом заявил Серый,—налей-ка нам по сотке «топориков»!

Замечу, что топорами тогда называли портвейн «777», весьма приличное пойло, за то, что цифры на этикетке были похожи на орудия палача.

— Ти еще малэнький, тибэ толко сухой можно,—возразил улыбчиво дядя Серёжа, плеснув нам в стаканы грамм по двадцать кисленького «Алиготе».—Деньги нэ надо, угощаю…

Так мы и повадились заходить в уютный подвальчик. Когда были деньги, выпивали немножко, заедая чудесными пирожками тёти Шушан, обожаемой дядь-Серёжиной жены.

— Знаете, что значыт Шушан?—всегда спрашивал наш виночерпий.—Лилия!

И он поднимал к сводчатому потолку свой могучий палец…

Если денег не находилось, мы просто играли с дядей Серёжей в нарды, слегка поддаваясь старому армянину, поскольку, по-детски радуясь победе, он угощал-таки нас и вином, и пирожками…

Потом я уехал в Москву, поступил в МГУ и вернулся в наш чудесный курортный город только через полгода, с треском и позором изгнанный из храма знаний за не те, не там и не с теми читанные свои стихи. Впереди были три года неизбежной армии. Но пока, в первый же день, я рванул поскорее к дяде Серёже.

Однако над входом в знакомый подвал уже болталась вывеска «Пышечная»—порождение очередной антиалкогольной компании. И я вдруг почувствовал где-то за грудиной—нет, не боль, а тихий звук, как будто невидимая ниточка из юности взяла и оборвалась.

P. S. Потом уже, после дембеля, я ненароком встретил на нашей улице Юрика. Он был одет чисто, но как будто сдулся, опал весь, плечи его ссутулились.

Из его мычания и редких слов я понял, что дядя Серёжа умер почти сразу, как закрыли его заведение. А тётя Шушан жива и кормит Юрика вкусной армянской едой.

Кирилл Анкудинов

Жук под соусом

В мартовском номере «Нового мира» опубликована статья известного московского литературного идеолога и организатора Дмитрия Кузьмина «Поколение «Дебюта» или поколение «Транслита»?».

Повод к этой статье таков: премия для молодых литераторов «Дебют» в прошлом году изменила свой формат — резко увеличен премиальный фонд, повышен верхний возрастной барьер с двадцати пяти до тридцати пяти лет. Первым лауреатом поэтической номинации «Дебюта» по новым правилам стал тридцатипятилетний петербуржец Андрей Бауман. Дмитрий Кузьмин недоволен этим решением; он полагает Андрея Баумана автором посредственным и несамостоятельным; Кузьмин желал бы, чтобы «Дебют» достался поэтам получше — например, Ксении Чарыевой, чуть ранее получившей другую (менее раскрученную и менее денежную) премию — «ЛитературРентген».

Что ж, разберёмся…

Вот цитируемые Кузьминым строки Андрея Баумана:

> Не приедет к их загрубевшим жёнам
> почтальонша с древненьким капюшоном,
> ставя штемпель сухой на слепом конверте.
> Не проснётся выводок жадный смерти,
>
> щебеча всё быстрей в пулемётных гнёздах;
> заградительной пулей не чиркнет воздух,
> не проглотит в свою мясорубку СМЕРШ их,
> ибо всё справедливо внутри умерших.

Стишата впрямь средние; и их беда отнюдь не в том, что, как подмечает Кузьмин, штемпель не положен разъездной «почтальонше с древненьким капюшоном», — ведь в среднежитейском сознании два смежных образа «письмоносицы» и «работницы почтамта» (со штемпелем) склонны сливаться воедино. А беда в том, что они, эти стихи, полностью зависимы от Бродского: в ритмико-интонационном плане — от его мини-циклов 1971–1972 годов (таких, как «Песня невинности, она же — опыта» или «Я всегда твердил, что судьба — игра…»), а в содержательном плане — от характерной метафизической этики Бродского. Странно, что Кузьмин, почему-то вспомнив Расула Гамзатова (!), не опознал здесь Бродского. Однако в сих строках Баумана — при всех их минусах — есть и свои скромные плюсы: удачные образы («заградительная пуля»), эффектные рифмы («СМЕРШ их — умерших»), довольно любопытные просодические решения.

А теперь поглядим на хвалимый Кузьминым текст Ксении Чарыевой:

> Желвь, ужаленный жучьим же жалом жук,
> Тёплый бережный жребий коротколапый,
> Изумлённо сквозь нёбо твоё гляжу
> На пустеющий эскалатор.
>
> Константинополь и Чернобыль, пыль и небыль, скат,
> Такс покидают его приступки,
> Окулисты, блюющие невпопад,
> Малолетние проститутки.
> Можно вернуться, когда простят,
> Если остатки хрупки?
> В межвременной одноместной шлюпке
> Можно двоим назад?

В первой же строке — сюрпризы: мало самозародившегося «жежала», ещё и жук с жалом выявился — вот оно, новое слово в энтомологии. Напомню Кузьмину: жало — то, что у пчёлки сзади. Где Чарыева повстречала жука с жалом? У некоторых разновидностей жуков есть щипачие жвала, но это другое; жучьи жвала — спереди, а не сзади, они никак не похожи на жало. А ведь страницей ранее Кузьмин сетовал на «плохую ботанику» Баумана, на обороты «лучится хвойным пламенем» и «широколиственно вобрав» в отношении тысячелистника («и к хвойности и к широколиственности эта придорожная трава с мелкими цветочками имеет весьма косвенное отношение»). Однако тысячелистник мог напомнить поэту маленькое деревце — то ли хвойное, то ли широколиственное; потому «лучится хвойным пламенем» и «широколиственно вобрав» — образы неосторожные, но не косяки, а «ужаленный жучьим же жалом жук» — однозначный косяк, достойный зубастых птиц незабвенного графа Хвостова.

Есть ещё нюанс: я могу вообразить «ужаленную осиным же жалом осу» — у осы-самурайки хватит длины и гибкости, чтоб осуществить над собою убийственное ужаленье в голову. Но как до́лжно изогнуться цельнопанцирному жуку, чтобы самоужалиться, этого я не представляю вообще; это какая-то сферическая камасутра в вакууме…

И эдакие чудеса у Чарыевой на каждом шагу. Кузьмин пытается их разъяснить — окончательно запутывая всё. «Изумлённо сквозь нёбо твоё гляжу на пустеющий эскалатор». Что ещё за уэллсовский человек-невидимка? Даю слово адвокату-Кузьмину: «это… поцелуй, и тогда один из его участников ощущает себя как будто целиком во рту у другого»,— нет, эта штука посильнее, чем «ужаленный жучьим же жалом жук». Вот ещё: «…палиндромические такс и скат, сходящие с эскалатора, как с трапа Ноева ковчега». Ладно, допустим. Такс и скат слезают с эскалатора (скат — не иначе как в зубах у такса; ведь у несчастного ската нет ног, дабы совершить высадку самостоятельно). Однако за компанию с таксом и скатом чарыевский эскалатор покидают «Константинополь и Чернобыль, пыль и небыль», а также «окулисты, блюющие невпопад» (сей образ даже Кузьмин не решился интерпретировать). Представляют интерес и финальные вопрошания Чарыевой. «Можно вернуться, когда простят, если остатки хрупки?» Лучше не надо: а ну как и хрупкие остатки по ходу возвращения разобьются? «В межвременной одноместной шлюпке можно двоим назад?» А это — разрешаю: уж коль двое как-то утрамбовались в одноместную шлюпку, благополучно добрались в пункт назначения, тогда им можно и назад.

Расклад вполне ясен: стихи Андрея Баумана — *ординарные*, а стихи Ксении Чарыевой — *плохие*.

(Надеюсь, Дмитрий Кузьмин понимает, видит, осознаёт разницу между *средней* поэзией и *плохой* поэзией, между «тройкой с плюсом» и «единицей с минусом».)

Впрочем, ничего страшного в чарыевских текстах не нахожу — обычные дебютантские «вирши с претензией», я погонными километрами читывал такое. Кузьмин говорит, что Ксения Чарыева — двадцати одного года от роду. Ну, пускай девочка поучится, походит на литобъединения, на семинары.

Вот только учёбу может затруднить одно обстоятельство: девочка получила премию; а Кузьмин считает, что этого мало, потому как лепечущая «пеленашка» все науки превзошла и взрослых посрамила.

«Разбирая столь подробно стихи двух авторов, едва ли не впервые попадающих в фокус внимания критики, я стремился продемонстрировать прежде всего уровень постановки задачи, им присущей, степени ответственности за своё слово, не идущее ни в какое сравнение с вялым пережёвыванием позавчерашних смыслов у новоиспечённого лауреата «Дебюта», обладателя гигантской десятилетней форы перед Чарыевой…»

«Уровень степени ответственности за своё слово», ага…

(Премию «Дебют» и без того в кулуарах прозвали «развращением малолетних»; а если её, эту премию, приватизирует Кузьмин со своею командой?)

Самое время поговорить о смысле литературных премий.

Наивно полагать, что всегда премируется *лучшее* в литературе.

Льву Толстому первого «Нобеля» так и не дали, а вручили его Сюлли-Прюдому (кажется, ему).

Авторам старшего возраста премии дают, как правило, «по совокупности общественных заслуг» — то есть по иерархическим соображениям. Это плохо, но с этим ничего не поделать.

А «молодёжные литпремии» — особый случай.

Молодость — не только самый продуктивный жизненный период; молодость довольно внеиндивидуальна; молодые люди хотят быть непохожими, неодинаковыми — фатально оказываясь похожими друг на друга, одинаковыми в этом своём порыве (и почти всегда — ещё и в итогах порыва).

Поэтому нет смысла в установке на премирование молодой литературной индивидуальности: в юном возрасте индивидуальность неустойчива, обманчива.

(Кто б в шестнадцатилетнем авторе наивных байронических поэм «Корсар» и «Джюлио» смог бы распознать будущего Лермонтова?)

Гораздо разумнее поощрять-премировать литературные *тенденции*, выражающиеся в творчестве тех или иных молодых литераторов.

Молодёжные премии несут в себе безусловное педагогическое значение, они демонстрируют творческой молодёжи *эталон* письма, пример для подражания.

Поглядим, насколько Андрей Бауман или Ксения Чарыева годятся в качестве эталона.

Если объявить всеобщим образцом Андрея Баумана, ничего ужасного не произойдёт. Поэтика Баумана вторична, но крепка, добротна; глядя на Баумана, молодёжь выучится азам версификации (а заодно иным неплохим вещам — интересу к родной истории, уважению к предкам, навыку разделять народ и государство и т. д.).

Среднеобобщённому начинающему поэту научиться писать так, как пишет Андрей Бауман, *возможно*.

А если возвести в эталон Чарыеву?

Ведь научиться писать так, как пишет Чарыева, *невозможно*. Тексты Чарыевой — чепуха, труха, «белый шум», броуновский хаос слов. У Баумана — хоть вторичная, но поэтика, а у Чарыевой — вообще нет поэтики, никакой — ни вторичной, ни первичной. Чему здесь учиться?

Что произойдёт, если молодым поэтам объявят: «Пишите, как Чарыева»?

Подлинные поэты начнут сопротивляться навязываемому «образчику» либо обессилеют в тщетных «попытках соответствовать» и уйдут из

поэзии. Зато воодушевятся мошенники и шарлатаны; поняв, что котируется чепуха, они произведут горы чепухи, так что поэзия в чепухе задохнётся.

...Всеобщее отчуждение, омертвение российской жизни (во всех сферах) достигло таких масштабов, что ныне почти невозможно нормально работать ни в бюджетном секторе (говорю это как преподаватель-бюджетник), ни в бизнесе. Бюджетники завалены бессмысленной отчётностью, предприниматели задавлены поборами.

Но ведь ещё есть вольное творчество.

Соловей поёт на ветке, и его песню ни запрячь, ни оседлать, ни изжарить на сковороде.

Как погубить песню соловья?

Очень просто—вменить соловью в пример ворону, петуха, кукушку или индюшонка.

Я обратил внимание на то, что поэты стали *бояться* читать вслух свои стихи.

Новички, приходящие в майкопское литературное объединение «Оштен» редко выступают с первого раза. Они оглядываются, осматриваются, сомневаются, робеют, советуются с друзьями и подругами.

Чего боятся эти поэты?

Ведь их не убьют. И не ограбят (какой навар с лирики, с облачных строчек, с соловьиных трелей?).

Поэты страшатся того, что их *засмеют*.

Объявят несовременными, кондовыми, сиволапыми, бездарными, застыдят, запишут в провинциалы, в графоманы, в строчкогонское быдло...

Можно обессмыслить, обескровить, убить труд педагога, навязав ему мерзкий ЕГЭ или похабный «болонский процесс». Можно намертво обобрать бизнесмена, торговца. Но жизнь жива до тех пор, пока живо творчество. Окончательный ресурс творчества—творчество (чистое творчество). Как угасить последнюю искру жизни, как убить творчество в творчестве? Как уничтожить поэта в поэте?

Для этого нужно ввести нормы и эталоны, объективно невозможные к воспроизведению.

(Культура—совокупность программ, воспроизводящихся от поколения к поколению; когда эти программы теряют свойство воспроизводиться, культура умирает.)

Если требовать от поэтов, чтобы они писали так, как они никогда писать не сумеют; если беспрестанно унижать их за то, что они пишут так, как могут...

...Поэзия прекратится.

Неужели Дмитрий Кузьмин этого не понимает? Ведь он—человек неглупый.

В принципе, понимает. Но он неистово сражается за *прогресс* в литературе.

«Ему (эксперту.—*К. А.*) важно определить, в каких регионах происходит наиболее интенсивный рост (пресловутые «тренды»), в каких инновационная активность себя практически исчерпала, в каких на фоне преобладающего холостого хода творческих механизмов... вдруг возникает неожиданный свежий и самостоятельный жест,—словом, разобраться в том, что *в целом* (курсив авторский.—*К. А.*) происходит, потому что только в контексте этого целого становится ясно, чем те или иные конкретные сочинения замечательны, в противном случае мы имеем бессмысленное „стихотворение, прекрасное само по себе“».

«Интенсивный рост», «инновационная активность», «холостой ход творческих механизмов». Как будто воскресли недоброй памяти Брик с Чужаком and Левидовым и завели свою злую шарманку—всё тщатся восстановить «фабрику по производству нового искусства машинным способом, лучшими техническими приёмами».

Есть ли прогресс в литературе?

Сложный вопрос. Я склоняюсь к мнению, что прогресс в литературе—по достижении ею некоей стадиальной черты—понятие терминологически бессмысленное.

Пушкин лучше Сумарокова с Кантемиром, это так. Но разве Блок лучше Пушкина? Нет, Блок не лучше (и не хуже) Пушкина; он *тоньше* Пушкина, изощрённее Пушкина (это—другое). Вообще, быть лучше Пушкина (лучше Блока, лучше прочих классиков)—невозможно. Не потому что их нельзя превзойти, а потому что они пребывают в пространстве, отменяющем акт превосхождения (равно как прочую иерархию).

Легко высмеять смешной по себе производственно-лефовский прогрессорский пафос Кузьмина; в сущности, это обломок прошлого, трогательный рудимент ушедшей эпохи Модерна, такой же, как социальный дарвинизм. Мышление по аналогии, свойственное Модерну,—неточное мышление; безрассудно переносить особенности естественнонаучных, технологических или коммерческо-логистических процессов на жизнь социума (и тем более—на искусство); это не менее безответственно, чем заниматься алхимией. Литература—не дарвиновская лестница, не фабрика и не корпорация с отлаженной службой пиара. Литература—другое.

Однако за всем этим скрыта куда более серьёзная проблема, которую пытаются осмыслить люди помудрее Дмитрия Кузьмина.

«Так или иначе, есть *культурно бессмысленные* стихи (курсив авторский.—*К. А.*). Именно про них возникает вопрос: а зачем вы это написали? Я бы немного откорректировал его: а зачем вы это нам принесли?.. Из миллиона стихотворений, написанных за год по-русски, более 99% не имеют культурного смысла и бесследно исчезают, будучи помещёнными в русскую поэзию, условно говоря,

от Сумарокова до Херсонского. Как старательный детский рисунок в Третьяковке».

(Леонид Костюков. «Провинциализм как внутричерепное явление». «Арион», 2009, №4)

Кстати, Кузьмин благосклонно ссылается на эту статью Костюкова («…ясное и подробное разъяснение, что такое «приращение смысла» и отчего лишённое его «стихотворение, хорошее само по себе», само по себе ни за чем не нужно…»).

Спору нет, поэтическая новизна—вещь славная.

Добавлю: к любой *подлинной* поэзии новизна прилагается по умолчанию—только это отнюдь не та новизна, которую взыскует Кузьмин. И она, эта истинная новизна, не вполне идентична «приращению смысла».

Например, трагическая лирика Бориса Рыжего сияет удивительной, ослепительной новизной—человеческой, экзистенциальной; это видно даже слепому; но, как мы помним, Дмитрий Кузьмин ей-то в новизне отказал. Как обстоят дела у Рыжего с «приращением смысла»? Что Рыжий прибавил к Слуцкому, к Гандлевскому, к дворовому шансону? По мне—очень многое; по Кузьмину—ничего не прибавил.

Впрочем, с тугоухим доктринёром Кузьминым спорить не нужно. Надо спорить с умницей Леонидом Костюковым. Ведь и он—тоже ошибается. Не столь нелепо и не так очевидно, как Кузьмин, но всё ж ошибается.

Сейчас я—в порядке эксперимента—приведу типичное стихотворение, лишённое «приращения смысла», то самое «стихотворение, хорошее по себе», которое так ненавистно Кузьмину и претит Костюкову.

Оно написано майкопским поэтом Давлетбием Чамоковым (к слову, мудрым и очень порядочным человеком).

> Вы прислушайтесь: слышите топот копыт?
> Это пара коней, распластавшись, летит.
>
> Мчатся кони, и нет им ни ночи, ни дня.
> Но какой сможет первым настигнуть меня?
>
> Два посланца судьбы, пожирающих даль,
> Белый конь—это радость, а чёрный—печаль.
>
> Два коня, две стрелы—непрерывный полёт,
> Никакая случайность его не прервёт.
>
> Сколько жить мне осталось лет или дней,
> Сколько чёрных коней, сколько белых коней?
>
> Вы прислушайтесь: слышите топот коня?
> Белый, чёрный ли конь настигает меня?

Это стихотворение версификационно безупречно; я не могу здесь придраться ни к чему (думаю, даже Кузьмин с Костюковым не найдут повода придраться, если останутся в границах чисто версификационного подхода).

(Кстати, я по рецензентским обязанностям читаю много московских литературных журналов и могу заметить, что 95% стихов, опубликованных в этих журналах,—версификационно небезупречны; стало быть, Чамоков в этом плане превзошёл 95% «толстожурнальных» поэтов.)

Тем не менее мне понятно, что в данном стихотворении «приращение смысла», увы, стремится к нулю, поскольку автор подключается к экзистенциальному полю напрямую, игнорируя «русскую поэзию от Сумарокова до Херсонского». Поэтому я не назову стихотворение Чамокова ни «гениальным», ни «дерзким», ни «новаторским»; я не захочу его рецензировать: ведь рецензия—это объяснение. А чего объяснять тут? И так всё ясно.

Конечно, отсутствие «приращения смысла» в чамоковском стихотворении меня слегка беспокоит, царапает.

Но ведь это *хорошее* стихотворение.

Допустим, я голоден, и мне подают тарелку макарон—вкусных, питательных, приготовленных как полагается—не недоваренных, не переваренных. Но без соуса.

«Приращение смысла» в костюковском понимании, то есть неисчезновение стихотворения в пространстве «от Сумарокова до Херсонского»,—это не более чем *соус* к основному блюду. Желательный, однако не обязательный.

И, разумеется, если мне на выбор предложат чамоковские макароны без соуса или чарыевскую несъедобную жучиную стряпню под соусом (интерпретаций Кузьмина), я без малейшего сомнения предпочту первое. Пускай даже в тексте Чарыевой имеются какие угодно цитаты из Державина, из Баратынского или из Фёдора Сваровского, а Чамоков—вообще не ведает, кто такой Фёдор Сваровский.

Приведу ещё пример.

Я с удовольствием прочитал и отрецензировал новую книгу стихов московского поэта Евгения Чигрина «Погонщик». Лирика Чигрина—убедительный постакмеизм «с ориентальным уклоном» в духе Аркадия Штейнберга и Михаила Синельникова. В чигринской поэтике есть свои недостатки, которые я, рецензируя, назвал (например, эта поэтика чуть статична); но в целом «Погонщик» производит замечательное впечатление.

Приведу три первых строфы стихотворения Евгения Чигрина «Джаботикаба».

> Табачок ли, кофе, джаботикаба,
> Да Цейлона дух в тепловатом ветре—
> Вот такая тянет абракадабра,
> Да болеет луч в сумеречном спектре,
> Ибо свет крошится: драконит Север,
> Ибо смысла мало: в строфе ли, в жизни?

И легко представить фрегат ли, сейнер,
Корабельщиков золотой отчизны.

И химера тянется одеялом,
И растёт луна дурианом Бога,
И скорей не старым, скорей—усталым
Я смотрюсь в себя: понимаю плохо…
И сдаётся что? Островное завтра,
Да цейлонский храм с головой слоновьей,
Рамбутан, ещё… Золотая мара
Расстилается в азиатском слове.

И раскрытый том Чехонте—цепляет,
Фантазийный дух золотых колоний:
Человек в пенсне на дуде играет,
И луну слегка подпирают кони
Мифологий и—девяти помощниц…
Этот старый ром забирает вволю,
И течёт звезда недалёких рощиц,
Как библейский свет к штилевому морю.

Тут лирика поизысканнее; она—не как простецкие макароны, а как деликатесные устрицы. Но найдут ли и здесь Кузьмин с Костюковым «приращение смысла» (допустим, по отношению к Михаилу Синельникову)? Боюсь, что нет. Стало быть, и в этом случае с соусом неважно.

Но ведь это стихотворение—*красивое*!

Неужели я променяю *красоту* на сомнительную новизну?!

…Кузьмин определяет нерв нынешней литературной ситуации борьбой отважных поэтов-отличников с косными поэтами-хорошистами, с ремесленниками и эпигонами, «вяло пережёвывающими позавчерашние смыслы».

А я вижу, как «отличники» и «хорошисты» вместе изнемогают в неравном бою с ордой «двоечников», с дикостью, я наблюдаю неудержимый распад российского культурного поля. Полтора десятилетия я руковожу майкопским литературным объединением—и вволю наслушался графоманских речей о том, что «Есенина филологи тоже не понимали» и «надо писать душою, нутром, а не предписаниями и законами».

Я бьюсь за поэтическую грамотность, за мастерство, и вдруг—такой удар мне в спину, такая подмога моим вечным противникам…

Ведь чарыевский жук, сервированный и поданный к столу Кузьминым (политый кузьминским бешамелем), прилетел из той самой дикой чащи, где водится «есенинолюбивое нутро».

Чепуха под соусом «простоты-народности» и чепуха под соусом «инновационности»—это *одна и та же* чепуха (под разными соусами).

…Я хочу немногого: я хочу, чтобы жизнь вокруг меня была максимально проникнута творчеством, чтобы поэты не боялись писать и вслух читать стихи.

И ещё я хочу, чтобы эти стихи были бы *грамотны*. Чтобы бухгалтеры, школьники и домохозяйки могли облекать собственные чувства в подобающую форму, чтобы они отличали ямб от хорея, чтобы знали рифмы помимо «сказки-маски-ласки», чтобы владели ремеслом—хотя бы на уровне Николая Доризо.

Всеобщая поэтическая грамотность и культурность—вот цель, которую, по моему мнению, должны ставить перед собой литературные культуртрегеры.

А «приращение смысла»?

Я не против «приращения смысла»…

Как благодать нам даётся не только сочувствие. Как благодать даётся ещё и, например, гениальность.

Гениям—ура; но гениев нельзя фабриковать фабрично-конвейерным методом.

Точно так же «приращение смысла»—в той формулировке, которую даёт Леонид Костюков,—это *благодать*. О ней можно лишь молиться. Её нельзя искусственно производить (и тем более нельзя навязывать всем).

Первым делом—насущный хлеб. Соусы—потом.

Игорь Дуардович

Виновата среда надежды

В современном литературном пространстве есть известные всем «рычаги» — люди ответственные, обладающие возможностями направить «состав» по другим путям.

а

Большие страхи связаны с большими ожиданиями

Актуальная мысль и кредо эмпириков «говорить тогда, когда познал на собственном опыте» — это штык, то есть тактически верный путь, если начинающий литератор, хорошо оценив перспективу «ближнего боя», желает выйти на качественно новый уровень письма. А когда к личному опыту примешивается концентрат чужого, получается уже не штык, а настоящий гранатомёт. Притом лучше, если это будет опыт современника, то есть если взять новичков и даже «старичков» (поэтов, прозаиков и пр.), студентов Литературного института, то им просто необходимо иметь чёткое представление о современной стилистической художественно-литературной пластике. Дилетантов или графоманов выявить легко: достаточно поинтересоваться кругом чтения. В худшем варианте для них современная литература всегда будет оставаться тёмной или даже несуществующей областью, как космос для кроманьонца. Их ответ на вопрос: «Кого-что читаешь?» — прост и одинаков, на уровне школьной программы: Пушкин, Блок, Есенин.

Одна из основных творческих бед студентов Литинститута заключается в нигилизме и каком-то хроническом отсутствии предприимчивости в делах печати. Издательств для них не существует, но даже если они и есть, то после нескольких отказов студенты мгновенно останавливаются и зависают сами над собой, в метапространстве, обустроенном для вечного самоутешения и банального ожидания редакторских предложений. Некоторые настолько стеснительны и ранимы, что даже не заставляют себя учить собственные стихи наизусть, потому что обыкновенно не планируют выходить на публику. Представьте себе, студенты пятых курсов, когда их просят выйти и прочесть что-нибудь из любимого, вжимаются в спинки кресел или подпорченных советских стульев. А что будет на защите диплома, перед специальной комиссией? Что изменится после, уже в свободном полёте над памятником Герцена?

Выделим несколько студенческих типажей.

Высокий худощавый отличник-очник, победитель олимпиад, который не признаёт русской словесности. Его прозападные взгляды в отношении литературного идеала устойчивы и непримиримы, он разочарован в себе, хотя и скрывает это. Дескать, написать что-то новое и сопоставимое с западными образцами невозможно. Русские — искони варвары. В большинстве фраз он дублирует строчки Матвеевой про «всё сказано на свете». Что тёплый шарф, что галстук — всё для него одна петля без мыла.

Ко второму типажу относится больше женская, чем мужская половина. Такие люди напоминают ходячие купола, но не церквей, хотя, бесспорно, религиозная аскеза православных оттенков демонстрирует их обществу, как давно зарубцевавшуюся рану. Они в меру скрытны, необщительны и твердолобы. Им изначально несвойственна декларативность. Они как бы оторваны от «основного подвижного состава». Часто это довольно хорошие критики, зарывающие свою перспективу в обсуждениях чужих подборок на семинарах.

Можно выделить ещё и третий тип непечатающихся — такие студенты производят впечатление людей с улицы. В основном это первокурсники, у которых ещё не отзвенел в ушах школьный звонок на перемену. Громкий смех, принадлежность к субкультурам, грошовый взгляд из-под бровей… Первокурсники — совсем молодые, которые недавно окончили школу, или среднего и преклонного возрастов, решившие получить второе-третье высшее. И если волны цунами, удаляясь от прибрежной зоны, несут мусор из обломков, то первокурсники — всегда огромный багаж творческих претенциозных исканий. Ещё любят рекламировать безвкусно оформленные графоманские альманахи, в которых раз-два были напечатаны за деньги. Ничего настоящего в такой печати нет — одна коммерция, дезориентация и дутый пафос.

Обратимся к мыслям признанных писателей. Слова Рильке, идущие дальше одной только литературной темы, безупречно точны: «Если можно

себе представить существование человека в виде большой пли малой комнаты, то обнаружится, что большинство знает лишь один угол этой комнаты, подоконник, полоску пола, по которой они ходят взад и вперёд. Тогда у них есть известная уверенность». Далее Рильке подметил, что страх перед чем-то может быть связан с большими ожиданиями. На страх перед печатью это, конечно, также распространяется. В итоге подвигаемся вплотную к комментарию современного автора—поэта, одного из создателей Ташкентской поэтической школы, заведующего отделом поэзии в журнале «Новая Юность» Вадима Муратханова: «Когда-то я посещал литературный кружок «Дерзания», и там со мной произошла существенная перемена. Я стал осторожнее относиться к результатам своего творчества. Но прежде очень легко и помногу писал. Потом я пытался проанализировать: что это было? Неожиданное сравнение пришло на память: у Бориса Полевого, в «Повести о настоящем человеке», есть лётчик—главный герой. После ампутации ног он пытается шевелить пальцами и удивляется, как легко ему это удаётся. И вот это скоростное письмо, до того как оно сталкивается с настоящим материалом жизни,—часто это письмо начинающих литераторов—похоже на шевеление несуществующими пальцами. А когда начинающие литераторы попадают в среду профессиональную, где их жестоко критикуют и оценивают, причём здесь самый строгий суд—со стороны сверстников, начинают действительно осознавать, какое место занимают в общей парадигме. Если совсем незначительное—полезнее всего замолчать до тех пор, пока ты не начнёшь ощущать сопротивление материала, как резчик или гончар. Мне кажется, что это просто сознательный комплекс (когда не хотят печататься), который стоит перерасти. Есть публикация или нет публикации—от этого стихотворение или проза не становятся лучше или хуже. Главное, что у них может появиться аудитория. Если есть страх перед аудиторией—может быть, есть страх и перед печатанием. Но если человек идёт в Литературный институт, то он должен переступать это, как парашютист тот порог, отделяющий от бездны…»

6

Они собой в литературе не занимаются

Есть студенты и выпускники Литинститута, которые вовсе не практики и даже не теоретики. Не печатаются «по-настоящему» и не следят за печатью, не читают со сцены. Попробуйте заговорить с ними о проблемах современной русской литературы—и сами увидите, как сильно они удивятся предложенной теме. Потому что не верят в будущее. Легче не верить на фоне разочарования в себе. Но современная русская литература не заканчивается на этих людях—она всего лишь с них не начинается. А заканчивается она там, где мох да мокрицы,—на теоретиках, на академической болтовне и демагогии. Не в смысле отрицания непреложной важности теоретической подковы.

Можно придумать много оправданий такому положению вещей. Например, молодость—поэтому трудно сделать что-либо сто́ящее. Сам успех никак не связан с обучением в творческом вузе. Или постоянная учебная нагрузка и разгромная критика со всех сторон, часто способствующая увеличению числа творческих ипохондриков. К слову, о молодом возрасте: вы найдёте немало учащихся, которым далеко за тридцать.

В Литинституте существует убеждение: истинные таланты приезжают издалека. Такими примерами любят апеллировать. Некто вырывается в столицу, поступает на первый курс, выбивается из общего ряда, активно вращаясь в профессиональных кругах, побеждает на большом престижном конкурсе… Потом, на обсуждении подборки, в глубине себя посмеивается над остальными, которые иной раз просто боятся сказать плохо. Руководитель семинара приносит на занятия словесный мёд, и лучше не добавлять в него дёгтя. Успех, справедливо или по сценарию, достаётся единицам. Робинзонам Крузо. Потому что единицы обладают самостоятельностью и упорством, выносливостью, смелостью и дерзостью. Эти качества роднят их с главным персонажем новаторского романа Дефо. Робинзон неотступно совершенствовал необходимые умения. Ему некуда было отступать. О каком-нибудь особо хватком, мучительно талантливом писателе можно сказать такие же слова. Его пример показателен. Настоящее учение и профессиональный рост начинаются тогда, когда получается публиковаться. Когда человек деятелен—стремится, чтобы его труд напечатали. Только тогда постепенно формируются трезвые оценки и себя, и других. Если публикации успешны, это рано или поздно приводит к резонансу. В понятие резонанса входят, кроме всего остального, сплетни. Завистники и сами не понимают, что исполняют роль обслуги, лишь увеличивая интерес к блеснувшему автору.

Возможно, кто-то, принимаясь за описание типажей менее удачливых и активных студентов, составил бы атлас. Отдельно потрудился бы над Красной книгой. В этой части моей статьи я постараюсь расширить список. В предыдущей главке было вкратце сказано только о нескольких реальных примерах. Всё взято из жизни: с этими людьми постоянно сталкиваюсь, иногда спорю.

Есть «литературные сироты». Кто-то давно окончил учёбу, но так и не сумел покинуть стены института. Стал его сотрудником, занял невысокую должность. Конечно, речь не идёт о педагогическом составе. Кто-то учится и одновременно

подрабатывает. Допустим, в библиотеке. Стены вуза, таким образом, кому-то служат приютом: кормушкой и защитой от внешнего мира. Вдобавок—печатным органом. «Литературные сироты» гордятся редкими публикациями в альманахах местного значения: «ЛитЭра», «Тверской бульвар, 25», «Пятью пять». Но подсознательно они чувствуют реальный проигрыш.

Другой тип составляют прирождённые филологи. Иногда они настолько профессиональны, что их эстетические воззрения косны и однобоки. Зациклившись на языковых нормах и правилах, бракуют оригинальные и сбалансированные вещи. Эти люди—студенты и выпускники, объединяющиеся в группы и создающие второсортные-третьесортные интернет-издания, иногда печатая по их версии журналы. «Лампа и дымоход»—яркий пример такого островка, ещё до конца не обжитого, но уже с твёрдыми законами и необходимостью получать «гражданство» или «вид на жительство». Молодым редакторам, трудящимся на благо проекта, нравится чувствовать себя во главе универсальной автономии. Как долго эта автономия просуществует—другой вопрос. Публикацию в «Лампе и дымоходе» пока достойной не назовёшь.

Представители следующей группы смотрят на мир через призму интересной философии. Которая лишь форма самозащиты. Такая самозащита позволяет не видеть никакой проблемы в тушующихся, молчаливых и безынициативных литераторах. Есть представление о писателе как о чуде, рождающемся в тишине и уединении. Господин-Чудо не стремится к славе, не занимается «собой в литературе». Он без фальши. Чист и наивен. И попросту не задумывается ни о каких публикациях. Творчество для него подобно ведению дневника. Задача масс—случайно на него наткнуться и выкопать, словно корень женьшеня.

Наверное, нельзя дать всему этому однозначной оценки. Нельзя дать оценки лучше той, которую может поставить человек, уже прошедший хорошую литературную школу. Поэтому я попросил сказать мне свои мысли Александра Переверзина—поэта и редактора поэтической серии «Приближение» издательства «Воймега», который не понаслышке знает, что это такое—быть студентом Литературного института.

«Я учился на заочном отделении. Чаще на заочку приходят достаточно взрослые люди, с образованием и жизненным опытом, для которых Литинститут—это осознанный выбор. Наверное, на очном отделении больше людей, которые попадают в институт случайно. Если бы меня спросили совета, что нужно в Литинституте изменить, я бы сказал, что нужно больше занятий посвящать современной литературе и текущему литературному процессу. Что касается нигилизма студентов. Очевидно, есть два типа таких «студентов-нигилистов». Первые после семинарских обсуждений начинают недооценивать свои силы, перестают писать, литература становится им неинтересна. Другие, наоборот, себя переоценивают, не понимая, что зачисление в Литинститут—это всего лишь выданный им аванс. При первом же отказе редактора напечатать их вирши такие студенты встают в позу непризнанного гения, которому всё равно, что происходит вокруг, главное—собственное сочинительство. Мне кажется, что во многом это защитная реакция. Помню, в первый день учёбы нашему потоку заочников было сказано: на первом курсе все вы гении, посмотрим, что будет на пятом. Точные слова. В Литинституте с пишущим молодым человеком происходит серьёзная ломка. До Лита ему казалось, что он писал чуть ли не лучше Бродского или Рубцова, но когда он начинает понимать стихи, он видит, что пишет даже хуже своего сокурсника по семинару. Сегодняшнее общество потребления ориентирует нас на успех. В головы людей с детства вдалбливается мысль о том, что главное в жизни—«быть успешным». Что значит успех для писателя: деньги, слава, мелькание в телеящике? Глупости. И когда студент понимает, что успешным в том понимании, которое ему навязывается обществом, в Литинституте ему не стать, он начинает ненавидеть и литературу, и институт, говорить себе: зачем я сюда пришёл? зачем мне всё это нужно? Ситуация, конечно, удручающая, но винить здесь ещё кого-то, кроме общества, в котором формируется соответствующая система ценностных ориентаций и установок, я не возьмусь».

в

Но известная беда—крайности

Несколько лет назад я был в гостях у Юрия Ряшенцева; встречу мне организовали знакомые. Это ясно, что без объективного мнения профессионала молодому литератору намного сложнее расставить приоритеты. Тогда, уже в момент ухода, на лестничной клетке, запомнилась такая фраза Юрия Евгеньевича: «Ты молод! Иди общайся с девочками, познавай любовь, иначе ничему не научишься». Сегодня эти слова особенно важны для избранной темы, так как известная беда—крайности. А в литературе «убивает» как бездействие, так и навязчивый подход. Разве можно жить одной словесностью, не живя чем-то ещё? В противном случае это всё тот же монашеский спектр видения, инфантильность и, наверное, отчасти эгоизм.

Говорят, что муза ревнива. Да, она ревнива, и всё-таки она «Дездемона». До музы тоже нужно уметь достучаться, заставить её слушать, но сначала по-настоящему захотеть это сделать. Один из первых столпов таланта, как и чего угодно,—желание, или мотивация. И этого самого простого

как раз и не хватает многим студентам Лита. Есть ли здесь вина поколения? Если считать раскрытые предрасположенности виной, то ответ очевиден. Но каково было бы всем нам без видимых контрастов? Скучно. Тогда, быть может, кто-то скажет, что Лит—это сплошь контрасты, и всё в полном порядке, и разговор тут пустой. Но нет, при всей своей уникальности и важности Литинститут, как ни печально,—это одно цветовое пятно, а тех, кто по-настоящему выделяется, настолько мало, и они так редки—крапинки.

Но главный творческий вуз страны не может быть, как все вузы, с усреднённой шкалой образовательных стандартов, которая нуждается в постоянном обновлении. Когда один курс—100–150 человек, то это естественным путём сказывается на качестве образования. Очень сложно «сориентировать на местности» большую группу людей. Но, к слову сказать, нельзя не согласиться с Алексеем Кубриком, что «даже любой «спящий» руководитель семинара проснётся на гениальном стихотворении», то есть дело здесь не только в количестве обучаемых. По-своему точны и слова Александра Переверзина, вырванные из его реплики в предыдущей главке: «Думаю, что Литинститут должен сам решать, что и как нужно реформировать. Это уникальное учебное заведение, его нельзя загонять в определённые рамки. Уровень преподавания там высочайший».

Творческий вуз должен быть как никакой другой современен. Конечно, всем нам хочется думать, что Литинститут не глух и прислушивается к голосу поколения. Мы—это среда надежды, которую проще всего обвинить в отчаянном бездействии. Но что делать, когда недостаточно положительных примеров? когда мэтры, взявшие на себя ответственность преподавания, ревностно берегут собственное время и энергию? Им непредставимо трудно отнестись к чему-то конкретному с бóльшим вниманием и пониманием, чем, быть может, требуется.

Пока Литинститут будущего представляется элитным, закрытым учебным заведением, с ограниченным до минимума числом мест для абитуриентов и страшно большим конкурсом. Преподавательский состав смешанный, но в пользу молодых специалистов: поэтов, прозаиков, драматургов, критиков.

Пока Литинститут ждёт своего «Петра Великого».

стр. 26 **Алейников Владимир Дмитриевич**
Москва/Коктебель, 1946 г. р.

Родился в Перми, детство провёл в городе Кривой Рог на Украине. Поэт, писатель, переводчик, художник. В 1963 году окончил музыкальную школу по классу фортепьяно. Учился на отделении истории и теории искусства истфака МГУ. Основатель и лидер легендарного содружества СМОГ. С 1965 года публиковался на Западе. Более четверти века тексты широко распространялись в самиздате. В восьмидесятых был известен как переводчик поэзии народов СССР. Автор многих книг стихов и прозы — воспоминаний о былой эпохе и своих современниках. Лауреат премии Андрея Белого. Член ПЕН-клуба. С 1991 года живёт в Москве и Коктебеле.

стр. 238 **Анкудинов Кирилл Николаевич**
Майкоп, 1970 г. р.

Поэт, литературный критик, эссеист. Родился в Златоусте Челябинской области. В 1993 году окончил филологический факультет Адыгейского государственного университета. Служил в армии. Окончил аспирантуру Московского педагогического государственного университета им. В. И. Ленина. Кандидат филологических наук. Преподаёт на филологическом факультете Адыгейского государственного университета. Член Союза писателей России. Публиковался в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Знамя», «Москва», в «Литературной газете», в газетах «Литературная Россия», «День литературы», «Ex libris НГ», во многих центральных и региональных изданиях. Постоянный автор журнала «Бельские просторы» (Уфа), сайтов «Взгляд» и «ЧасКор». Автор поэтических сборников «Магнит» (1994, Майкоп) и «Пёстрая лента» (1996, Москва), участник и составитель многих центральных и региональных поэтических сборников. Составитель трёх изданий антологии-справочника «Современные русские поэты» (в соавторстве с академиком В. В. Агеносовым).

стр. 45 **Антипова Дарьяна**
Москва, 1984 г. р.

Родилась в Красноярске. Выпускница Красноярского литературного лицея им. В. П. Астафьева (семинар Р. Х. Солнцева), училась в Красноярском государственном университете, в Литературном институте им. А. М. Горького (семинар А. П. Торопцева). Член Союза писателей Москвы. Участвовала в форумах молодых писателей России, литературных семинарах в ФРГ, Нидерландах, Сербии. Публикуется в литературных и электронных изданиях (газета «Детский район», журналы «День и ночь», «Московский вестник», альманахи «Илья-премия», «Белая скрижаль», «Лампа и дымоход» и др.). Работает на кафедре русского языка и стилистики Литературного института им. А. М. Горького. Играет на этнических барабанах и поёт в музыкальной этно-группе «ВеданЪ КолодЪ».

стр. 86 **Астраханцев Александр Иванович**
Красноярск, 1938 г. р.

Родился в деревне Белоярка Мошковского района Новосибирской области. Окончил Новосибирский инженерно-строительный институт и Литературный институт имени А. М. Горького. Более двадцати лет работал в строительстве в Красноярске. Публиковался в различных журналах и сборниках («Наш современник», «Молодая гвардия», «Сибирские огни», «День и ночь», «Дети Ра» и др.). Автор девяти книг прозы. Последние книги — «Антимужчина» (2011), «Портреты. Красноярск, XX век» (2011). Член Союза российских писателей. Председатель правления Красноярского регионального отделения Литературного фонда РФ. Зам. главного редактора журнала «День и ночь».

стр. 17 **Беликов Юрий Александрович**
Пермь, 1958 г. р.

Родился в городе Чусовом Пермской области. Поэт, эссеист, публицист. Автор трёх поэтических книг: «Пульс птицы», «Прости, Леонардо!» и «Не такой». Обладатель Гран-при и звания «Махатма российских поэтов» (всесоюзный фестиваль поэтических искусств «Цветущий посох», Алтай, 1989), лауреат международного фестиваля театрально-поэтического авангарда «Другие» (2006) и всероссийской литературной премии имени Павла Бажова (2008). Основатель трёх поэтических групп: «Времири» (конец 1970-х), «Политбюро» (конец 1980-х) и «Монарх» (конец 1990-х). Лидер движения «дикороссов». Работал собкором

«Комсомольской правды», «Трибуны», спецкором газеты «Труд». Стихи публиковались в журналах «Юность», «Знамя», «День и ночь», «Арион», «Дети Ра», «Флорида» (США), «Зарубежные записки» (Германия), «Киевская Русь» (Украина»), «Иерусалимский журнал» (Израиль). Награждён Орденом Велимира «Крест поэта». В настоящее время — собкор «Литературной газеты».

стр. 234
Бруштейн Ян Борисович
Иваново, 1947 г. р.

Родился в Ленинграде. Кандидат искусствоведения. Работал журналистом, преподавателем вуза, президентом и главным редактором негосударственных телекомпаний «7×7» и «Барс», автором и ведущим политических, экономических и познавательных программ. Стихи печатались в журналах «Юность», «Знамя», «Волга», «Дети Ра», «Зинзивер», «Сибирские огни», в еженедельнике «ОБЗОР» издательства «Континент» (США), в сборниках и альманахах. Маленькие рассказы вышли в журналах «Зинзивер» и «Футурум Арт». В конце 2006 года выпустил книгу-альбом компьютерной арт-графики и стихов «Карта туманных мест». В марте 2009 года в Москве вышла книга стихов «Красные деревья», ровно через два года — книга новых стихов «Планета Снегирь» в поэтической серии «Библиотека журнала „Дети Ра“», и почти одновременно — книга избранных стихов «Тоскана на Нерли» (издательство «Летний сад»). Член лито «ПИИТЕР». Член Союза писателей XXI века.

стр. 231
Валеев Марат Хасанович
Красноярск, 1951 г. р.

Родился в Краснотурьинске Свердловской области. Рос и учился в селе Пятерыжск на Иртыше, в целинном Казахстане, куда попал вместе с родителями ещё в дошкольном возрасте. В профессиональной журналистике с 1972 года. Окончил факультет журналистики КазГУ (Алма-Ата). В 1989 году был приглашён в газету «Советская Эвенкия» на севере Красноярского края. Сейчас — редактор этой газеты, но под другим названием: «Эвенкийская жизнь». Без отрыва от основной работы, а порой и прямо на ней, написал и опубликовал несколько сотен иронических, юмористических рассказов и миниатюр, фельетонов. Член Союза российских писателей, автор нескольких сборников.

стр. 155
Вершинский Анатолий Николаевич
Раменское, 1953 г. р.

Родился в селе Семёновка Уярского района Красноярского края, в семье учителя. Окончил с отличием два института: Красноярский политехнический и Литературный имени А. М. Горького. Работал в научно-исследовательской лаборатории, в газете, служил в Советской Армии. Более тридцати лет занимается журналистской и издательской деятельностью, награждён дипломом знака отличия «Золотой фонд прессы». Член Союза писателей с 1985 года, автор шести поэтических сборников, драмы в стихах «Восточный вопрос», книги исторических очерков «Русская Александрия. Средневековая Русь и Александр Невский», дипломант конкурса «Лучшая книга 2008–2010».

стр. 113
Головачёв Василий Васильевич
Москва, 1948 г. р.

Современный писатель-фантаст, сценарист и продюсер. Родился в городе Жуковка Брянской области. В 1972 году окончил Рязанский радиотехнический институт по специальности «инженер-конструктор радиоэлектронной аппаратуры». В начале 1970-х служил в армии на Дальнем Востоке. Затем несколько лет работал в Украинском государственном проектно-конструкторском институте «Металлургавтоматика» (Днепропетровск). Член Союза писателей России (и Украины). Автор многочисленных романов, повестей и рассказов. Автор бестселлеров: «Смерш-2» (по роману снят фильм «Запрещённая реальность», 2009), «Перехватчик», «Бич времён», «Схрон», «Посланник», «Чёрный человек», «Человек боя», «Бой не вечен» и др. Лауреат многочисленных премий. Награждён медалями: им. А. Фадеева, им. А. Суворова, Союза Космонавтов (как писатель-фантаст №1 России), а также медалью «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Известен и как художник. Большинство произведений автора вошли в серию издательства «Эксмо» «Шедевры отечественной фантастики». В настоящее время издаётся полное собрание сочинений в серии «Отцы-основатели. Русское пространство».

стр. 243
Дуардович Игорь
Дзержинский, 1989 г. р.

Студент Литературного института им. А. М. Горького. Ответственный секретарь международного литературного журнала «Дети Ра». Публиковался в журналах «Новая Юность», «Дети Ра», «Зинзивер», «Интерпоэзия», «Запасник», а также в «Литературной газете», газете «Литературные известия» и приложении к «Новой газете» — «Ex libris НГ». Лауреат-победитель фестиваля «Эмигрантская лира — 2011» в критической подноминации «Эмигрантское творчество русскоязычного поэта-эмигранта». Живёт в Подмосковье.

стр. 206
Иослович Илья Вениаминович
Хайфа, 1937 г. р.

Родился в Москве. Окончил мех.-мат. МГУ в 1960 году по специальности «механика». Работал в различных НИИ. В 1957–58 годах участвовал в литобъединении МГУ на Ленинских горах (Д. Сухарёв, Н. Горбаневская, Ю. Манин, О. Дмитриев, В. Костров,

Ю. Чаповский, Б. Пуцыло, М. Гусев. Руководитель—Н. Старшинов). Публикации с 1958 года Стихи были включены в машинописный журнал «Синтаксис», № 4, 1960, который не вышел из-за ареста составителя А. Гинзбурга. В 1991 году переехал в Израиль. Профессор технического университета.

стр. 17

Калашников Максим

Москва, 1966 г. р.

Творческий псевдоним Владимира Александровича Кучеренко, родившегося в Ашхабаде и выросшего в Одессе. По образованию—историк, окончил Московский государственный университет. Работал в газетах «Вечерняя Москва» и «Мегаполис-Экспресс». В 1994–2001 годах—правительственный обозреватель «Российской газеты». В 1994-м выступил соавтором статьи «Падает снег», ставшей началом противоборства тогдашнего главы ельцинской службы безопасности Коржакова с банкиром Гусинским. На основе этих статей в 1995-м выпустил книгу-разоблачение «Москва—империя тьмы». В дальнейшем выходили историко-публицистические книги «Сломанный меч Империи» (1998), «Битва за небеса» (2000), «Вперёд в СССР-2» (2003), «Код Путина» (2005), «Крещение огнём. Вторжение из будущего» (2007), «Цунами 2010-х» (2008), «Глобальный Смутокризис» (2009). Основоположник сетевого сообщества «Русское братство».

стр. 205

Красноярова Евгения

Одесса, 1981 г. р.

Поэт, эссеист. Родилась в Магадане. Член Южнорусского Союза Писателей, Одесской областной организации ВТС «Конгресс литераторов Украины». Завотделом поэзии литературно-художественного журнала «Южное сияние». Автор сборника стихотворений «Серебряные монгольфьеры» (2009), книги драматургии «Апокалипсис улыбки Джоконды» (2008, в соавторстве с Сергеем Главацким), book-art-проектов «Калиюга», «По дороге на По», «Вертолёт в пустыне». Публиковалась в одесской антологии поэзии «Кайнозойские сумерки», одесской литературной антологии «Солнечное сплетение», в альманахах «Меценат и мир» (Москва), «Дерибасовская—Ришельевская» (Одесса), «ОМК» (Одесса), «Свой вариант» (Луганск), «Крылья» (Луганск) «ЛитЭра» (Симферополь), «Art-шум» (Днепропетровск), в журналах «Октябрь» (Москва), «Дон» (Ростов-на-Дону), «Южная звезда» (Ставрополь), «Кляп» (Николаев), в интернет-журналах «Пролог», «Ликбез» и др.

стр. 22

Крюкова Елена Николаевна

Нижний Новгород, 1956 г. р.

Русский поэт, прозаик, искусствовед. Окончила Московскую государственную консерваторию (фортепиано, орган) и Литературный институт имени А. М. Горького (семинар А. Жигулина, поэзия). Публикуется в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Знамя», «Москва», «Нева», «День и ночь», «Сибирские огни», «Юность», «Волга» и др. Финалист премий «Ясная Поляна» (2004, роман «Юродивая») и «Карамзинский крест» (2009, роман «Тень стрелы»). Лауреат премий им. М. И. Цветаевой (2010, книга стихов «Зимний собор»), «Согласование культур» (2009, Германия). Финалист Волошинского конкурса (2009, 2010). Арт-критик, куратор и автор ряда художественных проектов в России и за рубежом (вместе с художником Владимиром Фуфачёвым): «Священный бык», Музей современного русского искусства, Нью-Йорк, 1998–1999; «Небесная колесница», Марсель, 2004; «Архетип», Нижний Новгород—Москва, 2006; «Символы Земли», Кассель, Германия, 2006–2007; «Анестезия», Нижний Новгород, 2007; «Долина царей», Москва, 2008, и др. Директор Культурного фонда «Fermata» (США). Член Союза писателей России.

стр. 61

Кудимова Марина Владимировна

Москва, 1953 г. р.

Русский поэт, писатель, переводчик, публицист, общественный деятель. Родилась в Тамбове. Окончила филологический факультет Тамбовского государственного педагогического института. Первые публикации появились 1969 году в молодёжной газете «Комсомольское знамя». Первая книга стихов, «Перечень причин», вышла в Москве в 1982 году; за ней последовали: «Чуть что», «Область», «Арысь-поле» и др. В 1990-е годы печаталась в журналах и альманахах «Апрель», «Волга», «Столица», «Континент», «Новый мир», «Знамя». Переводит поэтов Грузии и народов России. Лауреат премии имени В. Маяковского Совета министров Грузинской ССР, премий журналов «Новый мир», «Дети Ра», премии Союза журналистов России. Член Союза российских писателей. С 1991 года—член русского ПЕН-центра. Произведения переведены на английский, грузинский, датский языки. С 2001 года—председатель жюри проекта «Илья-Премия». В 2010 году за интеллектуальную эссеистику, посвящённую острым литературно-эстетическим и социальным проблемам, была удостоена премии Антона Дельвига. В настоящее время живёт в Москве, работает в еженедельнике «Литературная газета». В 2011 году, после двадцатилетнего перерыва, выпустила книгу стихотворений «Черёд» и книгу малых поэм «Целый Божий день».

стр. 151

Лёсьёр Жан-Пьер

Франция, 1935 г. р.

Известный французский поэт, родился в Париже. Работал механиком авиационных двигателей, затем преподавателем и директором школы. Вместе с Жаном Шатардом, Мишелем Херултом, Ги

Муливьером и другими французскими поэтами участвовал в создании журнала «Колодец отшельника». Основал также журнал «Столп» и выпустил двадцать восемь его номеров. Последний вышел зимой 1982 года. В 2000 году основал журнал «Как в поэзии», который продолжает издаваться поныне (вышло уже сорок девять номеров). В течение нескольких лет жил на юго-западе Франции, в городе Оссгоре, где подготовил поэтический сборник «Гараж», представив в нём творчество поэтов этого города.

стр. 96

Матвеичев Александр Васильевич

Красноярск, 1933 г. р.

Родился в Татарстане. Окончил Казанское суворовское и пехотное училища. Лейтенантом командовал пулемётным и стрелковым взводами в Китае и Прибалтике. После демобилизации закончил Казанский авиационный институт. Пройдя все ступени инженерных должностей, завершил карьеру первым заместителем генерального директора, главным инженером крупного НПО и директором предприятия. С 1993 года работал журналистом в редакциях газет, переводчиком с английского и испанского языков, помощником депутата Госдумы, а затем Законодательного собрания Красноярского края. Автор более десяти книг и множества журнальных публикаций.

стр. 55

Медведева Ирина Бениаминовна

Москва, 1946 г. р.

Родилась в Москве. Окончила исторический факультет МГГУ им. Шолохова. С 1969 по 2003 годы работала в центральных газетах: «Социалистическая индустрия», «Рабочая трибуна», «Деловой мир», «Парламентская газета» — корреспондентом, специальным корреспондентом, обозревателем. Член Союза журналистов России. В настоящее время — редактор Центральной библиотеки № 102 им. М. Ю. Лермонтова. С 2000 года — президент Фонда памяти Ильи Тюрина и учредитель Международного литературного конкурса «Илья-Премия». Живёт в Москве.

стр. 153

Папи Жан-Бернар

Франция, 1939 г. р.

Родился в Ангулеме (департамент Шарант, Франция). Публиковаться начал в восемнадцатилетнем возрасте в журнале «Горизонты поэзии» наряду с известными писателями. С 1989 года новеллы публиковались в литературных журналах «Перевёрнутая чернильница», «Розовые листки» и др. Одновременно занимался различными научно-техническими исследованиями, много путешествовал, неоднократно менял место жительства. С 1995 по 2005 годы — автор страницы юмора в журнале «Новая поэзия». Возглавлял французский поэтический журнал «Мельница Поэзии». В 1993 году стал лауреатом премии имени Сен-Кентена. Автор книг: «Наброски времён года и путешествий» (стихи, 1997), «Адская лошадь» (новеллы, 1998), «Песня Розалии» (роман, 1999), «Авария автобуса» (роман, 1999), «Семейный портрет» (стихи, 2000), «И да здравствует революция» (новеллы, 2001), «Воспоминания о других войнах» (новеллы, 2003), «Сократ и технократы» (новеллы, 2004, удостоена премии Клода Фаррера в 2005 году), «Нескромные баллады» (поэтические тексты с акварелями Кристианы Массоннэ, 2007), «Селин до последнего дня» (роман, 2009), «Я убил Самира Ванаджяна» (детективный роман, 2011).

стр. 202

Петрушкин Александр Александрович

Кыштым, 1972 г. р.

Российский поэт, прозаик, драматург, критик. Родился в городе Озёрск Челябинской области. Публиковался в журналах и альманахах «Урал», «Крещатик», «День и ночь», «Аврора», «Нева», «Дети Ра», «Воздух», «Знамя», «Text only», «Топос», «Новые облака» и др. Лауреат уральского фестиваля поэзии «Глубина» (2007), литературных премий журналов «Дети Ра» (2008), «Зинзивер» (2010). Финалист литературной премии «ЛитератуРРентген» в номинации «Фиксаж» (лучший нестоличный издатель поэзии). Куратор проектов культурной программы «Антология». Руководитель поэтического семинара городов Северной зоны (поэты Челябинской и Свердловской областей), координатор независимой поэтической премии «П», куратор евразийского журнального портала «Мегалит», главный редактор литературного журнала «Новая реальность». Автор сборников стихов: «(В)водный ангел» (2005), «Анатомия» (2006), «Я полагаю, что молчанья нет» (2007), «Кыштым: избранные стихотворения 1999–2008 годов», «Пойми, никто не виноват» (2010), «Маргиналии» (2011). Живёт в городе Кыштым Челябинской области.

стр. 77

Рождественская Лидия Игнатьевна

Красноярск

Родилась в Красноярске, в семье известного сибирского поэта Игнатия Дмитриевича Рождественского (детдомовского учителя В. П. Астафьева). Заслуженный работник культуры России, член Союза журналистов России, руководитель «Творческой мастерской Лидии Рождественской». В 1973 году окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии; кинодраматург. Работала главным редактором художественного вещания Красноярской государственной телерадиокомпании. Автор и ведущая многочисленных телевизионных программ. Получила Гран-при международного телефестиваля «О женщине с любовью» за цикл передач «Просто женщина». Автор более двадцати документальных фильмов («Сакман в школьном расписании», «И внукам

передать», «Несколько дней из жизни Семёновны», «Воспоминание об отце» и др.).

стр. 84

Рубанов Роман Владимирович

Курск, 1982 г. р.

Родился в деревне Стрекалово Хомутовского района Курской области. Окончил Курский государственный университет (факультет теологии и религиоведения). Руководитель литературно-драматургической части Театра юного зрителя «Ровесник». Лауреат Шелиховской медали за вклад в развитие поэзии западного региона Курской области (2009, Рыльск), лауреат ежегодного литературного конкурса «Проявление» (2010, Курск, КГУ). Дипломант литературных конкурсов: «Лира Боспора—2011» в номинации «Поэзия» (Крым, Севастополь), поэтического конкурса памяти Константина Васильева «Чем жива душа…» (2011, Ярославль). Удостоен специального диплома Национальной литературной премии «Алтын Калам» в номинации «Иностранная литература» (2011, Казахстан, Алматы).

стр. 207

Слюсарева Наталия Сидоровна

Москва, 1947 г. р.

Родилась в Китае. Окончила факультет журналистики МГУ. Работала в редакциях различных журналов. Переводчица с итальянского (устный). При советской власти не публиковалась. Автор трёх изданных книг прозы, а также нескольких неизданных книг прозы и пьес.

стр. 199

Тюрин Вячеслав

Иркутская область, 1967 г. р.

Родился в Якутии. Жил и учился в Красноярске и посёлке Лесогорск Иркутской области. Лауреат Гран-при конкурса «Илья-Премия» по СНГ (2001). Автор двух поэтических книг: «Всегда поблизости» (2001), «Розы в стране гипербол» (2006). Публиковался в журналах «Знамя», «Сибирские огни», «День и ночь», «Сибирь», «Дети Ра», в различных газетах и альманахах. Член Союза писателей России.

стр. 194

Цейтлин Евсей

Чикаго, 1948 г. р.

Культуролог, литературовед, критик, прозаик. Родился в Омске. В 1969 году окончил факультет журналистики Уральского университета, в 1989-м—Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А. М. Горького. Кандидат филологических наук, доцент. Преподавал в вузах историю литературы и культуры. Автор литературно-критических статей и эссе, монографий, рассказов и повестей о людях искусства. Начиная с 1968 года, публиковался во многих литературно-художественных журналах и сборниках. Основные работы собраны в книгах: «Шаги спящих» (2011), «Несколько минут после. Книга встреч» (2011), «Откуда и куда» (2010), «Писатель в провинции» (1990), «Голос и эхо» (1989), «Вехи памяти» (совместно с Львом Аннинским, 1987), «На пути к человеку» (1986), «О том, что остаётся» (1985), «Свет не гаснет» (1984), «Всеволод Иванов» (1983), «Сколько дорог у „Бронепоезда №14–69“» (1982), «Беседы в дороге» (1977) и др. Составил четыре сборника прозы русских и зарубежных писателей. Был главным редактором альманаха «Еврейский музей» (Вильнюс). С 1996 года живёт в США, редактирует чикагский ежемесячник «Шалом». Член Союзов писателей Москвы, Литвы, Союза российских писателей, международного ПЕН-клуба.

стр. 52

Шаматава Ираклий

Тбилиси, 1987 г. р.

В 2010 году окончил юридический факультет Тбилисского государственного университета. Член Союза писателей Грузии с 2011 года. Автор романа «Великий правитель Одишский». Новеллы и рассказы публиковались в грузинских альманахах и периодике («Грузинская словесность», «Литературная палитра» и др.). Призёр и лауреат литературных конкурсов «Алаверди» (2010); победитель конкурса «Алаверди» (2011, рассказ «Моё имя Хиросима»). В настоящее время издательством «Мерани» подготовлен к выходу в свет сборник новелл «Поколение потерянного детства».

стр. 82

Щербаков Александр Илларионович

Красноярск. 1939 г. р.

Родился в Красноярском крае. Образование: история и филология, экономика и журналистика. Работал учителем, корреспондентом краевых и центральных изданий. Автор двух десятков книг стихотворений, прозы, публицистики: повесть «Свет всю ночь», сборники рассказов «Деревянный всадник», «Лазоревая бабка», «Змеи оживают ночью», поэтические книги «Трубачи весны», «Глубинка», «Горлица», «Жалейка», «Дар любви» и др. Печатался в журналах «Наш современник», «Молодая гвардия», «Уральский следопыт», «Сибирские огни», «Огонёк». Член Союза писателей России. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Живёт в Красноярске.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Марина Саввиных

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

по прозе

Эдуард Русаков

Александр Астраханцев

по поэзии

Александр Щербаков

Сергей Кузнечихин

ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК

Олег Наумов

КОРРЕКТОР

Андрей Леонтьев

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Николай Алешков — Набережные Челны

Юрий Беликов — Пермь

Светлана Василенко — Москва

Валентин Курбатов — Псков

Андрей Лазарчук — Санкт-Петербург

Александр Лейфер — Омск

Марина Москалюк — Красноярск

Дмитрий Мурзин — Кемерово

Марина Переяслова — Москва

Евгений Попов — Москва

Лев Роднов — Ижевск

Анна Сафонова — Южно-Сахалинск

Евгений Степанов — Москва

Михаил Тарковский — Бахта

Владимир Токмаков — Барнаул

Вероника Шелленберг — Омск

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

О. А. Карлова

Заместитель председателя
правительства Красноярского края

А. М. Клешко

Заместитель председателя
Законодательного собрания
Красноярского края

Е. Г. Паздникова

Министр культуры
Красноярского края

Т. Л. Савельева

Директор Государственной
универсальной научной
библиотеки Красноярского края

Издание осуществляется при поддержке Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

Редакция благодарит за сотрудничество Международное сообщество писательских союзов.

Журнал издаётся с 1993 г. В его создании принимал участие В. П. Астафьев. Первым главным редактором с 1993 по 2007 гг. был Р. Х. Солнцев. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ФС77–42931 от 9 декабря 2010 г. выдано Министерством Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

В оформлении обложки использована картина Натальи Горбачёвой «Остров» (2009).

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. При перепечатке материалов ссылка на журнал «День и ночь» обязательна.

ИЗДАТЕЛЬ

ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения „День и ночь“».

ИНН 246 304 27 49
Расчётный счёт 407 028 105 006 000 001 86
в Красноярском филиале «Банка Москвы»
в г. Красноярске.

БИК 040 407 967
Корреспондентский счёт 301 018 100 000 000 967

Рукописи принимаются по электронной почте: dayandnight@bk.ru или по адресу: 66 00 28, Красноярск, а/я 11 937, редакция журнала «День и ночь».

Адрес редакции:
ул. Ладо Кецховели, д. 75а, офис «День и ночь»

Телефон редакции: (391) 2 43 06 38

Наш сайт: www.krasdin.ru

Подписано к печати: 22.05.2012

Тираж: 1500 экз.

Отпечатано ИП Азарова Н. Н.
в типографии «Литера-принт»,
г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 6, офис 0-10
эл. почта: 2007rex@mail.ru, т. 294 15 77

Под абажуром | 2008

Наталья Горбачёва | *Летний вечер* | 2008